россия в мемуарах

П.П.ПЕРЦОВ

Литературные воспоминания

1890-1902

П.П.ПЕРЦОВ Литературные воспоминания 1890-1902

россия в мемуарах

россия в мемуарах

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

П.П.ПЕРЦОВ

Литературные воспоминания

1890-1902 *гг.*



Вступительная статья, составление,
подготовка текста и комментарии
А.В. Лаврова

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
А. Бондаренко

Перцов П.П.

Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. / Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 496 с.

Мемуары известного критика, публициста, редактора религиозно-философского журнала «Новый Путь» П.П. Перцова (1868—1947) выразительно рисуют ситуацию идейного перехода от народничества к декадентству и религиозным исканиям в конце XIX — начале XX века. Среди главных ее героев — Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Вл.С. Соловьев, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, В.В. Розанов, художники объединения «Мир искусства». Книга Перцова была опубликована очень небольшим тиражом в 1933 г. и с тех пор ни разу не переиздавалась. В качестве приложения в данное издание включены также другие мемуарные очерки Перцова, часть их публикуется впервые.

ISBN 5-86793-110-2

ЛИТЕРАТОР ПЕРЦОВ

Петр Петрович Пéрцов (1868—1947) имел все основания для того, чтобы стать одной из самых заметных, самых представительных фигур в литературе своего времени. В интенсивной переписке с Мережковским, З. Гиппиус, Брюсовым, Розановым он — равнозначащий, соизмеримый с ними собеседник[1]; в историко-литературных же анналах, с их более или менее определившимися уже пропорциями отдельных личностей, Перцов и упомянутые его корреспонденты располагаются на разных уровнях известности, признанности, читательской востребованности. При этом в рубрику «забытых имен» Перцова отнести нельзя — прежде всего потому, что и в годы своего активного писательства он не пользовался широкой популярностью. Критик, публицист, искусствовед, поэт, книгоиздатель, активно участвовавший в литературной жизни на протяжении трех десятилетий, Перцов и в кругу своих современников, и тем более в восприятии последующих поколений никогда не выдвигался на первый план — был скорее фигурой фона, чем героем общественной авансцены.

Не завоевал популярности он по совокупности многих причин. На поверхности — может быть, главнейшая: дисбаланс между знанием и умением, намерением и осуществлением, силой, проницательностью, остротой интеллекта — и талантом активного творческого самовыражения. Еще в 1898 г. Брюсов заметил, что Перцов — это «человек, идущий туда, куда дойти у него нет сил»[2]; и Розанов — не хуже, чем Брюсов, знавший Перцова — дал ему в «Опавших листьях» своеобразно-прихотливую, но по сути не противоречащую брюсовской характеристику: «Недостаток Перцова заключается в недостаточно яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности. Сотворяя его, Бог как бы впал в какую-то задумчивость, резец остановился, и все лицо стало матовым. Глаза “не *торчат*” из мрамора, и губы никогда не закричат. Ума и далекого зрения, как и меткого слова (в письмах) у него, “как Бог дай всякому”, и особенно привлекательно его благородство и бескорыстие: но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то “шуршания бытия”, а не скакания бытия»[3].

---

[1] Это очевидно и в случае с Мережковским и Гиппиус, когда мы располагаем только их письмами к Перцову; ответные письма не выявлены — возможно, и не сохранились (см.: Письма Д.С. Мережковского к П.П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М.Ю. Кореневой // Рус. литература. 1991. № 2. С. 156—181; № 3. С. 133—159; Письма З.Н. Гиппиус к П.П. Перцову / Вступ. заметка, подгот. текста и примеч. М.М. Павловой // Рус. литература. 1991. № 4. С. 124—159; 1992. № 1. С. 134—157).

[2] *Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. [М.], 1927. С. 51.

[3] *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 499.

Для подобных суждений имелись, вероятно, достаточные основания. Но были и другие причины, индивидуально-психологического свойства, сказавшиеся в литературной судьбе Перцова со всей определенностью. В воспоминаниях он приводит хорошо запомнившиеся ему, хотя и заведомо «безответственные», продиктованные лишь минутным воодушевлением, слова Н.К. Михайловского: «...если вы пойдете по верной дороге — вы можете сделаться новым Белинским, т. е. первым человеком в России!». Перцов свернул с «верной дороги» радикально-демократического направления — но и на других путях всячески избегал соблазна воплотиться в литературно-общественного лидера. Вся его писательская карьера может быть осмыслена как череда уклонений от ведущих ролей в той или иной сфере. «Публике я неизвестен, конечно, да, по правде, и не желаю быть известным», — признавался Перцов в 1897 г. в одном из писем к отцу[4], и похоже, что такая позиция была продиктована не одной избыточной скромностью. Он был в 1903—1904 гг. редактором-издателем журнала «Новый Путь», но воспользовался этой литературной трибуной лишь для того, чтобы напечатать под псевдонимом свою книжку о Венеции, лежавшую в рукописи с 1897 г. Во второй половине 1890-х гг. он наладил самостоятельную издательскую деятельность — выпустил в свет несколько книг других авторов и лишь одну свою: в цитировавшихся уже «Опавших листьях» упоминается «Перцов, с его великодушными (при небольших своих средствах) изданиями чужих трудов»[5] — и прежде всего трудов самого Розанова (в 1899—1900 гг. Перцов напечатал четыре его книги, во многом определившие литературный облик Розанова в глазах читателей). Собственный библиографический «послужной список» Перцова довольно скромен: до 1917 г. увидели свет всего четыре небольших книжки, подписанных его именем, — три сборника статей («Письма о поэзии», 1895; «Первый сборник», 1902; «Панруссизм или панславизм?», 1913) и очерк «Венеция» (1905). Скромность этих внешних итогов особенно заметна, если учесть, что работал Перцов весьма интенсивно: в частности, согласно его собственным подсчетам, только с 1908 по 1917 г. в «Новом времени» было помещено 553 его статьи, а в «Голосе Москвы» с 1911 по 1914 г. — 90 статей[6]. Даже небольшая часть этих публикаций, извлеченная из газет и объединенная в авторские книги, позволила бы читателю составить представление о литературном облике и интеллектуальном потенциале их автора с достаточной ясностью и полнотой. Похожая картина — и в других жанрах, в которых Перцов пробовал свои силы. Он напечатал множество стихов в периодике, но сборника собственных стихотворений не опубликовал — хотя выпустил в свет в 1900 г. «Стихотворения» своего друга, Д.П. Шестакова. Много

[4] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 74.
[5] *Розанов В.В.* Указ. соч. С. 459.
[6] См.: РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 58. Л. 1 об.

трудился как искусствовед, историк живописи, но реализовался главным образом в путеводителях.

Более выразительно, чем условные библиографические показатели, о масштабе личности Перцова говорят факты его биографии — и прежде всего имена тех деятелей русской литературы и общественной мысли, с которыми он был тесно связан на протяжении многих лет. В числе этих лиц — Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус: в 1890-е гг. Мережковский воспринимал Перцова как исключительно близкого себе человека, интимного собеседника, сопутника в литературных и мировоззренческих исканиях. «Перцов был наш “содеятель”, — вспоминает Гиппиус. — Сам, как писатель, не очень яркий, но человек с бо́льшим вкусом и большим умом»[7]. С 1894 г. завязывается переписка Перцова с В.Я. Брюсовым; пожалуй, это — наиболее пространный, многообразный по содержанию и напряженный по мысли эпистолярный диалог из всех, которые вел сначала отверженный поэт-декадент, а потом мэтр русских символистов со своими именитыми современниками[8]. В 1896 г. Перцов познакомился с В.В. Розановым; их многолетняя дружба — при отсутствии единомыслия по основным жизненным вопросам — сопровождалась столь же многолетней перепиской (в письме к Д.Е. Максимову от 5 октября 1930 г. Перцов, сообщив, что Розанов считал свои послания к нему «самыми интересными» из написанных им, добавлял: «...м[ожет] б[ыть], это преувеличение, но, кажется, их интерес первоклассный»[9]).

В «Литературных воспоминаниях», доведенных лишь до рубежа веков, Перцов освещает далеко не все значимые события своей жизненной и писательской биографии. Сжатую и в то же время достаточно полную и объективную характеристику своего литературного пути он дал в 1925 г. в краткой биографической справке, хранящейся в его архиве[10]:

---

[7] *Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 87.

[8] Перцов сам опубликовал часть писем Брюсова к нему — отдельным изданием, выпущенным Государственной академией художественных наук (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894—1896 гг. (К истории раннего символизма). [М.], 1927), и в периодике (Красная газета. Веч. вып. 1924. 27 декабря. С. 3; Русский современник. 1924. № 4. С. 227—235; Печать и революция. 1926. № 7. С. 40—47; Там же. 1928. № 7. С. 36—50); кроме того, 15 писем Брюсова к Перцо́ву напечатал Д.Е. Максимов (Валерий Брюсов и «Новый Путь» // Лит. наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 276—298).

[9] РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35. В архиве Перцова сохранились 231 письмо Розанова к нему и 267 писем Перцова к Розанову (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77—87, 176—186). 32 письма Розанова к Перцову напечатаны в кн.: *Розанов В.В.* Сочинения. М., 1990. С. 489—516 (публ. А.Л. Налепина и Т.В. Померанской); см. также 2 письма Розанова к Перцову за 1918 г. (Лит. учеба. 1990. № 1. С. 78—81. Публ. Евг. Ивановой и Т. Померанской).

[10] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 1—2 об. См. также сведения о Перцове в кн.: Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. М., 1992. С. 199. (Первое издание — 1928 г.)

Curriculum vitae П.П. Перцова

Петр Петрович Перцов родился 4 (16) июня 1868 г. в г. Казани в дворянской семье. Отец был земским деятелем[11]. Кончил курс казанской 2-й гимназии в 1887 г. с серебряной медалью и Казанский университет по юридическому факультету по первому разряду в 1892 г. Литературная деятельность началась с 10-го апреля 1890 г. и в текущем 1925 г. ей исполнилось 35 лет. Сперва корреспондировал в столичные газеты («Неделя», «Новости») и сотрудничал в казанских (стихи, рассказы, критические статьи). Первое стихотворение было напечатано в «Книжках Недели» за сентябрь 1890 г. В 1891 г. переписывался с Фетом и Полонским; с последним, так же как с Майковым, впоследствии был лично знаком. Осенью 1892 г. переехал в Петербург, где принял близкое участие в журнале «Русское богатство» народнической редакции, под руководством Н.К. Михайловского. Весной 1893 г., расходясь с журналом во взглядах на искусство и начинавшееся движение модернизма, возвратился в Казань, где в местной печати проводил свою точку зрения (статьи эти вошли в брошюру «Письма о поэзии», СПб., 1895 — первое мое отдельное издание). Летом 1894 г. посетил Ясную Поляну. В конце 1894 г. переехал вновь в Петербург, где сблизился с представителями раннего символизма (кружок Д.С. Мережковского; кружок «Северного вестника»). В то же время знакомство и оживленная переписка с Валер. Брюсовым на темы тогдашнего литературного новаторства. Весной 1895 г. выпустил составленную в сотрудничестве с двоюродным моим братом Влад. Влад. Перцовым (†1921 г.) антологию «Молодая поэзия» (стихотворения 42-х поэтов, выступивших в предшествовавшие 10—15 лет). В следующем году составил сборник «Философские течения русской поэзии», куда вошли критические статьи Д.С. Мережковского, С.А. Андреевского, Влад. Соловьева, Б. Никольского и мои — о 12-ти крупнейших русских поэтах прошлого с избранными их стихотворениями. В 1897 г. издал сборник критических статей Мережковского «Вечные спутники», а в 1899—1900 гг. проредактированные мною сборники статей В.В. Розанова: «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки», «Природа и история» — и некоторые другие книги. В течение 90-х годов помещал стихи и статьи, преимущественно литературного содержания, в различных журналах и газетах. С появлением журнала «Мир Искусства» (редакция С. Дягилева) вошел в состав его постоянных сотрудников. С весны 1897 г. по весну 1898 г. прожил за границей, преимущественно в Италии, изучая искусство Ренессанса. Осенью 1897 г. написал книгу «Венеция» (очерки венецианского искусства), а в 1899 г. очерки

[11] Согласно свидетельству о рождении Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 225), его отец, Петр Петрович Перцов, был надворным советником; имя матери — Варвара Николаевна.

«Царьград и Афины» (помещены в книге «Первый сборник», в которую вошли также избран[ные] статьи 1898—1901 г.). В 1903—1904 был редактором и официальным издателем литературно-философского журнала «Новый Путь», явившегося органом кружка писателей-символистов (близкое участие Мережковского, Минского, Сологуба, Гиппиус, Бальмонта, Брюсова, Вяч. Иванова, Ремизова, Блока, Белого, Чулкова, Розанова; в этом журнале дебютировал Блок). С 1905 г. и особенно с 1908 г. обильно писал в газетах и журналах. Из журнальных статей отмечу статью в «Вопросах философии и психологии» — «Гносеологические недоразумения», посвященную критическому разбору гносеологии Генр[иха] Риккерта[12]. С осени 1910 г. поселился в Москве. В 1913 г. выпустил книжку «Панруссизм или панславизм?» — сборник статей по злободневному тогда славянскому вопросу. В те же годы перевел Ип. Тэна «Путешествие по Италии» (оба тома)[13]. В 1919—1920 гг. написал очерки о Щукинской и Третьяковской галереях и биографию художника Александра Иванова (остающуюся неизданной)[14]. В 1921—22 читал лекции в Костромском университете (история русской живописи и курс о Гоголе) и в Костромском же педагогическом техникуме (история русских общественных движений XVIII—XIX вв.). В 1922 г. издал воспоминания о Блоке. В течение 1921—24 гг. написал обширное исследование «История русской живописи» от Петра I до наших дней, в 4-х частях (36 печатн. листов; не издана)[15]. В 1924—25 гг. составил путеводитель по окрестностям Москвы и московским художественным музеям[16]. Наконец, с 1897 г. по настоящее время работаю над обширным философским трудом «Основания диадологии», представляющим попытку установления точных законов мировой морфологии (аналогия, хотя не очень близкая, с построениями Вико, Гегеля, Конта, [Маркса][17], Шпенглера и русских мыслителей, как Хомяков, Данилевский, К. Леонтьев и Влад. Соловьев). От-

[12] Эта статья Перцова, свидетельствующая о неприятии им неокантианской философии, опубликована в 1909 г. в «Вопросах философии и психологии» (Кн. 1 (96). Отд. II. С. 27—72).

[13] См.: *Тэн И.* Путешествие по Италии / Пер. П.П. Перцова. Т. I. Неаполь и Рим. Т. II. Флоренция и Венеция. М.: Наука, 1913—1916.

[14] Имеются в виду книги Перцова «Щукинское собрание французской живописи» (М., 1921) и «Третьяковская галерея. Историко-художественный обзор собрания» (М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1922). Биографический очерк «Александр Иванов» (1918—1919) сохранился в архиве Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 27).

[15] Эта книга готовилась к публикации в издательстве М. и С. Сабашниковых. Авторская машинопись ее хранится в фонде Перцова (Р—1356) в Гос. архиве Костромской области.

[16] Имеются в виду книги Перцова «Подмосковные экскурсии: Трамвайные поездки» (М.: Гос. изд-во, 1924) и «Художественные музеи Москвы: Путеводитель» (М.; Л.: Гос. изд-во, 1925).

[17] Имя в автографе зачеркнуто.

сутствие возможности сколько-нибудь сосредоточенной работы над этим трудом замедляет его полное осуществление, хотя все главные основания и важнейшие приложения уже выработаны.

1925 24/XI. П. Перцов.

Лаконично сформулированные пункты этого документа нуждаются, конечно, в дополнительных пояснениях.

Литератором Перцов стал осознавать себя уже в гимназические годы. В пятнадцатилетнем возрасте он изготавливал, вместе с В.Н. Соловьевым — другом юношеских лет, позже казанским журналистом, рано умершим[18], — рукописные газеты «Ежедневный листок» и «Летний вестник»; в четырех сохранившихся номерах за 1883—1884 гг.[19] представлены традиционные тематические рубрики: «Дневник происшествий и слухи», хроника, беллетристика, объявления — у начинающих газетчиков исключительно юмористические: «*Желающим* сломать ногу, руку или шею рекомендуют гулять по казанской мостовой» и т. п. В первый год студенчества Перцов, также в сотрудничестве с Соловьевым, — уже редактор-издатель рукописного «журнала науки, литературы и современной жизни» «Слово»: в пяти номерах за январь—март 1888 г. помещены (под различными псевдонимами) статья «Памяти Надсона», стихотворения, прозаические опыты, рецензии (в том числе на наиболее яркие литературные новинки той поры — «Очерки и рассказы» Короленко и «Пестрые рассказы» Чехова)[20]. Естественным и логичным был переход от домашнего рукоделья к первым выступлениям в периодической печати. Дебютировав в апреле 1890 г. в петербургских газетах анонимными корреспонденциями из Казани, Перцов в том же году опубликовал стихотворение в столичном журнале и начал печататься в казанской периодике — публиковать стихи, рассказы, критические статьи и рецензии (часть за своей подписью или под инициалами, часть под псевдонимом Посторонний).

Пробуя свои силы в разных жанрах, юноша Перцов поначалу ощущал себя прежде всего поэтом. Впитав столь характерные для интеллигенции тех лет радикально-народнические убеждения, в студенческой среде столь же непререкаемые, как символ веры, восприняв их в поэтической огласовке Надсона, заглушавшей тогда любые иные лирические тембры, он с самозабвенной искренностью пытался настроиться на главенствующий тогда в стихотворчестве лад:

[18] Впоследствии Перцов выпустил в свет «Посмертный сборник» В.Н. Соловьева (СПб., 1901), включавший 18 рассказов, 3 стихотворения и путевые очерки «По русской Ривьере», «В Стамбул и Элладу»; сборнику предпослан очерк Перцова «В.Н. Соловьев. Биографические сведения» (С. 7—12).

[19] См.: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 13.

[20] См.: Там же. Ед. хр. 14.

Теплым чувством и светлым умом ты богата,
Не одной красотой одарил тебя Бог,
Неужели же хочешь ты скрыться куда-то,
В область пошлого счастья и мелких тревог?
Неужели же, вместо разумной работы,
Вместо жизни свободной, борьбы и труда,
Ты погрязнешь в болоте житейской заботы,
За собой не оставив живого следа?...
Встрепенись! Выходи на прямую дорогу!
Видишь, сколько усталых на трудном пути;
Выходи же ты к этим борцам на подмогу —
Только там можно прочное счастье найти...
И, узнавши его, о поверь, дорогая,
Не захочешь свернуть ты с тернистой тропы
И пойдешь ты по ней, навсегда забывая
Все ничтожные дрязги ничтожной толпы[21].

Трафареты надсоновской фразеологии и стилистики для Перцова-студента, духовно формировавшегося в общественной атмосфере 80-х годов с ее идейными и эстетическими приоритетами, видимо, представали наполненными живым и волнующим поэтическим содержанием. Характерно, что в это же время он дает весьма прохладную оценку Баратынскому («стих у него гораздо бледнее и прозаичнее, чем у многих его современников»), который в особенности проигрывает на фоне новейших поэтических достижений: «...для нас он уже окончательно архаичен, и при теперешнем блестящем развитии русского стиха мало кто захочет обратиться к поэтам прежнего времени»[22].

«Так гласил язык поколенья», — писал Мандельштам в «Шуме времени» о «загадке русской культуры и в сущности непонятом ее звуке», воплотившихся в «надсоновщине», отмечая при этом, что «высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом»[23]. Своеобразие литературной позиции Перцова заключалось с самого начала в том, что, вполне освоив «язык поколенья», научившись внятно высказываться на нем, он сохранял неизменную верность Тютчеву и Фету — поэтам, вызывавшим у последовательных «радикалов» гамму чувств в диапазоне от полного равнодушия до полного неприятия. Первое стихотворение Перцова, появившееся в печати, — это, по сути, формула его юношеской «фетомании», отпечаток которой наглядно сказывается и в последующих поэтических опытах:

[21] Волжский вестник. 1891. 1 января. В подписи фамилия автора воспроизведена ошибочно: П. Перцев.

[22] Там же. 1 февраля. (Рецензия на кн.: *Андреевский С.А.* Литературные чтения. СПб., 1891).

[23] *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 357—358.

Я иду по тропинке тенистой,
Светлой радостью жизни объят...
Как душист этот воздух смолистый,
Как красив пышный леса наряд!

Тихо тополь дрожит серебристый,
Тихо листья березы шумят,
И кивая головкой душистой,
Разливают цветы аромат.

И в душе, просиявшей и чистой,
Все тревожные мысли молчат...
Я иду по тропинке тенистой,
Светлой радостью жизни объят[24].

Присяга на верность Фету, принесенная Перцовым самому себе, осознание необходимости «чистой», самодостаточной, бестенденциозной поэзии послужили одной из самых веских причин, обусловивших в конце концов его размежевание с литераторами — «властителями дум» оппозиционно-демократической интеллигенции. «А еще говорят, что стихотворения Фета бессмысленны, — писал он 18 декабря 1892 г. Д.П. Шестакову. — Да, для тех, кто привык черпать свои “мысли” из ближайшей передовой статьи. А по-моему, стихотворения Фета — это евангелие красоты»[25]. Подобную скрытую полемику можно обнаружить во многих его приватных высказываниях тех месяцев, когда он особенно тесно и, казалось, прочно сблизился с «властителями дум». Покровительствовавший Перцову А.И. Иванчин-Писарев, революционный народник, отбывший многолетнюю ссылку в Сибири, а с осени 1891 г. фактический редактор казанской газеты «Волжский вестник», познакомил его с Н.К. Михайловским, имя которого было тогда в русском обществе одним из самых уважаемых и авторитетных. Осенью 1892 г. в ведение Михайловского перешел большой ежемесячный петербургский журнал «Русское богатство», и Перцову, приехавшему тогда же вместе с Иванчиным-Писаревым в Петербург, открылась заманчивая и, безусловно, чрезвычайно льстившая его самолюбию перспектива сотрудничества в печатном органе, продолжавшем дело «Современника» и «Отечественных записок».

Сотрудничество, однако, продлилось лишь несколько месяцев; за это время Перцов опубликовал в «Русском богатстве» 33 рецензии и одну большую статью. По письмам его к отцу и Д.П. Шестакову вырисовывается наглядная картина постепенного разочарования начинающего журналиста в той литературной среде, к которой ему довелось приобщиться[26]. К участию Перцова в

[24] Книжки Недели. 1890. № 9. С. 398. Подпись: П. П—в.

[25] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89.

[26] История кратковременного сотрудничества Перцова в «Русском богатстве», с привлечением больших цитат из его писем, прослежена в статье М.Г. Петровой «Мемуарная

«Русском богатстве» Михайловский поначалу отнесся с большим доверием (провинциалу «без имени» была предоставлена возможность вести в журнале библиографический отдел, рецензировать новые книги) — но и с неизменной «направленческой» требовательностью, сопровождавшейся определенными ограничениями, которые предписывала достаточно ригористичная идейно-эстетическая платформа издания. Редакторскую установку Михайловского на «идейный монолит» (лишь в последнее десятилетие его деятельности, как констатируют исследователи, сменившуюся более гибким подходом к эстетическим вопросам)[27] Перцов принять и оправдать не мог; небрежение художественными критериями, сплошь и рядом выказывавшееся в радикально-демократических кругах, зависимость «эстетики» от «идеологии» представлялись ему столь же неприемлемыми в литературной деятельности, сколь и позиции печатных органов последовательно охранительного направления. Идейные симпатии поначалу склоняли Перцова к сотрудничеству с «радикалами», однако «антиэстетизм» «радикалов» стал основной побудительной причиной для размежевания с ними, а затем и для переоценки и отторжения всего комплекса убеждений и верований, господствовавших в редакции «Русского богатства».

В краткий период сотрудничества в журнале Михайловского Перцову не только не удалось поместить там то, чем он более всего дорожил (стихи — свои и Д.П. Шестакова), но и пришлось свои критические суждения определять в фарватере общего идейного направления, формулировать то, что не всегда совпадало с его собственными оценками. Установки «направленческого» толка сказываются и в критических нотах его рецензии на книгу Мережковского «Символы», и в большой статье о творчестве Чехова под «осудительным» названием «Изъяны творчества», опубликованной в № 1 «Русского богатства» за 1893 г. (статью переименовал Михайловский, первоначальное авторское заглавие — «Беллетристическая nature morte»); исходя из оценки произведений

версия при свете архивных документов (Чехов, Михайловский и другие)» (Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. LXV. № 2. С. 156—172). Выявляя «разночтения» в описании и трактовке фактов, отразившихся в письмах Перцова 1892—1893 гг., с одной стороны, и в «Литературных воспоминаниях», с другой, М.Г. Петрова склонна видеть в этом проявление намеренной тенденциозности автора по отношению к Михайловскому и его единомышленникам — в то время как правомерно отметить и другие причины неадекватной передачи в мемуарах содержания эпистолярных текстов, возникших почти сорока годами ранее (при том, что Перцов щедро использовал их при работе над воспоминаниями): отражение идейной и духовной эволюции автора; кардинально различную жанровую принадлежность сопоставляемых текстов; «сиюминутное» назначение документа, адресованного лишь определенному лицу, и задача ретроспективного отображения пережитого с учетом исторической дистанции и с установкой на стороннего читателя, и т. д.

[27] См.: *Петрова М.Г., Хорос В.Г.* Диалог о Михайловском // Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 18, 30.

писателя, ранее данной Михайловским, Перцов указывал на фотографическое беспристрастие «беллетристического аппарата» Чехова, случайность в выборе тем и равнодушие к общественным проблемам — проявив, однако, пристальное внимание к собственно художественному значению его произведений (живой интерес к произведениям Чехова Перцов отразил и в более ранних статьях, опубликованных в «Волжском вестнике»[28]). Другие большие статьи, предложенные Перцовым в «Русское богатство», редакцией не были приняты, и критик, видимо, понял, что обманулся в своих надеждах и в попытках литературно самоопределиться, мимикрируя под определенную тенденцию.

С другой стороны, Перцов быстро осознал, что его «Изъяны творчества», обещавшие стать дебютом на большом литературном поприще, являют собой лишь опыт следования той критической методологии, которая, как ему довелось убедиться, уже не имеет реальных творческих перспектив. «Когда теперь я перечитываю статью, — признается он в письме к Шестакову от 30 января 1893 г., — мне становится даже немножко совестно: так могут писать только литературные мальчики с легким пером и, увы! еще более легкими мыслями. Но не так, совсем не так нужно писать всамомделишную критику. Критика есть искусство, такое же, как беллетристика и поэзия. Русским критикам пора перестать делать доморощенные аллюры и относиться к авторам с кондачка, пора оставить свои гувернерские приемы и принять западноевропейский метод. Нам нужно учиться не у Добролюбова и Писарева, даже не у Белинского (те были хороши в свое время), а у Брандеса, Тэна, Бурже, Леметра, Ренана, критиков Англии и Америки. Особнячество русской критики кончилось, теперь ей необходимо перейти на общечеловеческую почву, или она сделается, быть может, ярким, но бесполезным пустоцветом, “ни *сердца* нашего не радуя, ни глаз”. <...> Чтó было хорошо в 60-х годах, когда на первом плане стояла гражданская борьба и критике нужно было еще завоевать и усвоить себе право смотреть на литер[атурные] явления не с исключительно эстетич[еской] точки зрения, — то самое теперь, в 90-е гг., является каким-то атавизмом. Нет, перед нами другие задачи, гораздо более трудные, и куда как легко было бы писать критич[еские] статьи, если бы требовалось только идти по стопам Писарева.

[28] См., например, подробную характеристику повестей Чехова «Жена» (*Перцов П.* Обзор журналов // Волжский вестник. 1892. 28 января), «Соседи» (*Перцов П.* А. Чехов и его «Соседи» // Там же. 1892. 4 августа) или разбор психологического типа Лаевского из повести «Дуэль» (*Посторонний* [*Перцов П.*]. Еще об «идейных пустоцветах» // Там же. 1892. 26 апреля). Заслуживает внимания также письмо Перцова к Чехову от 24 марта 1899 г., в котором, дав попутно косвенную оценку «Изъянам творчества» («...мне было бы весьма неприятно, если б Вы считали эту мою статью (“плод недолгой науки”) за выражение теперешнего моего отношения к Вам»), он призывал писателя включить в подготавливавшееся собрание сочинений максимально большое количество произведений (РГБ. Ф. 331. Карт. 55. Ед. хр. 18). Подбор фрагментов из писем Перцова, по которым восстанавливается история печатания «Изъянов творчества» в «Русском богатстве», дан в указанной статье М.Г. Петровой (С. 166—167).

Мы должны теперь приучиться изображать личность писателя и его сочинения во всей их историч[еской] и субъективной обстановке, если можно так выразиться; должны уметь нарисовать портрет писателя, а не сделать ему начальственный выговор за непохвальное поведение»[29].

Понимая, что «Русское богатство» не может стать трибуной для реализации подобных установок — во многом сходных с теми, которыми в ту же самую пору стали руководствоваться писатели, изменившие общий литературно-критический ландшафт, — Мережковский и Волынский, — Перцов весной 1893 г. вновь обосновался в Казани и возобновил постоянное сотрудничество в «Волжском вестнике». Внешне понизив свой статус, вернувшись в лоно провинциальной журналистики, он, тем не менее, смог теперь беспрепятственно излагать свои новые воззрения, коренившиеся, однако, в изначальной убежденности относительно приоритета «эстетического» перед «общественным». В установках Михайловского и его единомышленников Перцову видится теперь — во многом вопреки реальному положению дел — лишь идейная рутина, окостенелость сознания, неспособность к духовному поиску; динамика критической мысли, переоценивающей былые авторитеты, наоборот, прославляется как залог обретения новых творческих ценностей. Касаясь в связи с юбилеем А.М. Скабичевского, «правоверного» продолжателя традиций 60-х годов, его заявления о неизменности отстаиваемых взглядов на жизнь и искусство, Перцов заключал: «Это обстоятельство почему-то всегда ценится у нас как особо похвальное и всякого подражания достойное качество. Полагать надо, что в этом почтении отразилась просто все та же наша вечная боязнь всякой перемены и независимости мнений. В самом деле, какая в сущности заслуга в том, что человек 30—40 лет твердил одно и то же <...>? Ведь писатель не дятел, которому от природы полагается долбить всё в одну точку <...>. Белинский трижды совершенно менял свое направление; другой человек сороковых годов (Герцен. — *А.Л.*) прошел еще больше фазисов в своем развитии, пока жизнь в з[ападной] Европе создала совершенно оригинальную окраску его воззрений. <...> Но все это предполагает деятельную и смелую работу мысли, постоянство наблюдений над жизнью, независимость и беспристрастие выводов — всё вещи нам еще мало привычные. А пока что будем праздновать юбилеи литературных столпников»[30].

Часть своих статей, опубликованных в «Волжском вестнике» в 1893—1894 гг., Перцов объединил в книгу «Письма о поэзии». Выступая в ней против утилитаризма и невежества в литературно-критических оценках, выдвигая в качестве актуальной задачи «восстановление эстетической стороны нашей умственной жизни»[31], Перцов особое внимание уделил анализу понятий «идеализм» и «реализм». По его убеждению, «изо всех *временных* категорий — классицизма,

[29] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89.

[30] *Перцов П.* Мысли вслух. О г. Скабичевском и об его юбилее // Волжский вестник. 1894. 8 апреля. С. 3.

[31] *Перцов П.* Письма о поэзии. СПб., 1895. С. 33—34.

романтизма, реализма, натурализма etc. остается жить только то, что относится к *вечной* категории — *идеализма.* Только воплощения вечного идеала и будут вечно волновать нас, вечно говорить с душою человека <...>»[32]. Наиболее полно представляли начала «идеализма» «люди 40-х годов», сумевшие гармонически сочетать эстетические и общественные тенденции, присоединить к «художнику» «гражданина» и «слить их в одно целое, синтезировать их в понятии *человека*»[33], — в отличие от односторонних «шестидесятников», утверждавших приоритет «гражданина» перед «художником». Идею со- и противопоставления этих двух поколений русской интеллигенции, двух ее культурных типов Перцов почерпнул из книги Е.А. Соловьева (Андреевича) о Писареве (в ней гражданственным и практичным людям 60-х годов противопоставлялись духовно гармоничные люди 40-х годов, выработавшие «идеал человека, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развития»[34]), но сделал из нее совсем иные выводы — на смену идеалу 60-х годов, более предпочтительному для Соловьева, выдвинул идеал 40-х годов как единственно перспективное для русской культуры направление развития. Широта и разносторонность людей 40-х годов, их преклонение перед искусством, их гуманистический пафос и антидогматизм, духовная свобода и благородство помыслов, со всей щедростью явленные в таких индивидуальностях, как Герцен или Тургенев, осознавались Перцовым как наиболее адекватная форма воплощения русского национального самосознания, как живительная субстанция для творческого развития эстетических и общественных идей. Обращаясь к современной литературе, Перцов с удовлетворением отмечает новое пробуждение общественных симпатий к идеалам 40-х годов: «...за последнее время мутная волна тенденции начинает спадать — с развитием художественных вкусов и художественного чутья, с “воскресением художника”, начинает все более и более выясняться в сознании общества роль поэзии, как одного из изящных искусств»[35].

[32] Там же. С. 10. Иронически отозвался об этой концепции Короленко (в дневниковой записи о Перцове от 23 ноября 1893 г.): «Сделав экскурсию в С.-П-бург, где он пытал свои силы в критике (в “Р[усском] бог[атстве]”), — он увы! вынужден вернуться в Казань. Несмотря на всю ревность, с какой он старался попасть в тон Мих[айловского] и Протопопова, — этот “несобранный” господин, как его характеризовал Гарин, — оказался совершенно неподходящим. И вот теперь он берет критический жезл в Казани и примыкает к “новаторам”. В “Русск. бог.” он еще недавно иронизировал над взглядами Мережковского. Здесь он объявляет того же Мережковского вместе с Андреевским и Меньшиковым (из “Недели”) глубокими критиками, сказавшими уже “новое слово”. В чем же оно? В идеализме! В чем же идеализм? В том, что художник не должен только списывать с натуры, но еще и воссоздавать. Первого якобы требует “реализм”!» (*Короленко В.Г.* Полн. собр. соч. Дневник. 1893—1894. Т. II. Полтава, 1926. С. 222).

[33] *Перцов П.* Письма о поэзии. С. 31.

[34] *Соловьев Е.А.* Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1893. С. 146.

[35] *Перцов П.* Письма о поэзии. С. 42.

В своих газетных статьях Перцов поначалу стремился не вступать в прямую конфронтацию с «радикальным» лагерем (например, в статье «Памяти И.С. Тургенева», прославляя писателя за служение «вечным задачам искусства», «вечной правде и красоте», он даже пытался привлечь в свои единомышленники Михайловского: «У нас принято еще и до сих пор считать Тургенева преимущественно выразителем разных “последних слов” нашей общественной жизни, создателем русских “передовых типов”. Но уже Н.К. Михайловский в своей прекрасной статье о Тургеневе указал на всю ошибочность и неточность такого понимания творчества Тургенева и на гораздо более глубокий и постоянный смысл его творений»[36]), однако размежевание оказалось неизбежным и окончательным. Михайловский посвятил «Письмам о поэзии» и составленной по инициативе Перцова антологии «Молодая поэзия» специальную статью откровенно насмешливого характера, в которой книга Перцова («книжечка <...> маленькая <...> и ноготок у нее тупой <...> несмотря на тупость, очень задорный») изобличалась как сумбур, собрание глупостей и «полная чаша вздора», а в сборнике новейшей поэзии не было обнаружено «никакой системы, никакой руководящей мысли»[37]. В «Литературных воспоминаниях» Перцов расценивает это выступление Михайловского как сведение «домашних счетов» за измену «Русскому богатству». Отныне журнал, в котором начиналась столичная литературная карьера Перцова, для него — чужая территория, «последний оплот либеральных ретроградов»[38], продукция журнала — «залежи своего рода духовных окаменелостей»[39], а руководитель журнала — «гальванизированный труп»[40].

Последняя точка в истории взаимоотношений Перцова с редакцией «Русского богатства» была поставлена несколько лет спустя. Одну из статей своего цикла «Литература и жизнь» Михайловский посвятил разбору критико-публицистических книг Розанова, изданных Перцовым; варьируя на разные лады эротические мотивы, затрагиваемые в статьях Розанова, он по ходу своих рассуждений язвительно подметил, что анализируемый автор «даже излечился недавно в Пятигорске от какой-то неприятной болезни, о чем сам сообщает в

[36] Волжский вестник. 1893. 22 августа. Впоследствии Перцов включил статью Михайловского по поводу смерти Тургенева (из цикла «Письма постороннего в редакцию “Отечественных записок”», 1883) в сборник «О Тургеневе. Русская и иностранная критика» (Сост. П.П. Перцов. М., 1918. С. 61–82).

[37] *Михайловский Н.* Литература и жизнь // Рус. богатство. 1895. № 6. Отд. II. С. 50, 62.

[38] Характеристика из письма Перцова к А.Г. Горнфельду от 26 мая 1895 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

[39] *Перцов П.* Первый сборник. СПб., 1902. С. 153 («Литературные окаменелости», 1899, декабрь).

[40] Характеристика из письма Перцова к А.Г. Горнфельду от 5 мая 1895 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

“Литературных очерках”»[41]. Это замечание вызвало со стороны Перцова настоящий демарш — письмо к Михайловскому[42]:

Милостивый Государь Николай Константинович!

Я прочел в последней книжке «Русского богатства» Вашу статью о Розанове, в которой Вы, в числе прочих аргументов, утверждаете, будто Р[озанов] «лечился в Пятигорске от неприятной болезни», о чем будто сообщает он сам в своих статьях «С юга».

Вам очень хорошо известно, конечно, что в этом утверждении нет ни малейшего соответствия с действительностью, но «по нынешним временам» Вы не выбираете аргументов.

Прочитав это, я невольно подумал — что́, если бы 30 лет тому назад — в ту пору, когда Вы начинали в «Отеч[ественных] зап[исках]», — кто-нибудь предсказал бы Вам, *как* Вы будете кончать? — каким негодованием встретили бы Вы такое предсказание.

Чувство глубокого стыда за Вас, которое я испытал, читая Вашу статью, разделяется, вероятно, многими — и, кто знает, может быть отчасти и Вами самими. Во всяком случае в эту минуту Вы мне внушаете и что-то вроде невольного сожаления.

Ваш бывший ученик П. Перцов.

31 XII 99 г.

Л.В. Кострова, конторщица «Русского богатства», признавая в письме к Перцову от 9 января 1900 г. «неприятный lapsus», допущенный в статье по случайному недоразумению, и «рискованность» «упоминаемой подробности», сообщала: «Н. К., кажется, хотел Вам сперва отвечать <...>, но потом сказал: “да ведь все равно не поверит”. <...> В одном он прав: когда люди настроены так враждебно, как Вы, они ничему не верят, и оправдываться, действительно, бесполезно»[43].

Во второй половине 1890-х гг. Перцов пытался наладить сотрудничество еще с одним столичным журналом, «Северным вестником», но без особенного успеха — несмотря на то, что идейно-эстетические установки А. Волынского,

[41] *Михайловский Н.* Литература и жизнь. О г. Розанове // Рус. богатство. 1899. № 9 (12). Отд. II. С. 155. Михайловский подразумевает цикл очерков Розанова «С юга» (*Розанов В.* Литературные очерки. СПб., 1899. С. 185—210).

[42] ИРЛИ. Ф. 181. Оп. 1. Ед. хр. 524.

[43] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 136. Копию своего письма к Михайловскому Перцов послал Розанову, ему же сообщил сведения, полученные от Костровой, добавив (в письме от 16 января 1900 г.): «Ну что скажете о Михайловском? Мое письмо, кажется, ущипнуло его. <...>М[ожет] б[ыть], и в самом деле посовестился» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 81).

фактического руководителя журнала, были ему во многом близки[44]. Наиболее заметные его литературные выступления этого времени — не на страницах периодических изданий. Почти одновременно с «Письмами о поэзии» появилась антология «Молодая поэзия. Сборник избранных стихотворений молодых русских поэтов» (СПб., 1895), составленная и выпущенная в свет Перцовым вместе с двоюродным братом, В.В. Перцовым. В ней на практике были применены те подходы и требования к поэтическому творчеству, о которых Перцов возвещал в своих статьях. В сборнике были представлены 42 поэта 1880—1890-х гг., стихотворения отбирались прежде всего по принципу отражения в них «вечных истин», сообразно их художественной содержательности, без учета критериев «партийности», «прогрессивности» и общественной значимости.

Нет нужды подробно распространяться об этом издании, всесторонне охарактеризованном в перцовских воспоминаниях. Стоит подчеркнуть, однако, что благодаря этому собранию чужих текстов Перцову удалось осуществить один из самых характерных опытов собственного литературного самовыражения. Составленная им антология оказалась первой итоговой манифестацией целого периода в истории русской поэзии, и Перцову принадлежит бесспорный приоритет в осознании его как некоего целостного явления, наделенного определенными, именно ему присущими, признаками. Перцовская «Молодая поэзия», включившая образцы стихотворчества авторов известных, малоизвестных и совершенно безвестных, отразила переходное состояние отечественной лирики, терминологически обозначавшееся на разные лады: фофановский построматнтизм, поэзия «безвременья», протосимволистские веяния и т. д., — состояние промежутка между эпохой зрелого классического стиля и эпохой модернизма[45]. Умение Перцова распознавать за отдельными, казалось бы случайно сополагающимися, явлениями контуры единой системы, за калейдоскопом бесчисленных повседневных фактов — становящуюся и оформляющуюся историю сказалось на свой лад уже в этой его сугубо «селекционной» работе; живая современность предстала в ней как бы с исторической дистанции. «Молодая поэзия» вызвала широкий резонанс в печати, что свидетельствовало, конечно, о своевременности и симптоматичности представленной панорамы.

[44] Как явствует из письма Перцова к отцу (24 октября / 5 ноября 1897 г.), от близкого сотрудничества в «Северном вестнике» он уклонялся главным образом по причине редакторского диктата Волынского: «...насколько в “Богат[стве]” дело стоит очень чисто и хорошо, но мне нельзя там писать из-за моих взглядов, настолько в “Сев[ерном] в[естнике]” взгляды приблизительно совпадают с моими (или, вернее, не очень им противоречат), но нельзя писать по причинам личным. <...>Статья, которую я сейчас пишу, очень подходит по содержанию к “Сев[ерному] вест[нику]”, но я ее туда и предлагать не стану, п[отому] ч[то] не хочу, чтобы мне ее испачкали сокращениями и вставками по усмотрению г. Волынского. И между тем больше не знаю ни одного журнала, куда бы она подходила» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 75).

[45] См.: *Сапожков С.В.* Русские поэты «безвременья» в зеркале критики 1880—1890-х годов. М., 1996. С. 92—94.

Своих стихов Перцов в антологию не включил, хотя именно в ней они оказались бы чрезвычайно уместны. Писавший в русле традиций, восходивших к эстетическому триумвирату (Фет—Майков—Полонский), который осознавался как действенная и убедительная оппозиция по отношению к господствовавшему «утилитарному» течению[46], Перцов-стихотворец так и не сумел выработать собственный поэтический голос; стилистика его стихов лишена неповторимо индивидуальных примет, это — стилистика фетовской школы, и только. Как поэт Перцов всецело принадлежит эпохе промежутка, отраженной в «Молодой поэзии»; литератором промежутка он выступает и в других сферах своей писательской деятельности. Отвергнув идейно-эстетические заветы народнической, позднеразночинной эпохи, он так и не стал последовательным адептом новых заветов, провозглашенных «новым искусством» и «новым религиозным сознанием». В своей критике и публицистике он больше ориентируется на «старые» ценности, обретаемые в литературе минувших десятилетий, и с изрядным скепсисом и настороженностью воспринимает многие литературные новации, свершающиеся у него на глазах; подобно символистам, преклоняется перед Тютчевым и Фетом, отрицает «утилитаризм» и проповедует «идеализм», приоритеты искусства, но безраздельным приверженцем символистских духовных и творческих устремлений не становится — при том, что эволюция эстетических и общественных взглядов Перцова способствовала его сближению с кругом символистов.

Стремление к системным построениям отразилось еще в одном осуществленном литературном проекте Перцова тех лет — составленном им сборнике «Философские течения русской поэзии» (СПб., 1896); для него были отобраны произведения 12-ти поэтов, сопровождавшиеся аналитическими очерками (статьи об Огареве, А.К. Толстом, Полонском, Апухтине и Голенищеве-Кутузове написал сам Перцов). Весь материал сборника представлял собой попытку раскрытия одной проблемы — отражения в художественном творчестве вечных тем бытия и их преломления в миросозерцании и эстетическом сознании художника. Примечательно, что один из рецензентов сборника, нашедший неосновательным подход к поэзии «под знаком философии» и отрицательно отозвавшийся об очерках Перцова в нем, отметил соответствие статей сборника «духу эстетической критики 1840-х годов»[47].

Осмысляя в 1898 г. проделанный им путь внутреннего развития, Перцов писал А.Г. Горнфельду: «Некогда Гарин <...> назвал меня “несобранным”. И вот теперь, если не ошибаюсь, “сборка” закончилась, по крайней мере, в “общих чертах”. Не скажу, чтобы результаты были особенно приятны. Правда, я не сжег ничего из того, чему поклонялся, но за то поклонился многому из того, что сжигал»[48]. Письмо это было написано в Риме, во время одного из продол-

[46] См.: *Елизаветина Г.Г.* Литературная судьба А.А. Фета // Время и судьбы русских писателей. М., 1981. С. 174—183.

[47] *Глинский Б.Б.* Литературная молодежь // Исторический вестник. 1896. № 6. С. 939.

[48] Письмо от 2/14 февраля 1898 г. // РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421.

жительных пребываний Перцова за рубежом (начиная с 1894 г. он совершил за свою жизнь 11 поездок за границу, в том числе 5 раз подолгу жил в Италии), где он «поклонился», в частности, искусству итальянского Возрождения — в полном равнодушии к которому признавался на заре своей литературной карьеры в Казани. Для духовно-психологической «сборки» Перцова заграничные впечатления имели исключительно важное значение; в своей совокупности они составили для него «второй университет»[49]. Эти впечатления дали возможность осязательно постичь мир европейской культуры, осмыслить различные ее типы; они способствовали формированию и структурированию его собственных историософских и культурологических представлений. Сам Перцов склонен был объяснять свой «европоцентризм» тяготениями специфически национального свойства, подмеченными у россиян еще Достоевским. «Я думаю, что Достоевский <...> был прав, когда мечтал о “всечеловечестве” русского человека, — писал Перцов А.С. Суворину 26 марта 1900 г. — В этом “всечеловечестве” — в этой способности почувствовать *чужое* как *свое*, — и заключается, как мне кажется, корень нашего влечения и нашего увлечения чужим. Так ведь повелось еще со времен варяг и греков. <...> А ввиду таких больших горизонтов, может быть извинительна и “центробежность” Вашего покорнейшего слуги <...>»[50].

Первым плодом «центробежных» тяготений Перцова стала его книга «Венеция», которую сам он впоследствии называл «любимой моей книжкой»[51]. Написана она была осенью 1897 г., развившись из дневниковых записей «туристических» впечатлений и размышлений по поводу увиденного: «...сперва начал записывать, потом писать, а потом уж забыл и глядеть, а только знай себе пишу. В конце концов получается статья о Венеции и главным образом о венецианской живописи <...> чуть не целая книга»[52]. «Венеция» — единственная книга Перцова, вызвавшая в печати единодушно высокую оценку: «В непритязательной, но изящной самой своей непритязательностью, форме беглых заметок автор дает нам ценный исторический очерк венецианского искусства» (И.Ф. Анненский)[53]; город описан «яркой и сочной кистью» (Н.Н. Брешко-Брешковский)[54]; книжка Перцова «заражает чувством Венеции» и дает «как бы

[49] Характеристика из письма Перцова к А.Г. Горнфельду от 19/31 мая 1897 г. (Там же).

[50] РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Ед. хр. 3236.

[51] Письмо к А.В. Звенигородскому от 30 декабря 1925 г. // РГБ. Ф. 218. Карт. 1071. Ед. хр. 39. «Венеция» впервые была опубликована в «Новом Пути» (1903. № 3 — под заглавием «Венеция. Путевые очерки», подпись: Владимир Ф.; № 8, 9 — под заглавием «Венеция и венецианская живопись»); отдельное издание — «Венеция» (СПб., 1905), 2-е издание, пересмотренное и исправленное — «Венеция и венецианская живопись» (М., 1912).

[52] Письмо Перцова к отцу от 24 октября / 5 ноября 1897 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 75.

[53] Журнал Министерства народного просвещения. 1906. Ч. 5. № 9. Отд. III. С. 91–92.

[54] С.-Петербургские ведомости. 1906. 14 марта.

формулы этого очарования»[55]; «одно из больших достоинств книги — обилие чудесно написанного венецианского пейзажа, венецианской природы и жизни. В этих описаниях <...> много артистического, хотя и безбурного чувства» (А.Б. Дерман)[56] и т. д. «Пассивный созерцательный художник»[57], Перцов сочетал непосредственные личные впечатления и эмоционально-аналитические оценки памятников венецианской архитектуры и живописи с историко-психологическими экскурсами, в совокупности дававшими цельное представление о специфических особенностях венецианской культуры. К «Венеции» вполне приложима характеристика, данная Перцовым другой, гораздо более прославленной книге на сходную тему — «Образам Италии» П.П. Муратова: автор «сумел сохранить изысканность, оставаясь общепонятным, и быть беспристрастным, не поступаясь субъективностью вкусов»[58]. Перцову принадлежат и другие циклы очерков, аналогичные «Венеции», — «Флоренция» (1914) и «Очерки Испании» (1911—1915); публиковавшиеся в газетах[59], они так и не были изданы отдельными книгами.

В своих очерках и статьях Перцов, раскрывая, как правило, локальные, конкретно очерченные темы, в то же время пытался осмыслить их как часть глобального целого; в любой исторической фигуре, в любом общественном явлении, попадавшем в поле его зрения, он распознавал черты некоего общего культурно-типологического феномена. Та же «Венеция» наглядно демонстрировала умение автора осмыслять любые формы искусства и быта в системе мирового культурного развития. Стремление к анализу частных явлений как необходимых элементов выстраивающейся всемирно-исторической конструкции присуще и многочисленным газетным статьям Перцова: любую из них подкрепляет общая идея, впрямую не сформулированная, но угадываемая, подразумеваемая, над обоснованием которой писатель трудился не одно десятилетие.

С 1897 г. и до конца своих дней Перцов работал над фундаментальным философским сочинением «Основания космономии» (или «Основания диадологии»), краткую характеристику которого он дал в приведенном выше «Curriculum vitae». Пытаясь вывести универсальную формулу мироустройства — мировой морфологии — и эволюции мировой культуры, он противопоставлял европейскому антропологизму начала «русского космизма». Развитию своей концепции Перцов мог уделять необходимое внимание лишь во время не слишком продолжительных перерывов в текущей работе — редакторско-издательской и критико-публицистической журналистской деятельности, порой отнимавшей

[55] Рус. богатство. 1913. № 3. С. 373. Без подписи.

[56] Заветы. 1912. № 6. Отд. II. С. 177.

[57] *Розанов В.В.* Среди художников. СПб., 1914. С. 411.

[58] *Перцов П.* Книга об Италии // Новое время. 1911. 27 марта.

[59] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 23—25 (скомпонованные Перцовым подборки газетных публикаций).

у него все силы. Предварительных публикаций фрагментов из своей книги он своевременно не предпринял, а в конце 1920-х гг., когда его произведение приобрело более или менее законченные формы, помышлять о его обнародовании в большевистской России, где никакой современной философии, кроме «диамата», существовать не могло, уже, конечно, не приходилось. С горечью осознавая невостребованность своих трудов в условиях нового режима, Перцов более всего сокрушался о безнадежной судьбе главного и любимого — философского — детища: «...настоящие мои работы лежат в параличе... <...> ведь у меня на руках ребенок с серьезнейшим будущим — эмбрион (и больше, чем эмбрион) новой и самостоятельно-русской философии, завершение и подлинное раскрытие славянофильства. <...> Это во мне растет, как какой-то внутренний процесс, — *с января 1897 г.,* а теперь ребенок этот вырос и развился настолько, что хочет наружу... “Сидеть” с этим довольно-таки скучно, — особенно когда знаешь, что мог бы одним движением неузнаваемо изменить “течение умов”»[60].

«Эмбриональный» период развития системы «мировой морфологии» нашел отражение в ряде печатных выступлений Перцова на рубеже XIX—XX вв. — в журналах «Вопросы философии и психологии», «Наблюдатель», «Русское обозрение», «Мир Искусства», в газетах «Новое время» и «Русский труд», в «Торгово-промышленной газете». Критико-публицистические статьи 1898—1901 гг., а также путевые очерки «Царьград и Афины», написанные по впечатлениям поездки в Константинополь и Грецию летом 1899 г. и содержащие важные для автора историософские заключения, составили его книгу «Первый сборник», в которой были обозначены главные идеологические установки мировоззрения Перцова, каким оно окончательно определилось в конце 1890-х гг. Статьи первого раздела сборника («Славянофильство») объединены идеей «культурного всеславянского единства», обосновываемой в различных аспектах: марксизм на русской почве трактуется как новейший «воздушный замок» и показатель «оскудения подражательных течений русской мысли» («Психология русского марксизма»), фигура Герцена, провозглашаемого «одним из лучших русских писателей» (в 1899 г. Перцов пытался издать в России собрание его сочинений), — как «психологический мост между русским либерализмом и славянофильством» («А.И. Герцен»), толстовство — как «промежуточная форма» «между прошедшим русским реализмом и наступающим русским идеализмом», мыслимым как национальное движение («“Воскресение” и толстовцы»)[61]. Проникнутый, по

---

[60] Письмо к Д.Е. Максимову от 24 октября 1930 г. // РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Машинописный текст, рукописные варианты и черновики философского труда Перцова хранятся в его фонде в РГАЛИ (Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 1—11). 1-я глава этого труда, содержащая изложение основной концепции автора, опубликована нами по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Д.Е. Максимова; см.: Полярность в культуре. СПб., 1996. С. 204—243.

[61] *Перцов П.* Первый сборник. СПб., 1902. С. 36, 37, 41, 75.

оценке Конст. Эрберга (К.А. Сюннерберга), «бодрым оптимизмом и верой во все самобытно-русское»[62], «Первый сборник», однако, вызвал и сожаления о том, что автор «ни единою строкою не помогает читателю разобраться в том, где же пути для нашего национального самосознания»[63].

Неославянофильские идеологические установки Перцова закономерным образом отражались в постоянном скептическом отношении к новейшим либерально-«западническим» и радикально-демократическим тенденциям общественной мысли (в этом плане давние «эстетические» разногласия с платформой «Русского богатства» послужили первотолчком к переоценке ее идейных основ); специфика же этих установок заключалась в неприятии государственно-бюрократического консерватизма и монархизма, в котором Перцов видел вариант западного индивидуалистического цезаризма, чуждого подлинно русскому соборному началу. Вполне определенно заявленные идейные предпочтения при этом сочетались у него с широтой и недогматичностью воззрений и аналитических оценок: в своих неославянофильских убеждениях он мыслил и ощущал себя прямым наследником, опять же, русских идеалистов 40-х годов, испытывая равный пиетет как к Хомякову и Киреевскому, так и к «западникам» Герцену и Грановскому; считал необходимым в новых идейных построениях опираться на все ценное и значимое в истории русской культуры и русской мысли. Полемизируя с Розановым по поводу его «антилиберальных» выступлений в печати, Перцов выносил свой диагноз: «Это утрированный Восток, восстающий против утрированного Запада. Здесь та же добровольная слепота, та же воспаленность мысли, то же догматизирование собственных взглядов, та же анафема несогласно-верующим. <...> Вы зовете нас назад — к черному собору Соловецкого монастыря, к Александровской слободе, к московским застенкам и московскому сну наяву, а народ — тот же самый Вами представляемый и на этот раз уже бесспорный, фактический русский народ отвечает Вам... Ломоносовым, Карамзиным, Пушкиным, Тютчевым, славянофилами, Страховым. <...> Вот я — русский человек, который смеет думать, что он предан своей стране не меньше Вас и не меньше Вашего думает об ее истории и жизни. И ни малейшей не вижу я надобности перекрашивать прошедшее и настоящее под цвет моего флага. Я принимаю нашу историю и жизнь, как они были, и оттого нисколько не менее верю в будущее <...> истинный консерватизм, точнее, подлинная русская культура достаточно сильна, чтобы не требовать своего насаждения огнем и мечом. <...> По всему прошедшему, по воспитанию, по привычкам, по образу жизни я — типичный русский "барич", и, однако, смею Вас заверить, никогда, даже в бытность мою русским либералом, не чувствовал себя отрезанным ломтем от народно-

[62] Новое время. Иллюстрированное приложение. 1903. 5 февраля. С. 10—11. Подпись: К. С—г.

[63] Литературный вестник. 1903. Кн. 5. С. 59. (Рецензия А.П. Налимова.)

го каравая. <...> Мне не нужно смиряться перед народом, так же как нельзя гордиться перед ним, п[отому] ч[то] я сам — народ»[64].

Историософские взгляды и общественно-политические устремления Перцова предполагали отказ от ретроспективных идеалов старого славянофильства, а также от исчерпавшей себя тяжбы с Западом, и обоснование идеи нового славянского мира как становящегося историко-культурного целого, грядущей новой интеграции. В статьях, объединенных в сборнике «Панруссизм или панславизм?» (написанных в основном в период боснийского кризиса 1908 г. и стимулированного им в русском обществе неославянофильского движения), он противопоставляет отжившему «панруссизму» старого славянофильства, его утопизму, «досадному прекраснодушию» и «дешевой удовлетворенности» «панславизм» на новый лад: «Ново-славизм — прежде всего политический реализм, трезвость зрелого возраста, заменяющая эстетические грезы и пристрастия юности “практическим” взглядом на вещи, “как они есть”. <...> Осуществление общеславянской культуры может дать только *равнодействующая* всех частных культур и психологий, впадающих в общее русло»[65]. В этой связи Перцов констатирует глобальную отсталость России в экономической жизни и политических формах, более того, отсталость «самой народной психологии, самой “души”, “психеи” данного народа» — и предлагает (вполне в традиции своих «центробежных» устремлений) «всем нашим “самобытникам”», возводящим свою «старомодность» в норму жизни, «попросту съездить за границу <...> для излечения психического зрения»[66]. Считая насущно необходимым для России переместиться из первой половины XIX в., где она, по его убеждению, продолжает пребывать, в первую половину XX в., Перцов отказывается лишь от ретроспективных идеалов родоначальников славянофильства, но разделяет их убежденность в том, что «славянский мир не только вариант западного, <...> а некое новое “целое” — самостоятельная планета, хотя и не горящая еще полным светом»[67]. Апеллируя к «практическим» критериям в выстраивании общих выводов и положений, Перцов, однако, в своих предчувствиях и предвестиях «ново-славизма» не сумел выйти за пределы отвлеченного умозрения — что не осталось незамеченным. В отклике на его книгу филолог-славист А.Л. Погодин, придерживавшийся либерально-кадетских взглядов, утверждал, что сама жизнь устранила «славянский вопрос», что ныне «существует больше того, что разъединяет славянские народы, чем того, что их соединяет»; разделяя мысли Перцова об «историческом анахронизме» России в семье европейских народов и даже сопоставляя их со взглядами П.Я. Чаадаева, Погодин призывал Перцова сделать логически вытекающие из его построений выводы о том, что «панрус-

[64] Письмо к В.В. Розанову от 15 ноября 1896 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77.
[65] *Перцов П.* Панруссизм или панславизм? М., 1913. С. 9.
[66] Там же. С. 25—26, 59.
[67] Там же. С. 48.

сизм давно погребен, а панславизм, немыслимый без России, превратился из здоровой политической идеи в прекрасную мечту поэта»[68].

Из всех литературных начинаний, с которыми было связано имя Перцова, наиболее общественно значимым оказалось издание в 1903—1904 гг. в Петербурге литературного и религиозно-философского журнала «Новый Путь» (Перцовым были предложены его название и форма). Журнал возник как печатный орган Религиозно-философских собраний, посвященных диалогу между представителями интеллигенции и церкви и попыткам нового осмысления христианских заветов. С января 1903 г. Перцов — официальный редактор-издатель «Нового Пути», наряду с ним во главе журнала стояли Мережковский и З.Н. Гиппиус[69]. В программной статье за подписью Перцова, предпосланной журналу, противопоставлялись задачи нового издания ранее обозначившимся идейным веяниям — «самодовлеющей эстетике» (декадентство), «умозрительному идеализму» и «отрицательной гражданственности» (марксизм): «Мы стоим на почве нового религиозного миропонимания. Мы поняли, что осмеянный отцами "мистицизм" есть единственный путь к твердому и светлому пониманию мира, жизни, себя <...> Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев — вот наша родословная. Постепенное раскрытие и уяснение новой религиозной мысли в последовательности этих имен — вот основание наших надежд, залог нашего будущего»[70]. Предоставив значительную сумму для издания «Нового Пути» и неся за него официальную ответственность, Перцов, однако, не был фактическим руководителем журнала и мало участвовал в редакционно-издательском процессе (большинство забот по формированию журнала приняла на себя Гиппиус) — отчасти потому, что постоянно жил в Казани и появлялся в Петербурге более или менее продолжительными наездами; отчасти по причине быстрого охлаждения к начатому делу и разуверения в его перспективах (что, в свою очередь, привело к обострению отношений с соредакторами). На деле религиозно-мистические устремления и общественно-церковные темы, доминировавшие в «Новом Пути» и представлявшие живой интерес прежде всего для Мережковских, волновали его в гораздо меньшей степени, чем проблемы «умозрительного идеализма», не отвечавшие программным установкам издания. В процессе издания «Нового Пути» Перцов старался приобщить к журналу яркие литературные силы (в частности, содействовал поэтическому дебюту в нем А. Блока), но, убедившись в неосуществимости своих попыток

---

[68] Биржевые ведомости. Утренний вып. 1913. № 13709. 21 августа.

[69] См.: *Максимов Д.* «Новый Путь» // Евгеньев-Максимов В. и Максимов Д. Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Л., 1930. С. 129—254; *Корецкая И.В.* «Новый путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 179—233.

[70] Новый Путь. 1903. № 1. С. 5—6.

превратить «Новый Путь» «в действительно крупный *литературный* орган нового направления»[71], в феврале 1904 г. принял решение отойти от журнала (в № 6 за 1904 г. редактором-издателем «Нового Пути» значится, помимо Перцова, Д.В. Философов, в № 7 редактор — Философов).

После ухода из «Нового Пути» отношения Перцова с представителями «нового» искусства пошли на убыль, а связи с Мережковскими оказались фактически разорванными: Перцов не приемлет их политического радикализма в период революции 1905 г. и в последующие годы. Очередное литературное пристанище он обрел в газете, которую основал его двоюродный брат Н.Н. Перцов. В биографической справке о нем Перцов сообщает: «...нажив огромные деньги на постройке порта имп. Александра III в Виндаве (около полмиллиона), он вдруг вздумал издавать большую газету в Петербурге ("Слово"), не имея до того никакого касательства к литературе. Разумеется, пришлось пригласить случайных людей, которые налетели со всех сторон и живо расклевали пирог: через 1 1/2 года (газета выходила с декабря 1904 г. по июль 1906 г.) Ник. Ник. разорился совершенно, газету продал П.Б. Струве, а сам вернулся к инженерии»[72]. В «Слове» Перцов вел «Обзор печати», опубликовал множество своих статей, а с января 1906 г. стал редактором литературного приложения («Понедельники газеты "Слово"»), к участию в котором привлек многих значительных писателей — Брюсова, Блока, Ф. Сологуба, И.Ф. Анненского и др. После перехода «Слова» осенью 1906 г. к другому издателю Перцов сотрудничества в газете не возобновлял и вообще на какое-то время почувствовал себя не у дел: «...из тех газет, какие существуют, — в революционные и кадетские меня не примут, да я и не могу писать ничего для них подходящего, а в реакционные и сам не пойду, да опять-таки и для них не гожусь»[73]. Работе в столичных печатных органах не способствовали и изменившиеся личные обстоятельства: в 1906 г. Перцов сблизился с Марией Павловной Перцовой, бывшей женой двоюродного брата, В.В. Перцова[74], и, по причине слабого здоровья ее и пасынка, обосновался в Крыму. С осени 1910 г. он поселился вместе с семьей в Москве.

С сентября 1908 г. Перцов возобновил активное сотрудничество в «Новом времени». Сделал этот шаг он не без колебаний, памятуя о нелестной репутации, которую имело в глазах широкой общественности суворинское издание. «Газета явно гаснет, — делился он своими сомнениями в письме к Розанову от 13 июля 1908 г. — <...> Внутри — пустыня. Никого кроме друга нашего, Миши Меньшикова. Суворин стар; через 2-3 года что будет? А "нововременство" раз

[71] Письмо Перцова к В.Я. Брюсову от 30 июля 1903 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 11.

[72] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 68—69.

[73] Письмо П.П. Перцова к отцу от 12 ноября 1906 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 76.

[74] 27 ноября 1907 г. Перцов писал отцу из Ялты: «Уже много лет тому назад я полюбил Марью Павловну, жену двоюр[одного] брата Володи, и так как я встретил с ее сторо-

навсегда "портит будущее" — пусть это предрассудок, но он есть, он факт, и с ним нельзя не считаться. "Субъективно" — правда, в "Нов[ое] время" мне всего легче, ибо меня там знают»[75]. Последнее обстоятельство, видимо, и стало для Перцова решающим — наряду с осознанием того, что вполне «своего», во всем созвучного его требованиям и умонастроениям печатного органа попросту не существует. В том же письме к Розанову он заключал свои рассуждения по поводу «Нового времени» сакраментальной сентенцией: «...мой минус (как и Ваш) — *вне-* и *бес-*партийность. В России нужно быть непременно "причисленным к". Без того нет "карьеры". Посмотрите, как выгодно сейчас служить в Декадентском Главном Управлении, не говоря уже о Департаменте Левых».

Тематический диапазон газетных выступлений Перцова чрезвычайно широк: вопросы текущей политики, отклики на события повседневной жизни, путевые очерки (частично под рубрикой «Попутные заметки»), отдельные образцы художественной прозы (в этом жанре он выступал еще в начале 1890-х гг. в казанских газетах), юбилейные статьи о деятелях русской и мировой культуры, рецензии, статьи о современной литературе (частично под рубрикой «Литературные заметки»), фельетоны (в том числе полемико-иронические заметки по поводу различных выступлений в печати, составившие цикл «Литературные ракушки», который Перцов помещал в «Новом времени» под псевдонимом «Искатель жемчуга»). В историко-культурных экскурсах Перцова центром наибольшего притяжения по-прежнему остается эпоха 1840-х годов: высоту умственного мира людей этого времени воплощает Герцен, который «возвышается над ним, как Гете над Германией XVIII века» («Западник-москвич»)[76], а красоту — Грановский, «одно из самых *красивых* имен русской истории и русской духовной жизни», «едва ли не самая *художественная внутренно фигура* — поэт не литературного творчества, а своей личности» («Рафаэль сороковых годов»)[77]; художественные вершины этой эпохи — Фет, Полонский, Майков: «трехгранный самоцвет», «самые лирические поэты» русской поэзии, «певцы интимной стороны человеческой жизни, чисто личных переживаний», «эти поэты — женская сторона нашей литературы» («Памяти Я.П. Полонского»)[78].

Своими газетными статьями Перцов подтверждает мнение Розанова о нем как о «критике конструкционисте», которого «более всего занимают конструк-

---

ны ответное чувство, то осенью прошлого года она оставила Казань, и мы живем с того времени вместе. Мы любим друг друга вполне серьезно, и вообще, по внутреннему смыслу нашего чувства, можем назвать друг друга мужем и женой, в настоящем значении этих слов. Что же касается внешней стороны, то оформить ее, т. е. обвенчаться, нам можно будет, вероятно, еще не так скоро, так как развод займет немало времени. Володя согласен на него <...>» (Там же).

[75] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 84.

[76] Голос Москвы. 1912. 25 марта.

[77] Новое время. 1913. 9 марта.

[78] Там же. 20 октября.

ции всемирной истории»[79]. Любая историческая фигура осмысляется искателем законов «мировой морфологии» как проявление общего культурно-типологического феномена, как часть целого, имеющая соответствия — по сходству или по контрасту — с другими его частями. Так, творчество Державина с его «упоением природной жизнью» отражает «психологию раннего возраста народа, <...> еще не исчерпавшего себя и своих сил и даже не сознавшего их границ» («Столетний юбилей Державина»)[80], а успех Надсона — свидетельство духовно-психологической незрелости русской демократической интеллигенции 1880-х гг.: «Поэт-отрок новой отроческой полосы русской истории — таково психологическое определение Надсона и такова его историческая роль» («Надсон»)[81]. Н.Н. Страхов — «мудрый старик», вынесший «всю тяжесть *созерцательного* призвания» — осмысляется по контрасту с «юношей» Н.А. Добролюбовым, посвятившим себя «злободневной журнальной сутолоке», а также в аспекте противостояния «тихого» творчества «консерваторов» «шумной литературе “левого” лагеря» («Н.Н. Страхов»)[82]; напротив, Михайловский 1890-х годов, «с его слепой и нетерпимой радикальной цензурой», помещается в один ряд «с его “правым” антиподом — таким же “охранителем” à outrance» К.П. Победоносцевым: «Они противоположны друг другу и в то же время как-то эстетически и необходимо дополняют друг друга. <...> Наследники богатых традиций, сами они не оставили после себя ни обширного лично-ценного труда, ни прямых преемников своего дела. Как личности, они <...> сами пали жертвою возвеличивших их традиций» («Наследник традиций»)[83]. Аналитический метод Перцова часто подводил его к выводам, контрастировавшим с установившимися критическими мнениями; например, распространенной идее о «конце Горького» он противопоставил убежденность в положительном развитии творчества писателя: как художник Горький усовершенствовался, «кончилась только мода на него, т. е. прошла та полоса общественной психологии, с которой был связан бунтарско-бескультурный дух ранних его рассказов» («Рождение человека»)[84]. В целом статьи, написанные в предреволюционное десятилетие и рассеянные по сотням газетных номеров, подтверждают правомерность позднейшей оценки Перцова, данной М.В. Нестеровым: «Он, как критик, работает с мастерством большого художника»[85].

---

[79] *Розанов В.* Письмо в редакцию // Мир Искусства. 1900. № 9/10. С. 206.

[80] Приднепровский край. 1916. 8 июля.

[81] Голос Москвы. 1912. 19 января. В том же аспекте Перцов проводит параллели между Надсоном и Писаревым, а также Т. Майн Ридом: все трое — выразители отроческой психологии (*Перцов П.* Кумиры молодости // Перцов П. Первый сборник. С. 164—167).

[82] Новое время. 1916. 25 января.

[83] Там же. 1914. 27 января.

[84] Голос Москвы. 1912. 9 мая.

[85] *Нестеров М.В.* Письма. Л., 1988. С. 446 (письмо к В.Г. Лидину, август 1942 г.). Анализу статей Перцова о русских классиках посвящено диссертационное исследование

Революционные события 1917 года и конец царствования «Николая Гнилого» (как он величал последнего императора) Перцов встретил, подобно большинству русской интеллигенции, с воодушевлением («...я, конечно, рад перевороту <...>, всецело за республику. Вижу великие горизонты, вдруг распахнувшиеся впереди, хотя и ранее уже мерещившиеся»[86]), которое, однако, очень скоро сменилось самыми мрачными предчувствиями: «Ну, Рассеюшка! Похоже, что и эта наша революция оказывается, как и все прежние (Смутное время; 1905 г.), *только* бунтом — русским бунтом, “бессмысленным и беспощадным”»[87]; «...впереди, конечно, ужас <...> для нас всех. Кончится, вероятно, страшной и общей катастрофой»[88]. Когда эти предчувствия воплотились в жизнь, Перцов заметил в связи с последним, предсмертным произведением Розанова «Апокалипсис нашего времени»: «Приходится признать, что это были предсмертные страницы не одного только Розанова. <...> По-моему, самым благоразумным и самым счастливым (как всегда) из современников явился Бальмонт. Следовало бы нам всем последовать его примеру»[89]. Однако вырваться, подобно Бальмонту, за границу Перцову не довелось. В 1922 г., узнав об аресте с последующей высылкой за границу десятков крупнейших представителей русского культурного сообщества, он признавался: «Я бы хотел такого наказания — не придумаешь только, как бы его заслужить»[90].

В пореволюционные годы Перцов длительное время жил в Костромской губернии (одно время преподавал в Костромском университете), бывая в Москве наездами; работал в Музейном отделе Наркомпроса и в Отделе охраны памятников искусства, занимался спасением художественных ценностей в Казанской губернии, в Москве и в Подмосковье[91]. В Москве участвовал в неофициальных собраниях и диспутах интеллигенции — пока это еще было возможно. Сохранились тезисы его выступлений о Шпенглере (у Г.И. Чулкова, ноябрь 1922 г.), а также на темы «О государстве» (июнь 1923 г.), «Три формы

М.Ю. Эдельштейна «Концепция развития русской литературы 19 века в критическом наследии П.П. Перцова» (автореферат — Иваново, 1997); см. также его статьи «Комедия Н.В. Гоголя “Ревизор” в трактовке П.П. Перцова» (Филологические штудии. Иваново, 1995. С. 146—152), «П.П. Перцов: проблема критического метода» (Русская литературная критика серебряного века. Новгород, 1996. С. 69—71), «Образ Пушкина в критическом наследии П. Перцова» (Наш Пушкин: Юбилейный сборник статей и материалов. Иваново, 1999. С. 70—82), «П.П. Перцов о К.Д. Бальмонте» (Творчество писателя и литературный процесс: Слово в художественной литературе, стиль, дискурс. Иваново, 1999. С. 80—88).

[86] Письмо к В.В. Розанову от 20 марта 1917 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 87.

[87] Письмо к В.В. Розанову от 16 апреля 1917 г. // Там же.

[88] Письмо к жене от 17 мая 1917 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 69.

[89] Письмо к Б.А. Грифцову от 1 декабря 1920 г. // РГАЛИ. Ф. 2171. Оп. 1. Ед. хр. 61.

[90] Письмо к жене от 13 августа 1922 г., приведено в статье Г. Давыдовой «Здесь все теперь воспоминанье...» (Костромская старина. 1998. № 10/11. С. 50).

[91] См.: *Кончин Е.* Нет, не эпизод в биографии // В мире книг. 1980. № 4. С. 73—74.

власти» (26—27 августа 1923 г.), «Куда идет Россия?» (у Бердяева, 27 декабря 1921 г.)[92]. В тезисах последнего выступления, возводя начало крушения России к «роковому 1915 году» — военным поражениям весны и лета, Перцов пытался выявить глубинные корни революционной «самоизмены» («Пусть эта самоизмена России — гнусна, но должно быть объяснение и для гнусности») и находил их в имперской сущности России как «насильственного единства», проявлявшейся как в государственном устройстве, так и в «нетерпимости русского радикализма» («Николай Добролюбов — pendant к Николаю Романову»): «Так вплоть до Ленина, который является естественным наследником всего предыдущего, вполне "русским" (чрезвычайка; казни; цензура). *Всё это тип Великороссии.* <...> Это не есть только проявление якобы "немецкого" и "европейского" Петербурга — напротив: *сам* Петербург есть одно из проявлений великорусского духа. *Он есть Россия, а не Европа*: в Европе нигде не было ничего подобного <...>. *Великоросс неспособен к свободе*: он недостаточно индивидуален, слишком эпичен для нее <...>. *В этом корень всего.* Отсюда неизбежное крушение России — Великороссии: в нашем XX веке нужно уметь быть свободным. <...> Россия вдруг почувствовала себя "конченной", как Империя, — и полезла на печку отдыхать от двухвековых имперских трудов. "Народ" в конце концов прав (инстинкт, как у зверя)». Делая эти выводы — во многом созвучные с теми, к которым тогда же приходили Бердяев, Аскольдов и другие авторы сборника «Из глубины» (1918), а также Волошин в историософских стихах тех лет, — Перцов, однако, в очередной раз предлагает свою панацею — идею всеславянства, соединения православных и католических элементов в одно целое: «Только объединение Всеславянства возвращает нам наши надежды и смысл русской истории»[93].

Промелькнувшее в печати замечание о том, что Перцов «после революции <...> вполне интегрировался в советскую культуру»[94], можно объяснить либо огорчительным недомыслием, либо незнанием фактов. Его не арестовывали, даже не отправляли в ссылку — и в этом отношении годы, прожитые им при советской власти, правомерно охарактеризовать, с оглядкой на многие другие судьбы, как относительно благополучные; однако к механизмам функционирования «советской культуры» Перцов не был причастен ни в малой мере. Представление о своем месте в новой действительности у него было самое трезвое и отчетливое: «...кругом поднялось "племя младое, незнакомое", с которым и языка-то общего нет, а все свое — на кладбище или на путях к нему»[95].

---

[92] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 28.

[93] Там же. Л. 3 об. — 5. Развитие той же идеи — в позднейших (1929—1944) заметках «О Новой Церкви» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 33).

[94] *Агурский М.* У истоков национал-большевизма // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 4. Paris, 1987. С. 143.

[95] Письмо к А.Г. Горнфельду от 14 февраля 1926 г. // РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421.

Драматизм этого положения особенно усугублялся тем, что Перцов ощущал в себе живые потенции для творчества, способности к новым и по сути уже итоговым опытам самовыражения (сам он осознавал себя принадлежащим к типу «позднего цветения»[96]), но опубликовать самое значимое и существенное из написанного был не в состоянии. В рукописи осталась, помимо главного философского «исповедания веры», фундаментальная «История русской живописи» от эпохи Петра I до современности (объемом в 36 печатных листов), не удалось напечатать и замечательные «Литературные афоризмы», окончательно оформленные в 1920—1930-е гг., — своего рода перцовские «опавшие листья», синтез многолетних размышлений автора о личностном потенциале и природе творчества классиков русской литературы[97]. Отчужденность от печати закономерно сопровождалась тяжелой и постоянной материальной нуждой. Борясь с нею, Перцов выпустил в 1920-е гг. несколько художественных путеводителей; эти книжки, выполняя свое прикладное назначение, имели также и самостоятельную — «контрабандную» — историко-культурную ценность. Так, очерк «Щукинское собрание французской живописи» (М., 1921) включает в себя общую характеристику эволюции живописи от эпохи классицизма до Матисса и Пикассо, тонкий эстетический анализ творчества крупнейших французских мастеров с использованием характерных для Перцова «конструкций» — историко-психологических и типологических параллелей из литературы и живописи: Э. Мане — Г. Флобер, К. Писсарро — братья Гонкур, О. Ренуар — А. Доде; триада титанов Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль) и триада величайших новейших реформаторов живописи, отразивших символическое восприятие, — соответственно П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.

Одной из немногих литературных сфер, в которой писателю еще открывалась возможность выявить себя, оказалась мемуаристика. Первыми воспоминаниями Перцова, увидевшими свет, стала его небольшая книжка «Ранний Блок» (1922); в ней уже были налицо те особенности мемуарной манеры автора, которые отличают и его более поздние «Литературные воспоминания»: «объективный» стиль изложения, спокойная фактографическая манера, опора на документальные материалы (в тексте приводятся письма Блока к Перцову: это одна из первых публикаций эпистолярного наследия поэта). В последнем отношении образцом для Перцова, возможно, послужил столь любимый им Фет, автор «Моих воспоминаний», включающих десятки писем к нему ряда видных литераторов. Мемуары о Блоке были восприняты в большинстве критических отзывов очень сочувственно: «Написаны они с исключительной бережливостью к нежной теме, точно, языком простым и на редкость чистым» (Б.А. Грифцов)[98]; «В этюде Перцова чувствуется глубокая любовь к Блоку, как

[96] Письмо к А.В. Звенигородскому от 17 января 1926 г. // РГБ. Ф. 218. Карт. 1071. Ед. хр. 39.

[97] Опубликованы Т.В. Померанской в кн.: Российский архив. I. М., 1991. С. 212—236.

[98] Шиповник: Сборники литературы и искусства / Под ред. Ф. Степуна. № 1. М., 1922. С. 180.

личности, и не менее глубокое понимание Блока-поэта. Все это делает книжку очень ценным вкладом в литературу о поэте» (И.А. Оксенов)[99]; «Много незаменимых штрихов, все вместе — прекрасное, отвлеченное, замкнутое в грезе, мечте. Таким, вероятно, и был Блок этого раннего периода» (К.Г. Локс)[100].

Вслед за «Ранним Блоком» в 1926 г. появился мемуарный очерк «Русская поэзия 30 лет назад», послуживший прообразом книги «Литературные воспоминания. 1890—1902 гг.», которой суждено было стать одним из ценнейших источников для ознакомления с российской литературной жизнью конца XIX века. Литератор «промежутка», Перцов обрисовал переходную эпоху от «утилитаризма» к модернизму, в которую сформировалась и определилась его личность, опираясь в основном на факты своей биографии, но дал им такое освещение, при котором вехи пройденного жизненного пути выступают, опять же, как часть некой системы, как конкретное воплощение «бега времени» и «шума времени». И из собственной биографии Перцов включает в книгу лишь то, что, видимо, представлялось ему существенным главным образом в «общественном» плане: значимо отсутствуют в книге интимно-личные темы и мотивы, автор не стремится к раскрытию своего внутреннего мира, к описанию и толкованию событий своей индивидуальной жизни. Частному он предпочитает общее, исповеди — изложение и анализ «внешних» фактов. Работая над мемуарной книгой в расчете на скорейшее ее опубликование, Перцов не мог не считаться с дополнительной трудностью — необходимостью, по его словам, «проскользнуть между Сциллою нецензурности и Харибдою советской стилистики»[101], и это испытание он преодолел с честью. В «Литературных воспоминаниях» он не говорит всего, что мог бы сказать, однако и не говорит того, чего не хочет сказать; выдерживает собственный тон повествования, нимало не считаясь с теми оценочно-описательными нормами, которые при характеристике литературно-общественной жизни рубежа веков в советской печати были единственно допустимыми. Издательство «Academia», опубликовавшее в 1933 г. воспоминания, предпослало тексту Перцова, явно во избежание нареканий за выпуск в свет «ошибочной» книги, «идеологически выдержанное» предисловие Б.Ф. Поршнева (обычная издательская практика тех лет), в котором на тридцати страницах читателю преподносились «правильные» оценки лиц, фактов и явлений, освещенных мемуаристом лишь в меру собственного разумения.

Мемуарные очерки Перцова, написанные после «Литературных воспоминаний», уже несут на себе, в большинстве своем, отпечаток еще более ожесточившегося времени: в них — более осторожные и сдержанные характеристики, больше недоговоренностей, появляются — правда, в очень умеренных дозах — расхожие словесные клише, позаимствованные из арсенала казенной печати. Писатель не мог пренебречь возможностью хотя бы изредка публиковать свои небольшие мемуарные этюды, а также материалы из своего архива

[99] Книга и революция. 1922. № 8 (20). С. 50.
[100] Печать и революция. 1922. № 6. С. 283.
[101] Письмо к Д.Е. Максимову от 5 июля 1930 г. // РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34.

(который был им упорядочен, снабжен пояснениями и частично передан на государственное хранение): для поддержания минимального уровня существования требовались какие-то средства, помимо ничтожной «персональной пенсии». В попытках исправить бедственное положение была предпринята коллективная акция по приему престарелого литератора в Союз советских писателей[102]. Сохранилась стенограмма заседания Президиума Союза от 21 октября 1942 г., посвященного обсуждению новых кандидатур; в ней, в частности, значится:

«Тов. Бахметьев:

П.П. Перцов — старый литератор, один из организаторов символизма в литературе. Автор ряда мемуарных работ, автор ряда книг. Из наиболее известных работ его можно назвать "Рай-блок" (sic! — *А.Л.*), затем очень интересные работы «Литературные воспоминания». В последнее время Перцов работает над продолжением «Литературных воспоминаний» и над самостоятельной работой о Л.Н. Толстом. Рекомендуют его Дурылин, покойный Нестеров и Федорченко. Комиссия рассмотрела его вопрос и единогласно просит Президиум утвердить его членом Союза. Вполне квалифицированный старый литератор.

Тов. Фадеев:

Было письмо покойного Нестерова, очень рекомендующего Перцова, в котором говорится, что это чрезвычайно знающий и квалифицированный критик. По-моему, его необходимо принять.

(Принимается)»[103].

Такой саркастической метаморфозой откликнулась реальность на потаенные мысли Перцова о собственном «позднем цветении».

Скончался Перцов в Москве 19 мая 1947 г., погребен 21 мая на Алексеевском кладбище. Был подготовлен, по инициативе С.Н. Дурылина, некролог, в котором значились также подписи Т.Л. Щепкиной-Куперник, Н.Н. Гусева, А.М. Эфроса, Н.К. Гудзия, И.Н. Розанова, Н.Л. Бродского, А.А. Сидорова, А.В. Щусева, Н.И. Тютчева: умер «старейший из русских литературных и художественных критиков, отдавший писательству более 55 лет труда <...>. Чуткий критик, прекрасный мастер русской речи, один из образованнейших наших писателей, Петр Петрович в жизни был олицетворенная скромность. Все, знавшие его как писателя и человека, навсегда сохранят о нем теплую благодарную память»[104].

Некролог этот, направленный в «Литературную газету», опубликован не был.

А.В. Лавров

[102] См. очерк И. Андроникова «Рекомендация Перцову Петру Петровичу» (*Андроников И.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1975. Т. 2. С. 327—332).

[103] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 590. Л. 32. Постановление о принятии Перцова в Союз советских писателей зафиксировано в протоколе этого заседания (Там же. Ед. хр. 573. Л. 112).

[104] РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 3. Ед. хр. 247. Л. 491—492.

Литературные воспоминания



ГЛАВА I

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 90-Х ГОДОВ

Мое начало — Казанские газеты — Типы журналистов и редакторов — Воскресный фельетон — Провинциальные идеалисты — Профессиональные тернии — Цензура и ее курьезы — Казанский «отдельный цензор» Осипов — Поволжское народничество — Его варианты — К.В. Лаврский — Провинциальная беллетристика — Дебюты Горького — Поэзия — Отношение к искусству — «Фирсыч» — Репортеры — Газеты и публика — Как мы писали

Я родился литературно 10 апреля 1890 г. — на двадцать втором году от рождения физического. Как, почему люди «вдруг» начинают писать, как становятся писателями? Я не знаю, как это бывает у других. У меня же «это» началось просто: помню, ходил по комнате и без всякого «заранее обдуманного намерения» сел за письменный стол и написал две корреспонденции на местные темы (дело было в Казани). Послал в петербургские газеты: «Новости» Нотовича и «Неделю» Гайдебурова. И та и другая были тогда популярными органами. Обе статьи были напечатаны. Так и «пошло»...[1]

Упоминаю об этом, потому что «первый толчок» всегда интересен. Сотая, двухсотая статья пишутся уже по инерции, по должности «писателя». Но почему была написана первая? — Потому что написалась.

Хотя я дебютировал в столичной печати, но продолжать писание и развить его во всей доступной мере можно было только в печати местной, т. е. в данном случае казанской: я был не только уроженцем г. Казани,

но и прочным ее жителем, кончив там гимназию и кончая ко времени начала моего писательства Казанский университет (я кончил его в 1892 году)[2]. Тогдашний юридический факультет этого университета, где науки процветали умеренно, а в профессорском составе сохранялось еще немало анекдотических раритетов, оставлял достаточно досуга для литературных упражнений. Итак, с первых же шагов я стал провинциальным журналистом, или, в переводе на обывательский язык, «газетчиком».

В те, столь далекие от нас — не по времени только — 90-е годы прошлого столетия, последнее «свое» десятилетие старого режима, вся русская жизнь, а жизнь русской провинции в особенности, была так мало похожа на теперешнюю, что кажется каким-то сновидением. Эта провинция дремала тогда мирным обывательским сном и во многом сходствовала еще с гончаровской Обломовкой. В этом вековом и казавшемся несокрушимым царстве лени и простодушия никакие «отвлеченные» интересы не находили для себя благодарной почвы. По внешности, конечно, многое было «как в Европах», но, в отличие от подлинно культурных стран, никому по существу не нужно. Так было, между прочим, и с провинциальной литературой — в частности с провинциальной журналистикой. Эта последняя не столько существовала, сколько прозябала, в меру дозволения начальства и преодоления обывательского равнодушия. Даже в таком большом и сравнительно интеллигентном городе, как Казань, в начале 90-х годов газеты были тощие, питавшиеся в значительной степени крохами, падавшими со столбцов столичных органов. Поэтому в редакциях работали главным образом по ночам: в Казань столичная почта приходила тогда поздно вечером. С ее получением начиналось оживление: ножницы и клей — эти заметные редакционные фигуры — выступали на первый план. Звякали ножницы, шуршала бумага, клей быстро убывал... Всего, т. е. материала по всем отделам, нужно было готовить вдвое: у цензора были свои ножницы и красные чернила — более авторитетные, чем наши черные. Но столичный материал и тут давал лишнее преимущество: цензору труднее было вычеркивать уже однажды напечатанное, хотя бы и в столицах, нежели писания местных журналистов — к тому же почти всегда на местные темы, т. е. наиболее на практике щекотливые. Чтó делалось в столицах и особенно за границей — воспринималось нашим «крестным папашей» (титул, происходивший от красных крестов, которыми он украшал наши рукописи) гораздо спокойнее. Если дело шло о Бермудских островах, то, пожалуй, можно было

бы приветствовать даже республику, если бы она вздумала там возникнуть.

Газет тогда в Казани было целых три — «Казанский биржевой листок», «Волжский вестник» и «Казанские вести»[3]. Все они, конечно, весьма бранились между собою: всем было тесно. В сущности, место было только для одной газеты, много — для двух: круг читателей был крайне узкий и с годами почти не рос. Среднему обывателю расход на газету представлялся совсем излишним, и новости он предпочитал узнавать от тетушки. Приходилось оспаривать у газет-соперниц роковую «тысячу» прочных годовых подписчиков, на которой только и могло зиждиться благосостояние печатного органа. Розница слишком колебалась в зависимости от злобы дня, местных сенсаций и успеха воскресного фельетона. Конечно, бывали исключительные дни, когда, например, шли выборы городского головы, и цензор пропускал, паче чаяния, какие-нибудь бойкие стишки на кандидата или фельетон с многозначительными, всем в городе понятными намеками. Городское самоуправление служило тогда более всего «головой турка» для упражнения местных стрелков. Земское, как полудворянское, пользовалось гораздо большим покровительством цензора, а о забронированной наглухо администрации редактор и во сне не смел подумать. Оставалось воспевать мандарина Сам-пью-чай или маркиза Дорись-до-нéльзя, под которым каждый тотчас узнавал многолетнего городского голову Янишевского или какого-нибудь популярного гласного думы, — и розница шла бойко. Но в обыкновенные дни она еле ползла, как сонная муха. А так как никто, конечно, не покупал трех газет, то нужно было как-то заставить выбрать свою.

Из этих трех газет «Казанский биржевой листок» был старейший и издавался чуть ли не с 60-х годов, во всяком случае с 70-х. Несмотря на название, в нем не было ничего специфически «биржевого» — да и о какой биржевой жизни можно было говорить в тогдашней Казани, где огромное здание «Биржи» на Проломной улице было замечательно только своей пустотой (сделки совершались по трактирам)? Во главе «Листка» в тот момент (начало 90-х годов) стояли адвокат С.А. Гисси и местный домовладелец, а также владелец типографии и большого писчебумажного магазина, гласный городской думы Вениамин Михайлович Ключников. Гисси был довольно бесцветной фигурой и замечателен разве некоторым портретным сходством с поэтом Некрасовым, но Ключников был незаурядным человеком. Самоучка в полном смысле слова (он вышел едва ли не из крестьянской, во всяком случае из мелкомещанской среды), он,

однако, заметно выделялся в тогдашних казанских кругах своей интеллигентностью. Вспоминаю, что от него первого я услышал тогда, в 1890—1891 гг. о появлении Ницше и его «сверхчеловеке», о чем едва лишь зашумели в столицах. В Казани такая тема была чем-то совершенно исключительным. В кругах местного дворянства, например, формально вполне «просвещенных», на нее нельзя было бы натолкнуться: круги эти, при всей внешней окультуренности, были какие-то полусонные. Бойкий на слово, Ключников владел и пером. Конечно, свое главное внимание он посвящал житейской практике. Нарождавшаяся губернская буржуазия имела в его лице довольно типичного «передового» своего представителя, но хиревшая экономически, долгое время обходимая железными путями и отодвинутая в тень городами южного Поволжья, Казань не давала настоящего хода таким людям. Дворянство и высшее чиновничество составляли «общество» (специфический термин) города, и доступ в его магический круг для «новых» элементов был просто невозможен. В Казани тех годов длился еще «феодальный период», и даже, может быть, выразительнее, нежели во многих других местах.

«Волжский вестник», в противоположность «буржуазному» «Биржевому листку», был газетой интеллигенции[4]. Ее основал в начале 80-х годов профессор Казанского университета по кафедре истории русского права Николай Павлович Загоскин. Талантливый ученый, обративший на себя внимание при своем дебюте и не лишенный литературных способностей, Загоскин был настоящей жертвой безвременья и русской провинциальной спячки. Постепенно опускаясь, он отбился и от научной работы, и от литературы, предаваясь классическому пороку талантливых русских людей былых времен. В конце 80-х годов, когда я застал его в университете, он читал уже кое-как, беспрестанно пропуская лекции и аккуратно опаздывая на непропущенные. Читал из года в год по старому литографированному курсу, перескакивая через несколько страниц, потому что иначе невозможно было бы вместить курс в немногие часы читаемых лекций. Между студентами ходила тогда на него эпиграмма:

Профессор-журналист свои проводит лета
Меж «трезвою» статьей — и стойкою буфета.

У этой последней, в популярнейшем «Шахматном клубе» (где менее всего думали о шахматах), и можно было найти Загоскина гораздо вернее, нежели в университете или в редакции. Газета тоже скоро ушла из

его рук... Очень редко, почти никогда, не удавалось встретить профессора-журналиста трезвым: обыкновенно уже с утра он пошатывался. Так шло дело до половины 1900-х годов, когда 1905 год принес внезапную перемену в его судьбе. Типичный «кадет» по взглядам, как почти все наши ученые-юристы, Загоскин расцвел в ту, кадетскую, эпоху. Он был выбран членом Государственного совета от высших учебных заведений. Но недолго пришлось ему заседать в уютных креслах Мариинского дворца: воспаление легких унесло его в первую же петербургскую зиму.

От Загоскина «Волжский вестник» перешел около 1890 г. к местному адвокату Николаю Викторовичу Рейнгардту. Странная фигура был этот Рейнгардт. Очень неглупый, изрядно начитанный, по убеждениям «контист» — последователь религии Человечества Огюста Конта[5] (тогда в Казани, без сомнения, единственный), он производил впечатление совершенного путаника. Подверженный той же слабости, как Загоскин, и в такой же степени, он решительно не умел владеть ни собой, ни своими делами. Газета шла у него, можно сказать, стихийно, как некоторое автономное явление, и редактор часто сам не ожидал появления какой-нибудь длиннейшей и скучнейшей статьи, «просунутой» в типографию догадливым сотрудником из гонорарных соображений. Владея пером, Рейнгардт применял свои способности и знания к темам, весьма мало интересным для местной публики. Так, однажды он напечатал пространную апологию римского императора Тиверия, горячо доказывая оклеветание его Тацитом[6]. Зато никто не умел лучше Рейнгардта ладить с местным «отдельным цензором» проф. А.М. Осиповым, столь же приверженным к «русскому веселью», как и стерегомые им редакторы. Товарищ по Горному институту Н.К. Михайловского, Рейнгардт очень гордился, конечно, этой дружбой. Громкое тогда в прогрессивных кругах имя Михайловского украшало список сотрудников газеты, но «генерал на свадьбе» был лицом почти мифическим. Впрочем, раз или два он дал небольшие статейки. Почти столь же номинальным было сотрудничество и другой знаменитости — В.Г. Короленко, жившего тогда в соседнем Нижнем. Но все-таки в объявлениях газеты о подписке стояли эти «имена» и два-три других — и это придавало ей известный оттенок.

Оттенок этот еще усугубился, когда осенью 1891 г. фактическим редактором газеты сделался приехавший из Нижнего (где он был интернирован после Сибири) Александр Иванович Иванчин-Писарев[7]. Старый народоволец, участник процесса 193-х[8] и позднейшего террористическо-

го движения, друг Кропоткина (в знаменитом побеге которого он принимал деятельное участие)[9], молодого Льва Тихомирова, Веры Фигнер и других, он был для Казани и казанского журнального мира исключительно яркой фигурой. В его лице я впервые встретил того «идейного» человека, о котором мечтает (т. е. мечтал тогда) всякий не вовсе обывательских наклонностей юноша, и дружба с ним, сохранившаяся до самой смерти Александра Ивановича (в 1916 г.), была первой моей литературной дружбой. С его редакторством мое сотрудничество, разбросанное до того по всем трем казанским газетам, сосредоточилось в «Волжском вестнике» и стало гораздо интенсивнее. Иванчин-Писарев вообще умел собирать и воодушевлять людей — это был прирожденный редактор. В его, впрочем весьма краткое (с осени 1891 по осень 1892 г.), редакторство «Волжский вестник» чрезвычайно оживился, выдвинувшись по разнообразию материала и определенности направления в первый ряд тогдашней провинциальной печати. Но с отъездом Иванчина в Петербург, где он стал вести, вместе с Н.К. Михайловским, обновленное «Русское богатство»[10], газета опять упала и продолжала хиреть все 90-е годы, несмотря на самоотверженную работу некоторых идеалистов-сотрудников, как долголетний помощник Рейнгардта, талантливый Василий Николаевич Соловьев (умер в 1900 г.)[11]. Главное «внутреннее препятствие» для успеха газеты представлял в данном случае сам ее редактор: не занимаясь делом систематически, он лишь иногда врывался в него и своей нескладной инициативой запутывал без того весьма сложный — между Сциллой цензурных требований и Харибдой обывательского равнодушия — ход вещей.

Третья газета города — «Казанские вести» — была только что основана бывшим редактором «Биржевого листка» Николаем Алексеевичем Ильяшенко, которого вытеснили оттуда его сотоварищи. Этот Ильяшенко был, бесспорно, самой колоритной фигурой казанской прессы. «Казанский Рошфор[12]», как его звали в городе (в провинции любили тогда такие уподобления), он напоминал парижский прототип отчасти уже типичной наружностью журналиста — в темном пенсне, с длинной, но легкомысленной бородой, и еще более своим хлестким пером и своей беспринципностью. Когда-то попавший в Казанскую губернию с Украины по политическим обстоятельствам, он с годами «остепенился» и занимал благоразумно-нейтральную позицию, дружа больше с городскими воротилами. Позднее, после 1905 г., когда, с легкой руки Дубровина, появился спрос на «истинно-русский» журнализм, Ильяшенко, вполне

подобно Рошфору, перешел на «правое» амплуа. Чтó он тогда печатал — уму непостижимо! Так, по поводу открытия Пири Северного полюса[13] он с негодованием утверждал, что никакого открытия не было, а все выдумано евреями ради гешефта. Но в те ранние годы он еще не вдавался в такую высокую политику. Его специальностью был «веселый» воскресный фельетон на местные темы. И сам он был человек веселый. Охотно печатал начинающих авторов, но гонорара не платил. «Сойдет и так», — говорил он конфиденциально. И сходило — не судиться же было с ним?

Воскресный фельетон играл вообще весьма важную роль в тогдашних провинциальных газетах. Можно сказать, что это был тот отдел газеты, которым она теснее всего соприкасалась со своей публикой. Отчасти тут влияло уже настроение праздничного дня, когда самый неподвижный обыватель чувствовал потребность как-то освежить мозги. Затем, имело свое значение и сравнительно снисходительное отношение все той же верховной силы, воплощаемой цензурою: в воскресном фельетоне в иносказательном роде можно было «навести критику», не разрешаемую в других отделах. Поэтому внимание редакции всегда особенно устремлялось на этот фельетон, и воскресный фельетонист был своего рода первым тенором газетной труппы, за которым ухаживали и которого, при успехе, старались переманить от газеты-соперницы. В этом отделе развертывалось провинциальное остроумие и блистали туземные Дорошевичи и Амфитеатровы. Впрочем, в начале 90-х годов эти светила сытинского небосклона[14] не вышли еще из-под горизонта, и образцом для подражания оставались журналы 60-х и 70-х годов. Влияние некрасовского «Современника» и благосветловского «Русского слова»[15] сказывалось в провинциальной журналистике того времени на каждом шагу, и, с опозданием на тридцать лет, эта журналистика переживала тогда свою «нигилистическую» фазу. Но само собою разумеется, что характерные приемы корифеев русского радикализма воспроизводились здесь, как уездный франт воспроизводит манеры столичного денди. Сатирическая едкость Щедрина, ирония Чернышевского, юношеский задор Писарева превращались в простую грубость, а сила добролюбовского гражданского пафоса вырождалась в трафаретную фразеологию. Различные ходячие цитаты, вроде «ндраву моему не препятствуй» или «так кончился пир их бедою», повторялись с неизбежностью в каждом фельетоне[16], так что в типографии можно было бы не разбирать их, держа наготове, как клише. В особенности злоупотреблял этими клише воскресный фельетонист «Волжского вестника» Миро-

любов (фельетонный псевдоним Загоскина), скрашивавший ими свою профессорскую скучливость. Фельетоны его в этом смысле можно было прочесть заранее.

Гораздо типичнее в своем жанре был другой воскресный фельетонист «Казанских вестей» — «Зритель». Под этим псевдонимом писал Ангел Иванович Богданович, тогда еще молодой, лет около тридцати, журналист, впоследствии весьма известный в кругах столичной журналистики как долголетний, до самой смерти (в половине 1900-х годов), фактический редактор популярного ежемесячника «Мир Божий». В Казань Богданович попал случайно, как Иванчин-Писарев и Короленко в Нижний, отбывая промежуточный стаж между неизбежной высылкой в места отдаленные и возвращением в столицу. В Казани, в этой переходной своей фазе, под маской «Зрителя», Богданович был еще далеко не тот, что впоследствии, в «солидном» положении руководителя большого журнала. Тогда он не уклонялся даже иногда от состязания с нижегородским «Сыном своей матери» — малоизящный псевдоним, под которым скрывался не кто иной, как молодой Дорошевич[17]. Полемика этих двух бойких соперников вызывала звон в ушах... Впрочем, Богдановича скоро убедил Иванчин-Писарев перейти в «Волжский вестник», но на столбцах этой газеты талант «Зрителя» сильно потускнел. Богдановичу и самому, кажется, надоели воскресные лавры, и осенью 1892 г., добившись права вернуться в Петербург, он покинул навсегда провинциальную журналистику.

Совсем особый тип среди казанских фельетонистов представлял молодой (лет двадцати семи) журналист Михаил Иванович Попов, писавший под странным псевдонимом «Ант. Любый»[18]. Фельетоны его, печатавшиеся в «Волжском вестнике» по четвергам, были совсем не воскресного, а именно какого-то будничного, срединедельного типа. Он писал их в форме повествования о семейных событиях, с участием родственников и родственниц и общей обывательской окраской, но, разумеется, со сквозившей между строк «гражданской» тенденцией (в строках ее редко удавалось провести). Фельетоны эти имели громадный успех, так что, когда они одно время прервались, редакцию засыпали вопросами о продолжении. Читатель видел тут что-то близко знакомое, домашнее и в то же время занятное. «Подход» к этому пугливому читателю был взят верно, и, я думаю, такого рода фельетон был социально полезнее бойких наездов «Зрителя» или тягучей морали Миролюбова. Сам Попов был чрезвычайно симпатичный, идеалистически настроенный человек. Увы, его уже

грыз столь частый недуг тогдашних русских идеалистов — чахотка! Доктора усиленно высылали его из северной Казани на юг (раньше он жил в Астрахани). Кое-как ему удалось перебраться в Судак, в Крыму, но скоро товарищи по редакции на свою поздравительную с именинами телеграмму получили от него жуткий ответ: «Благодарю. Жду смерти». Он умер несколько дней спустя (в ноябре 1892 г.)[19].

Да, тогдашняя русская провинциальная печать — эта жалкая, безвлиятельная, загнанная цензурой, презираемая и «начальством», и своим собственным читателем-обывателем печать — укрывала в своих недрах настоящих идеалистов. Перебиваясь на грошовом гонораре (обычно две, даже полторы копейки со строки; только столичные гастролеры, как Михайловский, получали пятачок), в вечных недоразумениях с «голубыми архангелами» (жандармский мундир был голубоватого сукна), постоянно угрожаемые возможностью высылки в какую-нибудь глушь, нигде не встречая уважения к своей работе, без всяких надежд для себя впереди, эти рядовые «газетчики» все-таки упорно работали из года в год, сквозь все препятствия, веря в свое дело и в его общественную ценность.

В моем литературном архиве уцелело несколько писем (1893 г.) моего товарища по редакции «Волжского вестника» А. Панова. Сквозь наивный их тон можно понять те моральные условия, в которых приходилось проводить свою линию упорному идеалисту, удрученному беспринципностью редактора и самоотверженно стремившемуся сделать газету «порядочной» (это был тогда синоним либерального, вообще «левого» направления). «Иногда, — сообщает Панов, — приходится *обманом* (курсив везде Панова. — *П.П.*) провести порядочную вещь, иногда же Рейнгардт помимо моего ведома отправит в типографию такую вещь, что просто ужас. Правда, мне пришлось уже *скрасть* и из типографии порядочно разной белиберды, но если продолжать дело так, из-за угла да воровски, то не знаю, выйдет ли у нас какой-нибудь прок. Конечно, если *Вы* приедете, тогда двое и скрасть можем *вдвое более*, да и провести хороших статеек можем тоже вдвое более... Перепалки происходят довольно часто»[20]. В следующем письме он уже взывает в отчаянии: «Напишите, на сколько рублей можно *нищенски* просуществовать в Петербурге. Жду с нетерпением Вашего письма, — минуты критические»[21]. Наконец я получил трагически-торжественное сообщение: «Глубокоуважаемый товарищ Петр Петрович! Я бесповоротно решил выйти из редакции “Волжского вестника” — и с 1 октября моя нога уже не ступит за порог этого развратного дома. Вчера

у меня с Рейнгардтом произошла крупная сцена... Дело началось с того, что он зачеркнул два куска "отголосков печати" (о необходимости изменения общественных форм, при которых немыслим прогресс, и о нашей чиновничьей администрации, которая всюду сует свой нос и тормозит всякое благое начинание), по моему мнению, настолько важные, что их стоило горячо отстаивать», и т. д.[22] И он ушел из газеты, которая все-таки его кормила, ушел, чтобы не запятнать своего знамени какими-нибудь компромиссами. Его душа жаждала «изменения общественных форм», и он был согласен на нищенское существование, только бы писать немного посвободнее. По возвращении из поездки в столицу я уже не застал Панова в Казани и, к сожалению, не знаю, что с ним после сталось.

Вот еще отрывок из письма (1893 г.) другого молодого идеалиста, затерянного в уездном городке (Кунгуре), которому не удалось выбиться в литературу даже в той степени, как Попову или Панову. Это некий Павел Сивков, присылавший в «Волжский вестник» свои попытки рассказов, в которых, как мне казалось, были проблески дарования. «Еще раз горячо благодарю Вас за письмо. В Кунгуре я одинок, никто не сочувствует моим литературным работам и, кроме насмешек над моей бедностью, я ни от кого не слышал более искреннего слова. Из-за проклятой бедности я не могу пополнить свое образование чтением (я не кончил курса в средней школе — техническом училище), публичная кунгурская библиотека бедна книгами, а выписывать на свой счет нет средств, и, что всего хуже, никогда не будет. Это меня огорчает более всего. Мне двадцать два года, а я все еще не прочел таких сочинений, как Добролюбов, Писарев, Михайловский, и многих других: негде достать, даже из беллетристов и поэтов я прочел далеко не всех»[23].

Так они бились по своим захолустьям, в тогдашней застывшей жизни, — эти безвестные маленькие герои (иначе их не назовешь) со взглядом, всегда устремленным на маяк литературы, который один освещал их путь. Они могли бы безопасно служить по разным «ведомствам», но их непременно тянуло к этому маяку. Между тем возле него ждали всякие случайности, а иногда и катастрофы, разбивающие жизнь, как птица разбивается о маячную решетку. Никогда нельзя было предвидеть, откуда придет беда. В 1890 г., например, в Казани открылась выставка местного края. По этому случаю городской голова С.В. Дьяченко поручил газетному сотруднику Никифорову составить для него речь на открытии. Требовались «идеи», а это было дело газетчиков. Никифоров напи-

сал что-то о процветании края и т. п., упомянув, между прочим, о «враждебных веяниях», препятствующих развитию местного самоуправления, под чем кто подогадливее должен был подразумевать реакцию Александра III, бывшую в то время в полном разгаре. Речь была одобрена где следует, произнесена и напечатана в местных газетах. Казалось, «сошло с рук», но потом кто-то «сообразил» — и грянула гроза. Самого городского голову распекли приватно — козлом отпущения явился Никифоров. Его продержали некоторое время в тюрьме, а потом, не считаясь с его положением семейного человека, выслали административным порядком в глухой городишко Вятской губернии — Царевосанчурск, где, конечно, очень трудно было жить каким-либо интеллигентным трудом, особенно ссыльному. Зато речь, на которую при произнесении никто не обратил внимания, теперь заставила толковать о себе повсюду, и весь город повторял роковые слова: «несмотря на враждебные веяния», стараясь проникнуть в их таинственный смысл.

Это была исключительная, хотя не слишком редкая беда: почти каждый из литераторов «на местах» был знаком с местными зданиями тюремного ведомства и испытал в том или другом варианте судьбу Никифорова. Но и в повседневной действительности имелся фактор, отравлявший непрерывно весь писательский труд и сводивший его зачастую к полной иллюзорности. Этим фактором была цензура. Учреждение это, по самой своей природе неласковое, в те годы было особенно верно само себе. Помимо общего комплекса требований, к которому еще можно было так или иначе приноровиться, угнетающе действовали постоянное колебание и неясность этих требований, создававшие на каждом шагу непредвиденные инциденты. Казань, как крупный и даже университетский город, была поставлена в цензурном отношении в особые условия.

Казанские газеты цензуровал не простой чиновник губернского правления и даже не вице-губернатор, как в других городах, а особое лицо — «казанский отдельный цензор». Казалось бы, это должно было облегчить положение местной печати, потому что такое лицо, подчиненное непосредственно губернатору, могло бы держаться более независимо. Этого особенно можно было ожидать от тогдашнего нашего «отдельного цензора», каковым состоял профессор Казанского университета по кафедре гражданского права и декан юридического факультета, действительный статский советник А.М. Осипов. Занимая относительно независимое и совершенно обеспеченное положение, вовсе не связанное с администра-

цией, он не мог особенно дорожить цензорским постом, плохо вознаграждавшим даже материально (цензору полагалось что-то около 900 руб. в год). Так казалось, но на деле было совсем обратное: трудно себе представить более трусливого и угодливого чиновника, чем был наш, впрочем, весьма добродушный и в личных отношениях очень приятный, Адольф Михайлович (в просторечии «Адошка»). Зачем ему понадобилось занимать это довольно беспокойное и связанное со многими опасностями место — было решительно непонятно. Человек одинокий и со средствами (даже помимо профессорства), к тому же вовсе не скупой, он не мог в нем нуждаться. Скорее всего, это было проявление все того же почтения к начальству: назначили — значит, нужно исполнять «служебные обязанности». И вот пожилой человек, сам штатский «генерал» со «звездой», к тому же все-таки профессор и декан, являлся рано утром по вызову в приемную губернатора, грозного, очень похожего по наружности на породистого бульдога, Полторацкого, и должен был почтительно выслушивать его очередной разнос. Психология русского «законопослушания»... Само собою разумеется, что каждый такой разнос немедленно отзывался на нашей обреченной братии, и красные чернила изливались в такой день щедрее обычного.

Цензурные капризы были совершенно непредвидимы. Еще понятно, когда цензор при названии парохода «Николай II» непременно вставлял пропущенное «Император» или вписывал всеми буквами «его императорское высочество великий князь» такой-то, если в газетной заметке были легкомысленно сокращены эти торжественные предикаты. Но почему, например, архангельского губернатора нельзя было назвать просто архангельским, а требовалось именовать затейливым титулом «архангелогородского губернатора» — этого я и до сих пор не могу себе уяснить. Когда наш редактор решился было указать цензору, что архангелогородской именуется только кума у Гоголя, «Адошка» лишь замахал руками: «А, батюшка (его постоянное присловье), ваши писания у меня вот где сидят», — и он стукал себя пониже затылка.

Конечно, вся местная жизнь, да и не местная только, пропускалась внимательнейшим образом сквозь цензурный фильтр: цензор вечно трепетал утреннего вызова к губернатору. А губернатор был такой, что местный исправник, здоровенный мужчина, с большими седыми усами, разговаривая с ним только по телефону, буквально дрожал и поминутно кланялся, сам того не замечая. Эта фигура кланяющегося перед аппара-

том бравого полицианта производила впечатление даже чего-то символического... Как же тут было не трепетать нашему маленькому, черненькому «Адольфу» (он был армянин).

Облитая красными чернилами жизнь естественно должна была представляться в розовом свете, что и было конечной целью всех цензурных усилий. Достаточно известно, как в этом освещении знаменитый голод 1891 года долгое время выглядел только мирным «недородом». Нашей казанской прессе пришлось особенно круто испытать на себе в этот год воздействие официального оптимизма, так как губерния принадлежала к числу наиболее пострадавших. Впрочем, деревенские темы вызывали всегда цензурную нервность. В то время расцветал только что введенный институт земских начальников[24], но слишком понятно, что он был целиком вне нашей компетенции. Так же мало было доступно нам все вообще «казенное», и так как, наряду с этим, как я уже говорил, допускалось все-таки пощипывание, временами даже довольно кусательное, обоих самоуправлений, то обыватель должен был таким путем наглядно усвоить все преимущество административного метода управления перед общественным.

Общие цензурные условия были, конечно, везде одинаковы, но, вспоминая казанскую цензуру, я все-таки с гордостью думаю, что именно ей принадлежит величайший, как можно предполагать, из цензурных анекдотов. Он так неправдоподобен, что его даже неловко рассказывать. Но он уже появлялся в печати в воспоминаниях Иванчина-Писарева[25]. Случилось это у меня на глазах. Однажды в газете должна была появиться заметка в хронике об открытии городской скотобойни. Открытие предполагалось 1 марта. Послали заметку цензору, конечно, ничего не ожидая. Вдруг звонок по телефону и отчаянный голос цензора: «Что вы, батюшка, хотите, чтоб газету закрыли?! — Как так, Адольф Михайлович?! — Да что вы пишете: когда скотобойню откроют? — Скотобойню? Первого марта... — Первого марта. А вы забыли, что́ было первого марта? — Что такое, Адольф Михайлович? — Да ведь первого марта цареубийство! Александра II убили. А вы пишете: открывается скотобойня. — Ну, Адольф Михайлович... — Не-эт, батенька, я этого пропустить не могу». И действительно, на возвращенной корректуре было зачеркнуто «1 марта» и красными чернилами написано: «в конце февраля». Корректура эта долго хранилась у Иванчина-Писарева, и ее, конечно, следовало бы поместить в музей русской печати. Кажется, дальше идти некуда, и цензорство Осипова должно бы представляться своего рода рекордным. Но все мы

все-таки дорожили нашим цензором и более всего боялись, чтобы его от нас не убрали. Горький опыт научил нас этому. Когда однажды Осипов уехал месяца на два, его заместителем был назначен тоже профессор местного университета небезызвестный нашей переводной с древнего литературе Дарий Ильич Нагуевский. Тут оправдалась крыловская басня о лягушках[26]. С новым цензором дело приняло такой оборот, что хоть закрывай газету. Особых курьезов с этим Дарием, насколько помнится, не было. Но он сам был ходячий курьез, как его имя. Длинный, сухой, какой-то белесый, он представлял собой тип внежизненного, тупого ученого педанта, с которым ни до чего нельзя было договориться и которого ни в чем нельзя было убедить. Сравнительно с ним, наш жизнерадостный, вечно пропадавший в каких-то предосудительных местах «Адоша» казался прямо благодатью. Нагуевский, столь же трусливый, черкал все подряд, так как по неопытности не мог отличить возможное от невозможного. Не хватало материала составить номер. Через несколько дней редакции всех трех газет, набравшись храбрости, решились на жалобу губернатору. Даже Полторацкий понял, что положение создалось невозможное, и Дария немного уняли. Но понятно, что когда вернулся Осипов, мы обрадовались ему, как отцу родному.

Осипов имел еще то достоинство, что в глубине души негодовал на существование цензуры и цензоров и мечтал о свободе печати. Как это у него уживалось с его практикой — я не знаю: тайна человеческой психологии. Но он не только негодовал, а собирал систематически, в течение многих лет, материалы по истории русской цензуры. У него был особый портфель, куда он складывал с этой целью всевозможные секретные циркуляры, бумажки из Главного управления по делам печати и т. п. «Всё тут есть, батенька», бывало, говаривал он, похлопывая по портфелю. Всякое резкое распоряжение по ведомству печати вызывало его искреннее негодование, но это нисколько не мешало ему исполнять самым неукоснительным образом все циркуляры. Сильно развита у русского человека шишка послушания на затылке, и кто этого не знает — ничего не знает о русском человеке.

Что сказать о «направлениях» тогдашней провинциальной печати? Мудрено им было проявиться вполне отчетливо при таком режиме. Поэтому не удивительно, что в этом отношении все провинциальные газеты — все эти «Волжские вестники», «Нижегородские листки», «Волгари» и «Саратовские дневники»[27] — сливались в одном неопределенном

либерализме с более или менее (смотря по цензуре и составу сотрудников) яркой примесью тогдашнего социализма — народничества. Поволжье всегда было рассадником русских социалистических течений всех типов. Недаром их литературные вожди почти все — тамошние уроженцы: Чернышевский родился в Саратове, Добролюбов в Нижнем, М. Горький там же, наконец, Симбирск стал теперь Ульяновском[28]. Даже поэты-народники вышли из Поволжья: Некрасов — ярославец, Плещеев — костромич, Минаев и Садовников — симбиряки. Какой же и могла быть поволжская печать в те годы, как не народнической? Правда, Осиповы и Нагуевские своей бдительностью не давали этому течению развиваться во всю свою меру, и «направление» провинциальных газет должно было выражаться по преимуществу в неопределенном сочувствии и стремлении ко всему «высокому и прекрасному». Но между строк читалось многое, и часто больше, чем в строках. Впрочем, и само народничество не отличалось, как известно, особенной отчетливостью своей идеологии — в противоположность сменившему его марксизму. «Субъективный метод» оставлял больше простора женственности чувства, нежели мужественности мысли. Но в этом своем характере печать тогдашней русской провинции вполне отвечала своему читателю (конечно, интеллигентной его части), настроенному столь же неопределенно гуманитарно, со столь же «субъективным» взысканием всего высокого и прекрасного.

К тому же надо помнить, что и столичная печать того момента, о котором я говорил, не отличалась особенной яркостью направлений. Тут, помимо внешних условий, действовали также смутность и переходность самого этого момента. Народнический радикализм явно уже отцветал, а марксистский еще не успел вполне определиться. Давно умолкли некрасовско-салтыковские «Отечественные записки»[29], старые книжки которых мы, молодежь, разыскивали по букинистам, узнавая их по знаменитой бледно-желтой обложке, а равного им по авторитетности органа не появлялось ни среди журнальной, ни среди газетной прессы. Даже «Русское богатство» не заняло еще тогда своей позиции последнего могикана народнической журналистики. Среди «толстых» журналов самым авторитетным был умеренно аккуратный, «мирно-обновленческий»[30] (употребляю позднейшие термины) «Вестник Европы»; самыми читаемыми — пухлая, интеллигентски-расплывчатая, полукадетская «Русская мысль» и обывательски перепутанная, особенно любимая в провинции «для семейного чтения» «Неделя» с ее ежемесячными «Книжками». Среди либеральных

газет на первом месте стояли определенно-кадетские «Русские ведомости»; им вторили неуверенным голосом бесцветные «Новости». Все остальное было «ни то ни се» или же — правого лагеря. Впрочем, этот последний, как я уже упомянул, далеко не проявлял еще в те годы той боевой интенсивности, как после 1905 г. «Русский вестник» и «Русское обозрение» велись спустя рукава; «Московские ведомости» уже утратили своего Каткова[31], и в консервативном лагере производил сенсацию один «Гражданин» князя Мещерского[32], дававший своими выходками неисчерпаемый материал для перьев провинциальных обозревателей печати. Этот материал был так обилен и так благодарен, что даже цензор невольно становился снисходительнее по этому пункту, и при составлении «Отголосков печати» почти всегда удавалось заострить их цитатой из Мещерского с соответствующим гарниром.

Из двух генераций русского народничества — боевого радикализма 60–70-х годов и мирного полутолстовства 70—80-х — провинциальная печать, в особенности поволжская, вполне определенно тяготела сквозь все «независящие обстоятельства» к первому и лишь как случайное явление отражала второе. Проповедь «личного самоусовершенствования» и «малых дел», нашедшая себе в те годы приют в «Неделе» и ее «Книжках», находила немного сторонников. По крайней мере, среди казанских журналистов я помню только одного заметного представителя этого оттенка. Это был Константин Викторович Лаврский — человек незаурядной биографии[33]. Еще студентом, в начале 60-х годов, он принял участие в студенческом движении, вызванном волнениями в Польше (студенты тогда отслужили панихиду по казненным полякам). Последствия понятны. Прерванный университетский курс Лаврский кончал уже на моих глазах, в 90-е годы, подготовившись в одну зиму на тогдашний «аттестат зрелости», а в следующую — за весь юридический факультет; факультет этот он выбрал с целью стать крестьянским адвокатом и после практиковал много лет среди крестьянства (обычно бесплатно), живя на своем хуторе в Свияжском уезде Казанской губернии. В самой Казани Лаврский появлялся нерегулярно, почему и его газетная деятельность носила довольно случайный характер, хотя он входил в состав редакции «Биржевого листка», печатаясь иногда и в «Волжском вестнике». Впрочем, в писаниях Лаврского не сказывался литературный талант. Маленькие фельетоны «Старого Воробья» (его обычный псевдоним) были вовсе не фельетонны, страдая резонерством и тусклостью стиля — этими родовыми грехами тол-

стовцев. Этика вообще преобладала в Лаврском над эстетикой, и его суждения об искусстве переходили в прекраснодушное морализирование, характеризующее его учителя. С Толстым, впрочем, Лаврский сходился только на почве этики и в культе «народа», метафизические же его воззрения были совсем другого типа и довольно неожиданны для среды и прошлого самого Лаврского (он был убежденный православный). В кругу казанских журналистов он держался особняком, и его не считали своим, хотя невольно уважали, тем более что это был единственный туземный журналист, имевший свою минуту всероссийской известности. Это было в половине 70-х годов, когда шла длительная полемика между «Отечественными записками» с Михайловским во главе и группой «чистых» народников, как Юзов (Каблиц), В.В. (Воронцов) и др. В числе последних был и Лаврский, выступавший в союзе с неким П.Ч. (черниговский статистик Червинский). Все это теперь уже забыто, но в полном собрании Михайловского еще можно прочесть соответствующие страницы с острословием о «Печелийском архипелаге» и проч.[34], где мелькает и имя Лаврского.

Наличный состав столичной печати, о котором я говорил выше, отражался, конечно, самым определенным образом на содержании провинциальных газет: стричь столичных барашков провинциальным ножницам приходилось ведь изо дня в день. Менее заимствовали «провинциалки» друг у друга, но и тут не обходилось без «обобществления» материала — особенно по части маленьких фельетонов беллетристики. Как-то так повелось, что большой фельетон газеты отдавался обыкновенно местным темам, а в рамки маленького укладывались темы более отвлеченного характера или же полубеллетристические очерки; «настоящая» же беллетристика печаталась тоже, как большой фельетон, в «нижнем этаже» газеты. Беллетристика провинциальных газет вообще была настолько своеобразного типа, что она легко переходила со столбцов одной газеты на столбцы другой — соседнего города. Эта беллетристика была простодушнее столичной, менее психологична и с некоторым обывательским оттенком. Ранние рассказы Чирикова (например, «На антресолях»), печатавшиеся именно в мое время в казанских газетах (преимущественно в «Волжском вестнике», секретарем которого был одно время Евгений Николаевич)[35], могут дать об этой беллетристике ясное понятие. Чириков тогда еще мало отличался от своих сотоварищей по оружию, вроде затерявшихся потом в провинциальной безвестности Баранова, Акаёмова и др. Угадать, кто из них ока-

жется избранником судьбы, навряд ли сумел бы сам Белинский. Впрочем, среди довольно обильного беллетристического материала, скоплявшегося в редакции «Волжского вестника», несколько раз промелькнули выделявшиеся своей яркостью, странноватого типа рассказы, присылавшиеся из Нижнего и подписанные совершенно ничего не говорившим именем: М. Горький (собственно даже М. Г—ий)[36]. Помню, что некоторые из них пришлось изрядно сокращать, без чего они никак не лезли в «подвал». Сокращения эти вызвали недовольство автора, субъективно, может быть, и справедливое. Впрочем, единственный из этих рассказов, помещенный в собраниях сочинений («О Чиже, который лгал, и о Дятле, любителе истины»), напечатан в сокращенном виде[37]. Помню также в одном из этих рассказов весьма бойкие стихи того рассейски-ницшеанского духа, который так характерен для юного Горького:

Жизнь — мгновение:
Ощущение —
Суть и смысл жизни всей.
Всего менее
Преступление
Порицать должно в ней... и т. д.[38]

Беллетристов талантливых и не талантливых, впрочем, было еще не так много, сравнительно с числом поэтов. Сей же род и тогда был бесчислен, как песок морской. Стихофобия 60-х и 70-х годов к тому времени уже почти пропала, а появление и успех царившего над сердцами молодежи Надсона дали сильный толчок поэтическому производству. Конечно, большинство присылаемых стихов было на «гражданские» темы и запечатлено влиянием Надсона и Некрасова, но не так мал был и процент «чистых», где рифмовались «весна» и «она», «слезы» и «грезы». На лучших из таких лежал отпечаток Фета (его раннего периода) и отчасти Полонского — все это была «Spätromantik»[39], говоря термином немецкой критики. Лучшим казанским поэтом той поры был, бесспорно, мой товарищ по гимназии и отчасти университету Дмитрий Петрович Шестаков — пламенный «фетишист» и прекрасный переводчик с древнего[40]. Ни о каком символизме, понятно, никто еще не слыхивал и даже парнассизм, вроде майковского, казался столичной утонченностью. Впрочем, о каких же новинках эстетизма могла быть речь, когда в казанской прессе того времени приходилось еще защищать тургеневского Базарова от обличительных нападений, про-

должавшихся по традиции, шедшей от «Современника» и знаменитой полемики между Антоновичем и Писаревым?[41] В читательской публике было еще немало единомышленников первого, считавших Тургенева «клеветником на молодежь». Вообще в провинциальных читательских кругах прочно консервировались крайности 60-х годов, о которых так странно вспоминать теперь. Из университетских аудиторий, правда, уже исчезли характерные фигуры «нигилистов» с длинными космами волос и в неизбежном пледе, которые я еще вижу в моих детских воспоминаниях конца 70-х годов. Университетский устав 1884 г. одел всех в бюрократический темно-зеленый мундир с синим воротником и остриг волосы[42]. Но и под мундиром хранились традиции писаревского утилитаризма. И если этот последний уже начал сдавать свои позиции на территории изящной литературы, особенно в стихотворной ее форме, то в области пластических искусств он оставался еще непреклонным. Впрочем, эти искусства для тогдашнего провинциального интеллигента были, в сущности, terra incognita[43], и его отношение к ним в лучшем случае исчерпывалось знакомством с передвижниками через посредство Третьяковской галереи. Помню, как в своих маленьких фельетонах на страницах «Волжского вестника» я усердно доказывал преимущества русской живописи (т. е. тех же передвижников) перед старой итальянской и уверял, что Репин и Крамской должны заменить для нас «устаревших» Рафаэлей и Микель Анжело[44]. И это печаталось, и никто меня за это не высек. Но дело в том, что это была не личная только глупость, а, так сказать, глупость эпохи, характерная для всей провинциальной интеллигенции тех времен*.

Кроме поэтов, в местном литературном мире имелась еще особая разновидность — «любителей поэзии». Конечно, таковые были и в столицах, но там они не достигали в своем типе такой характерности. Нужна была провинциальная атмосфера прекраснодушия и благодушия, чтобы

* Впрочем, и в столице было тогда немногим лучше. Вот выдержка из моего письма к Валерию Брюсову от 29 марта 1895 г.: «Расскажу вам удивительный анекдот-факт. Недавно (осенью) один знакомый мне студент Лесного института хотел пожертвовать в студенческую библиотеку этого института полное собрание Пушкина, которого там не имеется вовсе. Но библиотечный комитет (состоящий из студентов) отказался принять его под тем предлогом, что в библиотеке нет места. А библиотечный шкаф битком набит сочинениями гг. Шелгуновых, Скабичевских и прочих... "Что делать?", например, переплетено в пять переплетов, потому что масса требований не позволяет ограничиваться одним цельным экземпляром»[45].

В наши пушкинианские дни этот неимоверный «анекдот» особенно любопытен.

расцвел этот тип. Его прообраз — гоголевский Манилов или слезоточивый поклонник «всего высокого и всего прекрасного» в «Лесе» Островского[46]. Казань имела превосходного представителя этого типа в лице местного полуписателя, получиновника Николая Фирсовича Юшкова (весь город звал его фамильярно «Фирсычем»). Фигура Фирсыча была заметна, где бы он ни появлялся: он был толст, как пивная бочка, с каким-то нелепо вздувшимся животом и громадной бородой, на которой почти всегда можно было проследить меню его обеда. Без Фирсыча не обходилось ни одно общественное торжество, ни одно парадное заседание, ни один выдающийся спектакль или концерт, ни один юбилей или парадные похороны. Всюду он появлялся в том же своем долгополом коричневом сюртуке, с тою же анекдотической бородой, с готовой речью или экспромтом на устах и готовой слезою во взоре. В сущности он был добрый человек, считавший только, что русская литература и театр составляют предназначенный ему самою судьбою удел. Писателей, актеров и композиторов он называл не иначе, как с прибавкой имени-отчества — Гоголь, например, был для него Николай Васильевич Гоголь, — так что получалось впечатление, что он всех их знал лично и едва ли не в родстве со всеми. Он и сам писал по временам огромные статьи, которых как огня боялись редакторы местных газет: сокращать — обидится, не сокращать — невозможно. Там обыкновенно подробно излагалось, что Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт, а Николай Алексеевич Некрасов тоже очень хороший поэт, и что вообще все очень хорошо на этом свете. Судьба сшутила злую шутку с бедным Фирсычем, предоставив ему место редактора неофициальной части местных «Губернских ведомостей»[47] — пост не то литературный, не то не литературный, — во всяком случае, где-то не в «настоящей» литературе. Полторацкий не позволял пестрить казенную газету стихами или юбилейными «поминками» (специальность Фирсыча), и приходилось писать лишь для своего удовольствия, со слабой надеждой, что что-нибудь проскользнет на столбцы частных газет. Еще Рейнгардт пускал иногда какую-нибудь «памятку» Фирсыча, но Иванчин был к нему неумолим. Тщетно вытаскивал Фирсыч в редакции из заднего кармана своего сюртука, вместе с цветным носовым платком, объемистую рукопись с похвалами Михаилу Юрьевичу Лермонтову и Александру Николаевичу Островскому — Иванчин не брал ее даже на просмотр. Рукопись отправлялась обратно — в соседство с цветным платком, а ее автор уныло брел в «Биржевку»...

В те годы Фирсыч казался мне каким-то местным курьезом, своего рода уникумом в литературе. И только много позже, вращаясь в разнообразных литературных кругах и слоях, я понял всю принципиальную значительность и даже необходимость этого типа. Теперь я знаю, что без Фирсыча не обходится почти ни одно литературное дело или предприятие: он вездесущ, и его существование лежит как-то в самой природе вещей. Без Фирсыча решительно невозможны юбилейные и прочие высокоторжественные литературные собрания: его экспромт и его слеза априорно включены в программу каждого из них. Конечно, борода с остатками обеда может отсутствовать, но пафос прекраснодушия и банальности есть нечто неустранимое и неизбежное в литературном обиходе. Поэтому казанский Фирсыч представляется мне теперь фигурою почти символической, и я готов радоваться тому, что уже на первых шагах моей литературной дороги я встретился с нею...

На совершенно противоположном с этой поэзией конце местной газетной литературы стояли представители самой прозаической ее отрасли — репортеры.

Между ними, однако, встречались тоже очень колоритные по-своему фигуры. «Королем» тогдашних казанских репортеров считался некий Кулеш. Его звали всегда по фамилии, поэтому я не помню и вряд ли даже знал его имя и отчество. Кулеш был знаменит как разнообразием и быстротою своих репортерских сообщений (он сам не без гордости называл себя казанским американцем), так и их слабой достоверностью, а часто и совершенной фантастичностью. Иногда в городе долго не было никаких особых происшествий, а деньги были нужны... Тогда Кулеш пускал в ход свою изобретательность. Так, однажды он сообщил о необыкновенном происшествии в Козьей слободе (окраина города): кто-то ночью перевешал на перекладинах фонарей всех местных собак. Разумеется, поднялся переполох; сам Полторацкий вызвал полицмейстера и велел расследовать дело. Оказалось, что ничего подобного не было и даже не могло быть, ибо (на беду Кулеша) деревянные столбы керосиновых фонарей, которыми освещались окраины, были без перекладин — перекладины имелись только у чугунных фонарей в центре города. Кулеш был изобличен, и решено было наказать его. Простого «разноса» (на которые был мастер Рейнгардт) показалось мало, и к Кулешу применили оригинальную систему вычета из нового гонорара ровно за столько строк, сколько было вранья в прежних сообщениях (не говоря о конфискации гонора-

ра за это вранье). Система эта укрепилась и стала общепринятой в отношениях казанских газет к своим репортерам. «Хоть какая-нибудь на них острастка», — радовались редакторы.

Как относился провинциальный читатель к своей газете? Я уже упоминал, что в общем отношение это было пренебрежительным. «Газетчик» представлялся существом несерьезным и неосновательным, и занятие его пустым. В уме обывателя печать — по крайней мере, местная печать — неизменно ассоциировалась со словом и понятием «сплетня». Что делают газетчики? — Занимаются сплетнями: это разумелось само собой, и даже мальчишки на улицах пели:

Сплетница-газетчица
«Биржевой листок»...

Когда какой-нибудь местный Сам-пью-чай попадал на газетные столбцы в не совсем казистом виде, он ехал к цензору, а то и к губернатору с жалобой на допущение «сплетен» и жаловался всем своим знакомым в том же смысле. Знаменитая судебная статья о «диффамации», по которой более всего возбуждалось дел против газет, вносила в самое законодательство о печати то же основное понятие. Как известно, под диффамацией разумелось разглашение в печати «позорящих обстоятельств», причем не ставилось вопроса, имеет ли такое разглашение фактическую под собой почву. Поэтому судопроизводство по таким делам, в отличие от дел о клевете, не должно было обращаться к вопросу о верности или неверности самого оглашенного факта, а лишь устанавливало наличность «опозоривания». Само собой разумеется, что такая квалификация «преступного деяния» давала весьма широкий простор обывательской обидчивости и возможности заметать следы, ведущие куда не следует. Правда, практика судов, нередко почти отождествлявшая понятие диффамации с понятием клеветы, вносила сюда некоторое сдерживающее начало. Тем не менее угроза «поднять диффамацию» была главной в арсенале самозащиты обывателя от рекогносцировок печати, и провинциальному редактору приходилось считаться с нею серьезно. Другим, весьма употребительным, оборонительным средством служили упомянутые «приватные» визиты по начальству, обычно приносившие немедленные результаты. Тут, собственно, все зависело от степени благоволения его превосходительства г. начальника губернии к жалобщику. Это отношение вообще определяло

«цензурный вес», если можно так выразиться, каждого данного лица. Цензору оно, конечно, всегда было известно, и он считался с этой индивидуальной особенностью во всяком отдельном случае. Поэтому иногда становилось возможным писать относительно свободно о каком-нибудь обычно забронированном персонаже, если случайно персонаж этот был в немилости у Полторацкого. Впрочем, такой «либерализм» распространялся в конце концов все-таки только на деятелей злосчастного местного самоуправления: крупных представителей казенных ведомств никакое перо не смело касаться, хотя они почти всегда были в холодных отношениях с «хозяином губернии».

Как «бытовое явление» газетчики висели, можно сказать, между небом и землей, не имея для себя определенного места в социальной классификации. Между «обществом» города и пишущей братией лежала целая пропасть. Как я уже говорил, под этим «социологическим» термином в Казани тех времен разумелось почти исключительно местное дворянство. Это был круг замкнутый, как венецианская аристократия, и попасть в него трудно было даже крупным чиновникам «со стороны» — что же говорить о газетчиках? Внешняя «полированность» этого круга, его «манеры» и французский язык делали его для них недоступным. Люди пера казались из недр этого круга прежде всего «невоспитанными» людьми, «моветонами», не умеющими, как Капитанская дочка, «ступить по-придворному»[48]. Все эти Пановы и Поповы были бы невозможны в дворянской гостиной, а то, чтó они собою символизировали, находилось за дворянским горизонтом. Быстро клонившееся к упадку «передовое» сословие уже почти растеряло былые духовные интересы. Остальная часть местной публики, наоборот, еще не дотянулась до таких интересов. Только люди так называемых «свободных профессий» имели к ним более или менее ясно выраженное касательство — и к их кругу естественно примыкали и журналисты. Профессора и адвокаты были две категории, по самому своему амплуа наиболее близкие к литературе, и их представители считались уже ex professio сотрудниками местных газет. Объявления о подписке последних пестрели фамилиями с приставкой «проф.», наивно считавшейся приманкой для читателя. Большинство этих «имен» сотрудничало, однако, не чаще Михайловского, да и писали «люди науки» по большей части так нудно и скучно, что читать их не было никакой возможности. Впрочем, публика прекрасно разбиралась в этих хитростях, и едва ли все «профы», вместе взятые, давали газете хоть одного лишнего подписчика. Худо ли,

хорошо ли, газеты держались «газетчиками», и худо ли, хорошо ли, а эти газеты и эти газетчики что-то сделали в те трудные времена для духовной жизни нашей провинции и для ее будущего.

И надо сказать правду, приятно было быть таким газетчиком. В работе провинциальной газеты, территориально близкой к своему читателю, где каждый удачный «выпад» немедленно давал свой эффект, было нечто очень заманчивое, и я знавал людей, создавших себе после положение в столичной печати, но не переставших вздыхать об этой провинциальной непосредственности (как тот же Иванчин-Писарев, да и А.И. Богданович). Вот и я вспоминаю с особым удовольствием те светлые июньские ночи 1892 г., когда мы — редакция «Волжского вестника» (Иванчин-Писарев, его помощница и вместе конторщица газеты Лидия Валериановна Кострова и я, тогда секретарь газеты) — «стряпали» втроем очередной номер по только что полученной петербургской почте, спеша делать вырезки и снабжать их кусательными или поучительными для обывателя примечаниями и заботясь главным образом о том, чтобы не спутать клей с чернилами и не сунуть перо в первый или кисточку в последние...

А запах типографии! Этот чудный запах свежей типографской краски, так неразлучно ассоциировавшийся с представлением о статье, которая «принята», которая сейчас набирается и которую завтра прочитает весь город или, по крайней мере, все мои знакомые. Да, чудесно пахло в казанских типографиях 90-х годов прошлого столетия, и, когда я теперь слышу типографский запах, я молодею на много лет и мне кажется, что я только что закончил маленький фельетон Постороннего (мой псевдоним для таких фельетонов в «Волжском вестнике»), фельетон этот вернулся от «Адошки» и завтра, читатель, вы прочитаете в газетном листе приблизительно следующее[49]:

Мой бред

Я был болен инфлуэнцией...

И я, конечно, бредил. Но бред бреду рознь. Мало ли какой бывает бред. Намедни я читал «Гражданин», потом подвернулся мне «Русский вестник» с романами гг. Орловского и Крестовского...[50]

Но мой бред был совсем особый. В бреду мне представилось, что я нахожусь в Египте и попал как раз на раскопки мумий. Была очень эф-

фектная картина: вдали сверкал «желтый Нил», сорок веков смотрели на нас с вершин пирамид, и колосс Мемнона поминутно стонал...

Даже соседние сфинксы поглядывали на нас сочувственно и собирались загадывать нам загадки.

Копались мы, копались, и, наконец, эта в полном смысле слова египетская работа окончилась. Вытащили на свет Божий какую-то мумию...

Как хотите, в этом есть что-то оригинальное, даже поэтическое: тысячи лет спал человек глубоким сном смерти, столетия бежали, народы приходили и уходили, все изменилось до созвездий включительно, и вдруг пришли какие-то неведомые люди, проникли в бессмертную пирамиду и вытащили оттуда тысячелетний труп. И лежит он теперь перед нами таким же, каким был бесчисленное множество веков назад, и мы видим — как живого видим перед собой человека, который жил Бог знает когда, в те незапамятные времена, когда люди изъяснялись не буквами, а иероглифами, когда фараоны строили свои пирамиды, народ толпился вокруг священного Аписа и созвездие Южного Креста блистало над Нилом...

. . . .

«Кажется, вы воображаете, что мумии встречаются только в одном Египте? — раздался вдруг над моим ухом чей-то иронический голос. — Вы думаете, что в вашей Казани и слыхом не слыхать про мумии? Ими у вас хоть пруд пруди!.. Ведь многие из вас только по виду будто бы всамомделишние люди, на самом же деле эти господа принадлежат к самым коренным представителям самого допотопного времени... Вам, вероятно, не раз приходилось замечать резкую разницу, в несколько столетий даже, когда вы отправлялись проделывать одну из десяти тысяч китайских церемоний, привившуюся у вас под названием визитов. Приехал в один дом — действительно, все как следует, видно, что у нас XIX столетие, просвещенный век, "настоящее время, когда..."[51] и т. д. Приехал в другое место — батюшки! Да никак сразу из XIX в XVI столетие попал. Что-то уж очень деревянным маслом пахнет. Поехал дальше — еще того лучше. Тут уж прямо XIII век, времена монгольского ига и княжеских усобиц, а еще дальше поедешь, чего доброго и в IX век попадешь...»

. . . .

Неведомый оратор вдруг оборвал свою речь. Меня неприятно поразили его слова. Я стал думать, думать о них... у меня стали путаться мысли, голова закружилась... я полетел со всего размаха и упал прямо в Нил. Вода охладила мой лихорадочный жар, и я очнулся... Возле меня

стоит доктор и щупает мой пульс. «Безнадежен», — промолвил он гробовым голосом. — «Ну, стало быть, выздоровлю», — подумал я. И выздоровел.

Так мы острили тогда и так поучали нашего многотерпеливого читателя гражданским истинам. Этот фельетон довольно типичен для тогдашних местных писаний, почему я и позволил себе взять его (в сокращении) из «Волжского вестника» (номер от 25 декабря 1891 г.). Иначе как «показом» тут трудно объяснить что-нибудь. В другом таком же фельетончике я обличал каких-то мерещившихся мне вокруг «идейных пустоцветов»[52]: «Рефлексия, сомнение, неуверенность в себе — постоянные спутники идейного пустоцвета, и они же самые опасные его враги. Поддавшись им, он рискует начать спускаться со ступеньки на ступеньку и все дальше уходить от и без того далекого идеала, который и без того только светит, а не греет».

В этом резонерстве ощутительно влияние Надсона, которым я тогда зачитывался и которого совсем всерьез ставил выше Пушкина. Надсон вообще, как я уже говорил, царил над провинциальными умами и сердцами, если таковые были моложе тридцати лет, и обличительно-ноющий «надсонизм» давал основной тон провинциальным перьям. Так длилось еще долго — целое десятилетие, пока шумный успех Максима Горького, внутренне связанный с переломом от плаксивого народничества к задорному марксизму, не произвел коренной перемены в общественном настроении, или, лучше сказать, явился выразителем такой перемены. С началом нового столетия начались новые времена, — и очень типичная в своем «упадочном» стиле эпоха «конца века», о которой здесь шла речь, закончилась...

ГЛАВА II

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ В 1892–1893 ГГ.

Переписка с Мережковским — Встречи с Короленко и Н.К. Михайловским — Гарин — Обновление «Русского богатства» — Мой переезд в Петербург — Переустройство журнала — Вхождение Михайловского — Иванчин-Писарев и Кострова — Н.Ф. Анненский — Мои рецензии — Статья о Чехове — «Иван Весеньев» — Гонорары — Мои знакомства: В.В. Лесевич, А.И. Венцковский, А.А. Давыдова, бар. В.И. Икскуль, В.И. Семевский, А.М. Скабичевский — Литературные обеды — М.А. Антонович — Литературные вечера — Чтение стихов — Поэты и беллетристы — Вас.Ив. Немирович-Данченко — Д.Н. Мамин-Сибиряк — Чествования Михайловского — Политическое положение — Мои дела с «Неделей» — П. Гайдебуров и Меньшиков — М.В. Ватсон — Визит к Павленкову — Лекции Мережковского — Мой разлад с «Русским богатством» — Споры о поэзии — Возвращение в Казань — Письмо Иванчина-Писарева — Знакомство с Мережковским — «Письма о поэзии»

Самым первым столичным литератором, с которым мне довелось соприкоснуться — хотя еще только письменно, — был Д.С. Мережковский. Как раз в 1890 г. — в год начала моей литературы — Мережковский напечатал свою довольно большую «петербургскую» поэму «Вера»[1], в стиле «Евгения Онегина», с главным героем из молодежи, который должен был являть собой

тип «героя времени» — новейшего Онегина или Печорина. Поэма эта, написанная по внешней форме очень умело и даже изысканно, привела меня в полный восторг. Мне показалось, что явилось нечто почти равное Надсону и, во всяком случае, далеко превосходящее этого скучного и устаревшего Пушкина, к которому я (уроки Писарева![2]) относился с принципиальной враждой. И я написал «поэту моего поколения» юношеское письмо, где выразил все свои чувствования. Делая уступку общепринятым предрассудкам, я сравнивал в письме «Веру» с «Онегиным», но в душе ставил первую настолько же выше, насколько «наше» поколение было, разумеется, выше пушкинского — этого поколения вертопрахов и дуэлянтов.

«И что еще особенно дорого нам в Вашей поэме, —добавлял я уже от имени "всей нашей молодежи", —это проникающая ее горячая любовь к свету и правде. Мы не можем относиться иначе, как с чувством глубокого уважения и сочувствия, к поэту, посылающему свой привет "всем желающим блага отчизне", всем работающим на ее пользу и страдающим за нее». Таким надсоновским языком писались в те времена письма юных энтузиастов —языком идеалистического народничества[3].

Редко в жизни я бывал так счастлив, как в тот летний день 1890 г., когда, зайдя в университет (я был еще студентом) и просматривая выставленные за проволочной сеткой письма «до востребования», увидел, где-то в углу, большой белый конверт, на котором странным, готическим почерком была написана моя фамилия. Я не верил своим глазам, так как никогда не ожидал, что с петербургского Олимпа — от самого автора «Веры» —спустится ко мне ответ:

«К сожалению, Вы не дали своего адреса, —писал Мережковский, — так что я не знаю, дойдет ли это письмо до Вас, но, может быть, и дойдет. Спасибо, милый товарищ! Вот такие простые, искренние отзывы, как Ваш, —лучшая награда писателей! В минуты нравственного одиночества и недоверия к своим силам, — в минуты, которые часто у меня бывают, я стану вспоминать, что есть у меня хоть один дружественный мне читатель, и мне станет легче.

И так будьте убеждены, что Ваше письмо не пропало даром, оно доставило мне светлую, хорошую минуту, за которую я Вас от всего сердца благодарю, и Вас и всех Ваших товарищей, о которых Вы говорите и которые думают так же, как Вы.

Крепко, крепко жму Вашу руку, "далекие, безвестные друзья"!

Д. Мережковский

5 июля 1890 г.»[4]

Мой энтузиазм к «Вере» вылился также в форме довольно длинной библиографической заметки в «Казанском биржевом листке», которая была первой моей статьей на литературную тему. Заметка эта кончалась категорическим заявлением, что «автор этим произведением окончательно завоевал себе среди наших молодых поэтов первое место после Надсона»[5]. Мне казалось тогда, что это «место» — нечто вроде Лермонтова после Пушкина —«по старой классификации».

В следующем, 1891 году я завязал уже переписку с корифеями прежней поэзии — прославленными представителями 40-х годов, Фетом и Полонским. Но об этих отношениях я расскажу в особой главе (третьей).

Первой *личной* моей встречей с «знаменитостью» была встреча с В.Г. Короленко — в редакции «Волжского вестника» летом 1892 г. Помню, зайдя как-то в редакцию, я увидал сидящего на диване коренастого, довольно «простецкого» вида мужчину средних лет с бородой лопатой и маленькими, серыми, глубоко сидящими глазками. Он походил и по наружности, и в своих манерах на волжского капитана с непарадного парохода или даже на пароходного лоцмана, вечно стоящего в своей маленькой будке на верху палубы, за рулевым колесом. Загорелое, обветренное лицо и запущенная борода еще больше увеличивали это сходство. Короленко, в самом деле, живя тогда в центре волжского пароходства, Нижнем, был близок к пароходной среде (его жена была сестрой пароходного капитана)[6]. Беллетриста, да еще прославленного, да еще с таким романтическим талантом трудно было увидать в тогдашнем Короленке. И разговор его, тусклый и вялый, был неинтересен и как-то ниже ожидаемого. Такое же, впрочем, впечатление осталось у меня от Короленки и при позднейших встречах в Петербурге. Хотя временами он оживлялся (особенно когда разговор затрагивал какую-нибудь «гражданскую» тему), но и тогда не выходил за границы тех общих мыслей и чувств, которых можно было ожидать заранее. Видимо, талант Короленки был мало связан с его личностью и проявлял себя, помимо последней, в каком-то стихийном обнаружении. Я никогда не встречался с Чеховым, но его письма и все воспоминания о нем заставляют думать, что впечатление от него было лично-ярким. Напротив, письма Короленки удивляют своей бесцветностью — и таким же приблизительно было и личное от него впечатление.

Гораздо значительнее получилось последнее, когда однажды, в том же июне 1892 г., я, придя к Иванчину-Писареву в его небольшой номер

местной гостиницы, увидал стоящего у двери среднего роста худощавого человека, хотя пожилого, но казавшегося почему-то молодым, с длинной, красиво седеющей бородой, длинными «поэтическими» волосами и в пенсне. Это был «властитель дум» тогдашнего молодого поколения, поскольку это поколение было «левых» настроений, — самая первая знаменитость народнического лагеря, один из главных участников некрасовских и салтыковских «Отечественных записок», имя, неразрывно сплетенное с именами великих борцов русского радикализма, дело которых он так славно продолжал. Одним словом, это был Николай Константинович Михайловский.

Михайловский ехал Волгой на Кавказ (обычное его летнее пребывание) и по дороге остановился у своего старого товарища, Рейнгардта. Впоследствии, в Петербурге, я одно время довольно близко знал Михайловского (см. далее), но эта встреча была мимолетной. К тому же, по молодости лет я не мог принимать деятельного участия в беседе «старших» (тогда отношения старого и молодого поколения были обратные теперешним). Михайловский сообщал петербургские новости; казанцы рассказывали о голоде и трудностях бороться с ним. Мне лично всего интереснее был отзыв «самого» о моих газетных писаниях и очень польстило, когда он похвалил «Постороннего». На другой день я зашел к Михайловскому в номера Банарцева и застал его пишущим срочную статью для «Русской мысли» («Русское богатство» хотя уже отошло тогда от Л. Оболенского, но Михайловский еще не входил в него)[7]. Помню, как меня поразила чисто исписанная красивым бисерным почерком страница, без единой поправки. Я не представлял себе возможности такого самоуверенного писания.

Третьим известным человеком, знакомство с которым мне послала судьба в это же лето, был другой Михайловский, Николай Георгиевич, беллетрист, только что начавший тогда писать под псевдонимом «Гарин». Его «Детство Темы» появилось в первых книжках за 1892 г. начавшего свое обновление «Русского богатства»[8], которое вели тогда С.Н. Кривенко и К.М. Станюкович. Гарин, инженер по профессии, не имел литературных знакомств и лишь случайно обратился к Станюковичу с просьбою дать отзыв о написанном уже за несколько лет до того и лежавшем в рукописи «Детстве Темы». Кто-то из беллетристических авторитетов читал уже, правда, эту рукопись у Гарина, но содержания оной не одобрил. Обес-

куражённый автор убрал ее с глаз долой и лишь через несколько лет решился «попробовать» еще раз. Станюкович, сам беллетрист не без таланта (автор известных тогда «Морских рассказов»), пришел в восторг; «Детство» было напечатано — и вслед за Станюковичем пришла в восторг вся читающая публика. Дебют вышел на редкость удачным. В числе других печатал и я хвалебные о Гарине отзывы на столбцах «Волжского вестника»[9]. Об авторе я не имел никакого понятия и не без удивления узнал его в инженере, заехавшем в Казань по приглашению губернского земства для изысканий местной железной дороги.

Я думаю, каждый, кто хоть раз мельком видел Михайловского-Гарина, запоминал его наружность. Густая седая щетка коротко остриженных волос подымалась над смуглым по-южному (он был одессит), загорелым лицом с небольшой бородкой и редкими усами. Все это лицо освещали и сразу приковывали внимание необыкновенные глаза — крупные, светлые, с каким-то «говорящим», удивительно искренним, почти детским взглядом. Эти глаза притягивали к себе и возбуждали симпатию к их обладателю. Их контраст с сединой и смуглостью лица еще усиливал впечатление. Даже мужчин наружность Гарина располагала в его пользу; у женщин же он имел слишком понятный успех. А так как и сам он увлекался, как южанин, то романический элемент играл в его биографии очень большую роль. К наружности нужно еще прибавить редкий дар слова — умение говорить непосредственно и живо, и в то же время красиво и «с огоньком». Этот словесный дар превосходил даже писательский, и в редакции «Русского богатства» скоро заметили, что Гарин легко «выбалтывается» и нужно мешать ему раскрывать свои литературные планы ранее их осуществления. Высказавшись, он охладевал к этим планам или выполнял их далеко не с такой яркостью, как можно было бы ожидать. Так, я и до сих пор помню его полное блеска изложение будущих «Гимназистов»[10]; осуществленная повесть оказалась бледной копией сравнительно с этим.

Большой ребенок, действительно, жил в Гарине: он легко поддавался каждому впечатлению и попадал под чужой авторитет. Его ничего не стоило уверить, что он чуть ли не великий писатель, и еще легче, что он бездарность. Он минутно огорчался или загорался от таких уверений, но в его южной натуре ничто не держалось прочно. По этой своей натуре он был добродушен и вовсе не самомнителен; литературного генеральства в нем не было и тени. Уже прошумев на всю Россию, он держался, на-

пример, со мной, новичком, совершенно как ровня — и на первом издании своих рассказов[11], мне подаренном, написал попросту: «Начинающему от начинающего». Впоследствии, когда его инженерная карьера развилась широко (он был превосходный «изыскатель»), он мог «швырять деньгами», и действительно швырял: он сам говорил мне в начале 1900-х годов (и, конечно, не хвастал — лганье не было в его натуре), что заработал и прожил в очень короткий срок (помнится, в полтора года) два миллиона рублей — и это при тогдашней дешевизне. Вокруг него кормилось множество народа, и он любил «выручать» из трудного положения — особенно молодежь, которая всегда могла рассчитывать найти у него приветливый прием.

В те годы Гарин еще слабо разбирался в «направлениях» и вообще в литературных обстоятельствах. Иванчин-Писарев принял его под свою опеку и — характер совершенно противоположный гаринскому — имел на него большое влияние. Благодаря этому влиянию создалось окончательно народническое «Русское богатство»: журнал, подкрепленный средствами Гарина, стал на ноги, мог заручиться редакторством Н.К. Михайловского, обеспечить себе сотрудничество Короленки и других «звезд» и выдержать первые, трудные годы, пока вокруг него не сложился прочный круг подписчиков.

Через несколько дней я уезжал в деревню, и так как изыскания Гариным Казань-Малмыжской узкоколейки должны были привести его в наши места, на севере Казанского уезда, то я звал его заехать в нашу Хотню. Это посещение описано им в рассказе «На ходу» (глава IV)[12]. «Развальный» молодой человек, к которому едет автор и которого закормили пирожками, — конечно, я. Пейзаж усадьбы передан долею верно, но долею с изрядной примесью фантазии (церковь, например, вовсе не похожа на «портик, окруженный коринфской колоннадой»)[13]. То же и с обитателями усадьбы. «Дедушка» — мой дядя Платон Петрович Перцов, действительно, всегдашний житель деревни, но которому было тогда не девяносто лет, а лишь семьдесят девять. Доживать до «предела» в сто лет он не собирался, а очень боялся нашего семейного предела — как раз в семьдесят девять лет — и, правда, умер в ближайшую же зиму. Грот с ключом над могилой татарского святого, в саду усадьбы, существовал, как описан; но жили мы именно в большом (якобы «заколоченном») доме, где и принимали Гарина, и т. д.

Окончив изыскания (дорога, как все почти «изысканные» Гариным, не была построена), Гарин уехал в свое самарское имение (описанное им в столь драматическом рассказе «Несколько лет в деревне»)[14]. Скоро поехал к нему туда Иванчин-Писарев, и там, в августе 1892 г., решилась в вышеупомянутом смысле судьба «Русского богатства»[15] и, вместе с тем, до известной степени литературная судьба народничества, получившего после долгого перерыва («Отечественные записки» были закрыты еще в 1884 г.) настоящий «свой» журнал, вместо суррогатных «Русской мысли», «Недели» и проч. Поскольку народничество, связанное в своем прошлом с террористическим движением, являлось еще тогда несомненно активной революционной силой — факт создания такого журнала может быть рассматриваем как начало выхода из «мертвого штиля» 80-х годов и как один из предвестников нового революционного подъема.

В дальнейшие годы я мало и не регулярно видел Михайловского-Гарина, хотя мы всегда встречались как товарищи. Нас связывали воспоминания об его и моем дебютном времени. Впоследствии, с появлением и развитием марксистского движения, Гарин, вообще очень чуткий ко всякой идейной новизне, стал переходить от народничества к марксизму. Он охладел к «Русскому богатству» и начал поддерживать марксистские издания. Да и в жизни его инженер все более вытеснял помещика... Но личные отношения его с кружком «Русского богатства» в общем, кажется, сохранились; впрочем, поссориться с Гариным было трудно и едва ли даже возможно: ясные, детские глаза уничтожали всякое недоразумение...

В последний раз мне привелось встретиться с Гариным в Петербурге зимой 1906 г. на одной из художественных выставок. Не видав его перед этим года два, я не узнал его: передо мной был страшно постаревший и какой-то надломленный человек. Несравненные глаза потускнели, и все лицо покрылось сетью мелких морщин, так что даже странно было на него смотреть. Было ясно, что он тяжело болен, и он, действительно, стал жаловаться на нездоровье. Прошло немного времени, и, живя в Крыму, я прочел в газетах о внезапной смерти Гарина на редакционном заседании возникавшего марксистского журнала[16]. Трудно было представить его себе мертвым — так он был полон жизни... После его смерти семья его осталась в очень стесненном материальном положении.

В том же августе 1892 г. — может быть, отчасти под впечатлением всех этих новых знакомств, повеявших на меня другим воздухом — я как-то

внезапно принял решение покинуть мою родную Казань, в которой прожил все свои тогдашние двадцать четыре года, и перебраться в тянувший издали, неизвестный и заманчивый Петербург. Решению этому сильно помогало то обстоятельство, что одновременно переезжал в Петербург Иванчин-Писарев, чтобы устраивать там «Русское богатство», и мне открывалась сразу возможность сотрудничества в столичном толстом журнале под непосредственным руководством Н.К. Михайловского[17]. Правда, последний был как будто против этого переезда: Рейнгардт, не желая терять нужного сотрудника, написал ему письмо с просьбой предостеречь меня от переселения[18] — и Михайловский в ответном письме исполнил его просьбу. Но это не остановило меня: я был уверен, что «риск» переселения обернется в мою пользу, и я пущу корни в столичной почве. В частности, я надеялся также, что бойкость пера «Постороннего» смягчит недоверие Михайловского — что скоро и случилось. Итак, в конце сентября 1892 г. я покинул родительский дом и все «пирожки», с ним связанные, и переехал в неприветливую к новичкам, угрюмую и холодную северную столицу, поселившись там в большом меблированном доме «Пале-Рояль» на Пушкинской улице, где жил тогда и Иванчин[19].

С этим «Пале-Роялем» связана вся моя петербургская жизнь (с некоторыми перерывами 14 лет — с осени 1892 г. по весну 1906 г.). Там развернулось мое литераторство, прошло издательство и завязались все главные литературно-жизненные связи. Там зародился «Новый Путь» — из приватных собраний немногих друзей и единомышленников в моем номере, и нет такого символиста (из поэтов, по крайней мере), который не знал бы этого номера. Но это все было еще впереди, а пока я появлялся в столице как провинциальный новичок, не знающий, на котором конце Невского Адмиралтейство и на котором вокзал. Мой дядя, старый петербуржец, сенатор Александр Петрович Перцов, всегда напоминавший мне дядюшку из гончаровской «Обыкновенной истории»[20], встретил мой приезд очень скептически. Заниматься литературой? — это было что-то непонятное. Правда, Краевский и Глазунов[21] нажили на литературе большие деньги (это были единственные «литераторы», запомнившиеся дяде), но для этого нужна удача. Когда впоследствии я издал хрестоматию молодых поэтов, дядя никак не мог уяснить себе, кому это может быть нужно, — как если бы я издал словарь патагонского языка. А был сенатором, в прошлом даже товарищем министра, ездил часто за границу и владел

иностранными языками. Такие фигуры были возможны тогда на верхах бюрократического Олимпа.

Иванчин скоро доставил мне несколько книжек для рецензий — и мое петербургское литераторство началось. Эти рецензии вошли в ноябрьский номер «Русского богатства», где они заняли весь отдел «Новых книг». О чем я только тут не писал — начиная с рецензии на «Символы» Мережковского, продолжая «веселыми» рецензиями на повести г-жи Аничковой и на «Искусство жениться» Паоло Мантегаццы и кончая «солидным» отзывом о «Судебной практике кассационных департаментов правительствующего сената»[22]. По старому обычаю «Отечественных записок» рецензии, как редакционный отдел, не должны были подписываться, но для меня Михайловский сделал маленькое исключение, и под библиографией ноябрьского и декабрьского номеров «Русского богатства» за 1892 г. стоят буквы «П.П.», которые должны были сигнализировать казанским скептикам, что я «устроился».

С ноябрьской книжки 1892 г. «Русское богатство» выступало уже вполне как новый журнал определенной окраски. Хотя в качестве редакторских остались те же бесцветно-фиктивные подписи каких-то Быкова и Попова (которых я никогда даже не видал), но рядом с ними появилась солидная и многообещающая подпись издательницы Н. Михайловской, т. е. жены Гарина — Надежды Валериановны, которую в большой публике принимали за жену Н.К. Михайловского (самому Гарину, по его служебному положению, неудобно было выступать издателем, да и самарское имение принадлежало юридически его жене, урожденной Чарыковой)[23]. Появился и новый список сотрудников, среди которых имя Н.К. Михайловского красноречиво говорило о смысле перемены (в этот список Иванчин не забыл включить и мое, никому ничего не говорившее имя)[24]. А главное: переменился состав фактических редакторов. Станюкович удалился; вместо него вошел Иванчин и наконец — Михайловский.

Не без колебания решился Николай Константинович на этот шаг. Его смущала материальная хрупкость предприятия, крушение которого неизбежно скомпрометировало бы и принципы, им представляемые. «Если бы у меня было сто тысяч, — говорил он мне, — я отдал бы их на журнал, но если бы было десять тысяч — не стал бы их тратить». У журнала были именно десять тысяч, обещанные ему Гариным. Но годовая смета, при серьезной постановке дела, выражалась в цифре тридцать две тысячи

рублей. В первый год, при тогдашних условиях, трудно было рассчитывать больше чем на две тысячи подписчиков, что, при цене журнала в девять рублей в год, давало, за вычетом почтовых расходов, всего шестнадцать тысяч. Итого в активе получалось только двадцать шесть тысяч рублей — и дефицит был неизбежен, не говоря уже о полной туманности дальнейшего. Но Иванчин победил все препятствия. Гарин съездил в свою деревню и привез оттуда решение свое и своей жены «идти до конца», т. е. дать на журнал столько, сколько потребуется, а в случае надобности продать даже половину имения, что должно было дать тысяч пятьдесят. Так как условием этой поддержки Гарин, кроме издательства своей жены, ставил редакторство Николая Константиновича, то последнему ничего не оставалось, как согласиться.

Редакционная «тройка» сформировалась окончательно в лице Михайловского, Иванчина и С.Н. Кривенки. Первый заведовал (кроме общего руководства) критикой и изящной литературой; второй — конторой и вообще материальной частью, причем отчасти также читал рукописи и «правил» их (на эту «правку» Иванчин был замечательный мастер — в противоположность Михайловскому, всегда стеснявшемуся этой работой); на долю Кривенки остались «внутренние дела» (он вел их «обозрение») и провинциальный отдел.

Произошли перемены и в конторе. Ею стала заведовать Л.В. Кострова, бывшая конторщица «Волжского вестника», также перебравшаяся в Петербург. Самоотверженно преданная делу журнала, Лидия Валериановна помогала ему не только личным трудом, но и материально, закладывая в трудные минуты, которые иногда бывали в первые годы, свои грошовые «ценности» и выручая редакцию. Без преувеличения можно сказать, что «Русского богатства» не было бы, если бы в это первое, рискованное время его обновленного существования у него не нашлось таких героических работников, как Иванчин-Писарев и Кострова. Наличность идеализма, проявлявшегося в самых разнообразных формах, всегда составляла преимущество «левого» лагеря нашей общественности — и она-то, конечно, и дала этому лагерю в конце концов победу.

Дальше стояли от журнала беллетристы, как Короленко, который лишь значительно позднее, после смерти Михайловского (т. е. с 1904 г.), принял на себя главное представительство уже давно процветавшего журнала, и Глеб Успенский, который в 1892 г. был еще жив, но уже почти не

покидал новгородской психиатрической лечебницы[25] — так что я, застав много рассказов о нем (его все очень любили), ни разу не видал его. Не входил еще в журнал и А.Г. Горнфельд, с которым я случайно познакомился еще в 1888 г. в Крыму[26] и которого, уйдя из «Богатства», рекомендовал Михайловскому на свое амплуа рецензента и критика. Рука моя оказалась легкой, и Аркадий Георгиевич стал впоследствии одним из руководителей журнала[27].

Сергей Николаевич Кривенко, плохо ладивший с Иванчиным, довольно скоро отошел от журнала. Очень симпатичный лично, но мягкий и безвольный, он был типом чистокровного «народника», пассивного идеализатора деревни и крестьянства, чуждого по своей натуре политической борьбе и наклонного к толстовству. Вполне понятно его расхождение с активным террористом Иванчиным, державшимся (хотя без формулировки) принципа: «всё для народа, но не через народ». Михайловский в этом отношении был однотипен с Иванчиным, что и предрешило исход междоусобия — несмотря на то, что с Кривенко Николай Константинович был связан старой дружбой (они были даже на «ты») и товариществом по «Отечественным запискам» (где Кривенко вел после Елисеева внутреннее обозрение).

Кривенку сменил Николай Федорович Анненский[28], нарочно вызванный для того Иванчиным из нижегородской земской статистики, которой он заведовал (он был одним из самых авторитетных наших статистиков). Я думаю, многие еще помнят Николая Федоровича (он умер не так давно) — его крупную фигуру, румяное по-старчески лицо, растрепанные седые волосы и бороду и громкий смех. Анненский вносил с собою в столичную редакцию провинциальный, почти деревенский воздух, вместе с провинциальным благодушием и мягкостью. Он совсем не походил в своем духовном облике на своего младшего брата — столь известного теперь (но вовсе неизвестного тогда) поэта-модерниста Иннокентия Федоровича Анненского. Вкусы Николая Федоровича были, напротив, вполне старомодные, правоверно-реалистические, и в поэзии дальше Некрасова он вряд ли шел.

При воспоминании о Н.Ф. Анненском мне всегда вспоминается и одно тяжелое впечатление, с ним связанное. В 1899 (или 1901) г. Анненский, участвуя в одной из тогдашних студенческо-интеллигентских демонстраций у Казанского собора, получил от разгонявших демонстрацию

казаков удар нагайкой по лицу[29]. На лице образовался чудовищный кровоподтек, захвативший всю левую половину. Этот кровоподтек долго не проходил и производил ужасное впечатление. Что-то вопиющее было в факте, что пожилой, достойный симпатичный человек мог, при каких бы то ни было обстоятельствах, подвергнуться такому обращению. Вся дикая некультурность тогдашнего строя, обыкновенно прикрытая лоском благополучия, внезапно предстала здесь в своей грубой осязательности.

Одна за другой стали выходить книжки возрожденного журнала, сильно отставшего за год редакторства Станюковича[30], и к январю 1893 г. он уже вошел в норму. Дала себя знать перемена и на подписке: в том же январе число подписчиков обогнало цифру за весь 1892 г. Было видно, что дело стало на прочные основы.

Мое личное положение в журнале также укрепилось: и в декабрьском номере почти вся библиография была моя (семь рецензий, как и в ноябре)[31]. В этой книжке есть, между прочим, рецензия (конечно, хвалебная) на некие «Критические статьи» — автора, имя которого было опущено. Этим автором был Чернышевский, которого в то время нельзя было называть в печати, как «государственного преступника» (хотя он уже умер за три года до того), и издание статей которого было разрешено только как анонимное[32]. Такое же «табу» лежало и на имени Герцена, которого я в казанских газетах поминал под титулом «крупнейшего человека сороковых годов». Впрочем, кроме меня, имевшего в своей библиотеке женевское издание Герцена[33], перевезенное мною через финляндскую границу, никто не ссылался на него — просто за незнанием. Еще Чернышевского читали в старых книжках «Современника» (а «Что делать?» и в отдельном издании). Но Герцена неоткуда было узнать: книжки «Полярной звезды» и номера «Колокола» в провинции были сугубой редкостью. Поэтому читатели «Волжского вестника», встречая мое иносказание, вероятно, только недоумевали, о ком идет речь. Теперь все это кажется чем-то невероятным. «Свежо предание»...[34]

Мои рецензии появлялись еще (без подписи) в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11-м «Богатства» за 1893 г. — последняя уже после моего ухода. Всего было напечатано тридцать три рецензии. Большинство из них написано в том «писаревском» стиле, который так характерен для библиографии наших старых радикальных журналов. В «Отечественных записках» 70—80-х годов все, начиная с Михайловского, писали в этом стиле, и неда-

ром Короленко долгое время принимал мои рецензии за писания Николая Константиновича. С наибольшим удовольствием я «отделывал» целыми пачками стихотворцев-дебютантов — нередко настолько диких, что такой дикости и дичи сейчас уже не найти[35].

Рецензии с неизбежностью вели меня к «критике», и рецензия о Чернышевском была, собственно, обломком целой статьи о русской критике и ее «периодах». Само собой разумеется, что статья эта была забракована Михайловским, в чем я не сомневался, еще когда писал ее, — настолько для меня уже было ощутительно, что в чем-то основном я не схожусь и не могу сойтись с «традициями» «Отечественных записок». «Это какие-то Пропилеи без Парфенона» — выразился Николай Константинович о моей статье. Но Парфенон было бесполезно пытаться строить, если бы даже его план и был мне в то время яснее, чем был.

Оставалось попробовать более «мирную» тему, и я принялся за большую статью о Чехове. Чехов в то время занимал какое-то двусмысленное положение в литературе: все видели его большой талант, охотно читали, его книжки выдерживали издание за изданием, но настоящего «признания» — такого, которое встретило с первых же шагов Гаршина, Короленку и впоследствии Максима Горького — для Чехова не было. Критика на него ворчала за отсутствие определенной общественной окраски. Оба авторитетнейших ее представителя — Михайловский и Скабичевский — согласно журили за это молодой талант. Михайловский отмечал «холодную кровь» (заглавие одного из ранних чеховских рассказов), с которой Чехов писал на любую тему: «вот человека убили, — вот шампанское пьют»[36]. Скабичевский отличился уже своим знаменитым предсказанием, что Чехов от своей беспринципности умрет под забором[37]. В том же тоне времени была в общем и моя, довольно большая по размеру, статья (около двух листов). Самое заглавие ее — «Беллетристическая nature morte» — указывало на ее главную мысль. Заглавие это Михайловский нашел слишком вычурным и заменил другим — «Изъяны творчества», которое, однако, вышло излишне обидным для Чехова[38]. Статья моя вовсе не сосредоточивалась специально на его недостатках: напротив, она заметно отличалась от обычной манеры тогдашних писаний о Чехове обилием и горячностью похвал (я был величайшим энтузиастом Чехова с первого момента его появления в литературе)[39]. Эта сторона статьи даже смутила Михайловского, и он колебался печатать. «Наконец, я решился, —

признавался он Иванчину, — вспомнив, что Короленко тоже всегда очень хвалит Чехова, а Короленко понимает в этих вещах больше меня». Итак, статья появилась (в № 1 «Русского богатства» за 1893 г.) и произвела заметное впечатление. Я почувствовал себя «подающим надежды»... Оставалось их оправдывать, и я уселся за новую большую статью — о покойной уже тогда Софье Ковалевской, «Литературные сочинения» которой только что вышли. Увы, статью эту ждала неудача: Михайловский забраковал ее. Та же участь постигла и следующую — о Короленко, и мой критический пыл охладился[40].

Но Михайловский был увереннее во мне, нежели я сам. Он упорно предлагал мне свою тему для большой статьи — тему, которую берег уже с давних пор. Существовал на свете в 50—60-х годах писатель-беллетрист Иван Весеньев — псевдоним, под которым скрывалась некая Софья Хвощинская, родная сестра Надежды Хвощинской-Зайончковской, которая известна в нашей литературе как «Крестовский»-псевдоним. Иван Весеньев в свое время пользовался успехом, но потом был совершенно забыт. Сочинения его не были изданы отдельно[41], но у Михайловского сохранялись два тома сборника, где сестра Весеньева, Крестовский-псевдоним, собрала все ее писания. Этот сборник был, конечно, unicum, и писать о Весеньеве можно было только по нему. Передавая мне эти книги, Михайловский советовал постараться воскресить в литературе «забытого писателя», который, по его мнению, стоил того. Я, конечно, обещал: взял толстые тома, долго держал их у себя, даже увозил впоследствии в Казань — и ничего не написал... Иван Весеньев показался мне совсем невкусным, а привычки писать на всякую тему, вкусную и невкусную, которая развивается у писателя-профессионала с годами, — у меня тогда еще не было. Так и осталась эта тема, вместе с толстыми томами, в наследство после меня Горнфельду, и он уже осуществил желание Михайловского[42].

Кстати упомяну о гонорарах. За Чехова я, как «начинающий», получил только 60 руб. с листа. За библиографию платили больше — 80 руб. с листа, так как считалось, что тут больше работы. Беллетристика обыкновенно оплачивалась по 100 руб., даже для «известностей»; и только такая знаменитость, как Короленко, получал с «Русской бедности», как следовало бы звать тогда наше «Богатство», по 150 руб. (в других местах Короленко получал больше). Гонорар Михайловского был тоже в 150

(помимо, конечно, редакторского жалованья, кажется, в 250 для него и в 150 для Иванчина и Короленки).

Успех статьи о Чехове расширил круг моих знакомств, впрочем, и без того не узкий. Через «Русское богатство» вели пути во все концы «левого» лагеря, и почти каждый день приносил знакомство с какой-нибудь «известностью». Так, еще в первые мои петербургские дни я познакомился с авторитетным тогда философом-позитивистом, эмпириокритицистом (он был специальным поклонником Авенариуса, которого у нас еще мало кто знал) и, наконец, буддистом В.В. Лесевичем. Квартира Лесевича на Лиговке была небольшим музеем, где, вместо православных икон, стояли золотые Будды, созерцающие свой пупок. Он переписывался с «настоящими» буддистами на Цейлоне и получал от них в подарок разные реликвии. Самой замечательной из этих реликвий и величайшей драгоценностью музея был сухой листок с того дерева, под которым Сакия-Муни получил свое просветление. Сам Лесевич был довольно скучный человек с вязкой речью и каким-то растерянным взглядом. Кажется, украинец по происхождению, он был горячим украинофилом (тогда очень редкое явление в русской интеллигенции) — и, говоря об Украине, о гнете над ней Великороссии, о гетманах и о возможном было освобождении Украины при Мазепе́, одушевлялся почти столько же, сколько говоря о буддизме. Помню образное его сравнение Великороссии и порабощения ею Украины с куском икры, навалившимся на муху. «Но муха ведь — живой организм, тогда как икра — нечто неорганическое», — восклицал он. Этот чудак серьезно считал Россию и русскую культуру чем-то неорганическим...

Другой заметной фигурой в ближайшем к «Русскому богатству» кругу был большой друг Иванчина, тоже Александр Иванович — Венцковский, поляк, инженер по профессии и отчасти литератор. В тот момент он служил инспектором мастерских на Варшавской железной дороге и в то же время заведовал петербургским отделением варшавской газеты «Głos». Конечно, он совершенно свободно говорил по-русски, но в его речь все-таки часто врывались польские и вообще «европейские» словечки, придавая ей своеобразный колорит. Он был речист и подвижен тоже не по-русски и постоянно жаловался на инертность русских — на то, что Петербург переполнен «кадаврами» (трупами). В жалобах этих была,

конечно, правда — и вообще от фигуры Венцковского, с его самоуверенной приподнятостью и резкими жестами, веяло каким-то иным, «заграничным» миром. Впоследствии этот самый Венцковский сыграл заметную роль в русско-польских отношениях: он был первым представителем независимой Польши при советском правительстве (скоро после того умер).

Познакомился я также с весьма известной тогда в Петербурге Александрой Аркадьевной Давыдовой, вдовой знаменитого виолончелиста К.Ю. Давыдова и издательницей незадолго до того основанного толстого журнала «Мир Божий», предназначавшегося, согласно подзаголовку на обложке, — «для юношества» (уступка цензуре), но на деле рассчитанного на просвещение и взрослого читателя (ограничительный заголовок впоследствии удалось снять)[43]. Известность Александры Аркадьевны была не лишена романтического оттенка, хотя в то время она была уже далеко не молода и по наружности отнюдь не моложе своего возраста. Ее роман с Н.К. Михайловским не был тайною для людей, стоявших к ним близко... Александра Аркадьевна очень приветливо звала меня в свой журнал; звал и приглашенный ею вскоре в редакторы, также переселившийся в Петербург под крыло Иванчина, А.И. Богданович[44], с которым мы, как бывшие «казанцы», считались своими людьми. Но я никогда не был многопишущим писателем, а в молодости тем более, и поэтому из этих приглашений, как и из многих других, ничего не вышло.

Зато я написал, по просьбе Иванчина, по доставленным мне материалам, несколько биографий русских женщин-писательниц для сборника о русских женщинах, составлявшегося комитетом петербургских Высших женских курсов для всемирной выставки в Чикаго[45]. В этом комитете председательствовала знаменитая баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон Гильдебандт. Яркая характеристика баронессы Икскуль дана Брандесом в его книге о России (XIX том Собрания сочинений в русском переводе)[46]. Я застал еще баронессу в полном расцвете ее редкой красоты. Хотя ей было уже около сорока лет и у нее были взрослые дети (от первого мужа, Глинки)[47], она была еще совсем молода и, стоя рядом со своей двадцатилетней дочерью, казалась моложе ее. Известный портрет Репина (в Третьяковской галерее)[48], где лицо спрятано за вуалью и безвкусный костюм той эпохи портит фигуру, не дает понятия о своем оригинале. К красоте присоединялись столь же редкий ум и широкое развитие, увлекавшее Варвару Ивановну к самым разнообразным сторонам культурной жизни.

Ее романы также заставляли чесаться столичные язычки... Брандес намекает на роман с одним весьма известным, даже самым знаменитым тогда русским художником (Репиным). В ту пору молва сплетала ее имя с именем одного видного государственного деятеля, впоследствии отличившегося своей проницательностью Кассандры в отношении старого режима. Салон Варвары Ивановны естественно привлекал к себе самые разнообразные элементы, иначе не соприкасавшиеся, и Иванчин-Писарев, сам не забывавший этого салона, уже рассказал в своих воспоминаниях, насколько полезна была для представителей нашего левого лагеря протекция Варвары Ивановны[49]. Он и сам, сперва едва допущенный в Петербург «временно» и неотступно преследуемый «соглядатаями», лишь благодаря этой протекции, путем постоянно выхлопатываемых отсрочек, остался в конце концов в столице совсем. Еще благодетельнее оказался салон баронессы для Н.К. Михайловского, когда одно время предполагалась высылка его в глубь Сибири. Тогдашний директор департамента полиции П.Н. Дурново (столь известный впоследствии министр внутренних дел в кабинете Витте 1905—1906 гг.), хотя усерднейший посетитель салона, отказывался смягчить или отменить «меру». Но случайно или неслучайно он встречается у баронессы с непосредственным своим начальством — «самим» министром внутренних дел, каким был тогда другой Дурново, И.Н. (однофамилец первого), и ему задается вопрос: будет ли Михайловский, как писатель, менее вреден, находясь в Якутской области, нежели в Петербурге. На это пришлось ответить отрицательно — и Николай Константинович избежал ссылки, для него тогда особенно нежелательной, так как учившиеся еще его сыновья остались бы в совершенно беспомощном положении. Так тогдашние петербургские «боги» хотели того, чего хотела женщина...

Скоро я стал бывать на журфиксах по вторникам у Василия Ивановича Семевского и по средам (через среду) у А.М. Скабичевского. У первого было скучно, и общество как-то не склеивалось, хотя сам хозяин и жена его, Елизавета Николаевна Водовозова-Семевская (составительница многотомной «Жизни европейских народов»)[50], весьма усердно занимали гостей. У Скабичевского было гораздо проще и, может быть поэтому, приятнее — и я не пропускал ни одной его «среды». Сам благодушный Александр Михайлович, с его нескладной фигурой и типичным лицом провинциального дьякона или дьячка, был олицетворенная приветливость и

в то же время, не навязываясь гостям, умел предоставлять беседе развиваться своим естественным ходом. Из постоянных посетителей вечеров у Скабичевского помню энтузиастического Виктора Петровича Острогорского (известного тогда педагога-писателя), вечно с последним стихотворением Жемчужникова или другого гражданского поэта эпохи на устах; Б.Б. Глинского, только что покинувшего тогда «Северный вестник», перешедший под редакторство А.Л. Волынского-Флексера[51] (что возбуждало крайнюю досаду в лагере «Русского богатства» как потеря важной позиции); симпатичного молодого поэта Ф.А. Червинского и кое-кого других, менее заметных.

Еще больше различной литературной публики — знаменитостей и неизвестностей — приходилось встречать на литературных обедах, бывших тогда популярнейшей формой писательского общения, так как все другие формы были сопряжены с затруднениями и опасностями. Обеды эти устраивались в больших ресторанах — правда, не у великосветского Кюба, а так где-нибудь в «Малом Ярославце» или у «Медведя» на Б. Конюшенной[52]. У последнего имелся и большой изолированный зал, как бы самой судьбой предназначенный для «братьев-писателей». Помню шумно отпразднованный в этом зале 22 ноября (ст. ст.) 1892 г. двадцатилетний юбилей беллетриста-народника П.В. Засодимского[53] — теперь, кажется, совсем забытого, а тогда представлявшегося «величиной». «Русское богатство» также устраивало раза два-три в зиму обеды «для взаимного ознакомления» сотрудников и друзей журнала, на которых собиралось 25—35 человек, плативших в складчину по 2—3 рубля с лица. На таких обедах, конечно, провозглашалось много тостов — простых и с многозначительными намеками (В.И. Семевский обыкновенно поднимал бокал «за мою красавицу» — и все знали, что он пьет за конституцию). Эти тосты и эти намеки и составляли главную привлекательность таких собраний.

На этих обедах не раз встречал я живую реликвию классической поры русского радикализма — маститого Максима Алексеевича Антоновича. Было неправдоподобно, что это был он — «тот самый»: он — ближайший сотоварищ Добролюбова (самого Добролюбова!) и даже преемник его на амплуа главного критика «Современника». И в ту пору, несмотря на удары, нанесенные ему полемикой с Писаревым из-за «Отцов и детей»[54], и расхождение с Некрасовым при начале некрасовских «Отечественных записок», Антонович сохранял еще в значительной степени престиж, созданный его ранними годами. «Друг и преемник Добролюбова!» — это, при той

канонизации Добролюбова, начало которой было положено еще самим Чернышевским, обеспечивало почет, хотя бы платонический. После «Современника» Антонович, как известно, уже почти не находил себе места в печати, но на обедах он был еще заметным лицом. Коренастый и широкоплечий, притом высокого роста, он казался точно выкованным из железа. Особенно внушительна была эта семинарского склада фигура на улице (я часто встречал его на Пушкинской, около его обиталища в доме № 18), где он шел или, вернее, шествовал с высоко поднятой головой и заложенными назад руками, прямо и несокрушимо, по тротуару, со всей непреклонностью преемника Добролюбова. В те годы, впрочем, он уже признавал себя побежденным в своем столкновении с Некрасовым. «Кто же мог ожидать, — слышал я сам его признание на одном «после-обеда», — что он (Некрасов) так поведет дело («Отечественных записок»)? Если бы я мог это предвидеть — я, разумеется, не боролся бы с ним»[55]. Не знаю, дошел ли Антонович до такого же благоразумного раскаяния и в своей еще более нелепой полемике с Писаревым... Крепкое здоровье еще долго охраняло его, и грузная железная фигура целые десятилетия продолжала символизировать собою далекое прошлое на стогнах нового Петербурга и даже Петрограда. Он умер чуть ли не после 1917 г.

Обеденная и особенно послеобеденная атмосфера вообще действовала на языки, и под ее влиянием разговор принимал более интимный характер. При таких условиях произошла однажды у меня с Михайловским памятная для меня сцена, которую я позволяю себе рассказать, потому что она ярко рисует высокий взгляд Николая Константиновича на литературное призвание. Речь зашла именно об этом призвании и об отсутствии у нас в тот момент крупных и влиятельных критических сил. «Ну что такое Протопопов? — говорил Николай Константинович (Протопопов, в то время критик московской «Русской мысли», был одним из запоздалых эпигонов писаревской школы). — Он только подражает Писареву. А теперь нужно совсем другое». И, внезапно одушевляясь и крепко пожимая мне руку, он выронил как бы против своей воли: «Я сейчас пьян и потому скажу вам то, чего не скажу в другой раз. Вам нужно работать, много работать: в вас что-то есть, и если вы пойдете по верной дороге — вы можете сделаться новым Белинским, т. е. первым человеком в России!» Это было сказано с таким волнением, которое ясно показывало, что́ значило для говорившего писательское «служение» и как пламенно ожидал он надежного преемства на этом пути.

Кроме обедов и юбилеев, литературных знаменитостей можно было созерцать еще на литературных вечерах, которые устраивались довольно часто, то «в память» или «в честь» кого-либо, то просто с благотворительной целью. Помню особенно один из таких вечеров, устроенный Литературным фондом отчасти в память только что скончавшегося Фета (в конце ноября или начале декабря 1892 г.). На этом вечере я впервые увидел гр. А.А. Голенищева-Кутузова, поэзии которого был уже давно большим почитателем. Кутузов прочел воспоминание о Фете, оценку (разумеется, похвальную) его поэзии и стихотворение его памяти[56]. Его сменил на кафедре высокий и очень представительный, весь седой, но юношески веселый и с галстуком-бабочкой Д.В. Григорович — тогда знаменитость первой величины, «почти что Тургенев» (хотя его почти никто не читал). Затем бюрократически корректный К.К. Случевский (он был очень похож на свои портреты), впоследствии главный редактор «Правительственного вестника» и гофмейстер двора его величества[57], столь противоположный по своей наружности и этим своим званиям своим стихам, прочел несколько пьес, и прочел удивительно плохо — в совершенно фальшивой манере. Великолепное свое стихотворение «Дай мне минувших годов увлечения»[58] — одно из тех, которые, по выражению Тургенева, «нужно петь петухом» — он прочел так, точно просил содовой воды. Далее, весьма популярный тогда в корректно-либеральных кругах, поэт «Вестника Европы» В.Л. Величко — в действительности не столько поэт, сколько «гражданский» виршеплет — продекламировал довольно умело своего «Ахмета на минарете»[59] и еще что-то столь же экзотическое. Его чтение и видная наружность высокого, красивого брюнета доставили ему полный успех. В заключение были прочитаны «Три смерти» Майкова тремя присяжными тогдашними петербургскими чтецами[60]: известный адвокат В.Н. Герард читал роль Люция, длиннобородый и длинноволосый художник-иллюстратор Н.Н. Каразин — роль Лукана и, наконец, патриарх петербургского литературного мира — знаменитый не столько своими произведениями, сколько наружностью, как две капли воды схожей с классической фигурой Сатурна (только без косы и песочных часов) — П.И. Вейнберг выступал за Сенеку. Редко я слыхал более плохое чтение. И сейчас еще я вспоминаю его как яркий образец того декаданса в искусстве читать стихи, до которого искусство это дошло за долгий период утилитарного взгляда на поэзию. Все читавшие прежде всего не сознавали, что они читают именно стихи, а не прозу: мелодия стиха (без которой нет

стихов) совершенно пропадала в их чтении, и они даже не подозревали об ее существовании. Они добросовестно отчеканивали фразы, останавливаясь на всех знаках препинания, и считали, что дело сделано. Особенно ужасен был Герард, который читал эпикурейские монологи Люция, как кассационную жалобу на решение судебной палаты. А он считался тогда лучшим чтецом в столице!

Встречал я на вечерах и обедах и представителей молодой поэзии. Впрочем, эти последние (кроме Червинского) были скорее «поэтами» в кавычках, как Величко, Ладыженский, Михаловский (он был, впрочем, больше переводчиком) или стихотворец кружка «Русского богатства» (уже не молодой) Ольхин. Обращал на себя внимание своей замечательной огненной шевелюрой, так же как именем, отчеством и фамилией, — Аполлон Аполлонович Коринфский. Несмотря, однако, на все эти поэтические атрибуты, и он оставался между кавычек, хотя его усердно печатали и он выпускал том за томом пухлые, теперь совершенно забытые сборники. Вообще это было не время для поэзии...

Лучше обстояло дело с беллетристикой, где, по крайней мере, не было этих псевдотворцов. Звездой беллетристического сезона в ту зиму оставался Гарин, за которым на вечерах ходила толпа, как за слоном, конфузя и радуя его, никак не ждавшего для себя такого литературного апофеоза. Из прежних светил запоминалась навсегда, хотя бы и раз встреченная, импозантная фигура пресловутого Немировича-Данченко (Василия) с великолепными смолисто-черными бакенбардами, тщательно расчесанными на обе стороны. Со второго слова он начинал говорить об Испании, где когда-то путешествовал и был ею совершенно очарован[61]. Испанцы и особенно испанки были для него идеальными образцами человеческого рода. Севильские сигарэры (работницы на табачных фабриках), их пленительность и их неприступность живописались им весьма красноречиво. «Попробуйте, добейтесь-ка чего-нибудь от сигарэры!» — восклицал он с горделивым энтузиазмом.

С явной завистью слушал эти рассказы высокий, сухопарый, тогда еще почти молодой Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. С характерной северной флегмой вечно посасывал он свою носогрейку, изредка вставляя скептическую фразу. Он был своим человеком в семье Н.К. Михайловского и дружил с его сыновьями и племянником А.Г. Мягковым. В их обществе он развертывался и охотно подхватывал хоровое пение, которым дирижировал бойкий Мягков. Старший из молодых Михайловских,

Николай — тогда студент — обнаруживал явное тяготение к искусству и особенно к театру, огорчая отца этими вкусами (впоследствии из него вышел известный в провинции артист и антрепренер). Младший, симпатичный Марк, казался ближе к отцу в своем увлечении естественными науками (впрочем, Николай Константинович сочувствовал им только платонически): в этой области он обнаружил после несомненную талантливость. Но и его захватил дух времени: он заинтересовался идеями В.В. Розанова и даже искал с ним познакомиться (уже после смерти отца). К сожалению, он умер еще на первых своих шагах.

В ту же зиму, в день рождения Николая Констатиновича — 15 ноября (ст. ст.), когда ему исполнилось пятьдесят лет (родился в 1842 г.), был устроен небольшой праздник, под видом «юбилея». Квартира псевдоюбиляра наполнилась поздравителями: от редакции «Русской мысли» были поднесены адрес и подарок; адресов, телеграмм и речей вообще было множество[62]. Через три недели, в день именин Михайловского (6 декабря ст. ст.), было еще дополнение — «для опоздавших». Во время всех этих торжеств Николай Константинович имел довольно удрученный вид: эта официальность совершенно противоречила его натуре кабинетного, тихого человека (он был в сущности даже застенчив). Кое-как он выдерживал свою роль — выслушивал, глядя в угол, адреса и речи и что-то отвечал на них... Он считал, конечно, это представительство своим общественным долгом и понимал, что его «юбилеи» прежде всего предлог для некоторой, хотя бы и маленькой, демонстрации «оппозиционных» чувств, иначе не имевших возможности проявляться. Все-таки он был самым популярным лицом в лагере оппозиции (по крайней мере, в радикальной ее части), и нужно было нести последствия этого положения.

В политическом отношении вся та зима была тихая: я не помню никаких волнующих событий ни во внешней, ни во внутренней политике. «Внутри» догорала реакция Александра III, и в сущности начинала уже «поддаваться»: шли какие-то новые, чуть ли не «либеральные» (многие считали их такими) министерские назначения (Ермолова, Муравьева)[63], стал уже выдвигаться Витте — с января 1892 г. министр путей сообщения, а с осени министр финансов. Внезапная карьера этого бюрократического parvenu и составляла главную политическую сенсацию сезона: о ней много толковали даже в литературных кругах. Тут была некоторая параллель во впечатлении с позднейшим внезапным появлением М. Горького: оба «выдвиженца» явились со своих «низов» и, при всем несходстве, от обо-

их веяло какой-то новой силой. Но никому, конечно, не мерещились еще весь объем и близость новизны: напротив, казалось, что существующий порядок вещей если не вечен, то, во всяком случае, весьма долгосрочен. Отдаленных признаков приближающегося таяния снегов, вроде вышеотмеченных, никто не замечал, да и трудно было, в условиях тех дней, разгадать этот их смысл. Относительно не старый возраст императора (Александру III было тогда всего сорок семь—сорок восемь лет) и его крепкое, как казалось, здоровье гарантировали, согласно общей уверенности, долгое господство победивших в 1881 г. принципов, и революция выглядела если не ликвидированной окончательно, то, во всяком случае, сведенной на роль слабосильного эмбриона неопределенного будущего. Недаром даже республиканская Франция начинала тогда свой, чреватый последствиями, флирт с казавшимся несокрушимым царизмом. В этой беспросветности только и оставалось, что пить загадочные тосты или распевать при тщательно закрытых дверях «Марсельезу» (двери эти скоро распахнуло все нараставшее сближение с Францией).

Помню одну свою беседу с Н.К. Михайловским на тему этой безнадежности. Я проводил параллель между переживаемым временем и реакцией Николая I, в глубине которой зрела идея освобождения крестьян и последующих реформ. «Да, — возразил мне Николай Константинович, — но тогда была такая центральная идея, а теперь именно ее не хватает». На мое указание, что такой очередной задачей является уничтожение самодержавия, Николай Константинович продолжал: «В том-то и беда, что эта идея далеко не пользуется таким признанием, как в свое время идея освобождения крестьян. Многие сомневаются и даже отвергают ее... Поэтому мы так и слабы». Эту — идеологическую — сторону дела он видел хорошо, но другая — социально-классовая — ускользала от его внимания: я, по крайней мере, совершенно не помню никаких, хотя бы мимолетных, отклонений его в эту сторону при всех довольно частых наших беседах на такие темы. Михайловский все-таки был и оставался «народником» в самых основах своего миросозерцания, и недаром именно им был открыт пресловутый «субъективный метод» — это contradictio in adjecto[64], возможное только для идеологии нашего «доморощенного» народничества.

То время было кануном появления марксизма и его первых боев. Менее чем через два года, в 1894 г., должны уже были загреметь эти ранние битвы, под предводительством — странно теперь вспомнить! — П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановского (Плеханов был ведь эмигрантом). Вернув-

шись в столицу, после почти полуторагодового отсутствия, в последний месяц 1894 г., я не узнал ее ни в смысле общего тона жизни, ни в смысле господствующих интересов. Начиналось новое царствование — и общество точно проснулось... Но в 1892—1893 гг. оно еще «клевало носом» и досматривало последние приснившиеся сны.

Кроме «Русского богатства» и близких ему кругов, я соприкасался в то время еще с гайдебуровской «Неделей» — органом (как я уже говорил) провинциального народничества полутолстовского типа. Издание это состояло из двух частей — еженедельной газеты-тетради и ежемесячных, сравнительно небольших «Книжек Недели», журнального типа. В газете я участвовал с самого начала моего писательства, но в общем очень редко, а во вторых еще в сентябре 1890 г. было напечатано мое стихотворение «Я иду по тропинке тенистой»[65] — первое в печати и то самое, которое после заслужило особую отметку Фета и Полонского (см. главу III). Тогда же я получил от редактора-издателя «Недели», довольно известного в то время журналиста, Павла Александровича Гайдебурова, письмо с поощрением и приглашением «продолжать»[66]. Я и продолжал, но стихи «проходили» редко (и зачем-то иногда чинились в редакции — так, «Тропинка» была порядочно попорчена). Всего в «Книжках» у меня за 1890—1893 гг. было напечатано только пять стихотворений (и еще одно в 1895 г.)[67]. В 1892 г., в ноябре, после смерти Фета, я написал стихи его памяти[68] и понес их в «Неделю» уже сам. Несмотря на приемный день, мне лишь с большим трудом удалось отстранить «заграждавшего входы» редакционного Цербера. Им в данном случае оказался секретарь газеты, столь знаменитый впоследствии Михаил Осипович Меньшиков, тогда еще носивший на себе толстовскую блузу. Все-таки я добрался до Гайдебурова. Хотя стихи мои опоздали и попытка оказалась бесплодной, но от самого Гайдебурова в это, как и в другие (довольно редкие, впрочем) свидания, у меня осталось очень хорошее впечатление. Мягкий и приветливый, всегда внимательный к сотруднику, он был полной противоположностью своему привратнику. Меньшикова же я после встречал многократно при весьма различных обстоятельствах (слишком заметной он был фигурой в петербургском журнальном мире) и никого не знаю, кого можно было бы сравнить с ним по антипатичности. Небольшого роста, толстенький, с поблескивавшими из-за очков маленькими хитрыми глазками, он производил почти физическое впечатление чего-то морально нечистоплотного.

Но он был очень умен, а главное, обладал редким в литературной среде качеством — сильной волей, которая и проложила ему дорогу. В то же время он был малокультурен и у него не было особого влечения к культуре. Искусство, например, он понимал очень плохо и в этом отношении был, в сущности, на уровне обывателя. Философия была ему известна тоже больше понаслышке. Но ум и бойкое перо помогали ему завуалировать все эти минусы — тем более, что он никогда не писал для настоящих умственных «верхов» общества. Читатель Меньшикова был сперва простодушный провинциал «Недели», а потом лишь внешне окультуренный (и то не всегда) читатель-обыватель «Нового времени» (хотя этот последний и заседал иногда в Государственном совете). Можно допустить, что временами (особенно в толстовский свой период) Меньшиков имел даже благие намерения, но все тонуло в конце концов в какой-то непреодолимой жажде денег, влияния и всего, что́ они дают. Чувствовалась в нем не то что прямая и грубая «продажность», в которой столько его обвиняли, а вот эта тонкая «порча души», которая делала из него лицемера в жизни и в литературе.

Мое поклонение Надсону естественно заставило меня познакомиться с Марьей Валентиновной Ватсон — известной как переводчица и еще более как друг Надсона, который даже умер на ее руках. Марья Валентиновна была, впрочем, своим человеком и в кругах «Русского богатства». Конечно, у нас легко нашлась тема для беседы, и, поговорив о Надсоне и о несправедливом отношении к нему литературных корифеев (еще памятно было сопоставление в статье Михайловского 1887 г. юбилея Пушкина и полученного тогда известия о смерти Надсона под заголовками: «Умер поэт — умер поэтик»)[69], мы решили сколько-нибудь поправить дело. В этих видах возник план написать биографию Надсона для шедшей тогда полным ходом известной биографической библиотеки Ф.Ф. Павленкова[70]. Мы отправились к Флорентию Федоровичу, которого я уже не раз встречал на обедах и юбилеях, а Марья Валентиновна была давно с ним знакома. Высокий, тощий и неприветливый, знаменитый радикальный издатель производил впечатление Кощея Бессмертного. Наше предложение встретило очень плохой прием: оказалось, что Павленков — как все почти тогдашние «старшие» — ни в грош не ставит Надсона и не видит надобности в его биографии. Напрасно я, в качестве компромисса, предлагал составить двойную биографию в одной книжке — Надсона и

Гаршина, тогда обычно сопоставляемых: Гаршина Павленков еще принимал, но Надсона он решительно отметал. Нам оставалось удалиться в негодовании...

К весне Марья Валентиновна собралась за границу и предложила мне занять ее комнату в Озерном переулке на Лиговке на время ее отсутствия, вместо моего неприютного номера в «Пале-Рояле». Эта небольшая, чистенькая комната была до того изукрашена портретами Надсона, что походила на какую-то часовню его имени. Как ни горячо исповедовал я тогда надсоновский культ, но это обстоятельство смутило меня: я побоялся попортить как-нибудь одно из изображений и отказался от переезда, что чрезвычайно обидело Марью Валентиновну, которая много лет не могла мне этого простить.

Самым сильным впечатлением зимы было для меня все-таки выводившее меня из круга «Русского богатства» и приоткрывавшее какие-то новые горизонты впечатление от двух лекций Мережковского (Мережковский фатально встречал меня на всех путях моих!) на тему «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», прочитанных им 7 и 14 декабря (ст. ст.) 1892 г. в аудитории Соляного городка[71]. Лекции эти были мне не вполне понятны, особенно в «символической» своей части (в них — кажется, впервые в русской литературе — давалось что-то вроде теории символизма), но они задели во мне созвучные струны, которые не находили себе отклика среди тенденций и традиций утилитарной критики. Впервые, если не считать приватных бесед с личными друзьями, как Шестаков или В.Н. Соловьев, я встретил здесь признание автономности искусства, признание примата в его области эстетического начала и проповедь свободы творчества. И я сочувственно внимал из глубины аудитории маленькому, странно-неуклюжему, хотя европейски корректному человечку, вещавшему с кафедры все эти вечно новые истины. «Дурачки четверорукие карабкаются на кафедры, чтобы поучать нас», — писал тогда о нем фельетонист Житель в «Новом времени», и грубость этих строк может дать понятие, в каком тоне говорили даже в столичных «распространенных» газетах о литературном новаторстве[72]. Отношение к Мережковскому было вообще смешливо-презрительное: «здесь многие считают его даже немного тронутым», — сообщал я по поводу тех же лекций в письме Шестакову[73]. Вообще, жалобы Мережковского на одиночество, проходящие, начиная с первого письма, через всю

его переписку со мной в течение ряда лет, не были простым капризом. Правда, как поэт он уже давно пользовался признанием (печатался еще в «Отечественных записках»)[74], но как критик, вообще как теоретический писатель, это был настоящий «литературный изгнанник». Те же новаторские лекции не нашли для себя гостеприимства ни в одном журнале и ни у одного издателя, и автору пришлось в конце концов издать их самому отдельной брошюрой, которая встретила в литературе самый враждебный прием. Такие, совершенно объективные и мастерски написанные статьи, как о Гончарове и Майкове, могли быть напечатаны только в захудалом «Труде»[75] — ежемесячном приложении к еженедельной «Всемирной иллюстрации», т. е. где-то на задворках литературы. В парадных покоях их новизна шокировала...

Хотя моя переписка и давала мне право на личное знакомство с Мережковским, но я почему-то пропустил этот случай и ограничился созерцанием на расстоянии автора «Веры». Помню в те вечера и Зинаиду Николаевну Гиппиус-Мережковскую, сопровождавшую мужа. Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье, она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы «боттичеллиевской», но в 1892 г. провинциальный недоросль еще ничего не слыхал о Боттичелли... Возле Зинаиды Николаевны кружился невысокий, коренастый карапуз, с большой головой и вздыбленными волосами. Мне назвали в нем поэта Н.М. Минского, тогда еще с успехом выступавшего на литературных вечерах со стихами «гражданского» своего периода, в которых виделось преемство Некрасова и Надсона.

Как я уже упоминал, в моем радикальном правоверии уже с самого начала стали появляться трещинки... В спорах из-за статьи о русской критике для меня уяснилось, что по одной дороге с Михайловским я далеко не уйду. Главный — и в сущности даже единственный тогда — пункт расхождения (пока прикрывавший собою все остальное) был вопрос об искусстве. Критерий элементарного утилитаризма запирал все пути к сколько-нибудь сложному разговору в этой области. Теперь трудно представить себе тогдашнюю «легкость» отношения к эстетическим темам даже со стороны «специалистов» и авторитетов. Я позволю себе процитировать здесь отрывки из моей переписки с Д.П. Шестаковым, которые в своей

непосредственности лучше дадут почувствовать «колорит» места и времени. Речь идет о моей попытке «провести» стихи Шестакова в «Русское богатство»: «Будучи единожды у Н.К. Михайловского, завел я речь о стихах и спросил, не надо ли ему? К моему великому удовольствию, он ухватился за меня обеими руками и так-таки умолять стал принести что-нибудь, а то, видите ли, цензор вычеркивает, страницы остаются белыми, а заклеить нечем. Конечно, это не очень лестно, но уж лучше появиться на свет в роли затычки (тем более, что ведь для публики это останется тайной), чем пребывать безвыходно в авторском портфеле. И вот я тотчас изобразил четыре стишины — две свои и две ваши... Не знаю, попадет ли что в декабрь, но уж в январь наверное попадет. Все зависит тут от цензора. Собственно, поэзию Михайловский не понимает, в чем и признается откровенно, но это сознание не мешает ему рассуждать о ней — вероятно, для того, чтобы дать образчик, как рассуждают о поэзии люди, ее не понимающие. Ну да это неважно — все-таки нас пропечатают» (письмо около 1 декабря 1892 г.)[76].

Увы! как будто столь обоснованные надежды жестоко обманули меня. И уже в следующем письме от 18 декабря мне пришлось сообщить моему корреспонденту горестное известие: «Только что, казалось бы, я наладил музыку с помещением наших стихов в “Русском богатстве”, как вдруг опять все рухнуло — нужно ли говорить почему? На днях спрашиваю Михайловского — воспользовался ли он чем-нибудь из того, что́ я ему передал? И он вдруг угостил меня — говорит, что хотел взять мое “Завещание другу”, но оно нецензурно*, а остальное, видите ли, “не подходит” — слишком легковесно. Я говорю: “Да не все ли равно вам — на затычку?” (серьезно с ним спорить немыслимо — нельзя убедить слепого, что существует розовый цвет). — “Да нет, и на затычку надо бы что-нибудь более подходящее”. — Ну и черт с ним, и печатай своего Величку и Ладыженского и прочих блистающих безукоризненными гражданскими чувствами петухов. Вы легко себе представите, как меня разозлил этот отказ — тем более, что я вижу в нем отражение все того же тупого непонимания искусства и

* В этом стихотворении друг приглашался прийти на мою могилу, когда в «отчизне» воссияет свобода:

И, став над могилой моей,
Воскликни ты трижды: «Свобода!
Свобода в отчизне твоей!»

Стихотворение всерьез нравилось Михайловскому, и он очень жалел, что его нельзя напечатать.

все тех же глупых и пошлых аршинов, на которые меряют наши светила всякое литературное произведение. Это "направленство" положительно отравляет мне жизнь, я сталкиваюсь с ним на каждом шагу и меня уже не радуют мои успехи, потому что я вижу впереди неизбежный момент столкновения моих взглядов с взглядами моих патронов. Я уверен, что и наша неудача есть предвестник этого столкновения и произошла именно вследствие того, что я имел неосторожность несколько высказать Михайловскому сущность моих взглядов на искусство. Да что я говорю — высказать: я спорил с ним самым отчаянным образом и по совести скажу, что он не вышел из этого спора победителем. Более того — он прямо уклонился от предложенного мною дальнейшего разъяснения вопроса, т. е., попросту говоря, поджал хвост»[77].

Оставляя в стороне юношескую развязность стиля («под Писарева»), — нужно сказать, что по существу дело изображено здесь верно. В таких спорах Михайловский, действительно, как-то терялся и заминал разговор. Я думаю теперь, что в эти минуты он особенно остро ощущал дефектность своей литературно-идейной позиции: «про себя» он, конечно, давно перерос наивности и крайности направленческого утилитаризма (ведь ему было не двадцать лет, как Писареву), но «позиция» обязывала «хранить традиции», и хранить их тем ригористичнее, чем сильнее вокруг начинали пробиваться струйки и струи новых течений, грозившие размыть наследственную почву. Как «субъективный метод», можно понять поведение Михайловского, но «объективно» было очень трудно иметь с ним дело.

Мое предчувствие близких столкновений не замедлило оправдаться. Смерть Фета еще подлила масла в огонь. В журнале нельзя было и думать сказать что-либо о нем, и всю мою, весьма интенсивную, фетоманию приходилось держать в кармане. «Русское богатство» просто игнорировало эту смерть, как обстоятельство совершенно незначительное, и я напрасно спорил с нашими кормчими «до расстройства нервов и порчи крови», — как писал я Шестакову[78]. В начале 1893 г. лекции Мережковского вышли, как я уже говорил, отдельной книжкой, куда были включены и его статьи о Майкове, Гончарове и Достоевском (ранняя статья — 1889 г.)[79]. Их действие на меня было еще сильнее, чем раньше. Эта «первая ласточка будущей весны» — как я написал тогда на книге — в значительной степени указала мне дальнейший путь. «Многие страницы кажутся вырванными из моей записной книжки», — писал я тому же Шестакову[80] (я вел тогда литературный дневник, куда изливал все свои ереси). Ста-

новилось уже невозможным оставаться в прежней двойственной позиции — правоверного радикала-народника, «надежды» Михайловского по официальному положению, — и с Фетом в душе... Я уехал из Петербурга «на побывку» в Казань весной 1893 г. в самом смутном настроении. Таковы были результаты моей первой петербургской зимы.

К осени мое настроение определилось, и я понял необходимость ухода из «Богатства». Хотя и брала некоторая жуть возвращаться снова в провинциальное прозябание и к разбитому корыту «Волжского вестника», но я не видел для себя другого исхода. В «Волжском вестнике» зато я твердо надеялся провести ряд статей, где мог бы изложить свою новую точку зрения, — что и случилось. Поэтому я написал сперва Л.В. Костровой, с которой был в постоянной переписке, о своем намерении[81]. Мое письмо вызвало сильную реакцию со стороны Иванчина-Писарева, который, помимо литературных надежд, был очень привязан ко мне лично. Он писал мне в ответ в укоризненно-растерянном тоне старой нянюшки, у которой забаловал ее питомец:

Редакция журнала
«РУССКОЕ БОГАТСТВО»
16 августа 1893 г.

Дорогой Петр Петрович!

Сегодня прочел Ваше письмо к Лидии Валериановне и очень огорчился: погибнет талант[82], развития которого мне так хотелось. Из тех неудач, какие постигли две Ваши большие работы, я никогда не делал вывода, что на Вас, как на критика, плоха надежда. Напротив, статья о Чехове, рецензии — все это заставляло думать, что с течением времени из Вас выработается журналист, уши которого не услышат редакторского «не годится». Таким путем служили бы рецензии, постоянное чтение и новые попытки создать что-нибудь более крупное. Белинский, Добролюбов, Салтыков, Чернышевский — все начинали с рецензий. Еще на днях, составляя сентябрьскую книжку с Ник[олаем] Конст[антиновичем], я слышал от него: «беллетристику надо оставлять Перцову. Наверно, к его приезду наберется достаточно новых книг, и для октябрьской он даст что-нибудь». Уже из этих слов Вы могли бы заключить, что Вас любовно помнят; никто не ожидал, что вы предпочтете остаться в Казани — под руководством Рейнгардта, Ключникова, Мандельштама — и в «Отголос-

ках» и в фельетонах Постороннего будете искать применения своих способностей.

Искренно любя Вас, я скажу Вам только одно: Петербург для Вас школа, которая не всякому дается в руки, а Казань, в условиях газетной работы, да еще с такими заправилами, как вышепоименованные господа, — сущая гибель.

По молодости лет Вы, конечно, можете увлекаться лаврами Постороннего, но это — крупная ошибка, если думать о действительном развитии таланта, о получении литературного имени. Газетные фельетоны не дадут Вам ни того, ни другого.

Буду очень счастлив, если Вы вернетесь сюда[83].

Ваш *А. Иванчин-Писарев.*

Как всегда «старшие» относительно «младших», Александр Иванович представлял себе дело гораздо проще, чем оно было. Бесполезно было бы объяснять ему, что мои мотивы не так элементарны. Да и литературная новизна, меня привлекавшая, показалась бы ему еще опаснее, чем редакторство Рейнгардта...

В «Русском богатстве» долго не могли забыть моей «измены». В 1895 г. Н.К. Михайловский напечатал о моих тогдашних изданиях («Молодая поэзия» и «Письма о поэзии») статью, непропорциональная грубость которой непонятна, если не знать этой закулисной стороны дела: тут сводились домашние счеты[84].

И в более поздние годы Иванчин, встречаясь со мной, не забывал вздохнуть о моем уклонении с правильного пути. Вся дальнейшая моя литературная деятельность не существовала для него. Но своего выученика он не забывал и уже незадолго до смерти, в 1915 г., подарил мне отдельное издание своих воспоминаний о «Хождении в народ»[85], как «старому товарищу по участию в "Волжском вестнике" и "Русском богатстве"» (надпись на книге).

Прежде чем закупориться на зиму в не имевшей еще тогда железнодорожного сообщения и зимой почти отрезанной от мира Казани, я решил снова побывать в Петербурге. В это недолгое (месяца полтора) пребывание мне захотелось завязать более реальные отношения с занимавшим меня новатором, и я написал новое, весьма длинное, на пяти листах, послание Мережковскому. В нем, рассказав мою идейную эволюцию, я признавал его своим «ересиархом».

«В январе, в конце, — писал я, — бывает иногда — вдруг, неизвестно откуда, потянет чем-то свежим, молодым, манящим за собой, раскрывающим зимнюю замкнутую даль, и весь встрепенешься и почуешь, что идет она — далекая красавица. Так и со страниц Вашей книги веет новым воздухом — воздухом будущей эпохи... Как не похожа Ваша книга на всю эту ежедневную, бесцветную газетно-журнальную болтовню, на все эти выученные нами вокабулы, на догматы, пережившие веру»[86].

При всем гиперболизме этих ожиданий, в них — я думаю — была доля истины: то литературное движение, которое известно под именем символизма и которое окрасило собою в разнообразных проявлениях начало этого столетия, нашло себе в книге Мережковского одно из первых своих воплощений — и не столько даже в сбивчивых ее утверждениях, сколько в «настроении», в самом ее тоне. Этот тон делал музыку будущего — и весьма близкого будущего.

В дружеском письме, полученном мною в ответ, Мережковский назначал мне встречу. Снова он жаловался: «Меня окружает такое безнадежное одиночество, такая скучная и мертвенная злоба, что иногда мне кажется, что все, чтó я делаю, бесполезно, и мною овладевает отчаяние»[87]. Наше свидание было свиданием двух нашедших друг друга друзей... Через несколько дней я покинул Петербург, на этот раз уже почти «символистом», употребляя еще не бывший тогда в ходу термин.

В следующую зиму я, действительно, напечатал в «Волжском вестнике» несколько больших фельетонов, где мог говорить свободно. Рейнгардт был равнодушнее моих петербургских гувернеров к радикальной ортодоксии, а главное — сам вовсе не ортодоксален. Эти фельетоны — под заголовком некоторых из них: «Письма о поэзии» — были после (в 1895 г.) выпущены мною в Петербурге небольшой брошюрой (первое мое отдельное издание). В первых же строках первого «письма» (в газете) я заговорил о Фете (тогда как раз минула его первая годовщина)[88]; это имя, так же как стихотворные отрывки из того же Фета, Полонского и других, пестрят статьи. Я отвел себе душу за весь великий пост «Русского богатства» и настойчиво внушал казанскому обывателю уважение к поэтическому творчеству и его независимости от злободневных потребностей. Не знаю, чтó думал этот обыватель, и думал ли он что-нибудь, но местная литературная среда очень на меня косилась. На Рейнгардта оказывалось давление, чтобы прекратить слишком вольные писания. Но Николай Викторович уже закусил удила... Он напечатал даже мою статейку о юби-

лее Скабичевского, на котором столичные ортодоксы подвергли изгнанию из залы еретика Волынского[89]. Мои симпатии были, конечно, на стороне последнего — хотя еще так недавно, из недр «Русского богатства», он представлялся мне каким-то чудовищем. Из-за этой статейки Н.П. Загоскин устроил мне даже целый скандал. Я видел, что и провинциальная воля не так надежна, и нужно снова чего-то искать... Как раз в это время (лето 1894 г.) перемена в моих материальных обстоятельствах освободила меня от угнетавшей до тех пор стесненности и давала даже возможность попытать самостоятельное издательство. При таких условиях я решил вернуться в Петербург для новой деятельности. С половины декабря 1894 г. началась моя вторая петербургская зима, протекавшая совершенно поиному, нежели первая.

ГЛАВА III

ТРИ ПОЭТА

Триада 40-х годов — Фетомания и фетофобия — Моя переписка с Фетом — Его письма — Неудачный визит — Встреча с Майковым — Внешнее впечатление — Его самооценка — Разговор с Голенищевым-Кутузовым — Посещение Майкова — Его чтение — Знакомство с Полонским — Квартира — «Пятницы» — Письмо 1891 г. — Наружность и беседа — Характер — Чтение стихов — Литературные симпатии и антипатии — Семья Полонского — Отзыв о Виардо — Оценка моих стихов — Письмо о моей статье — Последние встречи — Стихотворение «Памяти Полонского»

Особое положение в тогдашнем литературном мире занимали три поэта-старика — сверстники по годам и собратья «по музе, по судьбам», имена которых с самого их появления в литературе сплелись в одно созвездие.

Это были Фет, Майков, Полонский. Старший из них, Полонский, родился в декабре 1819 г., Фет — в ноябре 1820 г., Майков — весной 1821 г., т. е. все трое в промежутке каких-нибудь полутора лет. Дебютировали они тоже в одно почти время, один вслед за другим, и умерли впоследствии один за другим (в 1892—1898 гг.). Сходство их муз всегда отмечалось критикой, и вполне параллельно сложилась их литературная судьба. Признанные при первом же своем выступлении, на пороге 40-х годов, они были затем захвачены шквалом гражданских волнений 60-х, когда их «парнасский» лиризм оказался не ко времени. Отодвинутые в тень, они должны были порядочно потерпеть (особенно Фет) от «утилитарной» критики тех годов. Как известно, они даже почти замолкли тогда... Но ко времени, о котором идет речь, — к началу 90-х годов, положение опять

изменилось: в тихое предыдущее десятилетие снова зазвучали старые лиры, и пробудился к ним интерес, особенно в связи с начинавшимся расцветом новой лирики. Молодежь, сама значительно захваченная парнасскими вкусами, естественно видела в патриархах «чистой» поэзии своих непосредственных учителей и окружила их имена новым пиететом.

Имя Фета выделилось и здесь — и не столько по превосходству (еще мало сознаваемому) таланта, сколько в силу того специфического эстетизма, связанного с этим именем, который заставил некогда Тургенева изречь: «Кто не понимает Фета — не понимает поэзии»[1]. По крайней мере, мы, «начинающие», сознательно считали себя «фетышистами» и исповедовали «магометанский» тезис того же Тургенева: «Нет Фета, кроме Фета»[2]. Это не мешало, разумеется, весьма первоначальному, «зеленому» пониманию поэта, при котором «Вечерние огни» принимались лишь как новый вариант молодых стихов их автора, и на первый план во впечатлении и влиянии выдвигалось резюмирующее издание этих последних в двух томах 1863 г., тогда еще бывшее в продаже[3]. Этот «Фет шестьдесят третьего года» и являлся недосягаемым образцом для подражания — своего рода идеалом поэта. Конечно, и тогда вкусы были разные, и несомненно, что значительная часть молодежи (особенно не пишущей) хранила еще культ Некрасова (не говоря о новом культе Надсона). Но я имею в виду ту часть, в которой эстетические влечения брали уже верх над этическими. Теперь, когда имя Фета давно сделалось «классическим» и не вызывает вокруг себя никакого нервного волнения, трудно представить себе, каким «пререкаемым» являлось оно в то время и как способно было вызвать волнующие споры и разделять людей. Это имя одного из самых очевидных предшественников русского символизма само играло, можно сказать, символическую роль, и по тому выражению, с которым собеседник произносил это коротенькое, рубящее словечко: «Фет», — можно было в значительной степени разгадать его символ веры.

«У вас вот только один несчастный пунктик — Фет», — укоризненно-ласково говорил мне Иванчин и огорчался искренно, встречая мою непреклонную неуступчивость на этом именно пунктике. Он справедливо опасался, что мой фетышизм в конце концов погубит меня, и в качестве противоядия декламировал минаевские пародии на Фета[4]. Но ничто не помогало, и опасения моего первого литературного наставника, как мы уже знаем, сбылись полностью...

Об отношении вообще в кругах «Русского богатства» к «певцу соловья и розы» (обычный тогдашний титул Фета, столь комически звучащий те-

перь) я уже говорил. И если «вольный казак» Гарин позволял себе иногда ронять по адресу опального поэта защитительную и даже восторженную фразу, то это так всеми и принималось, как своего рода licentia poetica[5], дозволительная для такой поэтической натуры, как Гарин. За отношением же этим — повторяю — скрывался собственно принципиальный взгляд на бестенденциозное искусство. В этом смысле tempora[6] с тех пор успели настолько mutare[7], что, вызывая из тайников памяти былые прения, едва веришь сам их реальности.

Но отсюда понятно, что когда мне, уже несколько лет писавшему стихи и мечтавшему, разумеется, о лавровом венке поэта, вздумалось проверить шансы на таковой посредством обращения к «авторитетам», то для этой цели был без колебаний выбран именно Фет. В феврале—марте 1891 г. к нему в Москву отправилось объемистое заказное письмо с шестью образцами юной музы — а я стал с нетерпением ждать ответа...

Передо мной и сейчас лежит узенький палевый конвертик, наверху которого значится подчеркнутая черной узорчатой линией печатная строка: «Афанасий Афанасьевич Шеншин». Строка эта, очевидно, имела своим назначением устранять неприятную адресацию на другую, гораздо более известную, но лично-ненавистную прославившему ее поэту фамилию[8]. И мне, с провинциальной наивностью адресовавшему первое письмо «А.А. Фету», пришлось, конечно, в дальнейшем сообразоваться с этим молчаливым указанием.

Узенький палевый конвертик, врученный мне распечатавшим его по ошибке отцом, взволновал меня до глубины души. Он содержал *его* письмо — *его* ответ, если и не вполне собственноручный (само письмо было написано другой рукой), то во всяком случае с «собственной» подписью: «Готовый к услугам Вашим А. Шеншин» («къуслугам» было написано слитно: где-то я прочел, что слитное написание характерно для почерка поэтов; по крайней мере, оно характерно для Фета, у которого в подписях всех трех писем есть эти слитности).

Но не только самый факт письма, а и его содержание сделало меня именинником. Вот это письмо, цитируемое здесь полностью, как и два последующих (слова, написанные самим Фетом, взяты курсивом) *.

* Письма Фета ко мне уже появлялись в печати — в первом выпуске московского альманаха «Северные цветы» (за 1901 г.), изд. «Скорпиона», ред. Брюсова, — под заголовком «Три письма Фета к молодому поэту» (без упоминания моей фамилии)[9]. Напечатаны они там не без погрешностей.

I

[В левом верхнем углу почтового листка печатная помета: «Москва, Плющиха, соб. дом»].

17 марта 1891

Милостивый Государь
Петр Петрович,

Занятый при слабеющих силах неотложными делами, я только сию минуту удосужился внимательно прочесть Ваши стихотворения. Общее впечатление несомненно в Вашу пользу. Этого мало, что Вы прекрасно владеете стихом и вообще формою, — дорого то, что под этой формой несомненно теплится истинный огонь поэзии и вкуса. Вот с этим-то чутьем, различающим должное от недолжного, поэзию от прозы, следует всякому обращаться крайне бережно. Кто захватает нечистыми руками колоду карт, тому лишнее пятно незаметно, и в конце концов он играет грязными картами. Во всех присланных Вами мотивах Вы только однажды забыли, что муза рассказывает, но не философствует, и поэтому Ваша «Русская Песня»[10], философствующая о причине своей грусти, по-моему, совершенно ложный путь. Поэтому в стихотворении «Да, это он» так меня коробит слово из фельетона: *сочувствую* (курсив Фета. — *П.П.*)[11]. С Вашим чутьем Вы поймете, что я хочу сказать.

Как мило стихотворение «Я иду по тропинке тенистой» на две рифмы.

Не сердитесь на мой последний и задушевный совет: поступите с Вашим поэтическим творогом так же, как поступают с творогом пасхальным: завяжите его потуже в салфетку и, если возможно, навалите камнем, и когда из него выбежит все жидковатое и чуждое, драгоценный дар природы сам найдет своеобразную форму. Главное, гоните от молодой благоуханной музы старую и противную сплетню рефлекции.

Готовый к услугам Вашим
А. Шеншин[12]

В этом письме все характерно: и эти яркие сравнения с колодой карт и пасхальным творогом, и парадоксальное утверждение автора «Вечерних огней», будто муза всегда только «рассказывает, но не философствует», и жалоба на «слово из фельетона» (которая была бы непонятной поэту некрасовской школы), и, наконец, даже неизбежное для Фета, страдальческое упоминание о «слабеющих силах». К сожалению, я не помню сво-

его стихотворения «Русская песня», и потому не могу точнее установить, что именно вызвало неудовольствие моего адресата.

Понятно, что я послал ответное письмо с новым «приложением», на которое недели две спустя последовал отклик:

II

[*Вверху — печатный адрес*].

12 апреля 1891

Любезнейший
Петр Петрович,

Если бы дело шло об одной фактуре Ваших стихотворений, то при оценке и трех новых я мог бы с полной уверенностью снова поздравить Вас с совершенным обладанием формой. Но судить о внутреннем художественном содержании гораздо труднее; хотя мне и кажется, что Вы находитесь под сильным давлением Гейне. Гейне и сам страдает манерностью, но таков он по природе, и мы ему это прощаем; но принимать чужой изъян за образец — большая ошибка.

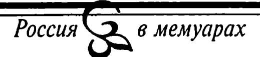
Позвольте пожелать Вам всего лучшего; а я после праздников уезжаю в деревню.

Всегда готовый к услугам
Вашим
А. Шеншин[13]

Большой росчерк в подписи этого письма имеет вид петлеобразной линии, стремящейся как-то устало и покорно вниз: в нем нет ничего от рачительного хозяина и энергичного житейского практика Шеншина, но он хорошо передает привычное настроение пантеистического пессимиста Фета, когда, «измучен жизнью, коварством надежды»[14], он брезгливо отстранялся от шума этой жизни и уходил в свои «дрожащие напевы»...

Упоминанию о Гейне действительность моих литературных симпатий вовсе не отвечала: если я и был под «сильным давлением», то более всего автора этого письма. В таком упоминании сказалась, мне думается, помимо случайного впечатления, еще привычка встречать гейневское влияние в русской литературной молодежи предшествовавших десятилетий.

С юношеской бесцеремонностью я скоро еще раз атаковал Фета новой серией своих произведений. И снова пришел одобряющий, но на этот раз как бы замыкающий переписку ответ:



III

[*Вверху — печатный адрес*].

26 апреля 1891

Любезнейший
Петр Петрович,

Извините, что за крайним недосугом я не успел высказать Вам своего мнения о последних полученных мною Ваших стихотворениях. Повторю уже высказанное мною о прежних. Стихи Ваши таковы, что без положительного таланта написать их нельзя; но мой один искренний совет— не радуйтесь обилию набегающих мотивов, а выжидайте момента, когда Ваша поэтическая суть, как бы ломая всякие преграды, вырвется наружу и выскажется в совершенно новой и лично Вам свойственной форме. Тогда Вы убедитесь, что, например, стихотворение «Посмотри, посмотри»[15], несмотря на грациозную подкладку, не вытанцевалось. Я уверен, что Вы (NB: здесь явный пропуск; следует, вероятно, читать: «поверите мне». — *П.П.*), ввиду того, что мне, которому пора давно сходить со сцены, невозможно завидовать возникающим талантам, и что Вам советует *желающий всевозможных успехов в Ваших начинаниях*

А. Шеншин[16]

Продолжать присылы уже не было оснований, и я больше не адресовал на Плющиху, решив, однако, что при первой возможности посещу ее лично. Возможность эта представилась лишь поздней осенью 1892 г. Помню слезливый и туманный сентябрьский день, в который я звонил на крытом подъезде продолговатого каменного дома в два этажа на площадообразном расширении в начале Плющихи (теперь № 36). Еще недавно этот дом со своими маленькими балконами и с навесом, сохранявший старый облик и даже окраску (белую), смотрел типичным «собственным домом» былых барских времен (теперь перекрашен в розовый цвет и вообще «обновлен»). Владелец пышной ртищевской Воробьевки (имение в Курской губернии, приобретенное Фетом в последние годы жизни) находил здесь для себя приличное зимнее жилище[17], на которое он смотрел, однако, — как и Лев Толстой на свой хамовнический дом, — как на нечто второстепенное и не близкое, откуда он уезжал при первом же веянии весеннего тепла, «после праздников». Как Толстой, как К. Леонтьев, Фет не мог быть горожанином: связь его личной жизни с природой была для него необходимостью.

На мой звонок из открывшейся двери мне было сообщено: «Хворают и никого не принимают». Пришлось уйти... А через какой-нибудь месяц в этом самом доме разыгралась странная и жуткая драма смерти Фета, подробности которой мы узнали только много лет спустя[18]. Тогда о ней сообщила лишь краткая газетная телеграмма. Помню, как поразила меня эта телеграфная строка: оборвалось что-то и какое-то обещание не сбылось... И посейчас, конечно, приходится жалеть, что не удалось видеть «воочию» этого особенного человека — не только самого талантливого, как поэт, но и самого колоритного, как личность, в своей триаде.

В моей переписке с Шестаковым нахожу длинное письмо, написанное под непосредственным впечатлением смерти Фета и тупого отношения к ней в литературных кругах. Все мои чувства «фетышиста» были оскорблены этим отношением, и есть, действительно, нечто непереносное в утверждениях о «бессмысленности» стихов Фета или обычном тогда обличении его камергерства и каких-то, где-то, когда-то некстати упомянутых им «гусей»[19] — без чего не обходились некрологи великого лирика иногда даже в видных органах[20]. Наивная народническая этика, державшая литературу под своей ферулой, не хотела ничего знать об эстетических ценностях, как таковых...

Помню, как я обрадовался, когда в одно из своих посещений Полонского увидал у его большого письменного стола невысокого, сухопарого, с худым лицом и длинными серебристыми волосами и бородой старика. Лицо было слишком знакомо по портретам... Это он — Майков! Обращаясь к нему на «ты» (сочлен триады!), Полонский познакомил нас. Майков, вопреки впечатлению, которое дают все его «портреты», был совсем не высокого роста (скорее даже ниже среднего) и, при худощавости фигуры, отнюдь не производил величественного впечатления «поэта-парнасса» — не имея также и того строгого вида инспектора образцовой классической гимназии, которое получается от тех же портретов. Прежде всего, вопреки своему возрасту (ему было уже за семьдесят), он был чрезвычайно подвижен, даже боек в своих повадках. Беспрестанно он вскакивал, тушил и зажигал папиросу и почти бегал вдоль стола и комнаты. Контраст с ревматически-неподвижным, прикованным к креслу, массивным Полонским был особенно резок. Эта живость движений еще дополнялась ярким, молодым огнем красивых карих (хотя полузакрытых очками) глаз. По этому впечатлению какой-то «вечной юности» Майкову,

казалось бы, надо дожить до ста лет, но он умер сравнительно скоро и раньше старшего его Полонского.

Мы заговорили — о поэзии, конечно, — и скоро разговор свернул на оценку майковской поэзии, сделанную Мережковским в незадолго до того появившейся книге его о русской литературе (о которой была речь во второй главе). Как известно, оценка эта, в общем весьма хвалебная, определяет Майкова как «поэта-язычника» — типичного представителя античного, «классического» и даже не столько греческого, сколько римского мира. Блестяще написанная, характеристика эта может считаться «окончательной» в самом существенном для Майкова. Так я принимал уже тогда эту статью и, в своем «студенческом» увлечении критикой Мережковского, воображал, что иначе и нельзя ее принимать. Каково же было мое изумление, когда, затронув эту тему, я, вместо ожидаемого удовлетворения, услышал резко отрицательный отзыв...

«Он меня совсем не понял, — так, приблизительно, говорил Майков. — Он слишком еще молод для этого. Он и понял только мои молодые — "языческие", как он говорит — стихи, и понял их по-молодому. В молодости мы многого не понимаем, чтó открывается нам только потом... Вот ему и кажется, что у меня нет никакого христианства, потому что он сам еще не дошел до этого, не дожил до тех лет, когда возникают и становятся понятными такие настроения. В молодости нам нравится все поверхностное, внешне-красивое... Это напоминает мне, как я в молодые годы в первый раз попал за границу и в Дрездене пошел смотреть "Сикстинскую Мадонну". И что же? Она не произвела на меня никакого особенного впечатления; гораздо больше мне понравились в той же галерее мадонны Мурильо — такие хорошенькие, кокетливые. Я так и решил тогда, что Мурильо гораздо выше Рафаэля, да лет двадцать эту глупость и проповедовал (он так и сказал: "эту глупость"). Ну а потом, конечно, понял и уже теперь так не скажу... Так вот и Мережковский: он просто еще не понимает того, о чем судит, а ему кажется, что этого нет у поэта. Для меня же мои поздние писания, конечно, главные: в них я высказал опыт всей моей жизни, и я не могу сравнить с ними мои молодые, поверхностные стихи».

Так, в этом смысле, говорил он — с большим одушевлением, с юношеским жаром, защищая, видимо, нечто заветное и вовсе не подозревая, что дает только лишний раз иллюстрацию той простой истины, что сам творец не всегда и не вполне знает свое творение. Конечно, вся правда

в этом споре на стороне Мережковского: молодые античные стихи Майкова и есть подлинный Майков, а его надуманные, картонные, мнимо-«христианские» образы позднейших поэм совершенно чужды поэзии. Года тут ни при чем. Или, вернее, сделавшись «умнее», бросив «глупости» ранних лет, поэт не стал от этого больше поэтом, а, напротив, обмелел в своем вдохновении — по самому существу юношески-«языческом».

Но этого невозможно было объяснить Майкову. Видно было, что ему так дороги с трудом (действительно, опытом целой жизни) выработанные убеждения зрелых лет, что всякую попытку отделить их от его поэтической личности он встречал с непреодолимой враждебностью, не сознавая, что в данном случае дело идет совсем не об этой личности. Но для самого человека, конечно, трудно рассечь себя на части.

Случай с Майковым напоминает мне позднейший мой разговор с другим поэтом — Голенищевым-Кутузовым, на вполне аналогичную тему. С Кутузовым я встречался у того же Полонского, а также не раз слышал его на литературных вечерах, где он читал своим дворянским баском неважно, но вполне корректно свои или (по большей части) чужие стихи. В те годы еще не старый (ему не было и пятидесяти), граф Голенищев-Кутузов и по внешности производил впечатление настоящего русского «барина» (недаром управлял он тогда Дворянским банком)[21]. Среднего роста, с русой окладистой бородой, полным, здорового цвета лицом и неизбежным дворянским брюшком, он совсем не походил на того пессимистического «поэта смерти», какого так ярко рисуют его лучшие стихи. Отменно вежливый, с отличными манерами, он был типичным представителем высшего слоя помещичьей России. В литературе хорошо известна появившаяся в середине 90-х годов критическая статья о поэзии Кутузова Владимира Соловьева «Буддийское настроение в русской поэзии»[22]. В ней дана такая же исчерпывающая характеристика Кутузова, как для Майкова у Мережковского, — но, конечно, в совсем ином роде. В поэзии Кутузова Соловьев усматривал типичное воплощение буддийского мировосприятия, по существу чуждое христианскому воззрению, к которому, однако, видимо, тяготели теоретические симпатии поэта. И вот, в разговоре с Кутузовым, мне пришлось услышать вторично ту же аргументацию и те же жалобы, как у Майкова. Опять оказалось, что критик «не понял» поэта, что подлинные его, Кутузова, взгляды суть именно христианские, и отнюдь, ни в какой мере, не буддийские. Кутузов прямо оскорблялся этой характеристикой. «Соловьев не понял меня — он

подсказал мне свое, навязал свой собственный уклон к буддизму», — так, приблизительно, аргументировал Кутузов, вспоминая ранние, буддийского уклона, статьи Соловьева и магистерскую его диссертацию «против позитивизма»[23] с сильными симпатиями к Шопенгауэру. «Это он сам — буддист, и навязал мне свое, а я — убежденный христианин», — волновался симпатичный поэт, опять-таки вовсе не разбираясь в сложности человеческого «я» — в глубоком различии, а иногда и противоположности творческой, «умопостигаемой» и «эмпирической», чисто личной его стороны.

Возвращаюсь к Майкову. Незадолго до его смерти (1897 г.) мне случилось побывать у него (единственный раз). Визит этот был вызван желанием моего друга, не раз уже упомянутого на этих страницах, Д.П. Шестакова, узнать мнение Аполлона Николаевича о его стихах[24]. Стихи эти, как я уже говорил, весьма одобряемые Фетом (*самим* Фетом!), подверглись, однако, сокрушительному «разносу» со стороны Полонского, к которому неосторожно послал их зачем-то юный автор. Таким образом получилась коллизия авторитетов, которая смущала умы и требовала разрешения. В качестве суперарбитра оставалось привлечь последнего из триады. Я и обратился к Майкову с письмом, в котором просил возможности подвергнуть его суду создания новой музы. Ответ — и, конечно, любезный — не замедлил. «Никакого не может быть сомнения, — писал мне Аполлон Николаевич, назначая свидание у себя, — чтобы меня не заинтересовало появление чего-либо выдающегося в молодой поэзии, и прошу Вас сообщить мне какие-нибудь произведения г. Шестакова» (письмо от 31 января 1897 г.)[25].

Невольно вспоминались его же стихи (послание к Голенищеву-Кутузову, 1887 г.), где, сравнивая себя со старым ювелиром, любующимся отделкой новых вещей, поэт говорит:

Да! ювелир уж этот стар —
Рука дрожит, — но во мгновенье
Готов в нем вспыхнуть прежний жар
На молодое вдохновенье[26].

В назначенный день и час я был у Майкова. Он жил на углу Садовой и Екатерингофского проспекта, в большом, казенного вида, доме, в третьем этаже[27]. Место это — шумное, людное, с постоянным грохотом экипажей и звонками тогдашних конок — мало подходило для жилища

поэта. Квартира Майкова, довольно большая и какая-то официальная, тоже не давала впечатления уюта. Поэт принял меня в кабинете и сам стал читать стихи молодого «экзаменующегося». Увы, его приговор был довольно строг и скорее приближался к отзыву Полонского, нежели Фета...

От стихов дебютанта разговор перешел на стихи вообще, и, раскрыв том своих, Майков стал читать оттуда. Никогда, ни раньше, ни после, я не слыхал лучшего чтения. Он читал чрезвычайно просто, медленно и выразительно, и в то же время сохранял весь ритм и движение стиха (что обыкновенно смазывается). Валерий Брюсов говаривал, бывало, что каждый поэт читает хорошо свои собственные стихи — читает их именно так, как надо читать *их*. В общем это очень верное наблюдение, и Брюсов удачно иллюстрировал свои слова примерами Бальмонта с его нагло небрежным «бросанием» стихов в публику или Мережковского с его эмфатическим «подвыванием». Он и сам читал свои стихи именно так, как надо читать брюсовские стихи: повелительно-властным голосом, точно отдавая приказы по армии. О характернейшем чтении Полонского я скажу ниже. Но Майков читал так, как можно читать всякие стихи, — или, вернее, он мог бы, мне кажется, читать хорошо чьи угодно стихи — с той же простотой и с тем же внутренним чувством. Особенно запомнилось мне в его чтении небольшое его стихотворение на смерть дочери (кажется):

Вот уж и гроб!.. и она
Тихо лежит меж цветов...[28]

Вероятно, интимность переживания делала особенно выразительным чтение этого стихотворения.

Да, беспощадная смерть!.. —

уронил он последнюю строку с какой-то тяжестью, точно приговор судьбы...

А смерть ждала уже его самого. Не прошло и двух месяцев с моего визита, как воспаление легких унесло Майкова в могилу (в марте 1897 г.). Говорят, он не хотел умирать. Жизненная сила еще жила в его, в сущности крепком, организме — та сила, которая так ярко сказалась в его молодых языческих стихах и не переставала светиться в оставшихся на всю жизнь молодыми, ярких карих глазах.

Бывало, едешь зимним вечером в Петербурге по Знаменской (теперь улица Восстания) — широкой, чистой, петербургского вида улице, одной из тех щегольских улиц, которые впадают в бывший Невский в его парадной половине, и невольно отмечаешь про себя дом № 26, на углу Бассейной (теперь улица Некрасова): «вон там живет Полонский». И дом казался каким-то особенным, и угловые окна пятого этажа, где была квартира поэта, точно выделялись чем-то среди всех других...

Он жил там, старый и больной застарелой болезнью колена, почти не дававшей ему ходить,— так высоко, «под небесами», в скромной квартире с низкими потолками. Долгий (он отпраздновал уже тогда свой пятидесятилетний юбилей и приближался к шестидесятилетнему) литературный и служебный труд, всероссийская известность и даже «знаменитость», наконец в самом деле исключительный, чудесный талант «поэта божьей милостью» — всего этого было мало, чтобы дать не то что богатство, а хотя бы обеспеченное положение под старость. Полонский постоянно нуждался, жил в вечных «недохватках», и я был удивлен, когда из одного разговора с ним выяснил себе весь размер и постоянство этих недохваток.

К нему вела несносно крутая петербургская лестница в сотню с лишком ступеней. Даже мне, в мои тогдашние двадцать с чем-то, было трудно ее одолевать. Для Полонского же путь в его квартиру без посторонней помощи был совершенно недоступен, и его вносили наверх на кресле. Без сомнения, об этой самой лестнице (он жил тут лет тридцать) он сложил свои грустно-улыбающиеся строки:

Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая
Ступеньки лестницы крутой.
А чудо-девушка, наверх за ним взбегая,
Казалось, веяла весной...
...Постой, красавица! Жизнь и тебя научит
Кряхтеть и ныть, чтоб кто-нибудь
Мог перегнать тебя, когда тебя измучит
Крутой подъем — житейский путь!..[29]

И тем не менее на этой высоте собирались часто и охотно самые разнообразные представители тогдашнего Петербурга. От студента до сенатора и выше — тут можно было встретить всех. Главным приемным днем была пятница, хотя гости являлись во все дни, особенно в средне-дневные часы. На пятницах же иногда бывала прямо теснота. Есть люди, которые как-то и чем-то, помимо всяких своих усилий, притягивают к себе

других; Полонский принадлежал к числу этих людей-магнитов — в полную противоположность с нелюдимым индивидуалистом Фетом, который мог иметь общение только с такими же, как он сам, крупными одиночками — как Лев Толстой, Владимир Соловьев, Страхов. «Пятницы» Полонского были так популярны, что (случай, кажется, единственный в своем роде) пережили даже своего хозяина: еще долго, много лет спустя после смерти Полонского, его бывшие друзья и знакомые продолжали собираться по пятницам, составив даже для этой цели особый кружок «пятниц Полонского» под председательством вдовы поэта Жозефины Антоновны, приветливой и гостеприимной в такой же степени, как ее супруг[30]. Мало того, квартира Полонского не только собирала в своих стенах всех его бесчисленных и часто даже почти незнакомых хозяину посетителей — она служила также для общественных целей. Радушный поэт уступал иногда свою столовую (наиболее поместительную из комнат) для устройства лекции или вечера, обыкновенно с благотворительной целью. Сам же он в этих случаях укрывался во внутренних комнатах, скованный все тою же своей болезнью (он ходил обычно лишь при помощи костылей). Один из таких вечеров и позволил мне, наконец, проникнуть в дом № 26 по Знаменской улице.

Впрочем, я не был уже тогда полным незнакомцем для Полонского. Вслед за письмом к Фету, тоже весною 1891 г., я послал, по примеру Шестакова, «на проверку» несколько своих стихотворений автору «Кузнечика-музыканта»[31]. Стихотворения нарочно были посланы те же самые, что в первом письме к Фету. Скоро пришел и ответ в конверте с инициалами «Я.П.» под дворянской короной — ответ, написанный, или, вернее, нацарапанный теми характерными «птичьими лапками», на неразборчивость которых так упорно и горько жалуется в своей переписке интимный друг Полонского Тургенев. Почерк, конечно, не из разборчивых, но все-таки Тургенев капризничал: попробовал бы он переписываться со Случевским, который писал не буквами, а какими-то кляксами, где надо было угадывать буквы, — более странного почерка мне никогда не приходилось видеть. В почерке Полонского было что-то женское — грациозное и запутанное: совершенно отвечающее его, столь «женской», поэзии. Даже по этому почерку было видно, что автор пишет под влиянием «настроения» той или другой минуты и совершенно неспособен писать иначе. Как и в стихах, Полонский в своих письмах был «импрессионистом» — еще раньше, чем мы услыхали этот технический термин.

Ответ его был, пожалуй, даже более ободряющим, нежели фетовский:

Спасибо Вам за Ваше милое письмо, — писал он. — Если я не ошибаюсь, у Вас есть Муза и когда-нибудь подскажет Вам много хорошего.

Все будет зависеть и от Вашего образа жизни, и от Вашего характера, и, главное, от Вашего, *Вам присущего, Вами выношенного миросозерцания* (курсив Полонского. — *П.П.*).

Стихи Ваши хороши, но передают только Ваши личные молодые впечатления — они искренни и задушевны, но еще не задают вопроса, кто сей, который так своеобразно мыслит и так не совсем обыкновенно чувствует?

Ведь для современников Пушкина было ново:

> Я вас любил...
> Как дай вам Бог любимой быть другим.

Для современников Лермонтова было ново:

> Любить! Но кого же? на время не стоит труда,
> А вечно любить невозможно[32].

Вероятно, и в моих молодых стихах, начиная с «*Солнце и Месяц*» (его курсив. — *П.П.*) *было* что-то новое, что обратило на меня внимание любителей поэзии.

Во всяком искусстве, а стало быть и в Поэзии (NB: заглавная буква — Полонского. — *П.П.*), оригинальные мотивы, новые образы — самые очевидные доказательства таланта.

Дай и Вам Бог быть оригинальным.

Самые удачные из числа Вами присланных стихотворений это: «*Ты меня подарила улыбкой*»[33] и «*Я иду по тропинке тенистой*» (курсив Полонского. — *П.П.*).

Попробую рекомендовать их какой-нибудь редакции для напечатания. Такая с моей стороны рекомендация не всегда бывает удачной; но попробую — если Вы позволите.

Если Вы напишете что-нибудь колоритное, картинное — нечто такое, в чем Ваша мысль или Ваше чувство выразится или отольется в ясный образ, всем сразу понятный, — то пришлите.

Во всем желающий Вам успеха

остаюсь *Я. Полонский*

1891. 18 апреля[34].

Это письмо тоже характерно для его автора. Прежде всего обращает на себя внимание центральная мысль письма: о психологической новизне крупных поэтических достижений — о поэзии, как своего рода психологической школе. Рассматривать Пушкина и Лермонтова не просто как абстрактно великих поэтов, а как последовательно раскрывающиеся этапы в процессе развития коллективной человеческой (в данном случае — русской) души — это было вполне ново для времени Полонского, да не совсем устарело и для нашего времени. Аналогичные идеи были выражены Полонским еще в его интересной статье о Мее, напечатанной в благосветловском «Русском слове» (1859 г., № 1)[35] и затерянной теперь в хламе старых толстых журналов. Эта мысль была, видимо, постоянной, определяющей мыслью Полонского о своем искусстве — тем критериумом, которым он мерил «Поэзию». Во всем письме чувствуется эта тенденция к объективному мерилу, несколько наивно даже выраженная в последней строке — об «ясном образе, всем сразу понятном» (как будто такой образ в самом деле есть что-то необходимое для поэзии). Опять, какая противоположность с самозамкнутым и самодовлеющим особнячеством Фета, который не только не мечтал об образах, всем понятных, но, напротив, сознательно уходил в мир одиноких переживаний, хотя и жаловался порою на их невыразимость:

Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть...
Все бы, ах, все бы с собою унесть!..[36]

Итак, я мог уже сослаться на предварительное письменное знакомство[37], когда в начале марта 1893 г., на скучнейшей лекции Лесевича, не то о буддизме, не то об эмпириокритицизме, я обратился к Н.К. Михайловскому с просьбой познакомить меня с хозяином квартиры. Полонский в этот день особенно страдал от своего колена и лежал неподвижно в своем кабинете на любимой своей софе, весь закутанный толстым пледом, с парой неразлучных костылей у изголовья. Как сейчас, вижу его крупную, широкую фигуру в складках пледа, с утомленным, в крупных морщинах, лицом, которое, однако, сильно молодили живые светлые глаза — ясные, как лесной родник, где светилось что-то вечно-детское. Даже лежа Полонский давал впечатление массивности, которое еще усилива-

лось, когда, встав, он начинал медленно передвигаться по комнате на костылях, высокий и грузный. Костыли и плед, а также невольная медленность движений придавали ему хворый вид, но ясные глаза и всегдашняя одушевленность лица (он всегда был чем-нибудь заинтересован) были в резком контрасте с этой ущербностью. Медленность, впрочем, была, по-видимому, вообще свойственна Полонскому: она определенно запечатлевалась в его характерном «напряженном взгляде при входе в комнату» (выражение Фета), который оставался памятен каждому знавшему Полонского. И в беседе он любил неторопливость: захватывал обыкновенно обеими руками руку собеседника и, медленно перебирая пальцы, начинал обсуждать какую-нибудь тему...

Литература была, естественно, любимым предметом его бесед. Хотя в общем он был очень широк в темах своего разговора и внимания — и этой чертой объясняется, конечно, столь разнообразный состав его знакомств. Профессиональности в Полонском вообще почти не чувствовалось — гораздо меньше, например, чем в Майкове, — и, несмотря на восьмой десяток лет, любознательность и даже какое-то любопытство к жизни в нем не остывали. Не было злобы дня, о которой не говорилось бы в его кабинете и которой он не волновался бы больше или меньше. И, при знакомстве с этой чертой, становилась понятной вся разнообразная непосредственность его поэзии, в которой ведь тоже нашли себе отклик, кажется, все крупные злободневности и все общественные «течения» за время жизни поэта — хотя и не всегда удачно. Черта эта снова определенно отделяет Полонского от его сотоварищей-сверстников: и Майков, и Фет были гораздо более «парнассцами», для которых между литературой и текущей минутой проходил пограничный рубеж и далеко не все пропускалось в заветную область творчества.

Впечатление непосредственности было вообще главным от личности Полонского — той непосредственности, которая светилась в его глазах. Он не умел скрытничать ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Даже тогда, когда светская условность заставляла его говорить условные фразы, — всегда можно было знать его истинное впечатление. Литературное самолюбие, без которого нет на свете литератора и которое обычно маскируется с превеликим трудом, у него сказывалось с какой-то детской простотой и незаметно для него самого. Было ясно, что его радует похвала, хотя бы и малоавторитетная, и смущает такое же порицание. Но как будто бывает когда-нибудь иначе?..

И в те поздние годы его жизни, при всем ореоле утвердившейся репутации, было очень заметно, как тяжело досталась Полонскому середина жизни — весь этот долгий период легкомысленного и обидного «отрицания», которым встретили его антиэстетические 60-е и 70-е годы. Всякое упоминание об этой эпохе воспринималось поэтом болезненно, и он точно как-то душевно ежился от ветра, дувшего на него от таких напоминаний. Полонский не имел в себе самоуверенной твердости и спокойного высокомерия Фета, который прошел сквозь ненастье, только крепче нахлобучив шапку. Он был по-женски впечатлителен и по-женски беззащитен... И все-таки, сквозь всю эту зыбь житейских волнений и огорчений, чувствовалась в нем какая-то непоколебимая ясность духа, которая так часто сказывается и в его созданиях. Она запечатлелась в спокойном, открытом выражении лица и в том обаянии душевной тишины, которое исходило от всей его личности. Это опять была тайна поэтов прежних поколений, утерянная потомками, и ни в ком, кажется, не нашла она такого выражения, как в Полонском. Гораздо менее «рациональный», нежели его сотоварищи, он один среди них имел в себе что-то «вещее», точно хранил неизреченную мудрость иных времен. Недаром и лучшие стихи его похожи временами, в своей стихийной иррациональности, на какие-то заклинания.

Эти стихи становились особенно понятными в чтении самого поэта. Стихи Полонского, действительно, надо читать, как читал их Полонский. Самый звук его голоса — этого «сентиментально-тигрового» голоса, по затейливому выражению чуть ли не Михайловского — как нельзя более подходил к такому чтению. Впрочем, он не столько читал, сколько декламировал или даже «пел» свои стихи громким, повышенным голосом, с очень отчетливой дикцией и каким-то вдохновенным, вещим видом. Получалось именно впечатление «заклинания» — чего-то необычайного и подлинно поэтического. Помню, как в один из моих приходов он стал читать мне только что напечатанное в «Книжках Недели» (1895 г.) новое свое стихотворение «Выжатые лимоны» (кажется, последнее напечатанное при его жизни):

В вертоградах Лиссабона,
Дети марта и весны,
Были мы не для Мамона,
А для солнца рождены.

Помнишь, как благоухали
Наши белые цветы
В те часы, как нам мигали
Божьи звезды с высоты?..[38]

Его лицо озарилось и приняло вдохновенное выражение, голос окреп и стал звучным, как у юноши; превосходные стихи легко и свободно лились один за другим из уст счастливого ими творца. Передо мной был настоящий поэт, читающий настоящие стихи...

Любители поэзии Полонского обыкновенно особенно выделяют среди его стихотворений «Колокольчик» («Улеглася мятелица... Путь озарен...»). Им, вероятно, будет приятно узнать, что сам поэт именно это стихотворение считал своим любимым — как мне довелось от него слышать. Действительно, в «сонной», на границе яви и грезы, стихии этой пьесы ощутительно сказалась подлинная стихия поэзии Полонского — как и во всех почти его ночных и лунных стихах...

В поэзии молодых поколений Полонский любил более всего то, что походило на поэзию его поколения или не слишком отдалялось от ее типа. Поэтому особенными его симпатиями пользовался Фофанов, и, когда этот последний представил свой первый сборник в Академию наук на соискание Пушкинской премии и отзыв был поручен Полонскому, тот высказался за назначение премии. Но, — рассказывал он мне, — другие академики восстали, указывая многочисленные неправильные обороты и слишком смелые «поэтические вольности» в стихах Фофанова, и премия не была присуждена, так как было решено, что Академия не может покрывать своим авторитетом подобные погрешности. «А я, — добавлял Полонский, — стоял за молодого автора, как и всегда я отстаиваю молодежь, и был также за назначение премии Надсону» (получившему, как известно, половинную Пушкинскую премию в 500 рублей, присужденную по отзыву, кажется, того же Полонского)[39].

Зато вовсе не пользовались его симпатиями тогдашние предтечи символизма. Он явно не любил Мережковского, ни как поэта, ни лично, несмотря на постоянный энтузиазм Мережковского к его стихам. А З.Н. Гиппиус внушала ему прямо что-то вроде трепета, смешанного с брезгливостью[40]. Он остался также чужд первым стихам Сологуба и Бальмонта (не говоря уже о Брюсове), которые он еще захватил. В Бальмонте он признавал, впрочем, внешний талант, но вся манера его была для него

чуждой; а московские сборники «Русских символистов» (под редакцией Брюсова)[41] вызывали в нем просто отвращение. Это для Полонского, как и для всех почти представителей старших поколений, было чем-то стоящим вне литературы.

Для начала знакомства Полонский подарил мне экземпляр своей только что вышедшей отдельным изданием поэмы «Собаки»[42] с надписью и звал бывать. Семья его в то время состояла, кроме жены, из двух сыновей — старший был студентом, младший правоведом — и хорошенькой брюнетки-дочери, вскоре вышедшей замуж. Жозефина Антоновна была, как известно, не лишенной таланта скульпторшей, и до сих пор в Одессе украшает городской бульвар памятник-фонтан Пушкину с бюстом поэта ее работы[43]. Как и ее муж, она была в большой дружбе с Тургеневым, и тень великого писателя, память о котором была тогда еще очень жива, как бы витала в семье Полонских. Заметна была и ревность этих друзей к Виардо, столь ярко сказывающаяся в переписке Якова Петровича со своим другом. Он положительно не выносил Виардо, и, когда однажды я спросил его, была ли знаменитая подруга Тургенева в каком-либо отношении привлекательна, в ответ получилось краткое, но с чрезвычайной энергией сказанное определение: «Черт!».

Толстого Полонский уважал, с интересом следил за развивавшимся тогда духовным переворотом Толстого, даже полемизировал с ним в стихах и прозе, но был ему, видимо, чужд и как будто побаивался его. Также с каким-то смущением вспоминал он духовный облик своего ближайшего поэтического сотоварища, Фета. Когда однажды зашла речь о характере мировоззрения последнего, — как-то устало махнув рукой, бросил он с безнадежностью: «Он ни во что не верил»... Сам Полонский в свои поздние годы был церковно-верующим христианином, и его стихи той поры отражают это:

Но жизнь и смерти призрак миру
О чем-то вечном говорят,
И, как ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонят...[44]

У меня сохранился небольшой листок, на котором Полонский, после одного просмотра моих стихов (осенью 1893 г.), набросал свое впечатление, характеризуя отдельно «достоинства» и «недостатки» моей музы.

Отзыв этот, близкий к его первому письму, повторяет тот же критический подход — требование индивидуальной новизны и общественной значимости:

«Достоинства:

Певучий, музыкальный стих; поэтическое настроение и искреннее чувство. — Чувство природы и свежесть красок. — Нет напыщенности и погони за эффектом. — Чувство меры.

Недостатки:

Все чересчур субъективно, и все субъективное слишком еще молодо — форма напоминает лирику Фета, Тютчева и других. В ней еще мало чего-то нового — оригинального или самобытного. Читаешь и все что-то припоминаешь.

Вырастет ли из этого поэтического зерна такой цветок, перед которым невольно остановишься, как перед чем-то новым и непохожим на те цветы, которыми переполнена наша лирика?

Это зависит и от самого поэта, и от общества, и от тех идеальных целей, которых будет достигать новое поколение.

В Ваших стихах нет предвзятой тенденциозности, это — хорошо. Но что нет невольной, от поэта не зависящей тенденции — это не всегда хорошо. Одно только стихотворение — «Отшельник»[45] — рисует взгляд автора на христианство, но вообще какое философское миросозерцание и какие нравственные задачи — еще в Ваших стихах не заметно. Только в одном стихотворении Вы зовете женщину на борьбу и труд[46] — но это уж не ново».

Стихотворение «Отшельник» в довольно наивной форме изображало христианина первых веков, недовольного официальной победой христианства при Константине и мечтающего о возвращении эпохи гонений. Когда эта мечта как будто сбылась при Юлиане Отступнике — старый отшельник идет с радостью принять мученическую смерть. Таков «взгляд на христианство», который усмотрел в этом стихотворении Полонский.

Вообще его, такого безраздумного, самого нефилософского из поэтов, всегда влекло к какому-то теоретическому обоснованию своего «чистого искусства» и смущал призрак философичности. Впрочем, он был простодушно убежден, что его поэзия как раз отвечает таким требованиям. Когда в 1895—1896 гг. я составлял сборник «Философские течения рус-

ской поэзии», где должны были быть представлены крупнейшие русские поэты в своих образцах и в критической характеристике со стороны их философского миросозерцания, — Полонский, выслушав проект моего сборника, с невольной своей откровенностью заметил: «Вот у меня вы найдете больше философского содержания, чем у других». Трудно было бы его уверить, что дело обстоит как раз наоборот и что это-то именно и хорошо в данном случае.

В моем сборнике статью о Полонском, сперва предназначенную для Мережковского, пришлось, за его промедлением, написать мне самому[47]. Это была первая моя «всамомделишная» статья, от которой я и сейчас не отказываюсь. Само собою разумеется, что, когда сборник вышел, я отнес экземпляр Полонскому. Он был болен, и я мог видеть его только мельком. Но через несколько дней я получил от него адресованное на типографию, где печаталась книга, следующее письмо:

СПб. Знаменская ул., 26

Многоуважаемый
Петр Петрович.

Извините, что вчера в Воскресенье я не успел и поблагодарить Вас как следует. Так был слаб, что боялся упасть, и ушел от Вас прежде, чем успел прочесть заглавие книги, Вами мне принесенной и только сегодня утром мною прочитанной. Благодарю Вас за Ваш благосклонный отзыв по поводу посильных поэтических трудов моих.

Недавно от Поливанова, из Москвы, получил я запрос — какого я мнения о Николаеве (псевдоним критика Говорухи-Отрока. — *П.П.*), который пишет о моей поэзии в «Московских ведомостях»[48]. — Я отвечал: чтоб высказывать свое мнение на критику кого бы то ни было, надо прежде всего иметь свой собственный, сознательный взгляд на свои произведения. И я могу сам судить о себе, но мой суд над собой — суд *безгласный* (курсив Полонского. — *П.П.*), — и иным быть не может.

Вот почему я и Вам не решаюсь высказывать своего мнения о Вашей критической статье. Скажу только, что я ее прочел с большим интересом и нашел в ней не мало для себя лестного.

Надеюсь, что Вы не откажете мне в удовольствии с вами видеться... Я всегда дома, и по вечерам до 12 ч., а иногда и до 2-х часов ночи, не ложусь спать, и почти всегда один (кроме пятницы).

Вчерашний день был исключением. —

Дай Бог, чтобы Вы застали меня здоровым. Будьте и Вы здоровы. Желаю успеха Вашей замечательной книге.

Не посылаю Вам моих *Заметок о Царствии Божием Гр. Толстого* (подчеркнуто Полонским. — *П.П.*), вышедших уже вторым изданием[49], — потому не посылаю, что не знаю наверное, дойдет ли до Вас и это письмо, посылаемое через типографию Меркушева.

Ваш преданный
Я. Полонский

1896 г. 18 Марта —
Понедельник[50].

Уже и в этом письме, несмотря на общий подчеркнуто-любезный тон и признание «лестного» в моей статье, чувствуется между строк явное недовольство. То же впечатление осталось у меня и от дальнейших устных бесед с Полонским на тему о моей статье и даже моего сборника вообще. Между нами точно пробежала если не черная, то серенькая кошечка... Мне казалось, что его задевала определенно выраженная в моей статье характеристика его поэзии как иррациональной (а ему хотелось признания ее философичности), а также оговорки, которые пришлось, и в довольно резкой форме, сделать по поводу теневых сторон этой поэзии, столь в ней обильных.

Трудно угодить на авторов, особенно поэтов, особенно женского типа, бессознательно требовательных в своем «эгоцентризме». Как бы то ни было, но в отношении Полонского ко мне исчез оттенок прежнего простодушия и появилась известного рода сдержанность: я был уже в его глазах не простой знакомый, а «критик», с которым надо держать ухо востро... Затуманивала наши отношения также упомянутая выше резкая антипатия Полонского к модернистским течениям в русской поэзии, все возраставшая по мере их раскрытия, — тогда как меня, напротив, все более влекло в сторону этой новизны, в которой чувствовалось будущее. Поэтому мои визиты на Знаменскую делались реже и короче. Последний из них, при жизни Полонского, пришелся на день его шестидесятилетнего юбилея, 10 апреля 1897 г.[51], когда утомленный недомоганиями поэт, отказавшись от публичного чествования, едва мог принять в своем кабинете немногих знакомых.

Той же весной 1897 г. я уехал надолго из Петербурга и вернулся туда как раз в день кончины Полонского — 18 октября 1898 г. Пришлось уви-

дать его уже в гробу, в обстановке многолюдной панихиды. Среди присутствующих были звездоносцы и сам великий князь Константин Константинович (поэт К.Р.), тогда президент Академии наук. Поэт лежал со спокойным и тихим лицом, на котором сгладилось утомление последних лет и проступило то детски-чистое выражение, которое так шло к впечатлениям от его поэзии и ко всему впечатлению от его личности.

Под этими двумя впечатлениями у меня написались тогда стихи его памяти (были напечатаны в «С.-Петербургских ведомостях» в номере от 1 ноября 1898 г.):

Детство мира золотое
Помнил он в волшебных снах,
И далекое, родное
Пел в таинственных стихах.

Первой страсти робкий лепет,
Грезы первые весны,
Полуночной жизни трепет,
«Шорох знойной тишины»[52], —

Как души воспоминанья,
Чудотворные слова
Воплощали заклинанья
Вдохновенного волхва.

И душою суеверной,
Сердцем ясным и простым
До зари своей вечерней
Верил сказкам он своим[53].

ГЛАВА IV

ПОСЕЩЕНИЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Приезд — Первые минуты — Как он смотрел — Литературный разговор — Парадоксы Л.Н. — Прогулка — Симпатии к Чехову и Микулич — Другие отзывы — Внезапное признание — Обед — Два лагеря — «Опрощение» — На другой день — Разговор о «Крейцеровой сонате» — P.S. Письмо К.В. Лаврского — Рассказ А.В. Алехина — Письмо М.А. Шмидт

В те годы это было почти всеобщей мечтой — съездить к Толстому. Его имя было у всех на устах; все взоры были обращены на Ясную Поляну; присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно. Недавно еще обошла весь мир «Крейцерова соната»[1], всюду возбуждая волнение и споры; также волновали его богословские и политические сочинения, тогда непрерывно появлявшиеся и легко преодолевавшие бессильные цензурные запреты. Повсюду читались гектографические и рукописные копии, исходившие из Ясной Поляны, и всех, так или иначе, притягивал ее магнит...

Разумеется, мечтал и я: «Если бы увидеть Толстого!». «Война и мир» и «Анна Каренина» и тогда уже казались сверхчеловеческими созданиями, и неправдоподобно было, что творец их еще живет, что можно его видеть, говорить с ним. Жутко и притягательно...

И внезапно обстоятельства повернулись так, что это сделалось возможным и осуществимым — можно ехать в Ясную Поляну и быть у Толстого, не впадая в излишнюю назойливость. В далекой Казани, где я тогда жил, нашлась хорошая знакомая Марьи Александровны Шмидт — той «опростившейся» толстовки, которая жила вблизи Ясной Поляны и имя которой известно каждому, изучавшему биографию Толстого последних десяти-

летий. Более того: моя казанская знакомая скоро едет к ней, переговорит и напишет... И несколько недель спустя, в начале июня 1894 г., я уже ехал в Москву и дальше по Курской на ту «Козлову Засеку», которую знала тогда вся Россия как станцию Ясной Поляны. В трех верстах от нее, направо от полотна железной дороги, за густым лиственным лесом скрывалась знаменитая усадьба. Хорошая, широкая дорога вела туда...[2]

Но прежде чем направиться в Ясную, я должен был идти в противоположную сторону. М.А. Шмидт жила в небольшой деревушке, около версты от станции, в маленьком домике — вполне «по-толстовски». Огород при домике составлял ее занятие и подспорье, а жила она скромнее скромного. Для Льва Николаевича она была одним из самых близких друзей; у Софьи Андреевны, наоборот, она не пользовалась симпатиями — именно как правоверная толстовка.

С запиской от Марьи Александровны и с бьющимся сердцем я направился снова через станцию и по дороге в Ясную... Через несколько времени показались две толстые белые караулки-башенки, столь известные теперь по снимкам. Они обозначали въезд в усадьбу Ясной Поляны — начало длинной березовой аллеи, приводившей к пруду и к дому. Вот и пруд; вот дальше и дом — двухэтажный флигель прежнего большого, тогда уже давно проданного и перенесенного отсюда усадебного дома. Но и этот флигель сто́ит целого дома и в другой усадьбе был бы домом. Во всей Ясной Поляне виден был широкий масштаб большой барской усадьбы: ведь это и было имение князей Волконских — приданое матери Льва Николаевича.

Но хозяин этого имения живет как-то странно: меня вводят даже не в просто скромную комнату, а в какое-то полуподвальное помещение со сводами и очень толстыми стенами, в которых высоко пробито окно. Это́ был тот самый рабочий кабинет Льва Николаевича — бывшая кладовая, — который изображен на известной картине Репина[3].

Я остался один. Вот сейчас он выйдет... Страшновато... Сердце так и стучит.

И вот слева из дверей выходит среднего роста, очень пропорционального сложения бодрый старик с довольно длинной седой бородой, с темными еще отчасти волосами вокруг лысеющей головы, с таким хорошо знакомым лицом. Это — он!

«Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Детство», которое я знал чуть не наизусть, — все это проносится смутно в голове. Это все написал он — только что вошедший?.. Неправдоподобно и невероятно. Но нужно постараться запомнить...

И прежде всего я постарался запомнить его рост. Он не был высок, как я думал (ведь ожидалось — до облаков). Мысленно я с ним смерился: мы оказались приблизительно одинакового роста. И теперь мне всегда легко представить себе его фигуру — два аршина с небольшим, и весь совсем не крупный, хотя плотный и крепкий. А написал «Войну и мир»...

Тем временем он на меня смотрел. Нет, это неверно: он меня *сверлил* своим взглядом. Маленькие, серо-голубые, очень глубоко сидящие под насупившимися бровями глаза, и сверлят, как два буравчика. Никогда, ни раньше, ни после, ни у кого я не видал такого взгляда. Бывали глаза более красивые — как у Гарина, например; даже более значительные — у Владимира Соловьева, например; но таких испытующих не было. Вот «психологический анализ»!.. Пожалуй, понятно, что он написал «Анну Каренину».

Заговорили. Он с первых слов стал расспрашивать, что я делаю. Так как я уже литераторствовал, то разговор естественно сошел на литературу. Когда я вспоминаю теперь, меня поражает простота и естественность этого разговора. Ни малейшего не только «генеральства», но какого бы то ни было «авторитета», какой-нибудь «поучительности». Он говорил так, точно ему и в самом деле было интересно беседовать с желторотым юношей из Казани и он мог что-нибудь вынести из этой беседы. Огромная привычка к людям и огромная тренировка себя во внимании к ним...

В качестве литератора, да еще провинциального, я, конечно, стал жаловаться на тогдашнюю цензуру, особо свирепую (последние годы Александра III). Но Лев Николаевич взял дело со своей точки зрения. «Если вы будете писать то, чтó нужно людям, никакая цензура вам не может помешать. Тогда люди будут сами искать ваших писаний; станут переписывать, и это распространится по всей России, как распространилось в свое время "Горе от ума". Ведь оно было запрещено, не могло попасть в печать, а его знала вся Россия. Грибоедов сказал нужное людям, и это нельзя было уничтожить. А теперь в газетах пишут совсем ненужное, и если запрещают, то это никого не трогает». Так, приблизительно, говорил он, несколько раз сославшись на «Горе от ума», но имея в виду, конечно, и другой, более близкий пример. Его самого запрещали, как Грибоедова, и он всем оказывался нужен. Никакие возражения и указания на некоторую разницу в положении не производили впечатления. Свой ригоризм Л.Н. распространял широко. «Ведь есть целые писатели, — начал было он и вдруг приостановился. — Вы как? — спросил он, — на-

мерены опубликовать нашу беседу?» Я поспешил уверить его, что все останется между нами (и только после его смерти нарушил это обещание)[4]. «Так вот, есть целые писатели, которые шумели в свое время, а замечательны только тем, что умели обходить цензуру. Возьмите, например, Щедрина (Салтыков тогда был известен больше под своим псевдонимом). Как он шумел! А что у него есть? Его "эзоповский язык" был нужен только как уловка против цензуры, а писал он всё пустые вещи. Возьмите "Дневник провинциала в Петербурге" — разве это можно читать? Кому это нужно? И вот он уже забыт, хотя так много печатался в свое время».

Через тридцать с лишним лет я воспроизвожу слова, конечно, лишь местами с буквальной точностью, но за точность мысли ручаюсь.

Все это говорилось с большим оживлением и даже с жаром, как будто тема почему-то затрагивала говорившего. «Нужно бы уничтожить гонорар, — резюмировал он, — тогда люди писали бы только то, что́ им действительно нужно сказать, и тогда не писалось бы пустяков. А теперь ради денег пишут, что придет в голову. Прежде, когда не было печати, было гораздо лучше: писали немного, но только ценное. А теперь это какой-то промысел».

Я упомянул о так называемых «направлениях» наших 60-х и 70-х годов. «Что это за направления? — восстал Лев Николаевич. — Я не понимаю, что разумеют под этим словом. Я сам пережил все эти 60-е и 70-е годы и хорошо их помню, и могу вас уверить, что никаких таких особенных направлений тогда не было. То же было, что и в другое время». — «Но как же, Лев Николаевич, а Писарев, Чернышевский?..» — «Что такое Писарев и Чернышевский? Были они, но были рядом и другие. Почему же 60-е годы непременно Чернышевский, а не другие?» — «Но как же, Лев Николаевич...» — «Да и что такое этот Чернышевский? Ведь он все брал из иностранных книжек и сам сознавался в этом. Вот это ужасно, что у нас всё берут из вторых рук! Молодежь читала Чернышевского, вот теперь читает Михайловского, изучает по нему Спенсера, а надо самого Спенсера читать. Изложение никогда не может заменить... Вот я в молодые годы увлекался Руссо. Так я не стал читать его изложение, а читал его самого. Зато это и было впечатление! Он бесподобно пишет. "Эмиль"...[5] Ну, какое же может быть изложение "Эмиля"? Вы знаете, я так им увлекся, что вставил портрет Руссо в медальон и носил вместо креста[6]. Такое впечатление остается... А теперешняя молодежь в сущности ничего не знает. Как можно тратить время на Михайловского? На что же мне, как

он излагает? В наше время мы были гораздо требовательнее. Нужно читать только немногое и непременно в подлиннике. Только подлинник может научить. Там вы переживаете вместе с писателем его мысль, а в изложении вы всё получаете из чужих рук и смотрите чужими глазами».

Довольно скоро он встал с места, сказав: «Я в это время всегда гуляю. Хотите пойти? Мы еще успеем до обеда». И мы пошли парком, а после по дороге на Засеку. В своей «толстовской» блузе, подпоясанной ремешком (в то время костюм только мастеровых и уж никак не графов), со своим таким крестьянским лицом, Лев Николаевич выглядел весьма демократично: принять его за писателя, вообще за «интеллигента» — не говорю уже знаменитость, — встретив где-нибудь на дороге, не было никакой возможности. Ходил он бодро, скоро, совсем не по возрасту (ему в это лето шел шестьдесят шестой год), и я не помню, чтобы мне приходилось замедлять шаг и согласоваться с ним, как это обыкновенно бывает при такой разнице лет. Когда под конец прогулки он, увлекшись разговором, сбился с дороги и заблудился в кустах (в своей Ясной Поляне!) — отчего нам пришлось спускаться в какие-то овраги и перелезать через какие-то изгороди, — он проделывал все это с юношеской легкостью.

Разговор шел, конечно, все о литературе. Как я уже упоминал, я очень любил еще мало признанного тогда Чехова («Чехонте», как его еще обыкновенно называли) и даже предпочитал его тогдашнему «премьеру» русской беллетристики, Короленке. И вот оказалось, что Лев Николаевич вполне разделяет эту оценку. Он просто не допускал параллели между Короленкой и Чеховым: Чехова он хотел сравнивать только с Мопассаном, отдавая, впрочем, предпочтение последнему по глубине и содержательности. В те годы он еще не знал лично Чехова, но его симпатии уже принадлежали ему *почти* всецело. Оговариваюсь: «почти», потому что как раз в тот момент Львом Николаевичем владело еще одно литературное увлечение. Незадолго до того была напечатана в «Северном вестнике» довольно большая повесть «Зарницы» В. Микулич (псевдоним писательницы Л. Веселитской)[7]. Написанная свежо и ярко, эта повесть выделялась среди обычной серенькой журнальной беллетристики. Еще года за два до того тот же автор заставил много говорить о себе своими рассказами «Мимочка на водах» и «Мимочка отравилась» — талантливой сатирой на великосветский мир, совершенно в духе Толстого[8]. Поэтому понятно было его предрасположение в пользу этого автора, но «Зарницы» его просто

пленили. Когда, говоря о Чехове, я поставил его на первое место среди русских беллетристов эпохи, а на второе — Микулич, он меня перебил: «А я бы с вами поспорил, что она на первом, а Чехов только на втором». Видимо, он возлагал на автора «Зарниц» большие надежды, в связи со своими моральными требованиями от искусства[9]. Микулич оправдала эти ожидания лишь наполовину: впоследствии она еще ближе подошла к толстовству, но не дала уже ничего на уровне своих первых вещей.

Зато не жаловал Лев Николаевич так называемых «беллетристов-народников», тогда еще весьма популярных и, казалось бы, ему близких. Когда я упомянул Глеба Успенского, он только мотнул головой. «Ну, этот тоже из тех, недоговаривающих», — бросил он памятное словцо.

Также не встретило у него на этот раз привета имя Герцена, которым я тогда зачитывался. «Да, я знал его за границей»,— как-то рассеянно-холодно отвечал он[10].

Впрочем, никогда нельзя было угадать наверное, где найдутся его симпатии. Помня его дружбу с Фетом, я был уверен, что «Вечерние огни» для него близкая книга[11]. Но почти насмешливо он кинул: «Ну, под старость Фет писал плохо; гораздо лучше его молодые стихи».

С уважением и явной симпатией он упомянул Владимира Соловьева. «Он очень даровит», — несколько раз повторил он. На мои слова, что у Соловьева особенно хороши стихи (тогда еще мало известные), Толстой с каким-то удивлением заметил: «А он всегда говорит о них, как о чем-то незначащем».

Понемногу разговор опять свернул на наши былые «направления» и особую общественную окраску разных десятилетий. И опять Лев Николаевич протестовал против этих нивелирующих определений. Они явно отталкивали его именно своей определительностью. Ему хотелось отстоять свободу личного начала или зависимость этого начала от каких-то других, менее поддающихся сознательной квалификации сил. После нескольких, все менее ясных и все более обращенных точно к самому себе фраз он вдруг перебил себя с внезапно вспыхнувшим воодушевлением: «Это я все хожу вокруг да около. А я хочу сказать, что человек никогда не знает сам по-настоящему, чтó собственно он делает. Мы все — как Моисей на горе Хориве, когда он только издали видел землю обетованную, куда шел и вел других, но сам в нее не вступил. Только вдали видел, в тумане... Так и мы идем куда-то, что-то нас толкает, и нужно что-то делать, а какая этому цена — это мы только потом узнáем». Он сказал эти слова с необыкновенным волнением, путаясь в кустах (вот тогда мы и сбились) и

колотя изо всех сил своей палкой по окружающей высокой траве. Сказал, видимо, забыв о собеседнике, — как внезапно вырвавшееся для самого себя признание... Потом круто замолчал, стал искать дорогу и молчал до самого дома.

И когда впоследствии не раз доходили до меня вести, что Лев Николаевич справляется, сдержу ли я данное ему слово — не передавать нашей беседы в печати, мне всегда казалось, что беседа эта запомнилась ему, и вопрос этот вызывался именно благодаря этой минуте.

Домой мы пришли к обеду, и нас скоро позвали на террасу, где собралась уже вся семья, поскольку ее представители жили тогда в Ясной. Графиня встретила меня сперва немного кисло: несомненно, вследствие моего появления через М.А. Шмидт. Она, видимо, приняла меня за одного из «темных» (ее термин для толстовцев), и лишь постепенно все «образовалось». Она сама производила вполне определенное впечатление светской дамы, которая и в деревне «держит тон». Зато впечатление от семьи было очень разнохарактерно, или, точнее, семья эта как бы распадалась на две противоположные группы. Одна состояла из взрослого уже, третьего сына, Льва Львовича, известного впоследствии своей оппозицией отцу, а тогда еще ярого толстовца, и второй дочери, Марьи Львовны (впоследствии за Оболенским). Это была сторона Льва Николаевича. Другой «лагерь» группировался вокруг Софьи Андреевны и состоял, собственно, из малолетних: младшей, двенадцатилетней, дочери, Александры Львовны, и двух младших сыновей, Михаила и Андрея. Тогда еще жив был также последний, шестилетний, сын Ванечка, вскоре после того так поразивший родителей своей кончиною. Эта вторая группа находилась «под крылом» матери, заметно охранявшей ее от вредного влияния, исходившего от противоположного конца стола. Обе группы и сидели так — на разных концах, что вызывалось, впрочем, уже кулинарными соображениями, ибо обе обедали по совершенно различному меню. На конце Софьи Андреевны обед был не только хороший, но для деревни даже изысканный (на жаркое, например, цыплята под белым соусом): подавали лакеи в белых нитяных перчатках. Словом, это был обед в графской усадьбе. Зато на противоположном конце ели что-то неопределенное и сомнительное — какую-то овсяную похлебку вместо супа и какую-то кашу вместо цыплят. После, за чаем, дуализм выступил еще резче: все вообще пили чай, но вокруг Льва Николаевича, и сам он, пили просто кипяток, причем вместо сахара употреблялся изюм.

Среднее, примиряющее, положение между обеими группами занимала тогда старшая из дочерей — Татьяна Львовна, также еще незамужняя. Заметно во многом симпатизировала она толстовской группе, но не могла, подобно младшей сестре, вполне отрешиться и от мирских соблазнов, представляемых другой группой. Это выражалось даже во внешности обеих сестер: костюм старшей был не лишен некоторой светскости, и она не чуждалась обычных женских украшений; платье младшей было совсем простенькое, и она не носила никаких «ненужностей». И как-то естественно гармонировала с этой внешностью Марьи Львовны — с загорелым деревенским лицом и по-деревенски шершавыми руками — ее жалоба на усталость: «Потому что пришлось сегодня встать в три часа, чтобы успеть выстирать все белье...».

За обедом разговор носил общий характер. Узнав, что я из Казани, Лев Николаевич вспомнил свои студенческие там годы, свою тетку Юшкову, кое-кого из оставшихся еще в живых знакомых — в том числе моего отца и наш дом, где он бывал. После обеда пошли прогуляться в парк возле дома, и в это время со своего хутора подошел Чертков, тогда еще почти молодой, красивый, с английского типа лицом. Он только что, подходя к дому, обулся, а всю дорогу «шел босиком, потому что легче идти». Теперь никого у нас этим не удивишь, но тогда такие черточки «опрощения» еще очень поражали. «Как посравнить век нынешний и век минувший»[12] — бросается в глаза незаметная обыкновенно, постепенно наросшая перемена в нравах и быте...

Во время прогулки оказалось, что одну из лужаек возле дома «надо выкосить сегодня». Чертков и принялся было за дело, но Лев Николаевич нашел, что он не вполне еще овладел искусством косьбы. Для примера он взял у него косу и мастерски, с полной легкостью и чистотой, выкосил всю небольшую лужайку. Видно было, что для него это была давно знакомая работа, и Чертков в самом деле учился, глядя на него.

Когда теперь я передаю все эти мелкие подробности яснополянского быта, я чувствую, что читатель неизбежно воспринимает их не так, как воспринимались они там, на месте. Потому что «со стороны» никогда нельзя забыть, что речь идет о Толстом, — и весь интерес сосредоточен на парадоксальности факта, что «великий писатель земли русской» косит сено, а его дочери сами стирают белье и т. п. Между тем именно такой парадоксальности не ощущалось совсем в Ясной Поляне. Весь строй жизни

там сложился уже давно и (в толстовской половине семьи) так определенно, что все эти подробности вытекали сами собой из этого склада. Просто было ясно, что в самом деле нужно выкосить такую-то лужайку, и почему же не сделать этого вот этому бодрому, крепкому старику, так свободно владеющему косой? Совершенно забывалось, *кто* был этот старик, и даже как-то не верилось, если вдруг вспоминалось... Оттого так фальшивы в сущности все эти яснополянские этюды, в которых особенно упражнялся тогда Репин: «Лев Толстой за сохой», «Лев Толстой босиком»[13] и т. д. В Ясной Поляне все было гораздо проще и естественнее.

Скоро после обеда я ушел обратно к М.А. Шмидт. На другой день я уезжал и уже не рассчитывал более увидеть Толстого. Но незадолго до того как мне отправляться на поезд, в передней домика Шмидт раздался какой-то шум: оказалось, что это пришел Лев Николаевич. Как раз в тот момент мы с Марьей Александровной жестоко спорили о «Крейцеровой сонате»: нужно ли понимать ее противобрачную тенденцию в абсолютном смысле, или же Толстой допускает исключение в пользу нормальных, так сказать, браков — искренних и подходящих по возрасту? Я отстаивал первую точку зрения: мне казалось, что автор «Сонаты» не отделяется от Позднышева в его бесповоротном осуждении всякого брачного «обмана»; Марья Александровна (сама незамужняя) склонялась, может быть как женщина, к смягченному толкованию. В эту самую минуту входит Толстой. «Что же может быть лучше этого? — поспешил я воспользоваться обстоятельствами. — Спросим у самого автора, как он смотрит». Марья Александровна передала ему сущность спора, резюмировав ее в вопросе: «Можно ли сказать, что всякий брак есть падение?».

Толстой в этот день был не такой, как накануне. Его оживление пропало; устал ли он с дороги или был чем-то расстроен, но он сидел у стола какой-то хмурый, и живая ртуть его глаз потускнела. Так, сидя в этой поникшей позе и выслушав вопрос, каким-то недовольным и почти сердитым голосом он дал ответ в пользу абсолютного толкования: «Да, брак есть падение».— «Но неужели же всякий брак, Лев Николаевич? — не сдавалась Марья Александровна.— Ведь есть же исключения...» Но, все глядя куда-то вниз, в пол, с мрачным упорством произнес он решающее слово: «Да, *всякий* брак есть падение...». Спор оборвался поневоле.

Мне пора было идти к поезду, и Лев Николаевич проводил меня до Козловой Засеки. Расставаясь на платформе, он протянул мне руку с прощальными словами: «Ну, гора с горой не сходятся, а человек с чело-

веком сходятся! Еще, может быть, встретимся...». Однако не сбылось. Я больше никогда не видал Толстого.

P.S. Почти год спустя, в марте 1895 г., я получил от казанского журналиста, полутолстовца, К.В. Лаврского (о котором упоминаю в первой главе), письмо с кратким описанием его визита к Толстому в Москве. Беру из этого письма строки, сохранившие интерес[14]: «...Я спросил его (Толстого. — *П.П.*) — чем и как он возражает против указания на тот факт, что Христос употребил насилие в храме против торгующих и менял. Он, как водится, начал говорить, что Христос выгонял не людей, а скот, но на мое замечание, что изгонять чужой скот и опрокидывать столы значит совершать насилие, — ничего не мог возразить и даже не решился, как сделал Лютер, открыто и прямо сказать, что Христос в этом случае *отступил* (курсив Лаврского. — *П.П.*) от указанного им идеала. Мне сделалось неловко, и я замял разговор. Другая интересная тема, которую я затронул, — это по поводу очень мало развитой Толстым в его "Царствии Божием" мысли о процессе "бессознательного охристианения"[15]; я указал Толстому, что в этом случае он сходится с марксистами, которые исследуют процесс бессознательного исторического развития в направлении к идеалам, тождественным с христианскими. Оказалось, что Толстой не знаком (или, вернее, мало знаком) с теорией экономического материализма. Он полагает, что проведение в жизнь идеала социальных отношений ведет за собою повышение материального благосостояния (наши духоборы, моравские братья[16], американские квакеры и т. д.)».

Здесь любопытно указание, что еще в 1895 г. Толстой был плохо знаком с теорией К. Маркса — несмотря на то, что так много и непрерывно читал по социальным вопросам. Руссо, Генри Джордж — один в молодости, другой под старость — были ему несравненно ближе. Романтика земледельческого миросозерцания была всегдашней атмосферой его мысли, и «городской» марксизм отпугивал его своей «сухостью» и научностью. И все-таки он совпадал с ним в замечательном признании причинной связи между реализацией социальной справедливости и возможными материальными достижениями человечества.

Мне вспоминается еще характерный рассказ покойного Аркадия Васильевича Алехина (в молодости толстовец, потом строгий церковник; умер в должности курского городского головы, незадолго до войны). Однажды, может быть после одной из особенно острых семейных ссор, у Тол-

стого вырвалось слишком интимное признание, что его жена кажется ему «воплощением пошлости». — «Но как же в таком случае, Лев Николаевич, вы можете любить ее?» — простодушно вопросил старый холостяк Алехин. — «Ах, вы ничего тут не понимаете!» — гласил с сердцем сказанный, выразительный ответ.

Я говорил о Марье Александровне Шмидт. Осенью того же 1894 г. я получил от нее письмо, несмотря на свою краткость, прекрасно рисующее ее простую и преданную душу «большого ребенка»:

Сейчас получила Ваше письмо, многоуважаемый Петр Петрович, — писала она от 28 сентября, — радуюсь, что вам удалось повидать Л[ьва] Н[иколаевича] и что свидание это оставило глубокий след в Вашей молодой душе.

...А вчера был у меня Л[ев] Н[иколаевич], и мы говорили о Вас, вот хоть и мало знаем друг друга, а уж мысленно живем с Вами, разве это не радость? Простите, что пишу Вам вместе с В[ерой] К[онстантиновной]*, но я живу почти без денег, потому экономлю почтовыми расходами.

Всей душой желаю Вам всего хорошего.

М. Шмидт.

С.А. Толстая в своих дневниках сравнивает М.А. Шмидт с послушницами православных монастырей и говорит, что в другое время и под другими влияниями Марья Александровна ушла бы в монастырь — вместо толстовства, которое лишь отчасти могло заменить ей такое послушничество[17]. Это очень правильная мысль, и надо признать, что, при всей своей антипатии к «темной» Шмидт, Софья Андреевна верно разгадала ее натуру. Это была натура людей «не от мира сего», не знающих и не ощущающих своего «я», — людей, которые во все времена и под разными формами находят за что пожертвовать собою. Марья Александровна обрела свой «абсолют» в учении Толстого, за которым и пошла, оставив всю свою прежнюю жизнь (она была классной дамой в одном из московских институтов), как оставляли первые христиане, — с той преданностью и самоотвержением, к которым напрасно усиливался сам основатель учения, слишком богато одаренный в своем «я».

* В.К. Люстиг — та моя казанская знакомая, через которую я познакомился с М.А. Шмидт.

ГЛАВА V

«МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ»

Хрестоматия молодых поэтов — Критерий молодости — Фофановская эпоха — Предисловие к сборнику — Сорок два «избранных» — Репутация Бальмонта и Брюсова — Фавориты времени: Величко, Коринфский, Федоров — Льдов и Фруг; Ратгауз; «К.Р.»; гр. Бутурлин и его оригинальность; Дрентельн и его судьба; Энгельгардт; Сафонов, Червинский и Шестаков — Сведения о других участниках сборника — Как нас рецензировали — Вопрос о Надсоне — Определение Брюсова — Его отзыв о сборнике и оценка молодой поэзии — Прогноз символизма — Издательские сведения — Проект второго издания — Предложение Ратгауза — P.S. К.М. Фофанов

Еще в Казани, осенью 1894 г., мне пришла в голову мысль составить хрестоматию лучших стихотворений молодых поэтов — представителей новой полосы русской поэзии, и таким образом подвести этой «школе» некоторые итоги. Я стал рыться в толстых и иллюстрированных журналах последних лет, просматривать бесчисленные сборники стихов и делать выписки. В выборе мне помогал мой двоюродный брат Владимир Владимирович Перцов — тогда студент Лесного института (впоследствии заведующий статистикой Казанского губернского земства; скончался в августе 1921 г.). Всю работу мы проделали вместе, и сборник вышел под именами обоих как «составителей».

Прежде всего возник вопрос: кого считать «молодым» поэтом? Та или другая манера письма, очевидно, не могла служить критерием, так как

интересно было, наоборот, выяснить посредством более или менее объективного подбора, в какой манере или в каких манерах пишут молодые поэты. Оставалось, следовательно, взять критерий хронологический — по десятилетиям или возрастный. Последний был конкретнее, и мы остановились на нем. Сперва мы хотели было принять за начальный рубеж нашего сборника — 1850 г. Но потом нас смутило то обстоятельство, что, при таких границах, в сборник попадал целый ряд поэтов, родившихся около 1850 г., иногда бесспорно талантливых, но явно не отвечавших понятию «молодого поэта», как это последнее — хотя не очень ясно — уже обрисовывалось в нашем представлении. Анализируя теперь это понятие, я вижу, что под ним мы невольно разумели (поскольку дело шло не о крупных, уже выделившихся индивидуальностях, а о средней массе) поэтов «фофановцев», т. е. совпадавших более или менее в своем типе с наиболее крупным и наиболее характерным для того момента представителем юных течений — Фофановым. Теперь уже едва ли можно оспаривать, что весь этот заревой период новейшей русской поэзии — перед восхождением зенитного солнца символизма и акмеизма — должен быть назван именно «фофановским» (приблизительно с 1887 г. — года смерти Надсона, по 1895 г. — год появления первых характерных изданий символистов). Но в какой-то степени это было ясно уже и тогда: Фофанов заметно выделялся среди своих собратий как яркостью таланта, так и определенностью типа. А главное, он был окружен целым роем сателлитов — меньших светил, не столько сознательно ему подражавших, сколько естественно впадавших в его тона. Насколько Надсон, несмотря на весь свой успех, остался в своем типе одиночкой (если не считать уже совсем бездарных подражателей или лжепоэтов вроде Велички), настолько Фофанов с самого начала вырисовывался как центральное светило звездной системы — пусть и состоящей из астероидов. С этой точки зрения нам и казались мало подходящими для нашего сборника такие «промежуточные» между старым и новым авторы, как Андреевский, Ясинский, кн. Цертелев (все родились около 1850 г.) и даже сам Владимир Соловьев (родился в 1853 г.), восхищавший нас своим подлинным и столь оригинальным дарованием, но представлявший собою явно литературное unicum.

Однако, кроме фофановцев, в рядах бесспорных «молодых» было, как я уже упомянул, еще несколько своеобразных фигур, не подходивших под наиболее распространенный тип. Это были, кроме Надсона, прежде всего двое литературных близнецов, всегда вспоминавшихся вместе, — Минский

и Мережковский. Было совершенно очевидно, что они — тоже «молодая поэзия» и что без них наш сборник обойтись не может. Из них младший «брат», Мережковский, родившийся в 1865 г., при всех комбинациях попадал в пределы сборника. Но старший — Минский (род. в 1855 г.), далеко опередивший всю свою, лишь позднее определившуюся, группу, как бы заранее наметил своей датой искомую границу. Было ясно, что сборник нельзя начать позже 1855 г.

Эта последняя дата была хороша еще тем, что ее принятие давало очень удобный возрастный ценз — в круглой цифре *сорок лет* (ведь сборник должен был выйти в 1895 г.). Конечно, можно было оспаривать законность такого раздвижения рамок «молодости», и впоследствии наши критики широко использовали слабость этого пункта. «Сорокалетний министр, даже сорокалетний генерал — конечно, молодой министр, молодой генерал, но это потому, что министры и генералы — *fiunt*, а ведь поэты *nascuntur*», — писал Михайловский[1]. В те времена вообще сорокалетний возраст если не казался уже старостью, как в дни Тургенева (в романах Тургенева «старики» бывают нередко сорока лет), то все-таки представлялся каким-то ее преддверием (теперь это уже молодость или почти молодость). Но наше положение было безвыходным: нельзя же было выключать автора «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...»?[2]

В предисловии, которое я старался написать насколько возможно сжатым слогом (с удовольствием вспоминаю, что слог этот похвалил такой ригорист, как Страхов), я объяснял: «Цель настоящего сборника (первого в своем роде) — представить критике и публике материал для общего суждения о характере, достоинствах и недостатках молодой поэзии, столь мало популярной и, в сущности, столь мало известной. Составителям казалось, что пора бы — оставив в стороне дешевое издевательство и огульное осуждение — взглянуть серьезно и беспристрастно на новую полосу русской поэзии, в которой — как бы то ни было — заключается ее будущее... Чуждые всякой партийности и тенденциозности, издатели руководились в своем выборе единственно правилом Тургенева: “в деле поэзии важна только одна поэзия”»[3].

Кажется, довольно невинно? Но предисловие это дразнило рецензентов и критиков, как красный платок — быка. Непереносно было уже, что какая-то молодежь предъявляет какие-то права... В то время в литературе господствовала настоящая фамусовщина: старые школы и направления выродились и застыли в своеобразном академизме, а молодежь — в пол-

ную противоположность теперешнему моменту — не только не занимала положения лидера, но совершенно игнорировалась. «Не должно сметь свое суждение иметь»[4] было молчаливым внушением по ее адресу. Этот быт «грибоедовской Москвы»[5] уже начинали размывать первые струйки обоих обновляющих течений: марксистского — в общественной жизни и символического — в искусстве, но рухнул он все-таки не ранее 1905 г.

Итак, сделав нашим doyen d'âge[6] Н.М. Минского и кончая, в качестве Вениамина[7], Брюсовым (он, кажется, был младшим в сборнике), мы набрали сорок два имени «бессмертных». Вот они в алфавитном порядке (как и в сборнике):

Бальмонт, Брюсов, Будищев, Бунин, гр. Бутурлин, Величко, Гербановский, Гессен, Дрентельн, Жиркевич, Вл. Жуковский, Коринфский, Косунович, кн. Кугушев, Ладыженский, Лебедев, Ленцевич, Лохвицкая, Лукьянов, Льдов, Лялечкин, Мазуркевич, Медведев, Медведский, Мережковский, Минский, Надсон, Павлов, Панов, Порфиров, Ратгауз, К.Р., Сафонов, Соколов, Тулуб, Федоров, Фофанов, Фруг, Червинский, Шестаков, Шуф, Энгельгардт.

Себя я намеренно не включил в книгу, хотя печатал стихи уже пять лет, — для того, чтобы отклонить возможный упрек в саморекламе. Но и это смирение (как всякое другое) не помогло... К нашему удовольствию, на букву «А» поэты были лишь плохенькие, вроде обильно печатавшегося Л. Афанасьева (после непременный воскресный поэт «Нового времени» — бездарность круглая). Таким образом, не кривя особенно душою, можно было начать сборник прямо с Бальмонта, который выделялся уже и тогда блеском стиха, хотя скрывался еще под своим ранним «скандинавским» обликом. Кончался сборник тоже прилично — Н.А. Энгельгардтом (сын весьма известного в свое время сельского хозяина и пропагандиста земледельческого труда; впоследствии плодовитый романист, публицист и историк литературы). Последний автор дебютировал незадолго до того сборником стихов, не лишенных свежести и оригинальности[8] (скоро оставил стихи или, точнее, их печатание).

Выбирать образцы (так же как и самих поэтов) приходилось, разумеется, руководясь «субъективным методом». И как бы справедливо ни осуждать последний — я не вижу возможности избегнуть его в этом случае. Позднее, когда мы продолжали работу в Петербурге, со стороны заинтересованных элементов делались попытки (нами упорно отклоняемые)

«помочь» делу. Упрекали нас в самонадеянности и в рецензиях. Но как же было иначе составить такой сборник? Если бы собрать редакционный совет из самих молодых поэтов, то книга, вероятно, не вышла бы и до сих пор...

Из Бальмонта было взято всего пять стихотворений, из которых характерными можно признать только первое — «Фантазия» («Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья») и последнее — «Я мечтою ловил уходящие тени»[9]. От этих двух образцов уже припахивало «бальмонтизмом», и я помню недоумение, с которым они читались. Поэт А.М. Федоров, сам весьма банальный и, пропорционально этому, общепризнанный (он особенно нравился Михайловскому, который даже написал ему письмо с большими комплиментами), декламируя «Фантазию»:

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,
И тоска, и упоенье, — точно искрится звезда,—

переправлял с негодованием:

И тоска, и упоенье, — точно чистится сапог...

Критик «Недели», бесцветно-умеренный Платон Краснов возмущался другим стихом из той же пьесы:

То, что людям не приснится, никому и никогда...

«Что же это за образ, если он никому и никогда даже не приснится?»— вопрошал он с недоумением.

Впрочем, тот же критик еще больше жаловался на Фофанова по поводу его стихов:

Где-то торопливо скрипнула калитка,
Кто-то раздвигает влажную сирень...

Кажется, что́ может быть невиннее этих красивых строк. Но критик ворчал: «Точно этих поэтов привлекает все смутное, неясное, непонятное, неопределенное... Но все это понятия, чуждые истинной поэзии»[10].

Когда теперь откапываешь из пыли забвения такие разумные отзывы, начинаешь испытывать что-то вроде личной благодарности к символизму:

после него все старые формы отечественного глубокомыслия и остроумия как-то сразу были сданы в архив.

Рядом с Бальмонтом стоял, конечно, Брюсов — тогда еще не только не признанный, но бывший настоящей «притчей во языцех», главным образом из-за своего знаменитого одностишия:

О, закрой свои бледные ноги[11].

Нужна была некоторая решимость, чтобы «пустить» его в сборник, хотя бы и с одним образцом (не слишком удачно выбранным)[12]. «Но знаете, — писал мне Валерий Яковлевич одиннадцать лет спустя, — ***первым человеком*** (его курсив. — *П.П.*), который признал меня как поэта, были *Вы*, перепечатав в “М[олодой] поэзии” “Мечты о померкшем”. Это было буквально первое в моей жизни (“со стороны”, не “от своих”) одобрение моей поэзии. Очень помню» (письмо от 25 марта 1906 г.)[13].

Зато и досталось же нам от рецензентов за это «предупреждение времени»! — «Откуда, подумаешь, выудили составители психопатически-бездарного автора стихотворения “Мечты о померкшем, мечты о былом” с его повисшими во мраке ночном “на брачной веселой постели” иммортелями? Неужели его можно считать, отбросив в сторону всякие шутки, заправским поэтом?» — трагически спрашивал в рецензии небезызвестный тогда поэт или, точнее, стихотворец Аполлон Коринфский[14]. Так думали о Брюсове в 1895 г.

Интересно, что из сорока двух участников сборника только семеро остались в литературе как некоторые «имена». Из этих семи один, Надсон, тогда уже умер; трое — Минский, Мережковский и Фофанов — уже определились и были признаны; из всей же остальной массы-дебютантов и «подающих надежды», так же как «устроившихся» и много печатавшихся, только *трое* оказались с далеким будущим. Эти трое, стоявшие в сборнике почти рядом, — Бальмонт, Брюсов и Бунин. Трое — из тридцати восьми! Редко выпадает в литературной лотерее счастливый номер...

С натяжкой к этим счастливцам можно, впрочем, присоединить еще эфемерных «избранников», имевших в эпоху выхода сборника некоторое литературное положение. Это был, прежде всего, уже упоминавшийся мною, весьма уважаемый в «серьезных» кругах гражданский стихослагатель Василий Львович Величко — очень заметное тогда светило на петербургском литературном небосклоне. Величко, казалось, хранил отчетливее

и прочнее всех других бледневшую традицию утилитарной поэзии («П.Я.» — Якубович — тогда еще не появлялся)[15]: с ним дружил сам Владимир Соловьев (мастер на эти «дружбы по недоразумению»)[16]. Тем сильнее было впечатление, когда, несколько лет спустя, Величко неожиданно сменил направление: уехав в Тифлис (где он был редактором полуофициальной газеты «Кавказ») еще космополитом школы Стасюлевича, он стал там националистом школы Каткова. Позднее он еще более утвердился на новой дороге, заняв место редактора «Финляндской газеты» (умер в декабре 1903 г.)[17].

Почти что известности Велички достигал также другой, только что названный выше лжепоэт — Аполлон Аполлонович Коринфский. Этот культивировал иную разновидность прикладного стихотворчества — слащаво-сусальную «народность», на что был спрос в высокоофициальных кругах. Его «Бывальщины»[18] и прочие стихотворные олеографии так же характерны для эпохи, как премии тогдашних иллюстрированных журналов: «Венки», «Дорогой гость» и т. п., или как пресловутый «стиль Александра III» в зодчестве.

Что-то общее с Коринфским было и у менее тенденциозного, но и более бесцветного А.М. Федорова — банального, как его фамилия, которого именно поэтому, вероятно, печатали везде и охотно. Позднее он стал столь же обильно печатающимся беллетристических дел мастером (теперь эмигрант).

Известностью пользовался еще Льдов (псевдоним К.Н. Розенблюма), которого «признал» сам Плещеев, тогда большой авторитет. Но у Льдова было действительно что-то вроде таланта и есть певучесть стиха:

Бледнеют полночные тени...
Я в комнату тихо вошел, —
Букет из лиловой сирени
Поставил мне кто-то на стол...[19]

Главным недостатком Льдова был обычный недостаток молодых поэтов — растянутость. Так, цитируемое стихотворение надо бы сократить вдвое (пропустив 2-ю, 3-ю и 6-ю строфы). Но для «сырой» поэзии тех дней характерна вообще эта слабость формального начала.

В сборнике помещено целых восемь пьес Льдова. Из них некоторые («Как пламя дальнего кадила», «Я долго ждал в любви, как в песне, окончанья», «Первая любовь») не заслуживают забвения (особенно пер-

вое). Как Величко для «Вестника Европы», Льдов был «своим» поэтом для «Северного вестника» редакции Волынского и отчасти помощником последнего.

Довольно известен был и С. Фруг, имя которого постоянно поминалось в журналах в одной строке с именами Надсона, Минского и Мережковского — соседство теперь совершенно непонятное. В сборнике есть, впрочем, недурные, хотя более остроумные, нежели поэтические, его вещи: «Книга чисел, XI, 27—30» и «Адамово ребро». Имели еще некоторую известность А. Будищев, но больше как беллетрист, и олеографический Ратгауз. Последнему помогло то счастливое обстоятельство, что на его слова написал целых пять романсов Чайковский[20]. К тому же, едва написав их, великий композитор умер, так что романсы эти остались его лебединой песнью. Их любил исполнять (и прекрасно исполнял) тогдашний премьер петербургской оперы Н.Н. Фигнер, и это еще более увеличивало их популярность, а вместе с тем известность автора или, по крайней мере, его фамилии.

Заставляла временами много говорить о себе также Мирра Лохвицкая, и до сих пор находящая поклонников среди любителей поэзии — предпочтение, которое, признаюсь, было и остается для меня непонятным. В сборнике помещен лишь один ее образец («Если б счастье мое было вольным орлом»), достаточно банальный.

Наконец, особая известность и, можно сказать, почтительность окружала две таинственные буквы «К.Р.»: все знали, что под ними скрывался не простой смертный, а член императорской фамилии — великий князь Константин Константинович Романов. Это был один из сыновей Константина Николаевича, брата Александра II и видного деятеля по освобождению крестьян. Либеральная традиция, шедшая от отца, заставляла Константиновичей быть более интеллигентными, нежели другие члены фамилии. В частности, К.Р. считался фамильным «ésprit fort»[21] и даже не совсем «надежным»; в 1905 г. его многие звали: наш «Филипп Egalité» (кузен Людовика XVI, ставший на сторону революции). К.Р. был президентом Академии наук и главным начальником всех военно-учебных заведений, а свои досуги посвящал литературе. Стихи его были неважные — на уровне второстепенного фофановца, но их очень хвалили в рецензиях и даже в целых статьях. Я помню, например, одну рецензию Амфитеатрова (1898 г. — т. е. еще до его «полевения»), в которой будущий автор

«Господ Обмановых» ставил К.Р. во главе всей нашей молодой поэзии[22]. И в публике естественно создавался престиж этих двух букв.

В действительности, помимо избранной семерки, в общей массе всех других по справедливости первое место должен был бы занять гр. Бутурлин (1859—1895 гг.) — даже не столько по величине таланта, сколько по оригинальности его склада, а главное по культурности. Это был уже совсем не фофановец, а вполне стоявший на западноевропейском уровне автор, что́ тогда, до символизма, было величайшей редкостью. Я даже не знаю, кого из «Молодой поэзии» в этом отношении можно сравнить с Бутурлиным. Уроженец Флоренции, он большую часть жизни провел за границей (служил дипломатом)[23], и западные литературы были ему так же близки, как русская. Он и писал преимущественно в такой не-русской форме, как сонет, и даже поставил себе задачею, говоря его же стихом, «создать на родине сонет». Но, несмотря на весь свой сонетный фанатизм, он ничего не добился — сонетная форма, свойственная пластическим романским языкам, осталась и после Бутурлина довольно чуждой тоническому русскому языку. К тому же и сам Бутурлин имел дарование музыкального, фетовского, а вовсе не пластического, майковского, склада — как убедительно доказывает его шедевр, превосходная «Мальтийская песня»:

Ночи у моря мятежного,
Шумные музыкой волн, —
Счастия вкрадчиво-нежного,
Мира, как море, безбрежного
Ласковый ропот их полн.

О, что за тайны прекрасные
Море поет, ваш поэт —
Ночи томительно-страстные,
Ночи без месяца ясные
Белым сияньем планет...[24]

Такое стихотворение в 1895 г. по своей фактуре было совершенно исключительным. Оно выдается в этом смысле и в сборнике. Нечего и говорить, что у публики и критики оно не имело успеха, и я тщетно старался в устном споре с Ангелом Богдановичем внушить ему прелесть этой, казалось бы так легко усвоимой, мелодии. Между тем Богданович, как поляк, был все-таки культурнее отечественных Скабичевских и Протопоповых и в теории считал даже «царями критики» (его выражение) Тэна и

Брандеса (что не мешало ему самому писать совсем не в их стиле, а под тех же Писарева и Михайловского).

Особняком стоят еще в сборнике друг Бутурлина, В. Дрентельн, и вышеупомянутый Н. Энгельгардт. У первого, писавшего сперва под псевдонимом «Юрьев», есть в стихах что-то гейневское:

Кто без любви спокойно
Прожить на свете мог,
Тот был счастливый смертный...
Но кто любил — тот бог.
И я был тоже богом,
И много я любил, —
И целый мир страданий,
Как Бог, я сотворил...[25]

Это положительно кажется переводом из Гейне. Но в других стихах Дрентельна (все пять его пьес, помещенные в сборнике, отмечены печатью поэзии) подкупает особенная простота и искренность: в них нет никакого запаха литературы.

Вывела курица малых утят;
На воду жадно утята глядят;
Бродят они в камышах у пруда, —
Больше и больше их тянет вода.
Рвутся утята в студеную воду,
Видно, почуяли близко свободу.
Страшно становится бедной наседке:
Не утонули бы глупые детки.
Право, и нас подменили когда-то, —
Разве мы с вами не те же утята?[26]

В другом месте (см. мою статью «Русская поэзия тридцать лет назад» в № 4 альманаха «Свиток», изд. «Никитинские субботники», М., 1926 г.) я рассказал уже, насколько знаю, фантастическую биографию Дрентельна, которая выделяет его среди его сотоварищей. Сын известного в свое время военного сановника (киевского генерал-губернатора[27]), он служил сперва в гвардии. Неудачная любовь заставила его бросить службу и родину и эмигрировать в Южную Америку, где он поступил в армию республики Чили. Там, в этой чужой стране, он выдвинулся настолько, что стал, наконец, главнокомандующим чилийской армией во время войны Чили с Боливией, окончившейся победой чилийцев[28]. Так нашел этот «утенок» для себя ту «воду», которой ему не хватало в домашнем курят-

нике — в тогдашней «миротворческой» и уже полупаралична России. Впоследствии Дрентельн вернулся на родину, но умер скоро по возвращении — таким же молодым, как Бутурлин.

Энгельгардт также выделяется своим своеобразием и свежестью:

В глубине ручья прозрачной
Ходят маленькие рыбки...
Бросишь камешек – сверкнут
И мгновенно пропадут.

Так в глазах твоих порою
Я любовь и грусть читаю.
Но спрошу тебя – и вот
Все мгновенно пропадет[29].

У него есть свое чувство природы. Взяв темою турнир насекомых — бой и победу кузнечика над муравьем, он сумел не слишком походить на Полонского[30] (которому, кстати сказать, нравились его стихи — одни из немногих в «Молодой поэзии»):

Целый день в саду зеленом
Молоточком бьет кузнечик:
Он кует вооруженье...
Своему меньшому сыну...

И после победы –

Он стоит среди арены,
Полный гордого восторга,
Озаренный лунным светом,
Он подобен изумруду...[31]

Энгельгардту же принадлежат строки (в стихотворении «В водах глубоких»), которые казались тогдашней критике верхом нелепости:

На лунном свете
Уселась жаба
И спину греет...[32]

Теперь, после блоковского болотного попика, с его молитвой «за лягушечью лапу и за римского папу»[33], нас уже не удивишь, но тогда этот прецедент очень расстраивал нервы. В ряде рецензий писалось о «декадентском перле», со вздохами: «бедный здравый смысл!». Хотя, казалось бы, чем такая ночная прогулка жабы противоречила здравому смыслу?

Из фофановцев самыми талантливыми были Сафонов, Червинский и Шестаков. Первый, правда, не писал еще тогда своего лучшего стихотворения «Это было давно — я не помню, когда это было»[34], которое очень нравилось Брюсову, приводившему его в подтверждение своего любимого тезиса, что в основе каждого удавшегося стихотворения лежит зерно реального переживания. «Вот он это пережил, — говорил он про Сафонова, — оттого это ему так и удалось». Но и в нашем выборе (из Сафонова взято семь пьес) есть красивые строки — как в описании римского карнавала:

Я помню: вечный Рим, разгульный и мятежный
Обычно праздновал веселый карнавал...
. . . .
А там, над городом, в котором сказка эта
Свершалась наяву, нарядна и шумна,
Такая в этот час сияла бездна света,
Такая строгая стояла тишина!..[35]

Ф.А. Червинский может служить примером настоящего дарования, оставшегося почему-то на степени эмбриона (может быть, просто не печатали? А таланты обыкновенно не обладают способностями «пролазов» и «ловкачей»). В его стихах есть настоящая музыкальность:

Помнишь сад Украйны дальней,
Вечер теплый и немой;
Взор тревожный и печальный,
Речи, полные тоской,
И прощальные мгновенья
В синем сумраке аллей...
Нет забвенья, нет забвенья
Жгучим ранам светлых дней![36]

Конечно, эпитеты здесь грешат несвежестью, но это родовой грех фофановцев. Впрочем, и этот упрек неприменим к красочным итальянским картинкам Червинского (у нас были помещены «В Вероне» и «В Помпее»; третий, и лучший очерк «В Венеции»[37] мы как-то просмотрели):

Мы идем гурьбою; с чичероне рядом
Англичанка с книжкой, с недовольным взглядом,
С желтыми кудрями, строгою осанкой,
С зонтиком и мопсом; а за англичанкой
Тучных два монаха с алыми губами,

С темными, как вишни, влажными глазами,
Развлекаясь чинно тихим разговором,
Созерцают форум благосклонным взором...
......................В золотом загаре
Улыбаясь морю, спит Кастелламаре...
(«В Помпее»)[38]

Разбирая в своем письме сборник, Брюсов упрекнул меня за отсутствие итальянских стихотворений Мережковского, добавляя в скобках: «Ведь они же лучше, чем у Червинского»[39]. Я, однако же, и посейчас предпочитаю провинциальную непосредственность Червинского обдуманным и перекультуренным итальянским пьесам Мережковского.

Шестакова, который слагался и рос как поэт на моих глазах, мне труднее судить, чем других. В те годы он казался мне иногда готовым преемником Фета. Но я думаю, что такое, например, стихотворение — достаточное свидетельство таланта:

Я сойду в мой сад пораньше, —
Не спугну ли легких фей,
В красоте кудрей их длинных
И заплаканных очей.

Над водой всю ночь сегодня
Собиралися оне,
Развиваясь и свиваясь
В хороводах при луне.

Мне бы только легкий трепет
Легких крыльев уловить
И загадочного смеха
Ускользающую нить...[40]

Конечно, это стихотворение не удивило бы где-нибудь в близком соседстве с «Шепот, робкое дыханье» или «Спи, — еще зарею»[41]. Через несколько лет (в 1900 г.) я издал сборник стихов Шестакова[42]. Но, как я уже говорил в упомянутой журнальной статье, «сборники — вещь роковая»: они или толкают талант к дальнейшему раскрытию, или, наоборот, обрывают его развитие. С фофановцами почти всегда случалось последнее: ведь и у главы их самое лучшее — самое раннее. После сборника Шестаков почти не писал стихов — до последних лет, когда на вечерней заре последовал новый расцвет его дарования[43].

В той же статье я дал кое-какие сведения об остальных участниках сборника и об их дальнейшей судьбе — насколько это мне известно. Привожу с дополнениями, что́ еще не было здесь сказано (следуя алфавиту):

Мих. Мих. Гербановский. В 1895 г. был еще студентом и «своим» поэтом в «Наблюдателе» (довольно бесцветный толстый журнал, полулиберального направления, издававшийся под редакцией «маститого» и столь же бесцветного литератора Пятковского). Впоследствии стал военным и в 1914 г., уже полковником, погиб на австрийском фронте. Литературу, по-видимому, оставил с молодых лет.

В.М. Гессен был впоследствии одним из известных в Петербурге юристов и членов кадетской партии; скончался не так давно. Интересно, что его стихотворение «Жизнь» — единственное в сборнике вызвало горячее одобрение Михайловского, причем из двух помещенных пьес Гессена критик выбрал все-таки более слабую — вероятно, потому, что с натяжкой ей можно придать «гражданское» истолкование[44].

А. Жиркевич (псевдоним «Нивин») — военный юрист по профессии; в последнее время жил в Ульяновске, сильно нуждаясь[45].

Владимир Г. Жуковский — дипломат, был консулом в Галаце на Дунае, потом в чешской Праге и где-то в Германии; в 1919 г. входил в состав правительства Колчака в качестве товарища министра иностранных дел; после победы советов судим и по приговору заключен в концентрационный лагерь[46].

Л. Косунович (который в одной рецензии был переименован в «Косукового» — тогдашнее «остроумие») был, кажется, юристом; скоро исчез из литературы. Умер в начале революции в Ленинграде, в нищете.

Ладыженского, как я упоминал, я встречал в те годы в Петербурге; он много печатался в видных журналах, вопреки (или благодаря) полной бесцветности.

Лебедев — свой поэт «Недели», впоследствии помощник Велички в «Кавказе» и в «Финляндской газете», своими деланно звучными стихами с экзотическими рифмами (например: «Запас воды до капли *выпит* — *Египет*»; «*вырос* — *папирус*») возбуждал некоторые надежды. Он вообще характерен своим обывательским экзотизмом — тоже в духе эпохи:

Но, беззаботна и румяна,
Гидальго бледному в ответ
Играла смуглая гитана
Гремучей парой кастаньет...[47]

Тут весь испанский реквизит, привычный для российского читателя. Впрочем, Лебедев умел иногда находить удачные и свежие эпитеты, и я помню, в какой восторг привело Мережковского его выражение *«седое* железо»[48]. Несколько дней повторял Дмитрий Сергеевич это сочетание слов, осыпая его своими обычными гиперболами...

Должен быть отмечен по своей трагической судьбе *А. Ленцевич* — псевдоним Алексея Николаевича Хавского (1869—1904 гг.); он кончил самоубийством в якутской ссылке.

Наш сборник едва успел выйти, как умер один из самых молодых его участников — *И.О. Лялечкин* (1870—1895 гг.). В то время, помимо Надсона, это была первая смерть в рядах молодой поэзии, а теперь!.. Лялечкин возбуждал особенные ожидания в Брюсове. Жалуясь в письмах ко мне на безнадежность всей юной поэзии, он делал исключение только для Бальмонта и еще для Лялечкина:

«Есть — впрочем, увы, был — Лялечкин. Вы, конечно, слышали о его смерти. Вот о ком можно пожалеть. Мне случалось получать от него стихотворения из подготовленной им к печати книжки. То были прелестные вещи. Надеюсь, друзья Лялечкина издадут посмертный сборник стихов» (письмо от 12 марта 1895 г.)[49].

В другой раз он писал:

«Читали ли вы посмертные стихотворения Лялечкина в “Петербургской жизни”?

И ваши символические глазки,
И ваших уст застенчивый коралл...

Или:

То было тело нервного ребенка
От кончика ботинки до волос.

Клянусь, что это очаровательно. О стихотворении “Прочь, бездушная действительность” я уже не говорю» (письмо от 25 марта 1895 г.)[50].

Эти небольшие отрывки действительно заинтересовывают. Но когда на одном из заседаний литературной секции московской ГАХН, весной 1926 г., на докладе Ильинского-Блюменау о раннем Брюсове, было прочитано несколько стихотворений Лялечкина из старых журналов — они разочаровали присутствующих и показались мало отделяющимися от обыч-

ного уровня того времени. Сборника Лялечкина не существует. У нас было помещено только два его стихотворения, из которых одно оказалось едва ли не на первом месте во внимании критики и публики, став каким-то символом «бесполезного» (и отметаемого) искусства — в его противоположности «полезному» (и приветствуемому). И Михайловский, и Скабичевский цитируют эту пьесу[51]. Теперь эта фарфоровая пастораль не лишена своеобразной прелести, как обломок милых, наивных времен:

Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...
Жду я в поле, у реки,
Нет и нет моей малютки!

Жду... О, Боже, как хорош
Этот кроткий вечер лета!
Золотится в поле рожь,
Соловей рыдает где-то...

Жду... И хочется рыдать
Самому мне нежной песней —
Той, чей взор цветка прелестней,
Не видать, не видать!..

Время мчится... Жду опять...
Солнце медлит в ожиданьи —
Солнце хочет на прощанье
Русый локон целовать.

Уж давно погас восток...
Я томлюсь, я изнываю,
И, сорвавши василек,
Лепестки перебираю.

«Любит?..» «Нет?..» — и лепестки
Шепчут «да!» — а нет малютки!..
Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...[52]

Конечно, странно, что соловей продолжает рыдать, когда в поле уже золотится рожь, т. е. в июле; что восток гаснет вечером, когда надо бы гаснуть западу; что у василька оказываются лепестки, удобные для гаданья, — словно у ромашки. Все эти lapsus'ы характерны для примитивизма тогдашнего поэтического искусства. Но критика ничего этого не за-

мечала. Она была еще примитивнее, нежели поэзия, и беспокоилась только «о содержании».

Продолжаю сведения о поэтах.

В. Мазуркевич (родился в 1871 г.) — впоследствии стал одним из обычных поэтов иллюстрированных журналов и газет.

Л. Медведев — родился в 1865 г., умер в 1904.

К. Медведский (родился в 1867 г.)[53] — тот самый, который впоследствии своим одновременным сотрудничеством под разными псевдонимами в «Московских ведомостях» и в либеральной прессе — причем он полемизировал сам с собой — вызвал вокруг себя громкий скандал и был как бы исключен из литературы.

Д. Павлов — сотрудник в органах правого лагеря; скоро умер.

Н. Панов — держался мнимо-народнического направления; издал сборник «Гусли звончáты» — образчик тогдашнего конфетного фольклора[54].

П.Ф. Порфиров (1870—1903 гг.) — одновременно с нами выпустил стихотворную хрестоматию с определенной целью (как разъясняло предисловие) — борьбы с новыми течениями в пользу старых вкусов[55].

Н.М. Соколов (1860—1908 гг.) — не лишенный дарования поэт старого, еще дофофановского типа; переводчик Канта; впоследствии был видным членом Союза русского народа; служил в цензуре.

В.А. Шуф (родился в 1865 г., умер около 1914 г.) — его поэма «Баклан», напечатанная в «Вестнике Европы» в начале 90-х годов[56], заслужила одобрение Фета и Владимира Соловьева; после много печатался в «Новом времени» (псевдоним «Борей»); умер перед войной.

«Я ужасно люблю все молодое: молодых поэтов, молодую редиску... в особенности последнюю. Со сливочным маслом она очень недурна.

С большим аппетитом я прочитал недавно вышедший сборник “Молодая поэзия”» и т. д.

Так начиналась рецензия на сборник, автором которой был только что упомянутый Шуф («Петербургский листок», 1895, 14 апреля), т. е. одна из молодых редисок. Так писали тогда «критику» юные силы, не жалея самих себя... Рецензия кончалась: «Хороша, нечего сказать, художественная галерея! Это целый музей раритетов, целый зверинец! В нем даже обезьян показывают»! Автор, впрочем, самоотверженно сознавался, что в зверинце показывают и его самого[57].

Если так писали о себе сами молодые поэты, то что же было стесняться «старшим»? Они и не стеснялись: «Я не намерен здесь говорить о русских современных "чепухистах", которые для пущей важности, чтобы показать: "мы-де, мол, тоже школа", — именуют себя или символистами, позоря таким образом термин очень почтенный... — или декадентами, употребляя по обезьянству термин, не имеющий ровно никакого смысла в настоящем случае». Без обезьян, как видим, и здесь не обошлось... Это — из «солидной» статьи маститого двойника Сатурна, П.И. Вейнберга («Новости» от 9 мая 1895 г.), который, впрочем, не прочел даже обложки сборника, упорно называя «Молодую поэзию» — «Новой поэзией»[58]. Наконец, в другой статье, также в «Новостях», именно этот автор обвинил меня даже в саморекламе за помещение, якобы, в сборнике не помещенных там моих стихотворений — очевидно, он не прочел и оглавления.

Скабичевский в большом фельетоне тех же «Новостей» (номер от 13 апреля 1895 г.) так охарактеризовал книгу: «Представьте вы себе, что вы пришли бы на выставку картин и не нашли бы там ни исторической живописи, ни жанра, ни портретов, ни изображений иностранных городов (?), ни батальной живописи, ни, наконец, так называемой мертвой природы, а одни только перелески, женские головки и ангелы. Такое именно впечатление оставляет по себе большинство стихотворений, помещенных в сборнике, за некоторыми, весьма незначительными, исключениями».

Итак, молодая поэзия тех дней была не что иное, как перелески и ангелы. Что это, собственно, значит — трудно уяснить, но такое определение по-своему не уступает предсказанию о смерти Чехова под забором.

Гораздо конкретнее были требования Ангела Богдановича: «Когда Леопарди в начале этого столетия пел свои "Стансы к Италии", он выражал чувства лучших итальянцев своего времени, проникнутых справедливым негодованием к австрийскому режиму»... И далее молодым поэтам ставилось в вину безразличное отношение к этому легко разгадываемому «австрийскому режиму». «Молодые поэты сборника только отразили в своих многочисленных произведениях свое безвременье» — и т. д. Исключение критик делал лишь для полугражданского Надсона: «Ему нет места в сборнике "молодых поэтов"; он целиком стоит в ряду "стариков", по форме простой и изящной, по взглядам и стремлениям». При этом Богданович сочувственно ссылался на «меткое определение» Надсоном поэзии, которая «должна выражать и будить в человеке свойственные его натуре чувства» (?)[59]. Этот афоризм Козьмы Пруткова не вызывал у него улыбки...

Кстати, о Надсоне. Его мы нарочно подобрали так, чтобы обернуть его к публике лирической — действительно художественной и обычно пренебрегаемой стороной. Это — Надсон, слегка похожий на Гейне, тихий, задумчивый, изящный юноша-Гамлет, на минуту забывший, что нужно «идти в бой с тяжелой мглой», о чем он привык твердить в своих гражданских стихах. В сборнике помещены такие вещи Надсона, как «Мне снилось вечернее небо», «Так вот оно, море», «На кладбище», «Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась» (едва ли не лучшее стихотворение, хотя только отрывок в восемь строк), «Страничка прошлого»[60]. Этот подбор очень одобрял Брюсов, давший при этом замечательное определение исторического положения Надсона (письмо ко мне от 12 марта 1895 г.):

«Некоторые у нас находят, что Вам не следовало бы включать Надсона в свою книгу. Я с ними не согласен. Эволюция новой поэзии есть не что иное, как постепенное освобождение субъективизма, причем романтика сменяет классицизм, чтобы после уступить символизму. С этой точки зрения Надсон является одним из важнейших моментов в нашей поэзии: он создал всю молодую лирику — вся Ваша книга (за исключением поэзии немногих отсталых) вытекает из Надсона. Благодаря своему *историческому* (курсив Брюсова. — *П.П.*) значению, он не мог быть забытым. Как поэт, взятый вне своего века, он, конечно, не велик; он даже не сделал того, что мог, так как его губили ложные взгляды на поэзию. Вот почему мне кажется, что посмертные стихотворения Надсона поэтичнее, чем то, что он сам напечатал, и вот почему я так радуюсь Вашему выбору стихотворений не из любимиц публики с банальным выражением лица, а из милых отверженниц, забытых судьями на скамье вдоль стены»[61].

Брюсов вообще приветствовал сборник. Благодаря за присылку ему экземпляра (мы разослали их всем авторам, адреса которых могли достать), он прибавлял: «Кроме этой благодарности позвольте высказать Вам и другую: за книгу, т. е. за издание. Я давно мечтал о таком сборнике, и, думаю, не я один. Пора, пора оглянуться, оценить Молодую Поэзию, хотя... хотя наводит она на грустные думы. Я мог пока только проглядеть Вашу книгу и все же — живее, чем когда-либо, почувствовал, как все это бледно и бесценно (бесценно с точки зрения искусства). Так хорошо подходило бы к ней в виде эпиграфа стихотворение “Перед зарею” —

Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы!..

...Кажется, Вы лучшего мнения о молодой поэзии? Нет!! ее может оживить только сноп ослепительно ярких лучей; тогда у нее найдутся и силы, и чувства; теперь же она — труп с открытыми глазами» (письмо от 18 февраля 1895 г.)[62].

В этом резком приговоре уже ясно сказался будущий реформатор и вождь близкого символизма. Выбор стихотворений Брюсов считал «удачным». Тем сильнее обрушивается он на всю «молодую поэзию» как явление. Он бьет как раз в больное место, обличая бескультурность юных авторов, отсутствие у них литературной тренировки: «Я не могу иначе вообразить себе наших юных поэтов, как слепцами, блуждающими среди рифм и размеров. Что будет, если кто-нибудь зайдет в комнату, где развешены струнные инструменты, поздно вечером? Он будет касаться струн, будут слышаться иногда красивые звуки, но музыки не будет. Пьесу сыграет тот, для кого засияет солнце» (письмо от 12 марта 1895 г.)[63].

Эти строки оказались пророческими: «доморощенная» поэзия фофановцев осталась на уровне «кустарного производства», несмотря на отдельные достижения. Солнце засияло для сменившего ее символизма, построившего на фундаменте своей художественной культуры прочное и цельное здание. Скоро Брюсов мог уже приветствовать первые лучи этого солнца: «Заметили ли Вы, — писал он мне через год, — что с недавних пор у нас начала образовываться *школа в поэзии* (его курсив. — *П.П.*). О, как этому можно радоваться! Подумайте — тогда невозможны станут Федоровы, Лебедевы, Тулубы. Тогда у самых плохих стихотворцев будет цель — они будут нужны как цемент, как пьедестал для учителя; они будут разъяснять его намеки, будут служить переводчиками между ним и его веком. Я готов радоваться всем сердцем. Вы не догадываетесь, о какой школе я говорю? О школе Бальмонта... образования такой школы давно можно было ожидать: Бальмонт — наиболее определенный из современных поэтов» (письмо от 19 июня 1896 г.)[64].

За школой Бальмонта последовала, как известно, школа самого Брюсова и школа Вячеслава Иванова, а за ними — школа Блока, заключительная для символизма. Мы издали наш сборник как раз вовремя: в 1895 г. русская поэзия была уже на рубеже фофановского периода — и мы, сами того не подозревая, подвели ему итоги. В том же 1895 г. сверкнули первые проблески созревшего под спудом символизма, еще никем почти не понятые в их истинном смысле: тогда появились первые сборники Сологуба и Александра Добролюбова, первые типичные стихотворения

З. Гиппиус, наконец, московские сборнички Валерия Брюсова «Русские символисты» и его «Шедевры»[65]. Эпоха «Молодой поэзии» закончилась.

Приведу издательские данные о сборнике. — Всего было отпечатано 810 экземпляров (в продажу поступило 720—730). Типография (Б.М. Вольфа) обошлась в 360 руб.; приблизительно столько же взяли магазинная комиссия и реклама; так что 700 экземпляров (по 1 руб.) должны были окупить все издание. Оно и окупилось, конечно, ибо постепенно разошлось без остатка (даже скорее, нежели все остальные мои издания). Всего лучше книга шла вначале: к осени 1895 г. разошлось уже больше трети издания (около 250 экземпляров). Теперь это, по-видимому, — большая библиографическая редкость: владея всего одним уцелевшим у меня экземпляром, я тщетно ищу другой.

Печаталась книга без предварительной цензуры и лишь по отпечатании была представлена в цензурный комитет на просмотр — тогдашняя привилегия для изданий размером более десяти печатных листов (причем тогда еще не был определен «законный» размер листа). По истечении цензурного срока (неделя) книга вышла в свет 15 февраля (ст. ст.) 1895 г. В ней 228 страниц in 4°. Изяществом она похвалиться не может, хотя мы употребляли все усилия с этой стороны. Но тогда не нарождались еще «Мир Искусства» и «Скорпион»[66], и в типографиях царили варварские вкусы 80-х годов.

Года через три-четыре я подумывал о втором издании, но план его рисовался мне в иных чертах. Тогда уже обнаружилось, что молодая поэзия не представляет собою того однородного целого, как это казалось еще в 1894—1895 гг. Группа символистов все резче отделялась от основного ядра. Но и в ней самой намечалось некоторое расслоение: Минский и Мережковский окончательно отделились от других, как «теоретические», идеологические авторы, которым противостояли сенсуалисты с Бальмонтом во главе. Многие фофановцы потеряли интерес, не дав дальнейшего развития. Надсон уже совсем отошел в прошлое... Поэтому мне рисовался сборник небольшого размера, разбитый на четыре отдела. В первый должны были войти уцелевшие фофановцы и вообще поэты «старомодного» типа; в него я помещал, кроме самого Фофанова, Бунина, Вл. Жуковского (сильно к тому времени развившегося и выпустившего сборник, где было много недурных вещей)[67], Порфирова, Сафонова, Соколова, Фруга, Червинского, Шестакова и Энгельгардта (последний с тем же соста-

вом стихов, что в первом издании). Второй отдел состоял всего из одного поэта — гр. Бутурлина, который в своем единственном числе должен был представительствовать «русский импрессионизм». Третий и четвертый отделы были предоставлены символистам, которые тогда не носили еще в общем признании этого имени, а представлялись более всего какими-то странными новаторами. В третьем отделе находились уже определившиеся тогда Сологуб, Гиппиус и Бальмонт; я колебался еще относительно Брюсова (тогда не выпускавшего и «Tertia Vigilia»[68]) и Коневского. В четвертый входили два «старика» — Минский и Мережковский, которые в своем рационализме казались мне как бы разъясняющими эволюцию молодой поэзии.

Как видит читатель, все это было довольно смутно; в этой смутности непроизвольно отразилась неопределенность в состоянии тогдашней русской поэзии. Поэтому я думаю, что о неосуществлении этого плана жалеть не приходится[69].

В том же 1895 г., осенью, я получил письмо от Д. Ратгауза:

Г. Киев. 24 октября 1895 г.

Многоуважаемый Г-н Перцов!

Помня хорошо Ваше любезное отношение ко мне, считаю себя вправе обратиться к Вам со следующим предложением: при теперешнем наводнении печати нашей всевозможными стихотворениями, при огульном осуждении суровыми критиками нашими всех современных поэтов, при очевидно возрастающем в обществе желании наслаждаться истинной поэзией было бы недурно выпустить специальный журнал молодых поэтов, куда входили бы только истинно-поэтические вещицы, и не принимать в него никого из этих quasi-поэтов, которым у нас теперь имя — легион. На эту мысль навел меня присланный мне из Ниццы журнальчик. Можно было бы сохранить даже подобный размер, объем и название. Прилагаю при сем один номер.

Как думаете Вы? могли бы вы взять на себя издательство и редакцию?

[Подпись и адрес][70].

Занятый в то время новым моим сборником «Философские течения русской поэзии», я не принял предложения Ратгауза. Но мысль его, конечно, заслуживала сочувствия, и можно только удивляться, что у нас никогда не было такого журнала (насколько мне известно)[71].

В эпоху «Молодой поэзии» я не встречался с Фофановым. Он жил уже тогда (как и позже) в Гатчине и сравнительно редко бывал в Петербурге. Несчастная слабость к вину и неуменье владеть собой при опьянении очень затрудняли для него общение с людьми. Впервые мне пришлось видеть Фофанова уже много спустя — во времена «Нового Пути», — должно быть, в первые месяцы 1903 г. Помню, как меня позвали из внутренних комнат редакции в крайнюю ко входу — приемную, предупредив, что пришел Фофанов. Разумеется, я шел с величайшим интересом. Вхожу — и недоумеваю: «да где же Фофанов?» В комнате стоит и разговаривает с секретарем журнала Е.А. Егоровым какой-то приказчик из лавки, даже не из столичного парадного магазина, а именно из лавки, где-нибудь в провинциальных «рядах», торгующей «красным товаром». Что-то неказистое, серое и слишком предупредительное... Неужели же это Фофанов — автор таких чудесных, нежных мелодий, которые уже давно я затвердил наизусть? «Звезды ясные, звезды прекрасные», «Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов — К нам летит весна из дальних, из полуденных краев»...[72] Но это был именно он — властитель таких образов и звуков, несомненно один из самых вдохновенных певцов русской поэзии, к кому особенно шли слова: «поэт Божией милостью»... Как нарочно, в редакцию в одно время с Фофановым зашел Блок — тогда еще совсем юный, в студенческом мундире, не вполне еще установившийся в своем внешнем облике и манерах. Но все-таки — какой контраст! Вот настоящий, прирожденный поэт — кого можно узнать с первого взгляда... Во всей его наружности — в стройной, статной фигуре, благородно-красивом лице, светлых вдохновенных глазах виден поэт. Что Блок — поэт, этому можно было поверить, этому трудно было не поверить. Но Фофанов?.. Только одно в нем хоть сколько-нибудь отвечало ожиданию, давало намек на «поэта» — это глаза: ясные, нежные, застенчивые, в которых было что-то детское и, вместе, «нездешнее». Эти глаза странно контрастировали с грубыми чертами какого-то запущенного лица. Лицо было, как и вся внешность, мелкого, некультурного «обывателя», которому только торговать батистом и стеклярусом в «галантерейном» магазинчике, но глаза... С этими глазами, пожалуй, можно было написать «Звезды ясные, звезды прекрасные», и «От луны небесной, точно от лампады»[73], и «Призрак» («Весь соткан из лунного света»)[74], и «Весенний дождь» («Я узнал весну по блеску голубому»)[75], — и все, что создала его ранневесенняя, апрельско-майская муза.

Его разговор, его манеры были ужасны. Не только в них не было никакой интеллигентности, но и никакого чувства своего значения. Разговор был мелко-неинтересный, совершенно обывательский; манеры робкие, какие-то торопливые, почти заискивающие. Чувствовались долгие годы одиночества и некультурной среды, навсегда наложившие свой след, да в сущности еще продолжающиеся... Чувствовалась нужда, вечный страх, вечная зависимость... Опять полная противоположность со спокойно свободным, уверенным в себе Блоком. Не хотелось даже говорить с этим псевдо-Фофановым и с некоторым усилием приходилось «занимать» гостя. После Егоров упрекнул меня за недостаток внимания к такому посетителю и чрезмерное увлечение Блоком (меня всегда дразнили слабостью к последнему). — «Но, Боже мой! Что же мне делать, — с отчаянием отвечал я, — когда один так понятен и близок, а другой так неуклюж и чужд?»

В «Новом Пути» был обычай печатать поэтов «пачками», помещая в одной книжке журнала только одного поэта, но зато сразу много образцов, образовывавших как бы маленький сборник внутри книжки и оставлявших цельное впечатление. Эта единственная разумная система печатания стихов в журналах, насколько мне известно, нигде не применялась, кроме «Нового Пути». Так же мы поступили и относительно Фофанова: ему была предоставлена одна из первых книжек журнала за 1903 г. — первый год его существования (апрельская) и помещено по выбору самого автора (я не помню, чтобы в нем были сделаны изменения) двенадцать его стихотворений[76]. В отличие от других авторов, стихи Фофанова были оплачены (в «Новом Пути» и редакция, и все сотрудники, за редкими «посторонними» исключениями, работали по случаю бедности журнала бесплатно — «невероятно, но факт»).

В следующем 1904 году в «Новом Пути», в апрельской же книжке, было напечатано еще одно стихотворение Фофанова — «В дороге»:

Мой голос слаб, мой факел темен,
Иду неверною ногой.
А ночь глуха, а мир огромен.
И смотрят звезды надо мной,
Где сеять мне? Какое семя?
Кого мне зернами питать?
Господь, пошли иное время,
Чтобы посеять и пожать!..[77]

Вскоре по напечатании этого стихотворения (в нем 16 строк) я получил от Фофанова следующее письмо:

1 мая 1904 г. Старая Русса

Многоуважаемый Петр Петрович!

У Вас в «Новом Пути» напечатано мое стихотворение (апрельская книга).

Будьте добры, вышлите за него гонорар немедленно. При моем безденежьи и десять рублей деньги.

С совершенным почтением и преданностью Вам

К. Фофанов

Старая Русса (Новг. губ.). Преображенская улица, д. № 14[78].

Письмо это не требует комментария. Прибавлю только, что в 1904 г., лет через двадцать после начала литературной деятельности и первых успехов, Фофанов был уже широко известен — без преувеличения, известен всей читающей России, был одним из первых поэтов (если не первым) того момента, — и все-таки десять рублей были для него деньги и, как видно, неотложно нужные деньги. Конечно, гонорар был ему немедленно выслан.

После я никогда больше не встречался с Фофановым. В моей памяти так и остался, в связи с его именем, образ глубоко несчастного, приниженного жизнью, надорванного человека — образ, так странно контрастирующий с впечатлением от его лучших вечно-юных, вечно-праздничных стихов.

ГЛАВА VI

БРОЖЕНИЕ В КРИТИКЕ

Критическое новаторство — «Философские течения русской поэзии» — Состав сборника — Участие Владимира Соловьева — Значение подбора стихов — Издательские данные — Цензурное разъяснение — Критики сборника: Буренин, Шперк — Моя рецензия; вопрос о Пушкине — Проект журнала — Сборник «Вечные спутники» — «Северный вестник» — Боевая роль Волынского — Знакомство с ним — Редакторские недостатки Волынского — Журфиксы у Л.Я. Гуревич — Поэма Минского — Мои попытки сотрудничества в «Северном вестнике»

После издания сборника «Молодая поэзия» у меня явился новый литературный план, отчасти также собирательного и резюмирующего характера. От поэзии естественно было перейти к критике, поскольку эта последняя соприкасалась с поэзией, и попробовать подвести некоторые итоги и ее новизне, поскольку эта новизна могла и успела обнаружиться в таком соприкосновении. А что новизна эта действительно существует и зовет к себе внимание — было для меня ясно. Я уже упоминал на предыдущих страницах об инициативе в этом смысле Мережковского. К его статьям естественно присоединялись критические этюды талантливого Сергея Аркадьевича Андреевского, адвоката по основной профессии, но литератора по влечению (тогда он был еще известен больше как поэт — хотя критическое его дарование было во всяком случае несомненнее сомнительного поэтического). Запоминались также редкие, но всегда яркие критические статьи Владимира Соловьева, открывшего всем нам Тютчева[1]. Останав-

ливали на себе внимание странные и еще невыяснившиеся литературные писания В.В. Розанова, книга которого о Достоевском («Легенда о великом инквизиторе») была одной из первых оценок, шедших дальше пресловутого «жестокого таланта»[2]. Чем-то новым казалось даже морально-тягучее резонерство «Белинского из Недели», Меньшикова. Наконец, то там, то тут в журналистике попадались эфемерные выступления случайных авторов, все-таки веявшие какою-то свежестью. Критика явно сдвигалась с натертых позиций 60—70-х годов, и последние реставрационные попытки «писаревщины» и «михайловщины», вроде вульгарно-хлесткой болтовни тогдашнего критика лавровско-гольцевской «Русской мысли» М.А. Протопопова или робких повторений за «старшими» молодого эпигона народничества Евгения Соловьева, уже выглядели чем-то устаревшим и ненужным.

Новый сборник — «Философские течения русской поэзии» — я построил по такому плану: выбрав двенадцать более или менее крупных русских поэтов, сделал подбор наиболее характерных для каждого из них стихотворений, присоединяя к нему написанные различными авторами статьи-характеристики этих поэтов со стороны их метафизических воззрений, сознательно или бессознательно выразившихся в творчестве. «Поэзия, — писал я в предисловии к сборнику, — в сфере образного мышления дает столь же серьезный и богатый материал философского характера, как "философия" (в техническом смысле этого слова) в сфере мышления логического, научного»[3]. Такова была руководящая идея сборника. Само собою разумеется, что статей, подходивших к такой цели, в наличном материале тогдашней нашей критической литературы было очень мало, и рамки сборника поневоле выходили более узкими, чем хотелось, — на что я и указывал в том же предисловии, говоря о вынужденном отсутствии в книге таких поэтов, как Жуковский, Некрасов, Мей и др. (вошли: Пушкин, Боратынский, Кольцов, Лермонтов, Огарев, Тютчев, гр. А. Толстой, Фет, Полонский, Майков, Апухтин, гр. Голенищев-Кутузов). «Своеобразное отношение прежней русской критики к вопросам поэзии и философии, — жаловался я, — оставило интересующую нас область почти неразработанной»[4]. Приходилось восполнять пробелы средствами своими и чужими — не только отыскивать статьи, но и заказывать их другим и себе.

С этой целью я уговорил Мережковского написать новую обширную характеристику Пушкина: как ни странно сказать, но для «солнца русской

поэзии»[5] не находилось чего-либо столь принципиально и объективно определяющего, как это требовалось в данном случае (теперь этого затруднения не было бы). Ни отрывочные, хотя и тонкие, замечания Страхова, ни слишком обильные и слишком капризные излияния Аполлона Григорьева с их безвкусным апофеозом «Повестей Белкина»[6], ни речь Достоевского, наконец, слишком субъективно-вдохновенная[7], не подходили для задачи сборника, не говоря уже о юношеской лирике Белинского и утилитарно-негативном отношении 60-х годов. Сперва Мережковский отнекивался: этот чудак считал себя тогда прежде всего поэтом — чуть ли в самом деле не преемником Надсона, а на критическое свое амплуа смотрел, как на случайное и вполне второстепенное. Напрасно я убеждал Дмитрия Сергеевича, что в действительности дело обстоит как раз наоборот: он даже обижался на меня за такое сомнение в его правах на «высшее» звание поэта. Но, начав, наконец, писать о Пушкине, он скоро увлекся темой, приложив к ней свой, только что открытый им, «безнадежный» дуализм христианства («галилейства», как тогда писалось из-за цензуры) и язычества. Получилась целая маленькая монография — одна из лучших в нашей критической литературе, приобретшая уже с тех пор достаточную известность.

Другую предложенную ему статью — о Полонском — Мережковский, как я уже говорил, так и не написал, хотя весьма высоко ценил поэзию Полонского, несправедливо предпочитая ее даже совершенно чуждому для него Фету. И тут мне пришлось воевать из-за Фета! «Ваш Фет — вроде Гейне, — вещал Дмитрий Сергеевич. — Это не подлинная красота, а только красивость». Когда поэт А.М. Федоров вздумал было однажды заступиться за Фета (в этих вещах он все-таки разбирался), то получил в ответ категорическое: «Ваш Фет — просто провинциальный галстук!» — Такая стрела не в бровь, а прямо в глаз (Федоров был типичным провинциалом по внешности, до галстуков включительно) заставила неудачного заступника поспешно ретироваться... В сборник вошла еще упоминавшаяся мною характеристика Майкова, написанная Мережковским уже давно[8], и отрывок из его книги «О причинах упадка» и т. д., касавшийся Кольцова, к которому я сделал небольшое дополнение[9]. У Андреевского я взял его этюд о Боратынском — в то время unicum в нашей литературе по своему новаторскому воззрению на Боратынского, как на крупного и своеобразного поэта-мыслителя, тогда как к нему было принято относиться, как к одному из рядовых представителей пушкинской плеяды, наравне с

Языковым, Дельвигом и т. д.[10] Справедливость требует прибавить, что новая точка зрения была подсказана и вся статья внушена Андреевскому тем же Мережковским, развивавшим в разговорах этот взгляд на Боратынского с гораздо большим блеском и силою. Другая статья Андреевского в сборнике — о Лермонтове — остается и посейчас одною из лучших характеристик в сравнительно небогатой лермонтовской литературе, несмотря на свою односторонность (охарактеризована одна лишь демоническая сторона Лермонтова)[11].

За статьей о Тютчеве я обратился к Владимиру Соловьеву, с которым еще не был знаком. Он находился тогда (в марте 1895 г.) в Петербурге и жил в «Английской» гостинице, на углу Б. Морской и Вознесенского проспекта, в двух небольших комнатках верхнего этажа. В его наружности, столь общеизвестной по портретам и столь декоративной, было вообще что-то иконописное и, так сказать, священническое (он сам рассказывает в своих письмах, что маленькие дети принимали его иногда за «боженьку»). «Дома», при домашнем костюме и в скудной обстановке отельного номера, этот оттенок еще подчеркивался, и философ уже совсем смотрел архиереем «на покое». В его манере обращения была какая-то странная смесь природной сухости с принужденной любезностью: чувствовался глубоко одинокий человек, который вынуждает себя к социальной общительности. Он, впрочем, тотчас же согласился на мою просьбу разрешить перепечатать статью о Тютчеве и даже с упорством отклонил предложение гонорара: «Эта статья была уже однажды оплачена при напечатании в журнале, и я могу уступить ее только бесплатно»[12]. Мне оставалось иносказательно отметить эту любезность в предисловии к сборнику[13].

Для Фета я взял характеристику молодого автора — Бориса Владимировича Никольского[14], ученого юриста по профессии, писавшего иногда на литературные темы. Писал он, может быть, несколько академично, но выбор для Фета — так же, впрочем, как и для всех других — был весьма ограничен. Я просил только автора расширить слишком краткую статью, что он и не замедлил исполнить, дав достаточно обширную и содержательную характеристику, лишенную, однако, как обычно профессорские статьи, интимного ощущения поэтической индивидуальности Фета. В статье много говорится о красоте, но она сама не выходит из категории истины. Курьезно, что при своем, типично юридическом, складе ума Никольский воображал, что он обладает крупным поэтическим дарованием. Он усердно писал стихи и, написав их на целый большой сборник,

изящно издал его, а затем представил в Академию наук на Пушкинскую премию[15]. Он был вполне уверен в ее получении и очень негодовал, когда остался без премии[16]. Но на этот раз нельзя было не согласиться с Академией. В те годы она была еще достаточно строга в своих присуждениях (как мы видели, отвергла даже Фофанова) и не увенчивала еще ни П.Я., ни Веры Рудич[17].

Целых пять поэтов — Огарев, Ал. Толстой, Полонский, Апухтин и Голенищев-Кутузов — остались в сборнике на мою долю; вовсе не по моему желанию, а потому, что нечего было о них найти подходящего в критической литературе. Кое-как я состряпал все требовавшиеся статьи, причем о Полонском пришлось писать уже при наборе книги. Впрочем, об Апухтине и Голенищеве-Кутузове у меня была еще раньше помещена общая для обоих статья «Сумерки поэзии» в «Книжках Недели» за 1895 г.[18] Статьи эти так «молоды», что их теперь совестно перечитывать. Исключение составляет только последняя по времени статья — о Полонском (писалась в феврале—марте 1896 г.) и отчасти статья об Ал. Толстом, где возражения Владимиру Соловьеву на характеристику тютчевского «хаоса» я позволю себе и сейчас рекомендовать вниманию интересующихся вопросом[19].

Для каждого поэта, как я уже упоминал, был составлен подбор типичных стихотворений — кроме Пушкина, где обширность статьи Мережковского с множеством цитат и общеизвестность поэта устраняли надобность в приложении образцов. У нас, к сожалению, не в ходу подобные резюмирующие подборы, а между тем их нельзя достаточно рекомендовать. Тут перед нами, в сущности, вопрос о возможности читать и усваивать наших поэтов. Имея такие подборы перед глазами, ясно видишь, насколько мал количественно подлинный вклад каждого отдельного поэта в общую сокровищницу поэзии. В конце концов истинная сущность поэтической личности выражается в каких-нибудь двух-трех десятках стихотворений (исключение составляют, кажется, в нашей литературе только два «царя» — Пушкин и Тютчев); все остальное — шлак, которого при добывании золотой руды остаются ведь тоже целые горы (побывайте хоть на уральских приисках).

В моем сборнике только из Тютчева и Фета взято (считая и образцы в статьях) — из первого сорок два, из второго тридцать одно стихотворение; из Полонского и Майкова уже только по двадцати одному; из Голенищева-Кутузова — семнадцать, а из остальных — от пятнадцати до девяти всего. И тем не менее «лики» поэтов выступают вполне отчетливо

и, может быть, даже отчетливее, чем в больших книгах, где они засыпаны «шлаком».

Сборник вышел в свет в марте 1896 г. Размер издания был несколько больше, чем у «Молодой поэзии», а именно обычный тогда книжный «завод» в 1200 экземпляров (в продажу поступило около 1130). В книге 394 страницы довольно крупного quarto, т. е. почти 25 листов тогдашнего «среднего» листа (тогда такой лист принимался обычно в 36 000 букв); цена была 2 руб. за экземпляр. Расходы достигали довольно высокой цифры: типография (М. Меркушева), благодаря сложности корректур, обошлась в 733 руб.; весь гонорар составил 457 руб., реклама стоила около 150 руб. Весь расход, таким образом, был около 1350 руб., и, следовательно, даже при полном расхождении сборника он только едва окупал себя. Расходился же он очень медленно, гораздо тише «Молодой поэзии», и разошелся весь, вероятно, не ближе начала нового столетия. Теперь он, конечно, уже давно такая же библиографическая редкость, как «Молодая поэзия».

По поводу как раз этого сборника произошло некое «достижение» в тогдашнем цензурном ведомстве. А именно: существовал закон, по которому можно было делать свободно перепечатку из любого сочинения, без разрешения автора и уплаты гонорара, при условии, что такая перепечатка не превышает размером одного печатного листа. *Какого*, однако, листа — в какое количество букв — законодатель забыл определить. В «Философских течениях» перепечатки (стихов), конечно, нигде не достигали размера листа (принимая средний лист), а перепечатки статей были оплачены. Тем не менее цензура обратила внимание, что неопределенность закона оставляет слишком большой простор составителям подобных сборников, и тогдашний, весьма ретивый, начальник печати (Главного управления по делам печати), ставленник Победоносцева, Михаил Петрович Соловьев, поднял вопрос о необходимости уточнения размера дозволенных перепечаток. Размер этот и был установлен (не помню уже в какое количество букв) — и впредь всем хрестоматиям было указано считаться с ним.

Критическая литература о «Философских течениях» была, как и следовало ожидать, гораздо беднее и бледнее, чем о «Молодой поэзии»: «разносить» безавторитетных молодых поэтов было, конечно, легче и безопаснее, нежели соваться в какие-то сложные и малопонятные «философские» разговоры, из которых, еще неизвестно, унесешь ли благополучно ноги. Поэтому «серьезные» критики предпочитали замалчивать

сборник. К сожалению, перед самым выходом книги, в январе 1896 г., умер единственный человек, от которого можно было ожидать о ней веского слова, — Н.Н. Страхов. Незадолго до его смерти я познакомился с ним и рассказывал ему план сборника, которым он очень заинтересовался. За отсутствием Патроклов выступил «презрительный Ферсит»[20] — Буренин посвятил в «Новом времени» книге целый фельетон, где в обычном своем балаганном тоне разбирал «философские течения» в поэзии Козьмы Пруткова. Конечно, «нынешняя философская критика» в его определении была «какой-то наглый идиотизм, завертывающийся в тогу серьезности, что-то приближающееся к полоумию» (номер от 23 августа 1896 г.)[21]. Удивительна была эта потребность, свойственная не одному Буренину и характерная вообще для тогдашнего момента: говоря о какой бы то ни было литературной новизне, изображать ее не просто плохой, а непременно бессмысленной, идиотической или же недобросовестной. Это был façon de parler[22], общий для «толстой» журнальной критики и легковесной газетной болтовни. Выше я давал уже образцы этого «жанра времени» в отзывах о «Молодой поэзии». Так же был встречен, как известно, на первых своих шагах и символизм; помню, как в одной московской газете ухитрились даже в заметке о зоологическом саде приплести и еще лишний раз обругать Валерия Брюсова, что вызвало его справедливое негодование.

В «Новом времени» была помещена еще довольно длинная рецензия некоего «Ф.Ш.», т. е. Федора Шперка (номер от 8 мая 1896 г.). Это тот самый Шперк, которого так высоко ценил Розанов и который упоминается в доброй половине розановских статей. Он умер еще совсем молодым человеком, двадцати семи лет (1870—1897 гг.), от чахотки[23], и после него осталось очень немного писаний, не собранных в книгу. Отзыв о «Философских течениях» интересен тем, что дает некоторое понятие о Шперке: в этом отзыве видны ум, большая самостоятельность суждения — и в то же время практическая осторожность, отсутствие увлечения и слабость художественного вкуса. Автор холодно распекает Мережковского за «отсутствие эстетического такта» и проходит мимо всего метафизически-богатого и художественно-ценного материала его статьи о Пушкине, предпочитая этой новаторски-боевой статье академически-спокойный этюд о Майкове. Наибольшую похвалу у него заслужил, конечно, «классически-выдержанный» этюд авторитетного Владимира Соловьева. Вообще, вопреки увлечению Розанова, можно думать, что в лице Шперка литературе готовил-

ся вдумчивый и осторожный, даже слишком осторожный критик, но едва ли пламенный пионер новизны и рыцарь гонимой эстетики.

Пожалуй, самым содержательным и, во всяком случае, удовлетворительно-беспристрастным отзывом о сборнике явился отзыв... его составителя. Под безобидным псевдонимом «Библиофил» я напечатал, уже в 1899 г., рецензию на «Течения» в «Мире Искусства» (1899 г., № 11—12, июнь). О статьях самого автора автор самоотверженно замечал, что они «несколько бледны, так сказать, акварельны в своих тонах. Местами они дают верную оценку (особенно частностей), но нередко расплывчаты и нетверды в своих положениях»[24]. Я пытался в этой заметке, так же как в напечатанной в том же журнале под тем же псевдонимом (№ 9—10 «Мира Искусства» за 1899 г., май) рецензии на сборник критических статей Мережковского «Вечные спутники» (изданный мною же в 1897 г.), обратить внимание на основной вопрос о Пушкине, заостренный статьей Мережковского: был ли Пушкин преимущественным певцом «галилейского», «смирного», по терминологии славянофилов, начала — как утверждала вся славянофильская критика, и вслед за нею в своем пламенном выступлении Достоевский, — или же ему не было чуждо и противоположное — языческое, «хищное», т. е. героическое начало. Вопрос, конечно, «прозвучал без ответа и скрылся в тиши одиноко» (говоря строкой одного моего юношеского стихотворения)[25], но, когда теперь ставишь его перед собою, — видишь наглядно, насколько значительную перемену принесло время в нашу общую психологию. Потому что теперь уже едва ли кто-нибудь решится защищать исключительность точки зрения славянофилов и отстаивать «смиренство» как главное содержание русского духовного мира в его отличии от западного. Напротив, мы все теперь как-то вдруг поняли именно героическую, активную сторону Пушкина, преобладающую и наиболее в нем ценную. Только робость перед авторитетами и консервативная нелюбовь к переоценкам мешает еще нам сознаться в глубокой ошибочности знаменитого и столь самоуверенного решения Достоевского — и перерешить его заново. Когда-нибудь, однако же, придется это сделать, и тогда, ища корней этого перерешения, придется, мне кажется, вернуться и к этим переломным дням русской критики, т. е. русского мышления, около 1900 г., когда впервые были поколеблены традиции, шедшие от 40-х годов, и стали приоткрываться иные перспективы...

Все эти годы, начиная еще с поры составления «Молодой поэзии», меня тревожил и манил призрак «своего», новаторского журнала. Тот же

призрак реял, само собою разумеется, перед духовным взором Мережковского и других «литературных изгнанников»[26], к числу которых принадлежали тогда все крупные и мелкие будущие светила едва возникавшего символизма. Еще в 1895 г. мы с Мережковским составили проект издания небольшого, ежемесячного, чисто литературного журнала, листов на десять в книжке — по образцу «Mercure de France» и тому подобных заграничных изданий[27]. Этот тип был тогда, да так и остался, чуждым русской журналистике: политические интересы и все возраставшая политическая борьба настолько захватывали общественное внимание, что его уже не оставалось в достаточной степени на долю литературно-художественных и философских тем, взятых an und für sich[28]. Журнал предполагавшегося нами типа был заранее обречен на сравнительно узкий круг читателей, а следовательно, и материальную необеспеченность. Это последнее обстоятельство разрушало все наши планы: своего Гарина нам не встречалось, или мы не умели его найти. Единственные издательские средства были мои, но их хватало по-настоящему только на издательство книг. Одно время — перед появлением «Мира Искусства» — казалось, однако, что дело налаживается: «У нас здесь опять проекты журнала, — писал я Брюсову в ноябре 1898 г. — Даже отчасти уже найдены средства. Вот отыщите нам еще пятнадцать тысяч — у вас Москва!»[29]. — Но Москва была всегда холодна к петербургским проектам и предприятиям, и нужен был предпринимательский гений Дягилева, чтобы раскачать москвичей (да и то таких «универсалистов», как Савва Мамонтов и княгиня Тенишева). Конечно, мы ничего не дождались, и дело опять заглохло. Оно перешло, наконец, из мечты в реальность только в 1902—1903 гг., в эпоху создания «Нового Пути», воплотившего более или менее наши надежды и оказавшегося все по тем же основаниям весьма недолговечным (издавался только два года: 1903—1904; даже, строго говоря, только полтора года, так как в последние полгода журнал находился уже в руках другой литературной группы)[30].

Пока что я продолжал свое, весьма «умеренное», издательство. Медленный сбыт «Философских течений» лишил меня возможности развертывать его так широко, как хотелось. Тем не менее в следующем 1897 г. я выпустил сборник критических статей Мережковского «Вечные спутники». Опять пришлось воевать с Дмитрием Сергеевичем как из-за самой идеи такого сборника (он оставался к ней холоден, продолжая твердить, что критика для него только средство заработка, — любопытный пример

самонепонимания писателя), так и из-за подбора статей. Впрочем, он предоставил мне редакторские права, и я широко использовал их: почти все статьи мною были переделаны и частью сокращены (особенно очерки о западноевропейских писателях)[31]. В качестве введения я взял отрывок из красивых путевых очерков Дмитрия Сергеевича, затерянных в каком-то эфемерном иллюстрированном журнале[32]. Отрывок этот, под заглавием «Акрополь», говорил о путешествии автора через Италию в Афины. И вот началась потеха для рецензентов — в доброй половине рецензий задавался деланно-недоумевающий вопрос: что это за писатель — г. Акрополь? Его имя ведь помещено в ряду мировых литературных знаменитостей!.. Это было тоже в жанре «остроумия» эпохи.

Любопытно еще тогдашнее отношение к Пушкину, проскальзывавшее в отзывах о книге по поводу заключительной ее статьи (перепечатка из «Философских течений»). Не только поддерживавший писаревские традиции молодой критик «Новостей» Скриба (псевдоним Евгения Соловьева) распространялся о «ничтожестве общественной жизни Пушкина», но и сам солиднейший В.Д. Спасович — первостепенное светило петербургского адвокатского мира — на страницах самого «Вестника Европы» характеризовал поэзию Пушкина как довольно легковесную и укорял автора «Спутников» за чрезмерное увлечение ею. Тут тоже «свежо предание...»![33]

Наконец, особый критический прием пустил в ход в своем отзыве несравненный Буренин: выписав одну фразу из «Акрополя», он пропустил в ней отрицание «не»; конечно, получилась бессмыслица — и критик разразился на нее бурным негодованием! И это допускалось в видной столичной газете — правда, в фельетоне Буренина...

В тогдашней журналистике, среди общей тусклости и вялого «хранения традиций», выделялся своей свежестью и смелыми попытками новизны ежемесячный петербургский «Северный вестник». Как я уже упомянул, журнал этот в конце 1892 г. ушел из-под руководства безлично-бесцветного Б.Б. Глинского — молодого литературного чиновника, сделавшего впоследствии под покровительством генералов Шубинского и Суворина недурную чиновничью карьеру в «Историческом вестнике»[34]. Издательницей «Северного вестника» тогда стала молодая переводчица и писательница (главным образом по вопросам иностранной литературы и эстетики) Любовь Яковлевна Гуревич — дочь популярного в Петербурге педагога Я.Г. Гуревича, директора им основанной гимназии; редакторское же место

занял, как я тоже уже говорил, молодой критик совсем не шаблонного типа — Аким Львович Волынский-Флексер («Волынский» был его псевдоним по месту происхождения)[35]. Волынскому в то время было только около 30 лет (род. в 1863 г.), но он был уже в полном расцвете своих способностей и своего темперамента настоящего журнального бойца. Такой человек провиденциально должен был появиться в русской журналистике. Кто-то должен был найтись, чтобы решиться, наконец, имея для этого все литературные данные, броситься в жестокую схватку с заматерелыми преданиями добролюбовского радикализма, от которых сам Добролюбов уже давно пришел бы в ужас. Волынский имел то большое преимущество перед другими противниками журнальной рутины, что он отнюдь не был в каком бы то ни было смысле «ретроградом». Напротив — в политическом отношении он стоял на той же «левой» платформе, что и вся прогрессивная часть интеллигенции. Более того: самый свой поход против одностороннего позитивизма 60—70-х годов он мотивировал необходимостью подвести под программу этой интеллигенции более прочный и надежный теоретический фундамент, основания которого усматривал в немецком идеализме (он был ретивым кантианцем, хотя и с оговорками). Самое крушение революционных попыток около 1881 г. и наступившую в русском обществе при Александре III смену настроений Волынский склонен был объяснять этой недостаточной углубленностью философских первооснов русского прогрессизма. Поэтому, прежде всего, он выступил в обновленном «Северном вестнике» с целой серией обстоятельных статей, посвященных русской публицистической критике, начиная с Белинского. Эти статьи, собранные в известную книгу «Русские критики»[36], представляют и до сих пор очень ценный и даже единственный в своем роде материал для изучения важнейшей стороны нашей былой журналистики. В этом отношении заслуга Волынского незабвенна, и, повторяю, кто-то должен был сделать то, что́ он сделал.

Легко себе представить, какое негодование и какую ярую ненависть возбудил против себя неожиданно появившийся смельчак. Его имя было покрыто такою тучею проклятий и отрицания, что понадобилось несколько десятилетий и полная дезинфекция литературного воздуха, чтобы с этого имени отстала (да и то не вполне) короста отвержения. Сам Волынский понимал, на что он идет, и героически нес последствия своей смелости. Но иногда и он не выдерживал и морально сгибался под тяжестью своей оброшенности. Помню, однажды мы шли с ним по Литейному, и он стал

горько жаловаться на свое литературное положение. Видно было, что у человека «накипело» и, наконец, просто не хватает сил... «Подождите, Аким Львович, — попытал я банальное, но единственно возможное в этом случае утешение, — оценят же вас когда-нибудь, признают ваше дело, хотя бы после смерти...» — «Нет, и после смерти не признают, — с какой-то горькой злобой произнес он, — так и затопчут в грязь!» Это было сказано с такой жуткой безнадежностью, что невольно осталось у меня в памяти... Но все-таки будем думать, что Волынский ошибся.

Возвращаюсь к начальным дням «Северного вестника». Его направление, после моего собственного отхода от народничества, было мне естественно симпатично, и еще в 1895 г. (кажется, осенью) я написал Волынскому сочувственное письмо, на которое получился следующий ответ:

Милостивый Государь,
Петр Петрович!

С истинным удовольствием я прочел Ваше письмо, в котором Вы выражаете сочувствие «Северному вестнику», и мне было бы особенно приятно, если бы Вы захотели посетить меня в одно из ближайших воскресений, днем, от 12 до 5. У нас непременно найдется материал для самого дружеского разговора.

С полным уважением

А. Волынский

[Без обозначения числа и дня][37]

Конечно, я посетил Волынского. Он жил тогда где-то на Владимирской[38], в довольно просторной, но совсем пустой, по-студенчески, комнате. По всей обстановке было заметно, что ее хозяина ничто не интересует, кроме «идей». Везде были навалены груды книг, лежали связки «Северного вестника» и были разбросаны рукописи и корректуры. Такова же, приблизительно, была обстановка и всех других комнат Волынского, в которых мне приходилось бывать в позднейшие годы. Всегда его жилище имело какой-то студенческий вид (недаром он сам любил звать себя студентом), и в нем не замечалось никакого домашнего уюта. Это были комнаты закоренелого холостяка, хотя Волынский вовсе не был чужд женского общества... Позднее, с развитием у него интереса к искусству (особенно после поездки с Мережковскими в Италию весной 1896 г.), в

комнатах появилось много фотографий на стенах и особенно в папках, но общий характер жилища не стал от того эстетичнее. По своей внешности и худому, бритому, в глубоких складках лицу Волынский очень походил на актера — хотя актера какого-нибудь провинциального театра и едва ли не без ангажемента. Речь его почти всегда была нервной, прерывистой, несколько приподнятой и не без рисовки. Разговорившись, он мог быть увлекательным — острый ум сверкал и заинтересовывал, но это было именно мозговое одушевление, никогда не распространявшееся на область сердца. Волынский был из тех людей, которые «светят, но не греют».

Отсюда понятно его отношение к искусству, хотя сложное и тонкое, но тоже очень «мозговое». Конечно, трудно поверить З.Н. Гиппиус, которая с обычной своей злой насмешливостью уверяла, будто во время их совместной поездки по Италии Волынский «не мог отличить картины от статуи». Но что-то в этом роде чувствуется ведь и в его писаниях об искусстве, и в том своеобразном обвинительном акте, который представляет собою его известная книга о Леонардо да Винчи[39].

«Самый дружеский разговор» если и был между нами в это свидание, то утратился из моей памяти. Конечно, Волынский был приветлив и видел во мне до известной степени своего единомышленника, но сойтись с ним близко было трудно — труднее даже, чем с Мережковским: у него не было наивно-эмфатических порывов последнего. Волынский был типичной «одиночкой», к которому и от которого не шло ни к кому путей. Это свойство немало мешало его общественной роли и в конце концов чрезвычайно ограничило последнюю: несмотря на все культурно-литераторские данные и огромную трудоспособность, а также чрезвычайно благоприятный журнально-общественный момент, Волынскому не удалось создать ничего прочного и широко влиятельного. Правда, что журнал очень нуждался в средствах и за свое краткое существование (он закрылся летом 1898 г.) несколько раз был на краю гибели. И здесь не нашлось своего Дягилева. Впрочем, найти охотников финансировать литературно-философский журнал было куда потруднее, нежели художественный, «с картинками», понятными каждому московскому меценату. Но, помимо этого острого вопроса, Волынский так и не сумел за все годы своего редакторства собрать и сплотить вокруг журнала кружок друзей и помощников: «Северный вестник» совсем не имел «соборных» качеств позднейшего «Нового Пути». Волынский довольствовался выполнением своей про-

виденциальной роли, но вне личной деятельности его, в сущности, ничто очень не захватывало.

Изредка я стал бывать у Волынского и у гостеприимной Л.Я. Гуревич, в квартире которой помещалась редакция и у которой собирались раз в неделю на своего рода журнальные журфиксы. Постоянными посетителями здесь были Н.М. Минский и К.Н. Льдов, а также З.А. Венгерова (сестра известного библиографа С.А. Венгерова), литературное амплуа которой было аналогично амплуа Л.Я. Гуревич. Изредка заглядывали «посторонние элементы», вроде Василия Ивановича Немировича-Данченко или романиста Лугового, чувствовавшие себя в этом «модернизме» не совсем в своей тарелке. Помню, наконец, оригинальную фигуру юного Александра Добролюбова, о котором скажу в своем месте.

На одном таком журфиксе, в декабре 1895 г., Минский прочел свою только что законченную поэму «Холодные слова» (появилась в январской книжке «Северного вестника» за 1896 г.). В этой поэме обычная для Минского проповедь человеческого бесстрастия была воплощена в довольно неудачном образе стремления к северному полюсу — в те годы это казалось «символизмом» или чем-то вроде символизма. Во всяком случае, прочтение поэмы взволновало сердца и возбудило уже совсем не «холодные» прения. Особенно яростно нападал на Минского Льдов — поэт, «по ошибке считающий себя философом», как я определял его Брюсову[40]. Гораздо удачнее были замечания последнего в письме ко мне от 25 февраля 1896 г.: «Я отказываюсь понимать, — писал Брюсов, — как можно писать такими невероятно плохими стихами. Многое я прощаю Минскому за оригинальность его мысли, — многое, но не *всё* же!»[41]. По поводу игры словом «холодный» он восклицал термином формальной логики: «quaternio terminorum!»[42] — и заключал: «мне кажется, Минский пал жертвой своего ложного понимания символизма». Брюсов был, конечно, вполне прав: в Москве вообще раньше стали разбираться в литературной новизне, хотя Петербург уже имел для нее некоторое официальное убежище в стенах редакции откровенно новаторского журнала. Москва дождалась такого убежища, лишь когда С.А. Поляков учредил своего «Скорпиона».

После появления «Философских течений», посланных мною Волынскому, я получил от него, бывшего тогда за границей, следующее письмо из Флоренции (в апреле 1896 г.)[43]:

Очень благодарен Вам, многоуважаемый Петр Петрович, за книжку "Философские течения в русской поэзии". Я прочту ее с интересом и со

временем дам о ней критический отзыв в “Северном вестнике”. Меня радует, что Вы хотите идти вразрез с устаревшим направлением, поддерживая людей с другим складом философских понятий. Ваши собственные статьи обнаруживают при этом с полною ясностью, что издательство для Вас не цель, а средство литературной пропаганды.

Нам как-то не удавалось побеседовать в Петербурге о многих интересных вопросах, — и этому виною моя рассеянность среди многочисленных занятий, лишавшая меня умственной бодрости, необходимой для серьезного разговора. Но путешествие мое близится к концу, и когда я приеду (в мае), мы с Вами постараемся найти твердую точку для приложения наших сил в борьбе за некоторые общие нам литературные стремления.

Жму Вашу руку. Преданный Вам *А. Флексер*

P.S. Застану ли Вас в Петербурге?

Лето 1896 г. я провел вне Петербурга, почему наша встреча состоялась лишь осенью или даже следующей зимой. Письмо, казалось бы, обеспечивало мне близкое сотрудничество в «Северном вестнике», в котором я нуждался, не имея, после ухода из «Русского богатства», прочного пристанища в журналистике. С другой стороны, и «Северному вестнику» как будто нужны были новые сотрудники, так как, кроме одного Волынского, там никто не писал на литературные темы, если не считать очень мало подходившего для этого Льдова. Волынский «не признавал» ни Андреевского, ни Мережковского как критиков (не говоря уже о каком-нибудь Б. Никольском и т. п.). Даже Владимир Соловьев не встречал его сочувствия. У Мережковского он брал стихи и напечатал «Отверженного» (первое название «Смерти богов», под которым роман появился в «Северном вестнике» в 1895 г.)[44], но не пропускал ни самой маленькой критической его статьи и крайне несочувственно отозвался о «Причинах упадка»[45]. Эта стрельба по своим была столь же нетактична, сколь несправедлива. Напрасно я жестоко спорил с Волынским, обращая его внимание на слишком очевидные достоинства Мережковского как критика. Его снедала литературная ревность, к которой присоединялись еще мотивы личного характера...[46]

Относительно себя я быстро убедился, что с Волынским невозможно работать. Мало того, что его дружеские симпатии и даже прямые приглашения сотрудничать как-то не реализировались ни во что конкретное, но даже те немногие попытки рецензий, которые были мною испробова-

ны, пришлось оставить, так как редакторский карандаш делал в них такие исправления, которые искажали смысл и даже почти изменяли его на противоположный. Поэтому «твердая точка» для приложения моих сил свелась на практике к четырем рецензиям (апрель—май 1897 г.), из которых только одна (о лекциях С. Волконского в Америке) была «на крупный шрифт»[47].

Когда теперь вспоминаешь те времена, невольно жалеешь, что обстоятельства предоставили Волынскому столь не подходившую ему по его личным свойствам роль редактора. Ему нужно было бы удовольствоваться положением первого критика журнала — быть Белинским «Северного вестника», а не его Некрасовым. Тогда все его положительные стороны сохранили бы свое значение и действие, а отрицательные не затормозили бы развитие журнала[48]. Впоследствии в «Мире Искусства» распределение ролей было гораздо правильнее, и Александр Бенуа не претендовал на кресло Дягилева, хотя по своим личным свойствам неизмеримо более Волынского подходил к роли редактора. Несчастное ложное самолюбие Волынского было главною причиною крушения «Северного вестника», а вместе и прекращения журнальной деятельности самого Волынского, который после долго не находил себе места в печати и уже никогда не играл заметной роли. Остались без возможности выражения, хотя бы в художественной форме, и новые течения, поскольку «Северный вестник» был их органом. В то время, когда старая критика имела для себя ряд толстых и тонких журналов, — новаторские попытки не находили себе выхода, и начавшееся брожение критической мысли окончательно стало подспудным.

ГЛАВА VII

ПЕРВЫЕ СИМВОЛИСТЫ

Борьба за новизну — Роль Брюсова — Споры о символизме — Неясность термина — Мой реферат — Прения — З.Н. Гиппиус и М.П. Соловьев — Кого считать символистом — Пионерство Минского — Перелом 1895 г. — Пробы Мережковского — Стихи Гиппиус — «Декадентская мадонна» — Сологуб 90-х годов — Малая популярность — Отношение Брюсова — Личные впечатления — «Мелкий бес» — Младшее поколение — Александр Добролюбов — Психологический тип и судьба — Увлечение Брюсова — Встречи с Добролюбовым — «Горные вершины» — В.В. Гиппиус — Обманутые ожидания — Ореус-Коневской — Личность и писания — Ненависть к З.Н. Гиппиус — Ранняя гибель — Мое стихотворение — Московский символизм — Кружок Брюсова — Ланг — Брюсов первых годов — Квартира на Цветном бульваре — Литературный энтузиазм — Слепые точки Брюсова — Отношение к театру — Стихия «театральности» — Сценка в кружке — Гегемония Бальмонта — Личный престиж — Романический элемент — «Привилегии» поэта — Самовлюбленность Бальмонта — Пародия Минского — Как Бальмонт писал стихи — Конец бальмонтовской гегемонии — Письмо Брюсова — Перелом 1905 г. — Раскол в символизме — «Кларисты» — P.S. Н.М. Минский и принцип дуализма

«В поэзии, в искусстве — на первом месте сама личность художника! Она и есть сущность — все остальное форма! и сюжет, и "идея" — все это только

форма! Всякое искусство есть лирика, всякое наслаждение искусством есть общение с душою художника... Вот истинное единение людей, недоступное им иначе; в нем истинная цель искусства! Гибнут старые формы — дидактика, драма, роман; новые неведомые тайны открываются искусству; заря новой поэзии зажигает небо! Ей — алтари!»

С таким частоколом восклицательных знаков (он тогда еще умел восклицать) писал мне письмо-манифест Валерий Брюсов в ответ на мои «Письма о поэзии» (письмо от 14 марта ст. ст. 1895 г.)[1]. Он — впоследствии такой академик и классик, о котором нынче даже спорят, причислять ли его к символистам, — тогда выступал как самый задорный вождь движения, одно имя которого уже символизировало собою скандал для всех, столь обильных тогда, литературных Фамусовых и Молчалиных. «Дело дошло до анонимных писем, присланных мне неведомыми, но озлобленными врагами, и до злобного шипения, которое поднялось в аудитории, когда я вздумал на лекции читать вслух Аристофана, — сообщал тот же мученик новизны. — Эти и другие подобные мелочи довели меня до полного расстройства» (от 22 сентября 1895 г.)[2]. «Никакими средствами не брезгают, чтобы только уничтожить символистов», — дополнял он, передавая сплетни и интриги, пущенные в ход в московской печати (от 13 декабря 1895 г.)[3]. Боевой темперамент и постоянные публичные выступления делали Брюсова главной мишенью в борьбе. Так длилось целый ряд лет, и еще в 1903 г. он, сообщая мне об одном своем чтении, добавлял: «Оппоненты мои, которых я не пощадил в ответном слове, затаили злобу и вымещают теперь мне на страницах "Новостей дня". Что ни день — там какая-нибудь гнусность обо мне. Я безо всякого преувеличения подумывал, не должно ли поучить некоего Любошица палкой или иным подобным средством. Но ведь скажут, что я восстаю на гласность»[4]. В Петербурге приходилось «подумывать» о таких же аргументах ad hominem[5] в отношении Буренина, доходившего до последних пределов литературного неприличия в травле Мережковского, Волынского, Гиппиус и других. Этот аргумент и был, наконец, применен к нему позднее более темпераментным Дягилевым — и с полным успехом[6]. Замечательный вопрос, обращенный где-то к Бальмонту — «кур вы что ли крали, г. Бальмонт?», — может считаться своего рода классическим для стиля всей этой полемики.

Что же это была за новизна, возбудившая против себя такую бурю сопротивления, как никакое другое течение в русской литературе — ни

раньше, ни позже? На этот вопрос уже в 1895—1896 гг. можно было легко дать формальный ответ: новая школа уже с первых своих дней получила наименование «символизма» — по образцу своего французского прототипа, и это имя привилось сразу и прочно, хотя первые годы еще дублировалось кличкой «декадентства», под которой разумелось что-то не совсем ясное, но во всяком случае «упадочное» и предосудительное. Однако что такое был сам этот «символизм» и какой смысл нужно было влагать в такой термин — на это не могли бы уверенно ответить самые видные представители новизны, и об этом шли бесконечные споры даже между ними. Казалось, что у каждого пророка новой истины был для нее свой символ веры. Моя обильная переписка с Брюсовым тех годов наполовину посвящена выяснению этого вопроса, который занимал все мысли Брюсова. Я уже цитировал тезисы, которые он торжественно провозглашал. «Всякое искусство есть лирика», а символизм по преимуществу. «В символизме поэзия впервые постигла свою сущность, стала влиять на душу ей собственно принадлежащими средствами. Символизм есть самосознание поэзии, завершение всех исканий, лучезарный венец над историей, лучи которого устремляются в бесконечность» (письмо от 18 ноября 1895 г.)[7].

Это были снова юношеские восторги, но на мои «холодные слова»: «в чем же, однако, эта сущность поэзии и эти отличительные черты символизма?» — Брюсов отвечал далеко не так уверенно: «Прямо я не могу ответить. Во всяком случае не в символах. Я ищу разгадки прежде всего в форме, в гармонии образов или, вернее, в гармонии тех впечатлений, которые вызывают образы, в примирении тех идей, которые проясняются под их влиянием. Слова утрачивают свой обычный смысл, фигуры теряют свое конкретное значение, — остается средство овладевать элементами души, давать им сладострастно-сладкие сочетания, что́ мы и называем эстетическим наслаждением»[8]. Нельзя сказать, чтобы это было вполне ясно, но все-таки это ближе к сущности дела, нежели мнения и определения других авторитетов по вопросу.

В конце 1895 г. я составил небольшой реферат на тему «Что такое современный символизм?», в котором дал между прочим сводку таких определений. Теперь странно видеть всю спутанность и разброд тогдашней мысли вокруг этой темы. Одни, как Мережковский, подразумевали под символизмом двойственное миропонимание, выраженное, например, в известном стихе «Фауста»: «все преходящее есть только символ»[9]. Дру-

гие, как Минский, находили просто, что символизм имеет задачей «внушить читателю метафизические настроения». Для Бальмонта символической поэзией была такая, где, «помимо конкретного содержания, есть еще содержание скрытое», причем первое, в отличие от аллегории, имеет и свое самостоятельное значение. При всех этих определениях оставалась совершенно вне объяснения самая новизна символизма, тогда как Брюсов справедливо выдвигал на первый план именно эту сторону дела. «До Верлэна символизма не было», — прямо формулировал он[10].

Не лучше уясняли загадку и частые в то время разговоры на различных литературных заседаниях. «Символизм был в моде на прошлой неделе, — писал я Брюсову, — и Петербург мог слышать речи о нем pro и contra. П.И. Вейнберг "разносил" символистов (и собственно П. Верлэна — не правда ли, странный выбор мишени?) в неофилологическом обществе[11]. Ему вторили Александр Веселовский и Лесевич, рассказывавший анекдоты о знакомых ему сумасшедших. Мережковский возмутился духом и заявил, что он предпочитает быть больным, что поэты должны быть больны ex professio[12] и что "здоровье есть пошлость". Впечатление получилось потрясающее, и "писатели" уличной прессы заработали немало пятачков на соответственных остротах. Но кто-то где-то хватил через край и заставил самого почтенного "Камень Виногорова" (как, помните, звался он в половине прошлого столетия) писать письма в редакции и доказывать, что он говорил не такие большие глупости. Затем Бальмонт прочел лекцию о символизме, на которой мне не удалось побывать» (от 15 марта 1895 г.)[13]. Прочел и я (осенью 1896 г.) свой упомянутый выше реферат о символизме в Русском литературном обществе[14]. Это была очень популярная тогда на верхах столичного общества ассоциация, поставленная довольно свободно (впоследствии она была закрыта за либерализм). Собралось много народа — гораздо больше, чем обыкновенно, — очевидно, из-за темы. В рядах присутствовавших серебрилась голова Майкова. С некоторым опозданием прибыл и сам М.П. Соловьев (см. гл. VI). Реферат вызвал какое-то недоумение: многие из присутствующих никак не могли освоиться с самым фактом существования некоего непонятного «символизма» — явления, граничившего и для них с чем-то вроде кражи кур. Кто был знаком с европейскими проявлениями течения, допускал их еще для просвещенного и передового Запада; нам же, конечно, сама судьба предписывала оставаться «отсталыми». Это была обычная тогда точка зрения: «чтó нужно Лондону — то рано для Москвы» и «с суконным рылом в калач-

ный ряд не суйся». Патриоты западных литератур, вроде Вейнберга, пришли бы в искренний ужас, если бы кому-нибудь пришло в голову сравнивать в их присутствии хотя бы Достоевского с недосягаемым Виктором Гюго (не говорю уже — ставить первого выше).

Прения по окончании реферата только выявили это недоумевающее настроение. Напрасно единственный рыцарь символизма в зале, Мережковский, рьяно защищал свое знамя — к Дмитрию Сергеевичу уже давно установилось общее снисходительно-смешливое отношение, как к чудаку, хотя человеку способному и «джентльмену» (как его определял Волынский — после беспощадного «разноса» его как писателя). Нужно сказать правду, что и сам Мережковский немало способствовал созданию своей репутации полемической неуравновешенностью и внезапными парадоксальными выпадами, вроде вышеприведенного, долго еще волновавшего умы заявления, что здоровье есть пошлость.

После прений началось чаепитие, на котором соблаговолил присутствовать и М.П. Соловьев. Встречая его прежде не раз у Полонского и в других местах, я теперь не узнавал его. Назначение на «почти министерский» пост совершенно его преобразило: он и ростом стал как будто выше, и несравненно осанистее. В выражении лица появилось что-то особенное — как у Гоголя: «ну, сообразно с чином, с званием, — понимаете»[15]. Вокруг него увивались, почтительно выслушивая отрывочные замечания...

За чаем зашел разговор об ибсеновской «Гедде Габлер» — тогда еще сравнительной новинке[16], в которой, как вообще в Ибсене, усматривали тоже симптомы символизма. Затронула эту тему, конечно, З.Н. Гиппиус, которая была весьма не прочь от сходства с демонической героиней. Она кокетливо защищала свой идеальный прототип; другие оспаривали, нападали... «Эта Гедда Габлер — просто мерзавка», — внезапно рявкнул со своего места побуревший от гнева Соловьев. Зинаида Николаевна осеклась, и всеобщее смущение оборвало беседу...

Если было трудно определить, что такое символизм, то не менее затруднительным, казалось, должен бы быть вопрос, кого же считать символистом. Однако символистические репутации устанавливались в тогдашней литературе сравнительно легко и не вызывали особенных споров. Все, например, были согласны, что Бальмонт — символист, и никто не причислял к символистам Фофанова, хотя у того было тоже немало «странных» стихотворений («Чудовище»[17] и другие). Еще удивительнее было, что к символистам обычно относился (и правильно) Н.М. Минский,

рассудочные стихи которого, казалось бы, были очень далеки от предполагавшейся иррациональности символизма. Но даже сам Брюсов не отрицал в принципе символистических прав Минского, хотя и оспаривал горячо собственную квалификацию Минским своих писаний. «Бедный символизм! Чего ему не приписывают; кажется, нет более неопределенного термина, — писал он мне. — Ведь вы сами, например, не поколеблетесь назвать "Забвение и Молчание" Минского символической поэмой, да и сам автор, кажется, думает так» (май 1895 г.)[18]. Автор, конечно, думал так: я уже приводил выше определение Минским символизма как поэзии с метафизическим содержанием. Поэтому и «Холодные слова» были для него тоже символической поэмой[19]. Однако, отметая философские поэмы Минского, Брюсов знал наизусть, как программное, стихотворение: «Как сон, пройдут дела и помыслы людей». Именно это стихотворение и давало Минскому более, нежели что-нибудь другое, его права на звание пионера русского символизма.

Лишь то, что мы теперь считаем смутным сном —
Тоска неясная о чем-то неземном,
Куда-то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет,
И жажда жгучая святынь, которых нет, —
Одно лишь это чуждо тленья...[20]

Эти лейтмотивы символизма впервые прозвучали так сознательно и отчетливо в русской поэзии в этом именно стихотворении, почему его по справедливости можно назвать первым манифестом русского символизма. При этом, как обычно, новизна явилась пока в «сухом» виде логической идеи, которой лишь постепенно предстояло облечься в плоть и кровь волевых и сенсуальных переживаний. На этой же ступени символизм оставался еще и в большей части стихотворных произведений «младшего брата» Минского, Мережковского. Поэтому понятно, что в этих своих дебютных проявлениях новое направление еще не смущало и не пугало ни публики, ни критики: Минский все еще слыл по старой памяти гражданским поэтом, каким он был в 70-х годах, а Мережковский представлялся стихотворцем с философской начинкой буддийского привкуса, вроде какого-нибудь князя Цертелева или князя Ухтомского. До самого 1895 г. критика не подозревала, какая змея обогревается в ее непосредственном соседстве. Только в этом роковом году сразу объявившаяся, уже вопло-

щенная в конкретных переживаниях новизна вдруг ужалила ее в пяту... Одни за другими явились в свет — в Петербурге первые стихи Гиппиус и первый сборник Сологуба, а главное, неправдоподобная «Natura Naturans» Александра Добролюбова; в Москве — совершенно под пару последней — «Chefs d'œuvre» Брюсова и сборники «Русских символистов», под его же редакцией[21]. И литературный пожар вспыхнул, как соломенная скирда...

Вообще тогда в воздухе точно разлилась какая-то зараза символизма. Даже Мережковский стал писать неожиданно-новаторские стихи. Брюсов, только что похоронивший его в письме ко мне как безнадежного классика («несмотря на все симпатии Мережковского к символизму, он остается классиком по духу» — письмо от 17 апреля 1895 г.)[22], пришел в настоящий экстаз от стихотворения Мережковского «Проклятая луна», украсившего страницы майского номера «Северного вестника» за 1895 г. «М[ережковский] блистательно опроверг меня, — заявил он уже в следующем письме, датированном: "Иды мая 1895 г.", — "Проклятая луна" истинно-символическое и великое символическое произведение»[23]. Итак, нашелся, наконец, надежный образец нового течения — своего рода нормальный аршин, по которому можно было равнять все остальное... Стихотворение это навряд ли теперь кто-нибудь помнит, а сам автор так мало ценил его, что даже выбросил из вышедшего в начале 1896 г. своего сборника «Новые стихотворения» («Куда закатилась Проклятая луна?» — с огорчением спрашивал Брюсов)[24]. Еще гораздо несомненнее было новое без нарочитости в стихах З.Н. Гиппиус. Помню, как однажды я зашел к Мережковскому (в начале 1895 г.), и Дмитрий Сергеевич с таинственным видом увел меня в свой кабинет, где подал листок с написанным на нем стихотворением, прося сказать мое мнение. На листке стояло: «Небеса унылы и низки» — одно из лучших стихотворений нашей символической школы. Я был совершенно поражен — и подлинностью поэзии, и новизной стиля. На вопрос об авторе Дмитрий Сергеевич отмалчивался. Хотя я не имел в то время никакого понятия о поэтическом таланте З.Н Гиппиус (она печаталась немного и как-то скрывала свои еще мало характерные стихи), — тем не менее не мог приписать стихотворение самому Мережковскому: оно было для него слишком поэтично. Он, наконец, с торжеством назвал автора. Как раз в то время я выпускал «Молодую поэзию» и, конечно, хотел включить туда столь значительное для этой поэзии стихотворение. Но не тут-то было: Зинаида Николаевна закаприз-

ничала и наотрез отказалась появиться в обществе таких старомодных певцов, как почти все остальные участники сборника, да еще в непосредственном соседстве с каким-то Гербановским и Гессеном. Она дала мне прочесть еще несколько «новых» своих пьес, но наложила запрещение и на них. Вот почему в «Молодой поэзии» нет стихов Гиппиус.

Беспощадна моя дорога:
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога, —
Любовь мою душу спасет...[25]

Если все стихотворение было раздражительно-непонятным, то подчеркнутая строка сразу сделала эффект скандала, когда «Небеса» появились в том же «Северном вестнике», — став наряду с пресловутым брюсовским «О, закрой свои бледные ноги!», — тем более, что тогда «Бог» писался, конечно, с большой буквы[26]. Помню, как на одном из собраний у Полонского строка эта целый вечер была предметом общего негодования. Петербургскую Гедду Габлер квалифицировали здесь наподобие М.П. Соловьева. Даже такой, очень неглупый и, главное, молодой человек, как Б. Никольский, приводил эту строку, как крайний пример человеческого безумия и своего рода решающий аргумент в вопросе о новой школе. «Люблю я себя, как Бога!» — о чем же тут еще говорить?!.. Теперь как-то странно вспомнить об этих пределах человеческого простодушия на культурных верхах общества.

Широкую популярность З.Н. Гиппиус как «декадентской мадонны» усугубляло еще личное от нее впечатление. Я уже говорил (в главе II) об ее эффектно-красивой и оригинальной наружности, так странно гармонировавшей с ее литературной позицией. Весь Петербург ее знал благодаря этой внешности и благодаря частым ее выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои столь преступные стихи с явной бравадой. В публике на нее косились или открыто негодовали, как Никольский. Молодежь иногда устраивала маленькие демонстрации. «Мне, к удивлению, тоже очень прилично хлопали, — писала мне Зинаида Николаевна после одного “некрасовского” вечера, — а в самом конце мило шикнули две отъявленных курсистки, — не мне, “а вашему направлению, г-жа Гиппиус!”»[27]. Буренин каждую пятницу тоже усердно подогревал интерес к чете Мережковских: в его фельетонах постоянно фигурировал декадентский поэт Неспособный, который, вместо банального пера, получает с

неба «писо» — нечто вроде швабры для писания символической чепухи, а супруга его, Птица Ивановна, все ищет любви, какой надо, а все находит, какой не надо, — намек на стихи Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете, — чего нет на свете»...[28]*

Если так много внимания сосредоточивалось вокруг З.Н. Гиппиус, то, наоборот, никакого внимания не притягивал еще к себе ее литературный близнец — Сологуб, несомненно составляющий с нею такую же «сиамскую» пару, как Минский — Мережковский или, далее, Бальмонт — Брюсов, Коневской и Ал. Добролюбов, Блок и Белый. Замечательно, что весь почти русский символизм распадается на эти «двойные звезды» — чего нет для других наших литературных школ (есть только для русской живописи). Сологуб, по годам один из старших символистов (родился в 1863 г.), начал писать — по крайней мере, в своем настоящем роде — сравнительно поздно и в описываемое время являлся еще дебютантом. Его впервые оценили в редакции «Северного вестника», где был напечатан и первый его роман «Тяжелые сны» (все в том же урожайном 1895 г.), и первые повести, вроде «Червяка» (1896 г.)[30]. Там же ему придумали (кажется, по инициативе Минского) не слишком удачный псевдоним «Сологуб», вместо неуклюжей фамилии Тетерников (не слишком удачный, потому что создает литературную путаницу, повторяя уже известную в литературе фамилию)[31]. Отношение к этому дебютанту было весьма сдержанное даже в символических кругах. Брюсов, восхищавшийся многим у

* В моих бумагах сохранился набросок одного, оставшегося необработанным, стихотворения З.Н. Гиппиус[29]. Несмотря на недовершенность и очень «женский» характер темы и исполнения, этот поэтический эмбрион не лишен интереса — тем более, что он реалистически точно рисует домашнюю обстановку Зинаиды Николаевны.

ТЕМА ДЛЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

У меня длинное, длинное черное платье,
я сижу низко лицом к камину.
В камине в одном углу черные дрова,
меж ними чуть бродит вялое пламя.
Позади, за окном, сумерки,
весенние, снежные, розово-синие.
С края неба подымается большая луна,
ее первый взор холодит мои волосы.
Звонит колокол, тонкий, бледный, редкий,
спор идет неслышно в моем сердце:
Спорит тишина — с сомнениями,
любовь — с равнодушием...

Гиппиус, почти отрицал Сологуба: «Стихи его слишком рассудочны; мало в них гениальной непоследовательности», — писал он мне (письмо от 20 марта 1896 г.)[32]. По поводу «Тяжелых снов» он даже заявил, что символизм у Сологуба «не естественный, а напускной, приделанный и заимствованный» (письмо от 25 августа 1895 г.)[33]. О «Червяке» он дал еще более суровый отзыв: «Там (в “Северном вестнике”. — *П.П.*) есть еще Червяк, рассказ замечательный — по топорности работы, угловатости форм и банальности сюжета» (письмо от 19 июня 1896 г.)[34]. Кто знает рассказ, оценит особенно этот последний упрек — в банальности сюжета... Такое отношение у Брюсова к Сологубу держалось еще долго, и не раз приходилось мне спорить с Валерием Яковлевичем на эту тему, доказывая, что Сологуб — настоящий и крупный поэт. Брюсову казалось непонятным мое увлечение — так же, как еще непонятнее было для него, в таких же спорах, мое восхищение Полонским. Этот последний был ему настолько чужд, что однажды он даже сказал мне: «Я могу объяснить себе ваше увлечение Полонским только вашими личными отношениями с ним». — «Помилуйте, — возразил я ему, — во-первых, я восхищался Полонским еще задолго до личного знакомства, а во-вторых, последнее вовсе не подкрепляло впечатлений от поэзии, а скорее наоборот». — «Нет, это наверное так; только бессознательно для вас самих», — упорствовал Валерий Яковлевич. Так далека была от него слишком непосредственная поэзия Полонского. Конечно, то же было и в случае с Сологубом.

Позднее я тщетно старался внушить Брюсову идею издания «Скорпионом» сборника стихов Сологуба. «Ведь это был бы презент всем “любителям поэзии”, и “Скорпион” этим заслужил бы себе их вечную благодарность»,—убеждал я его (письмо от 4 января 1901 г.)[35]. Валерий Яковлевич был холоден к моей мысли. «Что Вы ничего не пишете об отношении “Скорпиона” к изданию Сологуба? — спрашивал я его в следующем письме (от 15 января 1901 г.). — Ведь прямо общая наша потеря — отсутствие этой книжки. Жаль, что медленность моего издательского кровообращения лишает меня возможности самому ее выпустить»[36]. Бывая в Петербурге и встречаясь там с общим признанием Сологуба в передовых литературных кругах, Брюсов начинал поддаваться — как показывают его петербургские записи в «Дневнике» тех годов, — но в Москве он возвращался к своему скептицизму. Наконец упорствовать дольше сделалось невозможно, и в 1904 г. «Скорпион» издал-таки Сологуба, одновременно со сборниками Мережковского и Гиппиус[37]. Однако книжка еще мало

известного в публике автора расходилась гораздо хуже двух других (особенно Мережковского) — и Брюсов не забывал в разговорах подчеркивать это обстоятельство.

Приблизительно так же, как у Брюсова, распределялись литературные симпатии и у Бальмонта. Сологуба он, кажется, вовсе не замечал, тогда как по поводу Гиппиус я помню один интересный разговор с ним. Он чрезвычайно ценил ее стихи, придавая им определяющее значение для всей русской символической поэзии и уподобляя магистральному сонету в сонетном венке. «Она дает основные формулы тех настроений, которые разрабатываем все мы», — так, приблизительно, говорил он. Отзыв этот тем более замечателен, что вообще Бальмонт не был способен ценить поэзию кого-либо из своих сверстников (кроме разве Брюсова). Его мир был миром Бальмонта.

Как мало заметен был тогда Сологуб в литературе — так же, и даже еще незаметнее был он и лично в литературных сборищах. Тихий, молчаливый, невысокого роста, с бледным худым лицом и большой лысиной, казавшийся гораздо старше своих лет, он как-то пропадал в многолюдных собраниях. Помню, как однажды рассеянный Розанов хотел было сесть на стул, уже занятый Сологубом, так как ему показалось, что стул пуст. «Вдруг, — рассказывал он потом, — возле меня точно всплеснулась большая рыба», — это был запротестовавший Сологуб. Он был действительно похож на рыбу — как своим вечным молчанием, так желтовато-белесой внешностью и холодно-белыми рыбьими глазами. Он носил еще тогда скромную, «учительскую» (он был учителем городского училища) [38] бородку с короткими усами, тоже желтовато-белого цвета, и вообще совсем не походил на самого себя, каким он стал лет 10—12 спустя, когда, прославившись после «Мелкого беса», бросил учительство и, сбрив бороду и усы, стал походить, со своим обрюзгшим лицом и саркастической усмешкой, на римского сенатора времен упадка (ср. бюст работы Кустодиева в Третьяковской галерее или известный портрет работы Сомова — 1910 г.). Нуждаясь в средствах, Сологуб должен был отдавать много времени и сил неприятной ему службе — особенно неприятной потому, что она заставляла его вставать рано и ограничивать ночную работу, которую он очень любил. Он завидовал мне, имевшему возможность вести как раз такой образ жизни, о котором он мечтал. «Когда разбогатею, — говаривал он, — прежде всего буду жить ночью и спать днем». Всякий, кто знает поэзию Сологуба, поймет эту вражду с солнцем...

В те годы, окончив «Тяжелые сны», он писал в эти часы ночных бдений своего, столь нашумевшего впоследствии, «Мелкого беса» [39]. Трудно было ожидать в то время, что именно этот роман даст Сологубу известность, граничащую со славой, как и вообще было трудно думать, что Сологуб будет знаменитостью. Это естественно было предположить для Бальмонта; этого можно было ждать для Брюсова; этого, конечно, ждала и не дождалась для себя З.Н. Гиппиус. Но Сологуб? — бесшумный, безмолвный, незаметный до того, что на него можно было сесть?.. Признаюсь, не ожидал этого прославления для него и я, и оно до сих пор плохо вяжется с моими воспоминаниями о Сологубе тех лет. Всего менее я ждал такого результата от появления на свет «Мелкого беса», для которого я был, вероятно, первым после автора читателем, когда, несколько лет по его написании, Сологуб предложил этот роман журналу «Новый Путь», где я был редактором.

Помню толстую кипу разграфленных ученических тетрадок в традиционной синей обложке, в которых Сологуб, в своем качестве учителя, писал это, столь не педагогическое, произведение. В его крупном, нитеобразном, отчетливом почерке было что-то детское... Хотя художественные качества романа были очевидны, но «Новый Путь» не имел возможности поместить его, ввиду тех особых общественных и цензурных условий, в которых находился этот журнал (подчиненный, кроме общей, еще духовной цензуре). Уже один эротический элемент романа, в его первоначальном виде гораздо более откровенный, нежели в теперешней редакции, устранял эту возможность — тем более, что дело происходило до 1905 г. и принесенного им разрешения скоромных блюд... Итак, мы возвратили роман автору (который в общем был «своим» человеком для «Нового Пути»), и синие тетрадки продолжали года еще два или три вылеживаться в письменном столе этого парадоксального просветителя юношества, пока всеразрешительный 1905 г. не вывел романа из-под спуда на страницы «идеалистических» «Вопросов жизни» [40].

Интересно, что при этом первом своем появлении в свет роман все-таки прошел совершенно незамеченным, и успех его, как ни странно, создало отдельное издание 1906 или 1907 г. Только тогда, в условиях начавшегося «успокоения», пришел час для глубоко квиетического по своей натуре, «буржуазно»-самозамкнутого одиночки Сологуба.

Кроме символистов старшего поколения, начинали уже обнаруживать себя и представители поколения младшего — на десятилетие моложе.

Правда, что они были еще все наперечет и большой публике совершенно неизвестны, занимая собою лишь литературные круги. Я говорю о петербургских символистах, ибо в Москве дело обстояло иначе: там с самого начала движение пошло от зеленой молодежи — от Валерия Брюсова, которому к переломному 1895 г. едва исполнилось совершеннолетие (род. 1 декабря 1873 г.), и от его, столь же юных, компаньонов по «Русским символистам»[41]. Но и среди петербургской молодежи была одна фигура, заставлявшая некоторое время говорить о себе широкие круги почти как о Брюсове и в том же смысле — как о крайней крайности движения. Это был Александр Добролюбов (родился в 1876 г.), которого, вследствие его слишком литературной фамилии, приходилось всегда называть в сопровождении имени — в отличие от «того», старого и старомодного. Первый сборник Александра Добролюбова «Natura Naturans — Natura Naturata» (1895 г.), можно сказать, ошеломил критику и публику, как свалившийся на голову кирпич. Все в нем пугало, начиная с непонятного заглавия (знать Спинозу было ведь необязательно ни для рецензентов, ни для публики). Разумеется, считали эти загадочные слова изобретением самого автора, которое еще неизвестно что значит — может быть, что-нибудь вроде «мене, текел, фарес»...[42] Напечатанные отдельно лейтмотивы к поэме всеми принимались за самостоятельное стихотворение, удивлявшее своей нелепостью. Впрочем, все эти недоразумения были более нежели простительны, если вспомнить, что представляла собою и подлинная «поэзия» этого начинающего гения:

День прошел в свободном славословьи.
Окна улице в снегах я вскрыл.
Много было доброго, восторга и здоровья,
И себя я искренно, хоть первый миг, любил.
Ах! о том больное беспокойство,
Все ли сделано руками и умом?
Не забыты ли вершин последних свойства?
Кто равняется осанкой иль лицом?

(Стихотворение «Отодвигание смерти» — 1-й выпуск «Северных цветов» 1901 г.)[43].

В четвертой строке Добролюбов, конечно, ошибся — характерную его черту составляло, напротив, то, что он любил всегда и во всякий миг только себя, и ничто другое «искренно» не могло его занять. По силе фанатической самовлюбленности и полнейшего самосредоточения на своей

только личности это был совершенно исключительный человек — и по этой черте Добролюбов, действительно, может быть назван (вместе с Коневским) самым характерным представителем символизма (который, конечно, является — как я определял его еще в своем реферате 1895 г. — школою крайнего индивидуализма в литературе). Этой своей чертой, в таком ее развитии, Добролюбов близко напоминает психологию наших сектантских «святых» и «сынов Божиих» — всех этих Иоанн-предтеч и Михаилов-архангелов из заволжских деревень, — и с такой точки зрения его странная судьба не является уже слишком неожиданной.

Судьба эта более или менее общеизвестна. Добролюбов начал с крайностей «упадочничества», не только теоретических, но и практических: «ему пришлось покинуть университет в связи с проповедью самоубийства, которую он вел среди молодежи» (примечание к «Дневникам» Валерия Брюсова, изд. Сабашникова. М., 1927, стр. 149). «Посещавшие его рассказывали об его обитой черным комнате с разными символическими предметами; передавали — может быть, и действительно с его слов, — что он служит черные мессы» («История “Северного вестника”» Л. Гуревич в издании «Русская литература XX в.», том I, стр. 254). «Выделывал (Добролюбов. — *П.П.*) всякие странности, пил опиум, вообще был архисимволистом», — записал о нем и Брюсов в своем дневнике под 19 июня 1894 г.[44], проливая в этой краткой записи неожиданный свет и на свое собственное тогдашнее представление о «символизме». Очень понятно, что Добролюбов сильно влиял на тех, кого подчиняет всякая самоуверенность, независимо от ее содержания, — т. е. прежде всего на женщин. Но не меньшее впечатление производил он тогда и на Брюсова...

Интересную в этом смысле и, вместе, весьма характерную для Добролюбова сцену передает нам брюсовский дневник (запись под 12 сентября 1898 г.): «Снова и неожиданно был Добролюбов. Мы втроем — я, Эда, Надя (супруга и сестра Брюсова) читали о Декарте; звонок, он пришел совсем иным, чем был прежде. Я пытался заговорить с ним, но он отвечал односложно. Часто наступало молчание. Вдруг, со словами “Я помолюсь за вас”, он вставал и падал ниц. Мы были в волнении. Эда совсем побледнела. Я спросил у него: “Кому вы молитесь?”. Он отвечал: “Всем чистым духам, земным и небесным, и вам ангелам”, — и он положил еще четыре земных поклона, нам троим и нашему браку. Эда дрожала и один миг почти упала в обморок. Последние мгновения вечера мы

были совсем вне себя. Со словами: "Если не поцелую ноги вашей, не будете со мною в раю", он поцеловал нам ноги...»[45].

Эта типично сектантская сцена кажется происходящей в каком-нибудь хлыстовском корабле, а не в «интеллигентной» московской квартире... Нисколько не удивительно, что, созрев, Добролюбов бросил эти квартиры, перенеся свою деятельность на более соответствующую почву. Он стал сперва странником, жил одно время в Соловках, но кончил, конечно, тем, что основал свою собственную секту. Записи долго восхищавшегося им Брюсова ясно показывают, насколько зыбкой и какой-то неподлинной являлась духовная жизнь Добролюбова. То он — демонист, намеревающийся «проповедовать диавола и свободу», то, тотчас же вслед за тем, церковник, уверовавший «во все обряды», то почти молоканин, то иконоборец, едва не попавший за истребление икон на каторгу. Разумеется, он считал себя также и антихристом и «приводил пророчества в подтверждение» (запись 1898 г.)[46]. В декабре 1902 г. он «пришел опять к уверенности своих первых лет, что Бога нет, а есть лишь личность, что религия не нужна»[47] и т. д. Мне в этом самом декабре Брюсов писал: «Добролюбов поразителен. Представьте себе, что он отрицает Бога и мораль, и стал вновь ницшеанцем. Но он не только не сумасшедший, но умен чрезвычайно»[48] (слухи о сумасшествии Добролюбова ходили в это время в Петербурге). Но уже осенью 1903 г. Добролюбов, по сообщению Брюсова (в дневнике), «вновь служит Богу». «Говорит он самоуверенно, хотя кротко. Говорит: братья, сестрицы, но поучает и все предупреждает: "может быть, мои слова и не будут вам вразумительны". А говорит разные плоскости. Повторяет учение духоборов»[49].

Для Брюсова наступила, наконец, пора разочарования в своем былом «идеале», как он когда-то звал Добролюбова. Теперь у него вырывается даже скептическое замечание: «Стоило ли уходить в Соловецкий монастырь и на Урал, чтобы через пять лет прийти к старому?». Выразительно рисует Добролюбова, никогда не забывавшего своей позы, такая запись: «Я спросил Добролюбова, чтó он думает о Христе. Он отвечал: "О ком ты говоришь? Если о сыне Мариам, то я о нем ничего не знаю"» (осень 1903 г.)[50].

Скоро Брюсов окончательно разгадал Добролюбова. Вот отрывок из его письма ко мне, написанного в феврале 1905 г.: «...Поселился у меня в доме христианин Александр Добролюбов. Живет в моем кабинете, обедает за моим столом, пишет на моей бумаге (письма: Мережковским,

Минскому, Мэтерлинку, Льву Толстому, о. Гапону, Святополку-Мирскому, О. Уайльду (*да!*), Верхарну, Витте — всё поучительные о том, что надо верить в Бога). Читает мои книги и *рукописи* (включая те, что в столе), твердит, как попугай, три слова: "брат — Бог — мир"...»[51] Уайльд в то время был уже покойником, чем и объясняется восклицание Брюсова возле его имени (курсив везде Брюсова. — *П.П.*). Так кончилось брюсовское обожание Добролюбова, о котором еще в 1898 г. он писал в дневнике: «Несомненно, он — талантливейший и оригинальнейший из нас, из числа новых поэтов»[52]. Литературная самооценка Добролюбова была, очевидно, иной и более правильной, потому что он, имевший одно время намерение вернуться в жизнь интеллигенции, предпочел, в конце концов, безвозвратно утонуть в деревенском просторе — столь вольготном для людей его типа на былой Руси. Верный инстинкт подсказал ему, что карьера сектантского сверхчеловека для него надежнее карьеры поэта, хотя бы и символической школы. Теперь уже много лет, как след Добролюбова потерян, и известий о нем не имеется[53].

Я встречал Добролюбова, как уже упоминал, в декадентский его период — в 1895—1897 гг. у Л.Я. Гуревич. Уже одно ожидание его появления и тем более самое появление вызывало волнение среди присутствующих — особенно в дамской половине. Добролюбов входил, садился и держал себя, вполне сознавая свое значение. Польская кровь (его дед по матери был поляк) сообщала ему, можно думать, эту способность «se faire valoire»[54], которой в большинстве случаев так лишены русские. Наружность его, действительно, останавливала внимание — особенно на редкость красивые большие черные глаза, резко выделявшиеся на бледном лице. Эти глаза заставляли вспомнить описание лермонтовских глаз, которое мы находим в воспоминаниях Панаева[55] и других: такие же они были глубокие, властные и магические. Обладатель таких глаз, конечно, должен был подчинять себе людей. Говорил Добролюбов мало и в те вечера удостоивал сколько-нибудь нормального разговора только меня, которого знал по «Философским течениям»; обычно он лишь отвечал отрывочно и небрежно — особенно дамам, — что, конечно, усиливало впечатление... Помню его рассказ (приблизительно в начале 1896 г.) о проекте небольшого литературного журнала (тогда везде возникали проекты, которым было суждено оставаться проектами). Журнал должен был называться «Горные вершины» (характерное название!) и стоять «вне направлений». Помещать предполагалось только образцы художественной

литературы — стихотворные и прозаические. Дело было близко к осуществлению: первый номер уже составлялся и ждал только цензурного разрешения («к марту»). Но все рухнуло из-за отказа участвовать В.В. Гиппиуса, близкого друга и, можно сказать, alter ego Добролюбова в ту пору[56].

Эта так некстати обрушившаяся «горная вершина» — Владимир Васильевич Гиппиус (родился в 1876 г.), дальний родственник Зинаиды Николаевны, представлял собою такого же литературного недоростка, как Александр Добролюбов. Столь же самоуверенный и претенциозный, он столь же мало владел реальными литературными возможностями. Правда, стихи его (образцы их можно найти в «Северных цветах»)[57] не представляют такого нескладного набора слов, как вирши Добролюбова, — в них попадаются даже красивые места, но в общем они холодно-рассудочны и являются лишь отражением чтения философов и поэтов. Впрочем, Гиппиус считался и, кажется, считал себя сам не столько поэтом, сколько критиком. Он, положим, еще ничего не написал тогда в этом жанре, но предполагалось, что напишет. Впрочем, у него анонсировалась книга критических очерков под оригинальным заглавием «Всё одни замечания», которая, конечно, не вышла в свет. Самоуверенность Гиппиуса тоже импонировала другим, и сам Александр Добролюбов в ранние годы сильно поддавался его влиянию. По утверждению Брюсова, Добролюбов и символистом стал под этим влиянием. Брюсов также был в восхищении от Гиппиуса и возлагал на него огромные надежды: «Вл. Гиппиус — о, это человек победы! Он горд и смел и самоуверен. Через год он будет читаться, через пять лет он будет знаменитостью. Исполать ему» (запись в Дневнике 1896 г.)[58]. Даже Дмитрий Владимирович Философов одно время серьезно уверовал в критический гений Гиппиуса и собирался опубликовывать в «Мире Искусства» его писания, но это не осуществилось за их отсутствием. О возможном же их качестве можно судить по тем редким опытам, которые Гиппиус печатал в позднейшие годы. Так, уже в 1915 г. он выпустил небольшую брошюру «Пушкин и христианство», где в очень догматической форме утверждалось, что жизнь Пушкина была «кипением христианского бытия», которое выражается якобы в борьбе соблазнов со страстями (автор как-то различал их) и в преодолении последних при помощи первых[59]. Для недоумевающего читателя пояснялось, что речь идет не об «историческом» (т. е. существующем) христианстве, а о каком-то ином — вероятно, исправленном и дополненном «по Владимиру Гиппиусу». Очевидно, тут только один шаг до новой «добролюбовщины»,

и уйди Гиппиус, подобно товарищу его юности, от культурных «верхов» в первобытные «низы» — и он совершил бы, вероятно, такой шаг.

Этот тип самозамкнутых и самовлюбленных одиночек — deductio ad absurdum[60] крайнего индивидуализма — характеризует собою символизм. Таков же был безвременно погибший Иван Иванович Ореус (1877–1901 гг.), писавший под псевдонимом «Коневской» (от Коневского монастыря на Ладожском озере; у него были вообще какие-то тяготения к монастырской жизни). Гораздо более искренний и свободный от тщеславия, он еще более Добролюбова был замкнут в мире одиноких переживаний — напоминая своим духовным обликом фигуру Кириллова в «Бесах» Достоевского. Коневской был в равной степени застенчив и безмерно самоуверен. «Болезненный юноша, с нервными подергиваниями» — записал о нем Брюсов[61]. Но при этой несомненной болезненности — вернее, болезненной нервности, — яркий румянец щек говорил о молодом здоровье. Застенчив Коневской был до того, что, придя ко мне в «Пале-Рояль» переговорить об издании его сборника, он от смущения не мог ничего сказать, не закрывая лица руками, как красная девица, — и, наконец, повернулся ко мне спиной, потому что только в такой позе мог еще поддерживать связную речь. В то же время он был абсолютно уверен в каждой своей строке, в каждом своем слове и не допускал никакого разговора о возможных переменах в написанном им. «Неприятнейшая его черта — излишняя докторальность, учительность речи, — жалуется даже Брюсов. — Он уверенно говорит и решительно даже о том, чтó, видимо, знает поверхностно»[62]. Едва ли это было только «от юности», как предполагает Брюсов. Тут та же «глубина символизма», что и у Александра Добролюбова. Коневской вообще чуждался людей, жил одиночкой и, в своей самоупоенности, видимо, боялся всякого соприкосновения с внешним миром, который мог разбить или хотя бы надломить стекло его реторты, где он укрывался, подобно гётевскому Гомункулу[63]. Трудно сказать, насколько он был талантлив. В его поэзии, несомненно своеобразной и самостоятельной, нередко сквозят мотивы, которые после так блестяще разработал Блок (русской природы, русской истории), но над этими сухими, тяжелыми упражнениями не пронеслось дуновения животворящего Эроса...

Все-таки и в этом недовершенном виде стихи Коневского производили впечатление не только на Брюсова (который считал поэзию Ореуса

«одной из замечательнейших на рубеже двух столетий»)[64]. Даже Бальмонт, столь же самовлюбленный, хотя эротически окрыленный, Бальмонт увлекался Коневским и хотел даже издать его сборник! «Мы все были увлечены, читали, перечитывали, переписывали, выучили наизусть», — записывает Брюсов. «Я написал ему восторженное письмо, хотя знал заранее, что получу сдержанный ответ»[65]. Симпатии и антипатии самого Коневского распределялись как-то своеобразно и по мало понятным мотивам. Так, он вдруг возненавидел З.Н. Гиппиус, и в такой степени, что доходил до странных и даже не совсем нормальных поступков: прокрадывался по вечерам (вероятно, отчаянно борясь со своей застенчивостью) на лестницу дома, где жили Мережковские, и подбрасывал к их двери бранные памфлеты на Зинаиду Николаевну. Детски-крупный и детски-несложившийся почерк выдавал автора с головой... Трудно решить, чем объяснялась такая идиосинкразия. Правда, Зинаида Николаевна тогда нападала на страницах «Мира Искусства» на «декадентов», под которыми она разумела всех молодых авторов символической школы, кроме себя. Это разделение на агнцев-символистов и козлищ-декадентов, неясное никому, кроме нее самой, составляло всегда слабую струнку Зинаиды Николаевны, столь утомительно звучавшую потом в писаниях «Антона Крайнего» (ее псевдоним в «Новом Пути» и позже). Но никто, кроме Коневского, не впечатлялся так этими нападками. Возможно и даже вероятно, что его просто бессознательно смущал женский образ Зинаиды Николаевны. Наконец все это вылилось в некую полемическую статью, о которой я сообщал Брюсову (письмо от 17 февраля 1901 г.): «Имел случай вчера прочесть статью Ореуса о З. Гиппиус. Он сам прислал ее З.Н. с "добавлением" неистово-яростных "поносных слов" (его термин, может быть, чрезмерно физиологического характера). Но статья *замечательна* (курсив письма. — *П.П.*). И Мережковские, и я равно ею пленены (при всем несогласии). Язык — косноязычен, мысль — безумна, но сила и меткость — исключительны»[66]. Этот отзыв характерен для нашего, «старших», отношения к тогдашней, как будто нашего лагеря, молодежи. Если теперь перечитать статью Ореуса (она напечатана в «Северных цветах» за 1901 г. под заглавием «Об отпевании новой русской поэзии»[67]) — трудно найти ее «замечательной», так же как трудно плениться ее языком, не столько своеобразно-косноязычным, сколько просто неуклюжим, и ее вовсе не вдохновенно-«безумными», хотя сложными и для возраста авто-

ра тонкими мыслями. Но нам хотелось «гения» — и за такового поочередно принимался каждый вновь выступавший дебютант; Ореус же своим своеобразием особенно подогревал надежды.

Внезапная гибель оборвала эту странную жизнь. Летом 1901 г. Коневской поехал на Рижское взморье. Возвращаясь оттуда, он заметил уже в вагоне, что забыл свой паспорт в гостинице, где жил (он был вообще очень рассеян). Сойдя с поезда, он стал дожидаться встречного, чтобы вернуться. Жаркий июльский день взманил его купаться в реке, протекавшей у станции. Эта река — Аа Лифляндская, как после оказалось, опасна для купанья. Ореус попал в омут и утонул; ему было только двадцать четыре года[68]. Все эти обстоятельства раскрылись лишь много спустя, когда его отец, старик генерал, у которого он был единственным сыном, сделал розыски. Первоначально Коневского похоронили просто на месте гибели, как неизвестного; позднее же его тело было перевезено в Петербург. О той его временной могиле посетивший ее Брюсов написал красивое стихотворение:

...в раздольи одиноком,
Где тихий прах твой сладко погребен, —
Как хорошо тебе в лесу далеком,
Где ветер и березы, вяз и клен![69]

Позже он еще раз посетил могилу и написал о ней еще другое стихотворение (в сборнике «Зеркало теней»)[70]. Эти паломничества и эти стихи, так же как интересная статья «Мудрое дитя» (сперва в «Мире Искусства» за 1901 г., перепечатана в сборнике «Далекие и близкие»), ясно говорят, какое сильное впечатление осталось для Брюсова от краткого сближения с юношей Коневским[71]. И действительно, в нем было что-то, что́ не позволяет его забыть, — как это сказалось и у меня в сравнительно недавно написанном стихотворении (1926 г.):

Ты пробыл с нами лишь мгновение —
Тот краткий, предрассветный миг,
А все мне снится, как видение,
Твой яркий юношеский лик.

И все стоишь загадкой странною
Ты в дальнем сумраке годов,
Повит завесою туманною
Едва напечатленных слов.

Но верю: все судьбой отъятое
Вернешь ты нам сполна — когда
Свою раскроет глубь заклятую
Тебя унесшая вода...[72]

В Москве символизм развивался в совершенно ином типе, чем в Петербурге. В различии этих типов сказалось всегдашнее различие самих городов, каким оно было еще недавно и каким сложилось за весь петербургский период русской истории. Петербург — город-индивидуалист — был решительно неспособен к проявлениям коллективизма; Москва же еще во времена Тургенева славилась своими кружками, на которые так жалуется Гамлет Щигровского уезда[73]. Эти особенности сохранились и для символического течения: в Петербурге оно воплощалось в изолированных от всего мира одиночках, в Москве же с самого начала сложилось в кружок. Все в том же роковом 1895 году вдруг оказалось, что в Москве имеется целая группа поэтов, которые считают себя символистами, пишут в новом жанре и претендуют быть самым передовым элементом русской литературы. Одна за другой вышли в это время в Москве три тоненькие брошюрки, под титулом «Русские символисты», заключавшие в себе образцы творений этой группы. Последняя из брошюр, помеченная «Лето 1895 года», начиналась уже с полемического предисловия «Зоилам и аристархам», сводившего счеты с критиками первых выпусков[74]; его автором (оно было не подписано) был, конечно, Валерий Брюсов. Он же, как после оказалось, скрывался под различными подписями брошюр. Когда я, еще не будучи знаком с Брюсовым лично, запросил его об авторе стихотворения «Мечты о померкшем, мечты о былом» из второй брошюры, подписанного там одною буквой «М», — он в ответном письме назвал себя[75]. Все тот же Брюсов обнаружился и за тремя звездочками третьего выпуска, прикрывавшими два стихотворения, из которых второе было едва ли не лучшим в сборнике[76]. Таким образом, число московских новаторов было не таким уже грозным, как могло показаться по обилию имен на обложках «Русских символистов». При личном знакомстве можно было быстро убедиться даже, что настоящей литературной величиной среди них и является один лишь Брюсов, который, благодаря своим метаморфозам, был каким-то Канитферштаном движения[77].

Возле этого солнца первое время светилась еще маленькая звездочка — А. Ланг, писавший под псевдонимами Миропольский и Березин. Помню

его длинную, семинарского склада фигуру, обычно находившуюся в кабинете Брюсова. После он издал несколько книжек, в том числе одну изящно-квадратного формата, заключавшую его Hauptsache[78]— поэму «Лествица»[79]. Литературно-эстетические качества этой поэмы уступали, к сожалению, типографско-эстетическим. После Ланг и совсем оставил литературу.

Мое знакомство с Брюсовым, начавшееся письменно с декабря 1894 г., перешло в личное с осени 1895 г. Довольно поверхностное в первые годы, несмотря на оживленную временами переписку, оно стало гораздо более близким в период редактирования мною «Нового Пути», когда Брюсов был одно время секретарем журнала (конец 1902 г. — когда журнал слагался)[80]. Но это относится уже к другой эпохе... В течение ряда лет я так часто и много видел молодого Брюсова, что он так и остался в моей памяти Брюсовым тех годов — высоким, стройным, почти юношей, с гибкими движениями пантеры, с которой сравнивал его после Андрей Белый[81], с кошачьими срезами черепа и кошачьими глазами, которые, казалось, должны были видеть в темноте, с густыми черными волосами, с коричневой бородкой и коричневыми усами вокруг ярко-красных губ. Я не помню и не хочу помнить позднейшего Брюсова с седыми волосами, седой бородой и желто-белыми усами, с окаменевшим лицом и степенными движениями преждевременного старика. Это был уже академически увенчанный Брюсов, а я помню и предпочитаю помнить «отверженного» Брюсова его боевых лет — Брюсова еще Цветного бульвара, где он провел в родительском доме всю свою молодость и где я зазнал его. Мне гораздо менее известен Брюсов изящного особняка на 1-й Мещанской[82], где он жил свои последние годы и где все в квартирной обстановке и в жизненном обиходе напоминало и должно было напоминать, что это квартира литературной знаменитости, русского Верхарна или Верлэна.

Совсем иное, гораздо более интимное впечатление осталось у меня от той изначальной, «обывательской» квартиры Брюсова на Цветном бульваре — в длинном белом каменном доме (тогда № 24), посередине бульвара. Он переменил в этом доме, за долгое время жизни там (от детских лет до 1910 г.), несколько квартир. Из них я особенно помню одну, в которой Валерий Яковлевич жил дольше других и в которую вела высокая крутая лестница с узкими длинными ступеньками, типичная лестница старых московских домов. И все в этом доме веяло старым бытом московской купеческой семьи, хотя сам наш поэт — символист и декадент — уже

отбился от этого быта. Его комнаты носили обычный общеинтеллигентский характер; впрочем, в них было мало мебели и они выглядели полупустыми. По стенам висели немногие картины и рисунки знакомых художников, особенно почти порнографического Феофилактова. С ними резко контрастировала хорошая фотография с одной из лучших и строгих Мадонн Джованни Беллини (с двумя деревцами по сторонам) — картины, которая очень нравилась Брюсову. Книг было не так много, как можно было бы ожидать, — не было того книжного потопа, которым был залит, например, кабинет Мережковского и который образовался после и в новой квартире самого Брюсова. В комнатах было прохладно, даже почти холодно — в этом, так же как в вегетарианском столе, которого постоянно придерживались хозяева, сказывался какой-то неожиданный наклон к умеренности, почти к аскетизму. За столом не полагалось также никакой «выпивки», столь частой в литературных кругах и неизбежной в народнических. Хотя хозяин курил, но тоже умеренно. Вообще в домашней обстановке Брюсова не было ничего «декадентского»: «живет, как все люди».

Разговор Брюсова в те годы носил почти исключительно литературный характер. Насколько литературные интересы поглощали для него все остальное, хорошо видно из его переписки, где, можно сказать, отсутствует разнообразие жизни и присутствует разнообразие книжно-журнально-газетное (ср., например, его письма ко мне 1894—1896 гг., изданные ГАХН)[83]. Когда посетишь, бывало, Валерия Яковлевича среди зимы, при частых моих тогда поездках из Казани в Петербург и обратно, — непременно услышишь от него кучу всевозможных литературных новостей, русских и заграничных (русские обычно с оттенком сенсации). Его страстью было открывать необыкновенных литературных гениев, которые уже в ранней юности затмевали Шекспира и Гете (ср., например, в упомянутых письмах сообщение о каком-то Франце Эверсе — стр. 17)[84] и о которых уже не приходилось слышать при обратном проезде. К числу их принадлежали, как мы видели, и некоторые звезды русского символизма. Но при этой слабости к литературной новизне Брюсов навряд ли обладал острым к ней чутьем: я уже приводил примеры его художественного консерватизма, как в случае с Сологубом. Так же долго был он холоден к Чехову и признал его, кажется, лишь вслед за общим признанием. Когда я сообщил ему (в июле 1902 г.) о появлении Блока («Знаете ли Вы поэта *Блока*? — писал я ему. — У меня два его стихотворения — удивительно красиво и удивительно непонятно. Стиль Вл. Соловьева, но гораздо *воплощеннее*»)[85], он отве-

чал мне с классической краткостью: «Блока знаю. Он из мира Соловьевых. Он — не поэт»[86]. Другой раз он «попался», когда пожаловался на некоего Ник. Т—о, неведомого поэта, печатавшегося мною в литературном приложении к петербургской газете «Слово» (начало 1906 г.): «Ваш Никто и однообразен, да и точностью рифм очень уж брезгует» (письмо от 15 февраля 1906 г.)[87]. Между тем этот «Никто» был не кто иной, как Иннокентий Анненский...[88]

Также предметом постоянных споров между мною и Брюсовым был в конце 90-х годов московский Художественный театр, пожинавший тогда свои первые лавры. Я стал энтузиастом этого театра с первых посещений; Брюсов же был настроен к нему крайне недружелюбно, видя здесь воплощение враждебного ему принципа реализма. Конечно, он не доходил до бурных выпадов Мережковского, ненавидевшего этот театр (так же, как и Чехова) всею ненавистью Дон-Кихота к Санчо-Пансе, когда этот последний следует не за рыцарем, а своей собственной дорогой. Брюсов не вопил громовым голосом о «бесконечной пошлости» чеховских драм и всего их сценического воплощения: вопить было настолько же несвойственно Валерию Яковлевичу, насколько нормально для Дмитрия Сергеевича. Но он спорил со своим обычным рассудочным рационализмом против самого метода Художественного театра[89]. Сценическая условность представлялась ему неустранимым элементом театрального искусства, и он был склонен желать ее увеличения, а не уменьшения. В конце концов, ему мерещилось уже в те годы нечто вроде стилистического театра, образцы которого дали потом Мейерхольд с Коммиссаржевской в Петербурге и Камерный театр в Москве. Характерно, что уже при первом знакомстве с Метерлинком Брюсов находил, что его пьесы должны быть исполняемы марионетками: «актеры портят все излишней живостью», — замечал он, побыв на представлении «Тайн души» (декабрь 1895 г.)[90]. Для эстетики того времени это было поистине неожиданно.

Но театральное искусство, «как таковое», было, мне кажется, все-таки чуждо Брюсову. Недаром, при его необыкновенной литературной продуктивности, он не написал ничего типично-театрального. Он редко и говорил о театре, и редко бывал в нем. И все-таки театральная стихия, хотя в иной форме, ярко сказывалась в его духовной жизни. Всякий, кто знает брюсовскую поэзию, согласится с этим: вся она представляет собою как бы галерею поэтических масок, беспрерывно и неустанно сменяемых автором, — минутных ликов и обликов, среди которых не угадаешь настоящего лица поэта:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Исследую равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и Дьявола
Хочу прославить я, —

написал он еще в молодости характернейшие для себя стихи[91]. «Истин много и часто они противоречат друг другу. Это надо принять и понять», — записал он и в дневнике тех же лет[92]. В минуту откровенности, какая была еще тогда для него возможна, он сказал мне однажды: «Знаете, я долгое время был убежден, что все люди и всегда притворяются, что они всегда играют роль.

Только теперь, с годами, я с удивлением убеждаюсь, что это, по-видимому, не так, что люди иногда бывают искренни. Теперь я допускаю это, а прежде был вполне уверен, что этого никогда не бывает...». В те давние дни, когда он говорил мне эти слова, я не придал им особого значения, считая их одной из обычных «эпатирующих» выходок Брюсова. Но теперь, припоминая их, вижу, что редко он высказывался с таким самосознанием и с таким противоречием собственному взгляду на человеческую природу.

Эта стихия театральности как нельзя более соответствовала ответственной «роли» шефа литературной школы, характерную черту которой составляет странная наклонность к позе. Во всем символизме есть ведь этот привкус «сценичности». До какой степени черта эта внедрилась во все движение, став даже незамечаемой для его вождей, хорошо иллюстрирует маленькая сценка из письма ко мне Брюсова (декабрь 1895 г.). Он описывает впечатления от прочитанного им в кругу друзей нового своего стихотворения «Летучая мышь»:

Весь город в серебряном блеске
От бледно-серебряных крыш.
А там, на твоей занавеске,
Повисла летучая мышь...

. . . .

Упав на седой подоконник,
Не знаю небесных красот...

. . . .

Мерцает неслышно лампада,
Чуть видно белеет плечо.

Все небо лепечет: «не надо!»
Чудовище шепчет: «еще!»[93]

«Я кончил.

Бальмонт (делая жест). Брюсов! Вот это стихотворение! (Его обычай хвалить все вплоть до той минуты, когда стихотворение будет напечатано: после этого все проклинается).

Фриче (юный кандидат в наши профессора; медленно и значительно). А что это, собственно, означает?

Бальмонт (в порыве). Что означает! Ты один можешь спросить это! "Седой подоконник"... — так у вас сказано? — О! это уже многое значит.

Фриче (окончательно недоумевая). Седой подоконник?

Бальмонт. Седой подоконник! Несмотря на "бледные ноги", я все-таки в вас верю, Брюсов!

Фриче. Мне кажется, — бледные ноги и седой подоконник ровно ничего не значат.

Курсинский (имитируя интонацию Бальмонта). Есть слова, которые выше своего значения. (Недоумеваю я.)

Бальмонт. Ах, В[ладимир] М[аксимович]! (с Фриче они на "ты", но зовут др[уг] др[уга] по им[ени] и отч[еству]). Ты этого не поймешь. Я знаю целую гамму ощущений, которых не знаешь ты, потому что ты не поэт. (Внезапно.) Представьте себе дом покоем; громадное, громадное количество окон и в каждом на подоконнике восковая свеча.

(Курсинский изображает мистический трепет.)

Фриче. Но что же есть еще в стихотворении?

Бальмонт. Молчи! ты прозаик! ты профессор! Знаете, Брюсов, при вашем седом подоконнике мне представилась длинная, длинная галерея, и по ней во всю длину лежат цветы, побледневшие, бессильные, и умирают.

Курсинский. Да! "седой" удивительно удачный эпитет.

Голиков (юный символист, приспосабливаемый для 4 вып. "Русск[их] символ[истов]"; робко). В[алерий] Я[ковлевич], а что же вы хотели сказать этим эпитетом?

Я показываю на подоконники своей комнаты; они сделаны из серого камня с белыми жилками. Общее разочарование»[94].

Сценка эта удивительно характерна для начальных дней символизма. В кружках тургеневских времен, в 30—40-е годы, у Станкевича или Герце-

на, она была бы совершенно невозможна, так же как тогда невозможны были такие фигуры, как Александр Добролюбов или Зинаида Гиппиус.

Уже в этом рассказе Брюсова заметна первенствующая роль Бальмонта. Действительно, в те ранние годы Бальмонт был — по крайней мере, в Москве — главной фигурой, своего рода «первым тенором» символизма — этот «нежно-крикливый, звучно-хвастливый» (как по-бальмонтовски определял я его в письме к Брюсову)[95] Бальмонт, тогда уже подошедший к своему зениту. Значительно старше Брюсова и других (род. в 1867 г.), уже широко известный в публике и полупризнанный даже ворчливой критикой, наконец, с каким-то ореолом «заграницы» вокруг себя, благодаря своим переводам и постоянным путешествиям, Бальмонт естественно импонировал своим сотоварищам и в особенности Брюсову, который подчинялся ему, как мальчик. Даже в более поздние годы, стоило Бальмонту появиться проездом в Москве, чтобы вся размеренно-правильная жизнь Брюсова переворачивалась и вступала в полосу «безумия». «В Москве был Бальмонт и всех нас, причастных Скорпиону, сбил с панталыку; посему я и Вам не писал...» — извещал меня Брюсов уже в 1902 г. (март)[96]. Можно бы составить целую главу из его рассказов о времяпрепровождении тех, «бальмонтовских», дней, но это уже выходит из рамок «литературных воспоминаний». Можно только добавить, что в этом культе «оргиазма» не последнюю роль играло, по признанию самого Брюсова, подражание «великим» примерам По, Бодлэра и Верлэна. Хотелось быть, как те — «старшие» и «настоящие»... Когда Бальмонт, продолжавший тот же «сверхчеловеческий» образ жизни и за границей, лежал однажды на мостовой в Париже и через него переехал фиакр (был такой случай) — он чувствовал себя, вероятно, наиболее законным наследником «безумного Эдгара»[97]. В том же Париже угодил он даже в исправительную полицию, по нашему говоря — в участок, о чем и оставил пометку в недурных стихах:

Ах, черт французов побери!..
Я побывал в Консьержери.
Изведал я, по воле тьмы,
Четыре мерзкие тюрьмы.
И знаю сам, — клянусь вам в том! —
Как много мыслят под замком...

Особенный престиж Бальмонту создавал еще его исключительный успех у женщин. О романах Бальмонта, прошедших, настоящих и будущих,

постоянно говорила вся символическая и не символическая Москва. Начало этим триумфам положил, по-видимому, широко нашумевший в литературных кругах роман его с Миррой Лохвицкой, воспетый ими обоими, в особенности же ею, в своих стихах. С тех пор Бальмонт как бы приобрел ореол непобедимости. К этому присоединялась чрезвычайная бесцеремонность в личном поведении, практикуемая и терпимая как привилегия поэта и «сверхчеловека». Московские символисты считали, как мы уже видели, что поэтам вообще свойственна целая гамма ощущений, незнакомых простым смертным, и эта гамма не сводилась, конечно, только к видению домов покоем с бесконечным количеством свечей на окнах или длинных галерей, где умирают цветы. Помню, как однажды, в одной петербургской кофейне (рестораны и кофейни ведь еще со времен Достоевского служат у нас местом литературно-психологических излияний) Валерий Брюсов долго и одушевленно излагал мне принципиальное различие между натурой прирожденного поэта и натурой обыкновенною. Разговор был тем интереснее, что иллюстрировался верховным примером Пушкина, иррациональность жизни которого Брюсов не уставал подчеркивать — в противовес тогдашнему наивному изображению Пушкина, как образца всех прописных добродетелей. Другим примером служил, понятно, Бальмонт, который всегда был для Брюсова «где-то там — на высоте», говоря его же о нем стихом[98]. «Он (Бальмонт) переживает жизнь, как поэт, — говорил Брюсов, — и как только поэты могут ее переживать, как дано это им одним: находя в каждой минуте всю полноту жизни. Поэтому его нельзя мерить общим аршином. Все люди чувствуют жизнь приблизительно одинаково; поэты же совершенно по-другому». Думаю, что так или иначе, но Брюсов был прав...

Надо отдать справедливость Бальмонту: в те, по крайней мере, годы в личных отношениях он не проявлял никакого высокомерия или рисовки. Напротив того: трудно было встретить такого приятного, предупредительно-приветливого человека. Правда, что я не видал его в кружках вроде брюсовского, где он царил, а — или одного, или, наоборот, в большом обществе — у Дягилева, в «Мире Искусства», или у Мережковского, которого Бальмонт чтил, как maitre'а. Позже он, кажется, переменился, и в самой наружности его, судя по портретам и редким встречам, появилось нечто напыщенно-приподнятое, наивно-самовосхищенное (ср., например, известный портрет работы Серова)[99]. Но это было уже влияние «славы», а в первоначальные годы в Бальмонте виделся прежде всего глубоко преданный литературе, идеалистически настроенный и в то же

время лично-скромный, всегда готовый признать чужую заслугу человек. Он выгодно отличался от Брюсова отсутствием той слишком явной жажды прославления, которой страдал последний. Бальмонт не стремился или не стремился с такой очевидностью к литературной диктатуре, и если она пришла к нему, то как-то невольно — как к всеобщему победителю.

Повторяю, позднее стало, видимо, иначе: Бальмонт портился с годами. У меня есть забавное письмо его, относящееся уже ко времени «Нового Пути» и обращенное ко мне как редактору этого журнала (декабрь 1903 г.), где он горько жалуется на сучок в чужом глазу (Мережковского), не замечая своих бревен[100]: «...Я обращаю также Ваше внимание на то, что в “Новом Пути”, называющемся новым, не было никакого отзыва о книгах, которые не имеют старого характера, — разумею том поэзии Шелли и книгу “Будем как солнце”. Я писал об этом Мережковскому, но он слишком занят собой. Скажите: неужели такая небрежность по отношению к “своим” допустима? Браните, но не молчите. Это, наконец, просто скучно. Неужели редакция “Нового Пути” страдает литературным дальтонизмом и не видит именно живых красок?».

Само собою разумеется, что сияющие этими «живыми красками» книги были — перевод Бальмонта и сборник стихов Бальмонта. Вот кто не был занят собой! Капризный тон письма («это, наконец, просто скучно» — совсем фраза надувшей губки красавицы) показывает, насколько к тому времени литературные и жизненные успехи избаловали Бальмонта. Да как было ему и не избаловаться, когда, например, тот же сборник его («Будем как солнце») в полгода (вторая половина 1903 г.) разошелся в количестве 1800 экземпляров — цифра, неслыханная для нового поэта, особенно символической школы! С той поры в стихах Бальмонта все громче звучит эта нота самовлюбленности и самоупоения, столь для них характерная. Минский тогда написал недурную пародию на его стихотворение «Чет и нечет»[101], вызвавшее к себе почему-то внимание известного психиатра д-ра Чечотта. Пародия эта сохранилась в моих бумагах:

ЧЕТ И НЕЧЕТ

Чёт и нечёт
Доктор Чечотт
Графоманией зовет
Стих мой странный,
Светлогранный...
Чёт и нечёт! Нечёт — чёт!

Я безумен,
Лишь как нумен.
Как феномен, я здоров.
Подражаю,
Поражаю
Красотой чужих стихов.
По и Шелли,
Боттичелли,
Храм парижский* — даже тот, —
Без изъятья
Все мне братья.
Чёт и нечёт! Нечёт — чёт!
Оттого-то
Мной без счета
Бредят женщины всех стран.
Вечно-новый,
В миг готовый, —
Я — вампир, я — Дон-Жуан.
Мне княгини —
Не врагини.
Всех к устам моим влечет.
Поэтессы —
Мне метрессы.
Чёт и нечёт! Нечёт — чёт!
Польки, шведки,
Самоедки, —
С ближних, с дальних берегов,
Норвежанки,
Парижанки, —
Все стремятся в мой альков.
Странно-разны
Их соблазны
И во всех есть недочет...
Я ласкаю
И считаю:
Чёт и нечёт! Нечёт — чёт![102]

Самоуверенность Бальмонта отражалась и на его манере писания стихов. По рассказу так близко знавшего его Брюсова, стихи у Бальмонта рождались свободно, как импровизация, и это подтверждает он сам в другом письме ко мне (тоже декабрь 1903 г.), говоря, что стихи у него «возникают без усилий»[103]. Но эти так легко рождавшиеся стихи обыкновенно так и оставались в своем перворожденном виде — к обработке, к

* Намек на какое-то очередное тогдашнее хвастовство Бальмонта.

шлифовке, вообще к «вынашиванию» Бальмонт совершенно не был способен. Этим объясняется такое неимоверное количество у него таких неимоверно плохих стихов. Он не замечал иногда даже прямых курьезов. Так, по рассказу Брюсова, в бальмонтовском стихотворении «Necessitas» в «Северных цветах» за 1901 г.[104] (которое в общем так хорошо) начало последней строфы:

И маятник всемирный, незримый для очей,
Ведет по лабиринту рассветов и ночей, —

сперва читалось с очевидным злоупотреблением часовыми терминами:

Ведет по *циферблату* рассветов и ночей...

Когда Брюсов указал Бальмонту, что по циферблату ходят часовые стрелки, а не маятник, — тот впервые заметил свою ошибку и едва согласился исправить. Отсутствие самокритики, естественное при такой степени самовосхищения, не давало Бальмонту вообще возможности отличать стихотворные стразы от алмазов и свой мельхиоровый демонизм от байроновского или лермонтовского. А духовная атмосфера тогдашней Москвы могла только подогревать эти качества.

Но всему на свете приходит конец — пришел он и для московской гегемонии Бальмонта. «Urbi et Orbi» — лучший сборник Брюсова (1903 г.) — вывел его из положения ученика, поставив наряду с Бальмонтом, а «Венок» (1906 г.) увенчал окончательно общепризнанными лаврами. В то же время выдвинулись новые первостепенные имена — Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый. Второе поколение символистов выступило на авансцену, и первому приходилось невольно делиться с ним вниманием публики. Интерес к былому оракулу понизился, и уже не так часто можно было услышать из юных уст характерное московское восклицание времен раннего символизма: «Бальмонт — мой бог!». В январе 1905 г. я получил от Брюсова письмо, где он сообщал между прочим: «Бальмонт уехал в Мексику... Странно: все вдруг почувствовали себя с отъездом Бальмонта как-то освобожденными. На проводах было так много веселых лиц, что становилось неловко. А раньше, на прощальном ужине, были уже даже не веселые, а злые слова. Бальмонт очень чувствовал это и несколько раз повторял: “Ведь я в самом деле уезжаю!”. С его отъездом словно закончился какой-то период в нашей литера-

туре. Десять лет он царил полновластно в нашей поэзии. Но теперь жезл выпал из его рук. Мы далеко ушли вперед; он остался на одном месте. Может быть, он великан среди нас (как поэт, по непосредственному дару), но он — в прошлом. Так Дантэ силой гения раздавит любого из нас, но все же в наших душах, самых ничтожных, есть много такого, чего было не угадать и не понять Данту. Мы — впереди!»[105]

1905 г. изменил литературу, пожалуй, не меньше, чем 1895 г., — хотя в другом роде: тогда было рождение новизны, теперь ее видоизменение и главное — распространение. После 1905 г. гонение на символизм прекращается, и он быстро увенчивается почти академическими лаврами. Вместе с тем, внутри него происходит сдвиг: он теряет свой первоначальный эзотеризм. Поэты-символисты теперь печатаются уже в общих журналах, хотя получают и свои собственные органы («Весы» и «Золотое руно»), не говоря о серии отдельных изданий. Они выступают даже на театре, и с шумным успехом («Балаганчик» Блока)[106]. В то же время в самой школе происходит раскол и ответвление «кларистов» (как звались первоначально акмеисты). «В нашем кругу, — писал мне Брюсов, — у ex-декадентов, великий раскол: борьба “кларистов” с “мистиками”; кларисты — это “Аполлон”, Кузмин, Маковский и др.; мистики — это московский “Мусагет”, Белый, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьев и др. В сущности, возобновлен дряхлый-предряхлый спор о “свободном” искусстве и тенденции. “Кларисты” защищают ясность, ясность мысли, слога, образов, но это только форма; а в сущности они защищают “поэзию, коей цель поэзия”, как сказал старик Иван Сергеевич. Мистики проповедуют “обновленный символизм”, “мифотворчество” и т. д., а в сущности хотят, чтобы поэзия служила их христианству, стала бы ancilla theologiae[107]. Недавно у нас, в “Свободной эстетике”, была великая баталия по этому поводу. Результат, кажется, тот, что “Мусагет” решительно отложится от “Скорпиона” (в идейном отношении). Я, как Вы догадываетесь, всей душой с “кларистами”» (письмо от 23 марта ст. ст. 1910 г.)[108].

Эпоха раннего символизма закончилась.

Мне хочется вернуться еще к личности праотца русского символизма. — Быть «основателем» всегда невыгодно, так как на литературном, по крайней мере, пиру только поздно пришедшим достаются, вопреки пословице, не кости, а самые жирные блюда — все наследство предшественни-

ков плюс уже выработавшееся внимание публики. Напротив, начинатели должны не только преодолевать все трудности первых шагов, но и терпеть неизбежное равнодушие широкой публики ко всему не вполне воплощенному. В этом отношении «толпа» — то же, что молодежь, которой, по слову Тургенева, «только выводы подавай, только итоги»[109]. Начинающий не может дать итогов — и его плохо слушают, а после, когда складываются итоги, — зачастую совсем забывают среди новых, более ярко определяющих явлений.

Так случилось и с Минским. Пока он был (в 70-х годах и в начале 80-х) гражданским поэтом, «продолжателем Некрасова», он имел для себя широкое внимание и настоящий успех. Но вот, еще с конца 80-х годов, он вступил на какую-то новую дорогу, заговорил о философских проблемах, вместо гражданской скорби и народнических упований, да и заговорил както особенно — непонятно и невкусно. Уже в это время была создана им оригинальная философская концепция «мэонизма» — своеобразной «философии небытия», базирующейся на идее о двойственности мировой жизни и всех ее проявлений. Это было нечто совершенно непривычное для тогдашней критики и «философии» (образцы которых я уже довольно приводил) — и Минский сразу потерял все свое установившееся реноме. Его «поворотная» книга — «При свете совести»[110] — была осмеяна, а его стихотворные воплощения идей и настроений символизма встречены полным равнодушием. Между тем эти стихи, как я уже говорил, были первым осязательным проявлением новизны. Впоследствии быстрое раскрытие этой новизны — такой лирически-замкнутой у Сологуба и Гиппиус, такой блестяще-развернутой у Бальмонта и, наконец, такой завершенно-глубокой у Блока и Белого — отодвинуло Минского окончательно в тень. Теперь это одно из полузабытых имен нашей недавней литературы, но его придется еще вспомнить, так как, по верному слову Белинского, «каждый рано или поздно попадает на свою полочку»[111].

С Минским я встречался много и часто в период ведения мною «Нового Пути» (от конца 1902 до половины 1904 г.), но об этом надо рассказывать в истории этого журнала. Здесь я хочу вспомнить только один эпизод наших отношений, для меня субъективно памятный.

Весной 1902 г. я написал небольшую статью философского содержания, заключавшую первоначальный набросок идей, развившихся в последующие десятилетия в сложную систему[112]. Зная философские интере-

сы Минского, я сообщил ему мою работу[113], в ответ на что получил следующее письмо[114]:

25 июня 02 г.

Многоуважаемый Петр Петрович!

Очень жалею, что не застал Вас вчера дома. Ваша рукопись поразила меня и общей идеей, а еще более частностями. Ваши мысли о воде, как глубине материи, о дугах жизни и проч. поистине замечательны. Основную Вашу идею о трех мирах, о соединении начала с концом вполне принимаю, но зачем Вы строите ее на фальшивом фундаменте — на триаде Гегеля? Вот о фальшивости последней я и хотел с Вами поговорить. Когда-нибудь в другой раз. Остаюсь еще несколько дней в Петербурге и буду рад Вас видеть.

Искренно преданный Вам
*Н. Виленкин**.

Через несколько дней мы увидались, и я помню большой разговор на затронутые моей работой темы[115]. Минский горячо спорил против гегелианской триады, на основе которой я пытался тогда укрепить мои построения. Он выдвигал взамен свою, уже давно принятую им дуалистическую идею и всячески пытался убедить меня перейти на ее почву. Но мне не казалась тогда его аргументация убедительной. Триада Гегеля, как и вообще триалистическая идея, столь традиционно-заслуженная в философии, представлялась мне несокрушимой и стоящей просто вне вопроса.

С тем большим интересом вспоминаю я этот наш тогдашний спор после того, что дальнейшая работа привела меня уже давно (вполне определенно с 1916 г.) как раз к признанию дуалистического принципа, столь настойчиво внушаемого мне тогда Минским. Правда, эта работа не разрушила для меня значения триады, а лишь разъяснила внутреннее строение последней, заставив понять его как усложнение диады (первые два звена составляют единое целое — наряду с «третьим», т. е. собственно вторым). Но в основном Минский оказался прав: на гегелевской силлогистической триаде нельзя построить эмпирически оправданного объяснения мирового порядка.

* «Минский» — псевдоним Николая Максимовича Виленкина, по месту его родины, как для Флексера— «Волынский».

Со своим дуалистическим исповеданием Минский оставался совершенно одинок среди своих сотоварищей по литературе. Волынский, печатавший его стихи и драмы, начисто отрицал его как мыслителя — так же, впрочем, как всех вообще мыслителей, бывших и будущих, кроме Спинозы, Канта и себя. Мережковский, которого его вечные антитезы и бурно проповедуемые всяческие полярности, казалось, близко подводили к философской позиции Минского, был сам слишком не философичен для ее принятия. Остальные представители тогдашнего символизма были еще дальше от систематической мысли. Для Брюсова всякая такая мысль была только одной из возможных форм умственной игры («неколебимой истине не верю я давно»). Для Бальмонта — еще одним лишним поводом для бальмонтовского перезвона рифм и восторженного восхищения перед качествами единственного, несравненного, неповторимого и неподражаемого Бальмонта. Вячеслав Иванов и Андрей Белый тогда еще не появлялись, а появившись, не примкнули к идеям мэонизма и даже дуализма вообще. Минский остался один в своей странной позиции и, постепенно отдаляясь от литературной современности, стал для новых поколений почти неизвестным пророком неведомых идей. Между тем идеи эти — повторяю — заслуживают того, чтобы о них вспомнить.

ГЛАВА VIII

«МИР ИСКУССТВА»

Кружок новаторов — «Олеандры на льду» — Стихия молодости — Редакция «на ты» — Дягилев и его квартира — «Пятерка» — Лидерство Дягилева — Д.В. Философов — Литературные элементы журнала — Борьба из-за Мережковского — Полемические стрелы — Фигура Нурока — Роль Александра Бенуа — Его личность — Бакст и его искания — Увлечение Розановым — В.Ф. Нувель — Серов — Личное впечатление — Субсидия журналу — Другие художники кружка: Сомов, Малявин, К. Коровин, Ап. Васнецов, Рерих, Нестеров, братья Лансере — Литераторы: чета Мережковских; Розанов и его страхи — «Арина Родионовна» — Борьба против журнала — Союз Стасова и Буренина — В ночь под светлый праздник — Косоротов и его судьба — Приглашение в журнал Брюсова — Моя стихотворная переписка с З.Н. Гиппиус

К числу самых счастливых обстоятельств моей писательской биографии отношу я свою встречу с кружком «Мира Искусства».

Во всей художественной истории немного найдется таких ярких и одушевленных моментов, как краткий момент процветания этого кружка (время издания журнала и первых выставок: 1898—1903 гг.). Пусть в его среде не сложилось ни одного первоклассного индивидуального дарования, не явилось «гения», но *он сам* — этот кружок — в удивительной цельности и одаренности своей коллективной личности был такой первоклассной

индивидуальностью, своего рода коллективным гением, след деятельности которого никогда не исчезнет в истории искусства.

Цвет тончайшей культуры — настоящая «Александрия» ума, вкуса и знаний — и, вместе, творческий порыв к общественному выражению этих данных, к проникновению ими окружающей среды — таков «Мир Искусства» в его «созерцании» и «действии». Законный плод западноевропейской жизни, весь пропитанный ее соками, он созрел на русском дереве как естественный итог нашей культурно-художественной европеизации, как «последнее слово» в этой области петербургского периода. Было что-то минутное, что-то тепличное в хрупкой красоте этого явления, и его кратковременность была заложена в нем самом. Быстро отцвели эти «олеандры на льду», но всегда будут оборачиваться, чтобы различить в дали времен их прекрасное и благородное цветение.

Самое привлекательное в этом кружке была его молодость — молодость личная и духовная всех его главных участников — вдохновителей движения и «учредителей» всех учреждений, с ним связанных. Как-то вдруг, точно из земли, вышла на свет эта маленькая группа фанатически воодушевленных рыцарей художественной новизны. Почти непонятно, как могла она сложиться в заспанной атмосфере тогдашней России, где искусство представлялось главным образом убогими иллюстрированными журналами с их «роскошными премиями в 24 краски». И, конечно, этот цветок мог вырасти только на столичной окраине страны, через которую она непосредственно соприкасалась с мировой культурой. «Мир Искусства» был «свой» для Петербурга, но плохо понятен даже для разухабистой купчихи Москвы и окончательно непонятен для всей провинции, которую повергли в тягостное недоумение уже две таинственные рыбы, плававшие в одиночестве по белосливочной обложке журнала за первый год...

«Первый двигатель» всего течения, его Станкевич или Чернышевский, Александр Бенуа рассказал нам недавно его генезис в тех, важнейших в сущности, стадиях, когда это движение складывалось и созревало еще как «частное дело» немногих участников (брошюра «Возникновение “Мира Искусства”»; Ленинград, 1928). В те исходные моменты оно было почти домашней забавой, почти игрой каких-то «Валечки», «Димочки», «Левушки», к которым после присоединился «Сережа» — как с домашней же фамильярностью именует своих друзей-соратников автор брошюры. Но — повторяю — особую привлекательность этого дела составляло как раз то, что на нем остался навсегда налет интимности, личной заинтересованно-

сти и юного энтузиазма — даже тогда, когда Валечка, Димочка, Левушка и Сережа выросли и превратились в Вальтера Федоровича Нувеля, Дмитрия Владимировича Философова, Льва Самойловича Бакста и Сергея Павловича Дягилева, а сам автор воспоминаний стал Александром Николаевичем Бенуа, оставшись, однако же, для своих товарищей и както для самого дела — все тем же Шурой Бенуа.

Такое впечатление выносилось из этой странной редакции единственного в своем роде журнала, где все «руководители» были между собой «на ты» и никому из них (кроме Бакста) в год начала журнала не было тридцати лет. Особенно же ярок был этот оттенок интимности в первые годы издания, когда редакция помещалась еще в прежней, тесной, квартире Дягилева — на углу Литейного и Симеоновской (Литейный, 45). Высоко над кипенью столичной суеты, сугубо бойкой на этом перекрестке, — над грохотом экипажей, лязгом тогдашних колымаг-«конок» с их звонками и всем шумом толпы, — висел этот приют экзотизма, как некие сады Семирамиды[1]. Когда, бывало, подымешься по длинной, широкой лестнице на высоту этих садов и вступишь в главную комнату квартиры — залу и, вместе, кабинет Дягилева, — застаешь там всегда большое общество в одушевленной беседе. Беседа быстро переходит в спор, моментами почти в крик (резко выделяется высокий голос Нувеля), и снова затихает — под сдержанную речь Бенуа, скептическое замечание Нурока, какой-нибудь выкрик Бакста, — и завершается «председательским» резюме длинного, как циркуль, шагающего из угла в угол Философова... Столы и диваны завалены фотографиями, эстампами, художественными изданиями; стены увешаны картинами. Все это — «moderne»: все отражает новые течения европейского и русского искусства или же связано с той «стариной», которую признаёт эта новизна.

У письменного стола сидит сам хозяин — молодой, красивый, с розовым полным лицом, с яркими черными глазами, с вечной насмешливо-ласковой улыбкой на крупных сочных губах. Темные волосы подстрижены густой щеткой, и с правой стороны над лбом резко выделяется парадоксальный клок седины... Внешний облик Дягилева превосходно схвачен на незаконченном портрете, почти наброске Серова (воспроизведение есть в монографии Грабаря, стр. 164)[2]. На этом наброске передан и характерный жест руки, приподнятой и откинутой на уровне головы. В годы начала выставок, им создаваемых (1897—1898 гг.), и журнала «Мир Искусства» (с 1899 г.) Дягилеву было всего двадцать пять — двад-

цать семь лет (родился в 1872 г.). Ровесником его был Нувель; Бенуа и Философов двумя годами старше; Бакст — шестью годами (родился в 1866 г.), и, наконец, «старик» Нурок имел, вероятно, лет тридцать семь—тридцать восемь. Все эти зачинщики и застрельщики новизны были молоды и вели свое дело с молодым задором и горячностью, молодым пафосом и уверенностью в победе. И теперь я думаю, что иначе и не делается новизна — по крайней мере, новизна не индивидуального достижения, а общественного течения. Нужно, чтобы люди, ее делающие, сами были «новыми», чтобы они чувствовали эту новизну *в себе*, как часть их личного существа. Когда вам под семьдесят — это уже невозможно... Но именно этим чувством были полны, сами того не ведая, все участники «Мира Искусства» и более всех та «пятерка», которая как-то сама собою сложилась, как штаб этой армии. Я назвал ее выше: Бенуа, Бакст, Нувель, Философов, Дягилев. Были и другие интимно-близкие делу и весьма влиятельные соучастники, как Серов, например, или только что упомянутый Альфред Павлович Нурок. Но «пятеро» все-таки выделялись, как неразложимое и незыблемое ядро всего течения.

Дягилев был его признанным вождем и предводителем пятерки. Хотя моложе почти всех других и сравнительно лишь недавно обратившийся в «модерниста» (см. воспоминания Бенуа)[3], он, при переходе кружка от теории дружеских собеседований к практике общественной деятельности, сразу выделился как лидер. «Он — наш Наполеон», — говорили про него остальные четверо и, не покушаясь на этот приоритет, спокойно оставались «маршалами». Столкновения и раздоры если и бывали (не без того), то собственно под влиянием некоторых, слишком «наполеоновских» черт дягилевского характера, достаточно отмеченных в книжке Бенуа: «Дягилев даже близких людей то обвораживал простотой и лаской, то отталкивал грубо проявляемым чванством», — пишет он[4]. Однако сам Бенуа, поддаваясь правде эстетического впечатления, сознается, что «Дягилев без чванства, без снобических замашек, без чрезвычайной изысканности своего вида, без монокля, без надменного тона, без задранной головы, без оскорбительного подчас крика на своих “подчиненных” был бы уже не Дягилевым»[5]. «Конфликты» возникали в редакции частенько, и я помню, как при мне однажды Бакст «уходил» из секретарей журнала. Но недели через две он вернулся, и вообще «ядро» оставалось крепким, несмотря на всю горечь «расхождений» и «диктаторский тон Сережи». В Дягилеве было действительно что-то «от вождя»: это был редкий в тогдашней Рос-

сии *активный* тип — наглядное опровержение всех славянофильских и иных теорий о способности русского человека только к смиренству и пассивности. Кроме «снобических замашек», Сережа имел в себе одну незаменимую черту — он умел внушать пафос работы. Или — как определяет тот же его сподвижник — «создавать романтическую атмосферу работы». «Всякая работа у него носит прелесть рискованной авантюры», — роняет Бенуа похвалу[6], которая без перемен может быть приложена к объяснению очарования и тех, «всамомделишных», Наполеонов. Ибо вождь всегда увлекает именно тем, что открывает возможность творчества, хотя сам не всегда к нему способен. Вернее, его форма творчества и есть его лидерство. Таким был Балакирев в «Могучей кучке»; таким – Дягилев в движении «Мира Искусства». И хотя сам он не писал картин, ни даже акварелей и пастелей, «но своим, — сознается Бенуа, — мы, художники, его не переставали считать»[7]. И поистине позорным свидетельством бездарности официальной России времен заката монархии остается тот относительно мелкий, но весьма выразительный факт, что она «прозевала» Дягилева — этого прирожденного «директора императорских театров», оставив его применять свои силы и развернуть их с таким блеском в жизни русского искусства за рубежом.

Рядом с Дягилевым стоял его официальный «помощник» (в «Мире Искусства» все эти титулы имели лишь формальное значение и редакционные функции распределились смотря по надобности) — Д.В. Философов. Теперь с этим именем связана определенная политическая репутация[8]. Тогда о такой репутации еще никто не помышлял. Дмитрий Владимирович был прежде всего и более всего «эстет», безукоризненно-корректный и сдержанно-изящный в своей внешности и своем поведении — «Адонис», как звала его З.Н. Гиппиус. Представить себе Философова в каком-либо соприкосновении с политикой и, следовательно, с «толпой» и чуть ли не «чернью» было решительно невозможно. При малейшем таком соприкосновении у Адониса заболела бы голова, сделался бы тик или мигрень, и ему пришлось бы нюхать sel vinaigre[9] или принимать какое-нибудь успокоительное средство. Я и теперь не понимаю, как Дмитрий Владимирович занимается политикой, как это у него «выходит»... Тогда единственной ниточкой, связывавшей Философова с миром общественности, было то, что он был родным сыном весьма известной в столице, а отчасти и по всей России, Анны Павловны Философовой — ревностной поборницы женского равноправия, женского образования и

прочих заветов 60-х годов. Благодаря своим огромным связям «на верхах», Анна Павловна была чуть ли не главной движущей силой всех этих вопросов в их реальном воплощении: Высшие женские курсы были в значительной степени делом ее стараний. Конечно, по наследству от матери получил Дмитрий Владимирович и свои, столь поздно раскрывшиеся в нем общественные интересы, вылившиеся, как и следовало ожидать, в определенно-«кадетский» тип.

В «Мире Искусства» Философов считался специалистом собственно по литературе, и если журнал, вопреки своему названию и всем тенденциям остальных членов редакции, с самого начала ярко окрасился литературными интересами, то этим он был обязан всецело Философову, умевшему влиять в этом смысле на самого Дягилева. Впоследствии эта сторона журнала выдвинулась еще ярче, когда в 1901—1902 гг. на его страницах было напечатано огромное философско-критическое исследование Мережковского «Лев Толстой и Достоевский»[10], оставшееся лучшей работой этого писателя. Из-за помещения этого исследования в журнале Философов, бывший долгие годы самым преданным прозелитом Мережковского, стойко выдерживал упорную борьбу в недрах журнала — против «крайней левой» чистых эстетов, вроде Нурока и Нувеля, возмущавшихся, что столько драгоценного места в каждом номере отводится под «посторонние» разговоры. Самого Дягилева это, кажется, иногда коробило — тем более, что исследование, по обычной манере Мережковского, все разрасталось и разрасталось, перешло на другой год, и ему просто не виделось конца. Едва ли случайно в тексте исследования, всегда прерывавшемся иллюстрациями и книжной графикой, вдруг, в самых торжественных местах, стали появляться более нежели неуместные здесь воспроизведения остро-эротических набросков Бёрдсли... Кто их сюда «подсовывал» —хитроумный ли циник «Силэн» (псевдоним Нурока), более всего злившийся на Шехерезаду Мережковского, или и кто-нибудь «повыше» в редакции, или же они проскальзывали сами собою, по воле судеб, — я не знаю, но Мережковского этот иронический аккомпанемент выводил из себя. Он готов был прервать печатание, но где же было продолжать его? Я уже говорил, как относились к Мережковскому как к теоретическому писателю предержащие власти тогдашней журналистики.

Вообще, между литературной и чисто художественной стороной «Мира Искусства» (журнала) всегда чувствовалась некоторая несогласованность и шли трения. Тут было то же, что́ после повторилось в «Новом Пути».

Нужно признать, что литературная сторона была в сущности не нужна журналу, прямой задачей которого, весьма успешно им достигавшейся, было реформирование пластических искусств. Но отсутствие своего органа у литературно-новаторских течений того момента создавало эту фатальную чересполосицу. Как я уже говорил, кроме «Северного вестника», недолго и весьма плохо выполнявшего свою роль, эти течения никак не могли дождаться своего журнала. Им не был, конечно, и «Новый Путь», имевший другие основные задачи; не были даже и брюсовские «Весы» с их почти исключительно критико-библиографическим содержанием, ни «Аполлон» — с преобладанием снова интереса к изобразительным искусствам. И нужно признать, что, в виде исключения между русскими «школами» и «направлениями», обычно имевшими для себя журнальное выражение, символизм выразился главным образом в книгах и отдельных изданиях.

В годы существования «Мира Искусства» именно этот орган был — худо ли, хорошо ли — на передовых позициях литературы, и в этом была тоже крупная заслуга журнала. Философов недаром «гнул свою линию». Несмотря на ворчание «эстетов», шокированных провинциализмом всего этого литературного почти передвижничества рядом с их «александризмом», журнал печатал да печатал из номера в номер и Левиафана Мережковского, и своеобразно-свежие «озарения» тогда еще мало кем ценимого Розанова, и редкие, но всегда «с захватом» наброски столь странно похожего на него «Рцы»-Романова («маленького Розанова», как мы его звали), и кое-что другое. Даже академический Владимир Соловьев раза два появился на страницах журнала[11], но быстро «отскочил», показав в этом случае, как и в своей полемике против символистов, что его собственная «новизна» слишком сдерживается академизмом. Он уподобился здесь Репину, который, в своей вечной погоне за модою сегодняшнего дня, тоже потянулся было к «Миру Искусства», одно время «водился» с Дягилевым и его кружком, но тоже не выдержал и стремительно отпал, вернувшись на лоно правоверной стасовщины. Мало того: убедившись в непопулярности новаторов в широкой публике и на влиятельных верхах, великий ловец момента, Илья Ефимович ополчился против них целой боевой статьей. Выступление это, состоявшееся в самом подходящем для него месте — на страницах обывательской «Нивы», отличалось всеми обычными чертами репинских писаний, столь откровенно разоблачавших некоторый унылый дефект их автора...[12]

Журналу нападение Репина подало только прекрасный повод заострить свою позицию и пустить в противника Парисову стрелу[13]. Вообще журнал юных новаторов умел кусаться и, как все молодое, любил пробовать свои зубы... Впрочем, обыкновенно оттачиванием стрел и напитыванием наконечника ядом занимался «маститый» (на возрастную мерку «Мира Искусства») «Силэн» — Нурок. Высокий, черный, худой, уже с лысиной и в «ученых» очках, этот петербургский парижанин играл роль Мефистофеля в кружке юных Фаустов. С большой симпатией вспоминая своего покойного друга, Бенуа набросал в своей книжке острый силуэт «великого чудака» — как, в параллель типам Гофмана, именует он Нурока[14]. Эпатируя своих друзей, как те эпатировали (против воли) публику, этот патриарх кружка «позировал на чрезвычайный цинизм, стараясь сойти за лютого развратника, тогда как на самом деле он вел очень спокойный, порядочный и филистерский образ жизни». Прибавлю, что, несмотря на постоянное присутствие в его карманах французских эротических книжек, о которых вспоминает Бенуа и легкомысленными гравюрами которых Нурок любил угощать собеседника, — достаточно было увидеть добродушно-невинную улыбку этого претендента в маркизы де Сады, чтобы усомниться в его правах на такое преемство. К тому же Нурок читал не одну эротику, но, кажется, все на свете и на всех языках. Другого такого лингвиста и фанатика чтения трудно было встретить даже в тогдашнем Петербурге, хотя эти качества были там очень распространены. Но, конечно, преобладающим интересом Нурока была французская литература, и особенно XVIII века. Какого-нибудь Мариво он знал чуть не наизусть. Вообще это был тип книжного «александрийца», с наслаждением впивающего, как рюмку ликера, творения редких или мало известных у нас авторов и переживающего жизнь всего интенсивнее в лунном свете литературных отражений. Прозвище «пещерного декадента», данное ему Мережковским, очень к нему шло.

Таков был главный культиватор редакционного Анчара. Но вслед за ним напитывали тем же ядом послушливые стрелы[15] и все другие члены редакции и сотрудники журнала (Серов особенно). Полемические заметки сочинялись обыкновенно на общих заседаниях кружка, особенно на редакционных собраниях по понедельникам. Это было настоящее «массовое творчество», в которое каждый вносил свой вклад, как в копилку, так что псевдоним «Силэн», хотя в принципе составлял личную собственность Нурока, прикрывал иногда, подобно Гомеру, целую плеяду неве-

домых талантов. Но истинным вдохновителем всего этого коллектива и настоящим идейным «основоположником» всего движения, а затем и главным журнальным бойцом (по вопросам художества) являлся, конечно, Александр Бенуа. Теперь, на расстоянии лет, роль его выступает особенно отчетливо. Уже очень рано, еще с тех годов, когда он собирал в стенах своего студенческого кабинета первых друзей, Бенуа стал определяться в этой своей роли. Конечно, с ним одним эта «музыка будущего»[16], вероятно, так и осталась бы на своей камерной стадии: в симфоническую форму ее транспонировал Дягилев. Но эта «основоположная» роль чувствовалась и в дальнейшие годы расцвета журнала. Сравнительно молчаливый и весь какой-то внутренне-тихий, этот «черный жук, завалившийся глубоко в кресло» (как живописал его в одной статье Розанов)[17], был, однако, настоящей «маткой» всего шумного улья. Авторитет Бенуа в художественных вопросах складывался сам собою: этому помогали и личный его талант крупного художника, и вся его громадная эстетическая эрудиция, и блестяще выработанный вкус, и наследственная напитанность высокой культурой (он происходил из семей, богатых артистическими талантами), и, наконец, очевидное литературное дарование — самое крупное в пределах «ядра». Правда, в то время Бенуа, выросший в полуиностранной среде, еще не вполне овладел русским литературным языком, и в его «Истории русской живописи», написанной в те же годы (1900—1902)[18], попадаются курьезные («скурильные», говоря его любимым словечком) обороты. Но в той же «Истории» есть положительно блестящие страницы и удивительные по меткости или по красоте лиризма строки. От Бенуа пошли многие утверждения и оценки, которые мы теперь употребляем, как сами собою разумеющиеся, но которые были написаны впервые его пером. Таковы, например: предпочтение библейских эскизов Александра Иванова его большой картине; высокая оценка русских портретистов XVIII века; «открытие» Венецианова; скептический взгляд на религиозную живопись Васнецова; наконец, справедливое признание Врубеля, Левитана, Серова, Сомова и многих других «модернистов», над которыми издевались тогда чуть не все, начиная с патриарха передвижнической критики Стасова. Все это навсегда закрепляет за Бенуа титул «Белинского русской художественной критики». В эпоху существования журнала, конечно, ни сам он, ни даже никто из его товарищей не подозревал (как это всегда бывает) всего значения этой деятельности, но теперь его нельзя не видеть.

В первую зиму организации журнала и начала его издания (1898—1899) Бенуа не жил в Петербурге (он находился тогда в Париже), но его незримое присутствие сильно ощущалось в редакции. Не зная еще его лично, я уже видел, что он является до известной степени художественным ментором своих друзей. Письмо от «Шуры» было всегда крупным событием в редакционной жизни и вызывало заметный подъем настроения и прений. Улей гудел в эти дни звонче обычного... На вторую зиму я наконец познакомился с Бенуа. Редко в жизни мне случалось встречать столь симпатичного человека. Полное отсутствие всякой рисовки, всякой позы, всякого самомнения, совершенная простота отношений, искреннее дружелюбие делали его сразу точно давно знакомым. Его добродушие было тем привлекательнее, что не имело типично русского оттенка слабохарактерности: оно уживалось с деятельным и стойким темпераментом. В этом сочетании Бенуа выглядит скорее французом, вообще западноевропейцем, хотя самое добродушие у него чисто русское. Еще одна культурная черта отличает Бенуа: он умеет слушать других, тогда как настоящий русский человек слушает только самого себя. Мережковский находил мало столь внимательных и терпеливых, как он, слушателей для своих огнедышащих диатриб, согревавших сухим жаром редакционные понедельники. Сам Бенуа, как я уже упомянул, говорил мало, приближаясь в этом отношении к Серову. Но Серов, по манере держать себя, был уже совсем «лицо без речей» и казался точно отсутствующим; Бенуа же, напротив, в своем молчании и из своего глубокого кресла (а то он еще любил прикорнуть на диване у подушек) казался именно маткой улья, вокруг которой кружит все его гудение.

Этой централизующей силой Бенуа характерно отличался от имевшего с ним так много общего Бакста, который и по типу своего творчества может быть назван его близнецом. Но, в контрасте с Бенуа, Бакст был блестящей одиночкой. «Нежный Бакст, с розовой улыбкой», — записал о нем Розанов[19]. Действительно, в Баксте было что-то «розовое» — в его веселом, всегда смеющемся, с живыми, быстрыми глазами лице, в рыжеватых кудерках волос над белым умным лбом, в поблескивавших золотых очках. Нуждавшийся тогда и на улице ходивший (бегавший) в плохом пальтишке даже зимой, он в комнатах был одет всегда изысканно, даже с оттенком франтовства. В нем и тогда уже чувствовался «модный» художник, хотя никто, и он сам, не подозревал, конечно, как высоко вознесет его впоследствии эта мода, увенчав даже под конец высшей на-

градой европейского культурного мира — Нобелевской премией — его, единственного из русских художников[20].

Но тогда он не был еще Леон Бакст, каким стал после в Париже и для Парижа[21], а только Лев Самойлович Бакст, всего за несколько лет до того сменивший отцовскую фамилию Розенберг на фамилию деда по матери. Известность и вообще художественная карьера, впоследствии столь ослепительная, тогда еще как-то не давались ему. Он тщетно старался устроиться при казенных театрах по декорационной части: эти театры оказались в отношении Бакста такой же казенщиной, как в отношении Дягилева. Бакст то получал работу, то терял ее. Между тем у него, конечно, уже тогда были те «золотые руки», о которых писал Бенуа в своей «Истории»: «У Бакста золотые руки... но он не знает, что ему делать»[22]. Трагедия его тогдашнего неудачничества была, действительно, не только внешней, но и внутренней. Его не признавали, но он и сам не нашел еще себя или, вернее, не мог еще примириться со своими золотыми руками и стать откровенно «великим человеком на малые дела», каким стал в конце концов. Его тянуло тогда не столько к эскизам декораций и рисункам театральных одежд, сколько к «большим темам» — историческим и даже метафизическим. А что на такое тяготение Бакст имел все же некоторые права — доказал впоследствии его «Античный ужас», давший ему его первый крупный успех в Париже[23].

Но в те годы Бакст, повторяю, еще искал себя, и эта неудовлетворенность сообщала ему оттенок какого-то раздражения и неуверенности, заметно отличавший его от спокойного и уравновешенного Бенуа. Он искал и в старом, и в новом — и у Менцеля, и у гигантов Возрождения. Не раз он заходил ко мне, взбираясь на пятый этаж моего «Пале-Рояля», чтобы лишний раз перелистать в моих портфелях большие и очень удачные снимки с Сикстинского потолка, привезенные мною из Италии. «Микель Анжело — мой бог», — сказал он мне однажды с пафосом, перебирая эти фотографии. Он даже брал их надолго к себе на дом и, возвращая, писал мне, что это изучение принесло ему «много пользы» (это было в 1903 г., когда Баксту было уже под сорок)[24]. В чем и как он нашел себя в заключение своего долгого «эмбрионального периода» — знаем мы все.

В те годы Бакста увлекала особенно только что начинавшая достигать своего воплощения сексуальная философия Розанова. Весь кружок «Мира Искусства» был поклонником оригинальной розановской мысли, но впе-

чатления Бакста были, по-видимому, интенсивнее и своеобразнее, нежели у всех других. Мир семитской метафизики и психологии, вскрываемый этой мыслью, был ему естественно близок, и он, видимо, находил в «откровениях» Розанова своего рода отдушину среди давившего его арийского рационализма. Позднее, в 1908—1910 гг., мне случилось прочесть одно очень интимное письмо Бакста к Розанову, написанное им в самый день рождения у него сына (в Париже) и под впечатлением этого события[25]. В письме этом точно вырвалась невольно наружу долго сдерживаемая вражда к всепобедному арийству и созданной им сети привычных условностей. Гимн рождающей плоти — так можно было бы охарактеризовать содержание этого письма, автор которого резко и сознательно противополагал свое мироощущение и свои переживания окружающему миру, покоящемуся (по крайней мере в этих условностях) на совсем других началах. Конечно, Розанов был в восторге от письма.

След тогдашнего увлечения остался и в художественном творчестве Бакста — в виде большого портрета Розанова (теперь в Третьяковской галерее), написанного в 1901 г. Портрет этот не принадлежит, может быть, к числу наиболее удачных работ художника (Розанов выглядит на нем уже слишком «учителем»), но здесь все-таки хорошо схвачен зоркий, из-за очков, взгляд светло-карих глаз писателя. В руках Розанова маленькая статуэтка Изиды — намек на те беседы и обмен чувств, которые вызвали к бытию этот портрет. Несомненно, те же беседы и все вообще впечатление от Розанова и «розановского» дали себя знать и впоследствии — в эпоху создания «Античного ужаса». Портрет был написан вне всякого предвидения его сбыта, да и кто стал бы покупать изображение малопопулярного писателя? Тем более выступает идеалистический мотив работы. Между тем Бакст тогда был еще весьма далек от того позднейшего положения, когда ему готовы были отсыпать горы золота «за пять драгоценных букв» его подписи.

Наконец, в состав «пятерки» входил уже упомянутый мною Вальтер Федорович Нувель. Имя это ничего не говорит и тогда не говорило публике, а между тем «Валечка» представлял собою, по признанию Бенуа, «не гласного, но весьма важного и влиятельного участника “Мира Искусства”»[26]. Это был один из тех темных спутников ярких светил, о которых можно не только прочесть в астрономии, но и наблюдать их нередко в жизни. Почти в каждом деле имеются такие «весьма важные», но незаметные «на отдалении» двигатели. Таким был в кругу «Русского богат-

ства» Иванчин-Писарев; в «Отечественных записках», по-видимому, Елисеев; в «Весах» — Ю.К. Балтрушайтис. По уму, вкусу, знаниям Нувель был совершенная «ровня» остальным; ему не хватало только специальных талантов, причем, в отличие от Дягилева, он не имел и таланта лидера. Но он был в высшей степени полезным и даже необходимым участником дела, будучи в той же степени, как его сотоварищи, «в курсе» происходившего созидания. Без Нувеля не обходилось ни одного редакционного совещания и не принималось никакого решения. Нельзя даже представить себе «Мир Искусства», не представляя в то же время его маленькой, вертлявой, всегда франтовато одетой фигурки, живо бегающей по комнате с сигарой в зубах или восседающей на самом краю дивана, заложив нога на ногу. По своему официальному положению Нувель был чиновником министерства двора, но службой своей он совершенно не интересовался. Она была для него лишь средством заработка, и мы знали об этой службе только потому, что иногда он появлялся в редакции в «деловом» вицмундире. Все жизненные интересы Нувеля были сосредоточены на «Мире Искусства» — журнале и выставках, как и после он сохранил эту свою жизненную линию, принимая самое близкое участие в театральном деле Дягилева. Помимо этого, у Нувеля был еще большой интерес и даже некоторый талант к музыке. Он был очень недурным пианистом, и я до сих пор помню впечатление, которое произвело на меня исполнение им и Дягилевым в четыре руки на квартире у Бенуа четвертой симфонии Чайковского. По инициативе Нувеля (и Нурока) образовался тогда в Петербурге кружок «Вечеров современной музыки»[27], довольно регулярно дававший свои концерты в течение ряда лет и знакомивший на них российскую публику с произведениями Дебюсси, Макса Регера, Рихарда Штрауса и других тогдашних музыкальных новаторов.

Отрывки из писем Нувеля к Бенуа, помещенные в брошюре последнего и замечательные по яркости изложения[28], показывают, что у их автора были задатки литературного дарования, но он не захотел их развить. Уже и тогда на всей личности Нувеля лежал отпечаток какой-то жизненной усталости: из всех «мирискусников» он был наиболее blasé[29], и в нем это не было рисовкой. «Я отношусь к своему состоянию с презрением, — пишет он Бенуа, — но принимаю его, как нечто неизбежное, фатальное... А надежда на лучшие времена во мне все-таки есть, и я уверен, что когда-нибудь мы во что-нибудь уверуем». Может быть, эта надежда толкала Нувеля слушать с интересом редакционных трибунов и проповедников,

но он слабо поддавался их воздействию. Он не мог бы увлечься Розановым, как Бакст, или Мережковским, как Философов. Улыбка даже не скепсиса, а равнодушия всегда готова была скользнуть между его густых, резко выделявшихся на гладко выбритом лице усов...

Очень близким к журналу человеком был также Серов. Может быть, внутренне он значил даже немногим меньше, чем члены «пентархии», но внешне он, как «лицо без речей», как-то пропадал за другими. Это внешнее от него впечатление очень верно передано в одной статье Розанова, описывающей круг «Мира Искусства». «Вы уже со всеми поздоровались, когда замечаете, что не поздоровались с кем-то или с чем-то одним, прямо против вас сидящим: это — Серов... Поистине от "фамилии" его "суть" его: до того сер и тускл человек, что невозможно заметить...»[30] Сомнительно, чтобы это было от фамилии: отец Серова, автор «Юдифи» и «Вражьей силы»[31], при той же фамилии, был, видимо, очень яркой и даже боевой личностью. Но факт схвачен верно: Серов в комнате и был, и не был. Этот «матовый тон» не мешал ему, однако, принимать самое деятельное участие в жизни журнала и сильно влиять на его судьбу. Правда, что тут сказывалось очарование Дягилева, сумевшего — по признанию Бенуа — «совершенно приручить и подчинить своей воле» Серова. «И подчинение это, — добавляет Бенуа, — зиждилось не на чем-то недостойном, не на "слабости" Серова, а на его честном, прямолинейном признании "Сережиного гения", для которого он, обычно такой осторожный и обдуманный, был способен на всевозможные жертвы»[32]. Стоит вспомнить апатическую фигуру Серова и его всегдашний скепсис, чтобы оценить эту победу «Наполеона» как своего рода Аустерлиц.

В литературном смысле Серов был полезен, как я уже упомянул, своим даром юмористики и меткого, злого слова. Но еще гораздо важнейшую роль удалось ему сыграть в самой судьбе журнала, который после первого года издания был на краю гибели, за отказом обоих издателей — Саввы Мамонтова и кн. Тенишевой. Как раз в это время Серов был приглашен писать портрет Николая II[33]. Сеансы длились очень долго, так как Серов имел обыкновение, сделав набросок, стирать его начисто и в следующий раз писать заново — до тех пор, пока работа не удовлетворяла его. Так и портрет Николая II был сделан в последний раз, кажется, на тридцать пятом или около того сеансе. Поневоле художник и его модель начали беседовать друг с другом. Между прочим, помню отрывок из этих бе-

сед, рассказанный Серовым в редакции. Зашла речь о финансах. «Я в финансах ничего не понимаю», — сказал Серов. «И я тоже», — сознался его собеседник... За долгие часы этих сеансов Серов имел время рассказать о журнале, его задачах и критическом положении. В результате последовало назначение субсидии из «собственных» средств по 30 000 руб. в год. Это дало возможность издавать журнал так изысканно, как он издавался, в течение следующих пяти лет, пока японская война не отняла этой помощи. Но тогда «мирискусники» уже сами охладели к своему делу, считая его исполненным, и, несмотря на представившиеся новые финансовые возможности, закрыли журнал.

Другим интимно-близким журналу лицом из среды художников был Константин Сомов или, в редакционном просторечии, — «Костя». Тогда еще совсем молоденький — даже не столько годами (родился в 1869 г.), сколько своей обманчивой наружностью (его известный автопортрет того времени очень схож), — «Костя» походил на мягкого и ласкового редакционного котенка. Казалось — вот-вот он замурлычет... К нему было трудно отнестись, как к взрослому, а между тем этот мальчик уже составил себе тогда имя за границей, и немецкие журналы печатали о нем восторженные статьи, где именовали его «der süsse Ssomoff»[34]. На родине Сомов не имел, разумеется, никакого успеха, и Репин печатно недоумевал, зачем этот, лично ему знакомый, совсем не глупый юноша напускает на себя вид какого-то идиотика в своей живописи (см. упомянутую выше статью Репина в «Ниве»)[35]. Теперь трудно понять психологию этого негодования — вообще трудно понять, что такого непонятного и «идиотского» было в изящно-умной живописи Сомова? Но если мы теперь этого не понимаем, то за это надо в значительной степени благодарить все тот же «Мир Искусства».

Рядом с Сомовым резкий контраст представлял изредка появлявшийся на редакционных собраниях Малявин. Насколько первый был мягко-светским, настолько второй выглядел только что пришедшим из общественных «низов» — каким-то почти бурлаком. Он и действительно пришел оттуда и лишь сравнительно незадолго до того выбился в культурный «верх». В его биографии есть много общего с биографией Горького — так же как и самая живопись Малявина в своем красочном переизбытке имеет что-то общее с литературной красочностью Горького. И на тогдашней внешности Малявина, казалось, оставалось еще что-то от афонского послушника, которым он был за немного лет...[36] В редакции его

очень ценили, и он был тоже «свой», как Сомов, — в то время как публика и критика с непостижимой слепотой не воспринимала его блестящей палитры или воспринимала, как какой-то красочный скандал, как своего рода художественное дебоширство. Великолепный реванш Малявина в Париже, где он получил на всемирной выставке 1900 г. высшую награду (grand prix) за картину, отвергнутую нашей Академией (первые его «Бабы»)[37], праздновался в «Мире Искусства», как «своя» победа.

Еще очень близок был журналу другой «Костя» — Коровин, тогда еще молодой, статный красавец южного типа. Его тоже «отрицали», и он не находил себе места на выставках. Его импрессионизм казался «разбрызгиванием» и чем-то не совсем серьезным — совершенно так же, как коротенькие рассказы Чехова казались в ту пору «ненастоящей» литературой. В то время Коровин был по преимуществу пейзажистом и автором декоративных панно, и его театрально-декорационный талант еще не развертывался с таким исключительным блеском, как впоследствии. Тогда он вряд ли даже и подозревал его в себе в таких размерах — так же как его будущий «антрепренер», Дягилев, не подозревал в себе организатора «мировых» постановок. Иногда бывал на собраниях и другой известный пейзажист — Аполлинарий Васнецов, уже и тогда удивлявший своей моложавостью, как удивлял ею долго потом. Имея за сорок (родился в 1856 г.), он смотрел моложе тридцати – как и после всегда хотелось сбросить ему лет двадцать. Молчаливый и сдержанный, он напоминал мне северной флегмой своего почти земляка — Мамина-Сибиряка. Он и Коровин — это были Север и Юг, в их контрасте.

Другим представителем Севера был только начинавший тогда Рёрих. В самой наружности Рёриха было что-то «скандинавское», что-то напоминавшее его картины: точно он был сделан из того серого, несокрушимого камня валунов, которого так много на его картинах. Его молодость была не молода, и как Константин Коровин, казалось, не мог состариться — так Рёрих родился пожилым.

Временами наезжал из Киева или с Кавказа Михаил Васильевич Нестеров, работавший тогда в абастуманском храме[38]. Уже прославленный картинами Владимирского собора[39], Нестеров встречал в редакционном кругу заслуженно-почтительное отношение. Тогда он смотрел настолько же старше своих лет, насколько теперь моложе[40]. Может быть, самая известность придавала ему этот оттенок «старшинства». Из всех художников, примыкавших к «Миру Искусства», он был, конечно, наиболее

признанным — кроме разве Левитана, но в смысле широты признания Нестеров превосходил и его. Поэтому появление Михаила Васильевича в редакции производило всегда известный эффект, и я помню, как испугался Мережковский, узнав, что в соседней комнате сидит сам Нестеров! В своем боевом темпераменте (столь противоположном «тихости» его картин), в стойкости и ясности своих взглядов Михаил Васильевич был и тогда таким же, каким мы знаем и чтим его теперь.

Среди «старших» уже совсем зеленой молодежью, почти отроками смотрели племянники Бенуа, два брата Лансере — старший Евгений, ставший известным художником «стилистического» типа, как и вся школа «Мира Искусства», и младший Николай — впоследствии архитектор. Очень похожие друг на друга, они легко принимались один за другого, и З.Н. Гиппиус уверяла, что их гораздо больше, чем двое, и что с каждым вечером «Мира Искусства» число Лансере умножается...

Врубеля и Левитана мне как-то не посчастливилось встретить, хотя они были очень близки журналу. Также Рябушкина и Якунчикову. Другие, как Малютин или Билибин, проскользнули в моей памяти без следа, хотя я помню, что встречался с ними.

Конечно, заметнее всех художников были на собраниях «Мира Искусства» супруги Мережковские. В те годы Дмитрий Сергеевич был в разгаре своих идей, изложенных в «Толстом и Достоевском», и никого не оставлял с ними в покое. Его необычайно звучный голос — настоящий голос оратора, — такой неожиданный для маленькой, щуплой фигуры, покрывал все другие голоса и свободно наполнял не только небольшие сравнительно комнаты на Литейном, но и более обширные покои парадной квартиры на Фонтанке, № 11, куда редакция переселилась с 1900 г. Впечатление еще усугубляла эффектная фигура Зинаиды Николаевны, казавшейся живым воплощением исповедуемого журналом художественного модернизма. Ее острые реплики и очередные женские шпильки всегда умели поддержать красноречие супруга...

Перед четой Мережковских совершенно стушевывался идейный конкурент Дмитрия Сергеевича — Розанов, незаменимый собеседник tête-à-tête, но робкий в большом обществе. В «Мире Искусства», особенно в первые годы, Розанова стеснял уже самый состав собраний и даже обстановка квартиры. Не забуду первое посещение им редакционного вечера, еще на Литейном. Появление Василия Васильевича произвело эффект, и весь вечер внимание было устремлено на него. Но сам он был реши-

тельно сконфужен. Главное, его смущало, что он, тогда еще очень консервативно настроенный и хорошо сохранившийся провинциальный «дичок», попал на вечер к «декадентам», которые неизвестно еще как ведут себя. Подозрительно оглядывался он по сторонам, как бы ожидая появления чего-нибудь неподобающего... Особенно его взоры привлекала висевшая посредине кабинета Дягилева резная деревянная люстра в форме дракона со многими головами. По окончании вечера мы пошли с ним вдвоем по Литейному. «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо сказал он и, помолчав, прибавил: — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Консервативный и благодушно-старомодный Страхов был для Василия Васильевича в те годы руководящим идеалом[41]. Однако время шло, и постепенно Василий Васильевич убеждался, что на Литейном, 45 ничего особенного не происходит, что страшная люстра висит спокойно на своем месте и эти «декаденты», пожалуй, вовсе не такие развратители и потрясатели всех основ, какими их воображали и изображали в кругах, где он до тех пор вращался. А так как именно в «Мире Искусства» встретил Розанов первое серьезное внимание к своим, тогда еще новым, идеям и пугавшей его самого сексуальной философии, то немудрено, что, забыв Страхова, он стал все чаще и чаще бывать «у них» — пока не акклиматизировался совсем в семирамидиных садах.

Но все-таки из всех посетителей и обитателей дягилевской квартиры Розанову была, кажется, милее всего одна, мало замечаемая другими особа. Эта особа была старая нянюшка Сергея Павловича[42] — настоящая, очень стильная «Арина Родионовна», как мы ее, конечно, тотчас же прозвали, — обыкновенно скрывавшаяся во внутренних помещениях квартиры, но иногда, когда бывало мало народа, появлявшаяся в столовой, чтобы разливать чай. И чай казался вкуснее с ее появлением, и всему придавался какой-то благодушно-патриархальный оттенок. Арина Родионовна, с ее коричневыми одеждами и неторопливыми движениями, вносила в столичную и «декадентскую» квартиру Дягилева отпечаток и уют старопомещичьей усадьбы. Это впечатление еще усиливалось, когда сам хозяин иногда, сложив с себя «наполеоновское» обличие, появлялся за чайным столом попросту в обломовском халате — правда, изящно цветистом — и оживлял беседу каким-нибудь забавным эпизодом из превосходно ему известной великосветской хроники или какой-нибудь интересной новинкой из области все того же, никогда не забываемого «мира искусства».

Трудно представить себе, с какой ненавистью был встречен журнал и вся деятельность кружка среди «старомодных» элементов художественного мира, а через их воздействие и в широкой публике. Впрочем, эта последняя мало знала журнал, и он оставался органом культурных верхов — «сливок» даже столичного общества. В лучшие годы число подписчиков едва переваливало за тысячу, так что если бы культурное дело можно было измерять меркой количества, то «Мир Искусства» не стоило бы издавать. Но теперь его издание остается прекрасным примером того, что культурная новизна приходит в мир через категорию качества, лишь постепенно переходя в категорию количества... С самых первых шагов на журнал был налеплен ярлычок «декадентства» — совершенно так же, как на первых символистов, и Дягилев смеялся, что он стал декадентом по должности и при его имени этот титул разумеется сам собой. «Говорят всегда “градоначальник Клейгельс”, и никто не скажет просто Клейгельс, — так же про меня никто не говорит просто Дягилев, а непременно декадент Дягилев». Такая встреча предопределяла позицию журнала, и позиция эта стала боевой в значительной мере помимо воли самих бойцов. «Не будь ничем еще не вызванного вопля вокруг, — говорит Бенуа, — мои товарищи едва ли сами пожелали бы бросать вызовы обществу. Большинство из нас были скорее склонны к известному уюту»[43]. Но было не до уюта, когда по всем журнальным страницам и газетным столбцам шел непрерывный грохот «обличительной» канонады. Можно было подумать, что совершается какое-то длящееся общественное преступление или открытое бесстыдство. Когда теперь вспоминаешь эту яростную ненависть, недоумеваешь, чем и как она могла быть вызвана? Но тут просто старое чувствовало, что пришел его конец и пора умирать...

В числе особенно ярившихся был, конечно, Стасов, для наивно-утилитарных взглядов и мнимого «национализма» которого культурно-эстетический космополитизм «Мира Искусства» был «тузовой» (стасовский любимый эпитет) нелепостью. Стасову вторил из подвалов «Нового времени» Буренин, каждую пятницу подымавший оттуда оглушительный лай. Старые враги примирились на этой новой вражде, и маститый «тромбон» (популярное тогда прозвище Стасова, приклеенное ему именно Бурениным) сочувственно аккомпанировал буренинскому лаю. Последний же становился все неистовее и к весне 1899 г. дошел до таких высоких нот (обвинение в присвоении денег и т. п.), что Дягилев, не обладавший «смирным» характером поэтов и критиков, решил прервать его... В пят-

ницу на страстной неделе появился особенно «завывающий» фельетон Буренина[44], а в ночь на светлый праздник, перед самой заутреней, Дягилев и Философов посетили квартиру Буренина — отнюдь не для пасхальных поздравлений... Кратко объяснив вышедшему хозяину цель визита, Дягилев бывшим у него в руке цилиндром нанес ему по физиономии вразумляющий удар, и затем оба посетителя спокойно удалились под крики и ругань бесновавшегося на площадке лестницы Буренина[45]. В каком настроении встретил последний наступивший праздник, история умалчивает, но интересно, что с тех пор в буквальном смысле «как рукой сняло»: все нападки вдруг прекратились, и Буренин точно забыл о существовании «Мира Искусства». Такой уж это был «писатель»...

На столбцах того же «Нового времени» вел упорный поход против «Мира Искусства» некто Косоротов. Любопытная судьба этого человека не лишена трагизма. Косоротов появился в северной столице как раз в зиму 1898—1899 гг. откуда-то с юга (кажется, из Ростова-на-Дону)[46], где он был учителем. Появился без определенных целей и, казалось, без всяких данных для особого успеха. Но тут, как это иногда случается, слепая от века Фортуна внезапно стала осыпать пришельца своими дарами. Попав как-то (чуть ли не через Розанова, у которого он часто бывал) в сотрудники «Нового времени», Косоротов явился там, непредвиденно для самого себя, художественным критиком. Совершенно невинный в вопросах искусства, с провинциальной наивностью и апломбом невежды, он стал последовательно «разносить» и выставки «Мира Искусства», и журнал. Только «Новое время» могло печатать эту самоуверенную ерунду, автор которой, впрочем, скромно подписывался «Сторонний». Газете он так пришелся по вкусу, что скоро стал и ее воскресным фельетонистом, сделав, таким образом, в самый краткий срок блестящую и столь же неожиданную карьеру столичного журналиста. Для «Мира Искусства» это был, как Ганнибал для Рима, самый опасный противник: цилиндром тут нельзя было аргументировать, а спорить «как следует» с развязной обывательщиной Стороннего не было почти никакой возможности: «пули и гарпун входили в тело осьминога, как в кисель» (как говорится где-то у Жюля Верна)[47]. К счастью, судьба продолжала покровительствовать своему избраннику, и весной 1899 г. Косоротов оказался уже парижским корреспондентом «Нового времени», вряд ли зная даже толком французский язык. Художественная критика Стороннего поневоле оборвалась, и «Мир Искусства» вздохнул свободнее...

Но интересна дальнейшая судьба Косоротова. Не догадавшись вовремя бросить в море или хоть в Сену Поликратов перстень[48], он скоро испытал на себе все коварство той же Фортуны. За что-то газета на него рассердилась, и он так же внезапно увял, как раньше расцвел. Вернувшись в Россию, он тщетно стучался в замкнувшиеся двери «Нового времени»... К счастью для него, в это время в суворинской газете произошла внутренняя катастрофа: один из сыновей старика А.С. Суворина, Алексей Алексеевич, любимец отца и главный редактор «Нового времени», поднял восстание Люцифера и, отложившись от родителя и всех дел его, основал свою собственную, сперва славянофильскую, но скоро ставшую благоразумно-радикальной газету «Русь», куда попал и Косоротов, снова в роли художественного критика[49]. Однако пережитая встряска, а главное — знакомство с заграницей пошли ему на пользу, и он стал совсем другим — более тусклым и малоинтересным, но вполне порядочным. «Мир Искусства» он теперь уже почтительно хвалил... Судьба еще раз побаловала Косоротова, послав шумный успех его поверхностной, хотя не без ловкости сделанной пьесе «Весенний поток»[50], написанной под сильным воздействием розановских сексуальных идей. Но и театральные успехи оборвались, а там подоспела болезнь (горловая чахотка) и с ней нужда — и былой счастливец кончил самоубийством, повесившись на оконном шнуре...

Возвращаюсь к «Миру Искусства». Весной 1901 г. Дягилев, зная мои близкие отношения с Брюсовым, просил меня привлечь его к журналу. Я передал это предложение Валерию Яковлевичу (письмо от 3 апреля 1901 года), сообщив ему, вместе с тем, какие статьи желательны журналу. «На первый раз» Брюсову было предложено написать возражение на статью С.А. Андреевского «Вырождение рифмы», помещенную тогда же в «Мире Искусства»[51] и трактовавшую об упадке поэзии, — тема, весьма задевавшая Брюсова. Затем предлагалась тема о Фете (о нем после Брюсов тоже дал статью в журнал)[52] и, наконец, любые темы историко-биографического характера «об эпохе Тютчева, Боратынского и проч., или критического о них самих». «Вообще, — писал я, — журнал не стесняет Вас отнюдь в материале и темах. Единственное возможное недоразумение — различие во взглядах на поэзию Алекс. Добролюбова, Коневского и пр. Но ведь согласитесь, что поэты эти поистине на охотника»[53]. Оговорюсь, что это последнее ограничение шло не от меня, а было действительно выставлено Дягилевым, слишком трезвым для соблазнов оте-

чественной фабрикации. Брюсов не замедлил ответом: «Спасибо за передачу предложения С.П. Дягилева, — писал он (ответ получен 7 апреля). — Вы, конечно, знаете, что мне оно очень желанно. Кстати — совпадение. По поводу статьи Андреевского я непременно хотел писать; очень уж вопрос близок моему сердцу. И помышлял я предложить свою статью именно Миру Искусства. У меня столько готового, уже решенного о поэзии, стихе и рифме, что я мог бы написать возражение Андреевскому в два-три дня, будь только у меня под рукой его статья. Очень буду ждать корректурных листов. Я ответил Дягилеву немедленно по получении Вашего письма». В следующем письме (получено 20 апреля) он извещал об отправке «завтра или послезавтра» ответа Андреевскому и, конечно, горячо защищал Добролюбова («Что значит “нелитературность”? Как провести здесь грань?» и т. д.)[54]. Так орел «Мира Искусства» (эмблема журнала — создание Бакста) собирал постепенно птенцов символизма под свои мощные крылья...

Закончу стихотворными шутками, которыми обменялись мы с З.Н. Гиппиус за счет «мирискусников» и их «Наполеона». Намеки почти все будут ясны читателю после предыдущих страниц. Добавлю только, что середина моего ответа имеет в виду некоторые грамматические вольности дягилевских писаний, а конец описывает, в несколько гиперболической форме, ожидаемое воздействие писаний Мережковского:

1. ПОСЛАНИЕ З.Н. ГИППИУС[55]

«Га! Петушья у меня нога!»

Народами повелевал Наполеон,
И трепет был пред ним великий.
Герою честь! Ненарушим закон!
И без надзора — все мы горемыки.

Курятнику—петух единый дан.
Он властвует, своих вассалов множа.
И в стаде есть Наполеон: баран.
И в Мирискусстве есть: Сережа.

2. МОЙ ОТВЕТ

«Взбранной Воеводе победительная»

Когтистых эпиграмм колючие словечки —
Хоть злы вы, но боюсь, не дать бы вам осечки!
Велик Наполеон, «велик, могущ и...» ясен
И в ясной полноте внушительно-прекрасен.

Пять маршалов вокруг, и каждый — Ваш Мюрат
(Хоть ноги не у всех незыблемо стоят)...
Но все, что свершено Атлетом олимпийским,
Прилично ль воспевать стихом александрийским?
Он встал — и пленены российские Камены.
И пали перед Ним классические стены.

Напрасно Косорот с упорством безрассудным
Перегрудить пути воителям мнил чудным,
Напрасно грохотал проржавевший Тромбон, —
Уж в Академии ему готовят трон.
И дабы зреть Его для всех была отрада —
На шпиле сядет Он, как белая Паллада.

Как бел, как смел, как тверд, как горд Наполеон!
В бою с грамматикой как беспощаден он!
Ни в чем не изменив привычке радикальной,
И с нею он чинит эксперимент скандальный:
И дательный падеж (сам внутренно смущен)
Глагол «негодовать» любить воспринужден...

Игрива и мила художества затея,
Но малый тесен круг для мощи чародея.
Он зрит — печален вид журнальных пустырей:
Кругом волчец и терн, крапива и пырей, —
И над пустынею, как мерзостный шакал,
Один господствует надменный либерал.

Он рек — и потекли критические воды,
И к брегу собрались на водопой народы.
Страшится либерал, ликует богослов,
И тщится заглушить глас трубный рев ослов.
А в тихом далеке, сквозь сонм оруженосцев,
Уж улыбается папа́-Победоносцев...

Так, восторги приумножа,
С Мирискусством пополам,
Вопием к небесам:
«Виф, Сережа!»

1901 г.
10 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Часть II

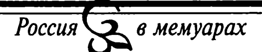
Глава I
На стыке двух веков

Переход от XIX-го века к XX-му — от конца 90-х годов к 1901—1903 годам — был не просто календарной сменой, а чем-то объективно значительным, объективно ощущаемым. По крайней мере, так почувствовали его такие компетентные в данном случае судьи, как оба поздние лидера русского символизма — Блок и Андрей Белый, ныне уже покойные.

Оба они, и Блок в особенности, усматривали даже во внешних проявлениях природы за те годы что-то особенное и не повторявшееся. «О, какие то были годы!» — восклицает, вспоминая их, Блок[1]. В пышных вечерних зорях тех лет (создавшихся, по-видимому, вулканической пылью тропических извержений) они искали и находили предвестия и символы своих ожиданий. Приближавшееся начало нового, XX, века казалось им давно желанным совершением этих ожиданий. Да так же были настроены многие из старших поколений. Так писал мне о своем, уже заранее близком и дорогом ему XX веке задыхавшийся в глубинах «позитивного» XIX столетия Д.С. Мережковский[2]. Такова была нервная приподнятость тогдашней столичной интеллигенции — по крайней мере, северной столицы. Но совершенно иными были настроения «там, во глубине России», царила еще воспетая поэтом «вековая тишина»[3]. В застое тогдашней приволжской провинции, где мне довелось проводить свои студенческие годы (в Казани, которая, несмотря на свой университет, не имела еще даже железной дороги!), мы, молодежь, были настроены крайне пессимистично относительно нашего будущего. «Под-

мороженная» за годы Александра III Россия, казалось, никогда не оттает. «Ход назад» все более развивался: по углам шептались уже о возможности восстановления крепостного права, и одной из любимых тем наших студенческих бесед и споров был именно больной вопрос нашего ближайшего будущего: уж очень обидно казалось оставаться в безвыходном недоумении и неясном ожидании чего-то несбыточного. К тому же никак нельзя сказать, чтобы наши ожидания носили (у большинства) определенный характер. Вспомним, что ведущая роль в русской интеллигенции тех годов (в особенности в провинции) принадлежала еще народникам, которые сами были весьма неясны. Одно только было ясно: так дальше не могло продолжаться. Нужна была перемена; даже более того, нужен был *перелом,* и не только календарный. «Le nouveau siècle porte-malheure»[4] — жужжали вокруг нас «опытные» осенние мухи. Но мы не хотели им верить. Мы думали, «выпадет же какой-нибудь золотник счастья и на нашу долю». И теперь, когда жизнь развернулась диаметрально противоположно карканью белых ворон, — оглядываясь назад, видишь всю напрасную угрюмость нашего юного пессимизма и его блистательное опровержение реализмом истории. Поистине, история не всегда бывает обманщицей!

Само собой разумеется, что, вместе с первыми проблесками какой-то новизны, наметились и новые движения в литературе, встрепенувшейся с переменой царствования. Появились такие «новаторские» издания, как тогдашний «Северный вестник», которому только безграничное самолюбие редактора Волынского, не допускавшего в своем журнале не только какой-либо конкуренции, но даже простого расхождения во взглядах, помешало занять вакантное место выразителя новых течений. Гораздо лучше исполнял эту провиденциальную роль литературный отдел дягилевского «Мира Искусства», руководимый Д.В. Философовым. И все-таки целому ряду свежих писателей, характеризовавших собою происходивший в глубинах психологический сдвиг, просто *негде* было печататься. Этим объясняется тот единственный в истории русской журналистики, прямо сказочный факт, что наконец создался целый «толстый» ежемесячный журнал[5], в котором все участники, начиная с «тройки» редакторов (Мережковский, Гиппиус и я) и кончая многими, даже почти всеми, «случайными» сотрудниками, работали совершенно бесплатно, только ради того, чтобы дело могло двигаться.



Глава II
Сближение полюсов

Самым своеобразным и самым новаторским фактом в жизни нашей тогдашней интеллигенции можно признать неожиданное сближение двух крайних элементов этой интеллигенции (в обширном смысле последнего термина — беря не только «светскую» часть, но и «духовную»). Никогда еще за оба века существования у нас культурного общества, в собственном смысле, т. е. с Петра I, не наблюдалось ничего подобного. Обе половины — как та, которая была связана в своих корнях с Университетом, так и та, которая уходила корнями в допетровские еще слои церковной культуры и духовных академий, — обе были совершенно изолированы друг от друга, мало даже знали друг друга и еще менее друг другом интересовались. Симеон Полоцкий и Ломоносов могут быть названы как представители этих двух различных типов русского просвещения, и никто еще не пытался перекинуть какой-нибудь мост между этими двумя устоями. Казалось, что здесь даже не может возникнуть самого вопроса о сближении, и обе стороны, как светское просвещение, с одной стороны, так и церковное, с другой, как сама церковь, навсегда стали друг для друга «иностранцами». Впервые в этот момент, о котором идет речь, как будто стала намечаться какая-то возможность если еще не сближения, то по крайней мере взаимной заинтересованности. С одной стороны, церковные элементы устали в своей изолированности и отчужденности от жизненно свежих слоев; с другой — эти последние почувствовали недостаточную углубленность своих теоретических позиций и потянулись к какому-то их расширению. Поэтому когда поздней осенью первого года нового столетия — в октябре—ноябре 1901 года — частное собрание, которое уже года 2—3 волновалось на вечерах и «журфиксах» культурных верхов Петербурга, как-то неожиданно для самих себя — вышли[6] на улицу (конечно, очень условную, столичную улицу), то они нашли перед собой, как самый актуальный вопрос момента, этот факт взаимного приближения оторванных друг от друга полюсов. Трудно теперь даже установить, кому впервые пришла в голову эта идея «расширения горизонтов», но она настолько носилась в воздухе, что с необычайной легкостью перешла в факты. И не только для «мирской» стороны, столь привычной к «словопрениям», но и для духовной, казалось бы совсем застывшей в безмолвии, открылся неожиданный «выезд в свет».

В это время ходил по рукам и волновал умы замечательный реферат одного совершенно неизвестного (и так и оставшегося неизвестным для большой публики) молодого светского богослова *Валентина Александровича Тернавцева* (1866—1940) «Русская церковь перед великой задачей». Этот реферат в дальнейшем послужил вступительным докладом для возникавших уже, как весенняя трава из почвы, «религиозно-философских» собраний[7]. Собрания эти никто нарочито не основывал (позднейшее утверждение Мережковского, будто их учредила — так же как и журнал «Новый Путь» — супруга Дмитрия Сергеевича — поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская, не более как супружеское увлечение). Они стали складываться как-то сами собой, можно сказать, стихийно, как своего рода разросшийся журфикс. На эти собрания шел и ехал всякий, кого они могли интересовать своими темами: никаких особых разрешений или пропусков не требовалось. Но народа набиралось столько, что огромный зал Географического общества у Чернышева моста на Фонтанке не мог вместить всех желающих[8]. Появились, конечно, и свои лидеры, влиятельные ораторы, из которых самым блестящим был *Дмитрий Сергеевич Мережковский* (род. 1865 — умер?)[9], весьма популярный тогда поэт и романист, автор всесветно известных романов «Смерть богов» и «Воскресшие боги», проповедовавших некое не совсем ясное «соединение язычества и христианства». «Самым блестящим», но отнюдь не самым любимым, ибо, при всем своем огромном идейном влиянии, Д.С. совсем не пользовался личными симпатиями — точно «ледяное сердце» этого проповедника религии любви закрывало всякий личный к нему подход. Гораздо популярнее, особенно в церковных кругах, был вышеназванный В.А. Тернавцев, производивший своей искренностью и глубокой верой в свои слова временами огромное впечатление. Наконец, третий лидер собрания, волновавший своим интимным «шепотком» сердца едва ли не больше всех других, был *Василий Васильевич Розанов* (1856—1919).

Внешняя организация Собраний оформилась в виде номинально ответственного Совета, состоявшего из пяти следующих членов:

1) Председатель — епископ Сергей Ямбургский (1867—1944), тогда первый викарий петербургской митрополии и ректор петербургской духовной академии — тот самый, который впоследствии стал вторым патриархом моско[вским] и всея Руси.

2) Д.С. Мережковский.

3) В.В. Розанов.

4) В.А. Тернавцев.

5) Виктор Сергеевич Миролюбов — тогда редактор небольшого популярного журнала, «Журнал для всех», очень распространенного в провинции[10], в котором близкое участие принимали Чехов и Горький.

Уже сам этот состав красноречиво говорит о характере и целях Собраний. Едва ли был у нас другой коллективный орган, с таким разнохарактерным президиумом, где заседали рядом видный церковный деятель, крупные светские писатели и, наконец, богослов и доброволец, близкий — свой для всех своих сотоварищей.

Первое заседание Собраний состоялось в конце ноября (старого стиля) 1901 г. Случайно у меня сохранился список присутствовавших на нем, тогда еще не очень длинный.

Вот этот список:

1. Председатель — епископ Сергей Ямбургский.

2. Другой Сергий — архимандрит и ректор петербургской духовной семинарии.

3. Д.С. Мережковский.

4. Гиппиус-Мережковская, поэтесса, супруга Д.С.

5. Розанов В.В.

6. Розанова Варвара Дмитриевна, его жена.

7. Тернавцев Валентин Александрович.

8. Тернавцева Мария Адамовна, его жена.

9. Миролюбов В.С.

10. о. Иоанн Лисицын, священник[11].

11. о. Николай Альбов, священник[12].

12. Альбова, его жена.

13. Егоров Ефим Александрович, секретарь собраний, писатель газетного типа (впоследствии специалист по вопросам внешней политики).

14. Фурнье.

15. Меньшиков Михаил Осипович, писатель.

16. Фрибес Ольга, беллетристка.

17. Перцов Петр Петрович, писатель.

18. Минский (Виленкин) Николай Максимович — поэт .

19. Князь Эспер Эсперович [Ухтомский], поэт, редактор газеты «Петербургские ведомости».

20. Философов Дмитрий Владимирович, писатель, помощник редактора журнала «Мир Искусства».

21. Протейкинский Виктор Петрович.

22. Скворцов Василий Михайлович, чиновник духовного ведомства.

23. Скворцова, его жена.

24. Успенский Владимир Васильевич, профессор Петербургской духовной академии.

25. Успенский Василий Васильевич, преподаватель Петербургской духовной семинарии.

26. Щербов Иван Павлович, то же.

27. Бриллиантов, то же.

28. Новоселов Михаил Александрович, светский богослов.

29. Колпинский Александр Егорович, владелец типографии в Петербурге[13].

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
(Из литературных воспоминаний)

1. Метеорный поток

Тридцать лет (с середины пятидесятых и до середины восьмидесятых годов) в России не писали стихов (кроме немногих «избранников»), а если и писали, то стыдясь и таясь, как тургеневский Нежданов[1]. Или же писали что-то особенное: похожее скорее на простонародный эпос, чем на «интеллигентную» лирику, как у Некрасова последних его годов. И только такие стихи разрешались тогдашней литературной совестью: народничество сознательно и бессознательно окрашивало всю жизнь. Разрешались и благословлялись еще «гражданские» обличения, по примеру того же Некрасова и всесильного целых тридцать лет в умах юноши-Добролюбова, но отсюда уже никак не могло получиться удовлетворения смутной жажде ритмического выражения.

Тургенев, конечно, сочинил своего Нежданова — в том смысле, что в семидесятые годы такой тип вряд ли был еще выражен и, во всяком случае, не характерен для эпохи. Однако творец «Нови» и не вовсе сфантазировал: он просто предугадал «новь» следующего всхода, оправдав в этом случае, может быть ярче, чем когда-нибудь, свою боборыкинскую репутацию «ловца моментов». Именно начало восьмидесятых годов — эпоха Гаршина и Надсона — типичная эпоха Неждановых. Тогда опять понемногу стали вытаскиваться из дедушкиных бюваров и наследственных письменных столов заветные альбомы, альбомчики, тетрадки в старых переплетах, и что-то в них уже строчилось и «маралось», хотя еще тщательно пряталось... Психология эпохи удивительно ярко выразилась в Надсоне, и он недаром имел свой грандиозный успех. По существу, Надсон, конечно, лирик, вполне субъективная натура, и ему лучше всего удаются чисто лирические «невинные» излияния, вроде: «Тихая ночь в жемчуг росы нарядилась»...[2] Но ему не хватало смелости быть самим собой, петь так, попросту, что Бог вложил в душу. И вот, он тщится быть

гражданским певцом, старается продолжить некрасовскую традицию, понимая ее самым наивным образом в форме обличительного «нытья». «Идеал» и «Ваал»[3], «Ночь вокруг чересчур уж темна»[4], «Пойдем в бой с тяжелой мглой»[5]; ему просто нечего сказать, потому что он не говорит того, что хочется. И лирика его остается простой формой, наполненной чужим (и прозаическим) содержанием.

В середине восьмидесятых годов случилось, наконец, долгожданное событие: в литературу пришел поэт, который осмелился, *снова* осмелился быть «просто поэтом», «бессознательным» певцом. Конечно, эта поэзия была элементарна и наивна, но чего вы хотите? — ведь тридцать лет перерыва. То, что конфузит нас своей «банальностью» теперь, — тогда показалось совсем неожиданным, радостно-облегчающим. Точно птичья трель, легко, беззаботно раздались вдруг на всю читающую Россию эти «звуки»:

Звезды ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные...[6]

Впечатление было громадное: все простодушные «любители поэзии» подняли головы. Вдруг оказалось, что можно еще воспевать, *опять* воспевать звезды и цветы, «лепестки атласные» и «листы изумрудные». В подробностях никто не разбирался, никто не замечал ребячливости психологии, стертости эпитетов, всей несерьезности этого искусства. Помилуйте: до таких ли было разборов, когда вся прежняя блистательная художественная культура за десятилетия варварства была вконец разрушена, и, наконец, просто позабылось, чтó поэзия и чтó не поэзия. Я помню еще эти споры: можно или нельзя воспевать бабочку? (Фофанов в одном из своих ранних стихотворений взял эту тему) — или же необходимо «влагать содержание»? Тут, для задачи раскрепощения, нужен был именно поэт, не знавший никакой культуры и спокойно начавший «с самого начала»:

Звезды ясные, звезды прекрасные...

С этого момента плотина была прорвана — и поток весеннего лиризма хлынул сквозь обессилевшие преграды. Любопытно, что «принципиально» — по редакциям журналов, и особенно в литературной критике — еще долго требовали патент «содержания», но фактически перья новоявленных поэтов писали уже «что хотелось». А хотелось больше всего так же

просто и беспечно, «по-фофановски», воспевать бабочек и цветы, свои юные, отроческие получувства, не влагая в них никаких еще не пережитых переживаний — петь «без борьбы, без думы роковой»... Бальмонт и Брюсов еще не мерещились тогдашней литературе, и она не подозревала своего завтрашнего дня. В стороне стояли уцелевшие крупные представители прошлого: еще горели «вечерние огни» Фета, еще слышался порою «вечерний звон» Полонского. К «старикам» явилось опять внимание и любовь, но замечательно, что они воспринимались в сущности по-отрочески — как своего рода Фофановы большого размера.

В одной тогдашней поэме Полонского — «Разговор», слабой, как все его поэмы после «Кузнечика», уже отмечен начинавшийся стихотворный потоп, о котором там есть такие строки:

Все это пето, перепето,
Все это пахнет музой Фета
Иль музой Тютчева...[7]

Собственные имена взяты здесь совершенно неверно. Конечно, имя Фофанова не уложилось бы в стих, да оно было и слишком чуждо старику Полонскому, но психологическая точность требовала бы упоминания именно этого имени. Фет и тем более Тютчев были «учителями» разве лишь номинально. Еще первый кое-что давал в смысле школы своими ранними стихами (так называемый «Фет 63 года», т. е. Фет, как он представляется двухтомным, резюмирующим сборником издания 1863 года). Но Тютчевым и тем же Фетом «Вечерних огней» оставалось только покорно восторгаться (тогда вновь были открыты эти «восторги поэзии», утерянные с 40-х годов), — в сущности, вовсе их не вмещая.

Наступила лет на десять «эпоха Фофанова». Я думаю, со временем этот термин утвердится в истории русской поэзии. Несомненно, что между Надсоновским моментом (1883—1887 гг.) и моментом ясного выявления символического течения (1895 г.) мы имеем особую полосу русского стихотворчества с совершенно определенными чертами. Я бы назвал ее порой позднего отрочества и ранней, совсем ранней, голубой и розовой юности — такой, каков характер фофановских стихов: «Под напев молитв пасхальных» и т. д.[8]

Пожалуй, формально тут есть нечто общее с молодым Фетом «63-го года» («Печальная береза у моего окна»[9] и т. д.), но у Фета вы уже тогда чувствуете, что переживаемый момент не исчерпывает всей психики по-

эта, что будет «продолжение». Напротив, Фофанов удивительно самозамкнут в этих ранних своих стихах. По однотонности всех его первых опытов чувствуется, что он уже исчерпал себя, что апрельским-майским днем кончится этот расцвет. Так это и случилось для главы школы и так еще более для остальных ее участников: это была пора каких-то литературных эфемерид, мгновенно загоравшихся на всех точках литературного неба, манящих огоньков, которые так же быстро и гасли, не сдержав обещаний. Русская литература в этот момент точно вступила в «поток Леонид», в какой земля вступает иногда в поздние дни июля: еще недавно небосклон поэзии был черен и бесплоден — теперь он весь звездился искрометными «надеждами». Казалось, вот-вот появится крупный поэт, и который-нибудь из огоньков разгорится до степени первоклассного светила. Этого не случилось — и теперь ясно, что и не могло случиться: печать непоправимой незрелости лежала на всех дебютантах; они решительно не умели расти. Для возможности роста нужно было сложное духовное содержание: ведь все-таки подходил конец столетия и не даром же прошло это столетие Пушкина и Достоевского для русской души. Это содержание сумела найти следующая поэтическая генерация, но сами «фофановцы» могли только промелькнуть в садах поэзии, как весенний «белокрылый мотылек». Их роль была в сущности *реставраторской*: они вернули потерянные права поэзии, они засвидетельствовали возможность писать о мотыльках.

Может быть, эта невинность облика вызывала и сравнительно сносное отношение к ним в тогдашней, столь нетерпимой журналистике и критике. На них смотрели полуснисходительно, полупрезрительно, как на явление почти не литературное, во всяком случае, не относящееся к серьезной литературе.

В радикальных журналах стихи еще со времен Салтыкова печатались, как известно, лишь «на затычку» (пустых между статьями страниц); в остальной печати их ценили как будто больше, но, в сущности, отношение всюду было на той же этической, а не эстетической подкладке. И это еще в лучшем случае, так как в худшем (и самом распространенном) к стихам просто не относились серьезно. Отчасти этой легковесности способствовала уже и самая многочисленность внезапно объявившихся парнасских кандидатов, число которых увеличивалось с каждой неделей. Получалось невольное впечатление, что писать стихи вовсе уж не так затруднительно, и поэт — что-то вроде литературного кустаря.

Правда, что и писались тогдашние стихи слишком по-кустарному — еще в формах «домашнего производства». Не было и подозрения о сложной требовательности культурной поэтики — о тех ухищрениях, которые скоро открыли ближайшие десятилетия «городского» творчества. Все сводилось к первобытному «вдохновению», и от всех стихов той поры отдает какой-то «сыростью», чем-то недоношенным и недоделанным.

В моих старых письмах 1892—1893 гг., когда я сотрудничал в «Русском богатстве» под редакторством Н.К. Михайловского, нахожу довольно смешной рассказ о своей попытке «провести» в журнал стихи одного из «начинающих», Д.П. Шестакова, — стихи «чистого» характера (тогда различались «чистые» и «утилитарные»). Попытка была построена именно на «затычном» отношении к поэзии «первенствующего русского критика», каким почитался в те годы Н.К. Михайловский. Тем не менее она провалилась: «Нет, и на затычку надо бы что-нибудь подходящее», — гласил решающий ответ, сказанный самым серьезным тоном. «Подходящим» оказалось мое стихотворение «Завещание другу», где друг приглашался прийти на мою могилу, когда в «отчизне» воссияет свобода:

И, став над могилой моей,
Воскликни ты трижды: «Свобода!
Свобода в отчизне твоей».

Стихотворение всерьез нравилось Михайловскому, и он очень жалел, когда цензор вычеркнул его (к счастью) из книжки журнала. На этом примере можно видеть, каково было конкретное отношение «правящих» в тогдашней журналистике сил к стихотворному вопросу. Понятна исторически необходимая роль Фофанова и «потока Леонид», которые в конце концов просто «очистили» атмосферу.

2. Молодая поэзия

К половине 90-х годов положение определилось: с одной стороны туча эфемерид, пестривших все небо; с другой — мудрецы-звездочеты, не желавшие направлять на нее свои телескопы. Молодая поэзия представлялась каким-то внебрачным ребенком в российской литературной семье: ее видели, но не замечали. В этих условиях невольно рождалась мысль подвести хоть какие-либо итоги новому движению, чтобы вызвать этим пробуждение общественного внимания. Такова была цель, с которой я и мой,

ныне уже покойный, двоюродный брат (сконч[ался] в августе 1921 г.) Владимир Владимирович Перцов приступили к составлению антологии «Молодая поэзия». Сборник вышел в феврале 1895 года (в количестве всего 800 экз.), и в предисловии его говорилось: «Цель настоящего сборника (первого в своем роде) представить критике и публике материал для общего суждения о характере, достоинствах и недостатках нашей молодой поэзии, столь мало популярной и, в сущности, столь мало известной. Составителям казалось, что пора бы — оставив в стороне дешевое издевательство и огульное осуждение — взглянуть серьезно и беспристрастно на новую полосу русской поэзии, в которой — как бы то ни было — заключается ее будущее». Таким языком приходилось в то время писать о бедной Сандрильоне[10] — русской поэзии. Но, конечно, мы понимали уже, выпуская сборник, что отнюдь не отводим от себя этим смиренным приглашением критических громов, а, наоборот, притягиваем их на свою голову...

Сборник вызвал большое волнение в кругу молодых поэтов — по крайней мере петербургских, на глазах у которых, можно сказать, он составлялся. Делались попытки «помочь» работе, но мы твердо отклоняли их, желая удержать независимость суждения. Худо ли, хорошо ли, но работа была своя, и хотелось оставить ее за собой. За пограничный рубеж сборника мы признали возраст 40 лет, как по «круглости» цифры, так в особенности потому, что таким образом в сборник попадал Н.М. Минский, который как раз тогда подошел к этой черте (род. в 1855 г.), — а и тогда уже было ясно, что с Минского начинается в молодой поэзии что-то новое и, следовательно, без него не обойтись (я думаю, теперь можно считать установленным, что именно с Минского начался наш стихотворный символизм). Этот высокий возрастный ценз дал впоследствии критикам, и особенно тому же Михайловскому, легкий повод для «острословия» и «опровержений» («сорокалетний генерал или министр, конечно, молоды, но это потому, что они fiunt, а поэты ведь nascuntur» и т. п. — тогда это считалось «критикой»). В сборник вошли 42 поэта — и, отбросив всех возможных кандидатов на букву «А» (благо, это можно было сделать без особого нарушения справедливости), мы начали сборник прямо с Бальмонта, тогдашнего Бальмонта, в котором опять-таки чудилось что-то «странное» и новое. Это был Бальмонт его первого столичного сборника «Под северным небом»[11] — Бальмонт еще «скандинавского» облика, в котором видели чуть ли не ученика Ибсена. Но он уже выработал себе тогда длинные напевные строки со срединными рифмами («Как живые изваянья, в

искрах лунного сиянья»...), и вот в этом-то напеве чувствовалось нарушение фофановского сладкогласия и фофановского благополучия. Молодые поэты, из обещавших остаться банальными, осуждали эти новшества, и я помню, как один из них, декламируя бальмонтовскую «Фантазию»:

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чьи-то скорбное моленье,
И тоска, и упоенье, — точно искрится звезда, —

негодующе переправлял:

И тоска, и упоенье, — точно чистится сапог...

Вторым в сборнике шел Брюсов с единственным стихотворением: «Мечты о померкшем, мечты о былом»... (у Бальмонта было пять стихотворений). Одно стихотворение из Брюсова! — это так странно теперь. Но, много спустя, его автор писал мне, что этот выбор был его первым дебютом за пределами своего «символического» московского кружка — первым признанием «со стороны». Брюсов, только что выпустивший сборники «Русских символистов» и свои «Шедевры», гремел тогда, как автор «непонятной» для простодушия публики строчки: «О, закрой свои бледные ноги»... Много лет от него нельзя было отклеить этой строки, и понадобился его победный «Венок»[12], чтобы заставить, наконец, забыть о ней. Впрочем, в ту пору Владимир Соловьев уже делал ему великолепную рекламу своей полемикой и пародиями[13]. На другом литературном конце старался Буренин, сделавший больше, чем кто-нибудь, для популяризации новых течений, которым он посвящал почти каждую пятницу свои талантливые буффонады. Курьезно сложилась у нас судьба символической школы: никто в русской литературе не выходил на арену при таком визге свистков, чтобы после слышать такой длительный гул рукоплесканий.

Вот имена вошедших в книжку поэтов: Бальмонт, Брюсов, Будищев, Бунин, Бутурлин, Величко, Гербановский, Гессен, Дрентельн, Жиркевич, Вл. Жуковский, Коринфский, Косунович, кн. Кугушев, Ладыженский, Лебедев, Ленцевич, Лохвицкая, Лукьянов, Льдов, Лялечкин, Мазуркевич, Медведев, Медведский, Мережковский, Минский, Надсон, Павлов, Панов, Порфиров, Ратгауз, К.Р., Сафонов, Н. Соколов, Тулуб, А. Федоров, Фофанов, Фруг, Червинский, Шестаков, Шуф, Н. Энгельгардт.

Огромное большинство — увы! — отцвело впоследствии, не успевши расцвесть... Собственно, если исключить уже определившиеся к тому времени имена (Надсон, Фофанов, Минский, Мережковский), то изо всех этих сорока «бессмертных» только *трое* (Бальмонт, Брюсов, Бунин) имели в дальнейшем настоящую литературную карьеру; все остальные или тщетно «подавали надежды», или мелькнули минутными миражами в отходившей уже в прошлое литературной эпохе, как Величко, Коринфский, Льдов. Теперь эти призраки основательно забыты, но тогда Величко, например, — «серьезный» гражданский поэт, еще не обратившийся (как впоследствии) в националиста, а постоянный участник солиднейшего «Вестника Европы» — казался одним из самых несомненных представителей российской поэзии.

Заметной фигурой был и слащавый «воссоздатель народных мотивов», казавшийся чуть ли не преемником Алексея Толстого, Аполлон Коринфский, стихотворные олеографии которого так же типичны для той эпохи, как премии иллюстрированных журналов — «Венки», «Дорогой гость» и т. п. Льдов считался чем-то вроде второго Фофанова — тем более, что его «признал» сам Плещеев, тогда тоже бесспорный авторитет. Вообще же, если отобрать в сборнике тех поэтов, которые представлены более значительным числом пьес, то, за исключением уже упомянутых особых «имен» и двух-трех других (гр. Бутурлин, Дрентельн, Энгельгардт), получится подбор довольно типичных «фофановцев» — Ратгауз, К.Р., Сафонов, Червинский, Шестаков. Всё это весенние певуны, подобные своему лидеру, песня которых затихла вместе с их весной... К.Р. пользовался тогда в литературе особым положением, и о нем писались даже длинные статьи, как о настоящей «величине», но нет надобности объяснять, что это было обаяние великокняжеского титула, а отнюдь не таланта.

Собственно, настоящим талантом в этих «вторых рядах» был, мне кажется, почти только один, действительно оригинальный, граф *П.Д. Бутурлин*. Его следовало бы теперь вспомнить: такая вещь, как «Ночи у моря мятежного», нисколько не устарела. Особое положение Бутурлина объясняется вполне его биографией: он был уроженец Флоренции, значительную часть жизни провел за границей (он был, между прочим, другом известной английской писательницы Вернон Ли), и русская бескультурность его не коснулась. Это был воспитанник европейской поэзии и европейской литературной культуры. К сожалению, такое положение имело и свою оборотную сторону: увлекаясь итальянской поэзией, Бутурлин поставил себе задачей «насадить» в русской литературе сонет. Он стал

писать почти исключительно в сонетной форме, столь чуждой «корявому» русскому языку, чуждой и складу собственного таланта Бутурлина, как достаточно убедительно доказывает тот же его шедевр — «Мальтийская песня». Слишком ясна музыкальная, а не пластическая основа дарования ее автора: ни один сонет Бутурлина не достигает такого впечатления. Своей сонетной настойчивостью он изнасиловал только свой талант и остается интересным примером возможной для поэта основной ошибки в выборе поэтического метода (конечно, это указывает на значительную примесь рационализма в творчестве). Другой подобный же, но обратный пример дал собою Влад. Жуковский, развернувшийся вскоре после нашего сборника в довольно заметного стихотворца: при ясно пластическом, майковского склада даровании (хорошие переводы из Эредиа) он старался писать в стиле Фета и Полонского.

Следует еще особо вспомнить друга Бутурлина — *В. Дрентельна*, писавшего сперва под псевдонимом «Юрьев». Несомненно, никто из группы «Молодой поэзии» не имел такой фантастической личной судьбы... Впрочем, началась она по-обычному: сын известного в свое время военного сановника (шефа жандармов, а после киевского генерал-губернатора), молодой Дрентельн служил в гвардии. Тогда он писал свои стихи и даже выпустил сборник. В стихах его есть иногда что-то гейневское:

Кто без любви спокойно
Прожить на свете мог,
Тот был счастливый смертный...
Но кто любил, тот бог!
И я был тоже богом,
И много я любил, —
И целый мир страданий,
Как Бог, я сотворил...

Зато другие его вещи странно своеобразны и как-то особенно искренни; в них нет никакого запаха литературы.

Я приведу один пример:

Вывела курица малых утят;
На воду жадно утята глядят;
Бродят они в камышах у пруда,
Больше и больше их тянет вода.
Рвутся утята в студеную воду,
Видно, почуяли близко свободу.
Страшно становится бедной наседке:
Не утонули бы глупые детки.

Право, и нас подменили когда-то:
Разве мы с вами не те же утята?..

Но судьба Дрентельна все-таки своеобразнее его стихов: неудачная любовь заставила его круто переменить свою жизнь. Он бросил Петербург, Россию и уехал в Южную Америку, где поступил в ряды чилийской армии. Там, в этой чужой стране, он выдвинулся настолько, что стал, наконец, главнокомандующим армией во время войны Чили с Боливией, окончившейся победой чилийцев. Там, на новой родине, этот «утенок» нашел, очевидно, ту «воду», которой ему не хватало в домашнем курятнике — в тогдашней, «миротворческой» России. Бутурлин приветствовал его тогда своим сонетом «Далекому другу»:

Я знаю, что тебе в томящий час мечтаний...

и т. д.[14]

Впоследствии Дрентельн вернулся на родину, но умер скоро по возвращении, сойдя с жизненной сцены таким же молодым, как и его друг (гр. Бутурлин умер летом 1895 года от чахотки, 36 лет).

Что-то своеобразное чуялось еще в *Энгельгардте* (*Н.А.*), стихотворения которого в нашем сборнике (взятые из его сборника) напоминают какие-то детские песенки, не лишенные изящества. Баллада о кузнечике («Победитель») невольно заставляет вспомнить поэму Полонского, с которой она имеет что-то общее в типе:

Целый день в саду зеленом
Молоточком бьет кузнечик:
Он кует вооруженье
Своему меньшому сыну...

И далее, после описания победоносного поединка кузнечика с муравьем:

Он стоит среди арены,
Полон гордого восторга,
Озаренный лунным светом,
Он подобен изумруду.

Но сам автор, по-видимому, не придавал значения своей поэтической оригинальности, так как, не развивая ее далее, перешел к другим формам литературы.

Именно у Энгельгардта в одном стихотворении («В водах глубоких...») находились строки, которые сильно расстраивали нервы тогдашней критике:

На лунном свете
Уселась жаба
И спину греет...

Об этом «декадентском перле» писалось в ряде рецензий со вздохами: «бедный здравый смысл!» (хотя, казалось бы, что противоречащего здравому смыслу в такой ночной прогулке жабы?).

Сообщу здесь кстати, что знаю и о других поэтах сборника, из менее известных (следуя алфавиту).

М.М. Гербановский, в 1895 году еще студент и постоянный сотрудник (даже, кажется, секретарь) журнала Пятковского «Наблюдатель», стал впоследствии военным и в 1914 г., уже полковником, погиб на австрийском фронте. Литературу он, по-видимому, более или менее оставил с тех юных дней.

В.М. Гессен стал впоследствии одним из известных в Петербурге юристов и представителей кадетской партии; скончался недавно. Курьезно, что его стихотворение «Жизнь» — единственное в сборнике — вызвало горячее одобрение Н.К. Михайловского, причем и в этом случае из двух помещенных пьес Гессена знаменитый критик не промахнулся выбрать более слабую (вероятно, потому, что с натяжкой ей можно придать публицистическое истолкование).

А. Жиркевич (псевдоним «Нивин» — военный юрист по профессии).

Уже упомянутый *Вл. Жуковский* — дипломат, был консулом на Дунае, служил в Риме и в Германии; в 1919 году был товарищем министра иностранных дел в правительстве Колчака: в качестве такового судим после победы советского правительства и заключен по приговору в концентрационный лагерь.

Л. Косунович (которого в одной рецензии, остроумия ради, переименовали в «Косукового») был, кажется, юристом; скоро исчез из литературы. Умер в начале революции в Петрограде в нищете.

Ладыженского я встречал в те годы в Петербурге; он много печатался в видных журналах, несмотря на полную бесцветность.

Лебедев — постоянный поэт Гайдебуровской «Недели»; впоследствии помощник Велички, как редактора «Кавказа» и затем «Финляндской газе-

ты»; своими деланно-звучными пьесами он одно время возбуждал «надежды».

К. Медведский — тот самый, который позже одновременным сотрудничеством в «Московских ведомостях» и в либеральной прессе (под разными подписями) вызвал вокруг себя крупный литературный скандал.

Н. Панов — держался «народнического» направления, издал сборник «Гусли звончаты»; один из редких уже тогда представителей этого конфектного фольклора.

П. Порфиров — одновременно с нами выпустил поэтическую хрестоматию с определенной целью (как разъясняло предисловие) борьбы с начинавшимися новыми течениями в пользу старых вкусов; рано умер.

Д. Ратгауз, на слова которого были написаны пять последних романсов Чайковского — обстоятельство, давшее ему некоторую известность; характерен по олеографической банальности своей поэзии.

С. Сафонов, при невыдержанности письма, имел несомненный талант; лучшее его стихотворение «Это было давно; я не помню, когда это было...» появилось уже после нашего сборника.

Н.М. Соколов, опять-таки при некультурности таланта, несомненно даровитый человек старого, даже дофофановского типа; впоследствии был видным членом «Союза русского народа»; умер в междуреволюционный период.

А.М. Федоров — довольно известный в свое время беллетрист и поэт; его почему-то особенно одобрил Н.К. Михайловский; впоследствии постоянный житель Одессы и сотрудник местных газет; в 1919—1921 гг. жил в Софии, в Болгарии; затем, по сообщению «Новой русской книги», уехал в Бессарабию (апрель, 1922 г.)[15].

С. Фруг когда-то почти «шумел», во всяком случае его имя обычно произносилось рядом с именами Минского и Мережковского — соседство для нас теперь уже непонятное.

Ф.А. Червинский (по профессии юрист) казался мне тогда одним из наиболее подающих надежды; в его стихах была, действительно, какая-то милая свежесть. А его итальянские картинки («В Вероне», «В Помпее» и не вошедшее в наш сборник «В Венеции») и до сих пор сохранили некоторую прелесть, и я думаю, вопреки Брюсову (см. далее), что в них более непосредственного переживания, чем в умных, культурных и вылощенных итальянских пьесах Мережковского.

Большой надеждой был для меня в те годы мой друг и школьный сотоварищ *Дм. Петр. Шестаков* (сын известного в свое время попечителя Казанского учебного округа и специалиста-классика, П.Д. Шестакова; впоследствии сам профессор Казанского университета по той же специальности). В его молодых пьесах, очень пахнущих «Фетом 63 г.», мне виделось преемство великого старика, с которым мы оба переписывались. В самом деле, легкость и выработанность стиха в них выделяется для того времени. Многое у него едва ли хуже Фофанова. Стих здесь льется и трепещет действительно, как ночной полет фей... Несколько лет спустя (в 1900 г.) я издал сборник стихотворений Шестакова. Но сборники — вещь роковая: они или дают толчок к раскрытию таланта, или точно подводят итоги достигнутому и обрывают дальнейший рост. Так вышло и на этот раз... Поэт ушел в научную работу, дав, впрочем, русской литературе немало прекрасных переводов из древних.

Шуф — после долго печатался в «Новом времени»; умер перед войной.

Остается упомянуть, наконец, три уже вполне признанных тогда имени: *Надсона, Минского* и *Мережковского*, которые считались даже (вместе с Фофановым, Фругом и, пожалуй, Льдовым) как бы официальными представителями молодой поэзии. Им пришлось, естественно, отвести побольше места.

Надсона мы намеренно подобрали так, чтобы обернуть его к публике лирической, действительно художественной и пренебрегаемой стороной: это Надсон — слегка похожий на Гейне, тихий, задумчивый, изящный юноша, на минуту забывший о необходимости идти в бой с тяжелой мглой («Мне снилось вечернее небо», «Жалко стройных кипарисов»). — Минский и Мережковский уже и тогда определились в своей поэзии настолько, что из них легко было сделать характерный выбор. Никто еще не подозревал в них начинателей целой школы (и такого значения), но они были, во всяком случае, чем-то особенным и «недоуменным» в тогдашней литературе. Мережковский, боевой темперамент которого уже увлекал его к различным «выступлениям» (лекции о символизме зимой 1892—1893 гг.), особенно раздражал нервы. «Здесь его считают кто сумасшедшим (буквально), кто просто дураком», — писал я Шестакову после этих лекций. В этих крайних выражениях не было преувеличения.

Такими же «выражениями» встретила литературная критика и наш сборник:

«Кто эти гг. Перцовы: В. и П. Перцовы, братья Перцовы? Фирму “Братьев Перловых”, чаеторговцев, я знаю. У них довольно скверный чай, в 1 р. 80 к. за фунт. Братьям Перцовым надо переменить фирму. Пусть они называются “Перловыми” за те “перлы” поэзии, которые они включили в свой сборник, — цена 1 рубль фунт, то бишь экземпляр».

Это было «остроумие». Положим, это писалось на низах литературы — в «Петербургском листке», — и писал один из обиженных сборником (Шуф, из которого были только два «перла»)[16]. Он тут же и выдавал себя, сетуя, что авторы не были привлечены к выбору: «Это общее дело должно было вестись сообща». Но немногим лучше были и авторитетные отзывы «верхов». В «Мире Божием» уже начинавший тогда делаться авторитетом А.Б. (Ангел Богданович, теперь забытый, совершенно бездарный, но лет двадцать назад очень влиятельный радикальный подголосок) ставил традиционный диагноз новому искусству: «Молодые поэты сборника только отразили в своих многочисленных произведениях свое “безвременье”. Они — результат той “полосы”, которая их захватила, не дав им ни сильных чувств, ни высоких идей, ни страстных порывов “в надзвездную даль”, где вечное царство идеала». Читатель уже умел догадаться, что это за надзвездная даль и вечный идеал... Впрочем, для недогадливых было тут же и пояснение: «Когда Леопарди в начале этого столетия пел свои “Стансы к Италии”, он выражал чувства лучших итальянцев своего времени, проникнутых справедливым негодованием к австрийскому режиму». Этот «австрийский режим» решительно отравлял тогда всю литературу, и все расценивалось прежде всего с точки зрения борьбы с самодержавием. Надсон в этом случае заслуживал все-таки некоторого одобрения (ведь «бой с тяжелой мглой»), и Ангел Богданович отделял этого агнца от козлищ: «Каким-то странным случаем — по недоразумению, должно быть — в сборник попал и Надсон, потому что его “поэзия” решительно ничего общего не имеет с “молодой поэзией” гг. Перцовых». В противность гг. Бальмонтам, Бутурлиным, Фофановым и т. д., Надсон, по мнению критика, «целиком стоит в ряду “стариков” по форме простой и изящной, по взглядам и стремлениям»... Забавно было тогда в литературе, или, вернее, забавно все это теперь — из дали времен («что пройдет, то будет мило»)[17], а переживать целыми десятилетиями этот готтентотский период русской критики было все-таки немного скучно...

Авторитетнейший готтентот, А.М. Скабичевский, отнесся к сборнику, однако, довольно милостиво: он даже похвалил «вкус гг. составите-

лей», но тем более обрушился на злополучных поэтов, провинившихся «крайней бедностью содержания в обширном смысле этого слова». «Представьте вы себе, — пояснял маститый наставник (ведь Скабичевский в самом деле был тогда “фигурой”), — что вы пришли на выставку картин и не нашли бы там ни исторической живописи, ни жанра, ни портретов, ни изображений иностранных городов (sic!), ни батальной живописи, ни, наконец, так называемой мертвой природы, а одни только перелески (sic!), женские головки и ангелов»... «Декаденты наши отнюдь не выродившиеся люди, а варвары-младенцы, готовые завтра же пройтись по Невскому в костюмах Адама». Критик недоумевал, откуда «выкопали» гг. составители таких поэтов, как Брюсов и Бунин... Бальмонт, напротив, объявлялся почему-то «недюжинным талантом», и ему ставилось только в вину увлечение Эдгаром По, который «известен нам как алкоголик и опиокуритель». Статья кончалась, конечно, «остроумием»: «Еще раз да здравствует испанский король Фердинанд VIII, он же Аксентий Иванович Поприщин!» («Новости» от 13-го апреля 1895 г. № 100).

Но если Скабичевский был только нелеп и добродушен, то совсем другое впечатление производил «острый ум» радикальных кругов — Н.К. Михайловский. Статья его о «Молодой поэзии» («Рус. богатство». 1895. № 6) есть собственно статья обо мне и сводит счеты за партийную «измену»: я ушел из народнического лагеря, оставив «Русское богатство» весною 1893 г. Этой измены Михайловский тем более не мог простить, что наши отношения были довольно сложны. Здесь не место вспоминать о них, но уже самый тон непропорционально грубой статьи выдает ее закулисные мотивы. Эта грубость не мешает мне все-таки вспоминать Михайловского с хорошим чувством... Поэтам в статье, конечно, тоже досталось, и все по тому же мотиву: «отсутствие содержания». Характерно, что Скабичевский и Михайловский обиделись на одно и то же стихотворение уже тогда покойного Лялечкина, которое они оба цитируют с подчеркнутой укоризной:

Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...
Жду я в поле, у реки...
Нет и нет моей малютки!

Эта пастораль возмущала критиков до глубины души, какие-то незабудки—малютки, в то время когда в России еще нет конституции!

Гораздо хуже, чем от «разноса» Михайловского, у меня осталось (и остается) впечатление от корректнейшей статьи (в «Новостях») «европейца» П.И. Вейнберга. Боже, какое бесконечное презрение к тому, что еще не утвердилось в литературе и не имеет общепризнанного «положения»! Такие статьи следует перепечатывать в «историях» литературы, чтобы дать осязательно почувствовать атмосферу эпохи. «Нет ни старой, ни новой, ни взрослой, ни молодой поэзии, есть только поэзия», — авторитетно поучает литературный Фамусов. «Я, впрочем, не намерен здесь говорить о русских современных “чепухистах”, которые при этом для пущей важности, чтобы показать: “мы-де, мол, тоже школа”, именуют себя или символистами, портя таким образом термин очень почтенный... или декадентами, употребляя по обезьянству термин, не имеющий ровно никакого смысла в настоящем случае». При этом величественная небрежность «большого барина» доходит до того, что он не запомнил даже заглавия книги и называет сборник (в другой заметке в той же газете) «Новая поэзия», а меня, как составителя, упрекает в саморекламе: в сборнике помещены будто бы и мои стихи. Между тем, печатаясь уже несколько лет в журналах, я в сборник намеренно не включил своих стихов, предвидя возможность именно таких обвинений. Но оказалось, что и скромность не помогла: обвинение все-таки последовало. Вполне возможно, впрочем, что Вейнберг и вовсе не видал книги, а только написал о ней.

Вообще сборник вызвал много длинных и коротких о себе отзывов, и можно сказать, что он в конце концов достиг своей цели, заставив литературу говорить о «молодой поэзии» как о заметном явлении эпохи. А что во всех, столь многочисленных, отзывах не было сказано в сущности ничего — это тоже составляет черту эпохи. Тогда как-то умели писать страницу за страницей, ничего не говоря, и подразумеваемые жалобы на отсутствие конституции были, пожалуй, все-таки лучшее в этом пустоплетстве. Критерий, логика, вкус тогдашних критиков вообще решительно непонятны и если не пахнут партийной программой, то являют собою чистейший обывательский импрессионизм. Например, многих рецензентов почему-то возмущал ранний характерно бальмонтовский стих:

То, что людям не приснится, никому и никогда...

(Стих. «Фантазия»)

«Что же это за образ, если он никому и никогда даже не приснится?» — спрашивал ученый приват-доцент Платон Краснов в «Книжках Недели». Тот же критик жаловался по поводу стихов Фофанова:

Где-то торопливо скрипнула калитка,
Кто-то раздвигает влажную сирень...

«Точно этих поэтов привлекает все смутное, неясное, непонятное, неопределенное... Но все это понятия, чуждые истинной поэзии». — И это печаталось не где-нибудь, а в видном столичном журнале! Повторяю, логика тогдашних критиков уже ускользает от нашего понимания.

Почти в каждой рецензии хвалили Величку. Тот же Краснов уверял, что Величко «особенно отличается способностью схватить мимолетную фигуру, по двум-трем чертам проявить всю ее сущность (!) и представить ее читателю». Итак, мы имели перед собой великого поэта. Но «критик» даже не понимал ответственности своих утверждений или, вернее, просто плел, что под перо подвернулось...

Аполлон Коринфский спрашивал в кратко-ругательной рецензии: «откуда, подумаешь, выудили составители психопатически-бездарного автора стихотворения “Мечты о померкшем, мечты о былом”, с его повисшими во мраке ночном “на брачной веселой постели” иммортелями? Неужели его можно считать, отбросив в сторону всякие шутки, заправским поэтом?» (Труд. 1895. № 8)[18]. Этот забавный ляпсус, пожалуй, лучше всякой длинной статьи характеризует литературное положение Валерия Брюсова в момент его дебюта.

3. Заря символизма

Выпуская сборник, мы не думали, конечно, что «подводим итоги» не только для данного литературного момента, но и для всего движения. А между тем так оно вышло: 1895 год явился «переломным» в истории русской молодой поэзии. В этом именно году вышли первые сборники Валерия Брюсова и его кружка, первый сборник Александра Добролюбова «Natura naturans», первые «Стихи» Сологуба (в конце года) и, наконец, появились в печати первые характерные пьесы Зинаиды Гиппиус. Помню, как прочел мне Мережковский в феврале этого года стихотворение «Не-

беса унылы и низки», скрывая имя автора, и я был поражен необычайностью тона и всего словесного лика этого прекрасного стихотворения.

В несколько месяцев состав литературы глубоко изменился, и точно раскрылась некая новая ее страница. Пресловутый «символизм» из неясной теоретической программы и мало характерных опытов у Минского и Мережковского стал явным и несомненным «эмпирическим фактом» под пером неожиданных дебютантов.

Стихи Гиппиус звучали уже совсем не по-фофановски. А если вспомнить, что именно в этом стихотворении находилась знаменитая, столь пререкаемая, поносимая и проклинаемая строка:

Но люблю я себя, как Бога,—

то эффект его появления можно учесть окончательно. Строка эта сразу стала тогда наряду с брюсовскими «бледными ногами». Эти два стиха сделались двумя девизами новой школы — по крайней мере, в убеждении ее критиков. Можно себе представить, как должна была нервировать такая «безбожная» строчка людей, приходивших в недоумение от «неясности» скрипнувшей калитки у Фофанова. С тех пор, и на долгие годы, вокруг нового движения завязалась ожесточенная борьба, которая окончилась только спустя десятилетие, когда революция 1905 года, как чудом, глубоко изменила психологию русского общества — точно взяла за шиворот и встряхнула спящих.

Эти битвы кипели особенно в Москве — вокруг Валерия Брюсова, к которому после подоспел на подмогу юный блестящий соратник в лице Андрея Белого. Но это относится уже к другим временам... В 1895 г., как мы видели, еще мало кто был согласен считать Брюсова «заправским поэтом». Впрочем, это было взаимно: в письмах Брюсова той поры нахожу резкое отрицание фофановской полосы русской поэзии. «Я давно мечтал о таком сборнике, — писал он мне после выхода “Молодой поэзии”, — и думаю, не я один. Пора, пора оглянуться, оценить Молодую поэзию, хотя... хотя наводит она на грустные думы... Как все это бледно и бесценно (бесценно — с точки зрения искусства)».

Сборник в общем Брюсов одобрял: «Издание очень удачное», «удачно сделан выбор стихотворений». Тем более принципиально звучало это осуждение самого молодого искусства. Он почти не делал возражений против нашего выбора, кроме мелких несогласий: «Мне жаль, что у Фофанова

пропали его “безумные” стихотворения (Ночь плывет... Утомленного агонией... etc). У Мережковского нет его пантеистических стихотворений (Бог. Если б капля дождевая...), нет и картинок Италии (ведь они же лучше, чем у Червинского). Во всем сборнике, кажется, нет “страстных” стихотворений, а ведь их современные поэты все-таки пишут». Он хотел бы еще сократить число примеров у некоторых — «в пользу хотя бы Лялечкина, Бальмонта». «Совсем ненужным показался мне только один кн. Кугушев»[19]. — За что такая немилость была для этого, положим бесцветного, но все же не хуже многих других поэтика — мне совершенно непонятно. Упрекал Брюсов нас отчасти и за пропуск пяти-шести имен (по преимуществу женских, как Чюмина и Щепкина-Куперник), Вас. Миляев и Л. Монд, писал он, «поэты, конечно, неважные, из школы А. Коринфского, А.М. Федорова и других стихослагателей, но не хуже Павлова и, во всяком случае, более поэты, чем г. Величко» (то же письмо)[20].

Характерно, что среди отмеченных пропусков нет еще ни одного имени, вошедшего в близком будущем заметной величиной в созвездие символистов: нет ни Гиппиус, ни Сологуба, хотя они уже печатались тогда. Но звездочки эти светили еще так тускло на литературном небосклоне, что их не открывало даже изощренное внимание Брюсова. Год спустя, даже полгода спустя, подобный недосмотр был бы невозможен. Мы были на рубеже двух поэтических зон.

В другом письме находим более подробную мотивировку обвинительного приговора прошлому, в которой выразилось явно все принципиальное различие между наивной «кустарностью» фофановских времен и тем стремлением к литературной культуре, которое с самого начала стало характеризовать символистов: «Важно не то, что наши юные поэты еще ничего не дали, а то, что они и не могут ничего дать; это же — для меня, по крайней мере — вполне ясно из их произведений. Я не могу иначе вообразить себе наших юных поэтов, как слепцами, блуждающими среди рифм и размеров. Что будет, если кто-нибудь зайдет в комнату, где развешаны струнные инструменты поздно вечером? Он будет касаться струн, будут слышаться иногда красивые звуки, но музыки не будет. Пьесу сыграет тот, для кого засияет солнце» (письмо от 12 марта 1895 г.).

С энтузиазмом юного новатора Брюсов восклицает в следующим письме: «Гибнут старые формы — дидактика, драма, роман — новые, неведомые тайны открываются искусству — заря новой поэзии зажигает небо! Ей алтари!» (от 14 марта)[21].

С этих высот узкая долина «домашней» русской поэзии предыдущего десятилетия представлялась тесной и скучной, и трудно было ожидать пришельцев оттуда на сияющие вершины. Почти единственное исключение из этой безнадежности для Брюсова составлял Бальмонт: «Бальмонт, а у него в портфеле — и “Подводные цветы”, и “Между ночью и днем”, и “Клеопатра”... хотя... хотя очень, очень не широк талант и этого г. Бальмонта, может быть, лучшего из молодой поэзии... Есть... впрочем, увы, был — Лялечкин. Вы, конечно, слышали о его смерти. Вот о ком можно пожалеть. Мне случалось получать от него стихотворения из подготовленной им к печати книжки. То были прелестные вещи. Надеюсь, друзья Лялечкина издадут посмертный сборник стихов» (письмо от 12 марта 1895 г.)[22].

Эта надежда, насколько мне известно, не оправдалась: такой сборник не появился, и имя Лялечкина, можно сказать, исчезло из литературы. А между тем едва ли оно заслуживало такого забвения: по-видимому, в какой-то степени Брюсов был прав в своем увлечении автором «Незабудок—васильков»: у Лялечкина была, во всяком случае, свежесть эпитета, как можно заметить даже по небольшим цитатам другого брюсовского письма: «Читали ли вы посмертные стихотворения Лялечкина в “Петербург[ской] жизни”?

И ваши символические глазки
И ваших уст застенчивый коралл...

Или:

То было тело нервного ребенка
От кончика ботинки до волос!

Клянусь, что это очаровательно! О стихотворении “Прочь бездушная действительность” я уже не говорю» (письмо от 25 марта 1895 г.).

Уже по этим крошечным отрывкам видно, что Лялечкин не был банальным фофановцем. В этих строчках чувствуется «нервность» модернизма, и восторг Брюсова понятен. «Бездушная действительность» — это ведь и сейчас «очаровательно»... Следовало бы попробовать выкопать Лялечкина из могилы старых иллюстрированных журналов (обычно он печатался в «Петербургской жизни»)[23]. Во всем этом просвечивающем

вдалеке литературном силуэте чувствуется что-то пасторальное, нежно фарфоровое — с чем так хорошо гармонирует и эта странно-игрушечная фамилия: Лялечкин.

Но главным магнитом в новой литературе и намечающимся лидером движения в те годы для Брюсова был все-таки Бальмонт. Письма так и пестрят его именем... Правда, настоящий расцвет бальмонтовской гегемонии произошел двумя-тремя годами позже — к концу 90-х годов, но уже в тот момент автор «Уходящих теней» и «Подводных цветов» был самой блестящей фигурой молодой Москвы. В нем чувствовался самый бесспорный, самый зрелый представитель новых течений, а в своеобразной его поэзии слишком очевидно выступала глубокая внутренняя связь с такими же течениями на Западе, подтверждаемая также всей его широкой переводной деятельностью.

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходившие тени погасавшего дня, —[24]

эти непривычные звуки манили каким-то верным обещанием будущего... Кроме того, тут была некоторая доля и личного обаяния: «никогда, — пишет Брюсов, — чтение нашего Южина или нашей Ермоловой не предпочту я чтению Бальмонта, хотя этот и пришепетывает, и немного распевает»; «Бальмонт читал мне однажды “Подводные цветы”, и я пришел в восторг; прочел я теперь эти “Подводные цветы” в “Русской мысли”, и они мне уже показались растянутыми» (от 25 марта 1895 г.)[25].

Любопытно, что уже в те годы Брюсов строил вполне правильную генеалогию молодой поэзии, выводя ее из лирической души Надсона: «Некоторые у нас находят, что Вам не следовало бы включать Надсона в свою книгу. Я с ними не согласен. Эволюция новой поэзии есть не что иное, как постепенное освобождение субъективизма, причем романтика сменяет классицизм, чтобы после уступить символизму. С этой точки зрения Надсон является одним из важнейших моментов в нашей поэзии: он создал всю молодую лирику — вся Ваша книга (за исключением поэзии немногих отсталых) вытекает из Надсона. Благодаря своему *историческому* значению, он не мог быть забытым. Как поэт, взятый вне своего века, он, конечно, невелик; он даже не сделал того, что мог, так как его губили ложные взгляды на поэзию. Вот почему мне кажется, что посмертные стихотворения Надсона поэтичнее, чем то, что он сам напечатал, и вот

почему я так радуюсь Вашему выбору стихотворений не из любимиц публики, с банальным выражением лица, а из милых отверженниц, забытых судьями на скамье вдоль стены» (от 12 марта)[26]. Трудно прибавить что-нибудь существенное к этому диагнозу и теперь.

«Я утверждаю, что поэзия погибает», — продолжал свой реквием прошлому тот же корреспондент. «Ей нужен переворот» (от 14 июня 1895 г.)[27]. Этот переворот приносил с собою, конечно, символизм. Но что разуметь под этим притягательным названием? Об этом шли бесконечные споры у самих новаторов, и их отражениями полна наша с Брюсовым переписка этого памятного года. Он исписывал лист за листом с юным энтузиазмом к эпистолярному искусству, пытаясь нащупать и обставить вехами вновь открывшийся фарватер. «Бедный символизм! Чего ему не приписывают; кажется, нет более неопределенного термина. Ведь вы сами, напр., не поколеблетесь назвать “Забвение и Молчание” Минского символической поэмой, да и сам автор, кажется, думает так» (май 1895 г.). «Уже 20 лет существует *школа*, а до сих пор представители ее не выработали определенного катехизиса. Вспомним, что у романтиков теория появилась прежде образцов, а символисты, имея несколько выдающихся поэтов, не знают своей программы» (от 18 ноября 1895 г.)[28].

Программа оставалась спорной и шаткой, хотя Брюсов победоносно разбивал все мои педантические построения. «Я ищу разгадки прежде всего в форме, в гармонии образов или, вернее, в гармонии тех впечатлений, которые вызывают образы, в примирении тех идей, которые проясняются под их влиянием. Слова утрачивают свой обычный смысл, фигуры теряют свое конкретное значение — остается средство овладевать элементами души, давать их сладострастно-сладкие сочетания, что мы и называем эстетическим наслаждением» (то же письмо)[29]. Далеко еще было до объемистого тома Андрея Белого, уверенно озаглавленного «Символизм»![30].

Зато было много молодого фанатизма и преданности своей «Даме»: «...два года тому назад я верил в другие поэтические школы, я хотел, чтобы они развивались дружно, как сестры; другими словами, я желал, чтобы символизм вошел, как составной элемент, в единую *поэзию* (курсив Брюсова. — *П.П.*); теперь я думаю, я верю, я знаю, что символизм и есть поэзия, и только он; как вне православной кафолической церкви несть спасения, так нет поэзии вне символизма...»[31]

В «русской словесности» началась, наконец, литературная работа, самоотверженная, героическая и настолько сознательная, как, может

быть, никогда ранее. Это время действительно напоминает эпоху первых романтиков во Франции или дни раннего символизма там же. Недаром все внимание юных новаторов было устремлено на Запад и особенно на французских учителей — резкое и определенное отличие нового течения от «доморощенных» фофановцев, которые вряд ли читали как следует даже русских поэтов. Письма Брюсова пестрят именами, которые тогда на Руси звучали совершенной новинкой. Он «открывает» Метерлинка, о котором сообщает позднее: «Метерлинк становится европейской знаменитостью, кто бы мог этого ожидать!» (1896 год, май)[32]. Что он станет знаменитостью даже в России — это было допустить еще труднее, — почти как предвидеть будущие успехи Сологуба, Блока, самого Брюсова, которые в этой перспективе воспоминаний даже сейчас представляются некоторым чудом.

Движение сосредоточивалось в Москве — по крайней мере поскольку оно становилось школой. Петербург блистал несколькими крупными именами: там жили «первоучители» Минский и Мережковский, на которых молодежь смотрела с величайшим уважением; там появилась Зинаида Гиппиус и Сологуб, причем стихи первой настолько же вызывали энтузиазм (Бальмонт определял мне их как магистральные для психологии нового течения), насколько стихи второго принимались холодно, и еще долго их автор оставался лишь полупризнанным. Брюсов неоднократно спорил со мною из-за этого имени, а в его письмах сологубовский «Червяк» весьма осуждается «по топорности работы, угловатости форм и банальности сюжета» (письмо от 19 июня 1896 г.). Петербург, как обычно, оказывался индивидуалистом, наставником и верховным авторитетом. Но «национальной» новизна стала делаться в национальной столице. Скоро Брюсов мог сообщить утешительные вести:

«Заметили ли Вы, что с недавних пор у нас начала образовываться *школа в поэзии* (его курсив. — *П.П.*)? О, как этому можно радоваться! Подумайте, — тогда невозможны станут Федоровы, Лебедевы, Тулубы. Тогда у самых плохих стихотворцев будет цель, — они будут нужны как цемент, как пьедестал для учителя; они будут разъяснять его намеки, будут служить переводчиками между ним и его веком. Я готов радоваться всем сердцем. Вы не догадываетесь, о какой школе я говорю? О школе Бальмонта» (письмо от 19 июня 1896 г.).

И далее он перечисляет эту «школу»: «маленькая Варженевская», Курсинский, Голиков, М. Лохвицкая, «теперь эта госпожа Е.Б.» (кто-то из «Книжек Недели»)[33]. «Все они перенимают у Бальмонта и внешность:

блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, ритмом, созвучиями, — и самую сущность его поэзии: погоню за оригинальными выражениями, за новыми выражениями, во что бы то ни стало; вместе с тем все они, как и Бальмонт, чистые романтики»[34].

Никто из этой плеяды не удержался в литературе, кроме попавшей сюда, едва ли не по случайному впечатлению, Мирры Лохвицкой... Но в основе Брюсов был прав: народилась, действительно, новая литературная генерация — «школа Бальмонта», к которой первый принадлежал сам Брюсов (тогда) и которой было суждено сменить школу Фофанова. Наступали иные времена... «Молодая поэзия» кончилась.

ВОСПОМИНАНИЯ О В.В. РОЗАНОВЕ

Это было очень давно — двадцать с лишним лет тому назад. Я жил тогда в Петербурге, на Пушкинской, в том громадном «Пале-рояле», который был так хорошо известен петербургскому литературному миру. Однажды утром ко мне постучались... Так как я начинал свое «утро», по петербургским обычаям, к вечеру, то и не торопился открыть дверь. Неизвестный посетитель ушел, ничего не добившись... Часа через два раздался снова стук. На этот раз я открыл, и в дверь просунулась сердитая физиономия господина средних лет, в очках, с рыжей редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом. «Какой учитель!» — было первое мое впечатление. Какой типичный учитель, сердитый, потому что ему плохо ответил ученик и потому что учителям вообще полагается сердиться. Именно «педагог», каким мы, питомцы Толстовско-Деляновского псевдоклассицизма[1], привыкли его себе воображать.

Это был Василий Васильевич, и с этой смешной встречи началась наша долгая и прочная дружба — та «великая и прекрасная дружба», как выразился он в последнем своем письме ко мне, дошедшем до меня уже после его смерти[2]. Эта дружба теперь оборвалась... Но хотя прошло уже столько времени, мне как-то все еще трудно представить себе, что Василия Васильевича действительно нет в живых, что нельзя с ним говорить, его видеть. Вообще, в смерть трудно поверить и никогда нельзя принять ее как *последний* конец.

Я рассказал об этой встрече, чтобы дать понятие о том внешнем впечатлении, которое поверхностно мог еще тогда производить Василий Васильевич. Впоследствии он так глубоко изменился, так далеко ушел от этого «педагогического» своего облика даже по внешности. И из знавших его за последнее время, я думаю, мало кто помнит его таким — Розановым половины 90-х годов. Но я захватил его еще на этом исходе его раннего, «провинциального» периода, когда ни Петербург, ни петербургский литературный мир не переработали его или, лучше сказать, не

раскрыли, не дали еще раскрыться в нем всему, что таилось... В те годы ни сам Розанов не знал еще самого себя, ни другие не могли даже смутно подозревать его будущего. Уже шел его «консервативный» период, когда, верный ученик Константина Леонтьева, понятого тоже по преимуществу лишь как «истребитель либералов», Розанов в коротеньких статьях тогдашних убогих консервативных газет проводил что-то очень «реакционное», а в длинных философских этюдах, вроде книги о «Великом инквизиторе» Достоевского[3], в еще не выработанной, не установившейся форме начинал уже раскрывать какие-то неясные горизонты... Прошло всего несколько лет с той поры, что он бросил свое учительство в глухих городках и переселился в Петербург, где служил пока чиновником в Государственном контроле[4], получал пустое жалованье и порядочно нуждался. Литература лишь полупризнавала его, реакционные газетки и журналы старались по возможности не платить гонорары, а пышное «Новое время» лишь изредка, больше по протекции Страхова, печатало его фельетоны. «Как пройдет фельетон в "Новое время", так мы и живем месяц», — говорил мне тогда Василий Васильевич. Пресса же не консервативная, разумеется, вовсе не захотела замечать «ретроградного» новичка. Впрочем, Н.К. Михайловский, который был все-таки зорче других, уже не раз подымал полемику вокруг «отказа от 60-х годов» — темы тогдашних интересов Розанова[5]. Вообще, уже тогда стала обозначаться эта характерная черта розановских писаний — уменье вызывать по поводу себя полемику. И сколько их, этих разнообразнейших полемик, последовало вслед за тем! Я думаю, мало найдется в русской литературе писателей, вокруг которых кипели бы такие литературные битвы, перекрещивалось столько копий из противоположных лагерей, как вокруг и по поводу Розанова. По-видимому, эта особенность не тяготила его: он был насквозь «писатель», литератор, а писателю как не любить литературной борьбы. И Василий Васильевич сам был настолько искусен в этой борьбе, что, когда его не увлекала «розановская» неуравновешенность в полемические крайности, он умел всегда нанести противнику неизлечимые раны...

Если не считать Владимира Соловьева, с которым у него тоже только что прошла горячая полемика (о свободе совести и о прочем)[6], в ту пору из крупных писателей Розанова знал и ценил только один Н.Н. Страхов[7]. Последний из старых славянофилов отчасти надеялся на молодого защитника традиций школы, отчасти опасался его, когда под обликом благонамеренного продолжателя проглядывал вдруг enfant terrible, чувствова-

лись черты какого-то нового, необычайного явления... Со стороны Розанова к Страхову было и навсегда осталось глубоко любящее и почтительное отношение, как к старому «деду» (сравнение в одной его статье), «ноги которого хочется омыть, но, омыв, бежать в безвестную даль»[8]... Сама личность Страхова, хрустально-чистый моральный его облик естественно вызывали такое отношение. И если любил Розанов в литературе многих больше Страхова, то никого, я думаю, не уважал более его.

Любил же он (опять-таки в те же годы) больше всего, несомненно, некоего Шперка — странного юношу, «декадента» (тогда это слово было в ходу), больного, морально весьма непохожего на Страхова, философа и критика, писавшего на не понятном ни для кого языке, поклонника стихов Сологуба (тогда почти никому не известных), тоже искавшего или чуявшего что-то новое... Он умер от чахотки двадцати с небольшим лет, еще в 1897 году. Но Розанов никогда не мог его забыть. Говоря о духовных движениях в России, о прозрениях будущего, о самых ценных в этом отношении людях, он всегда и неизбежно должен был упомянуть эти два имени: Шперка и «Рцы» (Ив. Фед. Романов — тоже уже давно покойный). В последние годы к ним прибавилось еще третье — имя Павла Александровича Флоренского, которого он чрезвычайно высоко ценил[9]. И четвертого такого имени, мне кажется, для Розанова не было (если не возвращаться к Константину Леонтьеву). В таком предпочтении в высшей степени сказалась духовная оригинальность Василия Васильевича. Конечно, он понимал, что ни Шперк, ни Рцы не первоклассные писатели, но он ценил в них людей, мучащихся над теми самыми задачами, которые мучили его самого и которые он имел основания считать самыми важными из всех возможных задач. В такой *качественной* (с его точки зрения) оценке эти двое весили для него больше всех других, количественно (талантом) более богатых. И в этом он не ошибался, в особенности относительно Рцы. Шперка, я думаю, он ценил особенно еще потому, что в те смутные для него самого, и внутренне и внешне, 90-е годы в одном этом юноше находил В.В. устремления, отвечавшие его собственным еще неясным мыслям и влечениям, находил интересы, которые едва пробуждались в нем самом. Шперк шел или пытался идти именно по тем путям и к тем духовным целям, к каким пролегла после дорога Розанова, тогда еще, повторяю, не знавшего самого себя. И после встреч и бесед с эпигонами славянофильства и консерватизма, и даже самим Страховым, Розанов, я думаю, впервые начинал чувствовать себя Розановым лишь во

время долгих своих ночных разговоров с чудаком, непонятным философом, вечно декламировавшим Сологуба, ставившим христианству в упрек отрицание пола и с безмерной иронией относившимся ко всей кипевшей вокруг литературной суете.

Итак, я застал Розанова еще «педагогом». Общеизвестный портрет Бакста (в Третьяковской галерее), пожалуй, верно передает его внешность тех годов, хотя относится уже к несколько более позднему времени[10]. Впрочем, у Бакста схвачен и тот зоркий, проницающий взгляд, которым Розанов выучился смотреть, как мне кажется, тоже лишь позднее — именно к эпохе написания этого портрета: к «египетской» своей эпохе[11]. В половине 90-х годов в нем оставалось еще много провинциального простодушия и непосредственности (отчасти он выдерживал эти черты и потом). Любопытны его письма того времени — столь непохожие на позднейшие, жизненные, как сама жизнь. Тогда он еще педагогически верил, сердился, распекал «Сенат и Синод» (в одной из мелких своих статей) за недостаточное соблюдение всех подробностей официального ритуала и особенно был тем, что немцы назвали бы Liberalenfresser[12]: наши «западники» были для него предметом настоящей ненависти — «по Константину Леонтьеву». Еще очень далеко было до тех дней, когда он напишет своего «Ослабнувшего фетиша» (1907) — гениальную брошюру о революции, оставшуюся почти неведомой для публики[13].

Таким я оставил Василия Васильевича, уезжая весной 1897 года за границу[14]. Хотя в предшествующую зиму у него завязались кое-какие новые литературные знакомства (кружок «Северного вестника» с А.Л. Волынским во главе; Мережковские) и он стал немного выглядывать со своей «Павловской» (далекая улица на Петербургской стороне, где он тогда жил)[15] в широкий мир, но сближение с новыми элементами шло туго, и люди, видимо, не спаивались друг с другом.

Я пробыл за границей год — и этот год (зима 1897/98 года) был решающим в духовной жизни Розанова. По возвращении я не узнал его... это был уже другой Розанов, вдруг пробудившийся к своим истинным интересам, — тот Розанов вопросов пола, религии, Востока, семитизма — одним словом, тот «египетский» Розанов, которого мы все теперь знаем. Превращение или, вернее, самораскрытие произошло, по-видимому, быстро, но оно отразилось уже и на писаниях Розанова той зимы. Помню, как поразили меня и безмерно заинтересовали необычайностью своего тона его первые «живые» фельетоны, которых «Новое время» догадалось на-

печатать целую серию («Христианство активно или пассивно?» — против Владимира Соловьева; «Кроткий демонизм» — против Меньшикова, тогда еще полутолстовца «Недели»; «Женщина перед великой задачей» и др.)[16]. Тогда (как видно уже из этих заглавий) он старался стоять еще на точке зрения христианства, которому предстояло только обновиться и быть каким-то «активным». Совершенно так же, как раньше, в свой «ортодоксальный» период, он подходил к православию собственно как к религии быта и упорно прилагал к нему свой уже назревавший «египетский» критерий — так и теперь он переносил на всю широту христианства все ту же свою единственную и всегдашнюю концепцию религии как рождения, религии как пола, «религии как света», религии как быта, коротко говоря, религии в семитическом ее аспекте (еще точнее: иудаическом). Если вглядеться: Розанов не менялся в течение всей своей жизни — менялись только те объекты, к которым он поочередно прилагал свои требования и надежды, пока не понял окончательно самого себя...

Итак, я застал Василия Васильевича en pleine révolution[17]... Помню, как в первый же вечер — бессонный, негаснущий вечер петербургской весны, он засыпал меня своими новыми «откровениями». Передо мною был человек, только что испытавший «рождение из духа». Конечно, он сам не знал еще тогда, куда приведет его захватившая его стихия, но он в высшей степени остро, совсем по-юношески переживал ее наитие. Впрочем, юношеские черты сохранились в Розанове до последних его годов: недаром же он был гениальным человеком.

Бурная стихия рождающейся мысли увлекла его: «голова моя горела вопросами» — эта фраза часто встречается в розановских писаниях того времени, и она верно передает его духовное состояние. Он и спешил навстречу своим выводам, и временами пугался их. Несомненно, что его «новаторство» доставалось ему недаром. Долгое время он боялся этой своей «судьбы»: он — такой «бытовик», человек крепкий сложившимся формам жизни, верный «дедовским» традициям; человек, любивший Страхова, славянофилов, консервативные типы жизни, а больше всего любивший ее спокойную, неизменную творческую мощь, ее глубокое русло, полное неиссякаемых сил... Ему ли оторваться от этого русла, стать в какую-то «оппозицию», когда он так не любил все «оппозиционное», весь пошлый шаблон всяческих «протестов»?.. Тогда, в минуты сомнений и колебаний, он оглядывался на близких, на семью, на свою «домашнюю часовенку» — на тех, которые «всему, всему меня научили» (предисло-

вие к сборнику «Религия и культура»). Если это (его идеи, влечения) «не отпугивало Вари» (супруга Василия Васильевича), то он мог смело идти вперед — значит, тут не было болота, и торная дорога вела туда же, куда вел мятежный проселок.

И еще он оправдывал себя моральной чистотой своих целей. Помню, мы зашли с ним однажды в какую-то табачную лавочку на Невском. Под руки Василию Васильевичу попалась обычная папиросная коробочка с изображением раздетой «красавицы». «Вот, — с ненавистью и отвращением сдавил он, отшвыривая, ее, — я хочу, чтобы не было больше таких коробок». Он никогда не уставал подчеркивать, что действительно интенсивность пола неразлучна с религиозным напряжением. «Скальковские» (тогдашний журналист-бонвивёр — для Розанова прототип полового легкомыслия) были ему самыми ненавистными из людей, и даже сам «Спенсер» (такое же нарицательное имя для позитивистов) внушал ему безмерную иронию собственно потому, что ощущал (как предполагалось) в поле лишнюю природную «функцию».

Но на открывшемся пути было столько препятствий... И те первые годы Вас. Вас. стоял и перед препятствием чисто личного характера: все его связи, все литературное положение влекли его в традиционное русло. И тут не было натяжки: повторяю, все традиционное он любил и сам по себе — уже именно как таковое. Такие типы, как Победоносцев, Мих.П. Соловьев (консерватор-церковник, бывший одно время начальником печати), были ему искренно близки, уважались им не за страх, а за совесть, были ему гораздо понятнее, нежели «искатели», как, например, Д.С. Мережковский. К последнему он долго и, пожалуй, до конца относился не совсем серьезно: «Конечно, Рцы важнее вашего Мережковского, — говорил он мне, — это один из кардинальных умов эпохи». Кардинальный ум значил для него человек, религиозно переживающий быт, а там он мог, сверх того, иметь в себе и элементы пророка: их одних было недостаточно. — Наконец, журнально Розанов связался, и надолго, до конца, с «Новым временем»[18]: газета и особенно личность старика Суворина многими сторонами (тот же «бытовой колорит») должны были искренно привязать его. К Суворину он всегда хранил глубочайшее уважение и любовь, доходившую до энтузиазма[19], и это не только из чувства личной благодарности (без того материального устройства, которым он был обязан Суворину, русская литература не имела бы Розанова), а из совершенно бескорыстного влечения к этому типично бытовому человеку, «обывате-

лю» с талантом литературного импрессиониста. А такого импрессионизма было ведь масса и у самого Розанова: первоклассный литературный талант всегда подразумевает эту черту.

В этой странной двойственности Розанов жил еще долгие годы. Он «горел» своими открытиями и предчувствиями, но если в разгар этого горения вдруг падало письмо-строчка от Михаила Петровича Соловьева: «Под духом прелюбодеяния написана Ваша статья»[20], — Василий Васильевич был смущен надолго и серьезно. Сколько раз я заставал его в этом колеблющемся, недоумевающем настроении — настроении страха перед самим собой. Только в последние годы и даже в последние месяцы с него спала окончательно бытовая оболочка — и «пророческий» элемент взял верх над «священническим». Впрочем, опять-таки только в его литературе, потому что ни в жизни, ни в смерти он не захотел изменить церковной традиции.

В те годы — в конце прошлого столетия и в начале нынешнего — было интересно жить в Петербурге. Когда-нибудь будет написана подробная история этих годов — может быть, нисколько не менее значительных для русского духовного развития, нежели пресловутые 40-е годы. Такая интенсивность и свежесть вновь возникающих умственных интересов еще не повторялись в России. Теперь все захвачены «практикой» жизни, тогда, при слабой практике, было время для поисков «теории». В этих поисках, в том напряжении созерцательного творчества, в ряду других, одно из первых мест занял Василий Васильевич. Его дом, естественно, стал одним из интеллектуальных «журфиксов» столицы, куда волна выносила, надолго или мимолетно, каждого захваченного течением. Теперь это было уже совсем не похоже на Павловскую улицу...[21] Напротив, наряду с понедельниками у Дягилева (редакция «Мира Искусства»), собраниями у Мережковского и друг., розановские воскресенья были одним из тех очагов, где ковалась новая идейность. При радушии хозяев и газетных связях Василия Васильевича здесь набиралось, может быть, больше постороннего элемента, чем в других местах, но «оглашенные» постепенно сами собой отходили в сторону, а «елицы верные» продолжали прясть переходившую со станка на станок пряжу[22]. Кружок «Мира Искусства», с которым через Мережковских и Д.В. Философова сблизился в это время Василий Васильевич, несомненно, впервые дал ему вполне соответствующую среду. Сперва он тоже побаивался этих «декадентов»: «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо спрашивал он меня (у Дягилева висела резная

люстра в форме дракона). — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?». Но Розанов ходил и раз, и два, и десять, и пятнадцать — и наконец убедился, что Дягилев, Философов, Александр Бенуа, Бакст, Нувель, Мережковские — самая естественная его аудитория и самые близкие попутчики. Именно на встречах с ними, под страшной люстрой, он привык развивать вполне откровенно весь ход своих идей; здесь он получал уверенность в себе после назидания М.П. Соловьева или благодушно-импрессионистической беседы А.С. Суворина. И этот кружок, конечно, первый понял, кого он имел в лице Розанова. Л.С. Бакст, как мне кажется, интимно ближе других усваивал его идеи: недаром ему захотелось написать с него портрет; более арийский ум Александра Бенуа глубоко интересовался этими идеями, но не мог и не хотел замкнуться в их кругу. Самым же пылким энтузиастом Розанова, «этого русского Ницше»[23], был, конечно, Д.С. Мережковский, еще чуждый тогда политическим соображениям, толкнувшим его впоследствии к ненужной борьбе с Розановым и наивным «исключениям» из Собраний[24].

Из этой атмосферы, из этих частных собраний, из споров выросло, как естественный плод, первое Религиозно-философское общество в Петербурге 1901—1903 годов[25], на почве которого духовное созревание Розанова достигло своего зенита. Те «доклады» — «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» и «Христос — Судия мира», которые были написаны для собраний[26], — представляют собою высшую точку в раскрытии его идей. Здесь он уже высказался весь со всею последовательностью оснований и выводов, к каким привела его вся предыдущая дорога. Впоследствии, в последние годы своей жизни, он достиг еще большего усовершенствования литературной формы, еще большего обострения психологических переживаний «à la Розанов» — в таких книгах, как «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис». В них он окончательно стал великим *писателем* и заразил нас тем, что еще долго будет переживаться (и не в одной России) как «розановские настроения»[27]. Но философское обоснование этой фарфоровой башни, циклопические камни ее метафизических устоев были обтесаны и выложены уже тогда и явлены миру впервые на тех памятных заседаниях в зале Географического общества у Чернышева моста...

Да, эти заседания памятны. Обширный зал был всегда битком набит народом. «Широкая публика» уже интересовалась этими темами. Провинциалы, молодежь, дамы — все как водится. Но главный интерес собра-

ний был, конечно, в «очной ставке» представителей церкви — не только в рясах, но и в клобуках — с представителями интеллигенции, встрече двух лагерей, не встречавшихся по крайней мере с времен Петра (а до Петра какая была у нас «интеллигенция»?). Протопресвитер и царский духовник Янышев — и поэт-философ Н.М. Минский; рьяный архимандрит Антонин, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего, спокойно пропускал все «жупелы» того же Розанова в органе собраний «Новом Пути» (к ужасу цензора светского) — и рядом с ним рьяный «декадент», ницшеанец и «неохристианин» Д.С. Мережковский, об исключительном пророческом таланте которого не дают никакого понятия его сравнительно тусклые книги; бледный в черных своих облачениях, под черным куколем епископ Феофан — и изящно-парадоксальная в своей боттичеллиевской наружности поэтесса Гиппиус (обыкновенно она сидела рядом)... Да, это были совсем особенные собрания и совсем особая обстановка. Для Василия Васильевича эти первые собрания были незабвенным временем; он никогда не мог говорить о них равнодушно, а до самых последних дней оживлялся при каждом о них напоминании. И это слишком понятно: эти собрания как бы конкретно воплощали все то, чем он внутренне жил и о чем волновался. Здесь он мог прямо, «в упор» спрашивать церковь — церковь, при мысли о которой, от судеб которой он никогда не мог оторваться, — «вопрошать» ее и о «сладчайшем» идеале, и горьких плодах реальности. И он это делал с энтузиазмом, с отвагой, с упорством, из заседания в заседание. Вместе с Д.С. Мережковским он был, конечно, душою этих собраний — той двигательной силой, которая влекла и тревожила и эти длинные рясы, и эти куцые пиджаки, волновавшиеся рядом друг с другом. Какова была тогда сила этих волнений, показывает тот факт, что один из самых горячих участников прений, с церковной стороны, заболел временным душевным расстройством (еп[ископ] Антонин)... Но скромную по существу натуру Василия Васильевича (он был глубоко скромным человеком, несмотря на свою громадную минутами самоуверенность) как нельзя лучше характеризует тот факт, что сам он *лично* почти не выступал на собраниях. Его знаменитые доклады читал обычно С.А. Андреевский или кто-нибудь другой, из привычных членов, а Василий Васильевич, сидя где-то в сторонке, только густо краснел, как школьник, на самых резких местах. В нем еще была вообще (в те годы) эта юношеская способность к смущению. Помню, как однажды, коснувшись в домаш-

ней беседе, с глазу на глаз, Христа и поставив вопрос с подразумеваемым ответом (который читатель может найти в его позднем «Апокалипсисе»): «*Кто* же Он был?» — он вдруг невероятно смутился, покраснел, расстроился и не мог справиться с собой. Смущение еще увеличилось, когда вошедшее в комнату близкое Вас. Вас. лицо с укоризной посмотрело на него... Так философское «новаторство» еще плохо ладило с психологическою традиционностью русского человека. Другой такой же припадок овладел Вас. Вас., когда однажды Д.С. Мережковский попробовал определить истинное отношение, возможное между Розановым и Тем же Лицом, заключив свою мысль в следующие прекрасные слова: «сколько бы Розанов ни отрекался от Христа — но Христос не отречется от него»... Я думаю, что эти слова действительно лучше всего определяют такое соотношение, и та острота, с которой почувствовал их тогда Розанов, сама свидетельствует об этом. И опять-таки вспоминаются его последние дни... Одно ли «бытовое тяготение» привлекало его основы, в сознаваемом чувстве конца земного пути, к тому, что он только что безмерно отвергал? Историческая роль, выпавшая на долю человека, — это одно, сам человек, в его личной глубине и в смутном сознании *условий* правдивости этой роли, — другое.

Собрания оборвались скоро: такой парадокс вообще не мог долго продолжаться. На минуту их спасло «честное слово» Янышева Николаю II, что на собраниях нет ничего преступного. Но в конце второй зимы (весной 1903 года) собрания были запрещены[28], а вслед за тем запрещено даже печатание их отчетов в «Новом Пути», и журнал (где у Розанова был отдел «В своем углу») захирел. Для Розанова все это было большим ударом, и я редко видел его в состоянии такого негодования, в каком он был тогда на ближайших (частью литературных) виновников этого крушения (нововременец Меньшиков)[29]. Действительно, *внешне* он уже никогда не находился больше в таких благоприятных условиях для самообнаружения: «своего угла» ему так и не пришлось еще раз дождаться ни на кафедрах собраний, ни в журналистике — хотя он столько мечтал о нем. Возобновленные несколько лет спустя, после революции 1905 года, петербургские собрания[30], лишенные церковного элемента и окрашенные политической нетерпимостью (тогда все старались быть как можно «левее», не предвидя от сего никаких последствий), были уже чужды и скучны Василию Васильевичу и с каждым годом становились чуждее и скучнее, пока дело не окончилось памятной инсценировкой Мережковскими и А.В. Кар-

ташевым «исключения» Розанова из собраний. Будущий министр исповеданий в кабинете Керенского показал себя уже тогда прекрасным специалистом по истерике...[31]

Позднейшие московские религиозно-философские собрания (имени Влад. Соловьева) были духовно ближе Вас. Вас., и он часто говорил о них с симпатией[32]. Последние годы его вообще тянуло в Москву, и удерживали в опустевшем Петербурге только материальные соображения. «Да, конечно, я встретил бы там больше сочувствия, — говорил он мне, когда я звал его переехать в Москву, — но "Новое время"...» Нельзя сказать, чтобы положение его в газете отвечало уже не говорю его дарованиям, но хотя бы той огромной работе, которую он для нее сделал за много лет. Даже заработок его там был, в сущности, несправедливо мал, и ему постоянно приходилось искать дополнительных. Так, устроился он на несколько лет (через гремевшего тогда священника Г.С. Петрова[33]) в «Русском слове» (псевдоним «В. Варварин»), пока те же Мережковские и Философов не изгнали его и оттуда...[34] Как «Варварин», Василий Васильевич был, конечно, гораздо свободнее, чем как «Розанов», и благодаря характеру газеты, и благодаря своей маске, — но писание издалека ли, литературная ли усталость или отсутствие у «Русского слова» необходимой для В.В. бытовой подпочвы, но статьи его в этой газете были не так значительны... Вообще десятилетие после 1904 года было, как мне кажется, временем относительного ослабления розановского таланта (конечно, очень относительного: этого таланта хватило бы на десяток хороших писателей), точно, отойдя от минутно наметившейся общественной роли, он тогда еще не сосредоточился на самом себе.

Это сосредоточение наступило в последние годы... Сидя по преимуществу дома (он был большой домосед) долгими вечерними часами, за любимым своим занятием — переборкой, рассматриванием, определением и описанием древних монет (у него была одна из лучших не только в России, но даже в Европе частных коллекций греческих, римских и восточных монет), В.В. имел обыкновение набрасывать на чем попало, на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на вашем письме приходившие ему в голову, вечно бродившие в нем мысли. Он был, действительно, «литератор» — человек, непрерывно рождающий мысли, новые и старые, в обточенной оболочке литературного слова. Мне кажется, не было минуты, когда он был бы не способен к такому творчеству, и не было темы, которую он пожалел бы или затруднился бы взять материалом для такого

обтачивания. Это, впрочем, доказывают и сборники его записей — «Уединенное» и два тома «Опавших листьев»[35]. При жизни В.В. вышло только три таких книги, но материала у него должно было быть на много томов; еще в Петербурге, как-то раскрыв ящик своего письменного стола, куда он сбрасывал эти исписанные лоскуты, он показал мне целое бумажное море, прибавив, что у него есть уже «тома на четыре» — таких, как «Уединенное». Это было очень давно (пожалуй, еще до войны), и с тех пор и до смерти В.В. глубина и объем этого моря должны были сильно возрасти[36]. Следовало бы московским писателям (Москва, мне кажется, умеет больше ценить Розанова) — тем, кто понимает его значение — образовать особый розановский кружок, который занялся бы разысканием, собиранием и возможным напечатанием всего оставшегося после него материала. Ведь многое из лучшего, что он написал, так и осталось лежать еще в рукописи. Осталась ненапечатанной и большая работа В.В. 90-х годов — эпохи первых его «египетских» увлечений и расцвета — под символическим заглавием «Лев и Овен». Эту рукопись он тщетно предлагал тогда по очереди всем «толстым» журналам: они были слишком тощи, чтобы ее вместить. Между тем это, вероятно (судя по беглому просмотру), одна из главных его работ[37]. Она написана в золотую его пору и ведет мысль розановскими путями, начиная от «Диалогов» Платона, через восточные культы, в глубину любимого Египта, символы которого он начинал тогда разгадывать с таким страстным энтузиазмом (он скопировал собственноручно множество сложных египетских рисунков в целый лист из материалов Публичной библиотеки — интересно, сохранились ли эти рисунки?). Со временем придется, конечно, подробно изучить каждую черту его мысли, каждую его складку. Потому что другого такого мыслителя, как Розанов, мы еще не скоро наживем... И, мне кажется, пора уже теперь приступить к этой сложной работе, не откладывая ее.

Последние годы я, не живя в Петербурге, реже видался с Вас. Вас. и реже переписывался с ним. Гигантские пачки его писем прежних годов разбухали уже медленно. Но он, по-видимому, до конца оставался все таким же неутомимым «переписчиком» — любителем переписки, готовым каждую минуту к длинному, одушевленному ответу. Правда, что подпись в его письмах часто фигурировала посередине письма и, вслед за предполагавшимся окончанием, бесконечный «постскриптум» удваивал и утраивал не только длину письма, но часто и его интерес. В этом отношении В.В. был типично-русским человеком. Точно так же, когда он,

прощаясь с вами и после долгих поцелуев, уходил в переднюю, надевал калоши и шубу — это еще не значило, что он сейчас уйдет: нередко именно тогда-то и завязывался самый одушевленный разговор. Собеседник В.В. был вообще живой и неистощимый: я даже не могу представить его себе не расположенным к разговору — он всегда был готов еще и еще раз вернуться к излюбленным темам, распространить какой-нибудь «восточный мотив», а более всего рассказать и показать свои монеты. Чудесно отчеканенные на греческих экземплярах фигуры богов и символы культа давали ему неистощимую тему... Новые монеты, начиная с Византии, он презирал так же, как всю эту современную скуку...

Война, потом революция надломили Василия Васильевича. Что-то страшное случилось с ним осенью 1917 года, закрытие «Нового времени», потеря заработка и всего состояния повлекли его в отъезд из Петрограда «в каком-то беспамятстве» (писал он мне) и тяжелое разрушение его здоровья, до тех пор сравнительно очень крепкого[38]. Сергиев Посад приютил его в последние месяцы его жизни[39], и он умер 23 января (5 февраля) 1919 года здесь, возле той Москвы, где провел когда-то молодые студенческие годы[40]. Жизнь сложилась так, что он жил в Петербурге, но внутренне Москва, я думаю, была ему ближе. А может быть, еще ближе то Троице-Сергиево, куда привела его судьба, как Константина Леонтьева, в последние дни... Он и лежит теперь там, возле своего учителя-друга, и, думается, он сам не захотел бы избрать себе другое место[41]. Именно там — близ стен старой русской лавры — он всегда увидал бы для себя надежное пристанище после того долгого, бурного плавания по духовному морю, которое выпало на его дело...

1919, март.

РАННИЙ БЛОК

...Принялась ты опять
Светлый бисер на нитки низать,
Как когда-то, ты помнишь, тогда...
О, какие то были года!
Но, когда ты моложе была,
И шелка ты поярче брала,
И ходила рука побыстрей...
Так возьми ж и теперь попестрей,
Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу,
Побеждал пестротой эту мглу.

Александр Блок[1].

I

Это было золотою осенью 1902 года. Стоял мягкий летний сентябрь, когда под Петербургом природа иногда еще замедляет праздник своего расцвета и точно не хочет с ним расстаться. Западный ветер приносит с моря долгий ряд дней, похожих друг на друга, напоенных последней лаской лета... Наш литературный кружок той осенью готовился к своему боевому делу — создавался журнал «Новый Путь». Журнал религиозно-философский — орган только недавно открытых, кипевших тогда полной жизнью петербургских первых религиозно-философских собраний, где впервые встретились друг с другом две глубокие струи — традиционная мысль традиционной церкви и новаторская мысль с бессильными взлетами и упорным стремлением — мысль так называемой «интеллигенции»... И, наряду с этим, вырисовывалась другая задача: нужно было дать хоть какой-нибудь простор новым литературным силам, уже достаточно обозначившимся и внутренно-окрепшим к тому времени, но все еще не имевшим своего «места» в печати, почти сплошь окованной «традициями», более упорными, чем официальная церковность. Все эти «декаденты», «символисты» — как они тогда именовались — так быстро затем, во второй половине десятилетия, захватившие поле сражения — еще не знали для себя пристани-

ща, не имели где преклонить голову. Трудно поверить, что Сологубу негде было печатать своих стихов, а «Мелкий бес» лежал безнадежно, тщательно переписанный в синих ученических тетрадках, в «портфеле» своего автора, даже не странствуя по редакциям — ввиду очевидной бесплодности такого путешествия. Брюсов был мишенью постоянного и неутомимого обстрела газетных юмористов («бледные ноги»)[2], Мережковскому извинялись его стихи, «похожие на Надсона», и полуодобрялись «декадентские» романы (первые две части трилогии)[3], но свою критику ему также негде было печатать, а «Толстой и Достоевский» увидел свет только благодаря мужеству С.П. Дягилева, упрямо печатавшего его в течение двух лет в чисто художественном по заданию «Мире Искусства»...

Это недавно так было —
И так давно, так давно...[4]

Итак, той осенью небольшой «декадентский» кружок собрался издавать (без денег и без возможности платить гонорар) синтетический «Новый Путь», беспрограммная «программа» которого должна была вести куда-то вдаль... Во главе дела стояли Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, а так как обстоятельства и выбор кружка сделали меня третьим (и внешне-«ответственным») соредактором, то и приходилось часто видаться с первыми двумя на почве «злободневных» редакционных вопросов. Именно эта необходимость заставила меня в том сентябре сесть в поезд Варшавской железной дороги и направиться в Лугу, где в усадьбе, стоявшей в густом лесу, Мережковские ловили последние минуты дачных радостей[5], последнюю лазурь и золото сентября —

И догорающего лета
На всем дрожащие лучи...[6]

Известно, какое множество стихотворных рукописей присылается в каждую редакцию с тех самых пор, как изобретено стихосложение или как изобретены редакции. Поэтому в каждый такой приезд мне приходилось сообщать Мережковским, или обратно, то или иное количество — «новых» стихов. Это было, так сказать, очередной «редакторской» неизбежностью. Иногда попадались между такими стихами недурные, даже хорошие...

Но только один раз у меня было совсем особое впечатление...

Помню как сейчас широкую серую террасу старого барского дома, эту осеннюю теплынь — и Зинаиду Николаевну Гиппиус с пачкой чьих-то

стихов в руках. «Прислали (не помню от кого)... какой-то петербургский студент... Александр Блок... посмотрите... Дмитрий Сергеевич забраковал, а по-моему, как будто недурно»...[7] Что Дмитрий Сергеевич забраковал новичка — это было настолько в порядке вещей, что само по себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно «признать». Одобрение Зинаиды Николаевны значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их...

Это были стихи из цикла «Прекрасной Дамы». Между ними отчетливо помню: «Когда святого забвения...» и «Я, отрок, зажигаю свечи...». И эта минута на осенней террасе, на даче в Луге, запомнилась навсегда. «Послушайте, это гораздо больше, чем недурно: это, кажется, настоящий поэт», — я сказал что-то в этом роде. «Ну, уж вы всегда преувеличите», — старалась сохранить осторожность Зинаида Николаевна. Но за много лет разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения «начинающих» и «обещающих» молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт. Может быть, я и самому себе, из той же «осторожности», не посмел тогда сказать этими именно словами, но *ощущение* было это. Пришел кто-то необыкновенный; никто из «начинающих» никогда еще не начинал такими стихами. Их была тут целая пачка — и все это было необыкновенно. Ведь тут были: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»; «Новых созвучий ищу на страницах...»; «Я к людям не выйду навстречу...»; «Гадай и жди...»; был «Экклезиаст». Поражала прежде всего уверенность поэта — та твердая рука, которой все это было написано: это был уже мастер, а не ученик[8]. Я думаю, во впечатлении, после темы (тоже необыкновенной) прежде всего господствовала именно эта черта — полной зрелости таланта, полной уверенности в том, что он хочет сказать и что говорит. Черта, так непохожая на обычную «юношескую» неопределенность и несобранность «начинающих». Чтó из них выйдет — Фет, Майков, Надсон? Как будто есть ото всех понемногу — или пусть от кого-нибудь одного, но тогда, пожалуй, еще хуже: «выйдет» ли что-нибудь? — здесь не было этого вопроса: облик поэта стоял отчеканенный, ясный. И этот почерк — такой уверенный, отчетливый, и такой красивый! Я и сейчас не знаю почерка красивее, чем у Александра Блока.

Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресала поэзия Владимира Соловьева — ее последние, лучистые озарения. Это казалось прямо ка-

ким-то чудом: только два года перед тем замолчала муза мыслителя-ясновидца, и вот вдруг ее звуки переходят на новую лиру — кто-то пришел, как прямой и законный наследник отозванного певца; он уже все знает и ведает, и ведет дальше оборвавшуюся песнь, как заранее знакомое слово о *том же самом*.

Я и теперь считаю «Стихи о Прекрасной Даме» самым чудесным из чудес Блока и его дебют самым удивительным началом...

С той поры я почувствовал ту особую нить, которая протянулась между мною и автором этих стихов, и он стал для меня особым, «знающим» — тем, с кем внутренне не расстанешься. И теперь, перечитывая его письма ко мне, я нахожу в них и «с той стороны» ощущение той же нити...

Скоро он пришел к нам и в редакцию[9] — высокий, статный юноша, с вьющимися белокурыми волосами, с крупными, твердыми чертами лица и с каким-то странным налетом старообразности на все-таки красивом лице. Было в нем что-то отдаленно-байроническое, хотя он нисколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное и невольное сходство. Светлые, выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро... Синий студенческий воротник подчеркивал эту вневременную мудрость и странно ограничивал ее преждевременные права. Блок держался как «начинающий» — он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. З.Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе — он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать. Влияние Мережковских надолго сказалось на Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он выступал не раз в религиозно-философских кружках с докладами на темы и в духе этого влияния; к счастью, его поэзия осталась, кажется, совсем свободной от него.

На редакционных собраниях «Нового Пути» Блок появлялся довольно аккуратно, хотя отсутствие сверстников — по крайней мере первое время — замыкало его в некоторую изолированность. Но журнал был для него «своим» — и не мог не быть ему близок.

В эти первые месяцы знакомства — в недели подготовительных для начала журнала работ — я получил от Блока первое письмо[10]. Оно сразу и прямо сказало мне то, о чем молчал (и *должен* был молчать) он при свиданиях. В этом письме ощутительно протянулась *та* «нить», и желание «сказать» превозмогло мудрость хранения[11]:

1.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Спасибо Вам. Ваше письмо придало мне бодрости духа. Главное же, что мне особенно и несказанно дорого, — это то, что я воочию вижу нового Ее служителя; и не так уже жутко стоять у алтаря, в преддверии грядущего откровения, когда впереди стоите Вы и Владимир Соловьев. Я могу только сказать (или даже вскрикнуть) чужими, великими, бесконечно дорогими мне словами:

Давно уж ждал друзей я этих песен...
. . . .
О, как мой день сегодняшний чудесен![12]

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок.

5 ноября 1902 г. СПб.
Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. № 13[13].

Цитата из Фета, замыкающая письмо, указывает поэтические корни Блока. Фет был для него действительно всегда дорогим именем, и он досадовал на ту забывчивость, с которой русский читатель уже успел отойти от этого имени после несколько холодного «признания» в эпоху восстановления прав поэзии в 80—90-е годы. Но не лежит ли часть вины здесь и на самом Фете: не был ли в чем-то холоден и сам учитель, не договаривавший того, о чем договорил ученик?

II

В «Новом Пути», после первого, дебютного номера (январь 1903 г.), было решено применять систему печатания стихов по авторам, т. е. в каждой книжке помещать одного какого-либо поэта в ряде пьес, напечатанных вместе, взамен традиционной системы — рассыпа́ть разнохарактерные «вещицы» различных авторов по всей книжке журнала, «на затычку». Нехитрая реформа, но тогда и это было новшеством. Так, февральская книжка была отдана Сологубу, а март предназначался для З.Н. Гиппиус.

Но она сама пожелала уступить этот месяц Блоку: март казался самым естественным, даже необходимым месяцем для его дебюта; март — месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в третьей книжке дебютанта, о котором заранее можно было сказать, что «широкая публика» (публика 1903 года!) не примет его, как своего певца. В «портфеле» редакции, т. е. в ящиках письменного стола, лежали стихи Минского, Мережковского и такого общеприемлемого для всех времен (хотя прекрасного) поэта, как Фофанов. Но хотелось «пустить» Блока — и именно в марте... «Букет» его стихов составился легко и был подобран самим автором, как можно видеть из следующего, второго его письма ко мне:

2.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Посылаю Вам два старых стихотворения — «Отрок» и «Святое забвение»[14]. Вместо первой строки в стих. «Странных и новых ищу на страницах» предлагаю Вам два варианта: «Новых заветов ищу...» или «Новых мерцаний ищу...»[15]. Мне кажется лучше существительное с прилагательным, чем два прилагательных. В стих. «Отрок» я изменил слово «сладостный» на «ласковый»[16]. В стих., где Ангел запевает в трубу, мне не удалось изменить последней строфы, потому не посылаю его Вам. Стих. с «панихидами» и «милой красой» — также, тем более, что Вам оно не нравится вообще. Заглавие ко всему отделу я попросил бы поставить: «Из Посвящений». С большими буквами очень бы хотелось поступить так, как Вы предлагали. В подписи прошу Вас очень поставить мое имя полностью (*Александр* Блок) во избежание смешения меня с моим отцом, что было бы ему неприятно. Порядок стихов мне бы хотелось определить самому, если можно, уже по корректурным листам. Взамен двух вышеупомянутых стихотворений не согласитесь ли Вы принять следующие два, или одно из них? Прилагаю их. Если Вам не понравится, не надо совсем, кажется, набирается и без них до 14-ти.

Преданный вам и готовый к услугам

Александр Блок.

1 февраля 1903. — СПб.

Всего было напечатано («Новый Путь», 1903, III; стр. 48—59; «Из Посвящений». Стихотворения Александра Блока) *десять* стихотворений:

1) «Предчувствую тебя. Года проходят мимо...»
2) «Новых созвучий ищу на страницах...»
3) «Гадай и жди. Среди полночи...»
4) Старик («Под старость лет забыв святое...»)
5) «Когда святого забвения...»
6) «Я, отрок, зажигаю свечи...»
7) Экклесиаст («Благословляя свет и тень...»)
8) «Я к людям не выйду навстречу...»
9) «Царица смотрела заставки...»
10) «Верю в Солнце Завета...»

Первое из них осталось первым (после пропилейного «Вступления»)[17] и в сборнике «Стихи о Прекрасной Даме» (изд. 1905 г.) — очевидно, оно было магистральным в мысли самого Блока. В сборнике оно напечатано без изменений против журнала (только текст разбит на двустишия вместо четырестиший, и поставлена пометка: 1901 — «Шахматово», так рано созрел внутренний облик поэта!). Во втором первая строка, после неудачных вариантов, предложенных в письме, установилась все-таки в сцеплении существительного с прилагательным: «Новых *созвучий* ищу...» В сборнике оно стоит на третьем месте (после стихотворения «Вхожу я в темные храмы...») и напечатано также без всяких изменений, как и все остальные стихотворения этого дебюта: так уверенно писало перо Блока. Стихотворение, «где ангел запевает в трубу», есть, конечно, изумительное стихотворение «Целый год не дрожало окно», в котором, в окончательной отделке, как раз последняя строфа сложилась в такой совершенный строй:

Но, ложась в снеговую постель,
Услыхал заключенный в гробу,
Как вдали запевала мятель,
К небесам подымая трубу[18].

Стихотворение с «панихидами» и «милой красой» есть общеизвестное и превосходное стихотворение «Мы встречались с тобой на закате», которое тогда читалось так (курсив отмечает изменения):

Мы встречались с тобой на закате, —
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи,
Ввечеру — на песчаной косе
Загорались *какие-то* свечи,
Кто-то думал о *милой* красе.

Приближений, сближений, сгораний
Не приемлет лазурная тишь.
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни *мечты*, ни любви, ни *обиды* —
Все померкло, прошло, отошло.
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло[19].

Впоследствии Блок переработал его, и в своем теперешнем виде оно было напечатано во второй серии его стихов — в номере 6 «Нов[ого] Пути» за 1904 г. и так, с незначительными лишь поправками, перепечатано в «Стихах о Прекрасной Даме» (стр. 25)[20].

Среди рукописей сорока двух стихотворений Блока, у меня имеющихся, — которые он частью присылал в «Новый Путь», частью переписывал лично для меня, — то же стихотворение читается с вариантами 5-й, 11-й и 12-й строк:

Были *стройны безмолвные* встречи...
. . . .
Перед нами в вечернем тумане
Молчаливый клонился камыш...[21]

Любопытно желание Блока видеть свою фамилию в печати непременно вместе с именем, причем он не заметил даже — очевидно, в поспешности письма, что семейная оговорка, которой он мотивировал это желание, явно несостоятельна: его звали Александр Александрович, следовательно, имя «Александр» нисколько не устраняло гипотезы об авторстве его отца, если такая гипотеза была в самом деле возможна[22].

«С большими буквами очень бы хотелось поступить так, как Вы предлагали» — за этой строкой скрывался целый сложный план. «Новый Путь», как журнал религиозно-светский, был подчинен целым двум цензурам — светской и духовной, в которую направлялись корректуры религиозного или «похожего» на то (по мнению светского цензора) содержания. Большие буквы стихов Блока подчеркнуто говорили о некоей Прекрасной Даме — о чем-то, о ком-то, — как понять, о ком?

Белая Ты, в глубинах несмутима,
В жизни — строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина[23].

. . . .

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета.
Вижу очи Твои[24].

От таких стихов не только наш старомодный и угрюмо подозрительный «черносотенец» Савенков (светский цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог впасть в раздумье... Стихи с большими буквами могли легко угодить в духовную цензуру, и хотя она в общем была мягче светской, но в данном случае и она могла смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают русские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру, мы трепетали вероятного — минутами казалось: неизбежного — запрещения. Большие буквы... ах, эти большие буквы! — именно они-то и выдавали, как казалось, автора с головой. «Не пропустят»... И тут вдруг кому-то в редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным правилам нельзя менять текста после «пропуска» и подписи цензора, но ничего не сказано о чисто корректурных, почти орфографических поправках, как, например, перемена маленьких букв на большие. Итак, почему бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не будет ни одной большой буквы, а по возвращении из чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на своем месте, почему бы не восстановить все большие буквы на тех местах, где им полагается быть по рукописи? Так и было сделано — и вероятно, эта уловка спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой помарки и не заикнулся о духовной цензуре — хотя при встрече выразил мне недоумение: «странные стихи»... Но ведь странными должны были они показаться далеко не одному благонамеренному старцу Савенкову.

Мартовская книжка — лучшая книжка журнала за оба года его существования (в ней, между прочим, журнальный дебют А.М. Ремизова)[25] — вышла из двойных кавдинских ущелий[26] цензуры только в самом конце месяца. В «Новом Пути» помещались цинкографические снимки, подбором которых имелось в виду натолкнуть читателя на более культурные предпочтения, чем те, к каким он традиционно привык в 1903 году. Давались обыкновенно воспроизведения картин Ренессанса и т. п. Для марта мы решили подобрать своего рода художественный антураж к стихам Блока и поместили в листе его стихов четыре «Благовещенья» — Леонардо из Уффи-

ций, деталь — голову Марии с той же картины, фреску Беато Анжелико из флорентийского монастыря св. Марка и алтарный образ нашего Нестерова из придела в Киевском соборе. Блоку была приятна эта иллюстрация, и он горячо благодарил меня за нее. Журнал и он уже вполне знали друг друга.

Какое было впечатление от появления первых стихов Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатление едва ли не самого «курьезного» из курьезов курьезнейшего журнала. «Новый Путь» считался вообще какой-то копилкой курьезов в нашей журналистике. Только духовные круги серьезно интересовались религиозно-философской стороной журнала, да из среды молодежи постоянно приходили сочувственные весточки; все «серьезное» и веское или игнорировало «этих полусумасшедших», или старалось их литературно изолировать, как зараженный элемент (эти старания в конце концов подрезали журнал). Стихи Блока были прямо на руку этим спасателям: какие-то «совершенно непонятные» стихи, Бог весть о чем — какая-то Дева, Заря, Купина, какой-то Дух... большие буквы...

Признаюсь, никоим образом не ожидал я тогда, что пройдет всего четыре-пять лет — и Блок, после «Балаганчика», станет популярным[27], а там вскоре и «знаменитостью». Популярность его в молодежи стала обозначаться еще раньше. Но правда, что «Балаганчик», так же как и вся социальная сторона Блока, наметились и развернулись уже позже; в эпоху «Прекрасной Дамы» даже трудно было их предвидеть. И я продолжаю думать, я надеюсь, что стихи его дебюта, так же как и все стихи его первой книжки, остаются и до сих пор мало популярными...

Характерно, что во всей огромной переписке со мной Брюсова тех годов (1902—1904 гг.) я встречаю только одну строчку о Блоке — и какую? «Блока знаю, — пишет он осенью 1902 г., — он из мира Соловьевых. Он — не поэт»[28]. Правда, что вскоре при личном свидании, по прочтении стихотворений «Я, отрок, зажигаю свечи» и «Когда святого забвения», этот краткий и столь безапелляционный приговор был взят обратно[29]. А весной 1903 г., когда мы с Брюсовым ехали вместе из Петербурга в Москву, вскоре после мартовской книжки, у него сложились ночью под стук поезда эти превосходные стихи (карандашная запись которых до сих пор хранится у меня):

Они Ее видят! они Ее слышат!
С Невестой Жених в озаренном дворце!..
. . . .
Железные болты сорвать бы! сломать бы!..
. . . .

(Напечатано в сборнике «Urbi et Orbi» под заглавием: «Младшим»)[30].

Следующая серия стихов Блока была напечатана уже в 1904 году, в июньской книжке — последней, редактированной мною. Всего было подобрано двенадцать стихотворений, но три из них зачеркнуты цензурой, и в печати появилось только девять:

1) «Целый год не дрожало окно...» (Андрею Белому)

2) «Погружался я в море клевера...»

3) «Мы встречались с тобой на закате...»

4) «Я вырезал посох из дуба...»

5) «У забытых могил пробивалась трава...»

6) «И снова подхожу к окну...»

7) «Ты у камина, склонив седины...»

8) «Потемнели, поблекли залы...»

9) «Я, изнуренный и премудрый...»

Все эти стихотворения были перепечатаны потом в сборнике о Прекрасной Даме, опять-таки без всяких поправок, — за исключением пьесы «И снова подхожу к окну», не вошедшей, по-видимому, ни в один сборник[31] и опущенной, вероятно, потому, что она слишком напоминает Фета (особенно конец).

Три зачеркнутых цензурою стихотворения были следующие:

1) «Был вечер, яростно багровый...» (с посвящением И.Д. Менделееву) — № VII рукописи;

2) «Мой любимый, мой князь, мой жених...» — № XI рукописи;

3) «Я — меч, заостренный с обеих сторон...» — № XII (заключительный) рукописи.

Последние два вошли в сборник о Прекрасной Даме: стр. 61—62 (небольшие поправки) и стр. 50 (без поправок). Что до первого, то я не нахожу его в изданиях Блока[32] и потому позволяю себе перепечатать его в приложении к этой книжке — вместе с двумя другими из моего архива, также не вошедшими в отдельные сборники и, может быть, даже не бывшими вовсе в печати[33]. Там же читатель найдет два стихотворения из первых сборников Блока, имеющие в моих рукописях значительные разночтения сравнительно с печатной редакцией: 1) «Вступление» (в моей рукописи «Ante lucem») из «Стихов о Прекрасной Даме» (вместо шестой и седьмой строф читаются три строфы — по моему впечатлению, несравненно лучшие) и 2) упоминаемый ниже «Последний день» из «Нечаянной Радости» (варианты во всех строфах)[34].

Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь ярких отзывов о дебютных стихах Блока[35]. Впрочем, кому было бы и написать такой отзыв? Скабичевскому? Михайловскому? М. Протопопову? А.Б. (Ангелу Богдановичу) из «Мира Божьего»? «На первых ролях» были тогда все вышеупомянутые «силы». В беглом же газетном обстреле, которому постоянно подвергался «Новый Путь», летела, вероятно, шрапнель и на этот вновь наметившийся «квадрат». Стихи Блока ведь еще несколько лет потом пугали газетных ценителей — так же, как после 1907 года стали умилять их... В не лишенных остроумия пародийных фельетонах Буренина того времени появлялся, во всяком случае в нашей «новопутейской» компании, поэт Блох, вместе с философом Мистицизмом Мистицизмовичем Миквой (Вас.Вас. Розанов).

III

Все знают Блока как поэта и театрального автора, но не очень многие как критика и вообще теоретического писателя. Между тем эта сторона обозначилась в нем с самого начала: в той же мартовской книжке «Нового Пути» он дебютировал и как журналист: две рецензии — на перевод «Героинь Овидия» Д. Шестакова (подписана одной буквой Б.) и на книжку «Близость второго пришествия Спасителя» полковника Бейнингена (подписана *Ал. Бл.*) принадлежат его перу[36]. Любопытно в первой (очень короткой и очень похвальной) уроненное в последних строках замечание: «Овидий принадлежит к тому несомненному и “святому” (Пушкин), что должно светить нам “зарей во всю ночь”» — чисто блоковская строка[37]. Вторая резко изобличает механический апокалиптизм отставного полковника, «математически» высчитывавшего на досуге, «пользуясь немецкими сочинениями», точный срок пришествия Христова. Можно понять, что эта «арифметика» почти лично оскорбляла поэта, в душе которого пело предчувствие:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли...[38]

Около того же времени я получил от Блока третье и четвертое письма:

3.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Письмо Зинаиды Николаевны, по-видимому, бесследно пропало на почте[39]. Посылаю Вам письмо, автор которого не желал бы разоблачить своего имени. Не найдете ли возможным напечатать его в мартовской книжке? Прилагаю стихотворение Бугаева, которое он мне прислал.

Преданный Вам *Ал. Блок.*

28/II 1903. СПб.

На том же листке рукою Блока переписано стихотворение Белого «Встреча» («Вельможа встречает гостью») — эта типичная сомовская картинка (пьеса и посвящена Сомову)[40].

4.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Сейчас получил Ваше письмо, если позволите, в понедельник (3 марта) зайду к Вам в редакцию, сделав все поправки, какие Вы указали[41]. Автор письма очень держится за подпись «Алчущая и жаждущая», может быть, возможно оставить? Очень радуюсь, что Бугаевские стихи Вам понравились. Он сам пишет, однако, что только отдыхает в них *«от все той же думы»* (NB — курсив Блока, как и во всех письмах. — *П.П.*), и что в стихах не он сам, «а кто-то посторонний» ему[42].

Преданный Вам *Ал. Блок.*

1 марта 1903. СПб.

В «Новом Пути» существовал отдел «Из частной переписки», в котором помещались отголоски, доходившие из публики на темы, близкие журналу. Письмо за подписью «Алчущая и жаждущая» (принадлежавшее матушке Блока) предназначалось для этого отдела. Почему-то оно не было помещено (вероятно, последовало veto Мережковских).

В интересе к стихам Бугаева ясно обнаружилась та связь творческого братства, которая проходит через всю жизнь Блока и соединяет его имя с именем Андрея Белого в такую же мистическую пару единого духовного явления, как (чтобы взять близкие примеры) имена Минского—Мережковского, Гиппиус—Сологуба, Бальмонта—Брюсова, Ал. Добролюбова—Коневского. Замечательно, что в нашем литературном символизме все

крупные имена расположились в этом отчетливом парном сочетании. То же самое явление, столь же отчетливо, дала русская живопись, начиная с середины и за всю вторую половину XIX-го века. Ал. Иванов—Федотов, Ге—Перов, Крамской—Репин, Шишкин—Куинджи, Ярошенко—Вл. Маковский, В. Васнецов—Нестеров. И разве не ту же диаду уже давно отметили у себя немцы, упорно соединяя «двух одинаковых молодцов» — Гете и Шиллера, и недавно нашли у себя англичане, когда рядом с так долго одиноким именем Байрона стали ставить имя Шелли?

Блок, несомненно, смутно для сознания и весьма отчетливо для чувства ощущает эту связь. В эти первые годы именно к Белому тянуло его больше всего. И его первая подписанная им полной подписью статья была статья о Белом — в четвертой книжке «Нового Пути» за тот же 1903 г.[43] Статья эта была настолько лирически-субъективна, представляла собственно не «критическую» статью, а такой зов другой, родной души, что мы поместили ее даже не в отделе «Литературной хроники», а в отдел «Из частной переписки». Ее краткость и выразительность для Блока (да и Белого) тех дней соблазняют меня извлечь ее из потемок старого журнала:

Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1902.

Все это снилось мне когда-то. Лучше: грезилось мне на неверной вспыхивающей черте, которая делит краткий сон отдохновений и вечный сон жизни. Просыпаясь внезапно, после трудов и сует, я подходил к окну и видел далеко, в резких тенях, точно незнакомые контуры зданий. А наверху шевелилась занавеска, готовая упасть, скрывая от меня сумерки Богопознания! Это ли снилось мне, пришедшему из усталости, отходящему в усталость, робкому прохожему? И, как свеча, колеблемая ветром на окне, я смотрел вперед — в ночное затишье — и назад в дневное убежище труда.

«Приближается утро, но еще ночь» (Исаия). Ее музыка смутна. Звенят мигающие звезды, ходят зори, сыплется жемчуг; близится *воплощение.* Встала и шепчет над ухом — милая, ласковая, ты ли?

«Что-то в слово просится, что-то недосказано, что-то совершается, но — ни здесь, ни там» (Вл. Соловьев). Я обернулся. Никого.

Но «имеющий невесту есть жених» (Иоанн). Он прежде других узнает голос подруги. Стремящийся в горы слышит голос за перевалом. Ты не

уснешь в «золотисто-пурпурную» ночь. Утром — тихо скажешь у того же окна: здравствуй, розовая Подруга, сказка, заря. Кто рассказал ее тебе? «Что этой ночью с тобой свершилося? Ангел надежд говорил ли с тобой?» (Вл. Соловьев).

Я говорю, что это не книга. Пускай гадает сердцеведец, торопится запоздалый путник и молится монах. «Уж этот сон мне снился».

Александр Блок[44].

Так, вместо рецензии, получилось еще одно стихотворение из цикла Прекрасной Дамы, которое только прозаическая форма не допустила в сборник. Следовало бы, однако, собрать в один венок все эти оброненные лепестки раннего цветения Блока, которые дорисовывают нам его образ.

В той же апрельской книжке напечатана еще коротенькая ироническая заметка о романе Зарина «Спирит» (в «Литературной хронике»; подпись *Ал. Бл.*)[45]. И затем до конца 1903 года Блок отсутствует в журнале (помнится, летом он уезжал куда-то)[46]. Только в январе 1904 г. появились (в «Литературной хронике») сразу три его рецензии: о сборниках Бальмонта «Будем как солнце» и «Только любовь» (полная подпись) — типичная рецензия о maitr'e; о трилогии А. Ягодина «Из древнего Рима» (подпись *Ал. Бл.*) и о сборнике Федора Смородского «Новые мотивы» (та же подпись) — обе иронические[47]. Этим рецензиям предшествовали, еще в декабре, два письма:

5.

Многоуважаемый Петр Петрович!

Рецензии на книги Брюсова и Бальмонта будут готовы не позже 10 декабря[48]. Посылаю Вам 15 моих стихотворений, из которых Вы, может быть, выберете некоторые для «Нового Пути». Некоторые из них, известные Вам с прошлого года, я старался переделать; не знаю, удалось ли. Некоторые — совсем недавно написаны. Я должен Вам признаться, что задумываюсь о сборнике своих стихов, который согласился напечатать «Гриф», конечно, не раньше будущей осени[49]. Потому мне было бы очень важно еще напечататься у Вас. Если Вам не понравятся эти стихи, у меня есть еще старые и новые. Прошу Вас, многоуважаемый Петр Петрович, если у Вас будет время, написать мне об этих стихах. Скажите мне, есть ли в них что-нибудь новое, сравнительно с прежним. Также, если мож-

но, известите меня о том, нужно ли мне писать рецензии на Сологуба и на Коневского?[50]

Любящий Вас

Александр Блок.

1 декабря 1903 г. СПб.

6.

Многоуважаемый и милый Петр Петрович.

Спасибо Вам за Ваше неизменное отношение ко мне и стихам моим, и особенное спасибо за простое и откровенное письмо[51]. Для меня это так важно всегда, когда дело идет о важных и неважных вещах, а между тем откровенности кругом почему-то ужасно мало — в Петербурге. А из Москвы она, как вода жизни, жаждущему часто дается даром. В Вас, если Вам это не обидно, я всегда чувствовал что-то московское. Для меня это очень много, потому что в Москве я потерял Соловьевых[52] и приобрел Бугаева. А за последнее время Скорпион вызывает очень большие дозы *личной* моей благодарности, издавая свои книги. Кстати — мои рецензии, боюсь, не годятся Вам — они длинны, но от души.

Мои стихи, которые я послал Вам, я буду считать свободными (т. е. если встретится возможность, напечатаю где-нибудь), списки же, если они Вам нравятся, оставьте лично у себя, в знак моей неизменной преданности Вам. Если рецензии Вы найдете возможными, буду ждать Коневского, о котором, пожалуй, придется также написать длинно[53], а об остальных книгах собираюсь написать маленькие рецензии.

Любящий и уважающий Вас

Ал. Блок.

9/XII 1903. СПб.

Это характерно-юношеское письмо, с жалобами на недостаток откровенности в Петербурге и с типично петербургской идеализацией Москвы и «московского», ярко обрисовывает Блока тех, ранних лет. Снова упомянут Бугаев... Что до рецензий, якобы слишком длинных, то у Блока как раз они выходили обычно чрезвычайно сжатыми: в них была та же насыщенность слова, что в его стихах, — и это самосомнение нужно объяснить только молодой неуверенностью.

Следующая серия писем относится к весне 1904 года:

7.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Из стихов, которые я посылал Вам, напечатано только одно («Темная, бледно-зеленая детская комнатка»)[54]. Стихотворение «Фабрика» («В соседнем доме окна желты») вычеркнул московский цензор «Грифа»[55].

Посылаю Вам еще несколько стихотворений на выбор. Позвольте мне на днях зайти к Вам в редакцию и переговорить, потому что я очень скоро уеду из Петербурга. Рецензии непременно постараюсь приготовить к маю.

Преданный Вам *Александр Блок.*

15 апреля 1904 г. СПб.

В стихотворении «Фабрика», столь предусмотрительно вычеркнутом цензурой, едва ли не впервые прозвучала новая, «социальная» струна блоковской поэзии[56]. Помню озадачивающее впечатление этих стихов и их яркого начала:

В соседнем доме окна желты.
По вечерам, по вечерам
Скрипят чернеющие болты;
Подходят люди к воротам...

Грубый чекан этих ударяющих, как молот кузнеца, строк был так непривычен под пером поэта «Прекрасной Дамы». Но очень скоро обнаружилось, что здесь приоткрылось новое лицо автора, что романтика идеализма сменяется романтикой действительности (ибо в самом реализме Блока всегда бродили туманные дымы иллюзорности — подобные туманам Достоевского). Неясный абрис «Незнакомки» уже предносился в душной тесноте этой пьесы...

8.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Посылаю Вам рецензии на Бальмонта и Вяч. Иванова, боюсь, что чересчур длинно и местами коряво. Думал, как переменить стихотворение «Потемнели, поблекли залы», и придумал только один плохенький вариант последней строфы:

У дверей королевы прекрасной
Я рыдал в плаще голубом.
И, шатаясь, вторил ужасный
Незнакомец с бледным лицом.

Может быть, можно оставить по-старому?[57] Прилагаю еще одно стихотворение, на место этого, если оно не пойдет[58]. А вариант мой уж очень плох.

Преданный Вам

Александр Блок.

Никол. ж. д., ст. Подсолнечная, именье Шахматово, 27/IV 1904.

В пьесе «Потемнели, поблекли залы» нас (редакцию) долго смущало алогическое построение последних стихов: строгий логизм был еще слишком внедрен русскому читателю всей предыдущей литературой. Блоку мы предлагали варианты, равно неудачные, и, к счастью, строки остались в конце концов без изменений.

Рецензии на Бальмонта («Горные вершины») и Вяч. Иванова («Прозрачность») были напечатаны в той же июньской книжке, что и стихи, — за полной подписью автора[59]. Эти рецензии длиннее прежних, но все-таки не слишком длинны. Отношение к Бальмонту здесь гораздо свободнее и даны некоторые ограничения («Никто не подаст спасительно руки, указующей на целое, на полноту. И хочется, чтобы кто-то протянул эту руку» — последние строки). Иванов уже вовсе не «учитель» для Блока, и он дает его характеристику с чувством товарища по общему делу.

К маю 1904 г. относится последнее письмо периода «Нового Пути»:

9.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Благодарю Вас очень за письмо и за оттиски[60]. Если мои стихи будут напечатаны в июньской книжке, нельзя ли мне будет получить такие же оттиски и с них?

Посылаю Вам рецензию на Брюсова в самом сухом тоне, я никак не могу написать менее лирическую. Мне кажется, «Urbi et Orbi» — факт неисчерпаемый и громадный[61].

Решительно не могу придумать варианта сколько-нибудь приличного, вместо «тот самый»[62]. Посылаю Вам еще пять стихотворений, из ненапечатанных, одним из которых можно заполнить пробел. «За рамой» мне не хочется[63].

У меня к Вам огромная просьба, многоуважаемый Петр Петрович. Если еще напишете мне, при случае, вложите в письмо Брюсовского

«Бледного коня», которого я перепишу и сейчас же возвращу Вам[64]. Решаюсь обратиться к Вам, потому что, если просить Брюсова, — он укусит. А для меня это было бы существенным прибавлением к домашнему обиходу.

Преданный Вам и любящий Вас

Александр Блок.

10 мая 1904. Никол. ж. д. ст. Подсолнечная. Им. Шахматово.

Это письмо красноречиво свидетельствует о том обаянии, которое автор «Urbi et orbi» и «Коня бледа» имел для юного Блока[65]. Конечно, я послал ему стихотворение Брюсова. Под его впечатлением, как он сам отметил впоследствии в примечаниях к «Нечаянной Радости», было написано стихотворение Блока «Последний день» («Ранним утром, когда люди не хотели шевелиться»)[66] — это ужасное стихотворение, в котором апокалипсизм обыденщины выявился в таких жутких очертаниях. Талант Блока раскрывался все более с этой, «грешной» своей стороны... Любопытно сопоставить для его характеристики «Последний день» с «Бледным конем» — изящный, «столичный» урбанизм Брюсова, полный механического движения, с психологизмом Блока, с этим его надрывом и трагедией человеческого «я»: облики обоих поэтов предстают в законченных чертах...

Рецензия на Брюсова (помещена в июльском № «Нового Пути» за 1904 г.) есть собственно уже целая статья (больше пяти страниц). И она говорит все о том же влиянии. Великолепный сборник Брюсова сразу понятен Блоку во всем его значении: в тогдашний литературный момент это было доступно, вероятно, только «младшим». Несколько странное впечатление производит только упорное сопоставление с Владимиром Соловьевым — очевидно, слишком владевшим тогда духовной жизнью Блока. Зато мимоходом обронено меткое наблюдение о «змеиной скользкости»: «мысль Брюсова всегда гладка, как чешуя змеи, не сразу дающейся в руки...»

Статья о Брюсове была последним прозаическим вкладом Блока в «Новый Путь». В ноябре, при изменившейся редакции (Булгаков и Бердяев — тогда «идеалисты») были помещены еще два его стихотворения: «Песня Офелии» и «Зимний ветер играет с терновником»[67]. С 1905 г. «Новый Путь» был заменен идеалистическими «Вопросами жизни».

IV

Прошло два года... С января 1906 г. я редактировал небольшой литературный листок, «Понедельники газеты "Слово"»[68] — приложение к этой газете, издававшейся (в Петербурге) в 1905—1906 гг. моим двоюродным братом, инженером п.с. Ник. Ник. Перцовым. В листке я постарался сгруппировать, что было возможно, из «настоящей» литературы: в нем появлялись Брюсов, Сологуб, Иннокентий Анненский (псевдоним «Ник. Т—о»), Садовской, Гумилев. Естественно было позвать и Блока. Он ответил мне согласием и стал довольно деятельным сотрудником. К этому времени относятся шесть его писем:

10.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Я давно уже собираюсь зайти к Вам и все не могу исполнить этого, все мешает что-то внешнее. Большое спасибо Вам за Ваше письмо и за Ваше отношение к моим стихам[69]. На этих днях непременно зайду к Вам в «Слово» и принесу Вам лично стихи, о которых Вы пишете (Брюсов уже взял их в «Весы»)[70], и кроме того несколько стихотворений, из которых, может быть, Вы найдете возможным выбрать что-нибудь для газеты. За Ваше предложение о рецензиях на «Фейные сказки» и «Stephanos» (о последнем я уже писал в «Руно») большое спасибо[71], но прежде мне бы хотелось поговорить с Вами об этом лично, потому что я опасаюсь своего неумения написать достаточно понятным стилем.

Непременно приду на этих днях от 6 до 7 часов, как только кончу срочную работу — рецензию о «Свободной совести» для «Весов»[72].

Неизменно и искренно любящий и уважающий Вас

Ал. Блок.

28 января 1906 г.

Несколько дней спустя я получил еще письмо, которое печатаю не без смущения, но из переписки письма не выкинешь:

11.

31 янв. 1906 г.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Получил Ваш подарок «Венецию», которую читал с глубокой нежностью и благодарностью еще в «Новом Пути»[73]. Большое спасибо Вам за

книгу и за надпись, такую лестную и такую дорогую для меня. Опять буду читать и перечитывать и помнить уроки Вашего «стиля», в котором я давно чувствую великое и родное — дыханье истинной тишины *тех самых* «поздних времен»[74]. Я знаю (пережил), что бывает, когда читаешь Ваши книги, или статьи, часто даже независимо от содержания (публицистика ли, или политика, или «Венеция» или «Профессор Сумцов»). Начинается тихая весенняя *капель*, и вот — поднимаешь глаза на окно, а уж сумерки, и знаешь, что весна, и в небе серый клуб облака наплывает на другой, и проплывет мимо, и откроется нежная лазурь и талый снег зацветет. Боже мой, *сколько* Вы *знаете*! Это то самое, что Андрей Белый называет «страной» и о чем мы с ним часто говорим, переглядываемся или просто молчим, когда нет человеческого «сквозняка».

Спасибо за то, что поместите в «Слове» стихотв. Смородскому (конечно, можно назвать его «Летний сон») и о Лермонтове[75].

Граф Сэн-Жермэн и «Московская Венера» совсем не из Лермонтова. Очевидно, я написал так туманно об этом, потому что тут для меня многое разумелось само собой[76]. Это — «Пиковая Дама», и даже почти уж не Пушкинская, а *Чайковского* (либретто Модеста Чайковского):

Однажды в Версале aux jeux de la reine
Venus Moscovite проигралась дотла...
В числе приглашенных был граф Сэн-Жермэн.
Следя за игрой...
И ей прошептал:
Слова, слаще звуков Моцарта...
(Три карты, три карты, три карты)...

и т. д.[77] — Но ведь это пункт «маскарадный» («Маскарад» Лермонтова), магический, пункт, в котором уже нет «пушкинского и лермонтовского», как «двух начал петерб. периода», но Пушкин «аполлонический» полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского — *мага* и *музыканта*, а Лермонтов, сам когда-то побывавший в бездне, встал над ней и окостенел в магизме, и кричит Пушкину вниз: «Добро, строитель!»[78] Это — «все, кружась, исчезает во мгле»[79]. Конечно, если это туманно написано, просто можно вычеркнуть. Я путаюсь в этом страшноватом для меня пункте. — Спасибо, спасибо!

Искренно любящий Вас

Ал. Блок.

Здесь уже чувствуется автор «Магического» («основной отдел», по определению самого поэта, в «Нечаянной Радости»)[80] и прорываются приближающиеся вихри «Снежной Маски»[81].

12.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Два раза я спрашивал «Руно» о рецензии на Вашу «Венецию» и, почему-то, не получил ответа. Не могу писать, пока не ответят[82]. О Л. Андрееве для «Слова» все еще не пишу, потому что не присылают «Журнала для всех», на который я давно подписался[83].

Посылаю Вам три мал. рецензии. О двух мы говорили (Маковский и Никто, — Маковский испачкан, потому что был уже в наборе в «Вопросах жизни»)[84]; а третья — о двух книжонках, совсем незначительных. Я писал ее тоже для «Вопр[осов] жизни», если найдете возможным, поместите[85].

Псевдонима я все еще не придумал, м. б., пока можно подписывать рецензии *Ал. Бл.* или просто *А.Б.*?

Преданный и любящий Вас

Ал. Блок.

11 февраля 1906 г.

13.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Посылаю Вам две рецензии и четыре стихотворения. Рец. о Сиповском так длинна, потому что касается *общих* выпусков, которые, оказывается, вышли оба недавно[86].

Боюсь, что не успею зайти и повидать Вас до Вашего отъезда. Сегодня С.В. Штейн говорил мне, что вы едете уже в понедельник[87]. Если успеете, очень прошу Вас написать мне в двух словах, годятся ли прилагаемые стихи и пойдут ли те 5 моих рецензий (о Бальмонте, Сиповском, Шницлере, Никто, Костомаровой и Русском[88], — шестую о «Книге отражений» Анненского напишу на днях[89]), которые у вас лежат. Я испугался, потому что Сергей Влад[имирович] говорил, что предполагается иначе поставить библиографию в «Слове».

Желаю Вам всего самого лучшего.

Искренно любящий Вас

Ал. Блок.

23 февр. 1906. Петерб. сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

14.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Извините, что не захожу и не пишу о Л. Андрееве. У меня государственный экзамен, который отнимает все время[90]; между тем, хочется писать и об Андрееве и еще кое о чем. Боюсь, что еще месяца два придется оставаться глухим и слепым. Потом надеюсь наверстать потерянное время. Если можно отложить Анненского («Книгу отражений»), напишите мне; если нельзя — занесу ее в редакцию. Извините, что затрудняю Вас, ужасно досадую на себя.

Ваш *Алекс. Блок*

7 марта 1906.

15.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Спасибо за письмо. Пожалуйста, напишите Брюсову, я уже ему написал[91].

Искренно Ваш

Ал. Блок.

31 марта 1906

К сожалению, у меня под руками находятся только девять номеров (2, 11—13 и 15—19) «Понедельников газеты “Слово”» (в июле этого года газета прекратилась)[92]. В этих номерах помещены следующие стихотворения Блока: «Белый конь чуть ступает усталой ногой...» (№ 13, от 15 мая 1906 г.), «Ночь» («Поднялась стезею млечной...» (№ 16, от 12 июня), «Полюби эту вечность болот...» (№ 18, от 26 июня) и «Двойник» (№ 19, от 3 июля)[93]. Первые три вошли без изменений в сборник «Нечаянная радость», последнее же осталось вне этого сборника[94] (его нет также в следующем сборнике «Земля в снегу», 1908). Между тем, оно особенно характерно для тогдашнего Блока: его по справедливости можно назвать одним из эмбрионов близкого «Балаганчика» (как известно, немало таких эмбрионов можно найти на страницах «переходной», по определению самого Блока, «Нечаянной Радости»):

Вот моя песня — тебе, Коломбина,
Это — угрюмых созвездий печать:
Только в наряде шута-Арлекина
Песни такие умею слагать.

Двое — мы тащимся вдоль по базару,
Оба — в звенящем наряде шутов.
Эй, полюбуйтесь на глупую пару,
Слушайте звон удалых бубенцов!..

Мотив Прекрасной Дамы едва мелькает в этих пыльных, «площадных» строфах:

Там, где на улицу в звонкую давку
Взглянет и спрячется розовый лик, —
Там мы войдем в многолюдную лавку:
Я — Арлекин и за мною — старик...

. . . .

Там голубое окно Коломбины,
Розовый вечер, уснувший карниз... [95]

Блок в этом стихотворении как юноша с «ломающимся» голосом, новый тембр его еще не установился, но чувствуется иная пора — нарастающей возможности.

В № 12 нахожу еще переводную пьесу Блока: стихотворение «Цирцея» С.Ш. Леконта (вошла в сборник «Земля в снегу», стр. 104—105)[96]. Блок переводил так редко, что стихотворение должно было чем-нибудь особенно подкупить его, чтобы вызвать к этой работе. В данном случае это вполне понятно: в пьесе есть та тягучая сладостная сонливость мечты, которой запечатлены многие стихи самого Блока:

Год миновал. Мы пьем среди твоих владений,
        Цирцея, — долгий плен.
Мы слушаем полет размерных повторений,
        Не зная перемен...

. . . .

И венчики цветов, таясь, полураскрыли
        Истомные уста,
Но вечной свежестью и диких роз, и лилий
        Сияет чистота...

Самый напев этих строк — совсем блоковский, того периода, когда над ним еще были властны очарования фетовской гаммы звуков. Замечательно, что даже в этом небольшом звене пяти стихотворений — дважды по крайней мере приходится вспоминать имя Фета. Ибо пьеса «Белый конь чуть ступает усталой ногой...» снова вызывает в звуковой памяти напевы «Вечерних огней»: «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...»[97].

В остальных номерах «Понедельников» и в самой газете были напечатаны, по крайней мере, еще 3 стихотворения Блока (я нахожу их у себя в вырезках): 1) «Старость мертвая бродит вокруг» (перепечатано в «Нечаянной Радости», стр. 116, с добавлением еще одной, последней строфы); 2) «Летний сон (пастораль)» — в «Нечаянной Радости», стр. 119—120, без заглавия и с посвящением Фед. Смородскому, но без разночтений; и 3) «Оставь меня в моей дали» («Нечаянная Радость», стр. 108, почти без перемен)[98]. Возможно, что были помещены и другие стихи, у меня не сохранившиеся.

В № 2 приложения была напечатана рецензия Блока на брюсовский «Венок», о которой он упоминает в своем десятом письме[99]. Она написана «достаточно понятным стилем» и внушает публике необходимость пересмотра взглядов на «декадентство» («это уже или ничего не значащее, или бранное слово»). Брюсов представлен, как освободившийся от молодых грехов — как «поучительный пример быстрого и здорового перерождения литературных тканей». «Венок» обнаруживает его связь с Пушкиным: «это поэт пушкинской плеяды». В то же время брюсовская лирика «открыла новые страны в современности»: «“Венок” отражает, кроме идей будущего, еще идеи настоящего, преломляя их в свете лиризма». Наконец, рецензия отмечает умение «ковать» стихи и идеи: «Это черта большого поэта... Брюсов всегда закончен, чеканен». — Рядом помещена короткая рецензия на бальмонтовский перевод Эдгара По (второй том в изд. «Скорпиона»)[100]. Отмечено расхождение со своей эпохой и позднейшие литературные влияния По («конечно, “символисты” обязаны По больше всех»). Снова символизм противополагается здесь «узкому декадентству» — это была боевая позиция школы в тот момент. Бальмонт охарактеризован как лучший русский переводчик По, умеющий сохранить «очаровательную напевность» подлинника.

В дальнейших номерах встречаются еще две рецензии Блока: в № 16 довольно длинный (полтора столбца) отзыв о сборнике S.Ch. Leconte «Le sang de Méduse», из которого взята «Цирцея», и в № 19 — о сборнике новейшей французской лирики «Tristia»[101]. Возможно, что перу Блока принадлежит также незначительная рецензия в № 17 о рассказах В. Девисона, подписанная одной буквой «*Б*»[102], и нет сомнения, что еще несколько его отзывов найдутся в не имеющихся у меня номерах «Приложений», а может быть, и в самой газете (за 1905 г.)[103].

Отзыв о Леконте интересен для освещения теоретической сознательности Блока. Стихи французского автора он характеризует как «образец поэзии, знающей свои берега... умеющей построить рядом с собой необходимую стенку эстетических законов». Поэзия этого типа остается ему чуждой, хотя он отдает должное аполлоническим достоинствам этих «благовоспитанных стихов». Но «кровь Медузы разбавлена здесь водой» — автор «приплюснул зерно мифа грубой житейской мудростью». Тогда как «ведь стихи — кровные дети поэта, и хоть некоторые из них он должен до боли любить»... «Сказки наши — мечта, — да воплотит ее новое дыхание Бога!..» Вспоминается триумф «магического» Лермонтова над низвергнутым в бездну Пушкиным...[104] Скоро Блок сделается поклонником и пророком Розанова (см. особенно его предисловие к стихам Аполл. Григорьева)[105] — этого пушкинского антипода, самого «хаотического» гения русской литературы. И в самом Блоке все более и более будет брать верх «подземная» стихия — до тех пор, пока в разухабистом темпе «частушек» — темпе «Двенадцати» — не растворятся совсем заревые звуки гимнов Прекрасной Даме и мелодические отражения фетовского контрапункта.

V

Когда теперь бросаешь общий взгляд на поэзию Блока — прежде всего мечется в глаза ее резкая двойственность: Блок — поэт Прекрасной Дамы и Блок — поэт Незнакомки. Один и тот же этот лик в двойственном видении, или два разных призыва, две вражды? В заключение первого отдела «Нечаянной Радости»[106], «Весеннее», еще столь близкий по духу к весне «Прекрасной Дамы» Блок поставил удивительное стихотворение («Молитва» — в моей рукописи)[107]:

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится имя Твое!..

Центральный отдел сборника «Магическое»[108] он начал с «Незнакомки»:

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...

Но сквозь новый образ, как сквозь видение новой любви, проступают еще далекие, привычно милые черты:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу...

«Нечаянная Радость», действительно, переходный сборник. Свою третью книгу «Земля в снегу» Блок начал с длинного предисловия, где старался уяснить самому себе ломающийся зигзаг пути. По-видимому, ему опять становилось «страшновато», когда он подходил к магическому «пункту» своей дороги. Стихи юности для него в этот момент — лишь «ранняя утренняя заря — те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь». Однако он помнит, что звезда раннего утра возвращается, как вечерний Веспер: «Чародейный, Единый Лик... который посетит меня на исходе жизни. Может быть, скоро уже. Он явится мне опять, и тогда пойму, что перегнулась линия жизни и близится закат»[109]. Об этом писал я ему, этого желал для него, получив от него в Ялте в 1907 «Снежную маску» и в 1908 третий сборник — с надписями, свидетельствовавшими о целости «нити»...[110] Как известно — случилось иное: Блок не вернулся из снежных вихрей. Его последней песнью осталась поэма «Двенадцать»... Говорят, он усиливался и не мог ничего написать после нее (и одновременных «Скифов»). По крайней мере, не написал ничего значительного. Ранняя смерть вдруг оборвала все... Ему минуло едва сорок лет.

Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи...
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези...
. . . .
В снежной маске, рыцарь милый,
В снежной маске ты гори!..[111]
. . . .

Я думаю, когда будут подведены итоги русскому литературному движению последнего двадцатипятилетия, именно Блок останется (опять-таки

в сочетании с Белым), как поэт, наиболее связанный со своей эпохой. В самом деле, именно в ней новое, «символическое» течение достигло своего внешнего, эпического обнаружения. До тех пор оно все еще замкнуто внутри себя, настроено лирически, питается внутренними переживаниями. Как ушли в себя Гиппиус, Сологуб; как полон собою Бальмонт!

Я ненавижу человечество,
Я от него бегу, спеша,
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа...[112]

Эти строки вылились у него искреннее всех его бесчисленных «описательных» строф и всех его порываний в историческую действительность. Он объездил весь земной шар и никуда не ушел из своей пустыни... Брюсов первый делает упорные и настойчивые попытки создать «объективную» поэзию, стать певцом истории. Но как археологичны эти попытки! Он создал интересный и полный музей исторических слепков — изящно-тонких, иногда вдохновенных миражей былого. Перед современностью он оказался без оружия, робко повторяя очередные мотивы злободневных веяний... — Переходя к Блоку, впервые вступаешь на подлинную почву истории: с ним новая поэзия овладела ключами прошлого. Я беру его поразительные «Стихи о России»[113]. Их первые звуки прозвучали еще в «Нечаянной Радости» (стихотворение «Русь»)[114]:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

. . . .

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел...

Куликово поле открыло ему пути своих просторов, озарило потерянные дали пламенем своих костров:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
    Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли —
    Пронзил нам грудь.
Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной,
    В твоей тоске, о Русь!

И даже мглы ночной и зарубежной
Я не боюсь.

. . . .

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...[115]

Дух русской истории — динамизм ее волшебного стремления — может быть, нигде не почуялся так, как в этих уносящих строках. Развертывается впереди безмерный горизонт — вот-вот откроется тайна, обещанная в веках...

Он чувствует остро все облики России. Вот знакомая, столько раз оплаканная убого-милая Русь — Некрасова, Тютчева, славянофилов:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею

— он роняет эти слова истинной любви, непреклонной веры.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты...

. . . .

Ну, что ж? одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес да поле,
Да плат узорный до бровей[116].

И только чуть мелькнул перед нами этот нестеровский образ, как поэт уходит к другим видениям:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!..[117]

Лик России начинает двоиться... Не та ли это раздвоенность пути, которая увела и самого поэта? В главном стихотворении сборника «о России» он уже отчетливо видит оба образа[118]:

Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.
За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.

. . . .

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты да кресты...
Только ладан твой синий и росный,
Просквозит мне порою иным...

. . . .

Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи, —
Шепотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Опять Нестеров, Мельников-Печерский — леса Заволжья с их пугливо-смелыми красавицами; может быть, Грушенька Достоевского — ее изменчивая верность...

И вдруг резко врывается совсем новая нота:

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...

. . . .

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Возможно ли поверить, что стихи эти были написаны до 1917 года (книжка издана в 1915 г.)?

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная стонет руда..
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

Который же — подлинный лик? Кто был самим собой — Блок «Прекрасной Дамы» или Блок «Двенадцати»? Или двойная дорога ведет обоих — «роковую» родину и ее певца? Как отшвырнул бы Петр «Стихи о Прекрасной Даме»; как прильнул бы к ним царевич Алексей, если бы он жил в XX веке! Рука палача сожгла бы «Двенадцать» в старой Москве; эта поэма останется в русской литературе как поэтическое зеркало, запечатлевшее в своих излучинах революционные вихри.

И, может быть, еще раз был он пророком? В «Скифах» не предсказана ли вторая половина нашей великой социальной перемены? Не видел ли поэт, сквозь дым мерещившихся ему гуннских пожаров, наши грядущие «наполеоновские войны» — тот размах универсализма, который неизбежно вырвется из кипящего вовсю русского, славянского, восточного котла — и может залить «благовоспитанный» Запад:

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
　　В тяжелых, нежных наших лапах?
. . . .
Мы широко по дебрям и лесам
　　Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
　　Своею азиатской рожей!

Никто не чувствовал так *стихийности* России — этого азиатского ее лика; в то же время никто не ощущал так проницательно, так пряно ее европейских соблазнов:

Нам внятно все — и острый галльский смысл,
　　И сумрачный германский гений...
Мы помним все — парижских улиц ад
　　И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
　　И Кельна дымные громады...[119]

Мудрено ли, что, двойственный, он выразил, запечатлел в своем слове больше, чем кто-либо из его современников, ее двоящийся образ, и стал певцом нашей России?..

Но, прощаясь с обликом поэта, я все-таки люблю вызывать его весеннюю мечту:

Ты молчаливо стоишь у окна.
Вся Ты весной залита, зажжена.

Ты ли — Царевна звенящей мечты?
Где купола для Тебя отлиты?

Где колокольные звоны гудят,
Только поднимешь Ты ласковый взгляд?..[120]

БРЫЗГИ ПАМЯТИ

БРЮСОВ НАЧАЛА ВЕКА

1. В литературных сумерках (1901—1903)

Шли сумеречные, неясные годы... Только теперь смысл их стал нам ясен — так же, как стали ясны и мы сами себе, какими были в те годы. Тогда — в конце прошлого века, в начале нового — старое еще не совсем состарилось, назревавшее еще не совсем созрело, — и люди, которые стоят теперь в нашей памяти четким, застывшим образом, тогда еще зыблились в своих очертаниях.

К числу этих людей принадлежит Валерий Брюсов. В годы, о которых я сейчас вспоминаю, ему было под тридцать (род. в 1873). Рано развившись во многих отношениях, он определенно «отставал» в одном — в политическом. Его общественные взгляды тогда были еще смутны, бесформенны, можно назвать их «любительскими». Мы все знаем, как определились они потом. Но в первые годы нового века, при первых раскатах нараставшей новой грозы, он, погруженный с головой в литературные интересы, на минуту отрываясь от них, был способен отделаться от неожиданных, непонятных впечатлений действительности поверхностной шуткой. Революция была для него еще «бунтом», а этот бунт чем-то не совсем серьезным — во всяком случае гораздо менее «важным и радостным», нежели новый и «новый» рассказ, неожиданно присланный Чеховым в альманах «Северные цветы», которые весной 1901 года готовили свой первый расцвет[1]. И он писал мне обо всем этом в таком порядке и с такой расценкой событий (письмо от 1 марта 1901 года):

«Многоуважаемый Петр Петрович!

Последнюю неделю я совсем хвораю, потому замедлил отвечать Вам. Бунина вышлю завтра[2]. В альманахе важная и радостная новость: прислал рассказ А.П. Чехов. Рассказ маленький, для Чехова неожиданный, в каком-то новом и “новом” роде. От Мережковского нет ничего.

В журналах запустение, да и среди книг. Москва живет студенческим бунтом; только и разговору. Нечто вроде репетиции некоей революции.

Фабричные и мастеровые, вместе со студентами, ходят по улицам и бьют стекла. Лев Толстой, только что окончательно отлученный от церкви, предводительствует толпой народа на Пречистенском бульваре. Сегодня "мятежники" заняли Кремль, а казаки штурмуют его...»[3]

Легковесный тон этих «сенсаций» ясно говорит, как далек был автор письма от исторической правды момента. Но пройдет всего три года — и он напишет свой «Кинжал», — великолепное стихотворение борьбы, которое стоит, конечно, в первом ряду политических стихов русской лирики:

> Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
> Как и в былые дни, отточенный и острый...[4]

Но пока он еще не покинул, даже не хочет покидать свою «башню из слоновой кости»:

> Я уходил в страну молчанья и могил,
> В века загадочно былые...[5]

Там с ним не только Чехов со своим, столь обрадовавшим Брюсова рассказом, в котором тогда не один Брюсов увидел чуть ли не обращение Чехова в символизм, — а и многое другое. А среди этого другого, например, новый, свежий взгляд на Пушкина — взгляд (надо это признать), впервые высказанный в нашей литературе именно Брюсовым. Любопытно теперь видеть, как пробивалась тогда эта первая струя живого интереса к творчеству и к биографии Пушкина сквозь толстые пласты официального славословия и иконописной стилизации.

«Верно ли, — писал мне Брюсов в том же 1901 году (письмо от 7 апреля), — что в Петербурге создается журнал, исключительно посвященный Пушкину? Это могло бы быть очень важно. Вы, вероятно, не представляете, до какой степени мало разработана биография Пушкина. Есть противоречия в 5—6 месяцев; многие лица неизвестны, даже по фамилии; есть длинные промежутки, в которые неизвестно, где он был. Словно бы мы имели дело с Эдгаром По. Прибавьте к этому, что сын Пушкина и "г. Онегин в Париже" таят какие-то бумаги, которые могут открыть многое, что найдено собственноручное письмо Пушкина к Николаю I, намеренно скрываемое, что скрываются письма Пушкина, хранящиеся в

Остафьеве, что намеренно не печатаются письма жены к Пушкину... Прибавьте все это и согласитесь, что все изучение жизни Пушкина в будущем»[6].

Теперь, когда последние слова так оправдались и мы имеем целую «науку о Пушкине», особенно любопытно обернуться на эти строки, рисующие исходный пункт такого изучения. Ибо, мне кажется, как раз Брюсова и надо признать основоположником нашей новейшей пушкинологии: ведь он провел свою борозду на этом поле еще раньше Щеголева, Лернера и Гершензона. Любопытно также сравнить положение здесь рисуемое с теперешним состоянием вопроса. Конечно, сейчас в биографии Пушкина нет уже таких зияющих «длинных» провалов. Но все ли белые пятна заполнены на этой карте? Все ли «скрываемое» открылось? Все ли алгебраические величины стали арифметическими? Ведь мы до сих пор не прочитали таинственное НН в «дон-жуанском списке»![7]

Несколько позже, когда я уже редактировал в Петербурге ежемесячник «Новый Путь», Брюсов, очень близкий к журналу, писал мне (письмо от 31 декабря 1902 года):

«А для “Нового Пути” я дам самое драгоценное, что́ у меня сейчас есть (ведь не Розанов я, умею сам различить, что пишу), — *статью о Пушкине*. Статью эту я отделываю и оттачиваю с самой весны. Я хотел поместить ее, как предисловие к сборнику писем Пушкина, который издаю. Поскольку я могу писать интересные статьи (я не очень могу), это — интересная статья. Из всевозможных областей, из самых неожиданных источников, известных лишь мне, как библиографу, я отыскиваю новые черты Пушкина, как человека и поэта. Я рисую его таким, каким он истинно *был*, а не таким, каким нам хочется его воображать. Я перечитывал ее на днях, и, право, некоторые факты, которым в ней дано неожиданно новое освещение, произвели на меня самого самое резкое впечатление. Статья вполне готова. Надо ее лишь переписать»[8].

Эта статья была напечатана в «Новом Пути»[9], где ее именно благодаря ее резкому освещению пришлось кое в чем смягчить (журнал был под прессом двух цензур — кроме обычной светской, еще и духовной), что весьма огорчило Валерия Яковлевича. Особенно волновал его пропуск указания на «любострастную болезнь» юного Пушкина, о чем по тогдашним временам (в 1903 году!) было очень затруднительно разговаривать — тем более под взорами духовной цензуры...[10] Долго В.Я. не мог успоко-

иться и бомбардировал меня упреками по этому пункту. Но статья его и без того шла настолько вразрез с каноническими благописаниями о Пушкине, что заострять ее еще этой «соблазнительной» подробностью значило рисковать самой возможностью ее напечатания. И, конечно, по своем появлении статья вызвала изрядное ворчание в литературных и читательских кругах. В ней видели прямо lèse-majesté[11] великого поэта. А так как Брюсов числился тогда в «декадентах», то преступление являлось еще вдвое более тяжким.

В следующем письме от 4 января 1903 года Брюсов снова упоминает о работе над этой статьей:

«Пока же пишу, т. е. отделываю Пушкина, которого получите вскоре после 10-го».

Тут же дает он любопытный перечень своих журнально-литературных «возможностей», предлагая их «Новому Пути»:

«Пишу для литер[атурной] хроники; могу, если надо, написать еще кое-что: напр. об иностранной литературе. Кстати: стоит ли написать статью о теософии? В Москве основывается теософическое общ[ество], и Бугаев (т. е. Андрей Белый. — *П.П.*) бредит им. И еще: стоит ли написать статью (маленькую) о Сведенборге, у меня много матерьялов?.. Затем всегда могу написать о Верхарне, о Верлене (по новым данным) и Рембо... за что взяться?»[12]

К этому разнообразию в следующем письме (январь 1903) прибавляет он еще новое — на этот раз с неожиданно «боевым» уклоном:

«Посылаю Вам статью для Театр[альной] хроники[13]. Очень прошу оставить удары хлыста г-ну Дорошевичу. Здесь нет с моей стороны "личности". А если всех щадить, со всеми жить в мире, придется самим подставлять спину. Дорошевич заслуживает и более резкого — я знаю».

В последних строках сказался привычный боец тогдашних московских литературно-общественных состязаний — Ахиллес символической рати. «Удары хлыста», конечно, повисли в воздухе, так как мои соредакторы журнала, Мережковские, предпочитали «жить в мире», если не со всеми, то по крайней мере с такими широко популярными лицами, как тогдашний первый тенор сытинской журналистики — Дорошевич.

Но тут же не забыт и Пушкин:

«У меня готовы две статьи для Литер[атурной] хроники. Высылаю завтра. Прошу: оставьте место хотя бы для одной. Это — критический раз-

бор “Матерьялов для Академич[еского] изд[ания] Пушкина”. Я написал две рецензии: одну для Русск[ого] Арх[ива], другую для Нов[ого] Пути. Потом, подумав, переместил их и пошлю Вам ту, которая назначалась для Р[усского] Арх[ива]. Это – более ученая, более сухая, но *серьезная*, с которой редакторам Ак[адемического] изд[ания] придется считаться... Если правила библиогр[афического] отдела не препятствуют, я желал бы подписаться под ней полной фамилией»[14].

В следующем письме — через несколько дней:

«Все не высылаю Вам рецензии, потому что она разрослась непомерно — займет страниц 5—6. Зато это стало нечто очень серьезное, одна из тех моих библиографически-ученых статей, которые Вы всегда столь одобряете. Окончательно и точно высылаю ее в *четверг*: Вы получите в пятницу»[15].

Стоит отметить эту краткость и точность «делового» слога, которые так характерны для Брюсова: о «делах» он писал всегда языком военных приказов. А так как «стиль — человек»[16], то язык этот многое уясняет в психологии Брюсова и даже в эволюции его общественных взглядов, всегда стремившихся также к реальному, фактическому воплощению.

Впоследствии он и вышел на пути такого воплощения. А пока, в эти сумеречные годы, приходилось довольствоваться глубинами литературного эзотеризма, в которых Брюсов умел свободно дышать и двигаться, но которые мало отвечали экзотеризму его собственной натуры: он не был литературным пустынником — не был Коневским, или Александром Добролюбовым, или Сологубом, ни даже Бальмонтом. Об эфемерных затеях такого эзотеризма он сообщает мне в письмах тех дней. Тогда в Москве возник было проект нового литературного журнальчика «Звенья», в котором должны были сосредоточиться молодые силы.

«Вот некоторые подробности, — пишет Брюсов в апреле 1901 года. — Однажды приходит ко мне юноша Н.Д. Филиппов, сын булочника, чья булочная и у Вас, в Петербурге, на “той” стороне Невского, — и предлагает писать в их новом журнале о искусстве. Я, конечно, удивляюсь, но соглашаюсь. Начинаю посещать редакционные субботы. Люди всё какие-то неведомые, юные, но при внимательном всматривании любопытные. *Не декаденты*. Одно имя как будто слыханное: Довнар-Запольский, но где — не вспомню. Звенья будут не № 1, 2, 3, а звено 1-е, 2-е, 3-е... Дела начнутся с осени; пока беседуют и пьют, кто скочи виски, кто греческую мастику»[17].

Дальше мастики дело, однако, не пошло, и Брюсов не упоминал уже больше об этом журнале. Вообще в те годы его удручало отсутствие в литературе новых сил и серьезных надежд. Сосредоточенный тогда только в одной ее полосе — в широтах расцветавшего символизма, он и искал только в этих широтах. Здесь, после Бальмонта, находившегося тогда в своем зените, и безвременно погибшего Коневского, его более всего тянул к себе, как «обещание», Бугаев-Белый, дебютировавший сразу довольно крупными и ярко символическими вещами — своими «симфониями», северной, героической[18] и т. д.

«Видел недавно Бугаева, — писал мне о нем Брюсов в октябре 1902 г. — Теперь у него четыре симфонии. Полагаю, что этого довольно. Одна из них у Вас, другую он предлагает издать Скорпиону. Но если бы он до старости лет писал ежегодно по паре симфоний, это стало бы чудовищно. Этого не будет, конечно, ибо он очень настоящий человек. У меня душа успокаивается, когда я думаю, что он существует»[19].

Тогда именно, сидя в своей слоновой башне, Брюсов совершил, однако, через посредство руководимого им издательства «Скорпион» геологический переворот в московской типографской эстетике, с которым совпал одновременный и аналогичный переворот, совершенный в петербургском издательском мире журналом «Мир Искусства». Книги и журналы издавались тогда, до этого катаклизма, по патриархальной старинке, наподобие прейскурантов и словарей — с той же степенью эстетизма и с такой же требовательностью вкуса. Брюсов один из первых понял, что это далеко не предел для графики, и как-то остро почувствовал особую, своеобразную красоту книжной и журнальной обложки и всего внешнего облика печатных изданий. В корректно сдержанный тон его переписки врываются неожиданно высокие ноты, когда дело касается этой, столь чувствительной для него стороны:

«Умоляю, — пишет он мне при начале “Нового Пути” (октябрь 1902), — при выборе шрифтов и всей внешности держитесь одного правила: не надо украшений и пестроты; да будут лишь два шрифта! Да будет полное единообразие заглавий, подписей etc! Не надо типографских виньеток, заставок и т. д.! (если же нарисует Сомов — дело иное)»[20].

Через месяц он пишет снова (в письме от 6 ноября 1902 г.):

«Мне сегодня во сне привиделись первые корректурные листы Нового Пути; будто Вы в каждом отделе ввели особую нумерацию страниц, как то было в Некрасовском Современнике. Ах, этого не делайте! Не при-

шлете ли мне хоть второй экземпляр какой-нибудь корректуры. Я бы тотчас написал свои типографские соображения. И напишите также, как расположена работа, что́ исполнится на этой неделе, что́ подождет меня на следующей. Нельзя ли отложить обложку, ведь с ней спешить нечего, а я, может быть, именно для нее и мог бы дать совет. Одна просьба к Вам: все подписи и под статьями и под стихами велите набирать *одинаковым, не крупным, не жирным, прямым* шрифтом. "Пестрота напоминает Азию" — слова Пушкина. По той же причине не надо никаких *типографских* украшений и заставок общих разным изданиям, т. е. продажным, как проститутки»[21].

Характерен этот «журнализм» Брюсова, доходивший до корректурных сновидений. Между крупными нашими поэтами можно назвать только еще одного такого журналиста pur sang[22] — это Некрасов. И, может быть, должно было бы упомянуть еще третье имя — самого Пушкина, если бы Пушкину дано было развернуть все свои возможности...

Но слишком понятно, что тогдашнее положение вещей в этом столь любезном ему журнальном мире совсем не удовлетворяло Брюсова. Помимо того, что его все еще упорно «отрицали» и он видел себя настоящим литературным изгнанником — в контрасте с этой внешней оброшенностью как раз в те годы Брюсов переживал чрезвычайный внутренней подъем и чувствовал, что становится самим собой. Это чувство моментами очень ярко прорывается в его переписке. В октябре 1902 года, приближаясь к своему тридцатилетию, до которого не хватало только года, В.Я. писал мне:

«Я достиг "средины нашей жизненной дороги" (намек на известный стих Данте. — *П.П.*); жизнь преполовлена. Мне некогда собирать ландыши для милых рук. Теперь или никогда я должен работать. Мне каждый час мой ценен. Если в литературном отделе Н[ового] Пути я не существенно нужен, зачем мне быть в нем "пятой спицей"? Поверьте, я могу обойтись безо всех журналов в мире. Вы скажете, что я продаю шкуру еще не убитого медведя; соглашаюсь; Ваше дело, верить ли меткости моего глаза»[23].

Некоторая воинственность этих строк объясняется недовольством Брюсова его положением в «Новом Пути», где Мережковские не пропускали его стихов в первый, «показной» номер. Он колебался, стать ли ему в близкие отношения к журналу, и просил ответить ему «очень прямо и очень откровенно».

«Для меня ведь, — продолжал он, — это вопрос, как устроить всю свою жизнь на ближайшие годы. Ибо у меня есть "блазная" мечта (которую я покинул было для Н[ового] П[ути]) — уехать в Италию или в деревню, быть одному, быть в пустыне и ковать свои стихи»[24].

Позднее, когда отношения с Мережковскими еще более обострились и они «запретили» его политическую хронику «о папах» (т. е. на тему смерти папы Льва XIII и политического значения католичества)[25], Брюсов совсем было решил покинуть окончательно журналистику и отдаться своим творческим влечениям.

«Странным образом, — писал он (письмо от 2 августа 1903 г.), — это невольное мое отречение от Н[ового] Пути совпадает со всеми другими замыслами моей жизни. Еще и до начала Пути были у меня мечты уйти из литературной жизни, т. е. не печатать "для" и "ради". Теперь, издавая книгу своих последних стихов (это была "Urbi et Orbi" — лучшая его книга. — *П.П.*), я опять с какой-то остротой сознал, что мое настоящее дело здесь, в творчестве, а не в статьях. Десятки, и сотни, и тысячи даже замыслов — и драмы, и поэмы, и повести, — которые годы лежали в душе, как зерна, вдруг опять оказались живыми, способными дать росток, расцвесть, быть яркими на солнце. И едва ли это не последний день. Надо синего неба, ветра, дождя; в пыли библиотек они обомрут — может быть, навсегда. И я хочу на несколько лет исчезнуть из журналов и с печатных страниц. День, когда это настанет, кажется мне освобождением»[26].

Конечно, этот день никогда не настал, и Брюсов не только не исчез из журналов, но напротив — с января следующего 1904 года стал редактором «Весов»[27], которые были для него гораздо ближе «Нового Пути». Журналист остался журналистом. Но характерна эта самоборьба между двумя «призваниями», для него равно «кровными».

2. На переломе (1904—1905)

Уже в эти годы литературного эпикуреизма Брюсов был, однако же, ближе к горизонтам политики, нежели это может показаться по первому взгляду, — и этой именно чертой он отличался от всех своих сотоварищей по символизму. У тех если и бывали уклоны в сторону таких интересов, то лишь «с высоты» историко-философских обобщений и характеристик. Политика реальная, в каком бы то ни было аспекте, их совершенно не

интересовала. Напротив, Брюсов и в этом выказывал себя журналистом — способным написать «текущее» политическое обозрение, которые он из месяца в месяц и писал для «Нового Пути» и из-за которых почти каждый раз выходили жестокие редакционные распри с Мережковскими, весьма задевавшие Брюсова. Мережковские, всегда боявшиеся оказаться слишком «правыми» (границы «правого» и «левого» были для них не очень ясны), еще более смущались в данном случае оппозицией редакционного секретаря Е.А. Егорова, трафаретного провинциального «радикала»[28], который поднимал шум по поводу каждой статьи Брюсова. Вслед за столкновением из-за римских пап произошло другое — из-за статьи В.Я. о социализме.

«Если будете беседовать с Мережковскими на эту тему, — писал он мне в отчаянии, — спросите, читали ли они мою статью... Дело в том (как Вы сами знаете), что статья вовсе *не* реакционная. Только бычачье тупоумие Егорова, медный лоб которого надо пробивать стенобитными орудиями "Освобождения" (тогдашний журнал П.Б. Струве. — *П.П.*), могло принять ее за статью, враждебную социализму. Она его осуждает, да! Но с высшей точки зрения (разным Егоровым, конечно, недоступной), признавая его необходимость и неизбежность. А Мережковские склонны отвергать мои статьи, *не читая*» и т. д.[29]

Наконец, он бросил писать эти злополучные обзоры, но характерно, что так долго держался за них, хотя, кроме неприятностей из месяца в месяц, они ничего ему не приносили. Тут опять сказался журналист, которого всегда тянет к «злободневности». Характерно и то, что политические интересы В.Я. в ту пору сосредотачивались всецело на политике внешней — внутренняя, можно сказать, не существовала для него. Но не то же ли и в его стихах — по крайней мере той же поры — начала века?

А когда он изредка заглядывал во всю ширину реального политического горизонта, у него вырывались такие строки — по поводу одного из тех же «обзоров»:

«Нашу политику, так или иначе, конечно, придется помянуть, и, конечно, не добром. Да и вообще доброго я сейчас ничего не вижу во всем бессвязном верчении государственных колес. Машина, починявшаяся дважды после Наполеонов, видимо снова изоржавела и поломалась. Что-то слишком часто стала она ломаться»[30].

Это было написано еще в 1902 году (октябрь) — в самое «мирное» время, за два года до японской катастрофы, которая вывела к перелому многое и многих — в том числе и Брюсова.

Он подошел к этому перелому медленно и с большими отступлениями. Старая монархия была для него прежде всего тождественна с мощью и величием самого государства, и, пока он не выучился различать то и другое — и различать даже до их противоположения! — он оставался «царистом»: ведь государственником, «римлянином» он был всегда. Вот почему вслед за «Кинжалом» он набрасывает в начале японской войны обращение к «кормчему», которое, впрочем, не кончил и начало которого гласило так (не было в печати):

Крепись душой под шум ненастий —
Встречать грозу не в первый раз!
Ломал и в прошлом ветер снасти,
Но Бог помог — и кормчий спас.
И ты, кто ныне у кормила!
К тебе одна мольба певца:
Какая б буря ни грозила —
Бороться с нею до конца...

«Двух строф не помню», — писал он, сообщая мне это начало[31]. Он так и не вспомнил их и предпочел забыть и первые, когда ход событий стал уводить все дальше от обманувшего прошлого. Разочарование в миражной государственности тяжело переживалось им, государственником.

«Писать о войне решительно нет сил, — бросает он мимоходом только две строки в большом письме (от 17 мая 1904 года), — конечно, мы победим, раздавим Японию, но, увы, только тяжестью своего тела»[32].

Это была последняя надежда, с которой так трудно было расстаться, — и с нею поэт подошел к новому, 1905 году, стихотворное обращение к которому достаточно известно («Весь год прошел, как сон кровавый» и т. д.). Но это была уже вторая редакция этих стихов, полная смущения перед решением «таинственных судеб»:

И в упоении и в страхе
Мы, современники, следим,
Как вьется кость, в крови и прахе,
Чтоб выпасть знаком роковым[33].

Гораздо самоувереннее звучала, однако, более краткая редакция стихотворения, тогда же сообщенная мне Брюсовым (и, насколько мне известно, не попавшая в печать):

Весы качнулись мировые,
Высоко подняты Судьбой.
На чашу зыбкую Россия
Метнула тяжкий жребий свой.
Молчи и никни долу, Право!
Се — высшей истины черед!
Определен борьбы кровавой
Единый, праведный исход.
Кто б ни был враг, где б ни был случай,
Над ложью дней всесилен Рок.
Кто заградит в веках — могучий
И к морю рухнувший поток?[34]

Разница между обеими редакциями настолько велика (во вторую вошло из первой лишь несколько разрозненных слов), что невольно хочется предположить в промежутке между ними какое-то крупное событие, внезапно осветившее перед глазами поэта реальное положение вещей. И действительно, как раз в декабре 1904 года (дата второй редакции) произошло падение Порт-Артура, произведшее сильнейшее впечатление на Брюсова. Он писал мне тогда:

«Дорогой Петр Петрович! Я сел писать Вам тотчас после первых известий о взятии Артура. Я выписал официальную телеграмму из Японии о взятых в плен 8 генералах, 5 адмиралах, 300 офицерах, 30 000 солдат... И потом слова летописца о побоище на Калке, где татары гнали русских до Днепра, убили 6 князей, столько же богатырей, много витязей, десятую часть всего войска и одних киевлян 10 000. Кажется мне, Русь со дня битвы на Калке не переживала ничего более тягостного. Но право же (не так, как пишут в фельетонах, а в самом деле), у меня “сил не достало” закончить письмо. Так чувствовалось плохо, что еще говорить о том же, писать, подчеркивать — воли не было. Теперь все как-то умирилось. Один успех нашего займа сто́ит хорошей победы. И об эскадрах стали доходить какие-то вести. Все-таки идут, хотят идти. Теперь надо ждать первого весеннего боя. Он решит участь не только всей второй кампании, но и всей войны. Если Куропаткин уйдет и от Мукдена, это будет значить, что он уйдет и из Манчжурии. Нельзя безнаказанно “попускать” столько поражений. Рок не прощает, если его вызываешь на состязание. Победа, настоящая победа нужна нам не столько по военным, даже не по психологическим, а по почти мистическим причинам. Читали ли Вы “маленькое” письмо Суворина после падения Артура? Оно “со старческой

слезой", но мне нравится его крик: "Мы великий народ или нет?"[35] Боюсь, что этот вопрос и в самом деле поставлен.

Очень спасибо за напечатание стихов к неистовому трибуну. Мне это очень важно и дорого. Всю свою политическую лирику соберу и пришлю Вам на днях. Если что еще напишется удачно, предложу опять для Слова. Но не знаю, когда этому быть. Я умею писать только бодрые стихи о современности, а бодрость моей души все более и более исчерпывается. Временами слышится стук черпака о дно. Дайте воды, живой воды»[36].

Так тяжело расставался он со своей «римской» мечтой, все еще время от времени порываясь к ней и отталкивая враждебную действительность:

Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун![37]

Он хватается за все соломинки — за успех займа, за вести об эскадрах — будущих жертвах Цусимы. «Старческая слеза» Суворина обжигает и его глаза... Но действительность неумолима. «Стук черпака о дно» становится все более громким и более зловещим: в колодце нет живой воды! Не прерываются «"блистательные" известия с Дальнего Востока, из которых мы ежедневно узнавали о поразительной храбрости побиваемых русских войск, о гениальности полководца Куропаткина, которого японцы никак не могут добить до конца и который, благодаря своим необыкновенным дарованиям, всегда спасается из тех ловушек, в которые попадает, и, наконец, о новой славе русского флота с его меднолобым адмиралом кн. Ухтомским или с такими капитанами, как начальник "Новика", не выдумавший ничего остроумнее, как пойти по тому самому пути, где естественнее всего должны были его ловить впятеро сильнейшие неприятельские силы» (письмо от 25 августа 1904 г.)[38].

Он брызжет этими сарказмами по адресу официального оптимизма и падающего строя, где безнадежны и адмирал, и капитан. И, наконец, улавливает ближайший исход:

«В России ли Вы еще? — спрашивает он меня (я собирался за границу) в феврале 1905 года. — Но, право же, Россия сейчас интереснейшее место земного шара. События идут если не стремительно, то достаточно поспешно. Будущего регента, Серг[ея] Алекс[андровича], "отстранили". Я сам видел его мозги на площади, буквально[39]. Династии Романовых суждено кончиться, как она и началась, при Михаиле. Маленький Алек-

сей, недавно глядевший на нас со страниц всех иллюстраций, кончит дни в Тампле. Царь Людовик XVI “на площади мятежной — во прахе”. Либеральные адвокатишки, ругавшие декадентов на вторниках Художественного кружка, будут голосить в Русском Парламенте. Не смотрите, что сейчас реакция. Через неделю Куропаткин отступит к Телину. Через две недели забастуют врачи, акушерки и матери: “Не хотим кормить грудью детей, пока не дадите конституции”. Придется дать. Парламент заключит мир, отдаст Манчжурию, Сахалин, Камчатку, Приморскую область. Уж заодно бы и всю Сибирь по Урал: верный способ загубить японцев!

“Правовое государство” — “административный произвол”... Когда я еще раз слышу эти слова, я испытываю жадное желание спустить говорящего с ближайшей лестницы...»

«А что, если 400 000 русских положат оружие под Мукденом? — Я уеду в Австралию и буду писать стихи на австралийских наречиях. Авось мне поставят памятник в Гонолулу»[40].

Старая монархия потеряла наконец для него свое обаяние. За 12 лет вперед он пророчит ее конец «при Михаиле» (и в самом деле, последняя «царская» подпись в русской истории была под отречением Михаила Александровича)[41]. Но дальше виделись пока только «либеральные адвокатишки», памятные по вторникам Художественного кружка. И тут ярко вспыхивает всегдашняя ненависть Брюсова к «середине»:

Прекрасен, в блеске грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон, —
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон.

Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агорá, а общий зал[42].

Эти стихи напишутся в том же 1905 году — ровно через полгода после письма и на другой день вслед за «серым» манифестом, среди ликований «довольных». Несмотря на все еще легковесный тон малоудачных шуток (забастовка матерей, памятник в Гонолулу), поэт уже усвоил урок истории, данный на ее переломе...

БЛОК В СИНЕМ ВОРОТНИКЕ

Он был тогда студентом, ходил всегда в одном и том же костюме: в форменном студенческом сюртуке с высоким синим воротником. Студенты-щеголи делали этот воротник повыше и пошире, вроде старониколаевских, непреклонно-упрямых военных воротников, в которых нельзя было шевельнуть шеей. Такой приблизительно воротник носил и Блок. В нем вообще была тогда, в эти ранние годы (в 22—25 лет), какая-то своеобразная военная выправка, хоть он и не имел никакого отношения к военному делу — если не считать, что жил в квартире, помещавшейся в гренадерских казармах на Петербургской стороне (у своего отчима)[1]. Впоследствии эта выправка исчезла, и, года четыре спустя, в эпоху «Нечаянной Радости»[2], Блок приобрел вполне штатский, распущенно-интеллигентский вид, с оттенком богемы. И эта внешняя перемена как-то гармонировала с внутренней, спуском с заоблачных высот «Прекрасной Дамы» прямо в российское заросшее болото с его болотным попиком, молящимся «за больную звериную лапу и за римского папу»...[3]

Но я помню его больше всего именно в те «подтянутые» годы, и его образ неотделим для меня в воспоминании от этого строгого мундира, так четко схватившего его юную стройную фигуру, и от синего воротника.

Вот он входит в нашу редакцию (журнала «Новый Путь», где в марте 1903 года Блок дебютировал в большой печати; до тех пор он печатался только однажды в студенческом сборнике)[4]. Входит уверенный, спокойный, высокий, стройный, корректно обтянутый темно-зеленым сюртуком с двумя рядами золотых пуговиц, украшенных государственным орлом. Его лицо не улыбается — оно почти всегда неподвижно: вообще взволнованность и Блок были две вещи несовместимые. Это еще столь молодое лицо уже имело в себе что-то странно старообразное. Большие выпуклые голубые глаза смотрели холодно и неподвижно. Никакого волнения, никакого романтизма. Эта ранняя зрелость характеризовала Блока и обличала в нем настоящего, кровного петербуржца. Какая противоположность с его ровесником и литературным двойником, москвичом Андреем Белым, который в те же юные годы был весь в трепете, весь в волнении, звучавшем нередко истерическими нотами... Блок никогда не терял себя, всегда оставался как-то немного чужд окружающему, сдержанно-замкнут в себе. От него недалеко было до Евгения Онегина, как от Андрея Белого — до Ленского.

Войдя, он здоровается так же холодно и сдержанно, со всеми ровно и со всеми равнодушно. Опять какой контраст с порывистым здорованьем Белого, с его крепкими дружескими рукопожатиями и с таким характерным приветливым заглядыванием в глаза: привычка, сохранившаяся у него до последних лет. Блок сел прямо и твердо; он не сойдет со стула и будет спокойно вслушиваться в разговор, не вставляя своего слова... Гремит Мережковский, что-то или кого-то «бесконечно» презирая и обличая или, в редких случаях, превознося; рассудительно и отчетливо, умно острит Н.М. Минский; льется домашний, интимный «шепоток» багрово краснеющего В.В. Розанова; уязвительно жалит своих и чужих ледяная ирония З.Н. Гиппиус; упорно и каменно молчит, как рыба, Сологуб; бросает изредка какую-нибудь острую реплику блестящий С.А. Андреевский... Блок все будет молчать и только медленно переводить свои выпуклые голубые глаза с одного лица на другое. Никогда нельзя было узнать его впечатления, и никогда он не пускался в высказывания. Возможно, конечно, что в те годы и в этой обстановке его, помимо природной сдержанности, стеснял еще возраст и слишком явный авторитет «старших», который у главенствовавшего в кружке Мережковского выказывался иной раз чересчур откровенно. От Дмитрия Сергеевича нет-нет да и пахнет «генеральством», дуновение которого заставляет Блока сжиматься еще сильнее и еще глубже уходить в синий воротник.

Изредка он читал свои новые стихи (из цикла «Прекрасной Дамы»), но, как ни странно покажется это теперь, они не производили на слушателей особого впечатления. За исключением только меня, влюбившегося в его стихи с первых же строчек, вся остальная наша аудитория внимала Блоку довольно рассеянно. Не говоря уже о «посторонних элементах», слишком обильных в редакции журнала и чуждых не только Блоку, но и всякой поэзии, — даже и своя братия, зачинатели русского символизма, как-то не усваивали нового и странноватого собрата. Еще З.Н. Гиппиус, как «спец» по лирике, слегка «поощряла» юношу, но для остальных высокий воротник заслонял лицо певца. Хвалили, одобряли, но больше по долгу журнальной солидарности.

И сам Блок не чувствовал себя в «Новом Пути» на своей дороге, что сказалось и в записях его дневника того времени[5].

А в будущем жизнь увела его еще дальше — через зеленое болото с попиком к смутным кулисам «Балаганчика» и, наконец, к голубым, холодным, «петербургским» просторам третьего периода... И я думаю, что,

вспоминая свои первые времена, сам поэт помнил их только как минуту юности, когда между ним и жизнью высилась еще эта крутая преграда слишком жесткого синего воротничка.

БРЮСОВСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ «МЛАДШИМ»
(Из литературных воспоминаний)

Это было в зимний сезон 1902—1903 года. Брюсов приезжал тогда, как обычно, на некоторое время в Петербург — подышать петербургским воздухом и набраться тех свежих и волнующих петербургских впечатлений, которых нельзя было найти в тогдашней слишком торгово-промышленной, охотнорядской Москве, где сама умственная жизнь носила «особый отпечаток» — не то случайного любительства, не то просто забавы. Сам москвич, и во многом типичный москвич той эпохи, Брюсов остро ощущал эту теневую сторону своего города и откровенно признавал духовный провинциализм Москвы в сравнении с невской столицей. Он был слишком трезвый ум и слишком твердый характер, чтобы стать москвичом до конца. Арбат не мог быть для него, как для Белого, центром мира, и широкая перспектива Невского проспекта лучше согласовалась с духом его поэзии. Поэтому Петербург тянул его настолько, что моментами он даже подумывал о переселении туда — в соседство с уродливой каланчой городской думы на Невском, о которой он говорит с какой-то нежностью в одном из писем ко мне. Петербург заряжал его своей приподнятостью, бодростью своих пахнущих близким морем просторов и бойкостью вечно обновляющейся в своих интересах культурной жизни. В этот приезд Валерий Яковлевич был особенно захвачен интенсивностью этой жизни и полон тех неожиданно ярких впечатлений, которые она ему дала.

На тему этих впечатлений мы и беседовали с ним ночными часами в вагоне тогдашней «николаевской» железной дороги, между тем как поезд плавно уносил нас по слишком знакомому пути. Я ехал на побывку в свою Казань, и до Москвы мы были попутчиками[1]. Разговор шел преимущественно о новом умственном движении, которое разгоралось в некоторых кругах петербургской интеллигенции и стало выливаться как раз в этот момент в форму философского журнала, окончательно сложившегося в 1903 году под названием «Новый Путь». К этому течению примыкали и некоторые только что обозначившиеся литературные явления — главным

образом в области поэзии, между которыми ярче всех вспыхнули близкие друг другу, как звезды Диоскуров, своеобразные поэтические миры Белого и Блока. Брюсов, один из первых, остро почувствовал это своеобразие и всю силу новых пришельцев (кому же было и оценить их, как не ему?), и увидел в них осуществление своих давних надежд. Недаром он писал мне год спустя о Белом: «Он очень настоящий человек. У меня душа успокаивается, когда я думаю, что он существует» (письмо в октябре 1902 г.)[2]. Блока он, после минутного колебания, также понял и принял в свое сердце. Этот Блок был еще Блоком «Прекрасной Дамы», и его поэзия — отзвуком вечно-романтического стремления «по ту сторону». Под особым впечатлением только что усвоенных его стихов находились мы оба в тот момент, и стихи эти выдвигались на первое место в нашей беседе[3]. Когда она затихла, Валерий Яковлевич отошел к окну и долго, очень долго стоял возле него, точно всматриваясь в пейзаж. Так как было совсем темно, то это казалось несколько странным... Наконец он оторвался от окна и, вынув записную книжку, что-то быстро записал в ней. Затем, вырвав исписанный листок, подал мне его.

Листок этот и сейчас лежит передо мной. На нем четким карандашом, без единой помарки написано известное стихотворение, носящее в сборниках Брюсова название «Младшим», но в моей записи еще не имевшее заглавия:

Они Ее видят! Они Ее слышат!
С Невестой Жених в озаренном дворце.
Светильники яркое пламя колышат
И отсветы радостно пляшут в венце.
А я безнадежно бреду за оградой
И слушаю говор за длинной стеной.
Голодное море безумствовать радо,
Кидаясь на камни внизу, подо мной.
За окнами свет, непонятный и желтый,
Но в небе напрасно ищу я звезду...
Дойдя до дверей, на железные болты
Горячим лицом приникаю — и жду.
Там, там, за дверьми — ликование свадьбы!
В дворце озаренном с Невестой Жених!
Железные болты сорвать бы! сломать бы!
Но пальцы бессильны и голос мой тих[4].

Большие буквы по-блоковски отмечают главные слова. Стихотворение помечено «1903» и имеет подпись «Валерий Брюсов».

Эта первоначальная запись дает лишь немного разночтений сравнительно с окончательно установившимся текстом. Так, в третьей строке «Светильники *яркое* пламя колышат», вместо «тихое», а в следующей: «отсветы радостно *пляшут*» (позднее: «блещут»). Затем, в одиннадцатой строке «Дойдя до *дверей*» (позднее: «ворот»). Наконец, в предпоследней строке: «Железные болты *сорвать бы! сломать бы!*», — тогда как теперь эти глаголы стоят в обратном порядке: «сломать бы! сорвать бы!».

Вот и все. Позднейших поправок так мало и они так незначительны сравнительно с яркостью и силой всего стихотворения, что, как видно, творческий порыв, его создавший, был исключительным. Особенно приходится так думать, припоминая обычное обилие и нередко значительность брюсовских поправок. Брюсов, как рационалист, вообще не принадлежит к числу поэтов-импровизаторов. Но на этот раз непосредственное вдохновение победило привычный рационализм и всецело овладело поэтом — в эту темную ночь, под стук поезда, перед зрелищем зимнего пейзажа с его однообразным мельканием елей.

СИЛУЭТЫ СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА

1. Михаил Альбертович Кавос (ум. 1900)[1]

Бьет двенадцать часов (ночи, разумеется) — и он входит в гостиную. Всегда точно и аккуратно. Никогда не раньше. Можно было хоть поверять часы.

Входит — изящный, корректный, пахнущий тонкими духами, полустарик лет пятидесяти. И вместе с ним входит веяние тонкой культурной жизни — чего-то чужого, но давно знакомого, далекого и притягательного. Веет Европой — и Парижем, разумеется, в первую очередь...

Он знал Париж — этот элегантный старик, знал с давних времен, еще с дней Второй Империи. И Париж той эпохи был средой, в которой он остался и жил во все последующие десятилетия. Эта среда была ему знакома до последних мелочей — и они мелькали в его разговоре, как что-то общеизвестное, разумеющееся само собою. Мелькали и литературные силуэты времен Виктора Гюго и Теофиля Готье, театральные тени эпохи Рашели и Ристори, оперные и балетные призраки дней Аделины Патти и Вирджинии Цукки. А вслед за ними мелькал неожиданной тенью 1870 года

и какой-нибудь генерал Трошю — тот самый генерал Трошю, который «имел свой план» («il avait son plan»)[2] и которого мы с вами, увы! забыли, вместе со всеми его планами... Слушать Михаила Альбертовича нужно было вообще в сопровождении обширного комментария... Но в тогдашнем Петербурге, не переживавшем еще своего катастрофического превращения в Ленинград, такой комментарий получался без труда.

Конечно, Михаил Альбертович был приятелем Владимира Соловьева (кто же не был приятелем Владимира Соловьева?), в переписке которого есть стихи: «Михал Альбертыч, дорогой» и т. д.[3] Был на «ты» с Боборыкиным и с Андреевским. О его поэтических журфиксах, в свете розовых вечерних огней, рассказал когда-то Иероним Ясинский в своих «Ежемесячных сочинениях»[4].

Происходил Михаил Альбертович из весьма известной музыкальной семьи старого Петербурга. Его дед был главным дирижером императорских оперных театров начала XIX в. и композитором — Катрин Кавос, женское имя которого так парадоксально звучит для нашего уха. В числе его опер имелся и «Иван Сусанин», предупредивший Глинку. Опера эта шла, имела успех, но когда появился «Сусанин» Глинки, автор сам ходатайствовал, чтобы его оперу сняли со сцены, дав дорогу творению Глинки[5]. Так неправдоподобно поступали иногда люди в те старинные времена!

Отец и брат Михаила Альбертовича были известными архитекторами; его двоюродная сестра — женой также известного архитектора Н.Л. Бенуа[6] и матерью еще более известных художников Альберта и Александра Бенуа[7]. Но самому Михаилу Альбертовичу не досталась на долю творческая одаренность семьи. За пределами салона и театра он был только незаметным служащим — секретарем петербургской губернской земской управы. Разумеется, этого его амплуа никто почти не знал. Зато всякий истый петербуржец тех годов знал и где-нибудь да встречал — в театре, в ресторане после театра, на солнечной стороне Невского после двух часов дня, Михаила Альбертовича в безукоризненно-корректном костюме, в парижском цилиндре, с легкой парижской улыбкой на губах. И всего чаще встречал его входящим (ровно в 12 ч. ночи!) на какой-нибудь журфикс, чтобы рассказать последние новости Петербурга и Парижа, пустить среди традиционной causerie[8] очередную жалящую стрелу и внезапно удалиться с тою же улыбкой... Рассказывают, что однажды к Михаилу Альбертовичу имела неосторожность «подлететь» одна, весьма известная тогда своей экстравагантностью, петербургская поэтесса с обидчивым вопросом: «Правда ли, вы говорите, что я глупа?» — «О, нет! — спокойно ответил

тот. — Я вовсе не говорил, что вы глупая или умная: я сказал только, что вы... поло-умная».

2. Виктор Петрович Протейкинский (ум. ок. 1920)[9]

Когда вас с ним знакомили и называли его имя и отчество — Виктор Петрович, — он не давал договорить фамилии и прерывал с заграждающим жестом: «не Буренин! не Буренин!» (знаменитого тогда литературного критика «Нового времени» и еще более знаменитого пасквилянта звали тоже Виктором Петровичем). Он точно конфузился своей нескладной фамилии. Кто он, собственно, был, откуда и когда появился и чем занимался — никто по-настоящему не знал, хотя трудно было найти более общеизвестную фигуру, по крайней мере в литературных кругах Петербурга тех лет (90-е, 1900-е годы). Знали, правда, что он приходился чем-то вроде дяди «самому» Сергею Павловичу Дягилеву, редактору декадентского «Мира Искусства», а также его кузену и помощнику по журналу, Дмитрию Владимировичу Философову. Но это родство с пресловутыми «Адонисами» петербургского high life[10] до такой степени не вязалось с Виктором Петровичем не-Бурениным, что в него как-то плохо верилось. Уже самая внешность этого красноносого старика (возраст Виктора Петровича, впрочем, не поддавался определению), со странно-плоскими, точно намасленными волосами и прыщеватым лицом, слишком контрастировала с теми «модными картинками». К тому же число племянников, и столь же «неподходящих», у Виктора Петровича оказывалось неопределенно велико: так, в их ряду находился, например, милейший П.Г. Корибут-Кубитович — потомок одного из польских королей. А самого Виктора Петровича В.В. Розанов, до личного знакомства с ним, был склонен считать (по его словам в одной статье) спившимся актером без ангажемента — предположение совершенно недопустимое, так как вряд ли этически-взыскательный Виктор Петрович нарушил когда-либо заповедь умеренности в каком бы то ни было отношении[11].

Он ходил странно-размеренной походкой, со странными жестами руки — точно грозившей вытянутым вперед пальцем сбившемуся с такта исполнителю в оркестре. И говорил он размеренно-четким голосом, вдруг неожиданно прерывавшимся интимно-задушевными нотами подлинного доброжелательства, вызывавшими невольный ответ. В этом отношении Виктор Петрович представлял собой резкий контраст с типичными пе-

тербуржцами — вроде тех же Диоскуров «Мира Искусства» или ледяного проповедника «неохристианства» Д.С. Мережковского, — являя собою как бы гостя из Москвы (тогдашней Москвы!) на стогнах невской столицы, постоянным обитателем которой он, однако же, был.

Его слабостью было произнесение длинных и не очень складных речей тоже в московском духе, в которых что-то приветствовалось и кто-то чествовался. Из симпатии к оратору речи эти выслушивались терпеливо, но не производили особого действия. И когда Виктор Петрович вступал в прения религиозно-философских собраний (в Петербурге, в начале 900-х годов), то все покорно обрекали себя на продолжительную скуку[12], а лидер Собраний Мережковский с тоскливым видом посматривал по сторонам, как бы говоря самому себе: «любишь кататься — люби и саночки возить».

Предметом особого почитания со стороны Виктора Петровича был Владимир Соловьев, у которого он временами даже секретарствовал[13]. Смерть Соловьева, преждевременная и почти неожиданная, была для него тяжелым ударом. Помню, скоро после того мы с Александром Бенуа встретили Виктора Петровича поздно вечером на Литейном. Он шел сутулясь и весь как-то поникший. Бенуа, понимавший и сам в значительной степени разделявший его состояние, попробовал сказать что-то ободрительное. «Нет уж, что же теперь, — махнул тот рукой, — теперь, когда его нет...» И, не договорив, он пошел дальше, исчезая в сыром тумане петербургского вечера...

1941, VIII.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ

1. М.Г. Савина

Я видел ее только раз в жизни — в каком-то пустом водевильчике (кажется, П.П. Гнедича «Женя»)[1]. Но этого достаточно, и я могу сказать, что я ее *видел.*

А между тем, что же, собственно, она делала в этом водевиле? Всю пьесу сидела с ногами на восточной тахте и кушала конфеты. Больше ничего.

Ну, конечно, к ней приходили какие-то гости, за ней ухаживали кавалеры, ей объяснялись в любви. И уж, конечно, она смеялась над всеми, дразнила, стукала людей головами. Люди были вне себя, теряли равновесие, убегали из комнаты в отчаянье. А она кушала конфеты. Перед ней стояла громадная-громадная коробка, и она все кушала — весь водевиль[2].

Было нечто вроде тех полуночных сеансов после спектакля, которые она сама описывает в воспоминаниях первых своих петербургских лет, когда она так же забиралась с ногами на огромный турецкий диван, с чашкой своего любимого «желтого» чаю в руках, и принималась «изводить» своих поклонников. «Я задавала себе задачу: во столько-то времени довести такого-то до последней степени... Услыхав признание, я спокойно звонила два раза, и горничная являлась “проводить”, не подозревая, что гость уходил не по своей воле. Это всегда мне удавалось и очень забавляло»[3].

Это именно она и играла в том водевиле — вероятно, и написанном специально для нее. Рассказывать тут нечего, но забыть — невозможно.

На сцене было настоящее воплощение женственности — не гетевской, далекой и торжественно-«вечной», а здешней, земной, минутной и — неотразимой. Было вполне понятно смятение и самозабвение «изводимых». Хотелось присоединиться к ним и разделить их участь — пока она еще кушает конфеты.

А она смеялась, вскакивала на тахте, прыгала по ней — пленительная и недостижимая. И опять смеялась, и еще... И брала новую конфету.

Вот все, что я помню о Савиной. Но, когда я читаю в письмах к ней Тургенева сумасшедшее признание, как он, провожая ее на поезд, хотел внезапно выхватить ее в окно вагона и с трудом удержался от грозившего скандалом на весь мир похищения, — я понимаю...[4] Кто же, в самом деле, острее Тургенева мог почувствовать этот главный талант Савиной — магнитное очарование женственности?

2. П.А. Стрепетова

Если была противоположность Савиной на русской сцене, то это, конечно, — Стрепетова. Они противостояли одна другой, точно в дидактических контрастных парах. Одна — это столица, культура, обдуманно-тонкое мастерство; другая — провинция, сугубая поволжская или завол-

жская провинция, нервы и «душа», от которых зависело все. Первая могла всегда быть, в той или другой степени, уверена в себе: она владела своим талантом; вторая ни в чем не была уверена: не изменят нервы и душа — и зрительный зал будет потрясен; «сдадут» — и все пропало.

Конечно, этот контраст — контраст Аполлона и Диониса — извечен в искусстве, и эти два типа — основные во всяком творчестве. Но на сцене, где все так конкретно, их противоположность выступает особенно разительно. Так же контрастировали между собою на европейской сцене недавних лет Сара Бернар и Элеонора Дузе, а несколько ранее — Ристори и Рашель. У нас, на сцене 30—40-х годов, находим рядом умного Каратыгина и «безумного» Мочалова, а в начале века обрисовываются, бесподобные в своей жизненности записи дедушки Аксакова, силуэты Шушерина и Яковлева[5]. Можно допустить даже, что в этом контрасте сказывается какой-то закон природы, и где есть та или иная Савина — там близко должна быть та или иная Стрепетова.

Я не знаю, мог ли бы Петербург 70—90-х годов обойтись без Савиной, т. е. полна ли была бы его картина без нее. Но русская провинция тех же десятилетий, и поволжская-заволжская в особенности, решительно непредставима без Стрепетовой. Это была настоящая актриса тех мест и тех годов. Сейчас, например, на советской сцене, артистка такого жанра, со стрепетовским «надрывом» и стрепетовской истерикой, совершенно немыслима, и если бы такой анахронизм как-нибудь объявился на ней — половина публики, пожалуй, ушла бы из зала. «Всякому овощу свое время», и рядовому зрителю наших дней даже мало понятны, может быть, эти таланты прошлого. Но рядовому же зрителю тех далеких дней, с его нервной неустойчивостью и легкой душевной возбудимостью, был как нельзя более близок именно стрепетовский жанр игры. Если же почти каждая роль этого жанра вела к истерике или даже к ряду истерик, то и в реальной жизни истерика занимала слишком видное место. Просмотрите хоть записки той же Савиной (чтобы взять близкий пример) — вы удивитесь обилию и общепринятости этих припадков. И вполне понятно, что, когда такой нервный надрыв разражался на сцене, тогдашний зал настраивался сочувственно и во всех углах белели маленькие дамские платочки.

Само собою разумеется, что «коронной» ролью Стрепетовой была роль Катерины в «Грозе» Островского[6]. Недаром же и действие там происходит на Волге. Стрепетова давала в этой роли незабываемый образ. Это был знаменитый добролюбовский «луч света в темном царстве» — в реальном воплощении. Но, правда, тяжело было смотреть на эту слишком прав-

дивую игру. Иные минуты были едва выносимы... Нужно было иметь крепкие, не по-тогдашнему, нервы, чтобы без содрогания выдержать страшный беспросветный крик Катерины перед церковной оградой, где адский змий всколыхнул в «виновной» до дна чувство греха. После таких спектаклей и зрители не сразу входили в колею, и сама артистка делалась больна. Жизнь Стрепетовой была вообще подчинена ее игре и отражала, говорят, в своих мучительных и непрерывных волнениях все мучительное напряжение ее «жестокого таланта».

Слишком понятно, что она и Савина не выносили друг друга. Влиянию последней приписывают и неудачу попыток Стрепетовой удержаться в Петербурге. Но если так, то петербургская Цирцея была права по-своему: аристократия и демократия несовместимы на театральных подмостках — как и вне их.

3. К.А. Варламов

Едва он выходил на сцену, как все начинали улыбаться — невольно, неудержимо, хотя он не сказал еще ни слова. Нельзя было видеть Варламова — и не улыбаться. И сейчас я смеюсь, вспоминая его.

А между тем в нем не было ничего внешне уродливого — никакой готовой мишени для насмешек. Он был высокого роста, широкоплеч; во всей фигуре было что-то слонообразное. И уже эта фигура смешила, вся подернутая неуловимым комизмом. Мало ли людей высокого роста и слонообразного сложения? Но Варламов был единственным между ними.

Всего больше смешило, конечно, его лицо — с выражением какой-то застывшей озадаченности. И еще походка, неуклюже-валкая, животом вперед, когда он, казалось, раздавит человека или мебель, на которые «прет».

При таких данных он мог бы даже вовсе не иметь таланта. Достаточно было показаться и пройтись по сцене. Но он обладал сверх того настоящим талантом комика-буфф — веселым, искрящимся, неисчерпаемым. Ему мало было смешить законным текстом роли, и он не слишком церемонился с этим текстом, беспрестанно сдабривая его отсебятинами, «варламовскими» отсебятинами. К этому все уже привыкли, и сами авторы старались по возможности не сердиться: на Варламова вообще трудно было сердиться.

Когда он «входил в роль» и, приковывая к себе внимание всего зала, сверкал блестящей буффонадой, а зал, не помня себя, «надрывал животики», — можно было понять, что такое «настоящий» смех — тот самый, вероятно, которым грохотала некогда в своих мраморных амфитеатрах афинская толпа, глядя на неистощимые выходки персонажей Аристофана.

Но Варламову мало было его веселых триумфов. Как все обреченные на комизм, он мечтал о трагедии. И его любимой ролью была ярко драматическая роль старого солдата Силы Ерофеича Грознова в пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше»[7]. Эта роль тоже не без оттенка комизма, но его перекрывает основной тон душевной прямоты и глубокой сердечности. Роль эта великолепно удавалась Варламову, и его старый честный служака, которому «грех» молодости дает возможность устроить судьбу молодой гонимой девушки, отливался, вопреки мелодраматизму текста, в жизненно-правдивый образ.

Но все-таки еще жизненнее были и еще ярче оставались в памяти те чудесные облики — воплощения непроизвольного комизма, для которых он был рожден и для которых не было Варламова, кроме Варламова.

4. В.П. Далматов

Василий Пантелеймонович Далматов... Его знал весь Петербург 80—90-х годов, и это была, конечно, одна из самых крупных звезд столичного театрального небосклона. Но более того: Василий Пантелеймонович Далматов и вне сцены оставался тем же Далматовым — может быть, даже еще более блестящим, более типичным представителем своего жанра. На сцене он играл фатов, и там уже самое амплуа требовало эффектной наружности, небрежно-изящных манер, всего того «abandon»[8], который отличает светского льва. Но вот вы встречали Далматова где-нибудь в другом месте — в ресторане, на скачках, в вокзале железной дороги. И там ваше внимание невольно останавливалось на нем. И там нельзя было не заметить этой фигуры — стихийно-кокетливой и естественно-вычурной. Я думаю, для Далматова почти не существовало того перехода от действительности к сцене, который остается таким заметным рубежом даже для опытных артистов и ощущается ими всю жизнь. Ведь даже Савина признается, что, выходя на сцену, она всегда судорожно хваталась за кули-

су. А уж Савина ли не знала сценических триумфов — она ли не привыкла царить над Петербургом? Но вот Далматов, мне кажется, не переживал никак этого страшного рубежа и переступал его шутя — как точно шутя играл свои роли. Серый цилиндр, непогрешимо-модный костюм, монокль в глазу, перчатки сезонного оттенка, блестящая обувь... Чтó это — роль или действительность? Но это — Далматов на сцене и вне сцены.

Он был так же рожден для своих ролей, как Варламов — для своих. Не знаю, как он учил эти роли — отделывал ли их, «вживался» ли в них. Я думаю, он только запоминал текст и общий ход пьесы — и этого было достаточно. Когда он выходил — вы видели перед собою то, чем он был, и то, чем ему полагалось быть по роли. То и другое слипалось непроизвольно в одно впечатление...

Поэтому никто не был так непосредствен в своих настроениях и в их смене, как Далматов. Вот он сидит в полной прострации (не помню, в какой пьесе): все деньги вышли, никаких ресурсов, а жить хочется. Выход один — жениться на богатой. И сваха, типичная московская сваха, уже вертится тут, выдвигая свою кандидатку. Нужно ехать знакомиться. Но ужасная неохота: кандидатка так непривлекательна. Он в колебании, в борьбе. Однако нужно же решиться. И вдруг он вскакивает и бросает только одно крылатое: «Ну, вези меня!». И весь зал встрепенулся вслед за ним. Опять стало весело, безоблачно. Потому что где Далматов, там наверное солнечно и ярко.

5. М.И. Писарев

Огромный рост, могучая широкоплечая фигура, красивое лицо с крупными, «сценическими» чертами, наконец громоподобный голос. Это был прирожденный «первый любовник» — как тогда говорили, артист на первые трагические роли, как сказали бы теперь. В репертуаре тех годов, где полновластно царили бытописцы, Писарев не находил себе, в сущности, настоящего места. Как ни увлекал он театр своими перевоплощениями в Анания Яковлева «Горькой судьбины» или в Геннадия Несчастливцева из «Леса»[9] — все-таки это были роли с бытовым привкусом и бытовой обстановкой. Так требовало буржуазное время и «буржуазные» вкусы. А ему бы играть в старинные, «феодальные» времена какую-ни-

будь высокогероическую роль тогдашнего трагического репертуара. Можно поручиться, что тут он не отстал бы от своих, более счастливых, сценических предков — Дмитревского, Яковлева или Каратыгина.

Легко себе представить, с каким классическим пафосом бросал бы он тогда в насторожившийся зал одну из тех «великих» реплик, которые нередко составляли кульминационную точку всей пьесы и надлежащее произношение которых решало ее судьбу. Помните у Аксакова: «Как, бывало, Офрен в “Заире”, в роли Оросмана, скажет: “Zaire, vous pleurez?”[10] — так полчаса хлопают, и дамы и кавалеры плачут»[11].

Опоздал Модест Иванович родиться — опоздал, пожалуй, на целое столетие!

И все-таки даже в свое измельчавшее время, в измельчавшем репертуаре Писарев, когда он был в ударе, мог неудержимо захватывать публику. Помню его особенно в «Лесе» Островского — его коронной роли. Уже при первом выходе — на том перепутье «из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду»[12], где он встречает свою антитезу, Аркашку Счастливцева, этот идеальный Геннадий Несчастливцев создавал в зрителе чувство полного эстетического довольства, которое порождается только полнотой художественного воплощения. На сцене было именно то, чего хотел автор, когда писал, и чего смутно ждал зритель, когда шел в театр. И это впечатление сопровождало исполнение Писарева до самого конца пьесы. Вот он — этот бездомный трагический неудачник, великодушный в жизни, как в своем репертуаре. Почти смешной в иные моменты и еще более трогательный в другие, нелепый и прекрасный. Роль проходит местами совсем близко от шаржа, но Писарев никогда не оступался в него: оттенок идеальности проникал все его исполнение. И если это была все-таки «комедия», то именно та, что именуется «высокой комедией».

В конце пьесы есть сцена, где Несчастливцев, уходя из усадьбы Гурмыжской и стрясая прах от ног своих, декламирует несколько строк из Шиллеровских «Разбойников»: «бунтовской» характер этой цитаты возмущает юного негодяя, будущего супруга Гурмыжской, и он бросается к Геннадию, угрожая ему чуть ли не арестом. Но тот показывает печатный экземпляр пьесы — «разрешено цензурою», и кидает опешившему юнцу презрительный возглас: «Я чувствую, как Шиллер, а ты, как подьячий!»[13]. Вот этот «Шиллер» выходил у Писарева незабываемо. Огромный подъем голоса, наполнявшего весь театр, — нечто поистине потрясающее — и тут же уничтожающая ирония конца фразы... Да, эти «героические» актеры

умели «создавать мгновение»! И когда театр, в ответ, почти разваливался от рукоплесканий — становилась понятна и стародавняя аксаковская Заира с ее всеобщими слезами и таким же безумным хлопаньем «на полчаса».

6. П.М. Медведев

В его внешности было что-то общее с его фамилией: крупная, коренастая фигура с коротко подстриженными волосами и большой нескладной головой. И эта внешность, и неторопливо-достойные манеры как нельзя лучше подходили к его амплуа — резонера и «благородного отца».

Таким, по крайней мере, застал я Медведева в его поздние годы — в Казани, в последнюю его антрепризу середины 80-х годов, и после — на Александринской сцене, на вышеназванном амплуа. В Казани, в эту антрепризу, на первом плане была опера, и Медведев выступал очень редко. Но когда-то, еще в начале 70-х годов, в той же Казани он организовал первоклассную драму, где впервые заискрились будущие столичные звезды — Савина, Давыдов и друг. У Петра Михайловича действительно был «нюх» театрального астронома, которым он немало гордился. И для своей оперы он сумел «открыть» такого исключительного драматического тенора (не замеченного казенной сценой), как Ю.Ф. Закржевский, о котором, как о кумире своих юных лет, говорит в своих воспоминаниях Шаляпин[14].

В своем личном творчестве Медведев принадлежал к той расе крупных индивидуалистов сцены, которая выдвинулась во второй половине прошлого века и характеризует эту эпоху. Принцип ансамбля, коллективного творчества, возобладавший на нашей сцене со дней Художественного театра и превалирующий на ней с той поры, тогда не занимал еще решающего положения. Конечно, он уважался в теории, но если практика в нем отказывала — обходились и без него. Положение спасали те крупные индивидуалисты. Эти были так ярки, так своеобразны — каждый по-своему, — так отчеканены во впечатлении, что впечатления этого хватало надолго. От каждого оставалось несколько минут, которые через годы светятся в памяти. Так и Медведева я помню более всего стариком Прибытковым в «Последней жертве» Островского. Степенный, разумный старик спасает молодую, запутавшуюся в сердечных и денежных делах вдовушку — жертву опытного ловеласа. Он и сам к ней неравнодушен,

но борется со своим чувством. Это чувство прорывается вдруг — после благодарного поцелуя спасенной. «Дорогого он стоит, дорогого стоит!» — бормочет и всхлипывает потрясенный старик[15]. А зал сочувственно замирает, и, когда опустился занавес, аплодисменты вспыхивают не сразу. Медведев тоже имел свои мгновения власти над зрителем.

7. Качалов — Кассий

Я думаю, почти никто не помнит его таким, каким он был в этой роли — еще совсем молодым, почти «начинающим», не вполне определившимся даже в своем амплуа. И, конечно, еще совершенно неизвестным и не ждавшим, может быть, даже в своих мечтах такой большой дороги, какая ему выпала.

Это было в Казани — в сезон 1898—1899 г. Драматическая труппа большого университетского города была из «средних», и казанцы, особенно старожилы, любили укоризненно вспоминать былые блестящие антрепризы П.М. Медведева. Но мы, молодая публика, вынуждены были мириться с довольно пестрой труппой антрепризы М.М. Бородая. В ней, впрочем, имелись даровитые артисты на разные амплуа, как Шувалов на роли первых любовников, Соколовский на роли фатов и друг. Но не было «восходящей звезды», которая обещала бы яркое и долгое горение. Такое обещание впервые мелькнуло для нас в тот именно вечер, когда юный и неизвестный артист Качалов сыграл своего Кассия[16].

Шекспир был вообще мало подходящим репертуаром для тогдашних провинциальных сил, а его «античные» пьесы и тем более. Еще для Макбета, Шейлока и даже Отелло, пожалуй, можно было найти, с грехом пополам, возможных исполнителей, а для Гамлета, конечно, всегда находился не столько достигающий, сколько вожделеющий экспериментатор. Но кому играть в «Юлии Цезаре», когда всё классическое было тогда чем-то непонятно-далеким, а публику прямо отпугивало уже по невольной ассоциации с несносной лжеклассической тогдашней гимназией?

Но все-таки Бородай почему-то рискнул на «Цезаря», и мы вдруг увидали на нашей, столь привычной нам, казанской сцене древних римлян в хитонах и тогах с предположительно «античными» жестами и поступью. Надо сказать правду — эта перелицовка плохо удавалась нашим казанцам. Соколовский — Цезарь, например, очень недурной в ролях своего репер-

туара, выглядел не столько Цезарем, сколько просто Соколовским, а краснощекий весельчак Антоний, в исполнении Каширина, был уже совершенно непереносен. Но вот Кассий...

Тут мы вдруг увидали что-то как будто и римское. Не верилось глазам... Но среди общей нелепицы резко выделилась эта фигура. Худое, с острыми чертами, взаправду «римское» лицо; спокойные и верные, вовсе не шокирующие жесты, умеренная и тоже верная декламация — без всякого крика. А главное — настоящее слияние с ролью. Эти зловещие, колючие черты превосходно подчеркивали знаменитые слова Цезаря о худобе, которой нужно бояться... Словом, Кассий и Кассий. Нечто неожиданное и волнующее. И мы, энтузиасты театра, разошлись в этот вечер под особым впечатлением: всю пьесу для нас заслонил образ Кассия. Остальное забылось сразу же или вспоминалось, как курьез. Но к этому образу мы часто возвращались в наших беседах и запомнили новое для нас имя: Качалов.

Теперь это имя знают давно и повсюду. Проблеск того вечера оказался не обманным; он был одним из заревых обнаружений первоклассного таланта.

О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ
(Встречи и воспоминания)

1

Всегда, когда я думаю о Владимире Соловьеве, мне вспоминается минутная встреча в Петербурге на Невском. Это было, должно быть, в самом конце 90-х годов — в последние годы Соловьева. Он ехал на извозчике, посередине широкого проспекта, а я куда-то спешил (на Невском всегда все спешили), среди многолюдной толпы прохожих (на Невском всегда была толпа). Соловьев, конечно, не заметил меня (мы были едва знакомы), но для меня в этот именно момент он врезался в память: высокая, казавшаяся в пролетке еще выше, худощавая фигура с незабываемым лицом — пророка, святого, вождя... Ведь он сам рассказал где-то, как дети в знакомом семействе, увидев его, бежали за ним, хватаясь за полы его шубы и лепеча: «Божинька! Божинька!»[1]. Что-то «божественное», что-то «не от мира сего», несомненно, лежало на всем его облике и веяло от всей фигуры.

Он на земле был не жилец,
А в даль стремившийся прохожий,—

превосходно сказал о нем поэт Жемчужников[2]. Он везде приковал бы к себе внимание, и ни в какой толпе его нельзя было бы не заметить.

Но на этот раз, при этом взгляде издалека, мне одно бросилось в глаза и запомнилось навсегда, как самое характерное и неразрывно связанное с образом Соловьева — глубокое, исключительное, единственное чувство *одинокости.* Поистине эта фигура была отделена от всего окружающего и от всех других людей какой-то непереступаемой гранью: он был *один,* замкнутый в себе, никому не близкий и ни к кому не тяготеющий. Он ехал куда-то, точно без цели или с непонятной нам целью — сквозь толпу, сквозь пространство, сквозь время. И тут вспоминалась вся его жизнь — такая странная, такая одинокая, такая отрешенная от всех обычных условий места и эпохи.

Тот высший мир его манил,
Где Вечность заслонила время, —

еще сказал о нем тот же Жемчужников[3]. И это веяние Вечности окружало его ненарушимым, зачарованным кольцом. Таким должны были проходить сквозь жизнь вещие прозорливцы Израиля[4]. И люди, тогда более чуткие, нежели теперь, ловили брезживший вокруг них свет иного мира с его «беззакатных дней»...

2

Личное знакомство мое с Владимиром Соловьевым произошло в Петербурге в конце марта (по стар[ому] стилю) 1895 г., когда я стал подготовлять к печати сборник «Философские течения русской поэзии», вышедший в свет год спустя — весной 1896 г. По плану этого сборника в нем находили себе место подборы типичных стихов избранных поэтов и рядом — характеристики этих поэтов. Так набралось двенадцать русских поэтов разной величины, причем поневоле приходилось пропускать некоторых крупных и брать в сборник менее значительных — в зависимости от наличия в тогдашней русской литературе приемлемых критических статей. «Приемлемых», говорю я, — потому что нельзя же было допускать в сборник, в качестве характеристики Фета, какое-нибудь «Лирическое художество» (статья в писаревском «Русском слове» 60-х годов)[5]. Между тем серьезная критическая литература в это время (половина 90-х годов) была у нас еще так бедна, что сплошь и рядом не находилось из чего выбирать. Так остались без статей, а тем самым и вне сборника, даже такие поэты, как Державин, Жуковский, Некрасов, Случевский и друг.

Да осталось бы и больше, если бы не было написано специально для сборника несколько статей: о Пушкине — Мережковского, о Фете — Бориса Никольского (расширенная ранняя статья) и три моих (об Огареве, Ал. Толстом и о Полонском). О Пушкине мне не хотелось перетряхивать славянофильский нафталин с его неизбежным Аполлоном Григорьевым и наивным апофеозом «смирного» Белкина или же ограничиться своего рода «заметками на полях» (хотя и очень содержательными) Страхова[6] — и я заказал новую статью Мережковскому. С большим трудом уломал я его писать, соблазняя более всего гонораром, в котором он, в

ту пору пренебрежения к нему, как к «декаденту», очень нуждался. Он хотел считать себя прежде всего поэтом, и «ранг» критика казался ему чуть ли не унизительным — характерная подробность тогдашних литературных взглядов. Но, «расписавшись», Мережковский дал свою известную статью, остающуюся и по сей день едва ли не самой содержательной по существу (несмотря на свой схематизм) во всей необъятной пушкинской литературе, ныне уже спустившейся, впрочем, от всякой «философии» к солидной суетне бесчисленных литературо... едов...

Для Тютчева выбора не было: блестящая статья Владимира Соловьева — или же — пустое место. Поэтому я, получив надлежащее разрешение, отправился в гостиницу «Англия», на углу Малой Морской (позднее — улица Гоголя) и Вознесенского проспекта (теперь проспект Нахамкеса)[7], где всегда останавливался Соловьев во время своих сравнительно редких наездов в Петербург. Приехать надо было довольно рано — часов в 9 утра, так как Соловьев, как ни странно для такого романтика и «мистика», вел «нормальный» образ жизни — в стиле канцелярского чиновника. Впрочем, в свои ночные часы он, как уверяла молва, созерцал явление некоего «розового призрака», молился и плакал перед ним (или перед Нею?)[8], над чем не пропускал случая подтрунить В.В. Розанов. В гостинице Соловьев занимал две небольшие комнатки в самом верхнем, третьем, этаже, обставленные обычной отельной мебелью. Ничего личного, скрашивающего трафарет, кругом не виделось, и это «общее место» обстановки как бы подчеркивало характерную безбытность философа. Тот же Розанов рассказал нам о кормлении Соловьевым голубей в открытую форточку номера и о тех осудительных мыслях, которые вызвал в нем, вечном двойнике-антагонисте Соловьева, этот «пророческий» обычай. Одет был философ по-домашнему — в рабочую тужурку-блузу, тогда распространенную в литературных кругах Петербурга (ее, например, всегда носил Н.К. Михайловский). Костюм этот, столь шедший к стройному, «вечно-молодому» Михайловскому, на Соловьеве выглядел довольно «затрапезно» и, вместе с длинноватой, несколько запущенной бородой, придавал ему какой-то слишком «профессиональный» вид — не то заслуженного профессора духовной академии, не то иерея за штатом. Эту «за-штатность» еще более подчеркивали бросавшиеся в глаза, уже вполне провинциальные, красного цвета «митенки» (короткие вязаные полуперчатки, закрывавшие только запястья рук). В столице никто таких не носил, и нужно было, вероятно, ехать в Александро-Не-

вскую лавру, чтобы найти что-либо подобное. Этот глубокий провинциализм очень удивил меня, видевшего до тех пор Соловьева лишь на кафедре публичной лекции или же в салоне одного из столпов «Вестника Европы», К.К. Арсеньева. В обоих случаях он имел тот «подтянутый» вид, который принимаем мы все, «выезжая в свет». Здесь же, «у себя дома», он был проще и, можно сказать, банальнее — он, в общем столь противоположный всякой банальности.

Обращение, манера относиться к собеседнику — по крайней мере, такому юному и «неопределенному», каким был я тогда в мои 25 лет, не были слишком любезны — подернутые холодком и сдержанностью авторитетно-далекого человека. И в этом отношении контраст с Розановым, с его фамильярно-домашним обхождением — вечными институтскими поцелуями и внезапными вспышками экспансивной дружбы — был очень разителен. Не походило это и на обращение Льва Толстого — сперва зорко в вас вглядывавшегося, а затем, «поняв» посетителя и при благоприятном итоге, удивительно простого, почти «товарищески» обходительного, невзирая на всю разницу в годах и всего прочего, чего он точно не замечал.

С трепетом приступил я к изложению моей просьбы — цели посещения. К удивлению, Соловьев легко и охотно согласился на перепечатку в проектируемом сборнике его статьи. При этом, когда я выдвинул вопрос о гонораре, он резко и категорически отклонил всякое вознаграждение: «Эта статья была уже однажды оплачена при ее напечатании и не должна оплачиваться второй раз». Напрасно я указывал ему на пример других участников сборника, как С.А. Андреевский и Мережковский, не стеснявшихся получением гонорара за статьи, даже не раз напечатанные. Соловьев твердо стоял на своем, и в его отказе чувствовалась воля, которую даже в мелочи нельзя сдвинуть с места. Пришлось ограничиться благодарностью (и позднейшим намеком в предисловии к сборнику). Между тем это бескорыстие очень затруднило для меня просьбу о перепечатке еще другой статьи Соловьева — об Алексее Толстом[9]. Не столь исторически-значительная, как статья о Тютчеве, эта все-таки прекрасная (хотя несколько односторонне-морализирующая) статья как бы сама просилась в сборник. Но Соловьев, видимо, мало вник в идею такого сборника, и на мою просьбу последовал на этот раз довольно кислый отказ. Нечего делать — пришлось мне самому строчить статью об Алексее Толстом, которая и напечатана в сборнике. Выбирать было опять-таки решительно не из чего. Таково было богатство «критики» в нашей тогдашней литерату-

ре — в особенности в ее отношении к «чистой» поэзии, в чем она все еще не могла оправиться от писаревского погрома (ср., напр., статьи тогдашних «корифеев» — Протопопова, «Андреевича», т. е. Евг. Соловьева, и прочее, тому подобное).

«Пафос расстояния», неподвижно пребывавший между Соловьевым и другими людьми (тут невольно вспоминаются его парадоксальные «дружбы» со всеми Величками)[10], исключал всякую возможность не только более или менее тесной дружбы, которая с первых же шагов завязалась между мною и Розановым, но даже такого товарищеского ученичества, каким долгие годы были мои отношения к Мережковскому. С Соловьевым у меня не пошло дальше «шапочного знакомства», и я даже не представляю себе возможности подлинной с ним дружбы — если только «другу» не превращаться в человека-эхо, какое, по-видимому, Соловьев единственно и допускал при себе, не нуждаясь в своем пожизненном «одиночном заключении» ни в ком другом. Поэтому и в это мое с ним свидание, как и в одно-два последующих, вызванных тем же его участием в сборнике, вопросами корректуры и т. п., мне не пришлось вести с Соловьевым никаких «принципиальных разговоров», которые так легко возникали в те времена не с одним только Львом Толстым. Из этих «корректурных» встреч в памяти моей осталось только неудовольствие Соловьева на то, что в перепечатке его статьи была выпущена довольно длинная цитата из Шиллера («Боги Греции»)[11], загромождавшая, как мне казалось, текст, ничего не прибавляя по существу к развиваемым в статье мыслям. Но Соловьеву хотелось более выпуклого изображения отвергаемого им, через посредство Тютчева, механического миросозерцания. Увы! мои материальные возможности заставляли меня сокращать, где только было можно, «себе-стоимость» сборника — особенно при (оправдавшемся) предвидении, что в публике он не «пойдет». Но эта сторона дела «безземному» Соловьеву, вероятно, просто не приходила на ум...

3

Еще запомнилось мне в этот визит, что при случайном упоминании Бальмонта — тогда еще совсем юного и, конечно, вполне безавторитетного Бальмонта, выпустившего лишь незадолго до того свои первые два столичные сборника «Под северным небом» и «В безбрежности», Соло-

вьев очень сочувственно отозвался о нем, признавая его талант. Надо вспомнить тогдашнее непризнанное положение литературной молодежи, на которую только пофыркивали и поплевывали с высоты своих журнальных Олимпов всякие Вейнберги, чтобы оценить эту позицию Соловьева. Ведь даже такой, относительно либеральный и гордившийся своим либерализмом «старик», как Полонский, все-таки положительно не переваривал ничего, соприкасавшегося с только что новорожденным тогда «декадентством». А Бальмонт уже с самых первых шагов своих заявил себя как новатор и почти декадент (главой последних был, конечно, Валерий Брюсов, само экзотическое имя которого вводило в смятение всех благоразумно-умеренных Федоровых и Коринфских). В тот момент Бальмонт как раз выпустил и третью свою книжку — «Тишина», и по ее поводу именно происходил разговор[12]. Хотя я начинал уже склоняться к будущему, едва замерцавшему на горизонте «символизму» и в эти годы прочел в авторитетном тогда «Русском литературном обществе» небольшой реферат на тему такой новизны, но новая книжка Бальмонта была еще мне не по зубам, и я поспорил о ней с Соловьевым. «Нет, нет, — “недвижно” говорил Соловьев, — это настоящий талант и выделяется среди молодежи». Помню, как обрадовался Брюсов, когда я сообщил ему этот отзыв Соловьева о вожде всего движения. Это ощущение новизны не помешало, однако, известной атаке Соловьева на символистов в те же приблизительно годы[13]. Выступить прямо и уверенно на стороне того, к чему втайне влеклись симпатии, — это было не в характере Соловьева: для этого он был слишком «почетным академиком», и недаром корректнейший «Вестник Европы» Стасюлевича и С°, в котором «крайней» была только ярко-красная обложка, укрыл его под этой обложкой, когда пришел час сомнения в полной правоте «правых» направлений русской духовности. Что-то половинчатое, как ложка дегтя, портило всю бочку меда Соловьева и несомненно подрезывало ему крылья.

4

При разговоре о стихах было естественно задать Соловьеву, немного «по-дамски», один щекотливый вопрос, который, однако, уже давно интересовал меня. Среди многочисленных соловьевских стихотворений на

тему «любви», столь определенно и характерно отмеченных «софийным» оттенком, есть одно, выпадающее из общего цикла. Напечатанное в «Северном вестнике», где Соловьев вообще не помещал стихов, — в июльской книжке 1892 г., оно не вошло впоследствии ни в одно из отдельных изданий и до самого шестого издания стихотворений (1915 г.) оставалось каким-то «отверженным». Даже в этом 6-м издании оно помещено почему-то в отделе «посмертных стихотворений», хотя впервые появилось в печати еще за 8 лет до смерти автора![14] Можно бы объяснить это слабостью пьесы, но стихотворение вовсе не плохо, а по своему жанру и по времени стоит очень близко к таким вещам Соловьева, как, напр., «Скромное пророчество» (стих. 1891 г.). Вот это стихотворение:

Потому ль, что сердцу надо
Жить одним, одно любя,
Потому ль, что нет отрады
Не отдавшему себя;
Оттого ли, что судьбою
Наши сблизились пути,
И с тобой, с тобой одною
Мог я счастие найти, —

Оттого ли, потому ли, —
Но в тебе, в тебе одной,
Безвозвратно потонули
Сердце, жизнь и разум мой...

Когда я спросил Соловьева, почему же это стихотворение не находит себе места в его сборниках, — он с явным неудовольствием уронил: «Так; не нужно». А на мое замечание, что стихотворение хорошо и следовало бы его поместить, повторил: «Нет, не нужно». Причина лежала, конечно, в том, что пьеса вызвана «земным», а не «софийным» чувством, — Соловьев ощущал эту пьесу как «прегрешение» со своей стороны. Стихотворение относится несомненно к циклу, внушенному чувством к С.М. Мартыновой — единственным, уже поздним увлечением философа[15], где идеалистические, «софийные» мотивы отошли в тень и сказались отзвуки страстного, земного чувства. Вообще из трех зрелых увлечений Соловьева (не считая юношеского романа с Романовой-Селевиной) — из этих трех флиртов с земными Софиями — гр. Софьей Андреевной Толстой (вдовой поэта гр. А.К. Толстого), ее племянницей, С.М. Хитрово[16], и, наконец, С.М. Мартыновой, — в которых заповедное имя «София» иг-

рало наверное не последнюю роль и которые все три довольно отчетливо выделяются в сердечной лирике Соловьева, — только это третье дает впечатление реальной страсти. Отношения с пожилой уже тогда вдовой гр. А.К. Толстого, которая была старше Соловьева лет на двадцать, носят наиболее искусственный, «придуманный» характер и вызваны явно экстатическим отождествлением ее с трансцендентной «Софией» (чем впоследствии столько нагрешил Блок). Отношения с Хитрово наименее ярки и созданы, видимо, кроме своего рода «обновления» предыдущих (С.М. Хитрово, урожд. Бахметьева, была родной племянницей С.А. Толстой, тоже урожд. Бахметьевой), эстетическим обаянием изящно-оригинальной светской красавицы, производившей впечатление на самого Константина Леонтьева. И, наконец, столь поздно вспыхнувшая (судя по датам стихов — не ранее 1892 года, когда очень рано созревшему Соловьеву уже шел сороковой год), характерно «предзакатная» любовь к Мартыновой была фатальной «данью Земле». Она и прошла сквозь психику Соловьева как шквал — как обычно проходит «последняя любовь», когда она не тютчевски-нежна и не тютчевски-«суеверна»[17].

5

Сложные и странные отношения между Соловьевым и Фетом уже не раз обращали на себя внимание. В самом деле, как ни близки были Соловьеву все три сочлена зенитной триады нашего романтизма (что доказывают «посмертные» его о них стихи)[18], но отношения к Майкову и Полонскому заключились вместе с этими стихами — тень Фета, напротив, сопровождала Соловьева до самого конца, вызывая порою его собственное недоумение:

Здесь тайна есть. Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...
Непримиренное вздыхает сиротливо
И одинокое горюет над собой...[19]

Так он писал в 1897 г. — в самый день своего рождения — 16 января (ст. стиля), обращаясь к «памяти Фета». А ровно три года спустя, 16 января 1900 г. — в последнюю «здешнюю» годовщину своего рождения, за

полгода до смерти, он написал последнее и едва ли не лучшее стихотворение фетовского своего цикла: «Les revenants».

Вот происхождение этого стихотворения. В конце 1899 г. вышла в Петербурге в свет (помеченная издательски, как обычно тогда делалось, следующим годом — 1900) маленькая книжка стихотворений молодого поэта (род. 1869 г.) Дмитрия Петровича Шестакова (ум. в 1937 г.). Сын известного в свое время специалиста по классической филологии и попечителя Казанского округа в 60—70-х годах, снесенного со своего поста толстовско-деляновской реакцией 80-х годов[20], Дмитрий Петрович унаследовал, как и его старший брат, недавно умерший академик, Сергей Петрович, специальность отца, но с тем отличием от других представителей фамилии, что он обладал настоящим поэтическим дарованием. Это дарование было сразу оценено Фетом, к которому юный и очень неуверенный в себе поэт обратился со своими стихами. Фет особенно отметил переводы Шестакова из древних. В одном письме к автору он сравнивал эти переводы со снопами густой зрелой пшеницы, а собственные произведения поэта — лишь с высоко взбитыми, хотя и вкусными, сливками (ярко-конкретные сравнения, характерные для фетовских писем). Но и «сливки» пришлись вполне по вкусу Соловьеву, резолюция которого о стихах Шестакова, предложенных ему на выбор Фетом в Воробьевке летом 1890 г., для помещения в цертелевском «Русском обозрении», гласила: «напечатать все». Но, увы, Шестаков родился под звездой неудачников, и вопреки этому категорическому решению, вследствие перемены редакции, не было напечатано ничего...[21]

Вполне естественно, что, такой же пламенный исповедник фетовского культа, как Соловьев, Шестаков послал ему экземпляр своей книжки, самое первое стихотворение которой было посвящением ее как бы живому «А.А. Фету» (а не «Памяти Фета»)[22] — как и все последние обращения к его тени самого Соловьева, утверждавшего, как известно, что он видит временами ad oculos[23] покойного поэта, причем реальность видения подтверждалась для Соловьева характерностью речей Фета во время таких свиданий (а речи Фета, действительно, мудрено было бы имитировать).

Получив сборник Шестакова, Соловьев очень скоро прислал ему в ответ последнее тогда собрание своих стихов, где на первой странице крупным, отчетливым (и характерным в этой своей отчетливости) почерком Соловьева было написано известное стихотворение «Les revenants» с таким началом:

Голосом неслышимым Ваша книжка милая
Мне его напомнила, — и спасибо Вам!..
Сладко уноситься мне памятью унылою
К смертию завешенным, *юным* берегам.

(Моим курсивом отмечены разночтения с позднейшим, печатным текстом.)[24] Далее — до конца стихотворения текст почти такой же, как в печати, кроме небольших лишь расхождений: в седьмой строке «что-то *к слову* просится» (вм[есто] «в слово»), и в десятой «покрывало» (единственное число вместо множественного в печати). Таким образом, крупный вариант представляют только первые две, «посвятительные», строки. В печатном тексте Соловьев убрал это посвящение и даже ничем не отметил происхождение стихотворения: Шестаков был слишком «неслышимым» в литературе, чтобы «почетные академики» находили нужным с ним считаться...

6

«Здесь тайна есть»... Несомненно, что ощущение этой тайны и догадки о ней были доминантой в отношениях Соловьева к Фету, и эти, переступавшие даже (если верить Соловьеву) пределы реальности, отношения определялись именно *знанием* Соловьева о «тайне». Чтó это было?.. Из пяти стихотворений фетовского цикла («Наконец она стряхнула» — последняя строфа[25]; «Он был старик, давно больной и хилый»; «Все нити порваны; все отклики — молчанье»; «Песня моря»; «Les revenants») только одно — правда, самое большое и значительное, — «Песня моря» (написанное в Архипелаге «между Смирной и Пиреем», в апреле 1898 г.), как будто ведет к разгадке:

От кого это теплое южное море
Знает горькие песни холодных морей?..
И под небом другим, с неизбежностью споря,
Та же тень всё стоит над мечтою моей?

Иль ей мало созвучных рыданий пучины,
Что из тесного сердца ей хочется слез,
Слез чужих, чьей-нибудь бескорыстной кручины
Над могилой *безумно-отвергнутых грез?..*

Чем помочь обманувшей, обманутой доле?
Как задачу судьбы за другого решить? —

Кто мне скажет? Но сердце томится от боли
И чужого крушенья не может забыть.

Эту песню одну знает южное море,
Как и бурные волны холодных морей, —
Про чужое, далекое, мертвое горе,
Что, как тень, неразлучно с душою моей...[26]

Стихотворение это ясно говорит, что в жизни Фета произошло некое трагическое крушение, оборвавшее для него какие-то трансцендентные возможности и обрекшее его раз навсегда на «потустороннее» одиночество. Так вытекает из интерпретации Соловьева. И если вспомнить биографию Фета, теперь нам достаточно известную, то «загадка» его жизни, в свете этого истолкования, получает определенное раскрытие. В молодости Фета было серьезное увлечение — роман с девушкой, жившей в доме его матери. Увлечение было обоюдным, и намечался сам собой, не внешне «юридический» только, а сердечно-положительный, и тем самым вековечный исход. Это и была «задача судьбы», поставленная перед поэтом, которую ему предстояло исполнить. Не все и не всегда встречают на своем жизненном пути такую задачу: напротив — весьма немногие. Для такого жребия нужно особое развитие индивидуальности, заостряющее в проблему творческого самосозидания своей личности все значительные встречные этапы жизни (ср. биографию Гёте). Такая задача не существует для души эпической и даже для трагической, а только для лирической. Ее не имели для себя ни Майков, с его элементарно-вакхическим, «языческим» переживанием любви-страсти, ни Полонский, с его «иудейским», семейно-бытовым чувством. В их триаде эту задачу получил только «из лириков лирик» — Фет, и она стала для него, наравне с творческим призванием поэта, определяющей задачей жизни. Хотел или не хотел он этого, но он *должен* был дать ей решение, и, конечно, решение творческое, созидающее жизнь.

Мы знаем из его же автобиографических воспоминаний, как Фет «обманул» эту свою «долю». Верх взяли в его слишком житейски-благоразумной натуре «практические» соображения. Девушка была бедна; сам Фет — тоже... И он заставил себя пойти по более легкой дороге, перешагнув через могилу «безумно-отвергнутых грез». Он «ушел», а девушка кончила страшным самоубийством (сожгла себя)[27]. «Благоразумное» поведение вполне оправдало себя: под старость Фет имел миллионное состояние. Женив-

шись, тоже по голосу благоразумия, без всякой любви, даже без какого-либо увлечения, на «подходящей» особе (М.П. Боткиной, сестре известных Боткиных)[28], он не имел или не хотел иметь детей. Проводя большую часть времени в своем превосходном именье («ртищевская» Воробьевка — под Курском), он, казалось, должен был благоденствовать, занимаясь, ad libitum[29], своими переводами латинских поэтов. Но... страшная тоска грызла его, и самые переводы были только средством хоть сколько-нибудь забыться. Вся прелесть имения, с великолепными цветниками и каким-то необыкновенным фонтаном, не утешала — и поэт, в эту пору создававший бессмертные, полные тоски, стихи «Вечерних огней», жил точно на грани самоубийства, и наконец, когда старая одышка обострилась, — переступил эту грань...

«Чем помочь обманувшей, обманутой доле?..»

Насколько Владимир Соловьев знал эту сторону биографии Фета и насколько близок он был к даваемому здесь объяснению — мы не знаем. Но более нежели вероятно, что он подходил к нему: слишком *точен* язык его стихов в этом случае.

...сердце томится от боли
И чужого крушенья не может забыть.
Брызги жизни сливались в алмазные грезы...
А теперь чуть блеснет лучезарная сеть, —
Жемчуг песен твоих расплывается в слезы,
Чтобы, вместе с пучиной, роптать и скорбеть...[30]

Известный философ «пола», Вейнингер имел близкого друга — Германа Сво́боду (судя по фамилии — чех), написавшего о нем весьма ценную, полную глубоких мыслей брошюру «Смерть Отто Вейнингера» (русский перевод издан в Симферополе в 1912 г.). По-видимому, этот, вполне неизвестный, Г. Свобода представлял собою того «темного спутника» яркого, загоревшегося на весь мир светила, каким был сам Вейнингер. Существование и роль таких спутников еще вовсе не обследованы ([нрзб.] тов. литературоведам!), но их наличность едва ли может быть подвергнута сомнению. — Итак, в этой своей брошюре Г. Свобода, касаясь «потустороннего» значения любви, утверждает, что «с высочайшей степенью любви соединена величайшая сила самосохранения». «Существенное в понятии любви есть ее связь с жизнью... *Продолжение жизни после смер-*

ти без любви невозможно (мой курсив. — *П.П.*): кто не находит никакой любви, от того ничего не остается»[31]. Это понимание процесса становления личности прямо подходит к данному случаю. Так — разъясняется и особая, решающая для «потусторонности», роль любви в жизни «лирических» (т. е. имеющих перед собою задачу такого становления) индивидуальностей. В слишком категорических утверждениях Г. Свободы есть та ошибка, что он не различает разнотипности людей: требуемое от Вейнингера или (в нашем случае) от Фета — очевидно, не требовалось, например, от Канта или (как было уже указано) даже от Майкова и Полонского. Оно не требовалось и от Пушкина (в значительной степени эпический тип), и еще менее от трагического Гоголя, но эта же, фетовская, «задача» мерцала «из-под таинственной, холодной полумаски» реальной действительности для со-типного с Фетом Лермонтова (любовь к Лопухиной-Бахметьевой)[32].

7

В феврале 1900 года в газетах появились объявления о публичной лекции Вл. Соловьева на тему «о конце всемирной истории». Он тогда часто читал публичные лекции, то в зале городской Думы, то — петербургского кредитного общества, то, наконец, — в частных квартирах. Темою их обычно служили отдельные главы из его фундаментального «Оправдания добра», которое тогда (тоже отдельными фрагментами) появлялось в различных изданиях (преимущественно в «Вопросах философии и психологии» и в гайдебуровской «Неделе»)[33]. Такую именно лекцию я слышал в квартире одного из основных «столпов» либерального «Вестника Европы» К.К. Арсеньева. Память, к сожалению, сохранила мне о ней только одно внешнее впечатление превосходного чтения привычным мастером. Самый голос Соловьева — необыкновенно звучный и выразительный — точно был приспособлен для таких чтений. И в этом отношении представлял собою Соловьев прямую антитезу В.В. Розанову, с его интимным «шепотком» и полной неспособностью к публичным выступлениям. Напротив, из всех ораторов и лекторов, которых мне довелось услышать в те годы в Петербурге (а между ними были такие знаменитости, как Спасович, Арсеньев, Андреевский, Кони и др.), я никого не мог бы сопоставить с Соловьевым. Для меня, с моим испорченным с детства слухом, эта разница была особенно ощутительна: всех других я слышал на $^1/_2$ или, в лучшем случае, на $^3/_4$ — и только одного Соловьева на все 100%. Из

остальных разве лишь восходившее тогда на горизонте и как будто много обещавшее светило новейшего русского консерватизма (так и не сдержавшее своих обещаний, как и весь этот консерватизм), Борис Никольский, мог бы соперничать в своих ораторских качествах с Соловьевым. Никольский же, кстати, видел в себе какого-то своего рода «провиденциального» противника именно Владимира Соловьева (которого звал не иначе, как «Володя Соловьев»). Чуждость всякой, хотя бы довольно условной «новизне», цепляние за принятые нормы — т. е. отсутствие жизнеспособного фермента <...>[34].

Итак, мы, счастливцы, доставшие билеты (на лекциях Соловьева бывало всегда много народа), собрались в небольшом относительно зале городской Думы на Невском, «под каланчой», как обыкновенно она обозначалась (на здании Думы возвышалась пожарная каланча), — 26 февраля (ст. ст.) 1900 г., к 8 часам вечера. Передо мною лежит ветхий листок программы этого чтения, представляющий собой теперь, вероятно, unicum в своем роде, так как ни в собраниях сочинений Соловьева и нигде вообще, насколько мне известно, программа эта не воспроизводилась.

Вот содержание этого листка in extenso[35]:

Программа
публичного чтения
Владимира Соловьева
О конце всемирной истории

Понятие истории вообще. — Идея всемирной истории. — Невозможность понимать ее смысл без определенного представления о том, к чему она идет и чем кончится. — Бессмысленность понятия о бесконечном или неопределенном прогрессе. — Цель исторического процесса или конец всемирной истории есть главное определяющее понятие для философии истории. — Это понятие находится только в положительных религиях, а единственное *вполне* осмысленное основание для философии истории есть библейско-христианское откровение, — в особенности содержащееся в двух священных книгах: пророка Даниила и в Апокалипсисе Иоанна Богослова. — Опыт живого изображения будущего конца, согласно истинным понятиям исторической философии. — Заключительные замечания.

Всякий, знающий Соловьева, знает, конечно, «Три разговора» и «Повесть об антихристе» — эти более всего нашумевшие, хотя едва ли не

самые слабые из его произведений (впрочем, сам автор, как передает Величко, считал их «гениальными»)[36]. И всякий, я думаю, согласится, что программа эта весьма резко от них отличается и лишь местами может быть принята, как ведущая к ним. Программа, особенно в начале, гораздо серьезнее и глубже ставит вопросы, нежели довольно поверхностная полуфельетонная causerie «Разговоров» и «Повести». На последней как будто отразилось то позднее тяготение философа к аристократическому кругу, о котором упоминает его биограф (С. Соловьев). Точно все это было предназначено в самом деле лишь для прочтения в салонах Толстой и Хитрово. Напротив, если бы Соловьев осуществил предположенную им сперва программу, то мы имели бы его резюмирующие ответы на такие темы, как «понятие истории вообще», «идея всемирной истории», «бессмысленность понятия о бесконечном прогрессе», «цель исторического процесса». Сохранившийся программный листок приоткрывает таким образом нам, как высоко ставил себе первоначально Соловьев задачу своей последней работы и насколько, удержись он на этой высоте, могла она быть в самом деле достойной его «лебединой песнью».

Соловьев читал и на этот раз тем же звучным, импонирующим голосом, который удивительно шел к догматическому характеру его изложения. Некоторые места он умел так выделить, что они навсегда западали в память слушателя. Так, говоря о безмерном послушании Сына Божия своему Отцу, даже до крестной смерти, — «и Он не помог Ему на кресте», произнес Соловьев с незабываемой выразительностью. При рассказе о последней мировой катастрофе он как-то затушевывал столь неприятно царапающую в печати «фельетонность», выдвигая на первый план все, связанное с историей Церкви. И достаточно было прослушать его изложение, чтобы понять, как много значила для Соловьева эта сторона дела. Все три вождя христианских вероисповеданий выступали у него определенными и характерными уже во внешнем своем выражении фигурами. Римской бронзой звучала речь папы Петра II, и рядом добродушно всхлипывала речь вождя православного Востока, старца Иоанна, внезапно обретавшая особую убедительность и силу, когда каким-то испуганным шепотом бросил он свое разоблачение: «детушки, антихрист!» Но всего типичнее, может быть, был представитель западного рационализма, вождь протестантства, профессор Паули, с его языком старого немецкого ученого, поминутными «so, also!» и старческой веселостью.

Разумеется, в зале царила полная тишина, все были обращены в слух, ловя слова лектора.

И вдруг, среди всего этого, в дальнем от меня правом конце зала раздался какой-то грохот: кто-то свалился со своего стула на пол. И это как раз в тот самый момент, когда произошло разоблачение антихриста! Волнение прошло по залу... Сам Соловьев смутился и замолчал. А с пола подымалась какая-то фигура, упавшая с рассыпавшегося под нею стула... Кто упал — мне не было видно. Конечно, инцидент был быстро исчерпан и порядок восстановлен. Далее лекция прошла уже благополучно.

Так как я еще ранее заметил в том конце залы, где произошла катастрофа, В.В. Розанова, то по окончании лекции подошел к нему и, ничего не подозревая, спросил, кто это у них там упал. Каково же было мое удивление, когда Василий Васильевич, и без того имевший какой-то странно-смущенный вид, стал красным, как пион, и пробормотал себе под нос сердитым голосом: «Это я упал...» Это было так неожиданно, что трудно было поверить! Все, кто знал Розанова, помнят, вероятно, его худощавую, небольшую фигуру, которая, казалось, никак не могла быть опасной для стульев. И тем не менее, все сидели спокойно на своих местах, и только под Розановым рассыпался стул — да еще как раз в такой момент!..[37]

Смущение и досада нашего доморощенного антихриста были слишком понятны. И в самом деле, случай более чем странный. Не знаю, как отнесся к нему Соловьев, но на Розанова он произвел, видимо, глубокое впечатление: впоследствии он терпеть не мог никаких упоминаний о нем и тотчас же заминал разговор...

Лекция об антихристе была для меня последним случаем видеть Соловьева. Летом того же года в Монтрё, на берегу Женевского озера, просматривая на террасе отеля русские газеты, я с печальным удивлением прочел краткую телеграмму об его смерти. Печаль эта не прошла и до сих пор — через полвека: ведь никто еще не заменил нам Владимира Соловьева.

1942, XII.

КОММЕНТАРИИ

К работе над литературными воспоминаниями Перцов приступил в первые пореволюционные годы. Мартом 1919 г. датирован его мемуарный очерк о В.В. Розанове, предназначавшийся для неосуществленного сборника памяти Розанова (скончавшегося 5 февраля 1919 г.), который пытались сформировать дочери писателя[1]. Год спустя после кончины Александра Блока вышли в свет отдельным изданием воспоминания Перцова «Ранний Блок» (М.: Костры, 1922) — небольшая книжка о первых шагах поэта в литературе, включавшая его письма к автору[2]. Позднее Перцов выражал неудовлетворенность этой книжкой — за наличие в ней, по его словам, «ложного расхваливания»[3]; возможно, это обстоятельство стало одной из побудительных причин к сочинению новой, краткой версии воспоминаний о Блоке, также включавшей письма поэта к автору: «Блок первых годов. 1902—1906 гг. (Воспоминания и письма)» (5—12 сентября 1940 г.)[4]. Этот текст, содержащий лишь самые лаконичные характеристики и пояснения к письмам, однако, ни в малой мере не заслоняет собой более раннего очерка Перцова о Блоке; то же относится и к мемуарной новелле «Блок в синем воротнике», при жизни Перцова не публиковавшейся.

Очерк «Русская поэзия тридцать лет назад: (Из литературных воспоминаний)», опубликованный в 1926 г. в 4-м сборнике «Свиток» и дававший уже целую панораму литературной жизни 1890-х гг., представлял собой, по сути, раннюю редакцию текста перцовской мемуарной книги. Работа над нею велась во второй половине 1920-х гг.; параллельно Перцов предпринимал усилия к тому, чтобы пристроить написанное в печать, — достаточно трезво осознавая при этом,

---

[1] См. вступительную статью В. Сукача к первой публикации «Воспоминаний о В.В. Розанове» Перцова (Новый мир. 1998. № 10. С. 146—148).

[2] Первоначально, в письме от 11 октября 1921 г. Перцов предлагал П.Е. Щеголеву, как члену Комитета по увековечению памяти Блока, образованного в Петрограде (см.: Жизнь искусства. 1921. № 804. 16—21 августа; Книга и революция. 1921. № 1(13). С. 26), опубликовать в сборнике памяти Блока его письма («кажется, 14») и добавлял: «Еще я мог бы написать краткие воспоминания под заглавием “Первые шаги Ал. Блока”» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1413), — однако в следующем письме, от 26 октября, уже отказывался от своего предложения: «...я сговорился по этому поводу с одним московским издательством <...>» (Там же. Ед. хр. 1414).

[3] Письмо к А.В. Звенигородскому от 15 декабря 1927 г. (РГБ. Ф. 218. Карт. 1071. Ед. хр. 39).

[4] Сохранились черновой автограф и рукописная копия этого текста (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50).

что у него мало шансов достигнуть желаемого. «...Что мои воспоминания? — писал он 10 января 1928 г. из Костромы М.А. Цявловскому. — Давали ли Вы их Полонскому? Он сам мне их заказывал, а когда я принес — даже не читал за "неактуальностью". Конечно, всё, что было 30 лет назад, не актуально, но тогда нечего и соваться в историю. Эта рукопись меня интересует собственно как меновая ценность, но с этой точки зрения весьма интересует, ибо ничего иного я в данный момент не имею. Нельзя ли, если не берет Полонский, приткнуть ее в какое-либо место? "Никит[инские] субботники"? Или там уж очень осоветились?»[5] Еще ранее Перцов пытался заручиться поддержкой И.А. Новикова (содействовавшего изданию «Раннего Блока» в 1922 г.), которому представил 1 ноября 1925 г. проспект будущих «Воспоминаний» в надежде на получение субсидии от Всероссийского Союза Писателей. «Я прочел в газетах, что при Союзе открывается издательство <...>, — писал Перцов Новикову 28 июня 1926 г., — и хочу предложить ему издать мои "Литературные воспоминания". Я начал было их писать, но по нынешним временам как-то трудно работать "на неизвестного потребителя", с риском, что рукопись останется на руках. Поэтому мне хотелось бы заручиться издательской возможностью»[6].

Выпустить в свет свои мемуары Перцов предлагал и Издательству М. и С. Сабашниковых, в архиве которого сохранился авторский план будущей книги[7]:

П. Перцов
Литературные воспоминания
1890—1904

1. Провинциальная журналистика 90-х годов. Газеты и публика. Типы журналистов. Цензура. — Первая переписка: Мережковский, Фет, Полонский. Первые встречи: Иванчин-Писарев, Короленко, Гарин, Н.К. Михайловский.

2. Петербург начала 90-х годов. «Русское богатство». Отцветающее народничество. В литературных кругах. Молодежь и старые знаменитости. Первые проблески символизма.

3. «Молодая поэзия». Стихомания эпохи. Поэтические эфемериды. Публика и критика.

[5] ИРЛИ. Ф. 387. Ед. хр. 262. Вячеслав Полонский в это время был редактором журналов «Печать и революция» и «Новый мир».

[6] РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 4. Ед. хр. 824.

[7] РГБ. Ф. 261. Карт. 9. Ед. хр. 128. План книги воспоминаний Перцов сообщил и А.В. Звенигородскому 8 июля 1929 г. (РГБ. Ф. 218. Карт. 1071. Ед. хр. 40).

4. Ранний символизм. Петербургские одиночки (Мережковские, Минский, Сологуб, Алекс. Добролюбов, Ив. Коневской). «Северный вестник». Московский кружок Брюсова.

5. Новая идеология. «Философские течения русской поэзии». Журнальные битвы. Критика Мережковского. Появление Розанова. Группа «Мира Искусства» (Дягилев, Алекс. Бенуа, Бакст и друг.).

6. Религиозно-философские собрания и «Новый Путь». Переход от эстетизма к метафизическим исканиям. Первые петербургские собрания. Трудности их возникновения. Позиция духовенства. Несостоявшийся союз. «Новый Путь». Литературный эклектизм. Дебюты Блока, Белого, Ремизова, Волошина и друг. Брюсов — секретарь журнала. Розановский «угол». Цензурные тиски. Нарастание общественной перемены. Распад журнала.

Со включением обширной литературной переписки (письма Фета, Полонского, Майкова, Мережковского, Гиппиус, Брюсова, Блока, Розанова, Романова-Рцы и друг.).

Листов 6—8.

В предварительно намечавшиеся объемы текст «Литературных воспоминаний», по мере их написания, уложиться не мог, а содержание раздела 6 по плану, представленному в Издательство М. и С. Сабашниковых, осталось за рамками книги.

24 апреля 1929 г. Перцов сообщил Д.Е. Максимову о заключении договора на «Воспоминания» с московским кооперативным издательством «Мир»[8]. Осенью 1929 г. авторская работа была завершена (Перцов оповестил об этом И.М. Брюсову в письме от 29 сентября 1929 г.[9]), однако выяснилось, что «Мир» выпустить книгу в свет не может — «за отсутствием у него бумаги»[10]. После безрезультатных переговоров с «Издательством писателей в Ленинграде»[11] удалось пристроить «Литературные воспоминания» в издательство «Academia»: 22 октября

---

[8] См.: РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34.

[9] См.: РГБ. Ф. 386. Карт. 152. Ед. хр. 33.

[10] Письмо к Д.Е. Максимову от 12 апреля 1930 г. // РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34. Ср. сообщение в письме Перцова к жене (1929): «Сейчас идет поход на издательства <...> требуется “пролетарский уклон”. При таких условиях весьма сомнительно, чтобы кто бы то ни было принял мои “Воспоминания” — явно мелкобуржуазного характера. Словом, писать нашему брату мудрено!» (*Давыдова Г.* «Здесь все теперь воспоминанье...» // Костромская старина. 1998. № 10/11. С. 49).

[11] 1 октября 1932 г. Перцов сообщал жене из Ленинграда: «...я начал переговоры с “Издательством писателей” здешним об издании моих воспоминаний, т[ак] к[ак] “Мир” явно ничего не издаст (весной срок). <...> Ответ должен получиться на днях <...> В этом деле помогает мне Чуковский» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 69).

1932 г. Перцов известил Максимова о подписании договора[12]. 25 июня 1933 г. Перцов просил Л.Я. Гуревич сообщить ему адрес Н.М. Минского — с тем чтобы переслать ему во Францию мемуарную книгу, которая скоро выйдет[13].

Заметного резонанса в печати «Литературные воспоминания» не получили; возможно, что их умышленно старались замолчать, утаить от любопытствующих — как о том догадывался Перцов, писавший о книге Д.Е. Максимову (30 декабря 1934 г.): «...по договору ее должны были напечатать 5000, но тираж сократили до 2300 и потом, кажется, еще. В результате книга в продажу почти не поступала и даже подписчикам вернули деньги! Разошлось по библиотекам и т. п. Я думал о второй части, и даже издательство было не прочь, но потом впечатление от первой части, видимо, не благоприятствовало этому (чему я собственно рад, ибо писание этой части было бы слишком трудным турдефорсом). Затевал еще небольшие "силуэты" (тоже из воспом[инаний])»[14].

Перцов понимал, что в общественной атмосфере 1930-х гг. 2-я книга его «Литературных воспоминаний», с описанием Религиозно-философских собраний и другими «неприкасаемыми» темами, не имеет никаких шансов на выход в свет — в том виде, в каком она могла воплотиться под пером автора, совершенно не склонного к эксплуатации новейшего идеологического жаргона и соответствующей ему системы оценок. «...Очевидно, проект дальнейших воспоминаний придется оставить, — писал Перцов Максимову 15 мая 1930 г. — <...> сама тема "дальнейшего" по нынешнему сезону, очевидно, неприемлема. О чем же я могу говорить за 1901–1904 гг., как не о собраниях и "Нов[ом] Пути"? Символизм, конечно, тоже занял бы свое место, но для меня он все-таки весьма второстепенен. К тому же перспектива ругательных выпадов против Д.С. [Мережковского], своих ли или чужих, меня отнюдь не увлекает. Хотя я давно не такой уже его поклонник, как в былые годы, но лягать его теперь найдутся и без меня копыта...»[15] Тем не менее он не мог отказаться от мысли о второй

[12] См.: РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35.

[13] См.: РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 2. Ед. хр. 251.

[14] РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35. Отзыв на выход в свет «Литературных воспоминаний» Перцова появился в эмигрантской печати — в варшавском еженедельнике «Меч»; его дал в своих «Письмах о литературе» известный литературовед и критик А.Л. Бем, сообщивший читателям и некоторые самые общие сведения об авторе книги: «П.П. Перцов играл известную роль в литературном движении конца XIX и начала нашего века. Он рано примкнул к зарождавшемуся тогда новаторскому течению в литературе, выросшему затем в мощное движение символизма. Вот наблюдение именно этих первых шагов нового направления, не в изложении историка литературы, а в передаче одного из его непосредственных участников, дает много интересных штрихов и подробностей, о которых стоит и сейчас, в совершенно изменившейся обстановке, подумать» (*Бем А.* Письма о литературе. О прошлом и настоящем // Меч. 1934. № 1/2. 20 мая. С. 11).

[15] РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34.

мемуарной книге. Сохранились планы ее содержания, были написаны предназначавшиеся для нее фрагменты воспоминаний и отдельные мемуарные очерки-«силуэты».

Один из планов, относящийся к 1934 г., представляет собой машинописный текст с обозначением содержания четырех разделов задуманной книги (на полях — авторское пояснение: «Предполагавшаяся *вторая* часть моих “Воспоминаний”»)[16]:

1. Религиозно-философские собрания. Переход от эстетизма к метафизическим исканиям в Петербурге в 1901—1903 гг. Первые петербургские собрания. Трудности их возникновения. Позиция духовенства. Интеллигенты-реформаторы. Несостоявшийся союз.

2. Журнал «Новый Путь» (1903—1904 гг.). Двойственность задачи: орган собраний и убежище литературных новаторов. «Отчеты» собраний. «Частная переписка». Хроника. Борьба вокруг журнала. Цензурные тиски. — Литературный эклектизм. Участие «стариков». Розановский «угол». Дебюты новичков (Блок, Белый, Вяч. Иванов, Ремизов, Волошин и друг.). Секретарство Брюсова. Редакционные трения. Финансовая неустойчивость. Кризис 1904 г. Нарастание общественной перемены. Распад журнала.

3. Встречные силуэты. Мои литературные и близкие к литературе встречи и знакомства (Влад. Соловьев, Страхов, Романов-Рцы, Розанов, Андреевский, Волынский и друг.).

4. Брызги памяти. Мелочи литературных воспоминаний (начиная с мелочей, касающихся Пушкина, — из рассказов моего отца).

П. Перцов.

14/XII 1934 г.

Попыткой реализации этого замысла можно считать две небольшие главы — «На стыке двух веков» и «Сближение полюсов», — сохранившиеся в машинописи и в черновом автографе[17].

Видимо, уже отказавшись от намерения написать 2-й том «Литературных воспоминаний», аналогичный по типу изложения и охвату материала вышедшей книге, Перцов задумал небольшую книжку относительно самостоятельных мемуарных очерков под заглавием «Брызги памяти». Первый по времени план предполагал сборник в двух выпусках общим объемом 10 авторских листов; были указаны и предполагаемые объемы каждого очерка[18]:

---

[16] РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1.

[17] Там же. Л. 2—15.

[18] Там же. Ед. хр. 48. Л. 1—1 об.

Петр Перцов
Брызги памяти
Воспоминания и встречи

1) Брюсов начала века — 3/4 л.
2) Блок в синем воротнике
3) Андрей Белый на Арбате
4) Брюсовское стихотворение «Младшим» } 3/4 л.
5) Встречи
6) Силуэты старого Петербурга
   a) М.А. Кавос } 1/2 л.
   b) В.П. Протейкинский
7) Театральные силуэты (Савина. Стрепетова. Варламов. Далматов. Писарев. Медведев. Качалов — «Кассий». Юлиан Закржевский). — 2 л.
8) Как начинался Ласкер — 1 л.

———

5 л.

Брызги памяти

Вып. II
1) О Владимире Соловьеве — 2 л.
2) В.В. Розанов — 3/4 л.
3) Нестеров 90-х годов — 1/4 л.?
4) Леон Бакст — 1/4 л.
5) В «Мире Искусства» — 3/4 л.?

———

4 л.

[Из воспоминаний моего отца:
1) Н.И. Лобачевский — 1/2 л.
2) Щепкин и его дочь — 1/4 л.
3) Эпизод молодости Льва Толстого — 1/4 л.

———

1 л.

———

5 л.]

Второй план — более краткий и более поздний, учитывающий уже публикации отдельных очерков[19]:

Петр Перцов
Брызги памяти
Воспоминания и встречи

Брюсов начала века («Знамя», 1940 г., № 3).
Блок в синем воротнике.
Андрей Белый на Арбате.
Брюсовское стихотворенис «Младшим» («30 дней», 1940, № 2).
Встреча (с Д.И. Менделеевым).
Силуэты старого Петербурга:
а) М.А. Кавос.
b) В.П. Протейкинский.
Театральные силуэты (Савина. — Стрепетова. — Варламов. — Далматов. — Писарев. — Медведев. — Качалов — «Кассий» («Декада московских зрелищ», 1940, № 5). — Юлиан Закржевский).

Часть очерков, предполагавшихся для книги «Брызги памяти», была опубликована Перцовым в периодике, часть — сохранилась в его архиве, часть — вероятно, так и осталась в числе неосуществленных замыслов. К последним принадлежит и намерение подготовить отдельную мемуарную книжку о Брюсове, о котором Перцов сообщил вдове поэта, И.М. Брюсовой, в письме от 22 ноября 1933 г.: «Хорошо бы составить брошюрку вроде той, какую я написал о Блоке (1922), — "Ранний Брюсов", опираясь на письма В.Я., большая часть которых еще не напечатана. Что Вы скажете об этой мысли? Боюсь только, что не найдется издателя. "Академия" издает только большие книги, а кто же еще?»[20].

Основной раздел настоящего тома составляет текст книги Перцова «Литературные воспоминания. 1890—1902 гг.», публикуемый по единственному прижизненному изданию (М.; Л.: Academia, 1933). В раздел «Приложения» включены другие мемуарные очерки Перцова — как предшествовавшие «Литературным воспоминаниям», так и написанные после их выхода в свет (главы, предполагавшиеся для 2-го тома «Литературных воспоминаний», а также очерки, обозначенные автором в составе неосуществленного сборника «Брызги памяти»).

[19] Там же. Л. 2. В автографе — двойная нумерация очерков: общая и учитывающая только неопубликованные тексты.
[20] РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 14.

За помощь в подготовке настоящего издания выражаю глубокую признательность Н.П. Генераловой, П.А. Клубкову, Н.В. Котрелеву, Г.А. Левинтону, Н.Н. Мостовской, В.В. Нехотину, С.И. Панову, Н.Г. Патрушевой, М.Г. Петровой, А.И. Рейтблату, Н.С. Чугуновой.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 1890—1902 гг.

Глава I. Провинциальная журналистика 90-х годов

[1] «Новости и Биржевая газета» выходила в Петербурге с 1880 г. (редактор и издатель — О.К. Нотович), еженедельная газета «Неделя» — с 1866 г. (П.А. Гайдебуров стал одним из ее соиздателей в 1870 г., а в 1876 г. — единоличным издателем-редактором). Видимо, указывая на 10 апреля, Перцов имеет в виду день отправки заметок, а не день их опубликования («Неделя» 10 апреля не выходила в свет, ближайший после этой даты день выхода газеты — 15 апреля; «Новости и Биржевая газета» за 10 апреля 1890 г. не содержит корреспонденций из Казани). Как первую публикацию Перцова в «Новостях...» правомерно рассматривать анонимную корреспонденцию в отделе «Внутренняя почта» («Из *Казани* нам пишут») о состоявшейся 10 апреля прощальной лекции профессора римского права, бывшего ректора Казанского университета Н.А. Кремлева, оставившего кафедру (1890. 17 апреля. С. 3). Перцову, скорее всего, принадлежит появившаяся в «Неделе» (в рубрике «Нам пишут») анонимная заметка (с обозначением: «Из Казани») о приготовлении зданий и павильонов к выставке, намеченной на 15 мая (1890. № 17. 29 апреля. Стб. 544).

[2] Сохранился диплом Перцова (первой степени) об окончании Казанского университета, выданный в юридической испытательной комиссии 24 октября 1892 г.; все оценки, кроме гражданского права («удовлетворительно»), — «весьма удовлетворительные» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 228).

[3] «Казанский биржевой листок» выходил с 1869 по 1892 г.; с 1883 г. издатель-редактор — В.М. Ключников. «Волжский вестник» издавался в Казани с 1883 по 1906 г., издатель-редактор Н.П. Загоскин, с 1891 г. — Н.В. Рейнгардт. «Казанские вести» выходили в 1890—1892 гг., издатель-редактор Н.А. Ильяшенко.

[4] Отчасти путеводителем по этой газете может служить издание: Литературно-критические публикации казанской газеты «Волжский вестник» (1884—1906): Библиогр. указ. / Сост. Б.И. Колмаков. Казань, 2000.

[5] Новую «религию человечества», исходящую из социологии, долженствующей обосновывать научную политику, примиряя принципы «порядка» и прогресса, реставраторские и революционные тенденции, О. Конт обосновал в четырехтомном труде «Система позитивной политики» (1851—1854).

[6] Деятельность Тиберия подробно освещается Тацитом в кн. I—IV «Анналов».

[7] Иванчин-Писарев участвовал в редактировании «Волжского вестника» с осени 1890 до лета 1892 г. (см.: *Юдина И.М.* Архив А.И. Иванчина-Писарева // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 5—6).

[8] «Процесс 193-х» («Большой процесс») — наиболее крупный политический процесс в дореволюционной России; так называли суд в Особом присутствии Правительствующего сената (Петербург, 18 октября 1877 — 23 января 1878) над участниками «хождения в народ», закончившийся сравнительно мягким приговором: из 193 подсудимых 90 были оправданы и лишь 28 приговорены к каторге.

[9] П.А. Кропоткин, арестованный весной 1874 г., бежал из заключения в петербургской тюрьме при Николаевском военном госпитале 30 июня 1876 г., после чего переправился в Швецию, а затем в Англию; обстоятельства побега подробно описаны им в мемуарах (см.: *Кропоткин П.А.* Записки революционера. М., 1988. С. 357—367).

[10] О работе Иванчина-Писарева в редакции «Русского богатства», продолжавшейся свыше 20 лет (1892—1913), см.: *Юдина И.М.* Указ. соч. С. 6—18.

[11] Перцов издал сборник произведений этого автора со своей вступительной статьей «В.Н. Соловьев. Биографические сведения». См.: *Соловьев В.Н.* Посмертный сборник: Рассказы, стихи, путевые очерки. СПб., 1901.

[12] Французский публицист и политический деятель маркиз Анри Рошфор получил известность как один из самых радикальных противников режима Второй империи.

[13] Р. Пири достиг района Северного полюса 6 апреля 1909 г.

[14] Подразумевается издательское товарищество «И.Т. Сытин и К°», организованное в 1883 г. и ставшее одним из крупнейших издательских предприятий России; прозаики и фельетонисты А.В. Амфитеатров и В.М. Дорошевич с 1902 г. были постоянными сотрудниками издававшейся Сытиным с 1897 г. московской газеты «Русское слово».

[15] Ежемесячные петербургские литературные журналы, выражавшие идеологию радикально-демократической интеллигенции, — «Современник» (1847—1866; издатели Н.А. Некрасов и И.И. Панаев) и «Русское слово» (1859—1866; Г.Е. Благосветлов во главе редакции с июля 1860 г.).

[16] Фраза «Ндраву моему не препятствуй» восходит к «Сценам из купеческого быта» (1861; сцена II, «Сговор») И.Ф. Горбунова (см.: *Горбунов И.Ф.* Избранное. М.; Л., 1965. С. 230). «Так кончился пир наш бедою» — заключительная фраза стихотворной сказки В.А. Жуковского «Война мышей и лягушек» (1831).

[17] В.М. Дорошевич регулярно приезжал на ярмарку в Нижний Новгород, писал о ней репортажи в «Московский листок» и печатался в выходившей только во время ярмарки газете В.И. Пастухова «Нижегородская почта».

[18] Неточность; псевдонимы М.И. Попова: Анд. Любый, Андрей Любый.

[19] М.И. Попов скончался 14 ноября 1892 г. Е.Н. Чириков («близкий товарищ покойного») писал в некрологе: «По образу своей жизни, по своим взглядам и

традициям — это был тип студента недалекого прошлого времени <...> фельетоны Мих. Ив. из обывательской жизни обратили внимание Ник. Константиновича Михайловского, который, будучи проездом в Казани, отнесся к автору их с живым интересом и нашел в нем признаки несомненного сатирического и юмористического таланта» (Волжский вестник. 1892. 16 ноября. Подпись: Е.Ч.).

[20] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1413. Отправлено из Казани 24 сентября 1893 г. (датировка почтового штемпеля).

[21] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1414. Недатированное письмо.

[22] Сокращенная цитата из недатированного письма (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1415). В заключительной части письма Панов сообщал: «...в разговоре Рейнгардт допустил следующие выражения, которые снова говорят за то, что нам в этом вертепе делать нечего: "вы не забывайте, мил[остивый] государь, что я, а не вы редактор, что я могу и имею право *все* статьи зачеркнуть и никто не должен мне указывать... Я редактор!! Вы хотите меня оттереть... Вы солидарны по своим убеждениям с Ильяшенко, — ступайте к нему и работайте"...».

[23] Приводим начальные строки этого письма (Кунгур, 8 декабря 1893 г.):

«Заведывающему беллетристическим отделом Волж[ского] Вестника Г-ну П. Перцову.

Милостивый Государь!

Сердечно благодарю за Ваше любезное письмо по поводу моих рассказов; Вы совершенно правы в том, что я не обдумывал темы и не старался о стройности изложения, — не потому что мне было лень или некогда, нет... Я боюсь, что кроме сочинительского зуда у меня нет ничего, что я не должен писать, потому что не имею дарования... Теперь я *работаю* над большим рассказом и, когда кончу, пришлю к Вам; тогда Вы увидите, могу я писать или нет» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1459). Далее — текст, приведенный Перцовым.

[24] Земские начальники (эта должность была учреждена законом от 12 июля 1889 г.) осуществляли административную власть над органами крестьянского общественного управления, а также исполняли функции мировых судей.

[25] В мемуарных очерках, объединенных в книге А.И. Иванчина-Писарева «Хождение в народ» (М.; Л., 1929), излагаемого эпизода нет.

[26] Подразумевается басня И.А. Крылова «Лягушки, просящие Царя» (Басни. Кн. 2-я. I).

[27] Упоминаются ежедневная газета «Нижегородский листок объявлений и справок», выходившая с 1893 г. (издатели-редакторы М.М. Милов, Н.И. Волков), еженедельная нижегородская газета «Волгарь», выходившая с 1892 г. (издатель-редактор Сергей Жуков), ежедневная газета «Саратовский дневник», выходившая с 1877 по 1907 г.

[28] Симбирск был переименован в 1924 г.

[29] Ежемесячный журнал «Отечественные записки», издававшийся в Петербурге с 1839 г. (с 1867 г. — Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, Г.З. Елисеевым), был запрещен в апреле 1884 г.

[30] Подразумевается умеренно либеральная Партия мирного обновления, сформированная в 1906 г. в ходе работы 1-й Государственной думы правыми кадетами, левыми октябристами и членами Партии демократических реформ. Неофициальным печатным органом мирнообновленцев была газета «Слово», в которой Перцов принимал ближайшее участие.

[31] М.Н. Катков редактировал газету «Московские ведомости» в 1851—1856 гг. и вновь с 1863 г. до своей кончины (1887), выступая из номера в номер с передовыми статьями.

[32] Газета-журнал «Гражданин» издавалась В.П. Мещерским в Петербурге (с разной периодичностью) в 1872—1877 и в 1883—1914 гг.; значительную часть содержания его номеров составляли публицистика и художественная проза самого Мещерского.

[33] Свод сведений о нем см. в статье Е.А. Рогалиной в кн.: Рус. писатели 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 268—269.

[34] Михайловский полемизирует с Червинским (П.Ч.), а также с К.Д. Кавелиным в «Записках профана» (1876); в разделе XX («Газета "Неделя", "мыслящие провинциалы", г. Кавелин и проч.») идет речь об «открытии необитаемых островов "Печевии", "Кавелинии" и всего архипелага "Неделии"» и на разные лады обыгрываются эти иронические неологизмы. См.: *Михайловский Н.К.* Соч. Т. 3. СПб., 1897. Стб. 749—750.

[35] Рассказ Е.Н. Чирикова «На антресолях (Из студенческой жизни)» был опубликован в «Волжском вестнике» 4 февраля 1892 г. Чириков выступал в этой газете регулярно: опубликовал цикл очерков «При газете (Из жизни провинциальных литераторов)» (1891. 18, 22, 25 августа), очерки «Под кровлею родительской» (1891. 26 ноября), «Жить не стоит (Письма и записки)» (1891. 30 ноября, 3 декабря), «Пропала собачка» (1891. 13, 14 декабря), «Инженер» (1890. 29 декабря) и т. д.

[36] В «Волжском вестнике» были опубликованы рассказы М. Горького «Месть» (1893. № 211, 212, 214 — с 18 по 24 августа), «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» (1893. 4 сентября), «Разговор по душе» (1893. 12 сентября), «Об одном поэте» (1894. 29 июня). При их публикации были сделаны цензурные изъятия (см.: *Колесникова Е.А.* К вопросу об истории ранних произведений М. Горького, опубликованных в «Волжском вестнике» в 1893 г. // Уч. зап. Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина. 1951. Т. CXI. Кн. 3. С. 77—96; *Бушканец Е.Г.* О подлинном тексте рассказа М. Горького «Об одном поэте» // Вопросы советской литературы. М.; Л., 1956. Т. III. С. 526—532). По газетному тексту Перцов перепечатал рассказ «Месть» со своим предисловием в журнале «30 дней» (1938. № 6. С. 15—21). О сотрудничестве в «Волжском вестнике» Горький вспоминает в очерке «В.Г. Короленко» (1923). См.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 240.

[37] Этот рассказ, опубликованный в «Волжском вестнике» со значительными цензурными купюрами, Горький дорабатывал, предполагая включить его в двухтомное издание «Очерков и рассказов» (СПб., 1899), и в дальнейшем; окончательная авторская редакция текста была установлена в 1922 г. при подготовке собрания сочинений для берлинского издательства «Kniga». См.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1968. Т. 1. С. 518–519 (примеч. Л.А. Евстигнеевой).

[38] Неточно цитируется песня Порока из аллегорического рассказа «Разговор по душе» (см.: Там же. С. 218).

[39] «поздняя романтика» (*нем.*).

[40] Шестаков закончил 2-ю казанскую гимназию (с золотой медалью) в 1887 г. и историко-филологический факультет Казанского университета в 1891 г. Отдельными изданиями вышли выполненные им переводы: «Героини» Овидия (Казань, 1902), «Аякс» Софокла (Варшава, 1910), «Лизистрата», «Бабья сходка» («Женщины в народном собрании»), «Лягушки» Аристофана (*Шестаков Д.* Три комедии Аристофана. Казань, 1914). Подробнее см. биографическую справку Л.К. Долгополова о Шестакове в кн.: Поэты 1880–1890-х годов. Л., 1972. С. 583–585, а также статью В. Молодякова «Последний ученик Фета» (Новый журнал. Нью-Йорк, 2000. Кн. 219. С. 93–99), включающую краткий биографический очерк о Шестакове, написанный Перцовым в мае 1939 г.

[41] Подразумевается полемика между радикально-демократическими журналами «Современник» и «Русское слово» по поводу романа Тургенева «Отцы и дети». М.А. Антонович в статье «Асмодей нашего времени» (Современник. 1862. № 3) охарактеризовал роман как пасквиль на молодое поколение и панегирик «отцам», Д.И. Писарев в статье «Базаров» (Рус. слово. 1862. № 3) расценил «Отцов и детей» принципиально иным образом, признав значительность и силу литературного типа Базарова; полемику с точкой зрения Антоновича содержит и статья Писарева «Реалисты» (под заглавием «Нерешенный вопрос» — в № 9–11 «Русского слова» за 1864 г.), вызвавшая ответные полемические выступления Антоновича – «Русскому слову» (Современник. 1865. № 1), «Лжереалисты (По поводу “Русского слова”)» (Там же. 1865. № 7) и т. д. Подробнее см. в статье Б.П. Козьмина «Раскол в нигилистах» в его кн. «Из истории революционной мысли в России» (М., 1961). Собственную позицию по затрагиваемому вопросу Перцов мимолетно обозначил в «Предисловии составителя» в кн. «О Тургеневе. Русская и иностранная критика» (Составил П.П. Перцов. М., 1918. С. 5): «Наша симпатия на минуту останавливается разве лишь на юном облике Писарева, когда со всей своей чудесной молодой горячностью он сражается с тяжеловесным и партийно расчетливым критиком “Современника”».

[42] Согласно университетскому уставу 1884 г. студенты и посторонние слушатели обязаны были соблюдать в университетских зданиях порядок, установленный правилами, которые утверждались министром народного просвещения

(см.: Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг. СПб., 1901. Стб. 185); правилами предписывались и те поведенческие нормы, о которых упоминает Перцов.

[43] неведомой областью (*лат.*).

[44] В статье «Нечто о живописи» — оговариваясь, правда: «Я — профан в живописи, т. е. я не имею никакого понятия о технических условиях живописи и об ее истории, о различных “школах”, их достоинствах и недостатках», — Перцов делился размышлениями по поводу художественной выставки, устроенной в Казани: «...когда я стал проверять свои впечатления, оказалось, что на первом месте в ряду этих впечатлений стоят именно наши отечественные Брюллов и Ярошенко <...> нет ничего удивительного, если мы — люди конца XIX столетия — больше симпатизируем нашим современным мошкам, чем богатырям XVI и XVII веков. <...> Я не то хочу сказать, что Крамской или г. Репин, как художники, выше Рафаэля или Мурильо. Меня интересует не этот специальный вопрос, а то впечатление, которое получает современный зритель, подходящий к картинам без всяких критических ухищрений, а просто — “с открытой душой” <...> я готов почтительно снять шляпу перед Рафаэлем и Микель Анджело, но когда мне говорят об их недосягаемом величии и о ничтожестве перед ними современных “рисовальщиков”, я всегда думаю: не странно ли, что вот в живописи, так же, как в природе, согласно перспективе, все близкие предметы кажутся нам больше далеких, каковы бы ни были их истинные размеры, а в исторической перспективе бывает как раз наоборот» (Волжский вестник. 1892. 23 января. Подпись: Посторонний).

[45] Сокращенная цитата; в автографе: «...сочинениями гг. Шелгуновых, Скабичевских и прочих генералов от либерализма» (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 4).

[46] Слова «все высокое и все прекрасное» произносит в комедии «Лес» (1871) Евгений Аполлоныч Милонов (действие 1-е, явление 4-е; действие 5-е, явление 8-е). См.: *Островский А.Н.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 6. С. 12, 89.

[47] Имеется в виду газета «Казанские губернские ведомости», издававшаяся с 1838 г.

[48] Подразумеваются слова Анны Власьевны, обращенные к Марье Ивановне Мироновой («Капитанская дочка», гл. XIV «Суд»): «Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете...» (*Пушкин.* Полн. собр. соч. [Л.], 1938. Т. 8. Кн. 1. С. 373).

[49] Последующий текст из газеты «Волжский вестник» (1891. 25 декабря) приводится во фрагментах.

[50] Романы К. Орловского (К.Ф. Головина) печатались в «Русском вестнике» на протяжении 1880-х гг.: «Вне колеи» — в 1882 г., «Дядюшка Михаил Петрович» — в 1886 г., «Молодежь» — в 1887—1889 гг.; там же была опубликована романная трилогия Вс. Крестовского: «Тьма египетская» — в 1888 г., «Тамара Бендавид» — в 1889—1890 гг., «Торжество Ваала» — в 1891 г.

[51] Штамп либерально-обличительной публицистики конца 1850-х гг. Н.А. Добролюбов писал в 1859 г. в статье «Литературные мелочи прошлого года»: «Несколько лет уже каждая статейка, претендующая на современное значение, непременно начинается у нас словами: “*В настоящее время, когда поднято столько общественных вопросов*” и т. д. <...>» (*Добролюбов Н.А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 50). Во многих своих статьях и заметках («Литературные мелочи прошлого года», «Стихотворения Михаила Розенгейма», «Новые образчики русской гласности» и др.) Добролюбов высмеивал этот оборот, что дало основание Н.А. Некрасову в поэме 1871 г. «Недавнее время» назвать его «бессмертной фразой» (*Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 3. С. 87).

[52] Цитируется фельетон «Идейный пустоцвет» (Волжский вестник. 1892. 19 апреля. Подпись: Посторонний), в котором прослеживается превращение современного «идейного пустоцвета» в «идейного пустозвона».

Глава II. Литературный Петербург в 1892—1893 гг.

[1] Поэма Мережковского «Вера» была впервые опубликована в журнале «Русская мысль» (1890. № 3, 4).

[2] Подразумевается критическая переоценка творчества Пушкина, предпринятая Д.И. Писаревым в двух статьях, объединенных под заглавием «Пушкин и Белинский» (1865).

[3] Приводим полностью это письмо по авторской копии Перцова (РГАЛИ. Ф. 327. Оп. 1. Ед. хр. 19):

Отправлено 15 июня 1890 г.

Милостивый Государь
Господин Мережковский!

Я не имею чести знать Вас лично, я не знаю даже имени и отчества Вашего, и мне, вероятно, никогда не придется встретиться с Вами, но я, тем не менее, решаюсь посредством письма выразить Вам чувство глубокого удивления к Вашему таланту, которое охватило меня, когда я прочел Вашу «Веру». — Я — человек, глубоко любящий всякую поэзию вообще, а русскую в особенности, я живо интересуюсь нашей литературой и, опять-таки, особенно нашей поэзией, и потому не удивительно, если Ваша поэма произвела на меня такое впечатление, что я решился написать Вам письмо, рискуя показаться Вам смешным.

Я принадлежу к тому самому поколению, ярких и типичных представителей которого изобразили Вы в Вашей поэме; оно, это самое поколение, уже давно ждало такого изображения, уже давно ждало, чтобы явился поэт, который понял бы его глубоко, со всеми его достоинствами и недостатками, и дал бы ему такие же цельные и прекрасные его портреты, какие прежние поколения находили для себя в «Евгении Онегине», «Герое нашего времени», «Рудине», «Отцах и детях»... И вот теперь, наконец, сбылись наши надежды и мечты — наше поколение имеет *свою* поэму и может, в ответ людям прошло-

го времени, указывающим на *их* поэмы, указать на *нашу* и сказать: «Мы имеем такого же художника, каких имели вы». Вот этим-то Вы и заслужили искреннюю благодарность всей нашей молодежи, и я смело скажу Вам от ее лица «честь Вам и слава!» и не боюсь явиться самозванным ее представителем, потому что я сам стою в ее рядах, и не могу думать и чувствовать иначе, чем она. И действительно, не раз случалось мне слышать сравнение Вашей поэмы с «Евгением Онегиным», сравнение, по-моему, вполне верное и наглядно показывающее, какое значение имеет для нас Ваше произведение.

И что́ еще особенно дорого нам в Вашей поэме, это — проникающая ее горячая любовь к свету и правде. Мы не можем относиться иначе, как с чувством глубокого уважения и сочувствия, к поэту, посылающему свой привет «всем, желающим блага отчизне», всем работающим на ее пользу и страдающим за нее. Позвольте же мне, «безвестному и далекому» Вашему другу, который, однако, принадлежит *к одной с Вами семье* и который гордится тем, что он — Ваш современник, позвольте ему, хотя посредством письма, пожать Вашу руку, ту руку, которая написала поэму, составляющую гордость и славу моего поколения.

Студент юридического факультета Казанского университета

Петр Перцов.

Г. Казань. 12 июня 1890 г.

[4] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1325. На конверте надпись: «*Казань.* В Университет. Студенту юридического факультета Петру Перцову». См. также: Письма Д.С. Мережковского к П.П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М.Ю. Кореневой // Рус. литература. 1991. № 2. С. 159.

[5] В этой статье («Новая поэма»), завершающейся процитированной фразой, Перцов подчеркивал, что «в новой поэме главный интерес представляют не хитросплетения сюжета, <...> а попытка изобразить типы современной молодежи, до сих пор, кажется, еще ни разу не подвергавшиеся поэтическому воспроизведению». Изложив сюжет и дав характеристику основных образов, Перцов коснулся и «внешних достоинств» поэмы: «Она написана очень гладкими и звучными стихами, все трудности формы <...> блистательно побеждены; самыми же лучшими, по нашему мнению, вышли те строки, где автор, делающий беспрестанно отступления <...> и рассуждающий о самых разнообразных вещах, задевает современные “злобы дня”. Эти отступления, делая поэму еще более интересной, составляют немаловажное ее достоинство» (Казанский биржевой листок. 1890. 24 мая. Подпись: П.П.). См. также обзор критических откликов на «Веру» в примечаниях К.А. Кумпан в кн.: *Мережковский Д.С.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 815—817. Газетная вырезка со статьей «Новая поэма» вклеена Перцовым в тетрадь под заглавием «Сборник статей. 1890—1900 гг.» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 221—230), к тексту сделано пояснение: «*Первая* моя *литературная* статья (*до нее* — заметки в хронике от 21 июля 1889 г. и корреспонденции от 10 апреля 1890 г.). *Начало постоянной* литер[атурной] работы» (Л. 229).

[6] Единственный брат А.С. Короленко, Василий Семенович Ивановский (1845—1911), земский врач и революционный пропагандист, не был капита-

ном парохода. Имеется в виду Николай Александрович Лошкарев (1855—1912), муж М.Г. Короленко (в замужестве Лошкаревой), сестры В.Г. Короленко, капитан парохода «Охотник». О жене Короленко, Авдотье (Евдокии) Семеновне Короленко (урожд. Ивановской; 1855—1940), см.: *Петропавловская Н.Д.* Как я люблю ее... Из жизни В.Г. Короленко. М., 2000. Оценку творчества Короленко Перцов дал в письме к отцу от 4 января 1893 г.: «Сам Кор[оленко] несомненно лучший после Чехова из современных беллетристов (большинство ставит его выше Чех[ова], но я наоборот)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 73).

[7] По свидетельству Н.Ф. Анненского, «Русское богатство» было сначала приобретено на имя Е.М. Гаршина (по «домашнему условию» его с Л.Е. Оболенским, бывшим владельцем журнала, от 7 января 1892 г.), позже (по «домашнему условию» от 8 ноября 1892 г.) издательское право на журнал перешло к Н.В. Михайловской, жене писателя Н.Г. Гарина-Михайловского (см.: *Юдина И.М.* Архив А.И. Иванчина-Писарева // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 6—7). Н.К. Михайловский стал неофициальным главным редактором «Русского богатства» с осени 1892 г.

[8] Повесть «Детство Тёмы. Из семейной хроники» была опубликована в № 1—3 «Русского богатства» за 1892 г.

[9] В «Обзоре журналов», говоря о 1-м номере «Русского богатства» за 1892 г., Перцов особо выделил рассказ «Детство Тёмы»: «Он написан очень тепло и художественно и, несмотря на трудность задачи заинтересовать читателя жизнью, тревогами и радостями восьмилетнего мальчика, задача эта вполне удалась автору» (Волжский вестник. 1892. 24 марта); он вновь вернулся к «Детству Тёмы» в очередном «Обзоре журналов», обозревая 2-й номер «Русского богатства»: «...г. Гарин показывает себя одновременно и знатоком детской психологии, и умелым повествователем. <...> Вообще, рассказ г. Гарина выгодно отличается от большей части современной беллетристической стряпни тем, что автор умеет придать ему не только психологический, но и общественный интерес» (Там же. 1892. 21 апреля). В том же «Обзоре журналов» Перцов останавливается на очерках Гарина «Несколько лет в деревне», начатых печатанием в мартовском номере «Русской мысли» за 1892 г.; это произведение, по мнению Перцова, «сразу заинтересовывает читателя замечательной живостью, а местами и драматичностью своего изложения. Очерк этот еще лишний раз подтверждает наше мнение о несомненном беллетристическом таланте г. Гарина».

[10] Повесть Гарина «Гимназисты. Из семейной хроники» была опубликована в «Русском богатстве» в 1893 г. (№ 1—4, 9, 11, 12).

[11] Первая книга Гарина «Очерки и рассказы» (СПб., 1893) вышла в свет в середине ноября 1892 г.

[12] Очерк «На ходу» был впервые опубликован в кн. «Путь-дорога: Научно-литературный сборник в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам» (СПб., 1893).

[13] См.: *Гарин-Михайловский Н.Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1957. Т. 3. С. 262.

[14] Очерки «Несколько лет в деревне» были впервые опубликованы в «Русской мысли» в 1892 г. (№ 3—6).

[15] 12 октября 1892 г. А.И. Иванчин-Писарев сообщал Короленко: «Гарин так поставил вопрос, что он вместе с своей женой решил пожертвовать всем своим состоянием для журнала, если издание попадет в условия, обещающие успех. Такими условиями он считает образование редакции из Ник[олая] Конст[антиновича Михайловского], Кривенки и меня — на должность распорядителя по хозяйственной части. Ник[олай] К[онстантинович] согласился, принял на себя редакторство, но с условием, что до нового года будет действовать под спудом, а там — судя по настроению Главного упр[авления] по делам печати» (*Юдина И.М.* Указ. соч. С. 9). Решившись участвовать в приобретении «Русского богатства», Гарин-Михайловский заложил свое имение; журнал был куплен на вырученные деньги (11 тысяч руб.). См. предисловие В.Я. Гречнева к публикации: *Гарин-Михайловский Н.Г.* Письма к Н.К. Михайловскому и А.И. Иванчину-Писареву // Лит. архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1960. Вып. 5. С. 9—12, а также: *Миронов Г.М.* Поэт нетерпеливого созидания. М., 1965. С. 71—84; *Юдина И.М.* Н.Г. Гарин-Михайловский: Жизнь и литературная деятельность. Л., 1969. С. 36—63.

[16] Гарин скончался от разрыва сердца в Петербурге 27 ноября 1906 г. на редакционном заседании социал-демократического (большевистского) журнала «Вестник жизни». См. воспоминания П.П. Румянцева «Памяти Н.Г. Михайловского-Гарина» (Юбилейный сборник инженеров путей сообщения выпуска 1878 года. СПб., 1913. С. 127—128; Н.Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1983. С. 106—107).

[17] Ср. сообщение в письме Н. Гарина к жене, Н.В. Михайловской, из Петербурга о ходе переустройства «Русского богатства» (цитируется в ее воспоминаниях): «Новая редакция составилась. Во главе Н.К. Михайловский, его помощник С.Н. Кривенко, хозяйственной частью заведует А.И. Иванчин и Лидия Валериановна К[острова]. По рецензии — молодой Перцов» (Н.Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. С. 88).

[18] В письмах Н.В. Рейнгардта к Н.К. Михайловскому, хранящихся в архиве Михайловского (ИРЛИ. Ф. 181. Оп. 1. Ед. хр. 586), эта тема не прослеживается. Ср. письмо Перцова к А.И. Иванчину-Писареву от 13 августа 1892 г. (из Казани в Петербург), затрагивающее ту же тему: «...я, так сказать, сжег мои казанские корабли, ибо сегодня Ник[олай] В[икторович] предлагал мне работать в Волж[ском] В[естнике] и я изъяснил ему мои мечтания. <...> Он попросил меня сообщить, почему я решаюсь уехать, я, разумеется, сказал (да ведь это и правда), что инициатива принадлежит исключительно мне и что Вы только обещали мне поддержку. <...> Итак, Ваше дело не дать мне погибнуть в цвете лет» (ИРЛИ. Ф. 114. Оп. 2. Ед. хр. 347).

[19] Перцов прибыл в Петербург 30 сентября 1892 г., в следующие два дня встречался с Н.К. Михайловским, Иванчиным-Писаревым и С.Н. Кривенко. Первые недели своего пребывания в Петербурге он подробно описывает в письмах к отцу, цитируемых в статье: *Петрова М.Г.* Мемуарная версия при свете архивных документов: (Чехов, Михайловский и другие) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. 65. № 2. С. 159—160.

[20] Подразумевается Петр Иванович Адуев, дядя главного героя романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847).

[21] Книготорговой и издательской фирмой Глазуновых, действовавшей в Москве и Петербурге, руководили несколько представителей этой семьи: Матвей Петрович Глазунов (1757—1830), Иван Петрович Глазунов (1762—1831), Илья Иванович Глазунов (1786—1849) и др. С 1890 г. петербургскую фирму Глазуновых возглавлял Илья Иванович Глазунов (1856—1913).

[22] Раздел «Новые книги», подписанный инициалами П.П. (Рус. богатство. 1892. № 11. Отд. II. С. 67—83), включал рецензии на следующие издания: *Мережковский Д.* Символы. СПб., 1892; *Аничкова И.* Повести и рассказы. СПб., 1892; *Микулич В.* Мимочка: Очерк (I. Мимочка — невеста. II. Мимочка на водах). СПб., 1892; *Харламов Я.А.* Из моря житейского (Очерки и рассказы). СПб., 1892; *Мантегацца Паоло.* Искусство жениться. Трактат об условиях счастливого брака в современном обществе. СПб., 1893; Две статьи о студенческой жизни в Дерпте. Изд. 2-е, значит. доп. СПб., 1892; Судебная практика кассационных департаментов правительствующего сената по гражданскому праву и судопроизводству за 1890 год / Сост. О. Лихтенштадт. СПб., 1892.

[23] Имение Гундуровка в Бугурусланском уезде Самарской губернии было приобретено Гариным и его женой в 1883 г.; см. подробнее в воспоминаниях Н.В. Михайловской (Н.Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. С. 68—78).

[24] Фамилия Перцова в перечне участников «Русского богатства» (с неправильным написанием: П. Перцев) была обозначена в № 11 и № 12 журнала за 1892 г. на 4-й странице обложки.

[25] Г.И. Успенский был перевезен из психиатрической лечебницы доктора Фрея в Петербурге в новгородскую Колмовскую больницу для душевнобольных 21 сентября 1892 г. (*Устимович П.М.* Палата Глеба Успенского в Колмовской психиатрической больнице в Новгороде // Глеб Успенский. М., 1939. (Летописи Гос. Литературного музея. Кн. 4). С. 612. См. также: *Зиновьев П.М.* Больной Успенский; Дневник доктора Б.Н. Синани // Там же. С. 481—607.

[26] О кратковременном знакомстве с А.Г. Горнфельдом, начатом «в Байдарах и Ялте, летом 1888 года», Перцов вспоминает в письме к нему от 21 февраля 1895 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

[27] О предложении Михайловского «приглядеться» друг к другу Горнфельд информировал Перцова в письме от 17 мая 1895 г. (ИМЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Ед. хр. 18). После этого Горнфельд стал в «Русском богатстве» одним из бли-

жайших сотрудников, в том числе одним из основных рецензентов (см.: Литературная критика и история литературы в журнале «Русское богатство» (1895—1918): Хронологический указатель анонимных рецензий с раскрытием авторства / Сост. М.Д. Эльзон // Лит. наследство. Т. 87. М., 1977. С. 656—691). С 1904 и до закрытия журнала в 1918 г. Горнфельд — член редакции «Русского богатства» и помощник В.Г. Короленко по отделу беллетристики и критики.

[28] Н.Ф. Анненский вошел в редакцию «Русского богатства» в конце 1894 г.

[29] Н.Ф. Анненский был избит казаками в ходе студенческой демонстрации на площади у Казанского собора в Петербурге 4 марта 1901 г. Об этом М. Горький написал в письме к А.П. Чехову (до 25 марта 1901 г.) (см.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997. Т. 2. С. 121) и в мемуарном очерке «Н.Ф. Анненский» (1927) (*Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1974. Т. 20. С. 72—73).

[30] К.М. Станюкович стал одним из редакторов «Русского богатства» в январе 1892 г.

[31] В декабрьском номере «Русского богатства» за 1892 г. Перцовым были написаны 7 рецензий (Отд. II. С. 28—41. Подпись: П. П.) — на упоминаемый ниже сборник статей Н.Г. Чернышевского, а также на книги: *Потапенко И.Н.* Повести и рассказы. Т. 5, 6. СПб., 1893; *Федоров С.* Ртищевы: Роман. СПб., 1892; *Щетинин Б.* Повести и рассказы. М., 1892; *Ермилов В.Е.* Великий артист-крестьянин Михаил Семенович Щепкин: Биографический очерк. М., 1892; *Хоцянов К.* Опыт разбора последнего произведения Островского «Не от мира сего». Псков, 1892; Помочь: Вологодский сборник в пользу пострадавших от неурожая. СПб., 1892.

[32] Речь идет об издании: Критические статьи: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. СПб., 1893. Перцов в рецензии на него писал: «Несколько месяцев назад вышли в свет отдельным изданием “Очерки гоголевского периода”, а теперь появляется сборник критических статей о различных явлениях русской литературы 40—50 годов, принадлежащий перу того же автора, занимающего столь видное место в нашей критической и публицистической литературе. Действительно, самого поверхностного ознакомления с только что вышедшим сборником достаточно, чтобы увидать огромные его достоинства <...> Замечательно ясный, свободный от всяких увлечений, пристрастный и предубежденный <...> взгляд на общественные отношения, непреклонная сила диалектики, невольно подчиняющая себе читателя не фейерверком легких и звонких фраз, а строго-логическим развитием мысли, наконец, блестящее остроумие — таковы достоинства, отличающие писателя, сочинения которого лежат теперь перед нами. Эти статьи написаны более тридцати лет назад, но, как все истинно прекрасное, они ничего не потеряли от времени <...> они по-прежнему увлекают нас своим блестящим изложением, силой своей логики, ясностью своего здравого взгляда» (Рус. богатство. 1892. № 12. Отд. II. С. 35). В письме к отцу от 4 января 1893 г. Перцов охарактеризовал

тон этой рецензии как «чрезмерно хвалебный» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 73).

[33] Имеется в виду десятитомное издание Сочинений А.И. Герцена, осуществленное в 1875—1879 гг. (Genève; Bale; Lyon: H. Georg, Libraire-éditeur).

[34] «Свежо предание, а верится с трудом» — фраза Чацкого из комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова (действие II, явление 2-е).

[35] Подразумеваются две обзорные рецензии на книги: *Захарьин (Якунин) И.Н.* Грезы и песни: Стихотворения. Изд. 3-е. СПб., 1893; *Ивин И.С.* Песни родины: Стихотворения (1877—1893). М., 1893; *Лейн А.* Стихотворения. Пермь, 1892 (Рус. богатство. 1893. № 3. Отд. II. С. 26—30); *Мордвин-Щодро А.О.* Стихотворения. М., 1893; *Ефимов А.* Метеор: Стихотворения. СПб., 1893; *Карский (Левин) М.Б.* Аккорды и звуки: Стихотворения. Одесса, 1890; *Сольский В.* Стихотворения. СПб., 1893 (Там же. № 6. Отд. II. С. 42—48).

[36] Имеется в виду статья Н.К. Михайловского из цикла «Письма о разных разностях» (Рус. ведомости. 1890. 18 апреля), позднее печатавшаяся под заглавием «Об отцах и детях и о г. Чехове»; предметом критического анализа в ней был сборник Чехова «Хмурые люди» (СПб., 1890), включавший и рассказ «Холодная кровь». «Нет, — писал Михайловский, — не “хмурых людей” надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве “холодную кровь”: г. Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает»; заключительные фразы статьи: «...читатель <...> ждет отклик на свои боли, а ему говорят: “Пойдем завтракать!” Или даже еще того хуже; вон быков везут, вон почта едет, колокольчики с бубенчиками пересмеиваются, вон человека задушили, вон шампанское пьют» (*Михайловский Н.К.* Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 600, 607).

[37] Имеется в виду неподписанная рецензия А.М. Скабичевского на сборник Чехова «Пестрые рассказы» (СПб., 1886), в которой обрисовывалась перспектива дальнейшего развития автора, приобщившегося к «цеху газетных клоунов»: «Кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь под забором <...> книга г. Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленною смертью газетного царства» (Северный вестник. 1886. № 6. Отд. II. С. 125—126). Сам Чехов поначалу полагал (в письме к Е.К. Сахаровой от 28 июля 1886 г.), что эту «самую ядовитую ругань написал Н. Михайловский» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1974. Т. 1. С. 253), но затем узнал подлинного автора; ср. слова Чехова, приводимые в мемуарном очерке М. Горького «А.П. Чехов» (1905): «...однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...» (*Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 6. С. 52), — а также в позднейших воспоминаниях Бунина «О Чехове»: «Мне один критик пророчил, что я умру под забором:

я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство» (*Бунин И.А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 186—187).

[38] Статья Перцова «Изъяны творчества (Повести и рассказы А. Чехова)» была напечатана в № 1 «Русского богатства» за 1893 г. (Отд. II. С. 39—71).

[39] Ранее Перцов давал высокую оценку творчеству Чехова в своих обзорах и рецензиях на страницах «Волжского вестника», особенно выделив повесть «Дуэль» — «прекрасное произведение» «замечательно даровитого писателя» (Литературный обзор // Волжский вестник. 1892. 1 января); подробный анализ типа личности, представленного Чеховым в образе Лаевского, героя «Дуэли», Перцов дал в статье «Еще об “идейных пустоцветах”» (Волжский вестник. 1892. 26 апреля. Подпись: Посторонний). См. также напечатанные в той же газете статьи Перцова «Герои отвлеченной морали» (1892. 16 января. Подпись: Посторонний) и «А. Чехов и его “Соседи”» (1892. 4 августа).

[40] «Литературные сочинения» С.В. Ковалевской (СПб., 1893) — первый сборник ее художественных произведений — были изданы М.М. Ковалевским. 20 марта 1893 г. Перцов сообщал отцу: «...мою статью о Ков[алевской] забраковали и после переделки. Я было впал в сомнение: уж не разочаровались ли во мне совсем? <...> Но оказалось, что этому придают чисто случайное, единичное, так сказать, значение. Н.К. говорил, что статья не годится потому, что в ней не видать ни Ковалевской, ни меня, т. е. моих взглядов, и объяснял это тем, что я небрежно прочел материал. Я же (про себя) думаю, что просто у меня не хватило пороха, да вдобавок тема была неинтересна (не самим выбрана) <...>. Сел я писать библиографию о Короленко (недавно вышла его 2-я книга), и она разрослась в статью (небольшую, страниц 18). Я снес Н.К. Он прочел и сказал, что она недурна, но о Короленко “хотелось бы чего-нибудь поярче”, причем начало ее носит слишком библиографический характер. Это все резонно, и потому я мечтаю теперь попробовать слепить о Короленко что-нибудь поосновательнее. Уж не знаю, удастся ли» (цит. по: *Петрова М.Г.* Указ. соч. С. 167).

[41] Повести, рассказы, очерки С.Д. Хвощинской печатались в 1857—1865 гг. в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения», «Иллюстрации», «Русском вестнике».

[42] Статью о Хвощинской написал не А.Г. Горнфельд, а другой критик. См.: *Демидов Н.* С.Д. Хвощинская (Ив. Весеньев). (Лит. справка) // Рус. богатство. 1899. № 2. Отд. I. С. 99—112. Судя по эпистолярным свидетельствам, Перцов все же написал заказанную ему статью («Забытый писатель»), но она, по-видимому, не была принята Михайловским (см.: *Петрова М.Г.* Указ. соч. С. 160—161).

[43] Подзаголовок 1-го номера журнала «Мир Божий», вышедшего в свет в декабре 1891 г.: «Литературный и научно-популярный журнал для юношества»; с октября 1893 г. — изменение в подзаголовке: «...для юношества и самообра-

зования»; с октября 1896 г. определение «для юношества» снято. См.: *Скворцова Л.А.* «Мир Божий» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М., 1981. С. 136—197; *Мыльцына И.В.* «Мир Божий» — журнал для юношества (первый год деятельности) // Из истории русской журналистики конца XIX — начала XX в. М., 1973. С. 155—183.

[44] А.И. Богданович находился в ссылке в Нижнем Новгороде (с 1883 г.), затем в Казани (с 1890 г.); в Петербург он переехал в 1893 г., где в течение почти года вел хронику внутренней жизни в «Русском богатстве», а с 1894 г. перешел в редакцию «Мира Божьего» как сотрудник критического и внутреннего отделов. С 1895 г. Богданович — член редакции «Мира Божьего», заведующий отделами беллетристики и критики. См. очерк Короленко «Ангел Иванович Богданович. Черты из личных воспоминаний» (1908) (*Короленко В.Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 8. С. 154—156).

[45] Сведениями об этом издании мы не располагаем.

[46] Подразумевается следующий фрагмент книги Георга Брандеса «Россия. Наблюдения и размышления. Литературные впечатления» (1888): «Одна известная баронесса вышла сначала замуж за молодого красивого человека, занимавшего хорошую должность, но затем бросила его, чтобы выйти за его начальника, старше ее на 30 лет. Во время этого брака она в течение нескольких лет разъезжала с австрийским графом и вернулась домой в Россию в то время, когда муж был связан своей должностью с Мадридом. В Петербурге у нее в доме живет молодой живописец, она ежедневно видится с одним молодым поэтом <...> Она находится в дружеских отношениях с разными молодыми людьми из радикального крыла либеральной партии, но еще в более интимных отношениях состоит она с полицеймейстером большого города, помощью которого она может добыть и действительно добывает множество помилований» (*Брандес Г.* Собр. соч. СПб. Б. г. Т. 19. С. 61, 62). Эти сведения Брандес получил в ходе своего посещения России весной 1887 г. (см.: *Шарыпкин Д.М.* Творчество Георга Брандеса по русским источникам и материалам // Русские источники для истории зарубежных литератур. Л., 1980. С. 184—232).

[47] От брака с Николаем Дмитриевичем Глинкой у баронессы Икскуль было трое детей: Григорий (1869 — ?), Иван (1870—1919) и Софья. Подробнее см.: *Бокова В.* Баронесса Икскуль // Лица: Биографич. альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 4. С. 95—123.

[48] Этот портрет был написан в 1889 г.

[49] В этих мемуарах баронесса Икскуль упомянута как «одна просвещенная дама из высшего круга». Подразумевается эпизод встречи Г.И. Успенского на устроенном ею обеде с московскими профессорами, в том числе с будущим сенатором Н.А. Зверевым (*Иванчин-Писарев А.И.* Хождение в народ. М.; Л., 1929. С. 368—370).

[50] Имеется в виду предназначавшаяся для юношества научно-популярная книга Водовозовой «Жизнь европейских народов: Географические рассказы» (Т. 1—3. СПб., 1875—1883), включавшая свод этнографических знаний.

[51] Фактическим руководителем и идеологом «Северного вестника» Волынский стал с декабря 1891 г.; с марта 1890 г. он вел в этом журнале постоянный раздел «Литературные заметки».

[52] Ресторан Жан-Пьера Кюба находился на Большой Морской ул., д. 18; «Мало-Ярославец» — на Большой Морской, д. 8; «Медведь» — на Большой Конюшенной ул., д. 27. Начало традиции проводить обеды петербургских литераторов в ресторане «Медведь» было положено в 1878 г. (см.: *Вейнберг П.И.* Литературные обеды // Исторический вестник. 1908. № 1. С. 177—185); «обеды беллетристов» в «Малом Ярославце» (позднее — в ресторане Донона) проводились по инициативе А.П. Чехова с 12 января 1893 г. по 27 января 1901 г. (см.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1979. Т. 16. С. 261, 516—518). «Никакой определенной партийной окраски у собравшихся не было: сходились, чтоб повидаться друг с другом, покалякать, вспомнить старину, поделиться последними новостями, помянуть непременно цензуру — и разойтись не позднее одиннадцатого часа. Организатора последующего обеда выбирали иногда баллотировкой, а иногда вручали бразды правления на целый ряд обедов одному избранному и усердно его просили не отказываться и заняться рассылкою повесток, составлением меню и пр. Одно время эти обеды процветали. Собиралось от двадцати до сорока человек. Завелся "альбом обедающих". В альбом этот заносился краткий протокол собрания, подписанный всеми участвующими, а затем вписывались экспромты, шутки, рисовались карикатуры и пр. <...> Обеды были очень скромны и никогда не превышали с вином пяти рублей» (*Гнедич П.П.* Книга жизни. Л., 1929. С. 192—193).

[53] Неточность: в указанный день отмечалось 25-летие литературной деятельности П.В. Засодимского (первая публикация писателя состоялась в 1867 г.).

[54] См. примеч. 41 к гл. I.

[55] Касаясь тех же обстоятельств в своих «Воспоминаниях» («VI. Из воспоминаний о Николае Алексеевиче Некрасове», 1903), Антонович признавал: «...наши сомнения и опасения относительно Некрасова не оправдались. Он и не думал перестраивать своей лиры на иной лад <...>»; «...я откровенно сознаюсь, что мы ошиблись относительно Некрасова: он не изменил себе и своему делу, но продолжал вести его горячо, энергично и успешно <...>» (Шестидесятые годы: *Антонович М.А.* Воспоминания; *Елисеев Г.З.* Воспоминания. М.; Л., 1933. С. 211, 213).

[56] Стихотворение Голенищева-Кутузова, написанное на смерть Фета, нам не известно; возможно, здесь подразумевается более раннее его стихотворение «А.А. Фету» («Словно голос листвы, словно лепет ручья...», 1887). См.: Сочинения графа А. Голенищева-Кутузова. СПб., 1914. Т. 1. С. 119; Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 252, 666 (примеч. Л.А. Николаевой).

[57] К.К. Случевский был главным редактором официальной газеты «Правительственный вестник» с 1891 по 1902 г.; с ноября 1902 г. — член Совета министра внутренних дел.

[58] Это стихотворение Случевского было впервые опубликовано в «Книжках Недели» в 1892 г. (№ 1. С. 187).

[59] Стихотворение «Ахмет на минарете (Татарский анекдот)» («Двадцать лет живу на свете...») опубликовано в кн.: *Величко В.Л.* Восточные мотивы: (Стихотворения). СПб., 1890. С. 9—10.

[60] В лирической драме А.Н. Майкова «Три смерти» (1851) — три основных персонажа: поэт Лукан, философ Сенека и эпикуреец Люций.

[61] По путевым впечатлениям от Испании были написаны книги В.И. Немировича-Данченко «Очерки Испании» (М., 1888) и «Край Марии Пречистой» (СПб., 1902).

[62] При письме к отцу от 21 ноября 1892 г. Перцов послал вырезку из газеты «Русская жизнь» с описанием юбилея Михайловского, добавив от себя почти дословно ту характеристику празднества, которая дается в тексте воспоминаний (см.: *Петрова М.Г.* Указ. соч. С. 163).

[63] А.С. Ермолов был назначен в 1893 г. министром земледелия и государственных имуществ, Н.В. Муравьев в 1894 г. — министром юстиции.

[64] противоречие в определении; логическая бессмыслица (*лат.*).

[65] Это стихотворение было опубликовано в «Книжках Недели» за подписью: П. П—в (1890. № 9. С. 398).

[66] Приводим текст этого письма (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1219):

21 авг[уста] 1890.

Милостивый Государь Петр Петрович,

Ваше стихотворение очень поэтично, но несколько растянуто. Я позволил себе сократить одну строфу (или, вернее, из двух сделать одну), и в таком виде оно появится в сентябрьской книжке. Жду дальнейших.

Готовый к услугам П. Гайдебуров

[67] В «Книжках Недели» были опубликованы стихотворения Перцова «На рассвете» (1892. № 6. С. 125. Подпись: П. П—в), «Он, полон жизни откровений...», «Синее небо и синее море...» (1893. № 10. С. 151), «Вопрос прозвучал без ответа...» (1893. № 11. С. 102), «Тихая ночь на земле...» (1895. № 2. С. 147).

[68] Стихотворение «Памяти А.А. Фета» («Певец весны — ее он не дождался...», 1892) Перцов включил в итоговый рукописный сборник своих стихов, ныне опубликованный в кн.: *Петрицкий В.А.* «Врезанные в память письмена...»: Каталог собрания рукописных материалов XIX—XX веков. Публикации. СПб., 1998. С. 180—227 (стихотворение — на с. 202). Далее ссылки на это издание даются в краткой форме: *Петрицкий* (с указанием страницы).

[69] Подразумевается заметка Н.К. Михайловского «Погиб поэтик» из его цикла «Дневник читателя» (Северный вестник. 1887. № 1. Отд. II. С. 179–181).

[70] Имеется в виду серия биографий «Жизнь замечательных людей», начатая изданием в 1889 г. При жизни Павленкова вышли в свет 191 книжка серии и 40 переизданий (см.: *Белов С.В., Толстяков А.П.* Русские издатели конца XIX — начала XX века. Л., 1976. С. 55—58).

[71] Эти лекции легли в основу одноименной книги Мережковского (СПб., 1893), вышедшей в свет в середине января 1893 г. и воспринятой как манифест «нового» искусства в России. С лекцией «О причинах упадка русской литературы» Мережковский выступал в Петербурге и ранее — 26 октября 1892 г. в Русском литературном обществе.

[72] В той же газете публикации статьи Жителя (А.А. Дьякова) предшествовала заметка о двух упоминаемых лекциях Мережковского, которые были аттестованы как «бессодержательная болтовня»: «...г. Мережковский ничего не объяснил, ничего не доказал, не дал слушателям ни одного ясного и надлежащим образом обоснованного вывода <...> г. Мережковский действительно декадент, человек вырождения и бессилия <...>» (*Петербуржец* [*В.С. Лялин*]. Маленькая хроника // Новое время. 1892. 16 декабря). А.А. Дьяков в своей статье, отказавшись анализировать выступления Мережковского по существу («О лекциях г. Мережковского нельзя даже говорить серьезно. Это бессвязный, младенческий лепет, бесцельное самоупоение декадента и символиста»), сделал обобщающие заявления: «...смелых и развязных в наше время развелось необыкновенное множество <...> они лезут всюду, а в литературу, как учреждение вымороченное и беззащитное, лезут с особенным удовольствием <...> и с ужасающей развязностью выступают на эстрадах, перед публикой, нисколько не смущаясь, что вся публика, внимающая их пустоголовой наглости, умнее их, образованнее их, и видит в них случайных дурачков, охотно выставляющихся на осмеяние, лишь бы знали, что в городе Петербурге такой-то дурачок благополучно проживает, и еще благополучнее прожекты свои сочиняет и некоторые сии соображения на суд слушателей представляет. <...> Если ничтожные поэтики, лично уязвленные мелкотой своих дарований, выступают публично мстителями личного ничтожества <...>, из этого еще нельзя заключить о правде их истерической болтливости, называемой лекциями. Если дурачки четверорукие карабкаются на публичные эстрады и не стыдятся ни своего дурачества, ни невежества, ни наивной дикости, и вместо головы выносят напоказ осколки Мамбринова шлема, медные тазы, то — волей-неволей — надо привыкать к таким явлениям, как привыкаешь к тюфяку из чистого конского волоса» и т. д. (*Житель*. Напрасные жалобы // Новое время. 1892. 20 декабря).

[73] В автографе письма от 18 декабря 1892 г.: «Мережк[овского] везде ругают, что и понятно — он не дал спуска критике и мелкой прессе. Только его

разговоры о символизме, о мистическом элементе, о боге и т. п. — точно несколько туманны и сбивчивы. Здесь многие считают его даже немного "тронутым", что навряд ли верно. Во всяком случае он, как новатор и оригинальный ум, заслуживал бы большего внимания и сочувствия. Но ему не могут простить его уклонения от ортодоксии. Наши свободомыслящие подчас оченьтаки не любят свободной мысли». Сообщая Д.П. Шестакову в том же письме о лекциях Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», Перцов добавлял: «По моим литературным отношениям мне не совсем удобно прямо идти к Мережковскому, но я расчитываю успеть в течение зимы столкнуться с ним где-либо. Общих знакомых у нас много. А он, кажется, человек понимающий, судя по его очень интересным лекциям о литературе и критике. Лекции эти не совсем ясны для меня, но все же в них было много дельного, напр[имер] о свободе творчества, о красоте как главном мериле произведений искусства, о близости истинной красоты и истинной свободы и т. п. — словом, много такого, что сидело в моем собственном мозгу. Он ругал узко-публицистическую критику, и я сочувственно внимал ему. Изложение этих лекций в "Нов[ом] времени" и других газетах прямо безобразное и балаганное» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89).

[74] 4 стихотворения Мережковского были опубликованы в «Отечественных записках» в № 11 за 1883 г. и в № 1 за 1884 г.

[75] Статья Мережковского «И.А. Гончаров» была опубликована в этом журнале в 1890 г. (Т. 8. № 10/12), статья «А.Н. Майков» — в 1891 г. (Т. 9. № 4); обе статьи вошли в книгу Мережковского «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы» (СПб., 1897).

[76] Автограф: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89. Для публикации Перцов предложил, как явствует из того же письма, свои стихотворения — «Устав от житейской заботы...», «Пусть беспощадная молва...», и два стихотворения Шестакова — «Я уходил, тревожный и печальный...» и «В полдень» («Зной томит и все поникло...»).

[77] Там же. О спорах с Михайловским, забраковавшим статью Перцова о русской критике (предназначавшуюся для «Русского богатства»), последний сообщает в письмах к отцу от 3—5 декабря 1892 г. и от 4 января 1893 г. (цитируемых М.Г. Петровой в упомянутой выше статье, с. 164).

[78] Речь идет о недатированном письме Перцова (около 1 декабря 1892 г.), содержащем отклик на кончину Фета (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89). Первая страница его текста заключена в траурную рамку, исполненную от руки; письмо начинается словами:

«Замолкли звуки дивных песен!
Не раздаваться им опять!

Каково, многоуважаемый Дмитрий Петрович? мог ли я ожидать, что окажусь таким дурным пророком? С удовольствием посадил бы теперь самому себе типун на язык.

Умер волшебник! Над свежей могилой
Стелется синего неба простор...

Впрочем, какой черт “синего” — теперь оно серо-грязно-буро-скверное. Самое подходящее для аллегорического изображения неба русской поэзии после смерти Фета. <...> Теперь все время нахожусь под впечатлением этого происшествия. Оно еще более усиливается нелепыми и дикими толками окружающих меня ныне господ литераторов, с которыми я спорил до расстройства нервов и порчи крови, пока не убедился, что со слепыми нельзя говорить о цветах. Но нет, меня все-таки до глубины души возмущает такое положение дел в литературе, что о высокоталантливом, даже лучшем в настоящий момент поэте нельзя сказать, что думаешь, или, если можно, то только в каких-нибудь литературных клоаках, вроде Русс[кого] вестника. Я, конечно, не мог удержаться и настрочил пламенный некролог, который должен был снести в “Неделю” (куда же иначе? тут по крайней мере порядочно). Но там сказали мне, что у них есть свой, да и вообще читать не стали <...> Вчера точно появился некролог или, точнее, хронолог, ибо только биогр[афические] данные, и те кратки. Вообще сухо и облезло. А мой был хорош, по совести». В том же письме к Шестакову Перцов приводит свое стихотворение «Памяти А.А. Фета». См.: *Петрицкий*. С. 202—203.

[79] Имеется в виду статья Мережковского «О “Преступлении и наказании” Достоевского. Критический этюд», опубликованная в журнале «Русское обозрение» (1890. № 3). О соотношении текстов упомянутых статей в составе книги Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893) с их первыми публикациями см.: *Кумпан К.А.* Д.С. Мережковский-поэт (У истоков «нового религиозного сознания») // Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 102—103.

[80] В оригинале письма Перцова к Д.П. Шестакову от 30 января 1893 г.: «На днях я с большим удовольствием прочел книгу Д.С. Мережковского “О современных течениях в рус[ской] лит[ературе]”, в которой многие страницы кажутся вырванными из моей записной книжки <...> это первая ласточка будущей весны» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89). В том же письме Перцов добавлял: «Во всяком случае Мережк[овский] одна из самых симпат[ичных] мне фигур в совр[еменной] лит[ературе]. Между тем здесь его считают кто сумасшедшим (буквально!), кто просто дураком. И это дажс сго друзья (будто бы). Вечная история новых идей!».

[81] Письма Л.В. Костровой к Перцову от 16 и 27 августа 1893 г., содержащие ее отклик на намерения Перцова, цитируются в указанной выше статье

М.Г. Петровой (с. 168). В первом письме, от 16 августа, Кострова заявляла: «Перчик! я огорчена Вашей изменой Петербургу! Если Вы думаете, что так лучше, — пусть будет по Вашему: сидите в своей Казани. <...> Только, как угодно, — это глупо. Да, глупо. <...> Ведь Вам все дороги расчищены, “ленивый раб”, зарывающий в землю талант. Делайте, как хотите, но вчуже досадно. <...> Николай Константинович ждал Вас (рецензии по беллетристике на исходе), но теперь, значит, поставит крест... Относительно его Вы не очень ладно поступили: чтó бы известить пораньше! А то теперь мы с беллетристикой остались без рецензента. <...> Вы, очевидно, тщеславны, как Цезарь: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. <...> Я желаю Вам и мир и любовь, но добровольно не променяла бы журнала на провинциальную газету. Какие там горизонты? Из репортера “петитом” в “репортеры корпусом”, из “отголосков” в “передовики”. А дальше что? <...> Я, знаете, подожду сообщать Николаю Константиновичу о Вашем решении: быть может, еще передумаете. <...> Заметьте, что отдел библиографии предполагается расширить на $^1/_2$ листа». В письме от 27 августа Кострова продолжила обсуждение той же темы: «Я хотела только одного: чтоб Вы обдумали свой шаг. Легче столковаться с умными “генералами”, чем с прыгающей во все стороны блохой, какую представляют из себя провинциальные газеты, где что ни день, то новый поп. Радуюсь, если условия в “В[олжском] В[естнике]” не таковы. Но сомневаюсь, чтоб там втихомолку не подсмеивались над Вами: “снова-де к нам пришел”. Меня только удивляет, как может молодой, способный, вооруженный, согласно требованиям времени, человек — отказываться от той чаши, к которой тщетно тянется столько рук» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 136).

[82] Перцов здесь сделал купюру; в автографе: «...мое возлюбленное детище ринулось в пропасть, и погибнет талант» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1302).

[83] В автографе — более пространная фраза: «Буду очень счастлив, если Вы вернетесь сюда, и буду всегда сожалеть о милом “Перчике”, если из журнала он окончательно сбежит в газету».

[84] Речь идет о статье Михайловского из цикла «Литература и жизнь» (Рус. богатство. 1895. № 6. Отд. II. С. 47—67), в которой «Письма о поэзии» (СПб., 1895) Перцова были охарактеризованы иронически-насмешливо («...книжечка <...> маленькая <...> и коготок у нее тупой <...> несмотря на тупость, очень задорный», «сумбур», «полная чаша вздора» и т. п.), в аналогичном ключе оценивалась и антология «Молодая поэзия».

[85] Имеется в виду книга: *Иванчин-Писарев А.И.* Из воспоминаний о «хождении в народ». СПб.: Изд. редакции журнала «Заветы», 1914.

[86] Книга Мережковского — «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Приводим с сокращениями это письмо (Петербург, 3 октября 1893 г.) по копии, сделанной Перцовым (РГАЛИ. Ф. 327. Оп. 1. Ед. хр. 19):

Дмитрий Сергеевич!

Не знаю, помните ли Вы того юного и увлекающегося студентика, который летом 1890 года прислал Вам из Казани «горячее» письмо по поводу Вашей «Веры»? Вы отвечали ему тогда письмом, которое он любит перечитывать и которое еще более увеличило ту незримую духовную связь, которая возникла тогда между Вами и Вашими «безвестными, далекими друзьями».

С тех пор прошло 3 года. Юный студентик успел обратиться в «юного литератора» — титул, который ему предстоит носить, вероятно, еще очень долго. Со времени Вашей «Веры» он сохраняет претензию быть не вполне чуждым Вам человеком, и поэтому продолжал с интересом следить за Вашей деятельностью. <...> В нояб[рьской] книжке «Рус[кого] бог[атства]» за 92 г. была помещена рецензия на Ваши «Символы», которая не могла произвести на Вас благоприятное впечатление, если Вы читали ее. Сам автор также недоволен *теперь* этой рецензией, и оттого он позволяет себе писать Вам, не стесняясь ее. В этой заметке не было ничего обидного ни для Вас лично, ни для Ваших убеждений — я нарочно перечитал ее, — ничего, чтó могло бы вырыть между нами непроходимую пропасть. Но она представляет типичный образчик миросозерцания и манеры того литературного круга, который принято понимать под именем 70[-нико]в. Это — характерная струйка «старого течения».

Когда я писал эту рецензию, я стоял, конечно, в рядах того круга, мой единственный вождь был Н.К. Мих[айловский] (если выбирать между современниками), я сотрудничал в «Р[усском] бог[атстве]» — этих «Отеч[ественных] зап[исках]» in spe, я сражался под знаменем тенденциозного искусства и утилитарных идеалов. Я и теперь не разорвал с этим кругом и с этим журналом, но тогда им принадлежала моя *вера* — теперь только мои *симпатии*.

В янв[арской] книжке «Рус[ского] бог[атства]» за нынешний год была помещена моя статейка о Чехове, озаглавленная «Изъяны творчества». Вы, вероятно, не читали ее, но если бы прочли, то увидали бы довольно странное шатание мысли — правая рука критика не знает, что делает левая. Но тогда моя шуйца все же была значительно длиннее десницы, и оттого ортодоксальные 70[-ни]ки хотя хмурились, но все же в общем одобряли меня. Теперь — я не знаю, чем бы я мог обрадовать их: я впал в ересь, и мой ересиарх — Вы.

Я не стал бы так долго занимать Вас моей особой и ее литературными похождениями, если бы Вы не играли в них, сами того не подозревая, такой крупной роли. <...> Я припоминаю все мое прошлое, весь мой идейный рост, и для меня совершенно ясно, что я в сущности шел одной и той же дорогой, и не моя вина, если путь к Вашим взглядам лежит через земли 70[-нико]в. Впрочем, мне кажется, Вы должны понять меня, Вы говорите в одном месте Ваших «новых течений» о «глубоком внутреннем переломе, хорошо знакомом людям 80-х годов». Мне сдается, что Вы сами пережили его — пережил его и я, хотя, вероятно, в более легкой форме, но ведь я — девятидесятник, и потом не все ли равно: у кого из двух была более тяжелая корь? — оба были больны одною болезнью и оба застрахованы от ее повторения. <...>

Даже тогда, когда я был 70[-ни]ком par excellence, еретическая струна всегда звучала в моем символе. Я был, пожалуй, униатом, но едва ли католиком. У меня есть одно хорошее средство против ортодоксии утилитаризма, талисман, который всегда охранял меня от увлечений тенденциозностью, Ариаднина нить, которая рано или поздно должна была вывести меня из лабиринта «старых течений». Этот амулет — мое эстетическое чувство. Вы не откажете мне в нем, когда узнаете, как высоко ставлю я искусство вооб-

ще и поэзию в особенности, как горячо я люблю моих лучших друзей и учителей — наших поэтов. Наконец, даже я сам (нынче совестно признаваться в этом) изредка перехожу от обыкновенной речи к речам с размером и рифмой (в октябре «Недели», который выйдет на днях, Вы найдете 2 образчика их). А Вы справедливо сказали, что Протопоповы не пишут элегий.

Я перечитываю мои старые наброски, отрывочные заметки, совсем «зеленые» статьи и статейки. И, перечитывая, я все яснее понимаю мое кровное родство с «новыми течениями», во-первых, и закономерность, историческую необходимость, полную своевременность этих течений, во-вторых. <...>

Я писал вам назидание в октябре 92 г., в декабре я слушал Ваши лекции, в январе 93 я прочел их в печати, и в то же время мне случайно попалась Ваша заметка об Афинах в «Нашем времени». Два последних впечатления были особенно сильны. Это был удар на Дамасской дороге, и вот я хочу быть Вашим Павлом, хотя бы in 32°.

Когда я прочел Вашу книгу, я сказал себе: «Это первая ласточка будущей весны». Зима еще в полном разгаре, но поэты* ведь первые угадывают весну <...> со страниц Вашей книги веет новым воздухом — воздухом будущей эпохи, грядущего столетия. Как непохожа Ваша книга на всю эту ежедневную, бесцветную газетно-журнальную болтовню, на все эти нами выученные «вокабулы», на догматы, пережившие веру. Вашу книгу «разнесли» чуть ли не везде и все. Что за беда? — история нашей литературы отметит ее. Уже самый шум, поднятый ею, ясно говорит, что она — не то, за что выдают ее ее критики. А шума и воплей следовало ожидать — когда же и какая же весна не встречает отчаянной обороны зимы?

В нашей современной литературе я нахожу лишь отрывками и изредка нечто сходное с Вашими идеями, нечто родственное «новым течениям». У Волынского попадаются отдельные места, напоминающие — не решусь сказать: аналогичные — Вашим статьям. Андреевский — чрезвычайно талантливый критик, — конечно, уже весьма близок к Вам. Я нахожу много родственного с Вами и у молодого критика «Недели» Меньшикова, к числу поклонников которого я принадлежу <...> Словом, зерна будущего есть повсюду — зерна *идеализма*. Еще больше их в обществе, в молодежи. Наряду с типичными представителями запоздалой писаревщины, с их культом нечищенных сапогов, — наряду с людьми, поверившими в Маркса, Чернышевского, Михайловского, Золя, Ницше, как они прежде *верили* (а не *веровали*) в пресловутую троицу и в Андрея Первозванного; наряду, наконец, с людьми беззаботными насчет идей — пробиваются, как трава из-под снега, новые всходы; тихо шумят первые струйки будущей реки; упорно и отважно работает молодая мысль. И пусть шумит и злится зимняя вьюга — будущее наше!

Самым лучшим, самым успокоительным признаком, оправдывающим это упование, служит тот факт, что «новое течение» захватывает самые сильные, самые оригинальные и самостоятельные, «живые» элементы молодежи. <...> Как римляне времен падения, грустно стоит теперь молодежь среди пантеона прежних богов, ища нового, еще неведомого бога. И, как тогда, этот бог, еще не сознанный разумом, уже предчувствуется сердцем. Догматы новой религии носятся в воздухе. Признание законности и необходимости стремления за пределы земной жизни и земных интересов; идеализм вместо реализма в искусстве; дополнение общественного прогресса прогрессом личности — таковы намечающиеся пока пункты нового миросозерцания, новой программы.

Нас зовут «декадентами», «символистами», «мистиками» и как еще? Не все ли равно? <...> Мы — «мистики»? Прекрасно, но тем не менее «в пределе земном» не кончает-

*Вы разрешаете мне эту нескромность?

ся все земное, но тем не менее «не о хлебе едином жив будет человек»; мы — «декаденты»? — прекрасно, но тем не менее искусство только *может*, но не *должно* быть тенденциозным, но тем не менее Шекспир не только выше, но и полезнее сапогов; мы — «символисты»? — прекрасно, но тем не менее цель искусства не только показать человеку, чтó он такое *есть*, но и указать ему, чем он *должен* быть, дать ему не только знание, но и веру, призывать его не к справедливости только, но и к любви*. Вечные вопросы, вечные задачи, жизнь, взятая во всей ее цельности, а не только в том или другом частном ее проявлении — вот над чем бьется разум. «Вражда к тому, чтó есть» и «жажда жгучая святынь, которых нет» и которых, быть может, и не может быть, — вот чем живет наше сердце. Нет, мы не годимся для «трезвого», спокойного, уверенного «правоверного утилитаризма». В нас нет их прямолинейной самоуверенности, их ясной последовательности... но не есть ли их мнимая сила признак их слабости? — ведь все ограниченное спокойно и уверенно; ум, не знающий, не желающий знать бездн сомнения, жизненных загадок, может идти бесстрашным шагом к непогрешимым целям — и не потому ли так ясен взор утилитаристов, что он многого не видит? <...>

И вот этим письмом мне хотелось сказать Вам, что не одно упрямое непонимание встретила Ваша книга, что в обществе и в литературе есть люди, которые мало того, что сочувствуют Вам, но видят в Вашей книге одну из предвестниц новой эры, яркое и полное жизни явление. Мне хотелось, наконец, поблагодарить Вас лично от себя за то, что Вы Вашей книгой сразу направили меня на настоящую дорогу, сразу разметали передо мной туман, застилавший для меня даль будущего нашей литературы, и заставили меня серьезно обдумать и проверить весь круг моих убеждений.

Понятно само собою, что мне уже давно хотелось сделать лично то, чтó я делаю теперь письменно. Всю прошлую зиму я прожил в Петерб[урге], работая в «Русс[ком] бог[атстве]». У нас с Вами довольно много общих знакомых, но тем не менее нам не пришлось встретиться. Я просил Ф.А. Червинского, с которым я мельком познакомился в прошлом январе, познакомить меня с Вами. Он обещал, но затем я потерял его из виду. Весной я уехал обратно в Казань (я — коренной казанец), там осенью я принял место помощника редактора в местной газете «Волж[ский] вест[ник]». Сюда я приехал временно и за разными делами только теперь перед отъездом удосужился написать Вам. Я уезжаю в эту субботу, и, таким образом, наше личное знакомство, вероятно, опять не состоится. Если Вы вздумаете писать мне, то вот мой петербургский адрес — Пушкинская, отель «Пале-Рояль», и казанский — редакция «Волж[ского] в[естника]». Зовут меня Петр Петрович.

Когда я начал писать Вам, я колебался — имею ли я на это право? Но мне дала ответ всё Ваша же книга. «Литература своего рода церковь», – говорите Вы, церковь, в которой верующие должны быть собраны «единодушно вместе». Вот я и иду к Вам, чтобы сказать, что мы молимся одному Богу.

Крепко жму Вашу руку и остаюсь весь Ваш

Петр Перцов.

[87] Цитата из письма от 7 октября 1893 г., в котором Мережковский приглашал Перцова к себе на следующий день (см.: Письма Д.С. Мережковского к

*Может быть, единственный крупный недостаток Вашей книги заключается в том, что Вы употребили старые слова для новых понятий (напр[имер], «мистицизм»), влили новое вино в старые меха. Как Вы забыли, что у нас слова значат гораздо больше понятий?

П.П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М.Ю. Кореневой // Рус. литература. 1991. № 2. С. 159).

[88] Упоминаемая статья начинается словами: «На днях (21 ноября) прошла первая годовщина со дня смерти одного из крупнейших наших поэтов — Фета. Нельзя сказать, чтобы покойник, особенно при жизни, был оценен в меру своего достоинства. Долгое время его даже начисто “отрицали”» — и т. д. (*Перцов П.* Письма о поэзии (Письмо первое) // Волжский вестник. 1893. 30 ноября).

[89] Статья Перцова «Мысли вслух. О г. Скабичевском и его юбилее» была опубликована в «Волжском вестнике» 8 апреля 1894 г. Подразумевается широко обсуждавшийся в печати инцидент на юбилейном торжестве по случаю 35-летия литературной деятельности А.М. Скабичевского (24 марта 1894 г.): к участию в торжественном обеде не был допущен А.Л. Волынский — как автор статей, переоценивающих эстетическое наследие Белинского, Добролюбова и других «властителей дум» радикальной интеллигенции. В своей статье Перцов, дав весьма прохладную оценку литературной деятельности юбиляра («В его статьях нет и не было широких точек зрения, крупных обобщений <...> г. Скабичевский, подобно большинству критиков его времени, делал из литературных явлений лишь орудия для проведения и защиты взглядов своей фракции <...> когда же литературные явления представляли мотивы “из другой оперы”, чем та, в которой пел лирическим баритоном г. Скабичевский, вместо статей получалась печатная бумага, годная только к засорению читательских умов»), сосредоточил основное внимание на инциденте с Волынским: «Литературная партийность и односторонность роковым образом отразились и на праздновании юбилея г. Скабичевского, хотя — хочется думать — против воли всегда искреннего и добросовестного писателя. Этим праздником воспользовались, чтобы свести личные счеты некоторых участников с критиком *Северного Вестника*, А.Л. Волынским, что и было сделано в самой грубой и неприличной форме». Приведя цитату из «Новостей дня» с описанием происшедшего (на юбилейном обеде Волынскому было заявлено, что для него нет и «не может быть прибора»), Перцов продолжал: «Нельзя читать это грустное известие и совершенно справедливый его комментарий без чувства стыда за представителей нашей литературы и негодования на лицемеров, громче всех кричащих в обычное время о падении литературных нравов. Но такого “падения”, такого смешения интересов литературы с интересами своего мелкого самолюбия мы, признаться, даже не запомним. Каков бы ни был г. Волынский по искреннему или не искреннему мнению господ устроителей обеда, но он — литератор и, как таковой, имел право участвовать на празднике литературы. “Он не принадлежит к одному лагерю с г. Скабичевским”? — Но тем более значения имело с литературной точки зрения его присутствие и приветствие: признание противника имеет гораздо больше веса, чем все хвалебные речи союзников. Но мы

привыкли пробавляться приятельскими похвалами, и всякий голос со стороны нам кажется только дерзким проявлением самочиния и строптивости. Европейского уважения к чужому мнению, истинной свободы мысли равно не найдешь ни в нашей полемике, ни в нашем поведении <...> бульварные *Новости Дня* могли с полным правом прочитать урок терпимости и приличия “вершинам” русского свободомыслия».

Глава III. Три поэта

[1] Аберрация памяти Перцова; подразумеваемое им высказывание Тургенева относится к поэзии Тютчева — однако сформулировано оно в письме к А.А. Фету от 27 декабря 1858 г., впервые опубликованном в книге Фета «Мои воспоминания. 1848—1889» (Ч. I. М., 1890. С. 283): «...о Тютчеве *не* спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии <...>» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 356). Та же характеристика применительно к Фету — в словах героини незавершенного романа Н.Г. Чернышевского «Повести в повести» (1863): «г. Фет <...> после одного из нынешних наших поэтов, он даровитейший из нынешних наших лирических поэтов. <...> Кто не любит его, тот не имеет поэтического чувства» (*Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 12. С. 695).

[2] Ср. суждение Перцова о Тургеневе в первом из «Писем о поэзии»: «...он же говаривал: “нет Фета, кроме Фета”, признавая себя его “пророком”» (*Перцов П.* Письма о поэзии. СПб., 1895. С. 16). Возможно, что эта зафиксированная в устной традиции формулировка восходит к фразе из письма Тургенева к Фету (в связи с полученным им высочайшим дозволением носить дворянскую фамилию Шеншин): «Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1965. Т. 10. С. 339).

[3] Имеется в виду издание: Стихотворения А.А. Фета. 2 части. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1863. «Вечерние огни: Собрание неизданных стихотворений» А. Фета были выпущены в 4-х частях, 1-й выпуск — М., 1883.

[4] Д.Д. Минаев пародировал Фета во множестве стихотворений, в том числе в циклах «Лирические песни с гражданским отливом» и «Лирические песни без гражданского отлива» (1863). См.: Поэты «Искры». Л., 1955. Т. 2. С. 128—135, 906—907 (примеч. И. Ямпольского); Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. С. 505—514, 784—787 (примеч. А.А. Морозова).

[5] поэтическая вольность (*лат.*).

[6] времена (*лат.*).

[7] измениться (*лат.*).

[8] При рождении Фет был усыновлен А.Н. Шеншиным (который увез в 1820 г. из Германии его мать, Каролину Шарлотту Фёт), но, поскольку настоящим отцом был немецкий чиновник Иоганн Фёт, Орловская духовная консистория в 1835 г. отлучила будущего поэта от рода Шеншиных и лишила этой фамилии. Фет приложил изрядные усилия к тому, чтобы восстановить свою принадлежность к дворянской фамилии Шеншиных, и добился этого в 1873 г.: по разрешению Александра II стал Шеншиным. См.: *Григорович А.* К биографии А.А. Фета (Шеншина) // Рус. старина. 1904. № 1. С. 165—168; *Федúна В.С.* А.А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915. С. 31—46. См. также новейшие работы: *Кожинов В.* О тайнах происхождения Афанасия Фета // Проблемы изучения жизни и творчества А.А. Фета. Курск, 1993. С. 322—328; *Кошелев В.А.* «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 10—12.

[9] См.: Северные цветы на 1901 год. М., 1901. С. 144—145.

[10] См.: *Петрицкий.* С. 209—210.

[11] В окончательной редакции стихотворения «Да, это — он, не может быть сомненья!..» (1890) отмеченного Фетом слова нет. См.: *Петрицкий.* С. 182—183.

[12] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1470.

[13] Автограф: Там же. Ед. хр. 1471.

[14] Первая строка стихотворения Фета (1864?).

[15] См.: *Петрицкий.* С. 213.

[16] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1472.

[17] Особняк в Москве на Плющихе (бывший дом Карауловых) был куплен Фетом осенью 1881 г., имение Воробьевка (в Щигровском уезде Курской губернии) со старой усадьбой и парком было приобретено осенью 1877 г.

[18] Фет скончался 21 ноября 1892 г. от инфаркта. Годы спустя появились заметка П.И. Бартенева «Из записной книжки издателя “Русского архива”. (Об А.А. Фете и его кончине)» (Рус. архив. 1909. № 1. С. 169—170) и статья Б.А. Садовского «Кончина А.А. Фета (По неизданным источникам)» (Исторический вестник. 1915. Апрель. С. 147—156), обнародовавшие документы, согласно которым естественной смерти предшествовала попытка самоубийства. См.: *Федúна В.С.* Указ. соч. С. 47—53; *Блок Г.П.* Летопись жизни А.А. Фета / Публ. Б.Я. Бухштаба // А.А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985. С. 182.

[19] Имеется в виду глава «Гуси с гусенятами» из публицистического цикла Фета «Из деревни», напечатанного в «Русском вестнике» в 1863 г. (№ 1, 3): в ней Фет рассказывал о крестьянских гусях, пойманных им на своем поле; хотя гуси не успели причинить его посевам никакого вреда, Фет взыскал с их владельца штраф. Эта история послужила сюжетной основой для пародийного цикла Минаева «Лирические песни с гражданским отливом (Посвящ[ается] А. Фету)»

(см. выше, примеч. 4). «Гусиная» история критически интерпретировалась Минаевым также в статье «Лирическое худосочие», вместе с ним «крепостнические» убеждения Фета изобличали Салтыков-Щедрин, Писарев, Варфоломей Зайцев (см.: *Кошелев В.А.* «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 43—47).

[20] Некрологические статьи и заметки на смерть Фета, как учтенные в библиографическом перечне в упомянутой выше книге В.С. Федины (с. 17—18), так и не отмеченные в нем (Всемирная иллюстрация. 1892. № 1245. С. 430—431; *Дебютант* [*Г.Н. Жулев*]. Трели соловья // Петербургская газета. 1892. 24 ноября), утверждений, подобных тем, которые приводит Перцов, однако, не содержат. Возможно, мемуарист припомнил неприязненный анонимный некролог, напечатанный в газете «Русская жизнь» (1892. 24 ноября), в котором, в частности, отмечалось, что Фет «безыдейность и бессодержательность творчества возводил в идеал». Даже в том случае, если подобные высказывания наличествуют в некрологах, не замеченных библиографами, приходится констатировать, что слова Перцова о массовидности указываемых оценок и характеристик не соответствуют действительности.

[21] Пост управляющего Государственным Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками Голенищев-Кутузов занял в 1889 г.

[22] Статья Вл. Соловьева «Буддийское настроение в поэзии», представляющая собой отклик на «Сочинения» Голенищева-Кутузова в двух томах (СПб., 1894), была опубликована в «Вестнике Европы» в 1894 г. (№ 5, 6).

[23] Диссертация Вл. Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» была выпущена в свет отдельным изданием (М., 1874) и защищена в Петербургском университете 24 ноября 1874 г.

[24] Визиту предшествовало следующее письмо Перцова к Майкову (ИРЛИ. № 16890):

Милостивый Государь
Аполлон Николаевич!

Позвольте обратиться к Вам с небольшой просьбой, удовлетворение которой зависит вполне от Вашего расположения. Один мой добрый знакомый «молодой поэт», Д.П. Шестаков, просит меня — ввиду моего, хотя и весьма поверхностного, знакомства с Вами — представить на Ваш суд несколько его стихотворений. По понятной причине я не решаюсь не исполнить его желания, но, опасаясь, что Вам уже прискучили опыты новейших талантов (между которыми, впрочем, Д.П. Шестаков составляет, насколько подсказывает мне мой вкус, редкое исключение), – я возымел намерение спросить у Вас разрешение письменным путем. Если Вам нежелательно новое поэтическое знакомство, то оставьте письмо это без ответа; буде же Вы ничего не имеете против доставления Вам плодов творчества моего приятеля, то не оставьте уведомить меня, когда и каким образом я могу их Вам вручить (знакомый мой живет постоянно в провинции).

Остаюсь готовый к услугам Вашим

П. Перцов.

Адрес мой: Пушкинская, гостиница «Пале-рояль», № 78; Петру Петровичу Перцову.
1897 г. 15 января.

[25] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1317.

[26] Заключительные строки стихотворения «Гр. А.А. Голенищеву-Кутузову» («Стихов мне дайте, граф, стихов...»). См.: *Майков А.Н.* Избранные произведения. Л., 1977. С. 203.

[27] Майков жил на Садовой улице в доме Адама, напротив Юсупова сада (современный адрес: Садовая ул., 51).

[28] Начальные строки стихотворения (1867), заключительного в цикле «Дочери» (*Майков А.Н.* Полн. собр. соч. Изд. 7-е. СПб., 1901. Т. 1. С. 288). Написано на смерть дочери Веры (1855—1866).

[29] Цитируются начальные и заключительные строки стихотворения «Старик» (1884). См.: *Полонский Я.П.* Стихотворения. Л., 1954. С. 369.

[30] О «пятницах» Я.П. Полонского, проходивших с 1870-х гг., на которых бывали Д.В. Григорович, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, А.Н. Майков, К.К. Случевский, Вл.С. Соловьев, Н.Н. Страхов, И.С. Тургенев, из более молодых литераторов — В.М. Гаршин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский и др., см.: *Смиренский В.* «Пятницы» Полонского // Прометей. 1972. Т. 9. С. 303—305; Дон. 1993. № 7. С. 205—209; *Опочинин Е.Н.* Яков Петрович Полонский и его пятницы // Среди великих. М., 2001. С. 319—334. О возникшем после смерти Полонского и просуществовавшем до 1917 г. Литературно-художественном кружке им. Я.П. Полонского, в котором проходили художественно-литературные вечера, а также зачитывались доклады по литературе, искусству, философии, см.: Устав Литературно-художественного кружка им. Я.П. Полонского. СПб., 1909; Список действительных членов и постоянных гостей кружка им. Я.П. Полонского. СПб., 1913, а также выходивший ежегодно в 1901—1909 гг. «Отчет Совета Литературно-художественного кружка им. Я.П. Полонского».

[31] «Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы» (1859) — поэма Полонского. Автографы 6 стихотворений Перцова сопровождались следующим его письмом к Полонскому (ИРЛИ. № 12333):

Г. Казань. 10 апреля 1891 г.

Милостивый Государь Яков Петрович!

Не имея чести знать Вас лично и не имея также ни малейшего права беспокоить Вас своим письмом, я тем не менее позволяю себе обратиться к Вам за дорогим для меня Вашим советом. Принадлежа к бесчисленной плеяде современных стихокропателей, я, подобно всем «начинающим», естественно очень и очень часто задаю себе вопрос, есть ли в моих стихах хотя искра поэзии или, говоря другими словами, стоит ли мне продолжать писать или это — лишь бесполезное маранье бумаги, которое следует бросить, чем скорее — тем лучше. Какие бы ответы ни давал я себе на этот вопрос, все они, вследствие своей субъективности, естественно не могут удовлетворить меня, и мне ничего не



остается, как обратиться с моим вопросом туда, где его могут разрешить. Хотя, быть может, я и должен бы видеть ответ себе в том месте Вашего «Разговора», где Вы говорите, что настоящий поэт не станет спрашивать, есть ли у него талант, как «орел не спросит у кукушки, орел он или воробей», но я осмеливаюсь думать, что эти слова не вполне приложимы ко мне, ибо, во-первых, я и не претендую попасть в «орлы», а, во-вторых, я спрашиваю советы не у «кукушки». Но, во всяком случае, каков бы ни был Ваш приговор, я прошу Вас сказать мне одну чистую правду, хотя бы она была очень неприятна для меня.

Извините, пожалуйста, мое, быть может слишком смелое, обращение к Вам.

Остаюсь глубоко уважающий Вас, студент Казанского Университета Петр Перцов.

Адрес мой: Г. Казань. Рыбная площадь. Свой дом. Петру Петровичу Перцову.

В архиве Перцова сохранился черновик этого письма (ИМЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Ед. хр. 7).

[32] Цитаты из стихотворений «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829) Пушкина и «И скучно и грустно» (1840) Лермонтова.

[33] См.: *Петрицкий.* С. 195. Помимо выделенных Полонским, Перцов выслал ему стихотворения «Да, это — он, не может быть сомненья...», «Южанка» («За промерзшим окном серебристым столбом...»), «Русская песня» («Тихие, грустные звуки...») и «Немой тоской душа моя объята...».

[34] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1422.

[35] Имеется в виду статья «Стихотворения Мея» (Рус. слово. 1859. № 1. Отд. II. С. 66—81).

[36] Заключительная строфа стихотворения Фета «С солнцем склоняясь за темную землю...» (1887).

[37] По получении приведенного выше письма Полонского Перцов отправил ему еще одно письмо (от 22 апреля 1891 г.) с автографами трех стихотворений («Не мани ты меня взором полным огня...», «Ты рвешься на вольную волю...», «Пусть беспощадная молва...»): «Позвольте от всего сердца сказать Вам самое горячее спасибо за тот приветливый прием, который нашли у Вас мои желторотые стихотворные птенцы. Вчерашний день, когда я получил Ваше письмо, навсегда останется в моей памяти, как один из лучших дней моей жизни, и воспоминание о нем будет тем более дорого для меня, что оно связано с именем поэта, уже давно горячо любимого и уважаемого мною. Относительно моих стихотворений я и сам думал, что им не хватает именно оригинальности. Искренно благодарю Вас за пожелание, чтобы она явилась, но, увы! боюсь, что оно не сбудется» (ИРЛИ. № 12333). Благодаря далее Полонского за предложение рекомендовать его стихотворение в столичные журналы, Перцов оговаривал: «...я, конечно, в случае возможности пройти туда, предпочел бы именно “Неделю”, из остальных же журналов — в “Русском вестнике” и подобных ему я не считаю возможным сотрудничать».

[38] Цитата из стихотворения Полонского «Выжатые лимоны» («На дворе зима лихая...»), опубликованного в «Книжках Недели» (1895. № 2. С. 35—38).

[39] Надсон был удостоен половинной Пушкинской премии в 1886 г. за сборник «Стихотворения» (СПб., 1885); тогда же половинную премию получили С.А. Юрьев за перевод «Макбета» Шекспира (М., 1884) и Н.П. Семенов за книгу стихотворных переводов «Из Мицкевича» (СПб., 1883). Полонский входил в комиссию, выносившую решение, наряду с В.П. Гаевским, А.Д. Галаховым и Н.Н. Страховым (см.: Отчет о третьем присуждении Пушкинских премий в 1886 году // Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. 1887. Т. 41. № 1. С. 1—92).

[40] В воспоминаниях «Благоухание седин» З. Гиппиус, часто посещавшая «пятницы» Полонского, утверждала, напротив, что к ней он «проявил сразу большое благоволенье. Часто усаживал около себя» и долго беседовал с ней (*Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 376).

[41] «Русские символисты» — три коллективных сборника (1894—1895), составленные Брюсовым и заполненные в значительной части его собственными стихами (за его подписью и под различными псевдонимами).

[42] См.: *Полонский Я.П.* Собаки: Юмористическая поэма. СПб., 1892.

[43] Бюст Пушкина работы Ж.А. Полонской для памятника в Одессе был отлит из бронзы в 1888 г.; памятник Пушкину на Николаевском бульваре в Одессе открыт 16 апреля 1889 г. См.: *Фонякова Н.Н.* Скульптор Ж.А. Полонская // Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. Л., 1967. Т. III. С. 279—292.

[44] Строфа из стихотворения «Вечерний звон» («Вечерний звон... не жди рассвета...», 1890). См.: *Полонский Я.П.* Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 256.

[45] См.: *Петрицкий.* С. 203—206.

[46] Подразумевается стихотворение Перцова «Теплым чувством и светлым умом ты богата...» (1890). См.: *Петрицкий.* С. 196.

[47] См. статью «Я.П. Полонский» в кн.: Философские течения русской поэзии / Сост. П. Перцов. СПб., 1896. С. 281—303.

[48] Работа Ю. Николаева (Ю.Н. Говорухи-Отрока) «Поэзия Полонского» была опубликована в «Московских ведомостях» в 1896 г. (8, 15, 18, 22, 25, 29 февраля, 3, 7, 10, 14, 17, 18, 21 марта).

[49] Имеются в виду «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого» (СПб., 1896).

[50] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1423. Перцов ответил Полонскому следующим письмом (ИРЛИ. № 12333):

СПб. Пушкинская, «Пале-рояль», № 30.
19 марта 1896 г.

Многоуважаемый Яков Петрович!

Весьма благодарен Вам за сочувственный отзыв о моей книге, тем более лестный, что он исходит от столь авторитетного и компетентного судьи. Надеюсь, что если не о

Вашей, то об остальных характеристиках Вы не откажетесь сообщить мне по прочтении более подробно Ваше впечатление.

Я недаром называю Вашу поэзию в моей статье «загадочной» — на мой, по крайней мере, взгляд, ей еще не найдено полного разъяснения в нашей критике. В статьях Николаева, за которыми я постоянно слежу, есть много очень меткого и оригинального, но вообще они так бессистемны и отрывочны, что не дают законченного впечатления. Повидимому, они писаны накануне своего напечатания и слишком сбиваются на спешную газетную работу. — Заметка Влад. Соловьева (в «Ниве») удовлетворила меня еще менее. В ней есть два очень остроумных замечания, но основные ее мысли парадоксальны, как вообще критерии Соловьева.

Мне остается только пожалеть, что в моих поисках за статьей о Вашей поэзии для сборника мне пришлось остановиться на собственном писании, весьма мало удовлетворяющем меня самого, особенно ввиду своей эскизности и неотделанности. Мне, как Николаеву, пришлось писать эту статью под стук типографской машины, накануне выхода сборника, ибо первоначально эта тема предназначалась Мережковскому. На досуге можно было бы, вероятно, обработать ее серьезнее, особенно если воспользоваться и некоторыми выводами Николаева и Соловьева.

Благодарю Вас за любезное приглашение, которым я не замедлю воспользоваться.

Искренне преданный Вам П. Перцов.

В письме упоминаются указанная выше статья Говорухи-Отрока «Поэзия Полонского» и статья Вл. Соловьева «Поэзия Я.П. Полонского. Критический очерк», первая половина которой была к тому времени опубликована в февральском номере «Ежемесячных литературных приложений к "Ниве"» за 1896 г.

[51] Эта дата знаменовала 60-летие литературной деятельности Полонского, начало которой отсчитывалось от того дня, когда в 1837 г. в Рязани юный поэт представил одно из своих стихотворений цесаревичу Александру Николаевичу, путешествовавшему по России в сопровождении В.А. Жуковского. См. мемуарный очерк Полонского «Школьные годы (Начало грамотности и гимназия)» (1890) (*Полонский Я.П.* Проза. М., 1988. С. 355—356).

[52] Строка из стихотворения Полонского «Вот и ночь... К ее порогу...» (1892) (*Полонский Я.П.* Стихотворения. С. 406).[53] Стихотворение включено в рукописный сборник Перцова «Стихотворения (1890—1936)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 27).

Глава IV. Посещение Ясной Поляны

Впервые глава опубликована (сокращенная редакция текста) как самостоятельный мемуарный очерк — «Поездка к Толстому» (Новый мир. 1928. № 9. С. 213—220).

[1] Повесть «Крейцерова соната» была впервые опубликована в части XIII «Сочинений» Толстого (М., 1890), на которую 25 февраля 1891 г. был нало-

жен арест; в результате аудиенции, полученной С.А. Толстой у Александра III, XIII часть «Сочинений» увидела свет в июне 1891 г. (см.: *Толстая С.А.* Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 168—180; *Опульская Л.Д.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 226—227).

[2] Дневниковые записи Толстого от 2, 3 и 13 июня 1894 г. сведений о визите Перцова в Ясную Поляну не содержат (см.: *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 52. С. 118—119). По всей вероятности, в памяти Толстого знакомство с Перцовым не запечатлелось; ср. позднейшую запись (12 декабря 1909 г.) Д.П. Маковицкого с фиксацией слов Толстого: «В “Новом времени” в фельетоне 10 декабря какой-то Перцов меня вдребезги разнес!» (Лит. наследство. Т. 90. Кн. 4. М., 1979. С. 129). (Подразумевается статья Перцова «Литературные письма. Судьба Владимира Соловьева», в которой Толстой, «как теоретический писатель», был охарактеризован «как гений банальности».)

[3] Имеется в виду картина Репина «Л.Н. Толстой в кабинете под сводами. Ясная Поляна» (1891).

[4] Перцов подразумевает свою статью «Последний из великих» (Новое время. 1910. 13 ноября. С. 10—12), в которой давалась общая оценка творчества и личности Толстого в связи с кончиной писателя, а также сообщалось о визите автора в Ясную Поляну: «...мне вспоминается мое старое посещение Ясной Поляны еще летом 1894 года, когда, кончив университет, я, как и все, поехал “посмотреть на Толстого”. Он был так приветлив и терпелив, как всегда и со всеми. Перед обедом мы пошли на его обычную прогулку. Леса и овраги в то время для Л.Н. не представляли никаких препятствий, несмотря на его почти 70 лет. И вот, пересекая их, мы говорили о 60-х и 70-х годах, о “направлении” тех годов. Конечно, Л.Н. утверждал, что не было никакого особого “направления” в те или иные годы (“я сам пережил все эти годы и ничего такого не помню”) и даже не могло быть, потому что его нельзя создать нарочно. И вдруг он перебил себя: “Я все хожу вокруг да около. Я вот что хочу сказать: человек не знает, что и зачем он делает. Он чувствует только, что он должен делать, что его кто-то зовет, и он идет на этот голос. А куда ведет его путь — это он только едва видит, как Моисей с горы Хорива видел вдали Обетованную землю...”.

Он сказал эти слова с необыкновенным волнением, видимо обращаясь, в сущности, к самому себе, сказал, путаясь в кустах и сбившись с дороги. И тогда же мне показалось, что именно так он определяет сам для себя всю работу своей жизни: так объясняет ее противоречия, перемены и кажущуюся нам непоследовательность. Для нас это были два разных, противоречивых образа — Толстой-художник и Толстой-мыслитель, но для него это было *одним*, цельным исполнением неведомой задачи, осуществлением во всей полноте одного, до конца ему самому непонятного жизненного подвига» (С. 12).

[5] «Эмиль, или О воспитании» («Emile, ou de l'Éducation», 1762) — философско-педагогический роман-трактат Ж.-Ж. Руссо.

[6] Ср. признания Толстого, зафиксированные в мемуарном очерке Поля Буайе «Три дня в Ясной Поляне»: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов <...>. Я не только восхищался им; я боготворил его: в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом, как образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 154). 20 марта 1905 г. Толстой писал Бернару Бувье: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь» (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 75. С. 234).

[7] Повесть В. Микулич «Зарницы» была опубликована в № 1—4 журнала «Северный вестник» за 1894 г.; отдельное издание — М., 1895.

[8] Первые две части трилогии В. Микулич — «Мимочка-невеста» (Вестник Европы. 1883. № 9) и «Мимочка на водах» (Вестник Европы. 1891. № 2, 3) — были к тому времени выпущены в свет отдельным изданием (Мимочка. СПб., 1892), третья часть, «Мимочка отравилась», была опубликована в «Вестнике Европы» в 1893 г. (№ 9, 10; отдельное издание — М., 1895). Повесть «Мимочка на водах» Перцов оценил как «очень живо рисующую тип столичной, скучающей от безделья <...>, петербургской барыньки» (*Перцов П.* Литературный обзор // Волжский вестник. 1892. 1 января), он же в отзыве на отдельное издание («Мимочка») охарактеризовал произведение Микулич как «бойкую и меткую сатиру», живописующую «мир конфетной жизни и конфетных людей» (Рус. богатство. 1892. № 11. Отд. II. С. 72).

[9] О взаимоотношениях В. Микулич с Толстым и его семьей, завязавшихся в 1893 г., см. в ее воспоминаниях «Тени прошлого» (СПб., 1914).

[10] Толстой познакомился с Герценом в Лондоне в марте 1861 г. и встречался с ним тогда многократно. См.: *Розанова С.* Толстой и Герцен. М., 1972. С. 60—125.

[11] «Вечерние огни» — «собрание неизданных стихотворений» А. Фета, вышедшее в свет в Москве четырьмя выпусками — соответственно в 1883, 1885, 1888 и 1891 гг.

[12] Слова Чацкого из «Горя от ума» А.С. Грибоедова (действие II, явление 2).

[13] Имеются в виду картины Репина «Л.Н. Толстой на пашне» (1887) и «Л.Н. Толстой в лесу» (1891).

[14] Автограф письма (Казань, 18 марта 1895 г.): ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1316. Приводим начальные строки, опущенные Перцовым: «...я ездил в Москву, просто для разнообразия. Наслаждался картинами, а накануне отъезда — к настоянию друзей — решился побывать у Льва Николаича. Он очень радушно меня принял — почти как *своего*. Половину времени провел в его кабинете, а половину за общим чайным столом. Но ни там, ни здесь особенно

интересных разговоров не было, а потому и особого впечатления я не вынес. Простились также как свои, я даже получил приглашение бывать у него, когда буду в Москве. Мне кажется, он устал говорить все одно и то же, и мне было совестно затевать какой-нибудь спор, тем более что на первой же попытке я оказался в неловком положении победителя — говорю это не шутя:» — последующий текст приводится Перцовым.

[15] Трактат Толстого «Царство Божие внутри вас» (1890—1893) был напечатан в Берлине в издательстве Августа Дейбнера в январе 1894 г.; запрещенная русской цензурой, книга распространялась в России в гектографических и машинописных копиях. В гл. X трактата Толстой определяет как «бессознательное охристианение» процесс смягчения форм общественного насилия, наступающий благодаря сознательному усвоению христианского жизнепонимания, а также потому, что «люди бессознательно, вследствие самого процесса захватывания власти одними людьми и смены их другими, невольно приводятся к более христианскому отношению к жизни» (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 28. С. 194).

[16] Моравские (Богемские) братья — религиозная секта, возникшая в Богемии в XV в., противостояла католической церкви, проповедовала возвращение к раннехристианским идеалам, строгость нравов, чистоту апостольской жизни.

[17] Ср. дневниковые записи С.А. Толстой о М.А. Шмидт: «В старину это была бы монахиня, теперь это восторженная поклонница идей Льва Николаевича» (19 августа 1887 г.); «Она вся живет фанатическим обожанием Льва Николаевича. Когда-то она была крайне православная; начитавшись статей Льва Николаевича, она сняла образа и лампады и повесила всюду его портреты и собрала целую коллекцию его запрещенных сочинений, которые переписывает за деньги для других» (10 июня 1897 г.) (*Толстая С.А.* Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 122, 245). Впервые дневники С.А. Толстой были изданы в Москве в 1928—1936 гг. в 4-х частях; ч. 1 (1862—1891) — в 1928 г. и ч. 2 (1891—1897) — в 1929 г., т. е. до выхода воспоминаний Перцова.

Глава V. «Молодая поэзия»

[1] Неточная и сокращенная цитата из статьи Н.К. Михайловского, посвященной сборнику «Молодая поэзия» и входящей в его авторский цикл «Литература и жизнь» (Рус. богатство. 1895. № 6. Отд. II. С. 49). В тексте обыгрывается латинское выражение «nascuntur poetae, fiunt oratores» («поэтами рождаются, ораторами становятся»).

[2] Программное стихотворение Н.М. Минского, заключающее его книгу «Стихотворения» (СПб., 1887. С. 189—190).

[3] Сокращенная цитата (Молодая поэзия: Сб. избранных стихотворений молодых русских поэтов / Сост. П. и В. Перцовы. СПб., 1895. С. 1). В тексте использована фраза из тургеневского письма в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1870. 8 января): «...в деле поэзии живуча только одна поэзия <...>» (см.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1968. Т. 15. С. 159). Письмо в редакцию, впервые включенное в состав собрания сочинений Тургенева в издании 1929—1934 гг. (Соч.: В 12 т. / Под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума), было перепечатано в полном объеме в статье Н.Н. Страхова «Критика» — отзыве о Сочинениях Я.П. Полонского (т. I—II. СПб., 1869), причем процитированные слова были выделены курсивом (Заря. 1870. № 9. Отд. II. С. 153); статья вошла (под заглавием «Некрасов и Полонский») в книгу Страхова «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888. С. 127—179), которой, видимо, и пользовался Перцов.

[4] Слова Молчалина в «Горе от ума» А.С. Грибоедова (действие III, явление 3).

[5] «Грибоедовская Москва» — заглавие книги М.О. Гершензона (М., 1914), основанной на историко-бытовых документах начала XIX века.

[6] Doyen d'âge — старший годами в какой-нибудь корпорации (*фр.*).

[7] Обыгрывается библейский образ Вениамина, «брата меньшего» (Быт 43:29) Иосифа и других его братьев.

[8] Имеется в виду сборник Н.А. Энгельгардта «Стихотворения» (СПб., 1890).

[9] Первое стихотворение — из книги К. Бальмонта «Под северным небом: Элегии, стансы, сонеты» (СПб., 1894. С. 5—6), второе — вступительное стихотворение из его книги «В безбрежности» (М., 1895. С. 1), впервые опубликованное в журнале «Русская мысль» (1894. № 8. Отд. I. С. 196).

[10] Цитаты из статьи Пл. Краснова «Поэзия мгновений» (Книжки Недели. 1895. № 8. С. 188) и из стихотворения К.М. Фофанова «От луны небесной, точно от лампады...» (1887) (Молодая поэзия. С. 177; *Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 84).

[11] Это однострочное стихотворение Брюсова (3 декабря 1894 г.) было впервые опубликовано в 3-м выпуске сборника «Русские символисты» (М., 1895. С. 22).

[12] В сборнике «Молодая поэзия» было помещено стихотворение Брюсова «Мечты о померкшем, мечты о былом...» (С. 8), впервые опубликованное в выпуске 2-м «Русских символистов» (М., 1894. С. 27) за подписью: М.

[13] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 26.

[14] Цитата из рецензии А.А. Коринфского на «Молодую поэзию», опубликованной в журнале «Труд» (Т. 27. № 8. С. 477—478. Подпись: Ап. К—ий).

[15] К тому времени уже была опубликована (под псевдонимом Матвей Рамшев) первая книга П.Ф. Якубовича «Стихотворения» (СПб., 1887).

[16] О взаимоотношениях с Вл. Соловьевым В.Л. Величко рассказал в мемуарном очерке «Вселенский христианин. Из воспоминаний о Вл.С. Соловьеве» (Новое дело. 1902. № 1. С. 7—58), см. также: *Величко В.Л.* Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1902; изд. 2-е — СПб., 1903 (гл. 7—12).

[17] Редактором-издателем газеты «Кавказ» Величко был в 1896—1899 гг., редактором издававшейся в Гельсингфорсе «Финляндской газеты» — с 1900 г.

[18] Имеется в виду книга А. Коринфского «Бывальщины: Сказания, картины и думы» (СПб., 1896; переиздания — 1899, 1900), включавшая исторические баллады и стихотворные рассказы из народной жизни.

[19] Первая строфа стихотворения 1888 г. (Молодая поэзия. С. 77; *Льдов К.* Стихотворения. СПб., 1890. С. 193).

[20] Чайковский написал в 1893 г. на стихи Ратгауза, вошедшие в его книгу «Стихотворения» (Киев, 1893), цикл из 6 романсов: «Мы сидели с тобой у заснувшей реки...», «Ночь», «В эту лунную ночь...», «Закатилось солнце...», «Средь мрачных дней...», «Снова, как прежде, один...».

[21] «вольнодумцем» (*фр.*).

[22] Имеется в виду рецензия А.В. Амфитеатрова на книгу В.Ф. Саводника «Стихотворения 1891—1898» (М., 1898), в которой утверждалось: «Как лирик, г. Саводник, минуя течения декадентства и символизма, прямо и решительно примкнул к той старой, но симпатичной школе, которой главнейшим представителем теперь, за смертью поэтического триумвирата Майкова, Фета и Полонского, является высокоталантливый К.Р. Это — школа истинных вдохновений и добрых, от Пушкина унаследованных, художественных традиций» (Новое время. 1898. 28 октября. С. 8. Подпись: Ал. А—в). «Господа Обмановы» — знаменитый фельетон Амфитеатрова, опубликованный в газете «Россия» 13 января 1902 г., представлявший собой сатиру на династию Романовых; после его выхода в свет газета была закрыта, а Амфитеатров сослан в Минусинск под гласный надзор на 5 лет.

[23] Находясь на службе в Министерстве иностранных дел, Бутурлин в 1883—1893 гг. был советником русского посольства в Риме, затем в Париже.

[24] Весь текст 1-го стихотворения из цикла «Мальтийские песни» (Молодая поэзия. С. 27; *Бутурлин П.* Сибилла и другие стихотворения. СПб., 1890. С. 105).

[25] Весь текст стихотворения (Молодая поэзия. С. 40—41; Стихотворения Владимира Юрьева (Дрентельн). СПб., 1889. С. 112).

[26] Весь текст стихотворения (Молодая поэзия. С. 39; Стихотворения Владимира Юрьева (Дрентельн). С. 84).

[27] Киевским, подольским и волынским генерал-губернатором был не отец, а дядя В.Ю. Дрентельна — А.Р. Дрентельн.

[28] Речь идет о Тихоокеанской войне 1879—1883 гг. между Боливией и Перу, с одной стороны, и Чили, с другой; в результате Боливия лишилась

пустыни Атакама и, тем самым, выхода к Тихому океану. Маловероятно, что В.Ю. Дрентельн принимал участие в этой войне, а тем более возглавлял чилийскую армию. В 1877—1881 гг. он учился во 2-м Константиновском военном училище в Петербурге, с 1879 г. был прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку (см.: *Файнштейн М.Ш.* Дрентельн В.Ю. // Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 182); кроме того, в журнале «Всемирная иллюстрация» в 1881—1883 гг. регулярно печатались его стихи (под псевдонимом Вл. Юрьев), что вряд ли было бы возможно, если бы он воевал в это время в Южной Америке.

[29] Весь текст стихотворения (Молодая поэзия. С. 218; *Энгельгардт Ник.* Стихотворения. СПб., 1890. С. 78).

[30] Подразумевается сходная по сюжету «шутка в виде поэмы» Полонского «Кузнечик-музыкант» (1859).

[31] Начальная и заключительная строфы баллады «Победитель» (Молодая поэзия. С. 212, 214; *Энгельгардт Ник.* Указ. соч. С. 26, 27).

[32] См.: Молодая поэзия. С. 215; *Энгельгардт Ник.* Указ. соч. С. 20—21. Ту же цитату Перцов приводит в примечаниях к письмам Брюсова, добавляя: «Эти строки почему-то поразили критиков книги и цитировались почти в каждой рецензии, как что-то экстравагантное и оскорбляющее “здравый смысл”» (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894—1896 гг. М., 1927. С. 80).

[33] В стихотворении А. Блока «Болотный попик» («На весенней проталинке...», 1905), входящем в раздел «Пузыри земли» кн. 2-й «Стихотворений»: «За больную звериную лапу, // И за римского папу».

[34] Это стихотворение Сафонова было впервые напечатано в «Ежемесячных литературных приложениях к “Ниве”» в 1895 г. (№ 8. С. 707) под заглавием «Это было давно...» и с посвящением «Памяти Шопена». См.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 522.

[35] Молодая поэзия. С. 150—151.

[36] Фрагмент из стихотворения Ф. Червинского «Спит пустыня, парк не дремлет...» (Там же. С. 199—200; *Червинский Ф.* Стихи. СПб., 1892. С. 150—151).

[37] Стихотворение Червинского «В Венеции» («Будут мне грезиться многие годы...») было опубликовано в «Сборнике “Нивы”» (1893. № 6. С. 351).

[38] См.: Молодая поэзия. С. 203—204; Поэты 1880—1890-х годов. С. 537—538. Впервые опубликовано в журнале «Север» (1894. № 4. С. 183).

[39] Цитата из письма от 18 февраля 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894—1896 гг. С. 8).

[40] Весь текст стихотворения Д.П. Шестакова (Молодая поэзия. С. 208—209; Поэты 1880—1890-х годов. С. 586—587), впервые опубликованного в журнале «Наблюдатель» (1893. № 6. С. 245) в составе цикла из двух стихотворений под общим заглавием «В саду».

[41] Стихотворения А.А. Фета (1850, 1847).

[42] См.: *Шестаков Д.П.* Стихотворения. СПб.: Изд. П.П. Перцова, 1900. Перцов опубликовал (под псевдонимом: П. Казанский) и рецензию на это издание в «Литературном приложении к “Торгово-промышленной газете”» (1900. № 1. 21 января).

[43] В 1920-е — первой половине 1930-х гг. Шестаков написал несколько стихотворных циклов, на основе которых Перцов подготовил к печати итоговый сборник, включающий 141 стихотворение; сборник остался неизданным. 13 поздних стихотворений Шестакова опубликовал Л.К. Долгополов в журнале «Дальний Восток» (1970. № 7. С. 142—143), он же поместил 3 его стихотворения из цикла «Владивостокские ямбы» в томе «Поэты 1880—1890-х годов» (С. 596—597). Полностью «Владивостокские ямбы» (цикл из 25 стихотворений) опубликованы В. Молодяковым, напечатавшим также в составе своей вступительной статьи к этой публикации («Последний ученик Фета») биографический очерк Перцова к подготовленному им сборнику стихотворений Шестакова, датированный маем 1939 г. См.: Новый журнал. Нью-Йорк, 2000. Кн. 219. С. 93—110.

[44] Михайловский приводит целиком это «хорошенькое стихотворение» Гессена, добавляя: «...приведенное стихотворение г. Гессена не есть какое-нибудь из ряда вон выходящее произведение, но оно все-таки не дурно» (*Михайловский Ник.* Литература и жизнь // Рус. богатство. 1895. № 6. Отд. II. С. 62—63).

[45] В 1926 г. Жиркевич уехал в Вильно (Литва), где и скончался 13 июля 1927 г. (сведения приведены в статье о Жиркевиче Н.Г. Жиркевич-Подлесских и Н.А. Хмелевской в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 270).

[46] Ср. сообщение в берлинском журнале «Новая русская книга» (1922. № 9. С. 36): «Владимир Григорьевич *Жуковский*, автор премированного Академией Наук сборника стихотворений, бывший советник адм. Колчака по иностранным делам, был взят советскими войсками в поезде Колчака; осужден трибуналом на 10 лет принудительных работ. Скончался в июле с. г. в Новониколаевской тюрьме от болезни сердца».

[47] Цитата из стихотворения «Гитана» («Дитя мое, красив мой замок...») (Молодая поэзия. С. 67).

[48] Образ из стихотворения Лебедева «Скуй мне сердце, кузнец! На огне раскали...» (Там же. С. 65).

[49] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 9—10.

[50] Там же. С. 15.

[51] В своем отзыве о сборнике «Молодая поэзия» Н.К. Михайловский приводит стихотворение Лялечкина «Незабудки, васильки...» целиком (Рус. богатство. 1895. № 6. Отд. II. С. 49); то же стихотворение цитируется в «Литературной хронике» А.М. Скабичевского (Новости и Биржевая газета. 1895. 13 апреля).

[52] Весь текст стихотворения Лялечкина «Ожидание», впервые опубликованного в журнале «Север» (1893. № 33. С. 1779). См.: Молодая поэзия. С. 87—88; Поэты 1880—1890-х годов. С. 572.

[53] Неверное сообщение. К.П. Медведский родился 19 сентября 1866 г. (см. статью о нем Е.Н. Петуховой и А.В. Чанцева в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 559).

[54] Книга Н.А. Панова «Гусли звончаты: Песни, были и разные стихотворения» вышла в свет в 1896 г. (СПб.).

[55] Имеется в виду книга «Лирика и Антология русских поэтов: Сборник стихотворений» ([СПб.]: Изд. П.Ф. Порфирова, 1895); в предисловии «От издателя» Порфиров заявлял: «...мы глубоко убеждены, что наш сборник, как хрестоматия лучших стихотворений русских поэтов, далеко не лишняя книга, особенно теперь, когда в нашей поэзии наблюдается странное и, вместе с тем, печальное явление. Мы говорим о пресловутом декадентстве современных нам стихотворцев. Нам хотелось бы верить, что настоящий сборник принесет долю пользы, являясь как бы в противовес издающимся с недавнего времени книжкам, где наши “символисты и декаденты” печатают свои произведения, именуемые, по недоразумению, поэзией» (С. III). В сборник (составители — С. Поварнин и Н. Носков), впрочем, были включены стихотворения ряда авторов, неприемлемых для издателя, — в частности, К.Д. Бальмонта, Д.С. Мережковского и Н.М. Минского.

[56] Эта поэма была опубликована в № 8 «Вестника Европы» за 1892 г. (С. 477—518).

[57] Подразумеваются следующие фразы из рецензии В. Шуфа: «Подобно бледным, укоризненным призракам поднимаются передо мной <...> мои собственные, юношеские произведения, о которых я давно позабыл. И где их только выкопали? Изданной мною несколько лет тому назад книжечки стихотворений давным-давно нет ни в одном магазине. И вдруг опять “она”, “цветы”, “фиалки”! Фу ты, пропасть! <...> Вот именно потому, что мне напомнили мои старые поэтические грехи, я не хотел писать о сборнике “Молодой поэзии”» (*Ш.* Молодая поэзия // Петербургский листок. 1895. 14 апреля). На «ругательнейшую о нас рецензию Шуфа» Перцов указывает в письме к А.Г. Горнфельду от 5 мая 1895 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

[58] Цитируется статья П.И. Вейнберга «Наблюдения, воспоминания, мысли (Из дневника)» (Новости и Биржевая газета. 1895. 9 мая), начинающаяся словами: «Недавно из статьи А.М. Скабичевского в “Новостях” я познакомился с “новою поэзиею”, как назвали ее составители сборника, где приведены образцы этой поэзии. Совершенно напрасно эти господа делают такое обобщение, подводя всю свою чепуху под название “новой” поэзии».

[59] Цитаты из «Критических заметок» А.И. Богдановича (Мир Божий. 1895. № 4. С. 252, 255, 256. Подпись: А.Б.).

[60] Всего в «Молодой поэзии» было помещено 10 стихотворений Надсона (С. 118—130); помимо упомянутых — «Поэзия» («Нет, не ищи ее в дыхании цветов...»), «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», «Не хочу я, мой друг, чтоб судьба нам с тобой...», «Упали волнистые кудри на плечи...», «Жалко стройных кипарисов...».

[61] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 10.

[62] Сокращенная цитата (Там же. С. 7—8). Цитата в тексте — из стихотворения Д.С. Мережковского, напечатанного в «Молодой поэзии» (С. 98).

[63] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 9.

[64] Сокращенная цитата (Там же. С. 78).

[65] Имеются в виду книги: «Стихи. Книга первая» (СПб., 1896) Ф. Сологуба, «Natura naturans. Natura naturata» (СПб., 1895) А. Добролюбова, составленные Брюсовым коллективные сборники «Русские символисты» (вып. I—III. М., 1894—1895), «Chefs d'œuvre: Сборник стихотворений (Осень 1894 — весна 1895)» (М., 1895) Брюсова. Стихотворения З.Н. Гиппиус печатались в 1895 г. в журнале «Северный вестник» (№ 2, 3, 11, 12).

[66] Журнал «Мир Искусства» выходил с ноября 1898 г., московское символистское издательство «Скорпион» было основано осенью 1899 г.

[67] Авторский сборник Вл. Жуковского «Стихотворения. 1893—1904» был издан лишь в 1905 г. (СПб.), ему предшествовала книга Хозе-Мария де Эредиа «Сонеты» в переводе Вл. Жуковского (СПб., 1899).

[68] «Tertia Vigilia: Книга новых стихов. 1897—1900» (М.: Скорпион, 1900) В. Брюсова вышла в свет в октябре 1900 г.

[69] В архиве Перцова сохранились наброски плана неосуществленного издания: «П. и В. Перцовы. Молодая поэзия. Сборник новейшей русской лирики. Издание 2-е, *совершенно переработанное*» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 2—8); были подготовлены перечни стихотворений авторов, предполагавшихся к включению в сборник. Замысел издания относится к началу 1900 г. В ответ на сообщение о нем Перцова в неизвестном нам письме Д.С. Мережковский отвечал (24 февраля 1900 г.): «Рад второму изданию М[олодой] поэзии. Хорошо, что хотите сделать ее тенденциозной — тенденциозно это значит остро. Ну, и заостряйте — чем острее, тем лучше». Высказав свои соображения относительно состава и композиции сборника, Мережковский добавлял: «Но главное — предисловие: надо же воспользоваться случаем и серьезно и ясно поговорить о декадент[стве] и символизме. Я уверен, что Вы это можете сделать» (Рус. литература. 1991. № 3. С. 140—141. Публикация М.Ю. Кореневой). Ср. письмо Перцова к В.В. Розанову от 16 января 1900 г.: «А я придумал новое предприятие для себя: 2-е издание "Молодой поэзии", совершенно переработанное. Будут взяты только лучшие и более или менее определившиеся поэты (пока намечено только 16), и расположены в две группы — "романтики" с Фофановым во главе и "декаденты-символисты" во главе с

Сологубом и Минским. И всякому станет ясно, что последние-то и суть первые (по интересу и весу)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 81).

[70] Автограф письма: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1426.

[71] Попытка издания, посвященного исключительно стихам современных русских поэтов, была, однако, предпринята в Петербурге в 1909 г.: два номера журнала «Остров» (см.: Второй номер журнала «Остров» / Публ. А.Г. Терехова // Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 317—351). Позднее, с октября 1912 г., в Петербурге выходил «ежемесячник стихов и критики» «Гиперборей».

В черновом автографе воспоминаний далее — следующий текст (без абзаца):

Стоило бы осуществить этот план и сейчас, и ближе всего было бы сделать это, конечно, Всероссийскому союзу поэтов или хотя бы основному Союзу писателей.

P.S. Еще другую мысль хочется рекомендовать вниманию этих учреждений:

Наши поэты страдают от той же беды, что и вообще наши (и не наши) писатели: от своей «несобранности» или, точнее, — от *лже*-собранности. Полные собрания сочинений, в огромном большинстве случаев, — настоящие могилы писателей, и поэтов в особенности. Поэты писали и пишут очень много, но очень редко они бывают в своих писаниях поэтами. Между тем в «собраниях», да еще «полных», печатается все, что они написали, с «добавлениями» и «старыми тетрадями». От этого получается, что мы не знаем наших поэтов и их невозможно знать. Извольте, напр., прочесть (и перечесть! — ведь по одному разу поэзия не усвояется) пять томов Полонского, три Фета, три Майкова, пять Случевского, — я не знаю, сколько томов Бальмонта или Фофанова, — и т. д. и т. д. В результате их читают (вернее, пробегают) лишь сих дел специалисты; до большой публики доходят только некоторые «ходячие» страницы («Шепот, робкое дыханье» — из Фета; «Мой костер в тумане светит» — из Полонского; «Сенокос» — из Майкова; ничего — из Случевского; «Звезды ясные» — из Фофанова; «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат» — из Надсона).

Ясно, что нужны *краткие* резюмирующие издания каждого автора — в *один* том (много — в два). Из пяти томов Полонского при этом «естественном отборе» выйдет только один том — и только он и будет содержать подлинное золото поэзии Полонского; то же — из Фофанова; то же — из Бальмонта. Пухлые подушки последнего, на которых можно только спать, великолепно сожмутся в карманную книжку, которая будет читаться и перечитываться. На самих авторов в деле этого резюмирования совершенно невозможно полагаться: «Солнечная пряжа» того же Бальмонта (его личная выборка из всех сборников) никуда не годится. Тут, действительно, не обойдешься без коллективного начала. И опять — ближе всего заняться этим делом Всероссийскому союзу поэтов или Союзу писателей, у которых есть для этого и личные, и материальные средства.

А о необходимости этого дела, кажется, не может быть двух мнений...

(РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 109—109 об.). Упомянута книга К.Д. Бальмонта «Солнечная пряжа: Изборник. 1890—1918» (М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1921).

[72] Начальные строки стихотворений 1885 и 1887 г. См.: *Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 66, 86.

[73] Стихотворение 1887 г. (Там же. С. 84).

[74] См.: Стихотворения К.М. Фофанова. Ч. 3. Снегурка. СПб., 1896. С. 31—32.

[75] Стихотворение 1888 г. (*Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. С. 92—93).

[76] Подборка из 7 стихотворений Фофанова была помещена в № 4 «Нового Пути» за 1903 г. (С. 35—42).

[77] См.: Новый Путь. 1904. № 4. С. 91.

[78] Автограф письма: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1498.

Глава VI. Брожение в критике

[1] Подразумевается статья Вл. Соловьева «Поэзия Ф.И. Тютчева», впервые опубликованная в «Вестнике Европы» в 1895 г. (№ 4. С. 735—752).

[2] Книга В.В. Розанова «“Легенда о Великом Инквизиторе” Ф.М. Достоевского» была впервые опубликована в «Русском вестнике» в 1891 г. (№ 1—4); первое отдельное издание — СПб., 1894. «Жестокий талант» — заглавие статьи Н.К. Михайловского, содержащей общий анализ творчества Достоевского; опубликована впервые в «Отечественных записках» в 1882 г. (сентябрь-октябрь). См.: *Михайловский Н.К.* Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 181—263.

[3] Философские течения русской поэзии: Избранные стихотворения с критическими статьями С.А. Андреевского, Д.С. Мережковского, Б.В. Никольского, П.П. Перцова и Вл.С. Соловьева / Составил П. Перцов. СПб., 1896. С. I.

[4] Там же. С. I—II.

[5] Образное определение Пушкина, восходящее к анонимному извещению о смерти поэта (автор — В.Ф. Одоевский), напечатанному 30 января 1837 г. в № 5 «Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”»: «Солнце нашей поэзии закатилось!».

[6] Имеется в виду статья А.А. Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), в которой утверждалось, что «тип Ивана Петровича Белкина был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности», что «Белкин пушкинский есть простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное» и т. д. (*Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967. С. 177, 182).

[7] Имеется в виду речь о Пушкине, произнесенная 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности и напечатанная в «Дневнике писателя» на 1880 г. (Август, гл. 2).

[8] Впервые статья Мережковского «А.Н. Майков» была опубликована в журнале «Труд» в 1891 г. (Т. 9. № 4. С. 366—384).

[9] Поэзию Кольцова Мережковский характеризует в гл. V своей книги «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб.,

1893). Перепечатав в «Философских течениях русской поэзии» соответствующий фрагмент (С. 111—115), Перцов поместил вслед за ним дополнительные суждения о Кольцове за собственной подписью (С. 116—117).

[10] Имеется в виду статья «Поэзия Баратынского» в книге С. Андреевского «Литературные чтения» (СПб., 1891. С. 1—36). Показательно, что несколькими годами ранее, рецензируя эту книгу, Перцов скептически отнесся к высокой оценке Андреевским творчества поэта и указал, как на одну из причин забвения Баратынского, на «несовершенство формы его произведений» (Волжский вестник. 1891. 1 февраля).

[11] Статья «Лермонтов» впервые была опубликована в том же сборнике С. Андреевского (С. 217—250).

[12] 7 октября 1895 г. Перцов сообщал отцу: «Весьма важно, что в сборнике согласился принять участие Владимир Соловьев. Помимо достоинства статей, это очень авторитетное теперь имя. Он согласился с первого же слова и даже отказался от всякого гонорара, несмотря на все мои упрашивания» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 73). Статья Вл. Соловьева была опубликована в «Философских течениях русской поэзии» под заглавием «Ф.И. Тютчев» (С. 179—196) и с некоторыми сокращениями по сравнению с первопечатным текстом (см. выше, примеч. 1); варианты приведены в комментариях Н.В. Котрелева в кн.: *Соловьев Вл.* Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 527—530.

[13] Подразумевается следующая фраза: «В заключение составитель считает себя обязанным выразить признательность г. Влад. С. Соловьеву, любезно уступившему для сборника свой этюд о Тютчеве» (Философские течения русской поэзии. С. II).

[14] Статья Б. Никольского о Фете «Поэт философов» была впервые опубликована в журнале «Русское обозрение» (1894. Декабрь. С. 1099—1114).

[15] Имеется в виду «Сборник стихотворений» (СПб., 1899) Б. Никольского. 11 ноября 1897 г. Б.В. Никольский сообщал Перцову: «...непременно решил издать хоть небольшой сборник своих стихотворений (с видами на Пушкинскую премию); но это не ранее лета или осени» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1395).

[16] При конкурсном рассмотрении «Сборник стихотворений» Никольского получил резко отрицательный отзыв А.А. Голенищева-Кутузова. См. статью о Никольском Е.В. Ивановой и С.В. Шумихина в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1999. Т. 4. С. 322.

[17] Пушкинской премии Академии наук был удостоен второй сборник Веры Рудич «Новые стихотворения» (СПб., 1908). П.Ф. Якубович (поэтический псевдоним — П.Я.) получил эту премию в 1899 г. за книгу «Стихотворения» (СПб., 1898).

[18] Статья Перцова «Сумерки поэзии (А.Н. Апухтин и гр. А.А. Голенищев-Кутузов)» была опубликована в апрельском номере «Книжек Недели» за 1895 г. (С. 202—220).

[19] См.: Философские течения русской поэзии. С. 215–220.

[20] Образы из баллады Ф. Шиллера «Торжество победителей» (1803) в переводе В.А. Жуковского (1828): «Нет великого Патрокла; // Жив презрительный Терсит».

[21] Критический метод авторов статей, помещенных в «Философских течениях русской поэзии», Буренин определил следующим образом: «Выписывай побольше стихотворных строчек из разных пьес такого или иного поэта и при этом городи что-нибудь будто премудрое, смутное или даже и совсем непонятное, — ну, вот и выйдет философия, философская критика. Можно показать на выразительном примере, каким образом производится городьба подобного вздора, претендующего на глубину разумения. Возьмем, положим, стихотворения всем известного Козьмы Пруткова, попробуем приложить к ним философскую критику в теперешнем вкусе»; далее следовал пародийный разбор стихов Козьмы Пруткова под заглавием «Опыт философской критики (Посвящается гг. Мережковскому, Волынскому, Перцову и прочим, на ком шапка горит)» (*Буренин В.* Критические очерки // Новое время. 1896. 23 августа).

[22] манера выражаться (*фр.*).

[23] Некролог «Ф.Э. Шперк» Розанов поместил в «Новом времени» 12 октября 1897 г. См. также письмо Розанова к Перцову (ноябрь 1897 г.), содержащее отклик на кончину Шперка (*Розанов В.В.* Сочинения. М., 1990. С. 495–496).

[24] Цитируется рецензия на издание 2-е «Философских течений русской поэзии» (СПб., 1899) (Мир Искусства. 1899. Т. I. № 11/12. Отд. II. С. 134).

[25] Стихотворение Перцова «Вопрос прозвучал без ответа...», опубликованное в «Книжках Недели» (1893. № 11. С. 102). См.: *Петрицкий.* С. 198. Рецензию Перцова на второе издание «Вечных спутников» Мережковского см. в т. I «Мира Искусства» за 1899 г. (№ 9/10. Отд. II. С. 114–116. Подпись: Библиофил).

[26] «Литературные изгнанники» — заглавие книги статей и очерков В.В. Розанова (Т. I. СПб., 1913).

[27] О намерении «с осени <...> издавать "*Современник*"» Мережковский упоминает в письме к Перцову от 6 апреля 1896 г. (Рус. литература. 1991. № 2. С. 161, 162–163 — примечания М.Ю. Кореневой); ср. замечание в письме Брюсова к Перцову от 16 декабря 1895 г.: «Говорят, Мережковский основывает журнал (впрочем, может, это секрет?)» (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 58). Замысел остался неосуществленным.

[28] самих по себе (*нем.*).

[29] Цитата из письма от 7 ноября 1898 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 6). О том же замысле Перцов рассказывает в письме из Петербурга к М.П. Перцовой от 29 октября 1898 г.: «На этих днях вновь возник наш старый проект о литературном журнале. На этот раз дело смотрит довольно серьезно. Некие молодые люди (редактор и помощник "Мира Искусства") подъехали к Дерви-

зу (архимиллионер), и тот не прочь дать денег на журнал. Пока дает мало, но, м[ожет] б[ыть], прибавит. Поэтому началось очень лихорадочное настроение у Мережковских. Действительно, журнал необходим для многих писателей, которые без этого не имеют где писать (Розанова, напр[имер], "Нов[ое] время" то и дело забраковывает) <...> ободряю Мережковского (он предполагается редактором — негласным, конечно, а я — секретарем). <...> На деле же я не верю в удачу редакторства М[ережковск]ого. Правда, он сильно остепенился за последнее время — и сам уже заклинает не пропускать в журнал декадентов. Но все же при его полном отсутствии понимания чужой психологии (за исключ[ением] самой элементарной) — не знаю, как он будет разбираться в чужих писаниях. Кроме того, он слишком эпикурейски относится к будущей своей роли, мечтая лишь о розах и забывая о шипах черновой работы» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 67). В следующем, недатированном письме к ней же Перцов сообщал, что «надежды на "наш" журнал всё крепнут» (Там же), однако реализовать этот замысел тогда не удалось.

[30] О реорганизации «Нового Пути» во второй половине 1904 г., в результате чего Перцов, а затем и Мережковский и З. Гиппиус отошли от непосредственного руководства журналом, заключив союз с «идеалистами» (Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым и др.), см.: *Максимов Д.* «Новый Путь» // Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Л., 1930. С. 159—162; *Корецкая И.В.* «Новый путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 228—231; *Колеров М.А.* Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 69—89.

[31] В автографе книги далее зачеркнуто: «Дмитрий Сергеевич ворчал, но соглашался. Зато он выключил из книги два помещенные мною отрывка из "Причин упадка" — о Гаршине и о Чехове, — справедливо находя, что этим последним не место в ряду "вечных спутников" человечества» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 119 об.). Книга Мережковского «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы» (СПб., 1897) вышла в свет во второй половине ноября 1896 г.

[32] Имеется в виду очерк Мережковского «Флоренция и Афины (Путевые воспоминания)», опубликованный в еженедельном литературно-музыкальном журнале «Наше время» (1892. № 32. 21 ноября. С. 518—519; № 33. 28 ноября. С. 539—540; № 34. 5 декабря. С. 552—553) и вошедший в книгу Мережковского «Вечные спутники» под заглавием «Акрополь». В библиографии текстов Мережковского и литературы о нем, составленной А.Г. Фоминым (Русская литература XX века. 1890—1910 / Под ред. проф. С.А. Венгерова. М., 1915. Т. II. С. 182—190), эта публикация не учтена; в новейших переизданиях «Акрополя» ошибочно указывается, что очерк опубликован впервые в составе «Веч-

ных спутников». 18 декабря 1892 г. Перцов писал Д.П. Шестакову: «...вот хороший иллюстр[ированный] журнал — "Наше время". Я купил № 34, где последний портрет Фета, его стихотворение-автограф, 3 статьи о нем и стихотв[орение] его памяти Коринфского (плохое). Там еще интересная (именно в смысле новых идей) статья Мережковского "Афины" (воспоминание)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 89).

[33] Подразумеваются отзыв в «Литературной хронике» Е.А. Соловьева (псевдоним — Скриба) и подробный разбор статьи Мережковского «Пушкин» в статье В. Спасовича «Д.С. Мережковский и его "Вечные спутники"» (Вестник Европы. 1897. № 6. С. 578—603); формулировок, приводимых Перцовым, у Спасовича, однако, нет. Е.А. Соловьев пишет, полемизируя с Мережковским: «Великий Пушкин не был великим человеком — это я утверждаю <...> В жизни у Пушкина <...> были нехорошие мелкие черты, о которых нельзя забыть, которых нельзя не знать и которые объясняют нам, почему не все преклоняются перед этим гигантом литературы. Ничтожество его общественной жизни врывалось заметной струей в самые высокие порывы его творчества и пачкало их, и унижало их» (Новости и Биржевая газета. 1896. 11 июля. С. 2).

[34] Глинский начал сотрудничать в издаваемом А.С. Сувориным «Историческом вестнике» с 1887 г., с 1906 г. — помощник редактора (С.Н. Шубинского), с 1913 г. — редактор этого журнала. См. статью о нем А.Б. Рогинского в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1989. Т. 1. С. 582—583.

[35] «Северный вестник» перешел в полную собственность Л.Я. Гуревич, которая стала издательницей журнала, с декабря 1891 г.; на должность официального редактора был приглашен М.Н. Альбов. См.: *Максимов Д.* Журналы раннего символизма // Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Указ. соч. С. 93—95; *Иванова Е.В.* «Северный вестник» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. С. 91—92.

[36] Книга А.Л. Волынского «Русские критики (Литературные очерки)» вышла в свет в 1896 г. (СПб.).

[37] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1488.

[38] Волынский жил в доме № 9 по Троицкой улице (вблизи Владимирского проспекта).

[39] Книга Волынского «Леонардо да Винчи», печатавшаяся в «Северном вестнике» в 1897—1898 гг., вышла в свет отдельным изданием в 1900 г. (СПб.).

[40] Формулировка из письма Перцова к Брюсову от 18 декабря 1895 г., в котором о Минском говорится: «Этот философ и певец индивидуализма заставляет признать себя, несмотря на все свои недостатки. На днях на журфиксе Л.Я. Гуревич он читал новую поэму "Холодные слова", которая появится в янв[арской] кн[иге] "Сев[ерного] в[естника]". Поэма возбудила бесконечные дебаты и яростные нападки со стороны К. Льдова (поэта, по ошибке считаю-

щего себя философом). Мне лично она понравилась — в ней обычные сильные и слабые стороны Минского, этого полупрозаика, за к[ото]рого я, однако, отдам не одного поэта» (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 5).

[41] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 66.

[42] учетверение термина (*лат.*). В логике — ошибка, являющаяся следствием двусмысленного употребления термина.

[43] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1489. Письмо было отправлено из Флоренции 22 апреля (н. ст.) 1896 г. (дата почтового штемпеля).

[44] Роман Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» был опубликован (под первоначальным заглавием «Отверженный») в «Северном вестнике» в № 1—6 за 1895 г.

[45] Оценку книги Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Волынский дал в «Литературных заметках», опубликованных в № 3 «Северного вестника» за 1893 г. (Отд. II. С. 108—141); у Мережковского, по мнению Волынского, не видно «критического таланта, продуманной теоретической мысли», преобладает «приторно-слащавое красноречие, с рыхлыми, бессильными периодами, с бесцветным содержанием», автор «предпочитает логическим, всесторонним объяснениям пустые восклицания» — и т. д. (С. 108, 111).

[46] Подразумеваются прежде всего личные взаимоотношения З. Гиппиус с Волынским, прекращенные в конце 1897 г. См.: Письма З.Н. Гиппиус к А.Л. Волынскому / Публ. А.Л. Евстигнеевой и Н.К. Пушкаревой // Минувшее: Исторический альманах. Paris, 1991. Вып. 12. С. 274—341. Дополнительным обстоятельством, сыгравшим свою роль в разрыве отношений, оказалось обращение Мережковского и Волынского к одной теме — личности и творчеству Леонардо да Винчи. 2 февраля 1898 г. Перцов писал А.Г. Горнфельду в этой связи: «История Вол[ынского] с Мер[ежковским] несколько утрирована “общественным мнением”. Вол[ынский] ничего не воровал. Он просто, будучи на правах “друга” у Мережк[овского] и интересуясь Леонардо, пользовался материалом Д.С. <...> Затем вышел “разрыв” — Вол[ынский] “обособился” и пошел себе стряпать своего Л[еонардо]. Это едва ли можно осуждать, но вот скверно, что немедленно после “ссоры” оба Мережк[овские] были вычеркнуты из числа сотрудников “Сев[ерного] в[естника]” (без их ведома)» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

[47] Имеется в виду рецензия (за подписью: П.П.) на книгу князя Сергея Волконского «Очерк русской истории и русской литературы. Публичные лекции, читанные в Америке» (СПб., 1896) (Северный вестник. 1897. № 4. Отд. II. С. 66—69). Другие рецензии Перцова были помещены в № 5 «Северного вестника» за 1897 г. анонимно; по вырезкам из журнала, вклеенным Перцовым в тетрадь под заглавием «Сборник статей. 1890—1900 гг.» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 285—292), устанавливается, что это отзывы на издания:

Зарин А. Силуэты: Роман. СПб., 1897; *Коринфский Ап.* Тени жизни: Стихотворения 1895—1896 гг. СПб., 1897; *Коринфский Ап.* «Вольная птица» и другие рассказы. СПб., 1897; *Рождествин А.С.* Художественная критика. Воронеж, 1897. Возможность сотрудничества в «Северном вестнике» открывалась Перцову и ранее; так, 10 января 1895 г. он писал отцу: «...я получил приглашение сотрудничать (по части библиографии) в "Северный вестник" (как прежде в "Русс[ком] бог[атстве]"), и если мне удастся завоевать там место, то лучшего и не надо» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 73). С предложением стать постоянным сотрудником «Северного вестника» к Перцову обращалась 22 апреля 1896 г. Л.Я. Гуревич: «Журнал так нуждается в литературных силах с свежим направлением и решимостью идти против отечественной и всякой другой рутины, что я могу только безусловно разделять мнение и желание Акима Львовича — и сожаления, что в течение прошедшей зимы мы так мало пользовались Вашей литературной помощью» (ИМЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Ед. хр. 21).

[48] О Волынском как руководителе «Северного вестника» Перцов подробно высказался в письме к В.В. Розанову от 3 декабря 1897 г.: «*О Волынском.* <...> Ведь года три назад я пришел к этому человеку с "открытою душою", прямиком из либерального эдема <...> Вопреки многим, я считаю его талантливым человеком и во взглядах своих безусловно искренним. Но главная его беда, его фатум, так сказать, — его редакторство. Это фальшивое положение (фальшивое, п[отому] ч[то] оно приобретено не литер[атурными] правами, а посторонним обстоятельством, о котором Вы знаете) исказило всю его душу и образовало в нем и вокруг него то, что я назвал "шарлатанством". Не чувствуя под собой почвы, он вынужден постоянно кривить душой — сторониться талантливых людей (не только Мережковского, которого он ненавидит лично, но и других многих) и окружать себя штатом безграмотных бездарностей, как Льдов, Геренштейн, Зин. Венгерова и пр., п[отому] ч[то] одни ему дают деньги взаймы, другие льстят, третьи просто неопасны. <...> И вообще он человек болезненно измученный и изнеможенный: вечная брань на него в литературе с личным характером, сознание своей неудачи, м[ожет] б[ыть] и внутреннее понимание свой роли и пр. и пр. образовали из него "сплошную рану", как говорят Мереж[ковс]кие. Но я при всей личной моей мягкости не способен жалеть его, ибо в литерат[урных] делах я строг. Не думаю, чтоб З.Н. когда-нибудь его "уважала", но жалела она его долго. Разрыв его с Мережк[овскими], т. е. характер этого разрыва с *его* стороны (вычеркивание их из состава сотрудников без их ведома — после стольких лет дружбы!), меня *не* удивил. В нем нет нравственного чутья вообще, а не только что в таких обстоятельствах <...>. И вообще "Сев[ерный] в[естник]" диаметрально противоположен "Русс[кому] богатству": насколько у этих гг. либералов все подчинено принципу, настолько здесь во всем проявляются личные счеты-расчеты "хозяина"» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77).

Глава VII. Первые символисты

[1] Сокращенная цитата (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. М., 1927. С. 13).

[2] Там же. С. 40.

[3] Там же. С. 52.

[4] Цитата из недатированного письма, полученного Перцовым 17 января 1903 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22). В тексте идет речь о докладе Брюсова, посвященном поэзии Фета, на заседании Московского Литературно-художественного кружка 7 января 1903 г. и об отклике С.Б. Любошица («Разговоры») на это выступление (Новости дня. 1903. 12 января. С. 3. Подпись: -бо-).

[5] к человеку (*лат.*) — о чем-либо, предназначенном повлиять на конкретное лицо, но не имеющем объективного значения.

[6] В октябре 1899 г. Брюсов записал: «Был у меня Перцов. Рассказывал старые новости, как шесть месяцев тому назад, в ночь под светлый праздник, Дягилев побил (т. е. ударил по лицу) Буренина» (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. [М.], 1927. С. 76). Ср. изложение этого же эпизода в мемуарном очерке С.К. Маковского «Дягилев» (*Маковский С.* Портреты современников. М.: Аграф, 2000. С. 123). 18 апреля 1899 г. А.С. Суворин записал о происшедшем — скорее всего со слов Буренина: «Вчера Дягилев с каким-то господином пришел в 11 час. вечера к Буренину и сделал скандал за фельетон в прошлую пятницу. Буренин закричал, чтоб позвали швейцара, а Дягилев со своим чичероне бросились бежать вниз по лестнице» (Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текстологическая расшифровка Н.А. Роскиной; подготовка текста Д. Рейфилда и О.Е. Макаровой. М., 1999. С. 334—335). Еще одна версия — в дневнике Н.А. Лейкина (запись от 22 апреля 1899 г.): «В первый день Пасхи к Буренину на квартиру является Дягилев. У Буренина были кое-кто из поздравителей. Буренин не знал Дягилева. Дягилев рекомендуется. Буренин просит его садиться. Дягилев отвечает: я не затем пришел, а вот зачем — и дает ему две плюхи. Буренин кричит, зовет на помощь, разумеется, суматоха, а Дягилев убегает в переднюю, надевает пальто и исчезает. Разумеется, все дело из-за критического обозрения Буренина в “Новом времени”» (Там же. С. 583). Слухи об этом инциденте варьировались на разные лады; ср. фразу в письме А.П. Чехова к Ал.П. Чехову (Мелихово, 11 мая 1899 г.): «Напиши, <...> правда ли, что Дягилева бил Буренин» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1980. Т. 8. С. 173).

[7] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 48.

[8] Цитата из того же письма (Там же).

[9] «Alles Vergängliche // Ist nur ein Gleichniß» — слова Chorus mysticus в заключительной фразе 5-го акта II части «Фауста» Гете.

[10] Цитата из письма Брюсова к Перцову от 13 октября 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 45).

[11] Неофилологическое общество, основанное в 1885 г. академиком А.Н. Веселовским, осуществляло свою деятельность при Петербургском университете. См.: *Петров Д.К.* Двадцать пять лет жизни Неофилологического общества (1885—1910) // Записки Неофилологического общества при имп. С.-Петербургском университете. 1910. Вып. IV.

[12] по специальности (*лат.*).

[13] РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 4. Камень-Виногоров — один из псевдонимов П.И. Вейнберга, которым он подписывался в 1861 г. в журнале «Век».

[14] Русское литературное общество было основано в Петербурге в 1879 г. под названием Санкт-Петербургское общество любителей сценического искусства, в 1886 г. переименовано в Литературно-драматическое общество, в 1888 г. — в Русское литературное общество. Имело целью «изучение литературы во всех ее формах и видах, разработку теоретических и практических литературных вопросов и распространение литературных знаний» (Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона. СПб., 1897. Т. 21 (Кн. 42). С. 620); устраивало литературные чтения, публичные лекции и т. д. Просуществовало до 1905 г. Перцов числился в нем в перечне членов-сотрудников (Русское литературное общество. Очерк деятельности Общества за 1894—1896 год. СПб., 1897. С. 21).

[15] Подразумевается фраза из «Повести о капитане Копейкине» («Мертвые души», т. 1, гл. X): «В лице, так сказать... ну, сообразно с званием, понимаете... с высоким чином... такое и выраженье, понимаете» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. [Л.], 1951. Т. 6. С. 201).

[16] Пьеса Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890) в России была впервые сыграна французской труппой петербургского Михайловского театра 21 марта 1892 г. (см.: *Янковский М.* Ибсен на русской сцене // Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 752).

[17] Стихотворение Фофанова «Чудовище» («Зловещее и смутное есть что-то...», 1893) входит в его сборник «Этюды в рифмах» (Собрание стихотворений: В 5 ч. СПб., 1896. Ч. 2). См.: *Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 166—167.

[18] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 24.

[19] Поэма Минского «Холодные слова. Рождественская фантазия» была впервые опубликована в № 1 «Северного вестника» за 1896 г.

[20] Строфа из стихотворения Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...» (1887), включенного в сборник «Молодая поэзия» (С. 109—111).

[21] См. примеч. 65 к гл. V.

[22] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 20.

[23] Там же. С. 22.

[24] Цитата из письма от 20 марта 1896 г. (Там же. С. 69). Книга Мережковского «Новые стихотворения. 1891—1895» (СПб., 1896) вышла в свет в январе 1896 г. Впоследствии упоминаемое стихотворение «Зимний вечер» («О бледная луна...», 26 февраля 1895) было перепечатано в т. 22 Полн. собр. соч. Мережковского (М., 1914). См.: *Мережковский Д.С.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 613, 889 (примеч. К.А. Кумпан).

[25] Вторая строфа стихотворения З.Н. Гиппиус «Посвящение» («Небеса унылы и низки...», 1894), впервые опубликованного в «Северном вестнике» в 1895 г. (№ 3. С. 136).

[26] В издании «Литературных воспоминаний» 1933 г. это слово повсеместно воспроизводилось, в соответствии с советскими нормативными требованиями, со строчной буквы.

[27] Цитата из письма от 1 января 1898 г. (Рус. литература. 1991. № 4. С. 130. Публ. М.М. Павловой). Литературно-музыкальный вечер в память Н.А. Некрасова и И.С. Тургенева состоялся в Петербурге в зале Кредитного общества 27 декабря 1897 г.

[28] Заключительные строки стихотворения Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893), впервые опубликованного в «Северном вестнике» в 1895 г. (№ 12. С. 206).

[29] Беловой автограф — в фонде З.Н. Гиппиус (РГАЛИ. Ф. 154. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 4). См.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 292, 528.

[30] Роман Сологуба «Тяжелые сны» был опубликован в «Северном вестнике» в № 7—12 за 1895 г., в том же журнале — рассказы Сологуба «Тени» (1894. № 12), «Червяк» (1896. № 6), «К звездам» (1896. № 9). См.: *Куприяновский П.В.* Поэты-символисты в журнале «Северный вестник» // Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. С. 125—129.

[31] Подразумевается прозаик, поэт и драматург граф Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882). В позднейшей статье «Ф.К. Сологуб» А.Л. Волынский вспоминал: «Фамилия Тетерников показалась Минскому непоэтическою <...> Он требовал от меня шикарного псевдонима для начинающего таланта <...> Я предложил фамилию Сологуб. Тетерников ее принял и стал печататься на страницах “Северного вестника” под этим псевдонимом <...>» (Жизнь искусства. 1923. № 39. С. 9. Подпись: Старый энтузиаст).

[32] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 70.

[33] Там же. С. 39.

[34] Там же. С. 78.

[35] РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 7.

[36] Там же. О своем отношении к творчеству Сологуба Перцов написал В.В. Розанову 3 декабря 1897 г.: «Стихи его я долго “отрицал”, и даже не поместил в “Мол[одой] поэзии”. Но потом отчасти он стал писать увереннее, отчасти я сам подрос, и его вторая книга уже нашла во мне поклонника, а не-

давнее превосходное его стих[отворение] "Помоги!" даже привело меня в энтузиазм, испугавший самого Д.С. "Тяжелые сны" я начал читать, но бросил на первых же страницах, т[ак] к[ак] они произвели на меня впечатление кошмара. Я и теперь думаю, что произведение это уродливое и *слишком* больное. Что Сологуб вообще больной человек — это ясно, но этого я ему не ставлю в вину: напротив — именно в этой-то слабости и сила его. Надоели эти здоровые и "здоровенные", как говорит Д.С. В *стихах* его ненормальность уместна, *своевременна*, п[отому] ч[то] теперь стихи должны быть "декадентскими", чтобы быть чем-нибудь кроме перепевов. В этом смысле Вы правы — теперь пришел "александрийский" период: после ахейского XVIII века, аттического Пушкина и коринфского Фета как раз ему время. И вот почему все эти фетовцы до Фофанова включительно нередко талантливы, но всегда скучны, а Сологуб интересен, и за ним я считаю первое место в современной поэзии. Даже более того (как я и писал Д.С. по поводу "Помоги!") — он, Сологуб, дает свое имя новому периоду русской поэзии — последнему, "упадочному", слабому и умирающему, конечно. (Но в этом уж не его вина.) А для меня теперь прямо существует лестница: Пушкин, Фет, Сологуб. Тут, разумеется, не в величине талантов дело, но каждого другого русс[кого] поэта можно уложить в одну из этих трех хронологических рубрик, в которых самые типичные представители эти трое» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77).

[37] Имеются в виду издания «Скорпиона» (М., 1904): *Сологуб Ф.* Собрание стихов. Кн. 3 и 4. 1897—1903; *Мережковский Д.С.* Собрание стихов 1883—1903 г.; *Гиппиус З.Н.* Собрание стихов 1889—1903 г.

[38] В 1899—1907 гг. Сологуб занимал должность учителя-инспектора в Андреевском городском училище (Васильевский остров, 7-я линия, д. 20).

[39] Работа Сологуба над романом «Мелкий бес» продолжалась с 1892 по 1902 г.

[40] Ср. сообщение в письме Перцова к Д.Е. Максимову от 12 января 1929 г.: «"*Мелкий Бес*" был забракован собственно мною, п[отому] ч[то] я считал рискованным для журнала помещение такой "эротической" вещи, когда нас и без того подозревали во всех содомских грехах. Ведь тогда в литературе еще господствовала традиционная pruderie [преувеличенная стыдливость — *фр.*], и только после 1905 г. последовало разрешение на все. А наше положение *религиозного* журнала было особенно щекотливым» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34). Когда вышла в свет статья Д.Е. Максимова «Новый Путь», в которой сообщалось: «Г. Чулков в своих воспоминаниях о Ф. Сологубе ("Звезда", 1928 г., № 1) объясняет нежелание Мережковских напечатать в "Новом Пути" "Мелкий бес" "боязнью либеральной цензуры"» (*Евгеньев-Максимов В., Максимов Д.* Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Л., 1930. С. 213), — Перцов счел нужным скорректировать автора (в письме к нему от 5 июля 1930 г.): «Чулков ошибся относит[ельно] непринятия "Мелкого беса": veto на нем поставил я, а не Мережковские (которые колебались, подкупаемые качествами романа), и

не по “боязни либеральной цензуры” (?), а просто потому, что нас, при тогдашнем ригоризме, могли закрыть за такую “порнографию” (роман в рукописи был гораздо “красочнее”, чем теперь) — особенно ввиду соседства с “религиоз[ным]” материалом. Да и по существу это выходило нечто вроде виньеток Бёрдсли в “М[ире] Иск[усства]” среди воззваний Мережковского» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34). Первую журнальную публикацию «Мелкого беса» (Вопросы жизни. 1905. № 6—11) составили главы I—XXIII романа; заключительные главы увидели свет лишь в первом отдельном издании (СПб.: Шиповник, 1907), вышедшем в свет в марте 1907 г. О предварительных рукописных редакциях текста см.: *Павлова М.М.* Из творческой предыстории «Мелкого беса» (Алголагнический роман Федора Сологуба) // De Visu. 1993. № 9(10). С. 30—42; Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература / Сост. Н. Богомолов. М., 1996. С. 328—354.

[41] Об авторах стихотворений, опубликованных в сборниках «Русские символисты», см.: *Иванова Е., Щербаков Р.* Альманах В. Брюсова «Русские символисты»: судьбы участников // Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX—XX вв. Тарту, 2000. С. 33—75.

[42] В заглавии книги А. Добролюбова использованы термины философской системы Б. Спинозы («Этика», I, 29): natura naturans — природа порождающая; natura naturata — природа порожденная. «Мене», «текел», «перес» — таинственные слова, начертанные на стене во время пиршества вавилонского царя Валтасара и возвещавшие его скорую гибель и раздел его царства (Дан 5:24—28).

[43] Цитируются начальные строки стихотворения «Отодвиганье смерти», опубликованного в альманахе «Северные цветы на 1901 год» (М., 1901).

[44] *Брюсов В.* Дневники 1891—1910 / Приготовила к печати И.М. Брюсова. Примеч. Н.С. Ашукина. [М.], 1927. С. 17—18.

[45] Там же. С. 48—49.

[46] Запись от 4 августа 1898 г. (Там же. С. 46).

[47] Там же. С. 126.

[48] Цитата из письма, полученного 3 декабря 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21).

[49] *Брюсов В.* Дневники. С. 133.

[50] Там же.

[51] Неточная цитата из письма, полученного 17 февраля 1905 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 25).

[52] Запись от 28 июля 1898 г. (*Брюсов В.* Дневники. С. 43).

[53] Отрывочные сведения о жизни Добролюбова в 1920—1930-е гг., проходившей в основном вдали от столиц (Сибирь, Поволжье, Средняя Азия, Азербайджан), см. в статье о нем Е.В. Ивановой в кн.: Русские писатели. 1800—1917: Биографич. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 133—134, а также в статье

К.М. Азадовского «Путь Александра Добролюбова» (Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник. III. Тарту, 1979. С. 144—146).

[54] «выставлять себя в выгодном свете» (*фр.*).

[55] Подразумевается следующая характеристика: «...глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом» (*Панаев И.И.* Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 215).

[56] Свод сведений о неосуществленном журнале «Горные вершины», готовившемся к изданию в конце 1895 — начале 1896 г., см. в статье Е.В. Ивановой «Александр Добролюбов — загадка своего времени» (Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 214—219).

[57] Имеется в виду цикл из пяти стихотворений (за подписью: Владимир Г......ъ) в альманахе «Северные цветы на 1901 год» (М., 1901. С. 96—100). Четырьмя годами ранее Вл. Гиппиус выпустил книгу стихов и прозаических фрагментов «Песни» (СПб., 1897), незначительным тиражом, «не для продажи, без права на рецензии» — согласно авторской надписи на экземпляре, подаренном Ф. Сологубу (Библиотека ИРЛИ); ср. сообщение в письме Гиппиуса к Брюсову от 12 января 1897 г.: «...я издал книжку, которую не выпускаю “в свет” <...> потому что считаю ее крайне несовершенной» (РГБ. Ф. 386. Карт. 82. Ед. хр. 32).

[58] Запись от 7 апреля 1896 г. (*Брюсов В.* Дневники. С. 24).

[59] Ср.: «...великий грешник и мятежник, всегда влюбленный, всегда греховно-плененный — и всегда в преодолении. В этом жизнь Пушкина — в этом кипение христианского бытия в нем» (*Гиппиус Вл.* Пушкин и христианство. Пг., 1915. С. 23).

[60] доведение до нелепости (*лат.*).

[61] Запись от 14 декабря 1898 г. (*Брюсов В.* Дневники. С. 57).

[62] В сокращении цитируется запись от 21 сентября 1899 г. (Там же. С. 76).

[63] Искусственно созданное человекоподобное существо; персонаж 2-й части «Фауста» Гете (акт II, сцены «Лаборатория в средневековом стиле» и «Классическая Вальпургиева ночь»).

[64] Запись, относящаяся к концу ноября — началу декабря 1899 г. (*Брюсов В.* Дневники. С. 78).

[65] Неточно цитируется запись от января 1899 г. (Там же. С. 60).

[66] Сокращенная цитата (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 7). В немного большем объеме (с добавлением фразы: «Я всегда надеялся на Ореуса, не как на поэта») Брюсов цитирует это письмо Перцова в своем письме к Коневскому, отправленном после 18 февраля 1901 г. (Лит. наследство. М., 1991. Т. 98. Кн. 1. С. 525).

[67] Указанная статья Коневского опубликована в «Северных цветах на 1901 год» (С. 180—188) с подзаголовком «(Общие суждения З. Гиппиус в № 17—18 Мира Искусства 1900 г.)». Еще одна полемическая заметка Коневского по адресу Гиппиус, озаглавленная «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua» («добавление», по характеристике Перцова), сохранилась в рукописи (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 2).

[68] Коневской погиб в реке Аа (Гауя) близ станции Зегевольд (ныне Сигулда) 8 июля 1901 г. на двадцать четвертом году жизни.

[69] Заключительные строки стихотворения «Памяти И. Коневского» («И ты счастлив, нам скорбь — тебе веселье...», 3 октября 1901), входящего в книгу Брюсова «Urbi et Orbi». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 352.

[70] Имеется в виду стихотворение «На могиле Ивана Коневского» («Я посетил твой прах забытый и далекий...», Segewold, 13 июля 1911). См.: *Брюсов В.* Зеркало теней: Стихи 1909—1912 г. М., 1912. С. 139—140; *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 63—64.

[71] Статья Брюсова о Коневском печаталась при жизни Брюсова (в различных редакциях текста) пять раз: Мудрое дитя (Памяти И. Коневского) // Мир Искусства. 1901. № 8/9. С. 136—139; Мудрое дитя (Творческие замыслы И. Коневского) // Коневской И. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М., 1904. С. 12—18; Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб.; М., [1909]. С. 103—107 (текст без заглавия); Иван Коневской. Мудрое дитя // Брюсов В. Далекие и близкие: Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912; Иван Коневской // Русская литература XX века / Под ред. С.А. Венгерова. М., 1916. Т. III. С. 150—163. Последний, наиболее пространный вариант статьи см. в кн.: *Брюсов В.* Среди стихов. 1894—1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 481—495. О взаимоотношениях Брюсова и Коневского см.: Переписка с Ив. Коневским (1898—1901) / Вступ. статья А.В. Лаврова; публ. и коммент. А.В. Лаврова, В.Я. Мордерер, А.Е. Парниса // Лит. наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 424—532.

[72] Это стихотворение Перцова публиковалось только в составе его «Литературных воспоминаний». В рукописном сборнике Перцова «Стихотворения (1890—1936)» — под заглавием «К портрету Коневского» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 28).

[73] Подразумеваются слова героя рассказа «Гамлет Щигровского уезда» (1848), входящего в «Записки охотника»: «Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и

притязаний под предлогом откровенности и участия» — и т. д. (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 3. С. 262).

[74] Эта заметка, опубликованная в 3-м выпуске «Русских символистов», переиздана в кн.: *Брюсов В.* Среди стихов. С. 44—46.

[75] В своем первом письме к Перцову от 15 декабря 1894 г. Брюсов сообщил: «Стихотворение “Мечты о померкшем, мечты о былом” написано лично мною» (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 7).

[76] Под астронимом *** в 3-м выпуске «Русских символистов» были помещены стихотворения Брюсова «В полужизни утром ранним...» и «Она в густой траве запряталась ничком...». 16 сентября 1895 г. Перцов писал Брюсову: «Из стихотворений 3 выпуска “Р[усских] с[имволистов]” я считаю удачным только одно — “Она в густой траве...” (стр. 23), которое, не знаю зачем, Вы спрятали под тремя звездочками на конце» (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 5).

[77] Каннитферштан — образ из поэмы В.А. Жуковского «Две были и еще одна» (1831): «Каннитферштан — есть голландское слово, иль лучше четыре // Слова, и значит оно: не могу вас понять»; прибывший в Голландию немец, обращающийся к встречным с вопросами: чей это дом? чей корабль? чей гроб? — получает неизменный ответ «каннитферштан» и создает себе представление «о Каннитферштане, его несметном богатстве, // Пышном доме, большом корабле — и тесной могиле».

[78] основной труд (*нем.*).

[79] Поэма А.Л. Миропольского «Лествица» (М.: Скорпион, 1903; с предисловием В. Брюсова «Ко всем, кто ищет») вышла в свет в ноябре 1902 г.

[80] Брюсов значился секретарем «Нового Пути» в 1902 г., на подготовительной стадии, предшествовавшей изданию журнала. Письма его к Перцову, относящиеся к этому периоду, см. в публикации Д. Максимова «Валерий Брюсов и “Новый Путь”» (Лит. наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 276—298).

[81] Характеристики поэта в статье «Брюсов» (1908), входящей в книгу Андрея Белого «Луг зеленый» (М., 1910): «То хищная пантера, то робкая домашняя кошка»; «...легкие шаги, точно прыжки пантеры, к телефону» (*Андрей Белый.* Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 360, 361).

[82] В доме № 24 (по позднейшей нумерации — дом № 22) по Цветному бульвару Брюсов жил до сентября 1910 г., после чего переехал по адресу: 1-я Мещанская ул., дом 32 (современный адрес: проспект Мира, 30; в доме — мемориальная квартира Брюсова).

[83] Книга «Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894—1896 гг. (К истории раннего символизма)» (М., 1927) вышла в свет под грифом Государственной академии художественных наук.

[84] Имеется в виду следующая характеристика Франца Эверса в письме к Перцову от 1 апреля 1895 г.: «...этот поэт должен иметь для литературы такое же

значение, как его великие соотечественники — Гете и Шиллер. В 23 года он уже написал десяток замечательных книг, написал Королевские песни (Königslieder), которые далеко превосходят все, что создал Гейнэ» — и т. д. (Там же. С. 17). Ср. еще более восторженную характеристику творчества Эверса в письме Брюсова к В.К. Станюковичу от 30 ноября 1894 г. (Лит. наследство. М., 1976. Т. 85. С. 732—733).

[85] Цитата из письма от 29 июля 1902 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 8).

[86] Цитата из недатированного письма, полученного Перцовым 10 августа 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21).

[87] В тексте — ошибочная датировка; цитируется письмо Брюсова к Перцову от 5 апреля 1906 г. (Там же. Ед. хр. 26).

[88] С февраля по май 1906 г. в «Литературном приложении к газете “Слово”» (с апреля 1906 г. — «Понедельники газеты “Слово”») были опубликованы 7 стихотворений и одно стихотворение в прозе И.Ф. Анненского (см.: Иннокентий Федорович Анненский: Произведения И.Ф. Анненского на русском языке: Библиогр. указ. / Сост. А.И. Червяков. Иваново, 1989. С. 12).

[89] Свою позицию Брюсов наиболее развернуто сформулировал в статье «Ненужная правда (По поводу Московского Художественного театра)» (Мир Искусства. 1902. № 4. С. 67—74; *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 62—73).

[90] Цитата из письма от 13 декабря 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 57). Постановка драмы Метерлинка «Тайны души» («Intérieur», 1894; в позднейших переводах — «Там, внутри») была осуществлена драматической труппой под управлением М.В. Лентовского и состоялась в театре Солодовникова 10 декабря 1895 г. (обзор откликов — в примечаниях Н.И. Гитович в кн.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 450—451).

[91] Неточно цитируются начальные строки стихотворения «З.Н. Гиппиус» (декабрь 1901), входящего в книгу Брюсова «Urbi et Orbi». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 354—355.

[92] Запись от февраля 1899 г. — фрагмент текста с пометой «Из письма к Самыгину» (*Брюсов В.* Дневники. С. 61). О плюралистических установках в миросозерцании Брюсова см.: *Максимов Д.* Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969. С. 49—50; *Помирчий Р.Е.* Из идейных исканий В.Я. Брюсова (Брюсов и Лейбниц) // Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973. С. 167—168.

[93] Стихотворение приведено в письме к Перцову полностью — в первоначальной редакции (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 54—55), впервые опубликовано во 2-м издании книги Брюсова «Chefs d’œuvre» (М., 1896). См. текст в окончательной редакции: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 82.

[94] Цитата из письма от 13 декабря 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 55—56).

[95] В письме к Брюсову от 16 апреля 1901 г., характеризуя содержание альманаха «Северные цветы на 1901 год», Перцов отметил: «Бальмонт по обыкновению "нежно-крикливый, звучно-хвастливый"» (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 7).

[96] Цитата из письма, полученного Перцовым 26 марта 1902 г. (Лит. наследство. Т. 27/28. С. 281).

[97] Образ Эдгара По в стихотворении А. Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912): «Она — всё та ж: *Линор безумного Эдгара*».

[98] Строка из стихотворения «К.Д. Бальмонту» («Вечно вольный, вечно юный...», 1902), входящего в книгу Брюсова «Urbi et Orbi». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 349.

[99] Портрет Бальмонта был выполнен В.А. Серовым в 1905 г., хранится в Государственной Третьяковской галерее.

[100] Приводим по автографу (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1213) начало этого письма:

7 декабря 1903. Москва, Б. Толстовский, 5.

Многоуважаемый Петр Петрович,

Посылаю Вам пять стихотворений из Уольта Уитмана. Прошу доставить мне корректуру. Своих стихотворений сейчас у меня нет.

Я охотно буду участвовать в «Новом Пути» и в 1904-м году. Но только я хотел бы что-нибудь получать за те страницы, которые посылаю Вам. За истекший год я не получил ничего за свои стихи. Мне неприятно об этом говорить, но у меня нет ни банковых билетов, ни земель.

Последующий текст письма (без подписи в конце: «Уважающий Вас К. Бальмонт») приводится Перцовым. Переводы Бальмонта из У. Уитмена в «Новом Пути» не появились (впервые они увидели свет лишь в 1906 г.).

[101] Это стихотворение было впервые опубликовано в журнале «Жизнь» (1899. № 11. С. 304), вошло в книгу К. Бальмонта «Горящие Здания: Лирика современной души» (М., 1900. С. 170—171).

[102] Пародия Минского перепечатана (по тексту, опубликованному Перцовым) в книге С. Тяпкова «Русские символисты в литературных пародиях современников» (Иваново, 1980. С. 56—57) и в антологии «Русская литература XX века в зеркале пародии», составленной О.Б. Кушлиной (М., 1993. С. 61—62).

[103] Приводим полностью это письмо (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1212); в нем развиваются темы письма Бальмонта, цитировавшегося Перцовым выше (см. также примеч. 100):

12 декабря 1903. Москва

Многоуважаемый Петр Петрович,

Вы слишком буквально поняли меня. Я вообще говорил о желании получать что-нибудь за свое сотрудничество, и не настаиваю на этом, раз Вы не можете платить. Не можете, так не можете. Я охотно и без денег буду присылать в «Новый Путь» стихи и переводы. Не знаю, буду ли в состоянии присылать статьи, так как статьи отнимают у

меня обыкновенно много времени, и с этим я должен считаться. Но стихи возникают без усилий.

Итак я возвращаю Вам стихи из Уольта Уитмана, и посылаю кроме того два свои стихотворения. Я отнюдь не хочу порывать с «Новым Путем» и очень рад сотрудничать в нем.

Жму Вашу руку.

Преданный Вам К. Бальмонт

[104] См.: Северные цветы на 1901 год. С. 83. Это стихотворение («Еще необходимо любить и убивать...») вошло (без заглавия) в сборник Бальмонта «Будем как Солнце: Книга символов» (М., 1903. С. 219).

[105] Сокращенная цитата из письма, полученного 2 января 1905 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 25). Ср. дневниковую запись М.А. Волошина от 27 декабря 1904 г., фиксирующую аналогичные высказывания Брюсова после проводов Бальмонта на Брестском вокзале (*Волошин М.* История моей души / Сост. В.П. Купченко. М., 1999. С. 94).

[106] Премьера пьесы Блока «Балаганчик» состоялась в Театре В.Ф. Коммиссаржевской 30 декабря 1906 г. (постановка В.Э. Мейерхольда, декорации Н.Н. Сапунова, музыка М.А. Кузмина).

[107] служанкой богословия (*лат.*).

[108] Письмо было опубликовано в журнале «Печать и революция» (1926. № 7. С. 45—46).

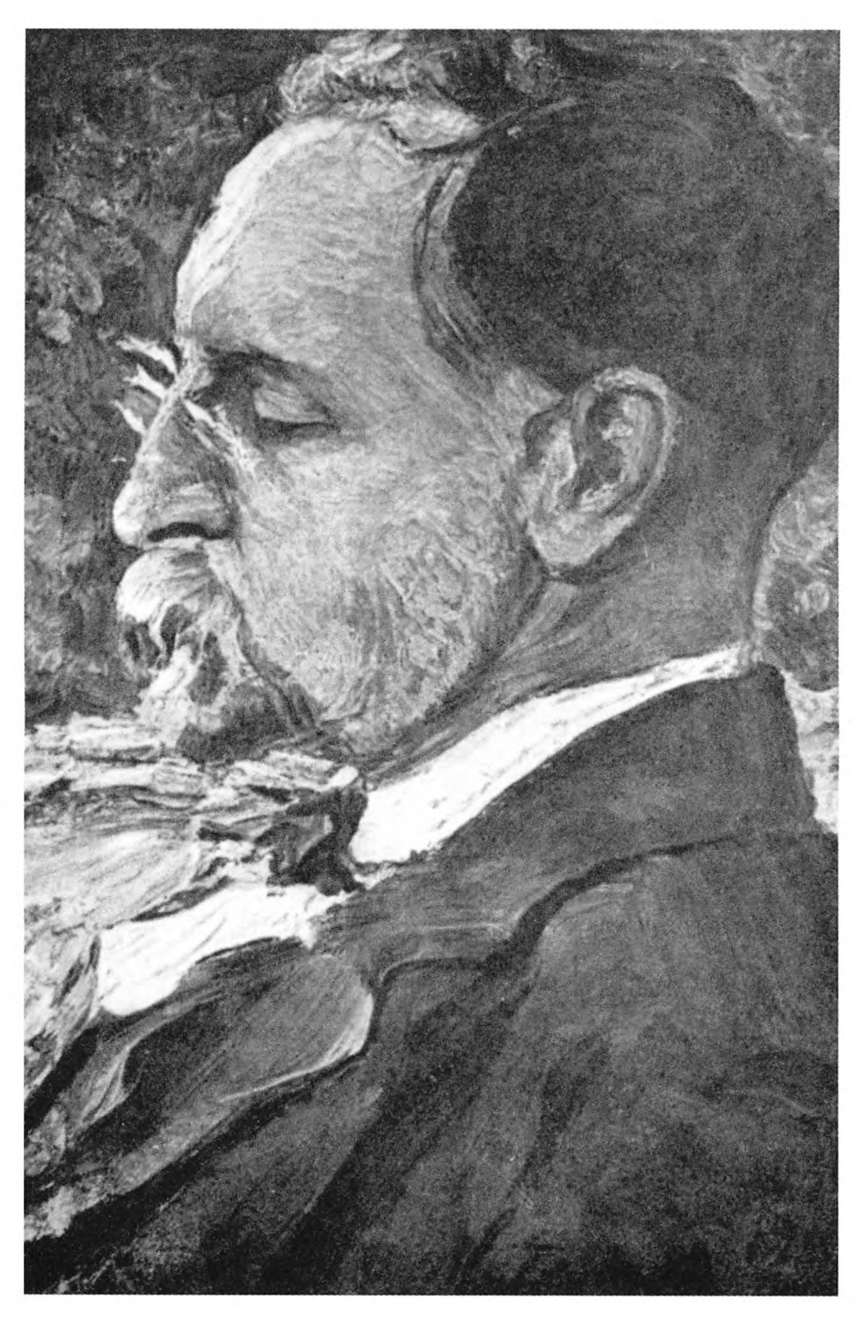
[109] Подразумеваются слова Лежнева в главе VI романа «Рудин» (1856): «...ум имел систематический, память огромную, а ведь это-то и действует на молодежь! Ей выводы подавай, итоги, хоть неверные, да итоги!» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1980. Т. 5. С. 256).

[110] Трактат Минского «При свете совести: Мысли и мечты о цели жизни» вышел в свет в 1890 г. (СПб.).

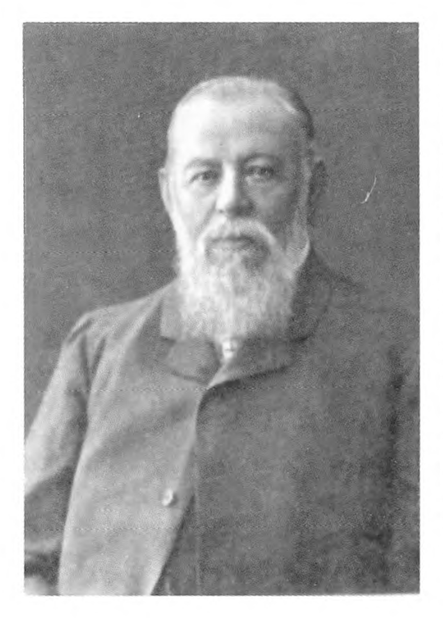
[111] Ту же формулировку, но без отсылки к Белинскому, Перцов использует в статье «Между старым и новым»: «Все мало-помалу становится на свою полочку...» (Новое время. 1911. 23 июля; В.В. Розанов: pro et contra. СПб., 1995. Кн. II. С. 174).

[112] Подразумевается фундаментальный философский труд «Основания космономии» («Основания диадологии»), над которым Перцов работал с 1897 г. до конца своих дней. 14 февраля 1926 г. Перцов сообщал А.Г. Горнфельду о том, чем он занимался в первую половину 1920-х гг.: «...много работал над своей философской работой, с которой вообще вожусь всю жизнь (с 1897 г.). Она именуется "Диадология" — какая-то смесь позитивизма со славянофильством. Исходные точки весьма напоминают философские построения... Минского. Теперь все это приняло более или менее законченный вид» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 421).

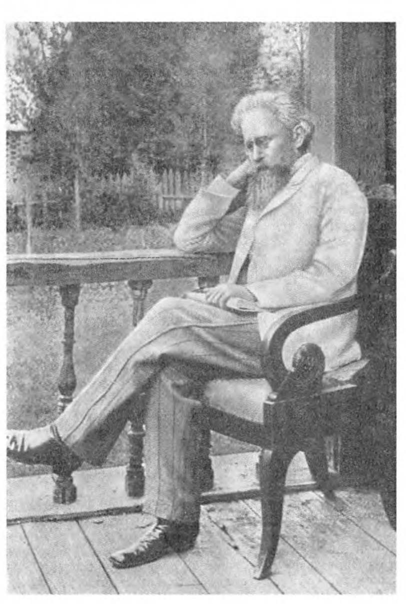
[113] К рукописи статьи прилагалось следующее письмо (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 305):



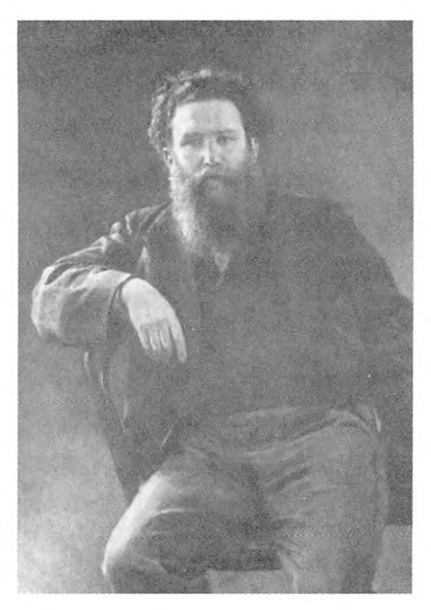
П.П. Перцов



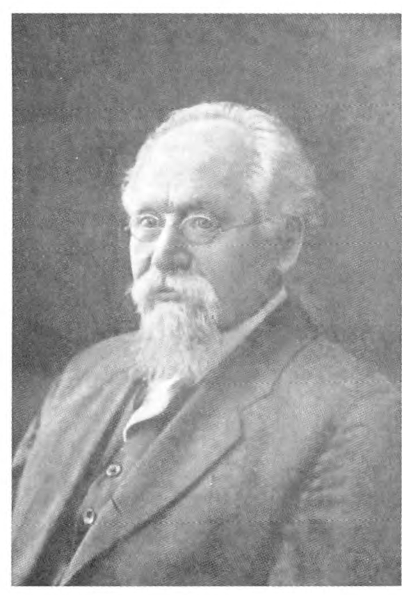
Н.Ф. Анненский



Н.К. Михайловский



В.Г. Короленко
Портрет работы Н.А. Ярошенко. 1898 г.



А.И. Иванчин-Писарев



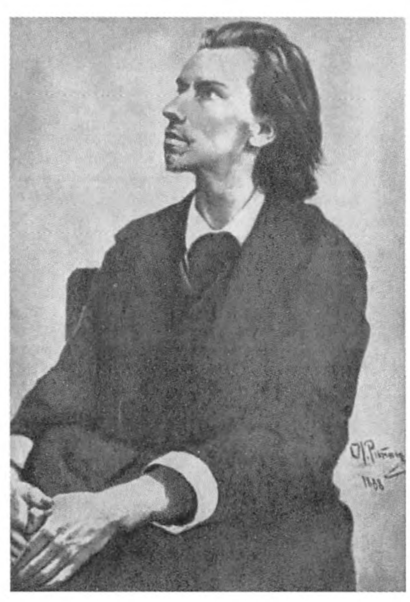
А.Л. Волынский



Л.Я. Гуревич



Н.М. Минский



К.М. Фофанов.
Портрет работы И.Е. Репина.
1888 г.



К. Льдов



О.Н. Чюмина



М.А. Лохвицкая



К.Р. (Великий князь К.К. Романов)



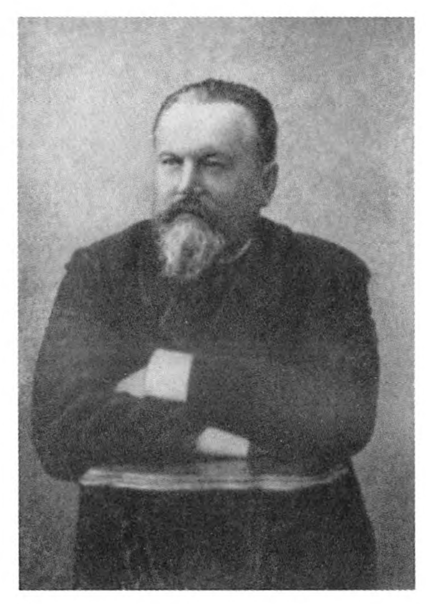
С.Г. Фруг



П.Д. Бутурлин



Д.П. Шестаков



А.А. Голенищев-Кутузов



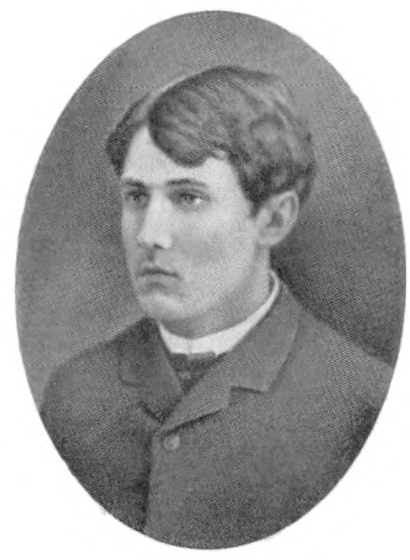
Д.Н. Цертелев



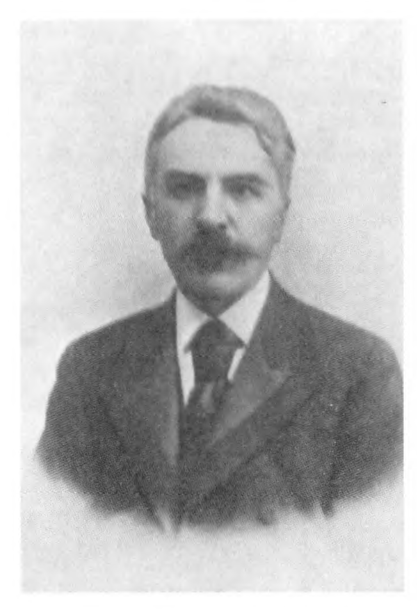
А.М. Федоров



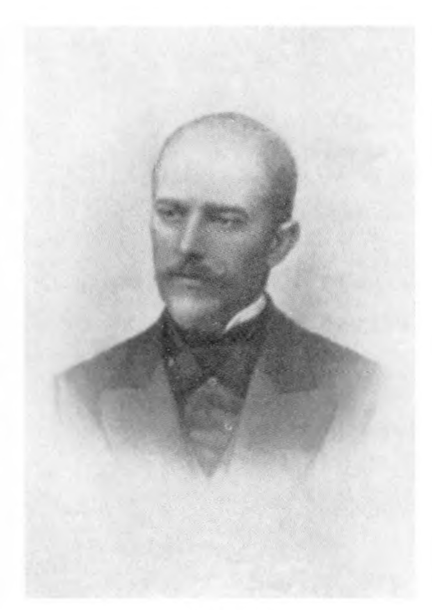
Ф.А. Червинский



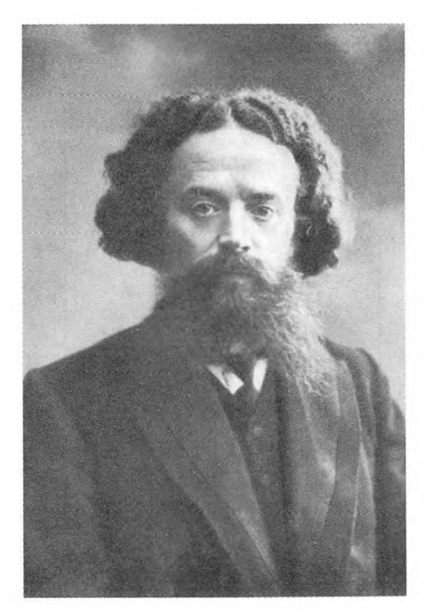
И.О. Лялечкин



С.А. Андреевский



Д.М. Ратгауз



А.А. Коринфский



С.А. Сафонов

МОЛОДАЯ ПОЭЗІЯ

СБОРНИКЪ
ИЗБРАННЫХЪ СТИХОТВОРЕНІЙ
МОЛОДЫХЪ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ.

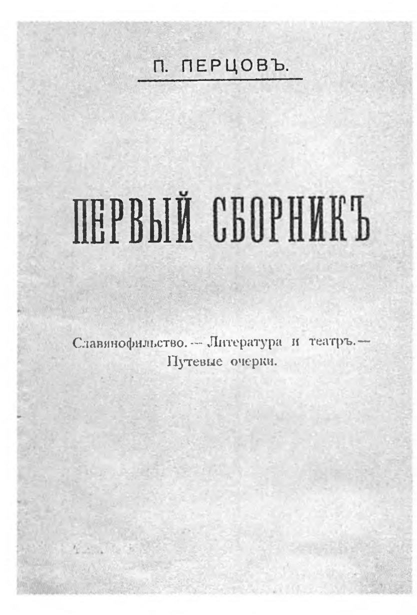
СОСТАВИЛИ
П. и В. ПЕРЦОВЫ.

С.ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа. Фонтанка 92.
1895.

Валерию Яковлевичу Брюсову
на память от составителей.
П. Перцов
Вл. Перцов

МОЛОДАЯ ПОЭЗІЯ.

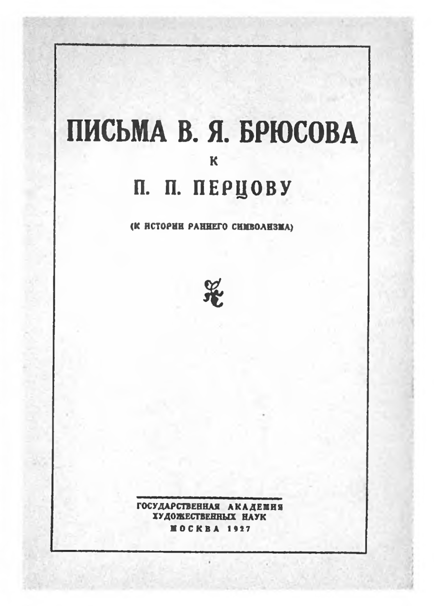
Титульный лист и форзац сборника «Молодая поэзия»
с дарственной надписью издателей В.Я. Брюсову


П. ПЕРЦОВЪ.

ПЕРВЫЙ СБОРНИКЪ

Славянофильство. — Литература и театръ. —
Путевые очерки.

«Первый сборник»
П.П. Перцова (СПб., 1902)


ПИСЬМА В. Я. БРЮСОВА
К
П. П. ПЕРЦОВУ
(К ИСТОРИИ РАННЕГО СИМВОЛИЗМА)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
МОСКВА 1927

«Письма В.Я. Брюсова к П.П.
Перцову»
(М., 1927)



Д.В. Философов



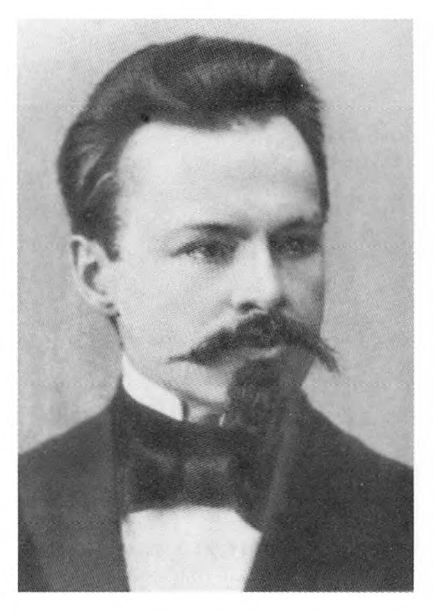
Д.С. Мережковский



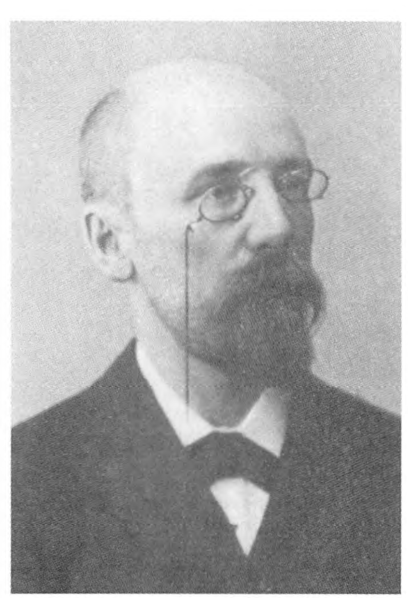
З.Н. Гиппиус



В.Я. Брюсов



К.Д. Бальмонт



Ф. Сологуб



А.А. Блок



А. Белый.
Портрет работы Л.С. Бакста. 1906 г.



А.М. Добролюбов



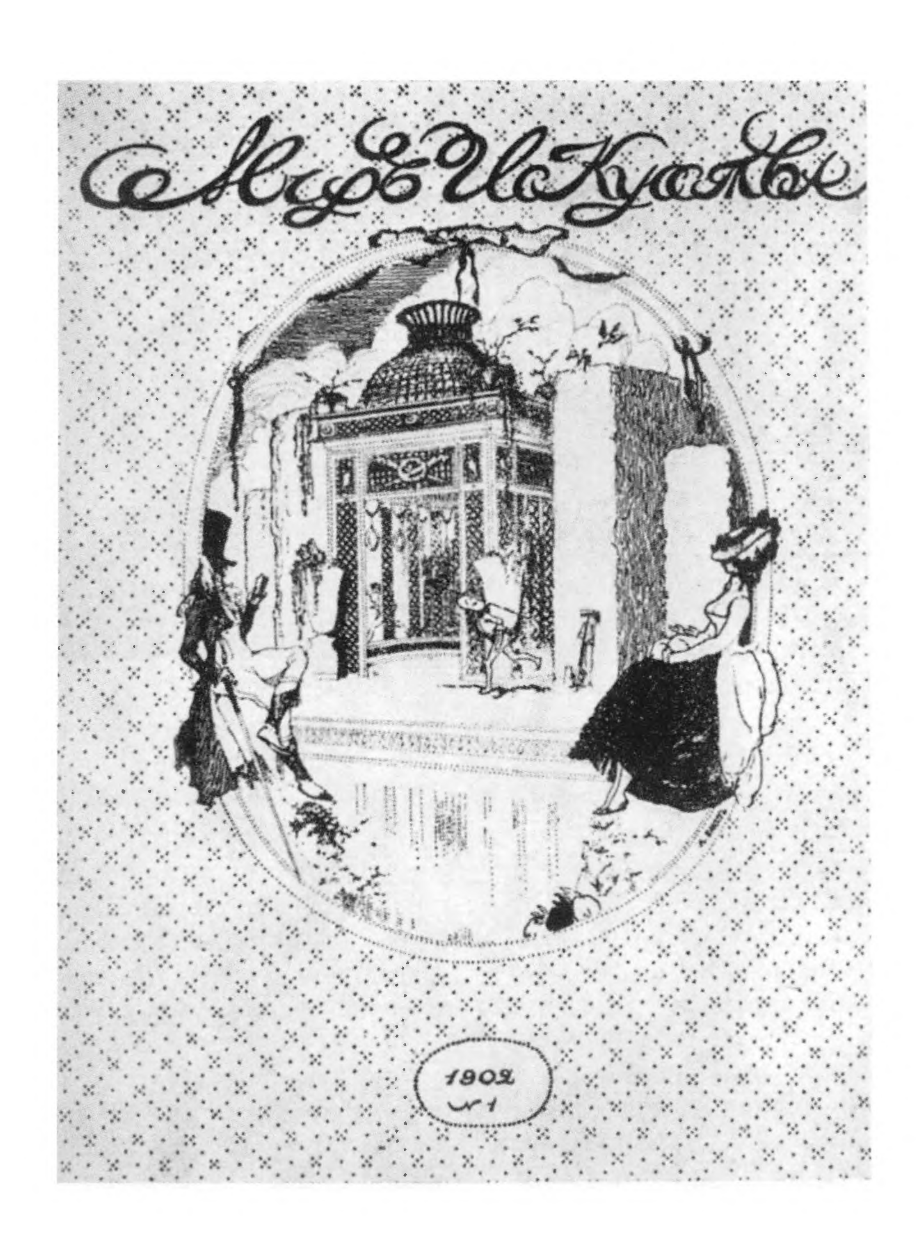
И.И. Коневской



Вл.В. Гиппиус



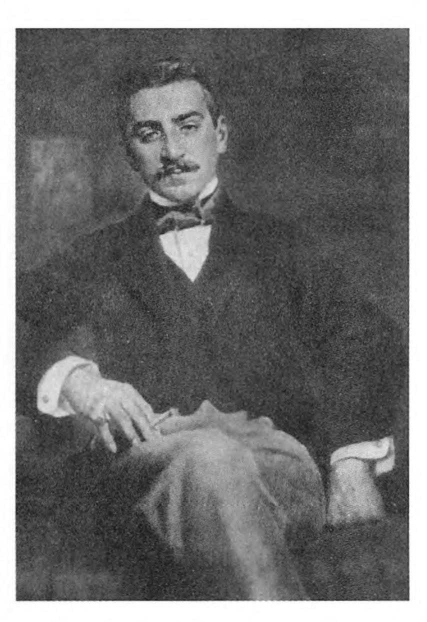
В.В. Розанов



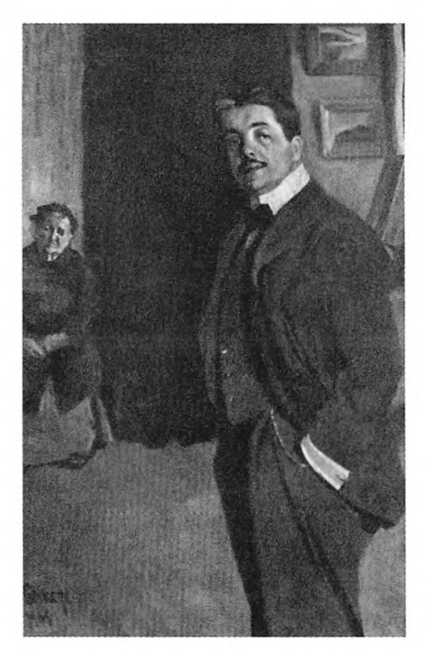
Обложка журнала «Мир искусства» (1902. №1)



А.П. Нурок.
Литография В.А. Серова. 1899 г.



В.Ф. Нувель.
Портрет работы Л.С. Бакста. 1895 г.



С.П. Дягилев с няней.
Портрет работы Л.С. Бакста. 1906 г.



Е.Е. Лансере.
Портрет работы К.А. Сомова. 1907 г.



В.А. Серов.
Автопортрет. 1885 г.



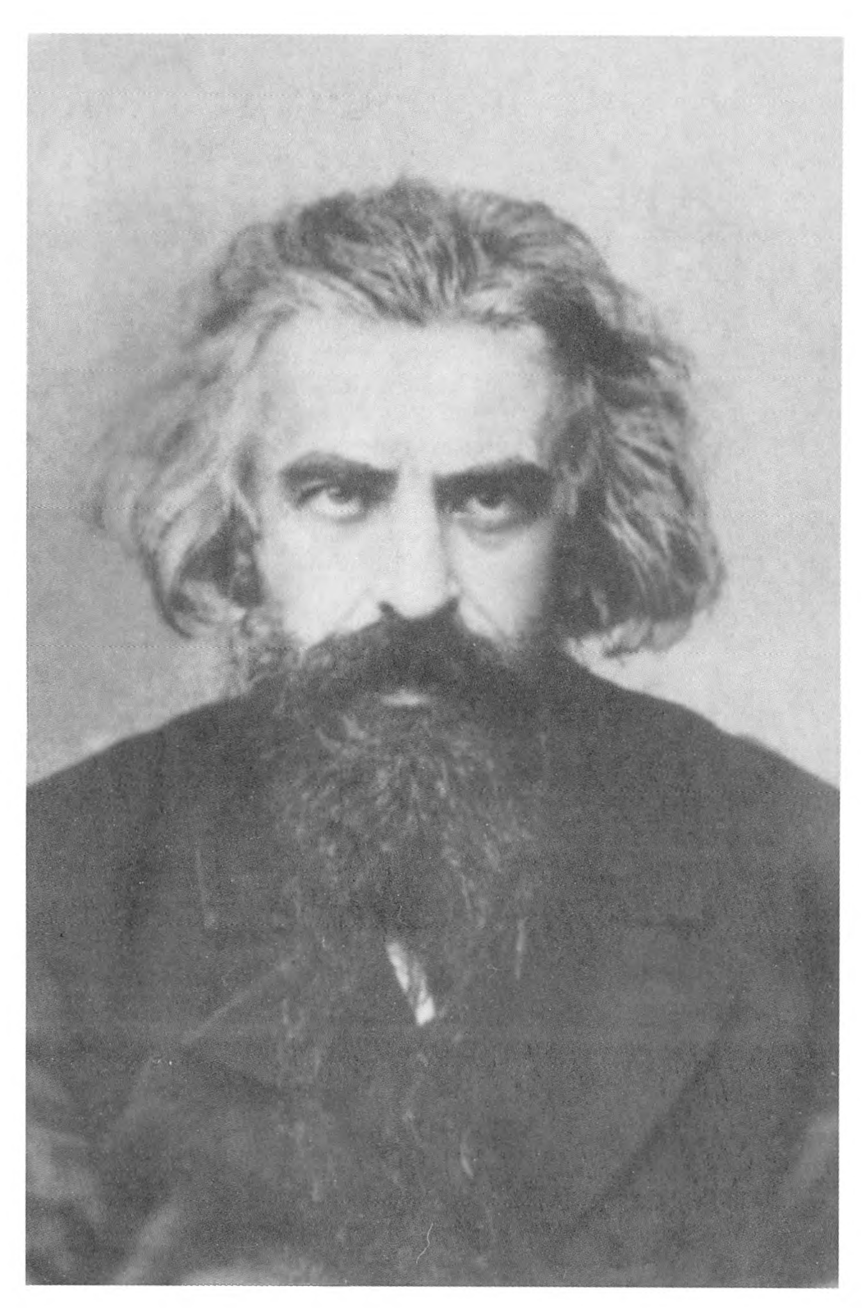
К.А. Сомов.
Автопортрет. 1903 г.



В.П. Протейкинский
Литография Л.С. Бакста. 1899 г.



Л.С. Бакст
Автопортрет. 1906 г.



В.С. Соловьев

П. ПЕРЦОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1890 — 1902 гг.

Предисловие
Б. Ф. ПОРШНЕВА

«ACADEMIA»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1933

Титульный лист первого издания «Литературных воспоминаний» П.П. Перцова.

«Пале-рояль», № 143.

Многоуважаемый Николай Максимович!

Посылаю Вам «евангелие от Перцова». Но, ради Бога, не затеряйте, не забудьте и не увезите рукописи — *unicum*. А также не давайте кому-либо на чтение, ибо я вообще избегаю читателей. Убежден, что Вы исполните обе просьбы. Перед отъездом верните мне на Палерояль.

Преданный Вам П. Перцов.

Если вздумаете зайти, то я дома всегда около 10 ч. вечера.

19 июня 1902 г.

На обороте листа с текстом письма — карандашные записи Минского, имеющие отношение к содержанию статьи Перцова: «Бытие — тезис. Небытие — антитезис. Становление — синтезис»; там же — черновые карандашные наброски схем.

[114] Автограф: ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1377.

[115] Разговору предшествовало письмо Перцова — ответ на приведенное выше письмо Минского (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 305):

«Пале-рояль», № 143

Многоуважаемый Николай Максимович!

Мне очень приятно Ваше внимание к моей рукописи, которого она не могла найти у предыдущих читателей (Мережковские, Тернавцев). Лично для меня, с теоретической точки зрения, в ней всего дороже *чертеж*, ибо он дает фундамент всей постройке. Я не совсем понимаю, как можно отречься от триады. Мне кажется, это — *свойство* мысли, как три измерения — свойство пространства (или того, что мы зовем пространством). Очень любопытно будет поговорить с Вами. Вы принимаете третий, соединяющий, мир. Но как? Боюсь, что как уже *данное*, от века сущее, как процесс взаимодействия Бога и мира (так же как и Христос для Вас премирен). Но тогда он — «идея» (как и Ваш Христос). А для меня он (Пан-Феос) — *осуществляющийся* и весь лишь *в проекции* данный *реальный факт*. «Града грядущего взыскую». И главное, реального, реального — платонического взаимоотношения Бога и мира с взаимным самоотрицанием и самопожертвованием мне мало. Трудно говорить. Вообще трудно говорить. Все, как у Вавилонского столба, кто во что горазд. Оттого и Дух медлит новым схождением: *тогда* «пребывали единодушно вместе». А ныне, прежде чем добраться до единодушия, едва встретишь «преклоненный слух». Если позволите, я зайду к Вам *в субботу* 29-го, как прежде около 5 ч. Когда Вы заходили, мне, к сожалению, как раз пришлось отлучиться по делу журнала. Оно стои́т так: завтра (четверг) *доклад* Зверева министру. Говорят, пройдет.

Преданный Вам П. Перцов.

Если Вам в субботу неудобно — известите.

1902 26/VI.

В заключительных строках письма идет речь о хлопотах с целью получения разрешения на издание «Нового Пути»; упоминается Николай Андреевич Зверев (1850—1917), товарищ министра народного просвещения, в 1903—1905 гг. начальник Главного управления по делам печати.

Глава VIII. «Мир Искусства»

[1] Сады Семирамиды — одно из семи чудес света древности (VI в. до н.э.), висячие сады вавилонской царицы Семирамиды (в действительности были сооружены Навуходоносором), террасообразная постройка в несколько ярусов.

[2] Речь идет о книге Игоря Грабаря «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество» (М.: Изд. И. Кнебель, [1914]). Незаконченный портрет Дягилева выполнен Серовым в 1903 г. (Собрание Ю.П. Дягилева; ныне Гос. Русский музей).

[3] См.: *Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». Л., 1928. С. 14—18.

[4] Там же. С. 44.

[5] Там же.

[6] Там же. С. 36.

[7] Там же.

[8] Подразумевается деятельность Д.В. Философова в эмиграции. С 1920 г., находясь в Варшаве, Философов включился (в тесном содружестве с Б.В. Савинковым) в активную политическую борьбу: с июля 1920 по октябрь 1921 г. — вице-председатель (председатель — Савинков) Русского политического (затем — эвакуационного) комитета, представлявшего собой прообраз антибольшевистского правительства; с июня 1921 г. — член ЦК Народного союза защиты родины и свободы и руководитель его Варшавского отделения; фактический руководитель варшавской ежедневной общественно-политической газеты «За свободу!» (1921—1932), в которой выступал с публицистическими статьями.

[9] уксусную соль (*фр.*).

[10] Книга Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия» печаталась в «Мире Искусства» с 1900 по 1902 г. См. примечания Е.А. Андрущенко в кн.: *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 529.

[11] Вл.С. Соловьев опубликовал в «Мире Искусства» две статьи — «Мицкевич. Речь на обеде в память Мицкевича 27 декабря 1898 г.» (1899. № 5. С. 27—30) и «Идея сверхчеловека» (1899. № 9. С. 87—91).

[12] Речь идет о письме И.Е. Репина «По адресу “Мира Искусства”», опубликованном в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу “Нива”» (1899. № 15. 10 апреля. С. 298—300) и перепечатанном в «Мире Искусства» (1899. № 10. Апрель. Приложение. С. 1—4).

[13] «Парисова стрела» (*греч. миф.;* от стрелы Париса, направляемой Аполлоном, погибает Ахилл) — ответное «Письмо по адресу И. Репина» С. Дягилева, опубликованное в «Мире Искусства» (1899. № 10. Приложение. С. 4—8). См.: Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 88—94, 309—316 (коммент. И.С. Зильберштейна и В.А. Самкова).

[14] См.: *Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». С. 11—12.

[15] Обыгрываются строки из стихотворения Пушкина «Анчар» (1828): «А князь тем ядом напитал // Свои послушливые стрелы».

[16] Выражение «музыка будущего» возникло после выхода книги Р. Вагнера «Произведение искусства будущего» (1850). Один из критиков книги, Л. Бишоф, иронически писал в «Нижнерейнской музыкальной газете» (1859. № 4), что музыкальные идеи Вагнера — это «музыка будущего». Вагнер полемически использовал это выражение в названии очередной своей публикации — «Музыка будущего» (1860). См.: *Вагнер Р.* Избранные работы. М., 1978. С. 494, 520.

[17] Имеется в виду статья В.В. Розанова «Валентин Александрович Серов на посмертной выставке»: «...черный жук завалился в глубокое кресло и молчит, точно воды в рот набрал: это — А.Н. Бенуа» (Новое время. 1914. 31 января).

[18] «История русской живописи в XIX веке» А. Бенуа состояла из двух выпусков, первый вышел в свет в начале 1901 г., второй — летом 1902 г. (СПб.).

[19] Цитата из упомянутой выше (примеч. 17) статьи Розанова.

[20] Это сообщение не соответствует действительности. Европейское признание Бакста нашло внешнее выражение лишь в присуждении ему золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе (1910).

[21] Бакст постоянно жил за рубежом с 1910 г.

[22] Имеется в виду следующая характеристика: «У Бакста золотые руки, удивительная техническая способность, много вкуса, пламенный энтузиазм к искусству, но он не знает, что ему делать. Бакст лихорадочно мечется и раскидывается <...>» (*Бенуа А.* История русской живописи в XIX веке. СПб., 1902. Ч. II. С. 268).

[23] Картина Бакста «Древний ужас (Terror antiquus)» (1908; Гос. Русский музей) экспонировалась в Осеннем салоне в Париже в 1908 г.

[24] Имеется в виду недатированное письмо Бакста к Перцову (карандашная помета адресата: 15 III 1903):

Многоуважаемый Петр Петрович.

Посылаю Вам фотографии и Леонардо с большою благодарностью. И то и другое мне принесло много пользы (разумеется не текст Леонардо).

Жму Вашу руку преданный Вам

Лев Бакст

(ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1211. Упоминается книга «Леонардо да Винчи» (СПб., 1900) А.Л. Волынского).

[25] Сын Бакста и дочери П.М. Третьякова Л. Грищенко-Бакст Андрей Бакст родился в 1907 г.

[26] См.: *Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». С. 33. Ср. сообщение в письме Перцова к Д.Е. Максимову от 5 июля 1930 г.: «...главой чистых эстетов в "М[ире] Иск[усства]" был отнюдь не Бенуа, очень-таки зараженный тогда мистикой и философистикой (сколько с ним перебеседовали мы на эти темы,

блуждая ночью по Литейному!), а Нувель и особенно "пещерный декадент" (термин Мережк[овского]) Нурок» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34).

[27] Кружок «Вечера современной музыки» возник в 1901 г. (первые собрания кружка — в 1900 г., с 1901 г. — открытые концерты), прекратил свою деятельность в 1912 г. См.: *Нестьев И.В.* Музыкальные кружки // Русская художественная культура конца XIX — начала XX века (1908—1917). М., 1977. Кн. 3. С. 474—481.

[28] См.: *Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». С. 32—34 (письма от 15/27 июня и 1 июля 1898 г.).

[29] пресыщенным, скептически настроенным (*фр.*).

[30] Неточные цитаты из статьи «Валентин Александрович Серов на посмертной выставке», упоминавшейся выше (примеч. 17).

[31] «Юдифь» (1863; либретто Д.И. Лобанова, К.И. Званцова, А.Н. Майкова) и «Вражья сила» (1871; либретто А.Н. Островского) — оперы А.Н. Серова.

[32] См.: *Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». С. 37.

[33] В 1900 г. Серов писал три портрета Николая II — в тужурке, в форме шотландского драгунского полка и в парадной форме 80-го Кабардинского полка (последний не был окончен). Портрет царя в тужурке экспонировался на 3-й выставке «Мира Искусства» в январе 1901 г.

[34] «сладкий Сомов» (*нем.*).

[35] В упомянутом (примеч. 12) письме «По адресу "Мира Искусства"» Репин замечает: «...выставки ваши поддерживаются все же такими художниками, как Серов, Рябушкин <...> и др., вовсе не имеющими острого характера упадка вроде бедного калеки-уродца К. Сомова, которого вы ставите во главе движения вашей школы <...>»; там же работы Сомова характеризуются как «жалкие уродства».

[36] Малявин находился на Афоне в русском монастыре св. Пантелеймона с 1885 до начала 1892 г., работал там в иконописной мастерской. См.: *Сергей Глаголь.* Ф.А. Малявин // Московская городская художественная галерея П. и С.М. Третьяковых. М., 1909. С. 154—155 (мемуарные свидетельства В.А. Беклемишева); *Живова О.А.* Филипп Андреевич Малявин. 1869—1940. Жизнь и творчество. М., 1967. С. 15—21.

[37] Имеется в виду картина Малявина «Смех» (1890), которая экспонировалась на Всемирной выставке в Париже, открывшейся в апреле 1900 г. Малявин был награжден на выставке золотой медалью. Картина хранится в Музее современного искусства в Венеции.

[38] Предложение расписать церковь Александра Невского в Абастумане Нестеров получил в 1898 г., работал над росписью церкви в 1902—1904 гг. (см.: *Нестеров М.В.* Воспоминания. М., 1985. С. 219—225, 241—249). Нестеровские эскизы росписей абастуманской церкви экспонировались на 3-й выставке «Мира Искусства» в январе 1901 г. См. письма Нестерова к Перцову из Абастумана от 8 и 27 июня 1903 г. (*Нестеров М.В.* Письма. Избранное. Л., 1988.

С. 207—208). Об абастуманских росписях Перцов написал в статье «М.В. Нестеров» (1920-е гг.): «Здесь впервые Нестеров имел в своем распоряжении стены целого здания — удача редкая для русского художника <...> Именно абастуманские работы, кажется, можно признать стадией наибольшего уклонения художника от основной линии его пути: это самые “западные” из его работ <...> на этих работах есть какой-то налет “декадентства” в том смысле, какой придавали этому термину в эстетических спорах тех лет» (РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 1046. Л. 17—18).

[39] Над образами Владимирского собора в Киеве Нестеров работал в 1891—1895 гг. Им были написаны (по собственным эскизам): «Рождество» и «Воскресение» (запрестольные образа двух приделов), «Богоявление» (в крестильне), а также образа на хорах (в иконостасах северного и южного приделов), образа царских врат обоих пределов, образа святых Варвары, Константина, Елены, Кирилла, Мефодия. В статье «М.В. Нестеров» Перцов охарактеризовал росписи Владимирского собора: «Это именно Нестеров <...> — Нестеров, прошедший сквозь эстетические обольщения Запада, заразившийся острыми соблазнами Возрождения, утративший, как северный пришлец на южных берегах, родную мощь и стихийность в очаровании этих новых возможностей. Узнаешь стиль пресловутых “прерафаэлитов” (и всего более, может быть, рафинированного младшего Липпи) — в робкой хрупкости этих фигур, в гибкости их безвольных поз, в манерности жестов, в затаенном выражении лиц. <...> На всех этих фигурах, в стройности этих композиций, в таких очаровательных деталях, как золотистые плоды апельсинового деревца на “Воскресении” или разноцветные чашечки крупных тюльпанов там же, лежит оттенок душевного изящества, столь характерного для Нестерова. В них пробился интимный лиризм художника, растопив неподвижный холод канонических тем горением личного переживания» (Там же. Л. 16—17).

[40] Перцов сохранил дружеские связи с Нестеровым в пореволюционные десятилетия. См.: *Нестеров М.В.* Письма. С. 282—285 (письмо к Перцову от апреля 1923 г.), 287 (письмо к С.Н. Дурылину от сентября 1923 г. с аттестацией Перцова: «Петр Петрович — искреннейший и благороднейший человек»), 294 (письмо к Э.Ф. Голлербаху от 14 февраля 1924 г.: Перцов назван как один из двух авторов, кому можно предложить написать о творчестве Нестерова).

[41] См. очерк Розанова «Н.Н. Страхов, его личность и деятельность» (*Розанов В.* Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. I. С. 1—112).

[42] См. портрет С.П. Дягилева с няней работы Л.С. Бакста (1906; Гос. Русский музей).

[43] Сокращенная цитата (*Бенуа А.* Возникновение «Мира Искусства». С. 30).

[44] В фельетоне из серии «Критические очерки», появившемся в «Новом времени» 16 апреля 1899 г., Буренин писал: «Не знаю, к разряду митрофанушек, падких до всяких запоздалых европейских и особенно французских мод,

или к числу шарлатанящих дилетантов принадлежит г. Дягилев <...>. Но несомненно, что этот выскочка — дилетант самый комический, хотя в то же время и самый развязный из современных непризванных судей искусства. Ведь никто иной, как Дягилев, проповедует декадентщину "с ученым видом знатока" и содействует торгашеской рекламе в искусстве».

[45] См. примеч. 6 к гл. VII.

[46] А.И. Косоротов детские и отроческие годы провел в Новочеркасске, где в 1887 г. закончил классическую гимназию.

[47] Подразумевается эпизод из главы 18-й («Спруты») 2-й части романа «Двадцать тысяч лье под водой» (1870). См.: *Верн Ж.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 4. С. 410—412.

[48] Согласно Геродоту (История, III, 40—42), Поликрат, тиран острова Самос, ради того чтобы сопутствовавшие ему успехи не сменились неудачами, бросил в море самую дорогую для него вещь — смарагдовый перстень, но драгоценность возвратилась к своему владельцу (рыбак подарил Поликрату пойманную им большую рыбу, и в ее брюхе был обнаружен перстень). Этот сюжет получил широкую известность благодаря балладе Ф. Шиллера «Поликратов перстень» (1797), переведенной на русский язык В.А. Жуковским.

[49] Косоротов участвовал в организации петербургской газеты «Русь», начатой изданием в 1903 г.

[50] Пьеса «Весенний поток» была опубликована отдельным изданием вместе с другой пьесой Косоротова «Княжна Зоренька (Зеркало)» (СПб., 1905); поставлена в декабре 1904 г. в Петербурге в Театре В.Ф. Коммиссаржевской, позже шла во многих театрах России.

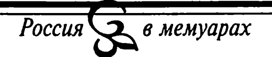
[51] Статья С.А. Андреевского «Вырождение рифмы (Заметки о современной поэзии)» была опубликована в № 5 «Мира Искусства» за 1901 г. (С. 211—236).

[52] Имеется в виду статья Брюсова «Искусство или жизнь (К 10-летию со дня смерти А. Фета)» (Мир Искусства. 1903. № 1/2. С. 25—30).

[53] Цитаты из письма Перцова к Брюсову от 3 апреля 1901 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 7).

[54] Цитаты из недатированных писем Брюсова к Перцову; последний зафиксировал на автографах даты получения — соответственно 7 и 20 апреля 1901 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 20). Статья Брюсова «Ответ г. Андреевскому» была опубликована в том же номере «Мира Искусства» (1901. № 5. С. 237—247), что и статья Андреевского «Вырождение рифмы».

[55] Стихотворение впервые опубликовано в отдельном издании «Литературных воспоминаний» Перцова (С. 307). Сохранился его автограф (заглавие: «Hommage» — *фр.*: Дань уважения) с датировкой (рукой Перцова): «1901; IV» — и пояснениями Перцова: «*На Сергея Павловича Дягилева*, о котором члены "Мира Искусства" говорили: "Он — наш Наполеон". (В ответ я послал З.Н. юмористич[еское] стихотворение "*Vive l'empereure!*")» (РГАЛИ. Ф. 154. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1—1 об.). См.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С. 292, 528.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Литературные воспоминания. Часть II

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 2—8).

[1] «О, какие то были года!» — строка из стихотворения «Мы забыты, одни на земле...», входящего в цикл «О чем поет ветер» (1913).

[2] Подразумевается, по всей вероятности, фраза из письма Мережковского от 2 января 1900 г.: «Дорогой Петр Петрович, с новым веком, в котором, я надеюсь, будет нечто действительно *новое*...» (Рус. литература. 1991. № 3. С. 139. Публ. М.Ю. Кореневой).

[3] Обыгрываются строки из стихотворения Н.А. Некрасова «В столицах шум, гремят витии...» (1858): «А там, во глубине России — // Там вековая тишина».

[4] «Новый век — предвестие несчастья» (*фр.*).

[5] Подразумевается «Новый Путь» (1903—1904).

[6] Так в машинописи.

[7] Доклад В.А. Тернавцева «Русская церковь перед великою задачей» был прочитан на 1-м Религиозно-философском собрании в Петербурге 29 ноября 1901 г. и позже опубликован в «Новом Пути» (1903. № 1), перепечатан в «Записках Петербургских Религиозно-философских собраний (1902—1903)» (СПб., 1906).

[8] Религиозно-философские собрания проходили в имп. Русском географическом обществе (Чернышевская пл., 2).

[9] Предположение «умер?» — характерное свидетельство того, что в 1930—1940-е гг. на территорию СССР уже, как правило, не проникали более или менее достоверные сведения о судьбе писателей-эмигрантов.

[10] «Журнал для всех» — петербургский ежемесячный иллюстрированный журнал, выходивший с 1895 до осени 1906 г., с 1899 г. — под редакцией В.С. Миролюбова.

[11] В стенограммах Религиозно-философских собраний, печатавшихся в «Новом Пути», зафиксировано участие М.А. Лисицына. Письма этого священника (за подписью «Законоучитель М. Лисицын») от 19 и 23 августа 1901 г. В.В. Розанов поместил в томе 1-м своей книги «Около церковных стен» (1906). См.: *Розанов В.В.* Около церковных стен. М., 1995. С. 78—79.

[12] В числе участников прений на Религиозно-философских собраниях — И.Ф. Альбов.

[13] Ср. сообщенный Перцовым в письме к Д.Е. Максимову от 12 января 1929 г. список членов-учредителей «Нового Пути»: «1) Преосвящ[енный] Сер-

гий, первый викарий петерб[ургской] митрополии; Д.С. Мережковский; В.С. Миролюбов; В.В. Розанов; Валентин Александр[ович] Тернавцев, тогда чиновник особ[ых] поруч[ений] при Побед[оносцеве] (казначей). — Эти 5 составляли Совет. Далее: 6) свящ[енник] Альбов; 7) Зин[аида] Н[иколаевна]; 8) Егоров — секретарь собраний; 9) Антон Влад[имирович] Карташев — тогда проф[ессор] Дух[овной] Акад[емии]; 10) друг его Вас[илий] Вас[ильевич] Успенский — тоже проф[ессор]; 11) Минский — поэт; 12) Новоселов Мих[аил] Александр[ович] — б[ывший] толстовец, тогда уже ортодоксал[ьный] церковник; 13) Сергий архим[андрит], ректор петерб[ургской] дух[овной] семинарии; 14) Вас[илий] Мих[айлович] Скворцов — чин[овник] ос[обых] поруч[ений] у Поб[едоносцева] и его правая рука; 15) Дм[итрий] Влад[имирович] Философов — тогда помощ[ник] Дягилева по редакции “Мира Иск[усства]”; 16) Фурнье П.П. — друг Егорова; 17) Иван Павл[ович] Щербов — препод[аватель] петер[бургской] семин[арии] (о нем есть у Роз[анова] в “Оп[авших] лист[ьях]”); 18) я» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 34). Эти сведения Д.Е. Максимов использовал в своей статье о «Новом Пути» (см.: *Евгеньев-Максимов В., Максимов Д.* Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Л., 1930. С. 139—140).

Русская поэзия тридцать лет назад

Впервые: Свиток: Сборник литературного общества «Никитинские субботники». М.: Никитинские субботники, 1926. № 4. С. 249—280. Печатается по тексту этого издания.

Содержание очерка нашло отражение в позднейших «Литературных воспоминаниях» Перцова (гл. V—VIII). В нижеследующих примечаниях не повторяются сведения, приведенные выше в примечаниях к указанным главам.

[1] Подразумевается следующая характеристика из романа «Новь» (1876; ч. 1, гл. IV): «Он <...> втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи. Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их <...>. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную слабость» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 9. С. 156).

[2] Стихотворение 1886 г.; см.: *Надсон С.Я.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1962. С. 302.

[3] Неоднократно используемая Надсоном рифменная пара: «Люди братья! Когда же окончится бой // У подножья престола Ваала // И блеснет в небесах над усталой землей // Золотая заря идеала!» («По следам Диогена», 1879); «Пусть

разбит и поруган святой идеал // И струится невинная кровь, – // Верь: настанет пора — и погибнет Ваал, // И вернется на землю любовь!» («Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», 1880) и др. (Там же. С. 105, 110).

[4] Строка из стихотворения «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...»

[5] Видимо, контаминация образов из разных стихотворений Надсона: «На грозный бой с глубокой мглою!» («Не весь я твой — меня зовут...», 1878), «Иди вперед к заре познанья, // Борясь с глубокой мглой ночной...» («Во мгле», 1878), «Вперед, борцы, на бой жестокий <...> // Со мглой, тяжелой и глубокой, // С мертвящей, безотрадной мглой!» («Призыв», 1878; было запрещено цензурой, но могло распространяться в списках) и т. д. (Там же. С. 51, 59, 67).

[6] Начальные строки стихотворения К.М. Фофанова (1885). См.: *Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 66. В первом сборнике Фофанова «Стихотворения» (СПб., 1887) это стихотворение открывало книгу и было набрано особым шрифтом, что подчеркивало его программный характер (см.: *Тарланов Е.З.* Константин Фофанов: легенда и действительность. Петрозаводск, 1993. С. 36—37).

[7] См.: *Полонский Я.П.* Полн. собр. стихотворений: В 5 т. СПб., 1896. Т. 2. С. 431.

[8] Стихотворение 1887 г. (*Фофанов К.М.* Стихотворения и поэмы. С. 86).

[9] Стихотворение 1841 г., включенное в издание «Стихотворений» Фета в двух томах (М., 1863).

[10] Сандрильона — героиня одноименной сказки Шарля Перро (1697); в русской переводческой традиции — Золушка.

[11] Сборнику К.Д. Бальмонта «Под северным небом: Элегии, стансы, сонеты» (СПб., 1894) предшествовала его первая книга «Сборник стихотворений» (Ярославль, 1890).

[12] Подразумевается книга Брюсова «Στέφανοζ. Венок: Стихи 1903—1905 года» (М.: Скорпион, 1906).

[13] Подразумеваются критические отзывы Вл. Соловьева о 1-м и 2-м сборниках «Русские символисты» (Вестник Европы. 1894. № 8. С. 890—892; 1895. № 1. С. 421—424; оба за подписью: Вл. С.), включавшие три стихотворных пародии на произведения символистов. См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 164—166, 300 (примеч. З.Г. Минц).

[14] См.: Стихотворения графа Петра Дмитриевича Бутурлина, собранные и изданные после его смерти графинею Я.А. Бутурлиной. Киев, 1897. С. 48. В.Ю. фон Дрентельну посвящено также стихотворение Бутурлина «Другу-поэту» («Поэт, не стоят слез поблекшие мечты...») (Там же. С. 166).

[15] А.М. Федоров в годы эмиграции (с 1919 г.) жил в Болгарии, был председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии; умер в Софии в 1949 г.

[16] В сборнике «Молодая поэзия» (СПб., 1895. С. 210—211) были помещены стихотворения В. Шуфа «Весна» («Весна, весна! Цветут фиалки...») и «Похоронена жизнь моя бедная...».

[17] Заключительная строка стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет...» (1825).

[18] Отзыв помещен за подписью: Ап. К—ский (С. 477—478).

[19] Цитаты из письма от 18 февраля 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову 1894—1896 гг. [М.], 1927. С. 8).

[20] Там же. С. 8—9. Л. Монд — псевдоним, под которым Л.Г. Мунштейн публиковал в 1892—1894 гг. лирические стихотворения в журнале «Семья».

[21] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 9, 13.

[22] Там же. С. 9—10.

[23] Подготовленный к печати сборник стихотворений Лялечкина, о котором сообщалось в некрологах поэту, не был издан, и рукопись его не обнаружена. Первая посмертная подборка (23 стихотворения, извлеченных из журналов и газет 1890-х гг.) осуществлена Л.А. Николаевой, подготовившей также биографическую справку о Лялечкине; см.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972. С. 559—582.

[24] Неточно цитируются первые строки стихотворения, открывающего книгу Бальмонта «В безбрежности» (М., 1895. С. 1).

[25] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 15. В следующем письме к Перцову, также датированном 25 марта 1895 г. (Там же. С. 16), Брюсов уточнял, что в предыдущем письме он имел в виду стихотворение Бальмонта «В безводном колодце» («Меж стен отсыревших, покрытых грибками...») — впервые опубликованное в «Русской мысли» (1895. № 3. С. 192) и вошедшее в книгу Бальмонта «В безбрежности» (С. 161—162).

[26] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 10.

[27] Там же. С. 28.

[28] Там же. С. 24, 46.

[29] Там же. С. 48.

[30] Книга статей Андрея Белого «Символизм» вышла в свет в московском издательстве «Мусагет» в 1910 г.

[31] Цитата из письма от 18 ноября 1895 г. (Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 47—48).

[32] Там же. С. 76.

[33] Псевдоним, под которым выступала в периодике 1890—1900-х гг. поэтесса Е.А. Буланина.

[34] Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. С. 78.

Воспоминания о В.В. Розанове

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир» (1998. № 10. С. 146—160. Публ., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. Сукача). Печатается по тексту этой публикации, с использованием сведений, сообщенных в комментариях.

[1] Подразумевается политика в системе гимназического образования, направленная к усиленному внедрению классических языков (древнегреческого и латыни), которую проводили граф Д.А. Толстой, министр народного просвещения в 1866—1880 гг., и И.Д. Делянов, министр народного просвещения в 1882—1897 гг. Розанов преподавал историю и географию в провинциальных гимназиях Московского учебного округа в 1882—1893 гг.

[2] Последнее письмо Розанова к Перцову датируется 4/17 сентября 1918 г. (Лит. учеба. 1990. № 1. С. 81—82. Публ. Евг. Ивановой и Т. Померанской). Начало их личного знакомства относится к ноябрю 1896 г.; первое письмо Перцова к Розанову датировано 7 ноября 1896 г. (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77).

[3] Работа Розанова «“Легенда о Великом Инквизиторе” Ф.М. Достоевского» была впервые опубликована в «Русском вестнике» в 1891 г. (№ 1—4). Сведения о ранних печатных выступлениях Розанова суммированы в «Библиографическом указателе первых публикаций В.В. Розанова за 1889—1900 гг.», составленном В.Г. Сукачом (Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 2. С. 196—244).

[4] По переезде в Петербург Розанов исполнял должность чиновника особых поручений при государственном контролере.

[5] Имеются в виду полемические статьи Розанова «Почему мы отказываемся от наследства?» (Московские ведомости. 1891. 7 июля), «В чем главный недостаток “наследства 60—70-х годов”?» (Там же. 1891. 14 июля) и ответные «Письма о разных разностях» Н.К. Михайловского, опубликованные в «Русских ведомостях» 25 июля 1891 г.

[6] На статью Розанова «Свобода и вера» (Рус. вестник. 1894. № 1), написанную по поводу статьи Вл. Соловьева «Исторический сфинкс» (Вестник Европы. 1893. № 7), последний откликнулся статьей «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 2); отклик Розанова на эту статью — «Ответ г. Владимиру Соловьеву» (Рус. вестник. 1894. № 4).

[7] После кончины Страхова Розанов опубликовал развернутый очерк о нем «Вечная память» (Рус. обозрение. 1896. № 10. С. 629—664; *Розанов В.* Литературные очерки. СПб., 1902. С. 238—268), позже — еще более пространный очерк «Н.Н. Страхов, его личность и деятельность» (*Розанов В.* Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913. С. 1—112).

[8] Источник цитаты не выявлен.

[9] Ср. суждение Розанова в «Уединенном» (1912): «Трех людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фл[оренско]го. Первый умер мальчиком (26 л.), ни в чем не выразившись; второй был "Тентетников", просто гревший на солнышке брюшко» (*Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 109). С П.А. Флоренским Розанов особенно тесно общался в Сергиевом Посаде в 1917—1918 гг.

[10] Этот портрет выполнен Л.С. Бакстом в 1902 г.

[11] Первые работы, отразившие интерес Розанова к египетской культуре, — статьи «О древнеегипетских обелисках» (Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете». 1899. № 1. 21 марта), «О древнеегипетской красоте» (Мир Искусства. Т. 1. № 10/12; Т. 2. № 16/17). См.: *Розанов В.В.* Во дворе язычников. М., 1999. С. 10—46. Более поздние его работы на эту тему вошли в кн.: *Розанов В.* Из восточных мотивов. Вып. 1—2. Пг., 1916; Вып. 3. Пг. 1917. См.: *Розанов В.В.* В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 337—424.

[12] пожиратель либералов (*нем.*).

[13] Статью «Ослабнувший фетиш (Психологические основы русской революции)», написанную в феврале-марте 1906 г., Розанов предлагал напечатать в еженедельном журнале кадетской партии «Полярная звезда», а также в журнале «Русское богатство» (см. его письмо к В.Г. Короленко от 5—7 апреля 1906 г.: *Розанов В.В.* Мысли о литературе. М., 1989. С. 515—516), но там она не была принята. Была опубликована отдельным изданием (СПб., 1906), затем вошла в книгу Розанова «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» (СПб., 1910). См.: *Розанов В.В.* Когда начальство ушло... М., 1997. С. 142—155.

[14] В мае 1897 г. Перцов уехал в Италию, пробыл за границей до лета 1898 г.

[15] Розанов проживал тогда в доме № 26 по Большому пр. Петербургской стороны — на углу Павловской ул. (дом № 2, Ефимова).

[16] Первая из названных статей Розанова («Христианство пассивно или активно?»), представлявшая собой отклик на статью Вл. Соловьева «Судьба Пушкина» (Вестник Европы. 1897. № 9), была опубликована в «Новом времени» 28 октября 1897 г., вторая (написанная по поводу статьи М.О. Меньшикова «Элементы романа», напечатанной в № 9—10 «Книжек Недели» за 1897 г.) — там же 19 ноября 1897 г., третья (рецензия на кн.: *Лухманова Н.А.* Черты общественной жизни. СПб., 1898) — в «Биржевых ведомостях» 1 и 3 мая 1898 г. Статьи вошли в сборник Розанова «Религия и культура» (СПб., 1899. С. 148—166, 187—203).

[17] в разгар революции (*фр.*).

[18] Сотрудником «Нового времени» Розанов оставался вплоть до закрытия газеты в ноябре 1917 г.

[19] См.: Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб., 1913. Книге предпослана статья Розанова «Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине» (С. 1—

66). Переиздание: *Розанов В.В.* Из припоминаний и мыслей об А.С. Суворине. М., 1992.

[20] Подразумевается письмо М.П. Соловьева от 18 мая 1898 г.: «Василий Васильевич! Под гнетом духа любострастия пишете Вы последние статьи Ваши. Ваш М. Соловьев» (РГБ. Ф. 249. М 4208. Л. 15. Приведено в комментарии В.Г. Сукача).

[21] О собраниях в квартире Розанова (переехавшего по адресу: Шпалерная ул., 39, кв. 4) в первой половине 1900-х гг. см. в «Воспоминаниях о Розанове» Д.А. Лутохина (Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 5—7; В.В. Розанов: pro et contra. СПб., 1995. Кн. I. С. 194—195).

[22] «Оглашенные» и «елицы верные» — формулы православной литургии. «Елицы» — все (множ. число от «еликий» — какой, который, сколький). «Оглашенный» — объявленный готовящимся принять христианство и обязанный по возгласу во время литургии «оглашенные, изыдите» выйти из церкви.

[23] «Русский Ницше», «в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше» — характеристики Розанова, данные Мережковским в книге «Л. Толстой и Достоевский». См.: *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский / Издание подготовила Е.А. Андрущенко. М., 2000. С. 202.

[24] Подразумевается исключение Розанова из состава членов Религиозно-философского общества на общем собрании 26 января 1914 г.; основанием для этого послужили антисемитские печатные выступления Розанова в связи с делом М. Бейлиса (см.: В.В. Розанов: pro et contra. Кн. II. С. 184—215).

[25] Подразумеваются Религиозно-философские собрания, проходившие с 29 ноября 1901 г. до 19 апреля 1903 г.

[26] Доклад «Христос — Судия мира» был опубликован в «Новом Пути» (1903. № 4. С. 134—150) под заглавием «Об основаниях церковной юрисдикции или о Христе — Судии мира», доклад «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», прочитанный на заседании Религиозно-философского общества 21 ноября 1907 г., был опубликован в «Русской мысли» (1908. № 1. Отд. II. С. 33—42) и в «Записках С.-Петербургского Религиозно-философского общества» (Вып. II. СПб., 1908. С. 19—27). Оба текста вошли в книгу Розанова «Темный лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911). См.: *Розанов В.В.* [Соч.] Т. 1: Религия и культура. М., 1990. С. 542—571.

[27] Перцову принадлежат две рецензии на «Опавшие листья» (короб 1-й и 2-й) Розанова; первая опубликована в «Новом времени» 24 апреля 1913 г., вторая — в иллюстрированном приложении к той же газете 31 октября 1915 г. (№ 14240. С. 9—10), обе — за подписью: П. П—в. См.: В.В. Розанов: pro et contra. Кн. II. С. 180—183.

[28] Обстоятельства запрещения Религиозно-философских собраний подробно излагаются в письме З.Н. Гиппиус к Перцову от 20 апреля 1903 г. (Рус. литература. 1992. № 1. С. 139—143. Публ. М.М. Павловой).

[29] Подразумевается статья М.О. Меньшикова «Тоже стиль модерн» (Новое время. 1903. 23 марта), написанная по поводу писем протоиерея А.П. Устьинского, опубликованных в «новопутейском» разделе Розанова «В своем углу». Розанов отозвался на нее статьей «Ответ г. Меньшикову» (Новое время. 1903. 28 марта); о гневной реакции Розанова на выступление Меньшикова свидетельствует З.Н. Гиппиус в письме к Перцову от 6 апреля 1903 г. (Рус. литература. 1992. № 1. С. 136). Статья Меньшикова, содержавшая резкую критику «Нового Пути», была (согласно сообщению Гиппиус в письме к Перцову от 20 апреля 1903 г.: Там же. С. 140) преподнесена для ознакомления Николаю II, который якобы выразил возмущение журналом.

[30] Речь идет о Религиозно-философском обществе в Петербурге, первое заседание которого состоялось 3 октября 1907 г. См.: *Scherrer J.* Die Petersburger religiös-philosophischer Vereinigungen: Die Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses ihrer Intelligencija-Mitglieder (1901—1917). Berlin, 1973.

[31] Во 2-м коалиционном Временном правительстве А.В. Карташев с 24 июля 1917 г. — обер-прокурор Св. Синода, по упразднении этого поста и учреждении Министерства исповеданий — его глава (с 5 августа 1917 г.).

[32] Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева в Москве начало свою деятельность осенью 1906 г. (см.: *Соболев А.В.* К истории Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева // Историко-философский ежегодник—92. М., 1994. С. 102—114); Розанов, постоянно проживавший в Петербурге, регулярно участвовать в его заседаниях не мог.

[33] Впоследствии, в 1910-е гг., Розанов разошелся с Г.С. Петровым; см. развернутую негативную характеристику его: В.В. Розанов о ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов) / Вступ. статья, публ. и коммент. А.В. Ломоносова // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 92.

[34] В ежедневной московской газете «Русское слово» Розанов сотрудничал с конца 1905 по 1912 г.

[35] «Уединенное» было издано в Петербурге в 1912 г., «Опавшие листья» — там же в 1913 (короб 1-й) и в 1915 г. (короб 2-й и последний).

[36] Ныне в собрании сочинений Розанова, выпускаемом в свет московским издательством «Республика» под общей редакцией А.Н. Николюкина, изданы по авторским рукописям дополнительные циклы записей того же жанра — в составе томов «Мимолетное» (1994), «Когда начальство ушло...» (1997), «Сахарна» (1998), «Последние листья» (2000), «Апокалипсис нашего времени» (2000).

[37] О содержании этой книги Розанов сообщает в письме к А.А. Александрову (январь 1898 г.; публикация В.Г. Сукача в кн.: *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 678—679). По всей вероятности, материалы, предполагавшиеся к включению в эту книгу, были использованы в опубликованных позднее произведениях Розанова.

[38] Выдержки из посмертного медицинского заключения (9 марта 1919 г.) о состоянии здоровья Розанова в последние месяцы жизни опубликовал В.Г. Сукач в комментариях к первой публикации этого очерка (см.: Новый мир. 1998. № 10. С. 160).

[39] Розанов выехал из Петрограда в Сергиев Посад в конце августа или начале сентября 1917 г.

[40] Розанов учился в Московском университете в 1878—1882 гг. О кончине Розанова Перцову сообщила его дочь, Н.В. Розанова, в письме от 6 февраля 1919 г.: «23-го янв[аря] ст[арого] ст[иля] в среду в 1 ч. дня скончался папа. 2 мес[яца] он болел параличом, который произошел на почве сильных потрясений и продолжительной голодовки. Он похудал так, что походил на тень, я легко его переносила с кровати на руках, как ребенка. Надо было одно — усиленное питание — которое мы не могли ему дать при всем усилии. Он все слабел и слабел и вот 23-го его не стало. Умер он совсем тихо, радостно, радостно, со всеми простился. 4 раза он причащался, 1 раз его соборовали, три раза над ним читали отходную, во время которой он и скончался. За неск[олько] минут до † ему положили пелену, снятую с изголовья с мощей преп[одобного] Сергия, и он тихо, тихо заснул под ней» (Лит. учеба. 1990. № 1. С. 88. Публ. Евг. Ивановой и Т. Померанской).

[41] В.Г. Сукач сообщает: «Розанов был похоронен на территории Гефсиманского скита, слева от церкви Черниговской Божией Матери, подле могилы К.Н. Леонтьева. В 1923 году могилы двух мыслителей наряду с другими могилами были срыты. В 1991 году была восстановлена могила Леонтьева по найденной плите, и в 1992 году была восстановлена могила Розанова, определенная по точной записи в дневнике Пришвина, посетившего кладбище в конце 1927 года с дочерью писателя Татьяной Васильевной Розановой. На могилах установлены дубовые православные кресты» (Новый мир. 1998. № 10. С. 160).

Ранний Блок

Впервые опубликовано отдельным изданием: *Перцов П.* Ранний Блок. М.: Костры, 1922. Печатается по тексту этого издания.

В извлечениях перепечатано в кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. статья, составление, подготовка текста и комментарии Вл. Орлова. М., 1980. Т. 1. С. 195—203. Ниже учтены сведения, приведенные в комментариях к этому изданию.

Позднейший краткий очерк Перцова «Блок первых годов. 1902—1906 гг. (Воспоминания и письма)» (1940), как и очерк «Ранний Блок», включает публикацию писем Блока к автору. Текст начинается словами: «Я знал Бл[ока] в его самые ранние, дебютные дни, о которых едва ли теперь у многих сохрани-

лись воспоминания. Когда он пришел в литературу, она была еще настолько “старомодна”, что трудно было ожидать, чтобы она охотно вместила пришельца и приветствовала его» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1).

[1] Эпиграф — заключительные строки стихотворения «Мы забыты, одни на земле...» из цикла «О чем поет ветер» (1913).

[2] Подразумевается скандальный эффект, вызванный однострочным стихотворением Брюсова «О, закрой свои бледные ноги». См. примеч. 11 к гл. V «Литературных воспоминаний».

[3] Романы «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895) и «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900) — первые две части трилогии «Христос и Антихрист».

[4] Заключительные строки стихотворения Перцова «Недавно» («Это недавно так было...», 1891), впервые опубликованного в журнале «Наблюдатель» (1896. № 7) и включенного в рукописный сборник «Стихотворения (1890—1936)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 5).

[5] Лето 1902 г. Мережковский и З. Гиппиус проводили в имении Заклинье близ Луги.

[6] Заключительные строки стихотворения Перцова «Осень» («Люблю усталую природу...»), опубликованного в «Новом Пути» (1903. № 8. С. 32).

[7] З.Н. Гиппиус, однако, впервые ознакомилась со стихотворениями Блока годом ранее. О.М. Соловьева сообщала матери поэта, А.А. Кублицкой-Пиоттух, 19 сентября 1901 г.: «... я виновата; я послала Гиппиус Сашины стихи, на что не получала от него никакого разрешения и не знаю, позволил ли бы он. Двое стихов: “Предчувствую тебя” и “Ищу спасенья”. Я не скрыла имени автора <...>. Просто послала с прибавлением всех наших мнений. Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью. <...> Гиппиус (без всякого на то позволения с моей стороны) показала стихи Мережковскому и говорит, что он с ней согласен» (Лит. наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 176). К моменту, описываемому Перцовым, Блок уже лично познакомился с Мережковскими (26 марта 1902 г.) и вступил с Гиппиус в переписку; подробнее см. в работе З.Г. Минц «Блок в полемике с Мережковскими» (*Минц З.Г.* Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 543—550).

[8] Ср. замечание в письме Гиппиус к Блоку (Луга, 15 сентября 1902 г.): «Перцов в вас просто влюблен <...>» (Там же. С. 550). О том, что подборка стихотворений Блока намечена к публикации в «Новом Пути», Перцов информировал Брюсова в письме от 12 октября 1902 г. (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 185).

[9] Личное знакомство Блока и Перцова состоялось, возможно, в среду 9 октября 1902 г.; 7 октября З. Гиппиус писала Блоку: «Хочется поговорить с вами <...> и познакомить вас с П.П. Перцовым. Поэтому приходите в среду обедать, к 7 часам. <...> Пожалуйста, приходите, П[ерцов] тоже обедает» (*Минц З.Г.* Александр Блок и русские писатели. С. 557).

[10] Это письмо было ответным на письмо Перцова от 1 ноября 1902 г. следующего содержания: «Я с искренней радостью прочел Ваши стихи: мало что на свете радует больше, чем встреча с истинным “Божией милостью” талантом, в какой бы то ни было области, в области поэзии особенно. Мне лично Ваша поэзия “Прекрасной Дамы”, как говорите Вы, или “Бого-природы”, как говорю я, на языке моей философии, — особенно близка и понятна. Пусть же она пошлет вам лучшие свои вдохновения!» (Письма П.П. Перцова к Блоку (1902—1908) / Предисл., публ. и коммент. И.И. Аброскиной // Лит. наследство. М., 1980. Т. 92. Кн. 1. С. 459. Далее при отсылках к этой публикации указывается только номер страницы).

[11] Автографы приводимых ниже 15 писем Блока хранятся в фонде Перцова в ИМЛИ (Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 47—49). См.: Александр Блок. Переписка: Аннотированный каталог / Под ред. В.Н. Орлова. Вып. 1. Письма Александра Блока / Сост. Н.Т. Панченко, К.Н. Суворова, М.В. Чарушникова. М., 1975. С. 338—340.

[12] Неточно цитируются строки из стихотворения Фета «На пятидесятилетие музы 29 января 1889 года» («На утре дней всё ярче и чудесней...», 1889).

[13] В очерке «Блок первых годов» Перцов так характеризует приведенное письмо: «Это, столь юное, письмо характерно для Бл[ока] тех годов — певца Пр[екрасной] Д[амы]. Стихотворная цитата в конце — из юбилейного стихотвор[ения] Фета 1889 г. Не лишено характерности также, при всем своем пафосе не забыл поставить в конце письма точный свой адрес — черта столь редкая для русского корреспондента, особенно тех лет. Ни Белый, ни даже Бальмонт едва ли вспомнили бы об этом» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1 об.).

[14] Подразумеваются стихотворения «Я, отрок, зажигаю свечи...» (7 июля 1902 г.) и «Когда святого забвения...» (май 1902 г.). Оба стихотворения были опубликованы в составе цикла Блока «Из посвящений» (Новый Путь. 1903. № 3. С. 53, 52).

[15] В редакции текста, опубликованной в «Новом Пути» (Там же. С. 49), первая строка: «Новых созвучий ищу на страницах» (в корректуре зафиксирован еще один вариант: «Странно нежданного жду на страницах», — возможно, принадлежавший редактору). Опубликованный вариант строки и два варианта, сообщаемые в письме, в автографе стихотворения записаны на полях при незачеркнутом первоначальном варианте. Впоследствии Блок восстановил первоначальный вариант первой строки стихотворения. См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 1. С. 102, 279, 526.

[16] Имеется в виду стихотворение «Я, отрок, зажигаю свечи...» (7 июля 1902 г.). Изменение строки «Покорный сладостному взгляду» на «Покорный ласковому взгляду» зафиксировано в тетради беловых автографов стихотворений Блока. См.: Там же. С. 292, 539.

[17] Стихотворение «Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...», 28 декабря 1903 г.) открывало 1-й раздел книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М.: Гриф, 1905. С. 7—8).

[18] См. другие авторские варианты строк этой строфы: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 325, 578—579.

[19] Автограф: РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 4. Под текстом — пометы Перцова: «“Стих[и] о Прекр[асной] Даме”. стр. 25. Более *ранняя* редакция. В “Нов[ом] Пути” (1904; 6) с изменениями».

[20] См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 106, 283—284, 531. В № 6 «Нового Пути» за 1904 г. была опубликована подборка из девяти стихотворений Блока (С. 26—34).

[21] Этот автограф стихотворения не выявлен.

[22] Ср. пояснения к этому письму в очерке Перцова «Блок первых годов»: «И это письмо, как первое, несет на себе календарную дату — черта, опять-таки далеко не обычная для тогдашнего российского, вне времени и простр[анства] пребывавшего человека. Но блоковская точность все-таки на этот раз несколько изменила ему; просьба поставить его имя полностью вовсе не освобождала от подозрения в авторстве его отца, как имевшего то же самое имя — Александр. Вероятно, просто само это красивое имя нравилось Блоку, и оно, действительно, так же идет к нему, как его почерк, уравновешивая впечатление от некрасивой и вызывающей неприятные ассоциации (тогда была общеизвестная банкирская фирма: Генрих Блок), полуиностранной фамилии» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 2 об.).

[23] Строфа из стихотворения «Странных и новых ищу на страницах...» («Новых созвучий ищу на страницах...» — в редакции текста, опубликованной в «Новом Пути» и в «Стихах о Прекрасной Даме» 1905 г.).

[24] Заключительная строфа стихотворения «Верю в Солнце Завета...» (22 февраля 1902 г.).

[25] В № 3 «Нового Пути» за 1903 г. был опубликован новеллистический цикл А.М. Ремизова «На этапе. Эскизы» (С. 27—40).

[26] Кавдинское (Каудинское) ущелье — два высоких тесных горных прохода близ города Каудиума в стране самнитов; знаменито поражением, которое понесли здесь римляне во вторую самнитскую войну (321 г. до н. э.), запертые противником между западным и восточным проходом.

[27] Подразумевается в данном случае не первая публикация пьесы «Балаганчик» в сборнике «Факелы» (Кн. 1. СПб., 1906), а ее постановка в Театре В.Ф. Коммиссаржевской (премьера — 30 декабря 1906 г.).

[28] Цитата из письма, полученного Перцовым 10 августа 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21).

[29] В архиве Брюсова сохранились списки этих стихотворений Блока, сделанные рукой Перцова (РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 16); на полях обоих стихотворений Брюсов сделал помету: «С. Цв.» — т. е. предназначил их к опуб-

ликованию в альманахе «Северные цветы» (где они, однако, не могли появиться, поскольку были включены в «новопутейский» цикл «Из посвящений»). См. вступительную статью Ю.П. Благоволиной к публикации переписки Блока с В.Я. Брюсовым (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 480, 484).

[30] Подробнее см. мемуарный очерк «Брюсовское стихотворение “Младшим”» в настоящем издании.

[31] Перцов ошибается: стихотворение «И снова подхожу к окну...» (26 октября 1903 г.) вошло в раздел «Ущерб» книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (С. 123) и позднее перепечатывалось во всех собраниях стихотворений, составленных Блоком. См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 162, 604.

[32] Стихотворение «Был вечер яростно багровый...» (апрель-сентябрь 1902 г.) было впервые опубликовано в газете «Речь» в 1907 г. (25 декабря), в исправленной редакции («Был вечер поздний и багровый...») входило во все последующие собрания стихотворений, составленные Блоком. См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 123—124, 309—310, 552.

[33] Первое из этих стихотворений — «Передо мной — моя дорога...» (30 сентября 1902 г.) — было впервые опубликовано Перцовым в приложении к «Раннему Блоку» (С. 70) по автографу (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1); см.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.; СПб., 1999. Т. 4. С. 168—169, 560—561. Второе стихотворение — «Осень поздняя. Небо открытое...» (август 1905 г.) — было впервые опубликовано в разделе «Нечаянная Радость» книги Блока «Нечаянная Радость: Второй сборник стихов» (М.: Скорпион, 1907. С. 141) и входило во все последующие собрания стихотворений, составленные Блоком; см.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 18—19, 577. Блок передал Перцову автограф этого стихотворения в ответ на его просьбу (в письме от 27 января 1906 г.) принести «стихи <...> о больной русалке и вообще о “болотном”»: «Хотелось бы их перечитывать» (С. 463).

[34] Раздел «Приложение» из книги «Ранний Блок» (С. 67—75) нами не воспроизводится. См. варианты строк в двух последних стихотворениях, отмеченные Перцовым: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 228—229, 456; Т. 2. С. 390—391 (первоначальная редакция), 724—725.

[35] См. перечень выявленных откликов на публикации стихотворений Блока в 1903 г. в аннотированной библиографической хронике «Блок в критике современников», составленной В.И. Якубовичем при участии Н.Г. Захаренко, В.В. Серебряковой, Л.С. Шепелевой (Лит. наследство. М., 1993. Т. 92. Кн. 5. С. 636—637).

[36] См.: Новый Путь. 1903. № 3. С. 219, 222—223; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 523—525.

[37] Обыгрывается заключительная строка стихотворения Вл.С. Соловьева «Отзыв на “Песни из «уголка»”» («Дарит меня двойной отрадой...», 1898): «За-

рей во всю немую ночь». См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 119.

[38] Первая строфа стихотворения (22 февраля 1902 г.), заключительного в цикле Блока «Из посвящений».

[39] Об этом письме З.Н. Гиппиус идет речь и в ответном письме Перцова от 28 февраля 1903 г. (С. 460).

[40] Это стихотворение было впервые опубликовано (под заглавием «Менуэт», без посвящения К.А. Сомову) в книге Андрея Белого «Золото в лазури» (М., 1904. С. 68—69); по автографу, присланному Блоку, — в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 25. Перцов писал Блоку в ответном письме: «Стихи Бугаева очень “милы” и свежи. Субтильность вполне сомовская — казалось, не встретишь у Бугаева. — Спасибо за копии» (С. 460).

[41] Речь идет о редакторских предложениях-коррективах Перцова к стихотворениям Блока, намеченным к публикации в «Новом Пути», которые были высказаны в письме к Блоку от 28 февраля 1903 г. (С. 460—461).

[42] Блок передает суждения Андрея Белого, высказанные в письме к нему (февраль — март 1903 г.) относительно высылаемых при письме стихотворений. См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. С. 21, 26.

[43] См.: Новый Путь. 1903. № 4. С. 164—165; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 525.

[44] Пояснения к тексту см. в примеч. Д.Е. Максимова и Г.А. Шабельской (Там же. С. 769).

[45] См.: Новый Путь. 1903. № 4. С. 173—174; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 526. Вероятно, именно на роман Зарина Перцов предлагал Блоку написать рецензию в письме от 23 марта 1903 г. (С. 461).

[46] Июнь 1903 г. Блок провел в Бад Наугейме (Германия), в июле — первой половине августа жил в Шахматове.

[47] См.: Новый Путь. 1904. № 1. С. 250—252, 253—254; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 528—532.

[48] 8 декабря 1903 г. Перцов отвечал: «Жду рецензий на Бальмонта и Брюсова» (С. 462). О рецензии на книги К.Д. Бальмонта «Будем как Солнце: Книга символов» (М.: Скорпион, 1903) и «Только любовь. Семицветник» (М.: Гриф, 1904) см. выше; рецензия на книгу В. Брюсова «Urbi et Orbi. Стихи 1900—1903 г.» (М.: Скорпион, 1903) была опубликована в № 7 «Нового Пути» за 1904 г. (С. 202—208). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 540—545.

[49] Первая книга Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905) была выпущена в свет издательством «Гриф» в конце октября 1904 г. См.: *Кузнецова О.* Первый лирический сборник Александра Блока (1904): К истории издания. М., 1999. Сохранился экземпляр книги, подаренный Перцову, с надписью: «Многоуважаемому Петру Петровичу Перцову любящий и преданный Алекс. Блок» (Лит. наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 114). Перцов благодарил Блока за «первинку» в письме от 3 ноября 1904 г. (С. 463).

[50] Подразумеваются издания «Скорпиона»: *Сологуб Ф.* Собр. стихов. Кн. III и IV. 1897—1903. М., 1904; *Коневской Ив.* Стихи и проза: Посмертное собр. соч. М., 1904. Перцов отвечал 8 декабря: «О Сологубе у нас уже заказана рецензия; Коневской же еще не выходил» (С. 462).

[51] 8 декабря 1903 г. Перцов писал Блоку: «Ваши стихи я прочел с большим удовольствием, и почти все они показались мне удачными. Вы знаете мои симпатии к Вашей музе и поэтому поверите, что если бы это зависело только от меня — стихи Ваши непременно были бы напечатаны в “Новом Пути”. Но, к сожалению, против них существует такая упорная и обширная оппозиция, что в настоящее по крайней мере время я лишен возможности это сделать. Всякая новизна требует привычки к ней, и я живо помню еще время, когда Бальмонт и Брюсов возбуждали такое же недоумение, как Вы. Поэтому эти затруднения первых шагов не должны Вас обескураживать. Ваше будущее во всяком случае принадлежит Вам. Сборник, мне кажется, Вам следует издать, хотя бы уже потому, что таким путем легче достигается и литературное “признание”» (С. 461—462).

[52] Имеются в виду Михаил Сергеевич Соловьев и его жена Ольга Михайловна Соловьева (двоюродная сестра матери Блока, А.А. Кублицкой-Пиоттух); М.С. Соловьев скончался 16 января 1903 г., О.М. Соловьева сразу же после смерти мужа покончила с собой.

[53] «Стихи и проза» И. Коневского вышли в свет в начале последней декады 1903 г. Рецензии на это издание Блок не написал, но, судя по многочисленным маргиналиям на принадлежавшем ему экземпляре книги, вынашивал этот замысел. См.: *Мордерер В.Я.* Блок и Иван Коневской // Лит. наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 158—159.

[54] Это стихотворение было опубликовано в «Альманахе “Гриф”» (М., 1904. С. 27).

[55] Стихотворение предполагалось к публикации в том же альманахе; впервые напечатано (в составе цикла «Город») в следующем его выпуске: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 24. На автографе стихотворения — приписка Перцова: «Запрещено цензурою у “Грифа”» (факсимиле рукописи — в кн.: *Венгров Н.* Путь Александра Блока. М., 1963. С. 141). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 610.

[56] В очерке «Блок первых годов» Перцов писал в той же связи: «Стихотвор[ение] “Фабрика” было бы, конечно, вычеркнуто и цензором “Нов[ого] Пути”. Нельзя при этом случае не подивиться проницательности цензуры, как будто угадавшей скрывавшиеся за этими, столь неожиданными для певца Пр[екрасной] Д[амы], строками далекие перспективы... Но уже через год поэт воскликнет: “Пусть заменят нас новые люди!” (стих. “Поднимались из тьмы погребов”, 1904 г.), и с каждым годом эти мотивы будут для него все ближе, пока не выльются в пророческие строфы “Нов[ой] Ам[ерики]” (1913) и в заключительные вихри “Двенадцати” (1918)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 4).

[57] При публикации стихотворения «Потемнели, поблекли залы...» (4 февраля 1903 г.) в «Новом Пути» (1904. № 6. С. 33) был сохранен первоначальный вариант заключительной строфы. См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 146—147, 327, 582. В ответном письме к Блоку от 1 мая 1904 г. Перцов нашел неудачным новый вариант строфы и сообщил: «Стихи думаю поместить в № 6, если... не встретится препятствий» (С. 462).

[58] «Новое мне не понравилось», — отозвался Перцов о дополнительно присланном стихотворении в том же письме (С. 462).

[59] См.: Новый Путь. 1904. № 6. С. 200—206; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 534—540. 1 мая 1904 г. Перцов писал Блоку: «Рецензии о Бальмонте и Иванове — прекрасны. Большое за них спасибо» (С. 462).

[60] Подразумеваются оттиски публикаций Блока в «Новом Пути».

[61] См. примеч. 48. Блок откликается на просьбу Перцова в письме от 1 мая 1904 г.: «Вот какая просьба и большая: напишите *поскорее* рецензию на "Urbi et Orbi", но в "трезвом" жанре <...>. Ведь Вы отлично можете, когда захотите. А нам *очень* нужно» (С. 462).

[62] Речь идет о попытках изменить заключительные строки стихотворения «Потемнели, поблекли залы...» (см. примеч. 57): «И, шатаясь, вторил тот самый — // Незнакомец с бледным лицом». На исправленный вариант, предложенный Блоком в письме от 27 апреля 1904 г., Перцов отозвался в ответном письме от 1 мая: «Вариант вм[есто] "тот самый" неудачен» (С. 462).

[63] В том же письме Перцов предлагал Блоку дополнительно исправить текст стихотворения «Потемнели, поблекли залы...»: «Нехороша и основная редакция. Не знаю, что делать. Нельзя ли оставить "за рамой" или "у рамы" — ведь действие в каком-то коридоре? Не придумаете ли чего?» (С. 462).

[64] Речь идет о стихотворении Брюсова «Конь блед», присланном для публикации в «Новом Пути», где оно впервые и увидело свет (1904. № 5. С. 146—147). О получении стихотворения Перцов сообщил Блоку в письме от 1 мая 1904 г., добавив: «Знаете, мне не очень. М[ожет] б[ыть], потому, что ранее много слышал. Мне кажется, вообще *не* брюсовская тема» (С. 462).

[65] О восприятии Блоком книги Брюсова «Urbi et Orbi» см. во вступительной статье З.Г. Минц к публикации переписки Блока с Брюсовым (Лит. наследство. Кн. 1. Т. 92. С. 469—474).

[66] В авторских примечаниях к книге 2-й Собрания стихотворений Блока (Нечаянная Радость (1904—1906). М.: Мусагет, 1912) указано: «"Последний день". Влияние "Коня Бледа" В. Брюсова» (С. 219). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. С. 220.

[67] См.: Новый Путь. 1904. № 11. С. 49—50.

[68] Первоначально, с февраля 1906 г., редактировавшееся Перцовым издание называлось «Литературным приложением к газете "Слово"» («Слово» — ежедневная петербургская общественно-литературная газета), заглавие «Понедельники газеты "Слово"» — с № 11.

[69] В письме от 27 января 1906 г. Перцов, приглашая Блока зайти в редакцию «Слова», добавлял: «Захватите с собой что-нибудь из новых Ваших стихов, которые меня весьма заинтересовали у Брюсова. Вы начинаете что-то новое, удивительно *желанное* — именно то самое, что ожидалось» (С. 463).

[70] Видимо, речь идет о восьми стихотворениях Блока, составивших цикл «Тишина цветет» (Весы. 1906. № 5. С. 1—16).

[71] В письме от 27 января 1906 г. Перцов предлагал Блоку: «Хотелось бы иметь рецензию на брюсовский “Στέφανοζ” и бальмонтовские “Фейные сказки” — м[ожет] б[ыть], Вы дадите их нам?» (С. 464). Блок написал для «Литературного приложения к газете “Слово”» отзывы об обеих книгах: рецензия на «Фейные сказки. Детские песенки» (М.: Гриф, 1905) К.Д. Бальмонта была опубликована в № 4 (1906. 27 февраля), рецензия на книгу стихов Брюсова «Στέφανοζ. Венок» (М.: Скорпион, 1906) — в № 2 (1906, 12 февраля). Другая рецензия Блока на книгу Брюсова появилась в «Золотом руне» (1906. № 1. С. 98—103). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 600—606, 615—617, 618—619.

[72] Рецензия Блока на литературно-философский сборник «Свободная совесть» (Кн. 1. М., 1906) была опубликована в № 2 «Весов» за 1906 г. (С. 71—74). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 606—611.

[73] Имеется в виду книга Перцова «Венеция» (СПб., 1905), первоначально публиковавшаяся в «Новом Пути» в 1903 г. (№ 3 — «Венеция. Путевые очерки», за подписью: Владимир Ф.; № 8, 9 — «Венецианская школа живописи»); сохранилась в библиотеке Блока, надпись на титульном листе: «Милому поэту “поздних времен” Александру Александровичу Блоку — от искренне любящего автора. СПб., 30 янв. 1906 г.» (Библиотека А.А. Блока. Описание / Сост. О.В. Миллер, Н.А. Колобова, С.Я. Вовина. Л., 1985. Кн. 2. С. 189).

[74] Намек на свое стихотворение «Вербная Суббота» («Вечерние люди уходят в дома...», 1 сентября 1903 г.), опубликованное в «Вопросах жизни» (1905. № 6. С. 156): «Влюбленные гости заморских племен // И, может быть, поздних, веселых времен...»

[75] Речь идет о стихотворении Блока «Нежный! У ласковой речки...» (18 октября 1904 г.), посвященном Федору Смородскому (опубликовано в № 1 «Литературного приложения к газете “Слово”» 6 февраля 1906 г. – без посвящения, под заглавием «Летний сон (Пастораль)»), и о его же статье «Педант о поэте» (отзыв о книге Н.А. Котляревского «М.Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения»), опубликованной там же в № 4 (27 февраля 1906 г.). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 25—30.

[76] Подразумевается фрагмент статьи «Педант о поэте», изъятый при ее публикации.

[77] Цитируется баллада Томского из 1-го действия (картина 1-я) оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (1890; либретто М.И. Чайковского по мотивам повести Пушкина). Ту же балладу Блок цитирует в стихотворении «По-

теха! Рокочет труба...» (июль 1905 г.); см.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. С. 57, 633.

[78] «Добро, строитель чудотворный!» — слова Евгения, героя поэмы Пушкина «Медный всадник» (ч. 2-я).

[79] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887). См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 79.

[80] «Основной отдел ("Магическое")» — авторское определение в примечаниях к книге 2-й Собрания стихотворений (Нечаянная Радость (1904—1906). М., 1912. С. 219). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. С. 219.

[81] Ср. характеристику приведенного письма в очерке Перцова «Блок первых годов»: «Это письмо, во второй своей 1/2, представляет несомненно одно из самых значительных и характерных авт[орских] высказываний Б[лока]. В наши дни нового усвоения Чайковского блоковские о нем строки звучат особенно интересно. "Пункт" этот недаром был "страшноватым" для Б[лока]: стихия Диониса в равной степени пугала и притягивала его, и это притяжение скажется впоследствии в стихийной вьюге "Двенадцати"...» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 5).

[82] Видимо, Блок выражал редакции «Золотого руна» свою готовность написать рецензию на «Венецию» Перцова (скорее всего, в несохранившихся письмах к С.А. Соколову, заведовавшему тогда в журнале литературно-критическим отделом). Рецензия написана не была, другого отзыва на «Венецию» в «Золотом руне» также не появилось.

[83] Статья Блока о Л. Андрееве или рецензия на публикации его произведений в «Литературном приложении к газете "Слово"» не появилась. Видимо, Блок собирался в ней дать отзыв о рассказе Андреева «Христиане», опубликованном в № 1 «Журнала для всех» за 1906 г.

[84] Издание ежемесячного журнала «Вопросы жизни» прекратилось на декабрьском номере за 1905 г.

[85] Из этих трех рецензий Блока в «Литературном приложении к газете "Слово"» была помещена лишь одна — на книгу Ник. Т—о (псевдоним И.Ф. Анненского) «Тихие песни» (СПб., 1904) (1906. № 5. 6 марта; см.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 619—621). Две другие рецензии в печати не появились, текст их неизвестен. Рецензия на С.К. Маковского — либо на его «Собрание стихов» (Кн. 1. СПб., 1905), либо на его книгу «Талашкино. Изделия мастерских кн. М.Кл. Тенишевой» (СПб., 1905). Отзыв «о двух книжонках, совсем незначительных» — вероятно (судя по следующему письму Блока к Перцову), на книги: *Костомарова А.* Две лилии. Очарованный лес. Мертвые герои. Наводнение 12 ноября 1903 года. СПб., 1904; *Русский.* Думы и песни: Посвящается молодому поколению. М., 1905.

[86] Рецензия Блока на книгу В.В. Сиповского «История русской словесности» (Часть I, вып. 1 (народная словесность), вып. 2 (история литературы с XI

по XVIII в.). СПб., 1906) была опубликована в «Литературном приложении к газете “Слово”» (1906. № 8. 27 марта. Подпись: Ал. Бл.). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 622—624.

[87] То есть 27 февраля. С.В. фон Штейн работал в редакции «Слова» – помогал Перцову (согласно его словам в письме к Блоку от 27 января 1906 г.) «по отделу библиографии» (С. 463).

[88] Помимо указанных выше (см. примеч. 71, 85, 86), в «Литературном приложении к газете “Слову”» была опубликована рецензия Блока на Полное собрание сочинений Артура Шницлера в 5 томах (М., 1903—1906) (1906. № 6. 13 марта. Подпись: Ал. Бл.). См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 621—622.

[89] Рецензию на «Книгу отражений» (СПб., 1906) И.Ф. Анненского Блок, вероятно, не написал (см. его следующее письмо к Перцову).

[90] Блок сдавал государственные экзамены на историко-филологическом факультете Петербургского университета с 4 марта по 5 мая 1906 г. (см.: *Кумпан К.А.* Александр Блок — выпускник Университета // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983. Т. 42. № 2. С. 163—178).

[91] Ответ на письмо от 28 марта 1906 г., в котором Перцов просил у Блока разрешения поместить «в пасхальном № приложения “Слова”» его стихотворение «Старушка и чертенята» («Побывала старушка у Троицы...»), ранее переданное для опубликования в «Весы»: «Если Вам неловко перед “Весами”, то *я беру это на себя.* Ведь туда Вы отдали много <...>. А нас Вы просто вывезете! Если Вы согласны, то я и от себя напишу Брюсову и уговорю его не претендовать» (С. 464). 29 марта 1906 г. Блок отослал Брюсову письмо с изъяснением ситуации, извинениями и предложением заменить стихотворение «одним из прилагаемых», Перцов отправил Брюсову подробное письмо на ту же тему 3 апреля; Брюсов ответил Перцову 5 апреля: «Что до “Старушки” Блока, то, конечно, мы нисколько не в обиде, что она миновала “Весы”» (см.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 492—493). Стихотворение Блока было опубликовано в «Литературном приложении к газете “Слово”» 2 апреля 1906 г.

[92] Ср. сообщение в письме Перцова к отцу от 8 сентября 1906 г.: «Наше “Слово” скончалось совсем, после долгой агонии и всяких неопределенностей» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 76).

[93] Кроме указанных публикаций в «Литературных приложениях» («Понедельниках») газеты «Слово», стихотворения Блока были помещены в 1906 г. в № 1 (см. примеч. 75), № 3 от 20 февраля («Мы подошли — и воды синие...»), № 5 от 6 марта («Оставь меня в моей дали!..»), № 7 от 20 марта («Старость мертвая бродит вокруг...»), № 9 (см. примеч. 91), № 10 от 17 апреля («Сольвейг»). Последний номер газеты в продажу не поступил; известен его экземпляр, присланный И.Ф. Анненским И.А. Шляпкину (ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 672).

[94] Неверное сообщение; стихотворение «Двойник» («Вот моя песня — тебе, Коломбина...», 30 июля 1903 г.) помещено в этой книге в разделе «Перстень-страданье». См.: *Блок А.* Нечаянная Радость: Второй сборник стихов. С. 92—93.

[95] См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. Т. 1. С. 158.

[96] № 12 «Понедельников газеты “Слово”» вышел 8 мая 1906 г. См.: *Блок А.* Земля в снегу: Третий сборник стихов. М.: Изд. ж-ла «Золотое руно», 1908. С. 104—105; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 359—360.

[97] Первая строка стихотворения (12 июня 1892 г.), предназначавшегося для V выпуска стихотворений Фета «Вечерние огни».

[98] Указываются страницы 2-го, дополненного издания книги (*Блок А.* Собр. стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость (1904—1906). М.: Мусагет, 1912).

[99] См. примеч. 71; *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 615—617.

[100] Рецензия Блока на Собрание сочинений Э. По в переводе К.Д. Бальмонта (Т. 2. М., 1906) опубликована в № 2 «Литературного приложения к газете “Слово”» 12 февраля 1906 г. См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 617—618.

[101] № 16 приложений к «Слову» вышел 12 июня 1906 г. (рецензия на кн.: *Leconte S.Ch.* Le sange de Méduse. Paris, 1906), № 19 — 3 июля 1906 г. (рецензия на кн.: «Tristia». Из новейшей французской лирики. Перевод И.И. Тхоржевского. СПб., 1906). Вторая рецензия — за подписью: Ал. Бл. См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 611—614, 625—626.

[102] № 17 приложений к «Слову» с рецензией на книгу В. Девисона (Чужестранца) «Рассказы» (СПб., 1906) вышел 19 июня 1906 г. Рецензия была перепечатана в т. 10 Собрания сочинений Блока в разделе «Приложения» — с пояснением Вл. Орлова: «Рецензия эта помещена в приложениях, так как принадлежность ее Ал. Блоку не установлена окончательно» (Л., [1935]. С. 350—351, 356), в последующие собрания сочинений поэта не включалась.

[103] Всего в «Литературном приложении к газете “Слово”» в 1906 г. напечатано 9 рецензий Блока (не считая рецензии, указанной в примеч. 102), все они учтены выше. В газете «Слово» в 1905 г. Блок не печатался.

[104] Интерпретация суждений Блока о Лермонтове, высказанных в статье «Педант о поэте» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 25—27).

[105] Подразумевается высокая оценка книг В.В. Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья», данная Блоком в статье «Судьба Аполлона Григорьева», опубликованной в кн.: Стихотворения Аполлона Григорьева / Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок. М., 1916. См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 509, 511.

[106] Здесь и ниже речь идет о 2-м издании «Нечаянной Радости» (см. примеч. 98).

[107] Заглавие «Молитва» это стихотворение имеет только в автографах; впоследствии получило заглавие «Вступление». См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. С. 7, 223, 551—552.

[108] Подразумевается раздел «Магическое» во 2-м издании «Нечаянной Радости».

[109] См.: *Блок А.* Земля в снегу. С. 7, 8; *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. С. 216.

[110] Экземпляры книг Блока «Нечаянная Радость» (М., 1907), «Снежная маска» (СПб.: Оры, 1907) и «Земля в снегу», подаренные Перцову, не выявлены (см: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 151). Получив первые две книги, Перцов писал Блоку (17 октября 1907 г.): «Прочел их с прежним сочувствием и интересом к Вашей музе. Конечно, мне, как Андрею Белому, остается ближе первый сборник, и Несравненную Даму я предпочитаю всем Снежным Маскам, которые ведь так быстро тают. Но мы живем в трех измерениях и среди их вечной маски, конечно, и сами обречены на грим. Поэтому я буду перечитывать и новый Ваш сборник и от души желаю Вам сменить еще много тайных личин» (С. 464—465); в другом письме к Блоку, от 2 февраля 1908 г., высылая газетную вырезку со статьей К. Милля о поэзии Блока («Ночная фиалка»), Перцов добавлял: «Фельетон неважный <...>. Я согласен с ним только в том, что первый Ваш сборник лучше двух других. Но вовсе не согласен, что не надо ждать еще лучших. Напротив, я лично убежден, что Вы, подобно Фету, зажжете Ваш настоящий свет только в “Вечерних огнях”» (С. 465). В благодарственном письме за присылку «Земли в снегу» (21 ноября 1908 г.) Перцов не высказал никаких оценок книге (Там же).

[111] Цитаты из стихотворений «Обреченный» (12 января 1907 г.) и «На снежном костре» («И взвился костер высокий...», 13 января 1907 г.), входящих в цикл Блока «Снежная маска».

[112] Первая строфа стихотворения Бальмонта, входящего в раздел «Проклятия» его книги «Только любовь. Семицветник» (1903). См.: *Бальмонт К.* Стихотворения. М., 1989. С. 454.

[113] Подразумевается книга Блока «Стихи о России» ([Пг.]: Изд. ж-ла «Отечество», 1915).

[114] Это стихотворение (24 сентября 1906 г.) вошло в книгу Блока «Земля в снегу» (С. 33—34), затем — в раздел «Нечаянная Радость» книги 2-й Собрания стихотворений «Нечаянная Радость» (С. 127—128).

[115] Цитаты из стихотворения «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (7 июня 1908 г.), первого в цикле «На поле Куликовом».

[116] Цитаты из стихотворения «Россия» («Опять, как в годы золотые...», 18 октября 1908 г.).

[117] Начальные строки стихотворения (8 сентября 1914 г.).

[118] Далее цитируется стихотворение «Новая Америка» («Праздник радостный, праздник великий...», 12 декабря 1913 г.), впервые опубликованное в газете «Русское слово» 25 декабря 1913 г. (под заглавием «Россия») и вошедшее в книгу Блока «Стихи о России» (С. 34—36).

[119] Цитаты из стихотворения «Скифы» («Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы...», 30 января 1918 г.).

[120] Строки из первоначальной редакции стихотворения «Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...», 28 декабря 1903 г.), открывающего раздел «Сти-

хи о Прекрасной Даме» в кн. 1 Стихотворений Блока. Первоначальная редакция этого стихотворения опубликована Перцовым (по принадлежавшему ему автографу) в разделе «Приложение» к «Раннему Блоку» (С. 72). См.: *Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 1. С. 228, 456.

Брюсов начала века

Опубликовано в журнале «Знамя» (1940. № 3. С. 247—256), под заглавием «Брюсов в начале века (Из воспоминаний)». Печатается по этой публикации с учетом правки Перцова, сделанной на авторском экземпляре печатного текста (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 21—25 об.).

[1] В альманахе «Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством “Скорпион”» (М., 1901) был опубликован рассказ Чехова «Ночью» — переработка раннего рассказа «В море» (1883); см.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1975. Т. 2. С. 268—271, 530—532 (примеч. Л.Д. Опульской и А.П. Чудакова). К сотрудничеству в «Северных цветах» Чехова привлек И.А. Бунин. По выходе альманаха в свет Чехов укорял Бунина за то, что тот вовлек его в это предприятие (см. письмо Чехова к Бунину от 20 апреля 1901 г.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1981. Т. 10. С. 13; см. также: *Гейдеко В.А.* Чехов и Ив. Бунин. М., 1976. С. 78—79).

[2] Имеется в виду книга Бунина «Листопад: Стихотворения» (М.: Скорпион, 1901), вышедшая в свет в январе 1901 г.

[3] В тексте опущены заключительные фразы: «Марксята почему-то ликуют. Ваш Валерий Брюсов» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 20).

[4] Начальные строки стихотворения «Кинжал» (1903), входящего в книгу Брюсова «Στέφανοζ» (*Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 422).

[5] Цитата из того же стихотворения.

[6] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 20.

[7] Обозначение NN в этом пушкинском документе исследователи соотносили с темой «утаенной» любви Пушкина: А.И. Незеленов и М.О. Гершензон указывали в этой связи на кн. М.А. Голицыну, П.Е. Щеголев — на М.Н. Раевскую (Волконскую), П.К. Губер — на Н.В. Кочубей (см.: *Губер П.К.* Дон-Жуанский список Пушкина. Пб., 1923. С. 56—57, 239—287) и т. д.; незадолго до публикации очерка Перцова была напечатана (Лит. современник. 1939. № 5/6; Лит. критик. 1939. № 5/6) статья Ю.Н. Тынянова «Безыменная любовь», в которой обосновывалась еще одна кандидатура — Е.А. Карамзина, жена Н.М. Карамзина.

[8] Сокращенная цитата (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21).

[9] Речь идет о статье Брюсова «Из жизни Пушкина» (Новый Путь. 1903. № 6. С. 84—102).

[10] 15 июня 1903 г. Брюсов писал Перцову: «...про моего Пушкина. Он вовсе не так страшен, как Вы его представляете. Ведь все факты взяты из самых распространенных книг, из сборников Л. Майкова, Я. Грота etc. *Умоляю* — оставьте "любострастную болезнь". В этом нет ничего неприличного. Сведение взято из Остафьевского Архива (и уже бывало перепечатано) <...> вообще готов пожертвовать лишним, но любострастная болезнь очень нужна. Без нее юный Пушкин не в Пушкина!» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22).

[11] оскорбление величества (*фр.*).

[12] Это и следующее, цитируемое Перцовым (полученное 14 января 1903 г.), письмо Брюсова в подборке писем за первую половину 1903 г. отсутствуют. Письма в этой подборке пронумерованы Перцовым; в архиве нет письма № 2 и письма № 7 за 1903 г. (соответственно № 90 и 95 по сквозной нумерации писем Брюсова к Перцову) (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22). Оба письма вошли в публикацию Д. Максимова «Валерий Брюсов и "Новый Путь"» (Лит. наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 290—294).

[13] Подразумевается статья Брюсова «Монна Ванна и г. Дорошевич» (Новый Путь. 1903. № 2. С. 191—192. Подпись: Москвитянин), включавшая полемику с В.М. Дорошевичем по поводу постановки пьесы М. Метерлинка «Монна Ванна» с В.Ф. Коммиссаржевской в главной роли.

[14] Имеется в виду кн.: Материалы для академического издания сочинений Пушкина / Собрал Л.Н. Майков. СПб., 1902. Рецензия на нее Брюсова, содержавшая отрицательную оценку, появилась в «Новом Пути» (1903. № 2. С. 174—184); краткий отзыв Брюсова на то же издание — в «Русском архиве» (1903. № 2. Обложка, с. 2. Подпись: А.).

[15] Цитата из недатированного письма, полученного Перцовым 17 января 1903 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 22). Четверг и пятница — 16 и 17 января 1903 г.

[16] «Стиль — это человек» — выражение французского естествоиспытателя Ж.-Л.-Л. Бюффона из речи, произнесенной им 25 августа 1763 г. на церемонии избрания его в члены Французской академии.

[17] Сокращенная цитата (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 20). О собраниях по субботам у Н.Д. Филиппова Брюсов сообщает также в дневниковых записях за февраль — март 1901 г. (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. [М.], 1927. С. 101). Фамилия Довнар-Запольский могла напомнить Брюсову об историке, археологе и этнографе Митрофане Викторовиче Довнар-Запольском (1867—1934), но в письме подразумевается, безусловно, не он.

[18] Обе «симфонии» были выпущены в свет издательством «Скорпион»: «Симфония (2-я, драматическая)» — в апреле 1902 г. (литературный дебют Андрея Белого), «Северная симфония (1-я, героическая)» (М., 1904) — в октябре 1903 г.

[19] Цитата из письма, полученного 19 октября 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21). 20 октября Перцов отвечал Брюсову: «... Вы переоцениваете восходящего Бугаева. Что он — тоже из этуалей, я, конечно, не отрицаю, но чтобы свет его залил широкие горизонты — сомневаюсь» (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 9).

[20] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 282.

[21] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 289. В цитируемом тексте подразумеваются слова Пушкина из письма к Л.С. Пушкину и П.А. Плетневу от 15 марта 1925 г.: «...вся эта пестрота безобразна и напоминает Азию» (*Пушкин*. Полн. собр. соч. [Л.], 1937. Т. 13. С. 154).

[22] истинного, типичного (*фр.*).

[23] Цитата из письма, полученного 19 октября 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 284).

[24] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 284—285.

[25] Статья Брюсова «Папство» была, однако, опубликована в «Новом Пути» (1903. № 8. С. 236—238. Подпись: Вал. Бр.), но, по его словам, «в искаженном виде, обессмысленная» (*Брюсов В.* Дневники. С. 133). О взаимоотношениях Брюсова с руководителями «Нового Пути» Перцов вспоминает в письме к Д.Е. Максимову от 16 мая 1935 г.: «...он был, по тогдашним временам, самым “правым” во всей нашей компании (за исключ[ением], м[ожет] б[ыть], меня) <...> именно тогда Валерий был еще в значительной степени москворецкий патриот своего отечества, для которого уклонять наш корабль в левый фарватер значило сбиваться со своего пути. Недаром же благоразумные М[ережковски]е так боялись его “политик” и недаром так восставал на их черносотенство радикальный штамп Егоров. <...> Бр[юсов] мог тогда сердиться на “НП” или по личным мотивам, за нашу с ним “дипломатию”, или, изредка, как литературный фанатик <...>, но никак не с “общественной” точки зрения. Тут он был еще черен, как негр, и я-то лично думаю, что “про себя” он таким и остался в своем “темпераменте”, хотя умом, конечно, уразумел многое» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 35).

[26] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 294.

[27] См.: *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы» (К истории издания) // Лит. наследство. М., 1976. Т. 85. С. 257—324.

[28] Перцов составил следующую биографическую справку о Егорове: «*Егоров Ефим Александрович*; радикальный народник по убеждениям, поклонник Н.К. Михайловского, когда-то адвокат, немного писавший; с основанием Религ[иозно]-философ[ских] собраний в СПб. — их секретарь, до их закрытия; был также секретарем “Нов[ого] Пути” — с янв[аря] 1903 г. по апр[ель] 1904 (*после* Брюсова и *до* Чулкова); затем сотрудник “Нов[ого] времени” по отделу иностран[ной] политики, достигший очень влиятельного положения (в последние годы заведовал отделом); с окт[ября] 1917 г. — эмигрант и сотрудник белой прессы» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 47).

[29] Сокращенная цитата из письма от 2 августа 1903 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 295). О прохождении статьи Брюсова «Торжество социализма» Е.А. Егоров писал Перцову 23 июля 1903 г.: «Политику Брюсова я не задерживал, хотя задержал бы с большим удовольствием. И не потому, что “нелиберально”, а потому что нелепо до последней степени. Я не видел цензурного экземпляра, но что-то там вычеркнуто. Полагаю, что и цензор не мог не обеспокоиться чисто детским противоречием. Статья называется “Торжество социализма”. Перед окончанием автор уверяет своих читателей, что социалистический строй неосуществим, что даже *мечтать* о нем будет возможно только тогда, когда из драгоценных телескопов будут делать балки в хижинах, а шакалы будут ходить в библиотеки читать стихотворения Брюсова. Другими словами — не бывать торжеству социализма никогда. А через пять строк, подсчитав количество социалдемократических голосов в Германии, автор твердо предрекает неминуемое торжество социализма если не завтра, то послезавтра. Вы видите <...>, что тут нелиберального ничего нет. Напротив, все это именно страшно либерально. <...> Но не столько либерально, сколько по-детски неосведомленно. <...> Скажу вам по совести, что я лично не напечатал бы статьи Брюсова, каких бы воззрений на социализм я ни держался. <...> Не пущена же статья Брюсова по телеграмме из Луги» (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1291. Е.А. Егоров имеет в виду телеграмму от Мережковских, проводивших в Луге лето 1903 г.). Статья «Торжество социализма» в «Новом Пути» не появилась, ее окончательный текст неизвестен. Рукопись статьи, хранившаяся в архиве Брюсова, была предоставлена И.М. Брюсовой Д.Е. Максимову, который привел большие фрагменты из нее в своей книге «Поэзия Валерия Брюсова» (Л., 1940. С. 186—187); в полном объеме по этой рукописи статья опубликована В.Э. Молодяковым (Библиография. 1993. № 3. С. 116—118).

[30] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21.

[31] В этой редакции стихотворение печаталось только в составе настоящего очерка. В другой редакции («Крепись, о Русь, под шум ненастий...», 9 августа 1904 г.) опубликовано по беловому автографу В.Э. Молодяковым (Наш современник. 1993. № 3; *Брюсов В.* Неизданное и несобранное. М., 1998. С. 15).

[32] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 24; Лит. наследство. Т. 27/28. С. 297.

[33] Заключительная строфа стихотворения «На новый 1905 год» («Весь год прошел, как сон кровавый...», декабрь 1904), входящего в книгу Брюсова «Στέφανος». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 425.

[34] Ранее в другой редакции текста это стихотворение под заглавием «Весы качнулись» было опубликовано в кн.: *Брюсов В.* Неизданные стихотворения / Ред., предисл. и примеч. А. Тер-Мартиросяна. М., 1935. С. 181; см. также: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 288. В редакции, приводимой Перцовым, стихотворение печаталось только в составе настоящего очерка.

[35] В статье из авторского цикла «Маленькие письма», появившейся несколько дней спустя после сдачи русской военно-морской крепости Порт-Артур японской армии, А.С. Суворин писал: «Пусть сам народ скажет, хочет он продолжать войну или нет? Вырос он или нет для сознания отечества, его чести, славы и счастия? Вырос ли он для того, чтобы понять наши задачи на Дальнем Востоке, этот великий Сибирский путь, эту нужду в открытом океане, эту роковую борьбу двух племен, белого и желтого, эту борьбу христианства с его отрицателями, христианской цивилизации и азиатской? Или мы великий народ, или нет? Или мы можем дерзать, продолжая свою историю, или мы должны уйти в скорлупу Московского государства, побежденные и униженные. Но как же получить ответ на эти вопросы?» (*Суворин А.* Маленькие письма. DL // Новое время. 1904. 24 декабря. С. 4).

[36] Цитата из письма, полученного 2 января 1905 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 24).

[37] Цитата из стихотворения «К согражданам» («Борьба не тихнет. В каждом доме...», декабрь 1904), входящего в книгу Брюсова «Στέφανοζ». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 425.

[38] ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 24.

[39] Имеется в виду террористический акт, совершенный эсером И.П. Каляевым 4 февраля 1905 г. на Сенатской площади Кремля, — убийство великого князя Сергея Александровича разрывной бомбой.

[40] Цитата из письма, полученного 17 февраля 1905 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 25).

[41] Николай II отрекся от престола (за себя и царевича Алексея) 2 марта 1917 г. в пользу великого князя Михаила Александровича, который отрекся от престола на следующий день (до решения Учредительного собрания о форме государственного правления в России).

[42] Цитата из стихотворения «Довольным» («Мне стыдно ваших поздравлений...», 18 октября 1905 г.), представлявшего собой отклик на царский манифест 17 октября. Вошло в книгу Брюсова «Στέφανοζ». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 432.

Блок в синем воротнике

Впервые опубликовано в журнале «Нева» (1980. № 11. С. 184—185); перепечатано (под заглавием «В синем воротнике») в кн.: А. Блок и современность / Сост. Ст. Лесневский. М., 1981. С. 334—336.

[1] Блок жил в офицерском корпусе казарм гренадерского полка (Петербургская сторона, наб. Большой Невки; современный адрес: Петроградская наб., 44)

с сентября 1889 до осени 1906 г. — в квартире, предоставленной его отчиму Ф.Ф. Кублицкому-Пиоттух, гвардейскому офицеру.

[2] Во второй сборник Блока «Нечаянная Радость» (М., 1907) входили его стихотворения 1904—1906 гг.

[3] Цитата из стихотворения Блока «Болотный попик» («На весенней проталинке...», 17 апреля 1905 г.).

[4] В книге «Литературно-художественный сборник: Стихотворения студентов императорского Санкт-Петербургского университета» (СПб., 1903) были опубликованы стихотворения Блока «Ранний час. В пути незрима...», «Чем больней душе мятежной...», «Тихо ясные дни подошли...» (в окончательной редакции: «Видно, дни золотые пришли...») (С. 7—9). Эта книга вышла в свет на несколько недель позже того, как в 3-м номере «Нового Пути» за 1903 г. был опубликован стихотворный цикл Блока «Из посвящений». См.: Блок — участник студенческого сборника / Публ. В.И. Беззубова и С.Г. Исакова // Блоковский сборник. II. Тарту, 1972. С. 325—332.

[5] Имеется в виду публикация Вл. Орлова «Юношеский дневник Александра Блока» (Лит. наследство. М., 1937. Т. 27/28. С. 299—370).

Брюсовское стихотворение «Младшим»

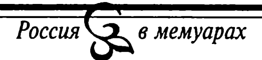
Впервые опубликовано в журнале «30 дней» (1939. № 10/11. С. 127). Печатается по тексту этого издания.

[1] Брюсов возвратился в Москву из Петербурга около 10 февраля 1903 г.

[2] Цитата из письма, полученного 19 октября 1902 г. (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 21).

[3] Ко времени описываемой беседы дебют А. Блока в печати еще не состоялся. Видимо, в дни пребывания Брюсова в Петербурге Перцов ознакомил его со стихотворениями Блока, находившимися в редакционном портфеле «Нового Пути» (десять стихотворений Блока, образовавшие цикл «Из посвящений», были впервые опубликованы в мартовском номере «Нового Пути» за 1903 г.). Брюсов мог знать стихотворения Блока и ранее — благодаря М.С. и О.М. Соловьевым, получавшим их в рукописи.

[4] Стихотворение было впервые опубликовано в «Ежемесячных сочинениях» (1903. № 4. С. 242) под заглавием «За оградой», вошло в книгу Брюсова «Urbi et Orbi». См.: *Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 353—354.



Силуэты старого Петербурга

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 9—14).

[1] М.А. Кавос, согласно сведениям из «Петербургского некрополя» в. кн. Николая Михайловича и В.И. Саитова, скончался 30 августа 1898 г., похоронен на Волковском лютеранском кладбище (Т. 2. СПб., 1912. С. 295). А.Н. Бенуа указывает, что «дядя Миша скончался летом 1897 г. в Петербурге» (*Бенуа А.* Мои воспоминания: В 5 кн. М., 1990. Кн. 1—3. С. 169), и эта датировка, сообщенная по памяти, была повторена в ряде других биографических справок о М.А. Кавосе.

[2] Во время франко-прусской войны генерал Л.-Ж. Трошю был назначен (в августе 1870 г.) военным губернатором Парижа, после революции 4 сентября 1870 г. — возглавлял «Правительство национальной обороны», проводившее пораженческую политику; в январе 1871 г., накануне капитуляции Франции, вышел в отставку.

[3] Имеется в виду шуточное стихотворное послание 1890-х гг.: «Дорогой Михал Альбертыч! // Одержим я странным гриппом» — и т. д. (*Соловьев Вл.С.* Письма. СПб., 1908. Т. I. С. 233). См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 174, 323—324 (примеч. З.Г. Минц). Экземпляр книги «Стихотворения Владимира Соловьева» (М., 1891), подаренный автором Кавосу (с надписью на авантитуле: «Глубокоуважаемому Михаилу Альбертовичу Кавосу от автора»), воспроизведен в издании, подготовленном Н.В. Котрелевым: *Соловьев Вл.* Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990.

[4] Имеется в виду очерк И.И. Ясинского «А.И. Урусов (Из воспоминаний)», рассказывающий про «поэтические ночи у М.А. Кавоса», в которых участвовали мемуарист и князь А.И. Урусов: «Кавос ничего не писал, он не брал пера в руки. Служил он по земству <...>. Он был чистый дилетант — так сказать, абстрактный. Никто лучше его не знал Леконта де-Лиля, Альфреда Мюссе и Пушкина. Поэтические ночи начинались у него с одиннадцати часов. Квартира его помещалась в доме католической церкви на Невском проспекте, некоторым образом в аббатстве. В ночах принимали участие только четыре человека. Четвертым бывал при мне А.Н. Плещеев или Д.А. Коропчевский. Все было особенное — даже вино. Строгая обстановка и множество огней à la Musset. Как теперь помню, несколько глуховатый голос Михаила Альбертовича, читающего наизусть с приемами старинной декламации стихотворения академически холодного и прекрасного Леконта де-Лиля. <...> Иногда Кавос отыскивал какого-нибудь старого француза и удивлял нас блеском его стихов. Поразительно, но он знал наизусть многие места из Мольера, Расина и Корнеля, а в рус-

ской классической литературе ему было известно почти все. Он представлял собой ходячую библиотеку. На вечерах у Урусова можно было читать по книге, но Кавос не признавал книг; все, что находил хорошим, он заучивал» (Ежемесячные сочинения. 1900. № 9. С. 50—51). «Ежемесячные сочинения» — литературный журнал, издававшийся Ясинским в 1900—1903 гг.

[5] Опера К.А. Кавоса «Иван Сусанин» (либретто А.А. Шаховского) была впервые представлена в 1815 г. В 1836 г. Кавос руководил постановкой оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (либретто барона Е.Ф. Розена) на сцене Большого театра в Петербурге. Заглавие «Иван Сусанин» опера Глинки получила в 1937 г. — в новом либретто, сочиненном С.М. Городецким.

[6] Неточность: Камилла Альбертовна Бенуа (урожд. Кавос) — родная сестра М.А. Кавоса.

[7] Литературный портрет М.А. Кавоса Александр Бенуа дает в «Моих воспоминаниях» (Кн. 1—3. С. 165—169).

[8] беседы (*фр.*).

[9] Точная дата кончины В.П. Протейкинского не выявлена. По сообщению А. Бенуа в «Моих воспоминаниях» (Кн. 4—5. С. 282), он умер «в первые годы первой мировой войны (или немного раньше <...>)»; там же (С. 278—282) дана развернутая характеристика Протейкинского («Висеньки»).

[10] высшего света (*англ.*).

[11] Ср. характеристику Протейкинского в статье Розанова (В. Варварина) «Анна Павловна Философова»: «...в Петербурге <...> все решительно знают “Виктора Петровича”, иногда переименовываемого в дружеское “Виктор” и в любовное “Висенька”... Как-то раз в разговоре со мною <...> А.Н. Бенуа назвал его “одною из самых достопримечательных личностей теперешнего Петербурга”, и мне кажется, что это так. Никто не знает не только адреса и жилища этого “Виктора Петровича”, но никто не знает и лет его, а все его помнят, и уже давно помнят, — всё равного, всё не усталого, всем занятого, всем интересующегося, все или очень много могущего. Катехизические свойства “существа Божия” — вездесущие, всеведение, всемогущество — до изумительности соединены в этом “образе и подобии Божием”, которое я, грешный человек, много раз порывался определить в уме своем как “колдуна”, и только останавливала меня постоянная доброта, постоянная ласковость, постоянная филантропия этого “Виктора Петровича”... <...> И для всех Виктор Петрович — близкий, и всем он — далекий; и все о нем “очень много знают”, и никто о нем, “в сущности, решительно ничего не знает”» (Рус. слово. 1908. 17 февраля).

[12] Ср. упоминание Протейкинского в описании прений на Религиозно-философских собраниях в записи Розанова от 28 апреля 1915 г. (*Розанов В.В.* Мимолетное. 1915 год // Розанов В.В. Мимолетное. М., 1994. С. 88).

[13] Биограф Вл. Соловьева упоминает Протейкинского (со слов И.И. Лапшина) «в числе лиц», «состоявших как бы в его свите», и дополнительно сообщает:

«По словам Н.А. Макшеевой, В.П. Протейкинский, сам мистик и по природе, и по убеждениям, был восторженным почитателем Соловьева, которого он окружал своеобразным культом» (*Лукьянов С.М.* О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. 3. Вып. II. С. 178, 249). Опубликованы 3 письма Соловьева к Протейкинскому 1899—1900 гг. (*Соловьев Вл.* Письма / Под ред. Э.Л. Радлова. Пб., 1923. С. 160—161).

Театральные силуэты

Печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 48). Под заглавием — карандашная приписка рукой Перцова: «(Брызги памяти)»; т. е. мемуарный очерк предполагался для соответствующего раздела второго тома «Литературных воспоминаний».

Заключительная главка очерка («Качалов — Кассий») была опубликована под заглавием «Кассий. Из воспоминаний» (с небольшими редакционными коррективами в тексте) в журнале «Декада московских зрелищ» (1940. № 5. 11 февраля. С. 12—13) — в подборке материалов к 65-летию со дня рождения В.И. Качалова. Вырезка из журнала с этой публикацией сохранилась в архиве Перцова, заглавие исправлено: «Театральные силуэты. 7. Молодой Качалов» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 28).

[1] Пьеса «Женя. Этюд с натуры в одном действии» (1881) опубликована в сборнике П.П. Гнедича «Шесть комедий» (СПб., 1887. С. 119—149).

[2] Ср. реплики Жени, героини пьесы: «Скушайте еще конфетку»; «Конфет хотите?.. Скушайте...» (*Гнедич П.П.* Шесть комедий. С. 141, 149).

[3] См.: *Савина М.Г.* Горести и скитания: Записки 1854—1877. Л., 1927. С. 210.

[4] Подразумевается письмо Тургенева к Савиной от 17 мая 1880 г. из Спасского: «Когда вчера вечером я вернулся из вокзала — а Вы были у раскрытого окна — я стоял перед Вами молча — и произнес слово “отчаянная”... <...> Меня подмывала уж точно *отчаянная* мысль... схватить Вас и унести в вокзал... <...> Но благоразумие — к сожалению — восторжествовало <...>. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную “Скандал в Орловском вокзале”: “Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С—ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки” и т. д., и т. д. Каков гром и треск по всей России! А между тем — это висело на волоске... <...>» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 258; Тургенев и Савина. Письма И.С. Тургенева к М.Г. Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С. Тургеневе. Пг., 1918. С. 14).

[5] С.Т. Аксаков охарактеризовал этих актеров в воспоминаниях «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» (1854), в «Литературных и театральных воспоминаниях» (1856—1858) и в «Мыслях и замечаниях о театре и театральном искусстве» (1825). См.: *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 337—399; М., 1956. Т. 3. С. 8—24, 399—403.

[6] Роль Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза» Стрепетова исполняла с начала работы в Казани (1871), в 1873 г. выступала в этой роли в Москве в Народном общедоступном театре, а с декабря 1881 г. — на сцене Александринского театра. Перцов видел ее в этой роли на сцене театра в Казани 4 октября 1891 г. и передал тогда свое «странное впечатление» от игры Стрепетовой в газетной заметке: «Мы видели прекрасную игру, но совершенно неверное понимание типа; перед нами была не Катерина, молодая, здоровая натура, задыхающаяся под гнетом самодурства и вырывающаяся на свободу хотя бы путем гибели, а в высшей степени нервная, тонкая организация, словно каким-то чудом попавшая в среду Кабановых и Диких и гибнущая столько же от их самодурства, сколько и от собственной хрупкости <...> ни в каком случае Катерина не может представлять из себя ту экзальтированную, с расшатанными нервами женщину, которую изобразила перед нами г-жа Стрепетова и которая точно вырвана из совсем другого мира, из мира петербургских тонких натур и героинь <...> статья Добролюбова, будучи лучшей оценкой “Грозы” в нашей литературе, бросает яркий свет на тип Катерины, в которой знаменитый критик видел именно продукт народной среды, молодую, здоровую личность, отчаянный протест которой и явился “лучом света в темном царстве”. В исполнении же г-жи Стрепетовой мы видели человека, случайно попавшего в чужую ему среду <...>» (*Перцов П.* Впечатление от «Грозы» (Голос из публики) // Волжский вестник. 1891. 6 октября).

[7] В этой роли Варламов выступил в постановке Александринского театра (премьера — 22 ноября 1876 г.).

[8] непринужденность, свобода (*фр.*).

[9] В роли Анания в пьесе А.Ф. Писемского «Горькая судьбина» Писарев впервые выступил в Самаре в сезоне 1869/1870 г. (см.: *Морозов М.* Модест Иванович Писарев. 1844—1905. М.; Л., 1949. С. 22—23, 36—37), в роли Несчастливцева в пьесе Островского «Лес» — впервые в 1880 г. в Москве в Пушкинском театре А.А. Бренко (см.: *Витензон Р.А.* Островский и М.И. Писарев // Лит. наследство. М., 1974. Т. 88. Кн. 2. С. 169, 175—180).

[10] «Заира, вы плачете?» (*фр.*).

[11] Цитата из воспоминаний «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» (*Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 388). Цитируются слова Оросмана, героя трагедии Вольтера «Заира» (1732; акт IV, сцена 2).

[12] Подразумеваются реплики Несчастливцева и Счастливцева при первой встрече («Лес», действие 2-е, явление 2-е): «Куда и откуда?» — «Из Вологды в

Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?» — «Из Керчи в Вологду» (*Островский А.Н.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 6. С. 29).

[13] Неточно цитируются слова Несчастливцева из заключительной сцены пьесы «Лес» (действие 5-е, явление 9-е). См.: Там же. С. 94.

[14] Шаляпин кратко характеризует Закржевского в «Страницах из моей жизни» (1917), написанных при участии М. Горького (см.: Федор Иванович Шаляпин. М., 1960. Т. 1. С. 54—55; *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1971. Т. 12. С. 301—302).

[15] Неоднократно повторяемая реплика из действия II (явление 7-е) комедии «Последняя жертва» (1878). См.: *Островский А.Н.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 8. С. 101—102.

[16] Об исполнении Качаловым роли Кассия в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1899) см.: *Агапитова А.В.* Летопись жизни и творчества В.И. Качалова // Василий Иванович Качалов: Сб. статей, воспоминаний, писем. М., 1954. С. 475—476; *Качалов В.И.* Мои первые шаги на сцене // Экран. 1928. № 6. С. 14.

О Владимире Соловьеве (встречи и воспоминания)

Печатается по черновому автографу, хранящемуся в архиве Перцова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 53. 16 л.). На л. 1 — карандашная запись автора: «Просьба переписать в *4-х* экземплярах. П. Перцов». Машинописный текст этого мемуарного очерка не обнаружен.

Частично содержание очерка нашло отражение в гл. VII «Литературных воспоминаний» Перцова. В нижеследующих примечаниях не повторяются сведения, приведенные в примечаниях к этой главе.

В «Литературном приложении к “Торгово-промышленной газете”» (1899. № 36. 21 ноября) было опубликовано следующее стихотворение Перцова, позднее включенное в рукописный сборник «Стихотворения (1890—1936)» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 27):

Владимиру Соловьеву

(по прочтении его философских и этических сочинений и сборника его стихов)

Нет, искушен недоброй силой,
Ты потерял свой путь прямой:
Не в философии бескрылой,
Не в догме этики унылой
Найдешь ты верный облик свой.

Над этим прахом «мысли пленной»,
Приятом Летой наконец, —
Один засветит неизменный,
Неувядаемый, нетленный,
Твой поэтический венец.

[1] Соловьев сообщил об этом в письме к матери из Петербурга от 27 января 1886 г. — упоминая о работе И.Н. Крамского над его портретом: «Завтра Крамской начинает меня дописывать. У швейцара того дома, где он живет, есть две маленькие девочки, которые выбегают ко мне и, хватая за полы моей шубы, восклицают: «божинька, божинька!» — очевидно принимая меня за священника» (Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л. Радлова. СПб., 1909. Т. II. С. 46).

[2] Строки из стихотворения «Памяти Владимира Сергеевича Соловьева» («Покорно нес он жизни бремя...», 1900) (Прощальные песни Алексея Михайловича Жемчужникова (1900—1907 гг.). СПб., 1908. С. 1).

[3] Неточная цитата из того же стихотворения.

[4] Ср. суждения Перцова в статье «Личность Владимира Соловьева» (октябрь 1900 г.): «... это был человек точно не нашего времени — “периода”, когда человеческая внешность так странно потускнела, съежилась, “опростилась”, точно вылиняла. Он смотрел каким-то типом Возрождения или древней Иудеи. <...> Тип Владимира Соловьева был типом <...> одинокого и загадочного аскета, Предтечи Спасителя мира» (*Перцов П.* Первый сборник. СПб., 1902. С. 90—91).

[5] Подразумевается статья Д.Д. Минаева, опубликованная в сентябрьском номере «Русского слова» за 1863 г.: «Лирическое худосочие. Письма и размышления российского сочинителя, критика и стихотворца отставного маиора Михаила Бурбонова».

[6] Подразумевается книга Н.Н. Страхова «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888), включающая его «Заметки о Пушкине» (1874) и ряд других статей.

[7] Неверное сообщение; с 1923 по 1991 г. Вознесенский проспект назывался проспектом Майорова.

[8] О том же Перцов писал в статье «Личность Владимира Соловьева»: «Он имел какие-то странные видения. По ночам, говорят, запершись, он молился и плакал перед каким-то “розовым призраком”» (*Перцов П.* Первый сборник. С. 79—80).

[9] Статья Вл. Соловьева «Поэзия гр. А.К. Толстого» была опубликована в майском номере «Вестника Европы» за 1895 г. (С. 237—259).

[10] Свидетельством дружеских контактов с В.Л. Величко служат 32 письма Вл. Соловьева к нему за 1891—1897 гг. (Письма Владимира Сергеевича Соловье-

ва. СПб., 1908. Т. I. С. 194—232), а также многочисленные мемуарные свидетельства в книге В.Л. Величко «Владимир Соловьев. Жизнь и творения» (СПб., 1902; изд. 2-е — СПб., 1903).

[11] В статье Соловьева «Поэзия Ф.И. Тютчева» стихотворение Ф. Шиллера «Боги Греции» (1788) было процитировано в переводе Фета, опубликованном в вып. I «Вечерних огней» (1883). Свидетельство Перцова служит веским аргументом в пользу печатания статьи Соловьева по первой журнальной публикации — а не по сборнику «Философские течения русской поэзии», как последней прижизненной публикации.

[12] Книга К.Д. Бальмонта «Тишина: Лирические поэмы» (СПб., 1898) вышла в свет во второй половине августа 1898 г.; обсуждать ее в ходе подготовки «Философских течений русской поэзии» Перцов не мог. В данном случае либо имеет место аберрация памяти и подразумевается более поздняя беседа, либо книга «Тишина» упомянута ошибочно — и оценки поэзии Бальмонта делались на основании его более ранних сборников «Под северным небом» (СПб., 1894) и «В безбрежности» (М., 1895).

[13] Подразумеваются рецензии Вл. Соловьева на три выпуска сборника «Русские символисты», опубликованные в «Вестнике Европы» за подписью Вл. С. (1894. № 8; 1895. № 1; 1895. № 10). См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 270—280.

[14] Издание 6-е Стихотворений Владимира Соловьева вышло в свет в 1915 г. (М.). В разделе «Посмертные стихотворения» это стихотворение (первая публикация: Северный вестник. 1892. № 7. С. 218; написано между 9 и 15 июня 1892 г.) помещено и в 7-м издании Стихотворений Вл. Соловьева под редакцией С.М. Соловьева (М., 1921. С. 235). См. также примечания З.Г. Минц в кн.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 301.

[15] Сближение Вл. Соловьева с С.М. Мартыновой относится к концу 1891 г., под знаком любви к ней прошел для Соловьева весь 1892 год. Большинство лирических стихотворений Соловьева, относящихся к 1892 г., составляют так называемый «мартыновский цикл» и занесены в альбом С.М. Мартыновой, сохранившийся в копии (см. примеч. З.Г. Минц в кн.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 292, 299—303). О взаимоотношениях Вл. Соловьева с С.М. Мартыновой см.: *Соловьев С.М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 308—312; *Лосев А.* Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 89—91.

[16] Об отношениях Вл. Соловьева в начале 1870-х гг. с Е.В. Романовой, его кузиной со стороны матери, см.: *Лукьянов С.М.* О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Пг., 1916. Кн. 1. С. 265—310; *Соловьев С.М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. С. 75—86. Начало знакомства Вл. Соловьева с графиней С.А. Толстой и ее племянницей

С.П. Хитрово (Перцов неправильно указывает второй инициал) относится к 1876—1877 гг., под знаком любви к С.П. Хитрово прошло около десяти лет жизни Соловьева.

[17] Подразумевается любовь Тютчева к Е.А. Денисьевой, нашедшая отражение в его стихотворении «Последняя любовь» («О, как на склоне наших лет // Нежней мы любим и суеверней...») и в целом ряде других стихотворений 1850-х гг. См.: *Чулков Г.* Последняя любовь Тютчева (Е.А. Денисьева). М., 1928.

[18] Имеются в виду стихотворения «Памяти А.А. Фета» («Он был старик давно больной и хилый...», 1897), «На смерть А.Н. Майкова» («Тихо удаляются старческие тени...», 1897), «На смерть Я.П. Полонского» («Света бледно-нежного...», 1898). См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 115, 116, 132.

[19] Заключительная строфа стихотворения Вл. Соловьева «Памяти А.А. Фета».

[20] Подразумевается деятельность на посту министра народного просвещения графа Д.А. Толстого (в 1866—1880 гг.) и И.Д. Делянова (в 1882—1897 гг.).

[21] Журнал «Русское обозрение», возникший в 1890 г., выходил под редакцией князя Д.Н. Цертелева до середины 1892 г.; с № 10 за 1892 г. журнал стал выходить под редакцией А.А. Александрова. См.: *Тарасова А.А.* Реакционно-охранительная журналистика // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 238—241.

[22] Имеется в виду стихотворение «А.А. Фету» («Твой ласковый зов долетел до меня...») (*Шестаков Д.П.* Стихотворения. СПб., 1900. С. 1).

[23] воочию (*лат.*).

[24] Первая строфа стихотворения «Les revenants» (16 января 1900 г.) в печатном варианте (впервые: Вестник Европы. 1900. № 2. С. 800):

Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе пробралися, и — спасибо вам!
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смертью занавешенным, тихим берегам.

(*Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 136).

[25] На отражение в этом стихотворении настроений, связанных со смертью Фета, указывает С. М. Соловьев (см.: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 6-е. М., 1915. С. 18; *Соловьев Вл.* Стихотворения. Изд. 7-е. С. 329).

[26] Стихотворение, посвященное А.А. Фету, приводится без 4-й строфы. См.: *Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 123.

[27] Речь идет о Марии Козьминичне Лазич, в воспоминаниях и письмах Фета фигурирующей под именем Елены Лариной (об отношениях с нею см. в письмах Фета к И.П. Борисову за 1850 г.: Литературная мысль. Альманах I. Пг., 1922. С. 220—221). Согласно сведениям, приводимым в воспоминаниях Фета,

ее смерть была следствием несчастного случая — от загорания платья (см.: *Фет А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 543—544; о сближении с Еленой Лариной: Там же. С. 431—434). Об их взаимоотношениях см. также: *Блок Г.* Рождение поэта: Повесть о молодости Фета: По неопубликованным материалам. Л., 1924; *Бухштаб Б.Я.* А.А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 28—31; *Кошелев В.А.* «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 19—21.

[28] О женитьбе Фета и сопровождавших ее обстоятельствах см.: *Фет А.* Мои воспоминания. 1848—1889. М., 1890. Ч. 1. С. 188—209; *Толстой С.Л.* Очерки былого. М., 1956. С. 331.

[29] из любви к искусству (*лат.*).

[30] Конец 3-й строфы и 4-я строфа стихотворения Вл. Соловьева «Песня моря».

[31] Неточные цитаты из кн.: *Свобода Г.* Смерть Отто Вейнингера. Симферополь, 1912. С. 47, 51, 56.

[32] Обыгрывается 1-я строка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Из-под таинственной холодной полумаски...» (1841). В.А. Лопухина была одной из самых глубоких сердечных привязанностей Лермонтова, ей посвящены многие его стихотворные произведения, ее образ нашел отражение в персонажах романов «Княгиня Лиговская» и «Герой нашего времени». См. статью о ней Н.П. Пахомова в кн.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 265—266.

[33] Главы из труда Вл. Соловьева «Оправдание добра. Нравственная философия» (отдельное издание — 1897) печатались в «Вопросах философии и психологии» в 1894—1896 гг. и в «Книжках Недели» в 1895—1896 гг.

[34] Нижняя часть листа не сохранилась. Последующий текст — авторизованный список с правкой и авторской подписью.

[35] полностью (*лат.*).

[36] В.Л. Величко передает целый ряд суждений Вл. Соловьева об этих произведениях (см.: *Величко В.Л.* Владимир Соловьев. Жизнь и творения. Изд. 2-е. СПб., 1903. С. 124—142, 170—175), но автохарактеристики, приводимой Перцовым, среди них нет.

[37] Описанный эпизод дополнительно иллюстрируется письмом Перцова к Розанову:

29/II 1900 — именины «Нов[ого] вр[емени]».

Нечего оправдываться! Вовсе это не так просто. Что Вы там ни пишите про левую штанину, а скандал с Вами был недаром. Мало ли народа сидело в зале и не один Вы дремали, и мужчина-то ведь Вы уж не такой основательной комплекции, чтоб под Вами стулья рассыпались. Нет, тут что-то есть! Это как Вы хотите. И почему это случилось тотчас после того, как Антихрист гром с неба свел? Почему Ваш гром грянул не раньше и не после? Нет, тут что-то есть!

Я об этом отписал всем — и Д.С. [Мережковскому], и Шест[акову], и брату (Влад[имиру]), и Философову. Благо есть время. <...>

Позднейшая пояснительная приписка Перцова: «*В.В.Р. свалился со стула* во время лекции Влад. Соловьева об Антихристе — и был очень этим сконфужен. После он не любил, если это вспоминали» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 81).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указателе не представлены имена литературных и мифологических персонажей, аннотируются только лица, упомянутые в воспоминаниях Перцова.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перцов Петр Петрович

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
1890—1902 гг.

Редактор
А. Рейтблат

Корректор
Е. Мохова

Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
http://www.nlo.magazine.ru

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. л. 31. Тираж 2000 экз. Заказ № 2523.

Отпечатано с готовых пленок заказчика
в РГУП «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1996–1997 гг. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

Н.И. Свешников. **ВОСПОМИНАНИЯ ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА**

Автор, бродячий торговец книгами второй половины XIX в., много видевший и испытавший, рассказывает о своей своеобразной и богатой впечатлениями жизни: общение с уголовным миром (ночлежки, притоны, трактиры, тюрьмы), знакомства с известными литераторами (Н.С. Лесков, Г.И. Успенский, А.П. Чехов) и т.д. Впервые напечатанные в 1896 г. воспоминания Свешникова были переизданы в 1930 г. и давно уже стали библиографической редкостью. В предлагаемое переиздание включены также опубликованные и неопубликованные воспоминания о народной книжности (рыночные букинисты, уличные разносчики).

«ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БЛАГОРОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Объединенные под одной обложкой воспоминания А.Е. Лабзиной, В.Н. Головиной и Е.А. Сабанеевой охватывают один из самых ярких периодов русской истории от начала царствования Екатерины II до восстания декабристов — время небывалых событий и характеров, блеска и изящества, пышных дворцов, роскошных парков, прекрасных дам и мужественных кавалеров. Перед читателем проходят бытовые картины придворной и провинциальной жизни: Петербург и Париж, Нерчинск и поместье в Калужской губернии. Среди действующих лиц: Екатерина II, Павел I и Александр I; придворные и простые провинциальные жители. На первом плане — личная жизнь: любовь и измены; истовая религиозность и разврат — все с точки зрения русской женщины конца XVIII — начала XIX в.

Ш. Массон. **СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСКИ О РОССИИ**

Воспоминания француза, который провел ряд лет при дворе Екатерины II и Павла I, содержат закулисную хронику русской придворной жизни того времени. Демонстрируя незаурядную наблюдательность и осведомленность, автор дает яркие характеристики мудрой императрице и ее сумасбродному сыну, их фаворитам и придворным. Независимость суждений и нелицеприятность выводов делают книгу уникальным мемуарным источником. Книга выходила на русском языке в начале XX в. и с тех пор не переиздавалась.

Издательство

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В 1997–1998 гг. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

Л.Н. Энгельгардт. **МЕМУАРЫ**

Автор, генерал-майор, описывает свое детство, воспитание и обучение, службу у Г.А. Потемкина (своего дальнего родственника), придворный быт 1780-х гг., участие в русско-турецкой войне 1787–1791 гг., подавление польского восстания 1794 г., порядки в армии при Павле I, и т.д. По ходу изложения он создает яркие портреты ряда военных и государственных деятелей, в том числе П.А. Румянцева, А.В. Суворова и др.

Вл. Пяст. **ВСТРЕЧИ**

В книгу Владимира Алексеевича Пяста (1886–1940) – поэта, переводчика, мемуариста – вошли его воспоминания «Встречи» (1929) о петербургском литературном быте эпохи символизма и акмеизма («Среды» Вяч. Иванова, редакция «Аполлона», Цех поэтов, кабаре «Бродячая собака» и т.п.). В книге даны яркие портреты как ключевых фигур литературы того времени (А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, Н. Гумилев, М. Кузмин, В. Розанов, Ф. Сологуб и др.), так и многих литераторов второго и третьего ряда. В качестве приложения помещены статьи Пяста о Блоке, Брюсове, Белом и Вяч. Иванове, а также его автобиографическая «Поэма в нонах». Существенно дополняет книгу обширный комментарий, включающий цитаты из мемуарных и эпистолярных источников, многие из которых публикуются впервые.

М.А. Дмитриев. **ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ**

Впервые публикуемая книга не уступает по своим литературным и познавательным достоинствам лучшим образцам русской мемуарной прозы. Пытливый и цепкий взор автора запечатлевает усадьбу сибирского помещика и московский благородный пансион при университете, а затем и сам университет 1810-х гг., московский театр 1820-х гг., суд и уголовные процессы того времени, литературную жизнь 1820–1840-х гг.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1999–2000 гг. вышли:

Н.А. Варенцов. **СЛЫШАННОЕ. ВИДЕННОЕ. ПЕРЕДУМАННОЕ. ПЕРЕЖИТОЕ**

Воспоминания видного московского предпринимателя и общественного деятеля Н.А. Варенцова (1862—1947) охватывают период с середины XIX в. по 1905 г., в них описывается история становления и развития крупнейших московских фирм, банков, торговых домов, даны яркие характеристики их владельцев; книга содержит также бытовые зарисовки купеческой жизни Москвы и изложение драматических и анекдотических событий из жизни московских предпринимателей.

В.Н. Харузина. **ПРОШЛОЕ. ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСКИХ И ОТРОЧЕСКИХ ЛЕТ**

В.Н. Харузина (1866—1931), первая русская женщина, получившая звание профессора этнографии, демонстрирует в своих впервые публикуемых мемуарах не только профессиональную наблюдательность и незаурядную память, но и блестящие литературные способности, которые позволили ей создать выразительную картину быта и нравов московского купечества второй половины XIX века.

А.Д. Галахов. **ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА**

В мемуарах известного литератора и педагога середины XIX в. ярко обрисованы помещичий быт и провинциальная жизнь начала XIX в., Московский университет 1820-х гг., актерская среда Москвы того времени, литературная Москва 1830—1840-х гг. (в т.ч. Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, М.П. Погодин, М.Н. Катков и многие другие). Благодаря выразительному языку, живости описаний и точности психологических характеристик воспоминания Галахова обладают не только информационной, но и высокой литературной ценностью.

Иванов-Разумник. **ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ. ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ**

В своих полных горечи и сарказма мемуарных книгах литературный критик, публицист и мыслитель Иванов-Разумник, друг А. Блока и А. Белого, С. Есенина и М. Пришвина, пишет о судьбах «погибших», «задушенных» и «приспособившихся» в 1920–30-е годы русских писателей и о собственной судьбе – судьбе человека, испытавшего тюрьму и ссылку, однако не пошедшего на сделку с совестью и не ставшего «советским писателем».

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1999–2001 гг. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

ЕВРЕИ В РОССИИ: XIX ВЕК

(А.И. Паперна. Из Николаевской эпохи; А.Г. Ковнер. Из записок еврея; Г.Б. Слиозберг. Дела давно минувших дней)

Вошедшие в книгу воспоминания выразительно рисуют светлые и темные, комические и трагические стороны жизни евреев в России в XIX в. Запечатлевая собственный жизненный путь, авторы детально характеризуют специфический жизненный уклад еврейского народа, его верования, обычаи и привычки, праздники и повседневную жизнь, отношения с местным населением.

В.И. Гурко. **ЧЕРТЫ И СИЛУЭТЫ ПРОШЛОГО: ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II В ИЗОБРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННИКА**

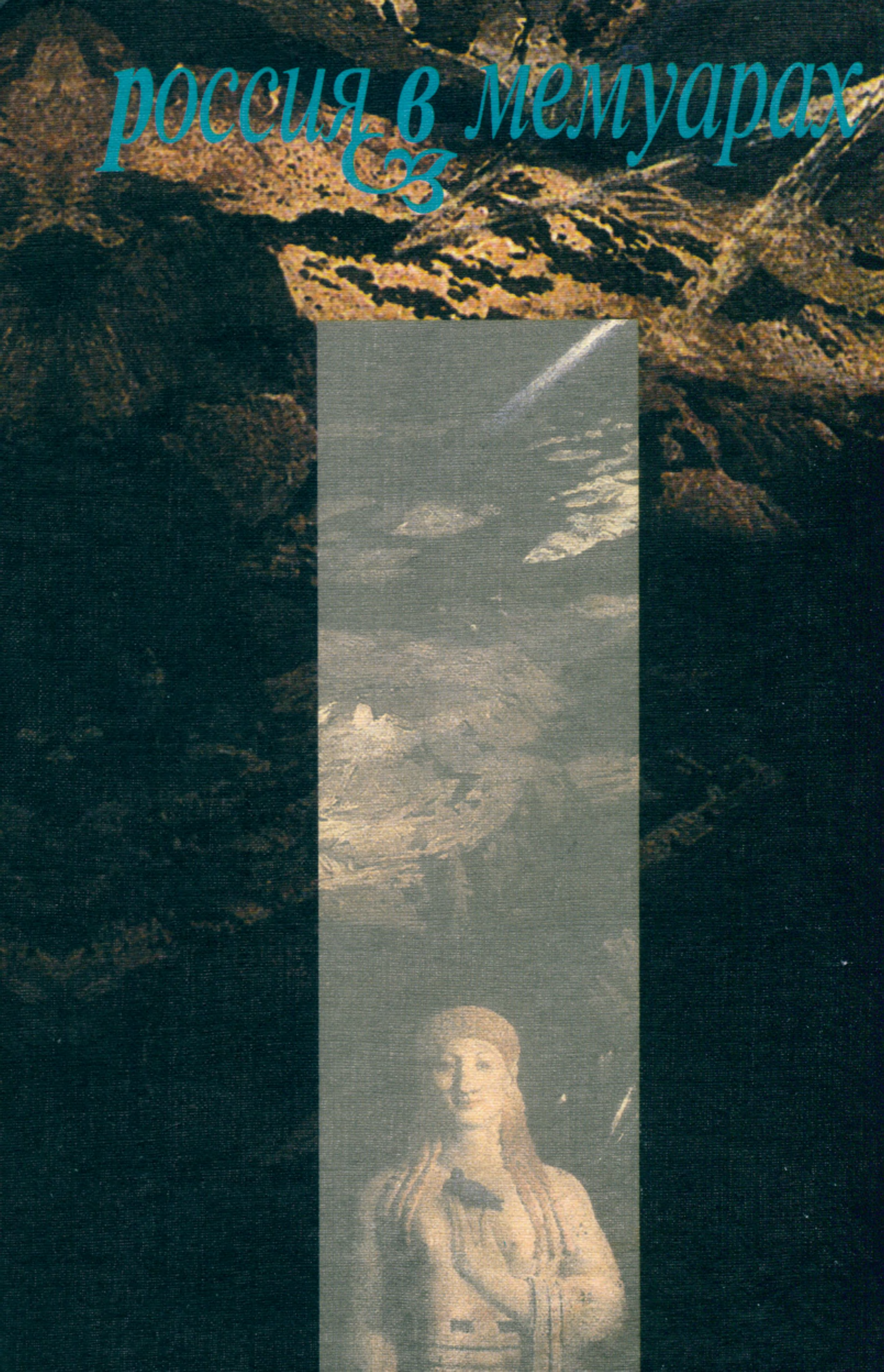
В своей впервые публикуемой на русском языке книге видный правительственный чиновник начала XX в. Владимир Иосифович Гурко (1862–1927), человек правых взглядов, воссоздает по собственным наблюдениям закулисную историю царствования Николая II, рисует выразительные портреты министров того времени (С.Ю. Витте, И.Г. Горемыкин, А.С. Ермолов, В.К. Плеве, П.А. Столыпин и др.) и анализирует причины краха самодержавного строя.

АРАКЧЕЕВ: СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

В книгу вошли собранные с исчерпывающей полнотой и подробно прокомментированные воспоминания о жизни и деятельности всесильного временщика Александра I. В качестве приложения включена также подборка панегирических стихотворений и эпиграмм, посвященных Аракчееву.

Я.В. Глинка. **ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 1906–1917: ДНЕВНИК И ВОСПОМИНАНИЯ**

Дневник и воспоминания Я.В. Глинки (1870–1950) публикуются впервые. Их автор сыграл важную роль в деятельности Государственной думы начала XX в., фактически возглавляя ее рабочий аппарат — думскую канцелярию. В книге читатель найдет яркие портреты ведущих политических деятелей эпохи выразительные описания повседневной жизни Таврического дворца, подробности происходившего в кулуарах Думы.


россия в мемуарах